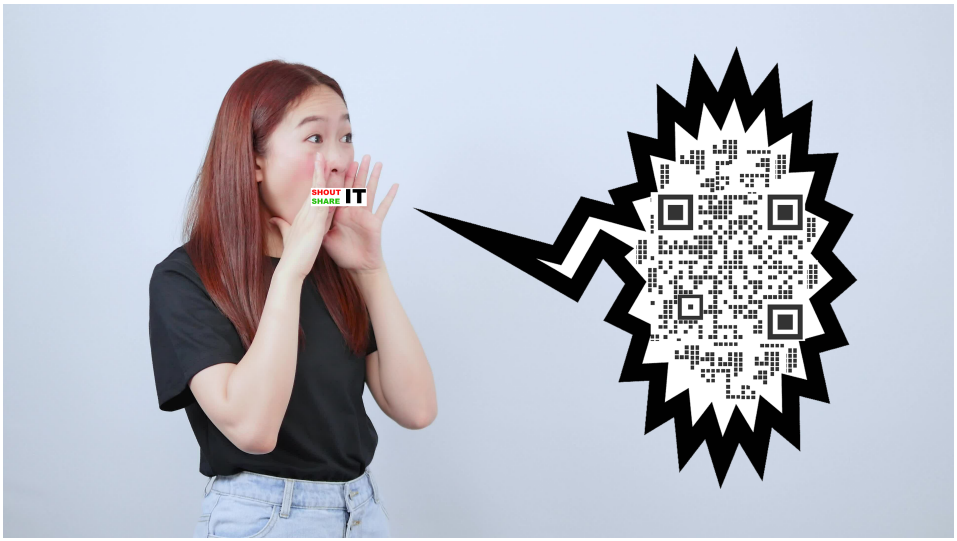
БЛИЗКОЕ ПРОШЛОЕ

Валерия Пришвина

Невидимый град

Библиотека мемуаров


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга воспоминаний В. Д. Пришвиной — это прежде всего история становления незаурядной, яркой, трепетной души, напряженнейшей жизни, в которой многокрасочно отразилось противоречивое время. Жизнь женщины, рожденной в конце XIX века, вместила в себя революции, войны, разруху, гибель близких, встречи с интереснейшими людьми — философами И. А. Ильиным, Н. А. Бердяевым, сестрой поэта Л. В. Маяковской, пианисткой М. В. Юдиной, поэтом Н. А. Клюевым, имяславцем М. А. Новоселовым, толстовцем В. Г. Чертковым и многими, многими другими. В ней всему было место: поискам Бога, стремлению уйти от мира и деятельному участию в налаживании новой жизни; наконец, было в ней не обманувшее ожидание великой любви — обетование Невидимого града, где вовек пребывают души любящих.

- В. Д. Пришвина
  - Навстречу
  - ГЛАВА ПЕРВАЯ
  - ГЛАВА ВТОРАЯ
  - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
  - ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
  - ГЛАВА ПЯТАЯ
  - ГЛАВА ШЕСТАЯ
  - ГЛАВА СЕДЬМАЯ
  - ГЛАВА ВОСЬМАЯ
  - ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
  - ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
  - ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
  - ИЛЛЮСТРАЦИИ
  - Комментарии
- comments
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9

- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53

- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97

- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141

- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185

- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204

В. Д. Пришвина
Невидимый град

Навстречу
Вступительная статья

Смерть и время царят на земле,
Ты владыками их не зови.
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

В. С. Соловьев

В 1978 году издательство «Советский писатель» предложило мне вместе с другими соискателями несколько имен, стоящих в плане издательства, для выбора героя монографии. Усталое время привычно довирало свою историю. Цинизм и равнодушие увечили биографические книги и мучили авторов, которым все время надо было идти по краю, чтобы не уступить себя и не предать героя. Я выбрал, как мне казалось, имя наиболее «безопасное», на которое охотников не было, — М. М. Пришвина, к тому времени надежно отодвинутого в «певцы природы». Издатели советовали познакомиться с Валерией Дмитриевной Пришвиной, которая жила в старом доме в Дунине и могла вернее всего вывести меня на необходимые материалы, но тут же предупреждали, что дорога мне будет начерчена узкая и идти по ней придется под неотступным взглядом.

И я не поехал в Дунино. Вот, думал, напишу основу, а там можно и домашние архивы поглядеть. А вскоре Валерия Дмитриевна умерла. И теперь я уже не устану жалеть, что лишил себя счастья знать не только замечательного человека, глубокого мыслителя, высокого христианина, но прежде и более всего — женщину, чьим даром, гением, небесным избранничеством было любить в святом и редком в человечестве, как все действительно великое, смысле, когда любовь понимается как служение, как ответ Богу, как страшное в своей требовательности призвание, как Церковь. А значит, не смог с настоящей глубиной прочитать и великую в своей поучительности страницу их последних совместных лет, прожитых как неутолимое «мы с тобой». И никогда не устану жалеть, что не пошел предрекаемым мне «тесным путем», который мог быть высшей духовной школой,

которая возвратила бы меня в оставленную в отрочестве церковь скорее и плодотворнее.

Но, видно, так тому и надо было быть. Себя не обгонишь. Надо было пройти сначала горьким, счастливым земным путем М. М. Пришвина, услышать в нем эту открытую, доверчивую непрестанную песнь: «Приди!» — в ее человечески понятном «переводе», чтобы оказаться готовым понять небесную сторону этой песни во встречном пути Валерии Дмитриевны. Надо было радостно и полно вернуться в церковь и усвоить ее в свое живое сыновнее кровообращение, вспомнить ее грозный, великий богочеловеческий язык, чтобы воспринять глубину и редкость такого призвания, сложнейшую его метафизику и омыть упрощенное, приспособляемое людьми к своим слабостям понятие до его первоначальной евангельской чистоты и юности. Надо было прожить жизнь, чтобы увидеть, что эта тема, оставленная умным сегодняшним человечеством разноцветным лакированным «внучкам» Вербицкой и Чарской да чувствительным телевизионным спагетти, в высших сердцах сияет молодой силой и по-прежнему стоит у истоков русской религиозной и философской мысли, соединяя два эти ранее нераздельные, но постепенно разошедшиеся знания в начальное Господне единство.

Что бы я понял тогда, придя к Валерии Дмитриевне? Что услышал в этом монологе, который лежит теперь перед читателем — горячий, нетерпеливый, исповедно-доверчивый, чудесно отважный? И я вдруг ловлю себя на странной мысли, что по-настоящему большие, духовно значимые книги приходят всегда в свой час жизни и одного человека, и целого общества. Она закончила рукопись в начале 60-х, а выходит книга без малого через сорок лет. Что же — гневаться? В тысячный раз проклинать духовную немоту застойных лет? Корить издателей? Можно бы, да уж больно непродуктивно. Не лучше ли хоть с малой пользой для себя и для будущего подумать о том, что всякая *неверная идея должна выболеть до конца,* чтобы человеческий слух открылся для звуков, прежде недоступных уху, для слова и мысли, неслышных оглушенному сердцу, для чувств, которые даются только зрячей, религиозно просвещенной душе.

Так было всегда. Кто-то один лучше слышит Божье слово, Господень завет единства, Его напоминание о райской родине человека и тем, внешне оставаясь позади своих торопливых современников, устремляющихся за «прогрессом» и «правдой века сего», таинственным образом уходит вперед и ждет своего часа, чтобы напомнить подошедшему в свой час человечеству простые истины вечности, в которой нет прогресса и нет отставания, а

светит один незакатный день.

Эта книга стала возможна именно потому, что Валерия Дмитриевна была христианка, послушная и дерзновенная (о равновесии этих внешне противоположных начал в душе христианина хорошо писал о. Сергий Булгаков: «…если смирение есть наша любовь к Богу, то дерзновение и ответственность есть наша любовь к миру и человеку… тот же Дух подает христианину силу покаяния и мощь творчества»). В христианстве стоит иное, нелинейное время, с материнским терпением ожидающее и с отеческой настойчивостью поторапливающее человека на высших путях.

* * *

Какая это была напряженная жизнь! И как в ней сошлось и отразилось время! Пока я читал рукопись Валерии Дмитриевны, в свет вышло литературное наследие великой пианистки М. В. Юдиной. Они сверстницы, судьба сводила их (Мария Вениаминовна по просьбе Валерии Дмитриевны играла над гробом Пришвина), и я могу представить радость их встреч и пламень бесед, потому что сейчас, смешав на минуту страницы их книг, не сразу разберешь, где чья — так горячо обе с отрочества искали любви и знали, что она возможна только в Боге, так страстны были в философском исследовании мира (Мария Вениаминовна как собеседница Алексея Федоровича Лосева и Михаила Михайловича Бахтина, а Валерия Дмитриевна как друг Ивана Александровича Ильина, который намеревался готовить ее в свои наследницы по кафедре философии Московского университета), так тверды в вере и одарены в творчестве.

И разве они одни? По дневникам Юдиной, по книге Валерии Дмитриевны, по «Самопознанию» Н. А. Бердяева, по мемуарам о. Павла Флоренского, по всем, слава Богу, сегодня сбегающимся книгам людей, умеющих слышать мысль и веру в том сердечном союзе, в каком их видел Григорий Сковорода, для которого мысль была душою и душа — мыслью, хорошо видно, что невольная бедность, горькая нищета быта вознесли дух русского человека первых пореволюционных лет в настоящие горние выси, вполне уподобляемые по напряжению первохристианским временам.

Это замечательно слышно в оркестре книги Валерии Дмитриевны, где каждый голос чист и внятен и свято равноправен, будь это несчастный отец Валерии Дмитриевны и ее много перетерпевшая мать, или великий толстовец В. Г. Чертков, И. А. Ильин, Н. А. Бердяев, сестра Маяковского Людмила

Владимировна, православный издатель и исповедник веры М. А. Новоселов, или измученный ссылкой Н. А. Клюев (все они пересекли ее судьбу, и всех она вписала в книгу как в светлый синодик в надежде, что читатель тоже хоть раз оглянется в красный угол и помянет их вместе с нею). Это легко читается и в самом напряженном нетерпении текста, который как будто спешит за жадным к жизни автором и тоже прыгает от философии к театру, от театра к поэзии, от поэзии к церкви, не теряя из виду главной, непрестанной, все скрепляющей, возвышающей и оправдывающей темы любви и поиска воскрешающей цельности и единства с Богом.

Героиня переживает со страной все и все пишет с настоящей художественной силой: счастье бедной молодости, арест и расстрел отца, нетерпеливую работу по спасению беспризорников в молодой «Школе радости», и страстные диспуты о Церкви, о «ереси» марксизма и неизбежном их столкновении, и свой арест, Лубянку, ссылку, изгнание лучших русских мыслителей, жестокое преследование Церкви, яростное сопротивление «сергианству», самому духу декларации митрополита Сергия о лояльности Церкви к советскому государству (пожалуй, впервые мы видим эту и сегодня болезненную проблему не в богословском, а в живом приходском зеркале и понимаем, что она все еще не предание и не отболевшая история).

Все, все это сегодня необычайно злободневно и остро, все вернулось в сиюминутной живости, *как всегда возвращается насильственно прерываемое время* (и опять в этом назидательно видно, как Господень Промысел хранит такие книги до поры, когда в них будет прямая нужда). И все ищет обсуждения, потому что мы подлинно опять оказались, как пишет Валерия Дмитриевна, «на пороге нового времени, когда над тьмой человеческого страдания расцветает новый день».

Не знаю уж, как к этому относиться, но и мы, и мы ведь опять как ни в чем не бывало зачитываемся вновь горячо переведенным «Закатом Европы» и не видим, что, как и тогда, закатывается Родина и мы, как они, — только «тени уходящих культур». Вот разве не можем повторить за ними, что «если наше поколение было когда-то счастливо, то именно тогда и *только* тогда».

Увы, в наших сегодняшних спорах, хоть и о тех же проблемах, да не тот огонь. Мы опять беспокоимся о «белых одеждах» и не знаем, как примирить «сергианство» и Зарубежную церковь, как соединить в своем сердце церковную государственность Иосифа Волоцкого и «нестяжание» и свободу Нила Сорского, да только делаем это с гневом, каким-то взаимным стравливанием, потому что наша вера далека от той, «естественной, как биология», по

определению М. М. Пришвина, которая была свойственна им. Мы с волнением вслушиваемся в сбивчивое размышление Валерии Дмитриевны о красоте, которая, по ее разумению, «сохранится в естественной поэзии». «Люди, — пишет она, — выйдут из борьбы голыми, и красота будет их первая одежда. Вот о чем, может быть, думал Достоевский, когда говорил, что „красота спасет мир“. Но вот мы вышли из борьбы голыми какой-то предпотопно бесстыдной наготой, а что-то не видно, чтобы торопились одеться в красоту, а даже как будто и далее, хоть уж вроде дальше-то и некуда, еще раздеться норовим».

Вообще в этой громоздкой лаборатории, в этом вареве идей, в этом интеллектуальном задыхании, где теснят друг друга поэты, философы, толстовцы, теософы, масоны, можно было бы сбиться и с почтительным равнодушием, наконец, отнести книгу к золотому кругу работ о пореволюционных годах, к еще одному варианту берберовского «Курсива», филипповского «Всплывшего в памяти», ходасевичева «Некрополя», то есть к книгам умным, но уже вполне историческим, если бы не светила в ней, не промывала все окна, как перед Пасхой, чистая страждущая вера героини и таинственно связанная с ней, нераздельная, даже вернее будет воспользоваться именно богословским определением «нераздельно-неслиянная» тема все преображающей и определяющей любви.

* * *

Почему-то я сразу отмечаю сердцем, что родители Валерии Дмитриевны встретились в церкви на праздник Входа Господня в Иерусалим. Она передала ему несколько веточек вербы, потому что молодой офицер то ли забыл их, то ли стеснялся идти с ними в храм, и плечо, за которым он стоял, так уже и горело у нее до конца службы. О Данте и Беатриче или о педантичном Петрарке («Лаура… впервые предстала моим взорам в лета моей ранней юности в 1327 году, утром 6 апреля, в церкви святой Клары в Авиньоне») можно не вспоминать — эти храмовые встречи ушли в легенды, в светские предания и оклик можно счесть сегодня интеллектуальным щегольством. Мы стали стыдиться высоких параллелей. Они кажутся нам одной «литературой», условием жанра. Но я вспоминаю, как любяще и смущенно вглядывался прекрасный русский писатель М. Осоргин в дневник покойного отца, в котором тот бережно и нежно описывал встречу в храме с неведомой Леночкой («Ты была у заутрени и стояла от меня близко»), как с той поры целомудренно и гимназически чисто,

словно все время под взглядом Церкви, длился их роман и, каюсь, не могу удержать слез, когда в конце этих воспоминаний читаю: «Эта Леночка — моя покойная мать…»

Наверное, поэтому я уже без всякого смущения, а даже с тайным удовлетворением, словно ждал этого, вижу, что и своего первого небесного избранника Олега (через несколько лет иеромонаха Онисима, расстрелянного среди других кавказских пустынников), Валерия Дмитриевна встречает тоже в храме («…я сразу узнала тебя. Ты стоял передо мной всю долгую всенощную, не крестясь и не кланяясь»). И вот тут-то по-настоящему и развивается до этого только предчувствуемая, только ожидаемая тема — возможен ли «художник любви». Тут-то и является непостижимая нынешнему уху и сердцу тема девства, которую письмо за письмом и встреча за встречей отстаивает в Валерии Дмитриевне сначала Олег, а потом иеромонах Онисим и которую она сама слышит в себе как высшую правду и высшее творчество и оправдание любви.

Она думает об этом непрерывно и в смятении спрашивает впоследствии, проживя трудную, часто мученическую жизнь: «Что это было? Гнушение законом природы? Или в своих неопытных руках мы держали тогда *дух новой природы?»* Эти слова о «новой природе» словно ожгли меня: я где-то слышал или читал их прежде. И вспомнил…

Нет, нет, читатель мог не подсказывать: не в распространенной и всякой поэтической душе ведомой «Вечной женственности» Гете или «Софии» Соловьева, не в «пленной царевне, Мировой Душе» Блока, не в «священной любви» Белого, хотя, конечно, и Валерия Дмитриевна, и Олег, как дети своего времени, близко касавшиеся религиозной мысли (Валерия Дмитриевна жила и работала в Узком, где умер В. С. Соловьев, и постоянно об этом помнила) и масонства (от которого она отшатнулась до первого посвящения), весь этот культ «белой церкви» и «Жены, облеченной в Солнце» очень знали и влияние его испытывали. Нет, мне вспомнилось другое.

В одном из лагерных беломорских писем Алексей Федорович Лосев писал своей жене Валентине Михайловне, которая тоже была в это время в лагере: «Мы с тобой за много лет дружбы выработали *новые и совершенно оригинальные формы жизни,* то соединение науки, философии, духовного брака, на которое мало у кого хватило пороху и почти даже не снилось никакому мещанству из современных ученых, философов, людей брачных и монахов». Они и правда стояли тогда на пороге какого-то нового человеческого единства, услышанного на скрещении любви и Бога, посреди напряженного, забывшего слабость мира. И как это

было по-христиански мужественно и скупо, как сдержанно и сильно и как полно сухой, если годится это слово, выжженной поэзии, как в каноне Иоанна Дамаскина, обращенном к апостолам: «Облацы, иже воду животную одождившии, изсохшую мою душу бездождием страстей божественне напойте». Иссохшую — бездождием, сухость — пламенем. Тут-то и поймешь, что хотел сказать Вячеслав Иванов, когда одернул юношу, посетовавшего, что он еще не любил — это все равно, что сказать: я еще не был королем! Как будто это дается каждому.

* * *

Мы увидели, как в действительности редок этот цветок и как тяжка жизнь человека, отмеченного этим даром, как и у всякого Господня избранника в любой другой области человеческого гения. И как много надо было отваги и уже вполне остраненного знания, чтобы в конце жизни спокойно сознавать это: «Я была создана для любви — иного не было у меня дарования. В мире людей любовь разделилась на тело и дух. И я стала, подобно многим, жертвой этого разделения».

Какая неожиданная обмолвка или проговорка — «в мире людей». Словно из другого мира увидела. Да, наверное, так и есть. И мы ведь тоже со всей остротой увидели из этой книги, что любовь — это не только «радость о бытии другого», о чем герои говорили так часто, но и вот эта таинственная радость девства, про которую пишет ей из кавказской пустыни дорогой ее Олег, иеромонах Онисим, с напряжением настоящей борьбы за нее, словно напоминает о райской купели, о божественной родине души, о целомудрии как мудрости восстановленного единства (и как тут не отметить в скобках, что эта тема таинственно связана и с темой страдающей Родины, как было у Блока «О Русь моя! Жена моя!», и у Соловьева, и у Пришвина, и у молодых героев этой горько-счастливой книги).

Со смертью своего святого друга (сегодня уже слышны голоса о канонизации кавказских исповедников и мучеников и имя иеромонаха Онисима среди них равноправно) ей оставалось сдаться «миру людей» или, как М. М. Пришвин, уже идущий ей навстречу, не терять надежды и не изменять призванию. Олег, вступив с нею на церковный порог, часто потом, уже из монашества, напоминал ей глубокую мысль Исаака Сирина; «Отойди от мира, и он ляжет у твоих ног, как раб». Она еще не знала, что М. М. Пришвин в это время пришел к тому же сам, разве что сказав об этом по-другому: «Когда я стал, мир пошел».

Когда художник перестал преследовать мир, тот сам распростерся у ног.

Это была высокая человеческая и христианская зрелость, могучее духовное поспевание. Им обоим предстояло много страданий, но они уже знали, что «от зла, — как пишет Валерия Дмитриевна, — нет иного спасения, кроме мужества и решимости терпеть до конца, но не изменить. В этой решимости и заключается спасение». Терпеть они (как мы знаем из дневников Михаила Михайловича и из ее книги) умели. Не изменить тоже. Теперь им оставалось только встретиться.

Но до этого счастливого, освобождающего, все разрешающего «Мы с тобой» (и ведь у Лосевых — то же настойчивое «Мы с тобой»), которое они откроют миру как свое лучшее человеческое дело, еще несколько лет.

А пока книга уходит на высшей, требовательной, вопрошающей ноте, заставляющей нас с болезненной резкостью увидеть, что мучающая героев проблема преображения человека в новом единстве по-прежнему только ждет общество впереди, где чистые сердца будут решать ее перед Богом сообща. Во всяком случае, так думает и так надеется христианское сердце.

«Есть только Бог и мы. Больше нет ничего. Бог и человек относятся как тайна и внимание», — писал в своей все ожидающей издателя книге «Остров Достоверности» иеромонах Онисим.

Тайна и внимание. Духовное бодрствование. Они это знали и очень хотели, чтобы знали и слышали мы.

Валентин Курбатов

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Тяжелое имя

Я была единственным ребенком в семье молодого пехотного подпоручика и родилась в небольшом белорусском городке[1], где стоял в то время полк и где молодые родители снимали квартиру в деревянном доме с окошками на реку и с садом позади дома. Незаметное событие это произошло на самом пороге нового века.

Но стоит только вернуться на этот порог, мысленно пробежав все пережитое за полстолетие, как останавливаешься, потрясенный увиденным, и вся картина маленького счастья в деревянном домике заволакивается дымом, гарью и огнем двух революций и трех войн, перевернувших мир и смешавших жизни, как песок.

Рождавшиеся на пороге грозного века дети, подобно всем детям от создания мира, не выбирали сами своих судеб, иначе многие из нас предпочли бы вовсе не рождаться. Мы призваны были и должны были жить. Огромная Россия тоже медленно и, казалось, бездумно жила, мирно покоясь на своих просторах. Она походила на самку гигантского зверя, может быть, на медведицу-мать, погруженную в зимнюю спячку. Такой представилась мне, девочке, Россия, когда я впервые в жизни увидела географическую карту: голова медведицы — это был Скандинавский полуостров. Дальше шло через Европу и Азию фантастически вытянутое, теряющее формы тело. Оно оканчивалось с неожиданной четкостью Камчаткой — куцым медвежьим хвостом.

Вокруг лежали белые поля, и на них редкие темные пятна деревень казались горстками чего-то, что просыпал путник, который шел в моем воображении по этим бескрайним равнинам. Одни колокольни над кротовыми кучками серых хат придавали ландшафту возвышенный и трогательный смысл. Они свидетельствовали о присутствии и тут человеческой мысли с ее упорным усилием вверх и только вверх.

Среди деревень разбросаны были дома помещиков. Они медленно ветшали, а сады сдавались в аренду и гибли без ухода. В домах доживали последние старушки, а сыновья их искали счастья где-то в городах на чиновной или военной службе. Старушки жили в тесных комнатах отапливаемых мезонинов, а большой дом обычно стоял заколоченный, холодный, в нем годами висели запахи пыльной мебели, гниющих полов, нераскрывавшихся книг, тронутых плесенью. Таким я запомнила

дом моей бабушки по материнской линии, о котором мне скоро предстоит рассказать. Говорят, оставались в начале века и неразоренные имения с выездами, с фейерверками по семейным праздникам, с расчищенными аллеями и молодым смехом в них во время летних каникул. Мало, наверное, их оставалось, я их в детстве уже не видала. Зато я слышала рассказы о молодых людях, отдающих свои средства, силы, способности на просветительскую работу в деревне, о девушках из помещичьих семей, дожидавшихся совершеннолетия, чтобы отдать свою долю земли и денег на крестьянское дело, а самим поселиться в избе при школе или больнице на мужицких хлебах. Свидетельствую по опыту своего — последнего — поколения: мы росли уже готовыми деятелями, никто нарочито не воспитывал, не насиловал наши ум и волю. Нас воспитывало само веяние русской культуры, и мы лишь дожидались своего срока, чтобы выйти на работу бескорыстными устроителями жизни. Такое рождалось в нас из самой материи народной души, ее доброты и щедрости. Эти черты русского характера и народной жизни были подняты и опоэтизированы славянофилами. Их мысль была уже не ко времени, но мы видели, что для их идеалов существовала живая почва в народе. Славянофильские идеалы деревенских отношений осуществлялись в какой-то слабой мере, но на наших глазах становились мало-помалу близорукой иллюзией правды. Как бы хотелось оставить потомству память о хороших людях, но приходится глядеть куда-то поверх несбывшейся идиллии крестьянской «святой Руси» и проходить мимо самоотверженных докторов, терпеливых учительниц, скромнейших земских деятелей, которых мы во множестве видели и лично знали. Смысл и сердце истории билось уже не в деревне. В городах ютился на окраинах рабочий люд, и дети рабочих рождались так же невинно, как родилась и девочка в семье пехотного подпоручика. Но они всегда рождались на заранее предопределенную им жизнь. Круг ее был обведен почти непереходимой чертой. Подлинная правда современности показывалась в городах, и это была та правда истории, которая не знает прощения за прошлое и милости в настоящем — неумолимая правда возмездия. В этом зловещем предчувствии перемен и прошлое мое детство.

Широко распространялись революционные идеи, призывающие к немедленному действию, молодежь вовлекалась в деятельность различных политических партий, деятели которых «не могли молчать» о жизни фабричных рабочих, о смертной казни, телесных наказаниях, проституции, голоде крестьян во время неурожаев. Они говорили о язвах жизни в упор и верили в возможность немедленного общественного действия и требовали

его. Таких людей идейно возглавлял и даже подавлял силой нравственного поиска, словесного таланта, колючим взглядом из-под нависших бровей Лев Николаевич Толстой, о котором говорили дома.

В необразованном народе также шло в начале века брожение умов; оно было стихийно, односторонне и выражалось главным образом в развитии религиозных учений различных толков. О них мы узнавали не столько из книг, сколько из нашей повседневной жизни. Русский простой человек — будь то прислуга в доме или извозчик, гимназический швейцар или встреченный в деревне мужичок — любил поговорить о душе и о Боге даже в присутствии ребенка. Все сводилось, по существу, к протесту против неподвижности церковного православия, целиком определявшего быт народа и в то же время живущего как бы прикрыв глаза на его нужды. Православие охраняло надмирные ценности, которыми владело и, казалось, не продвигало их в жизнь… Так нам тогда казалось… В Петербурге этому народному движению соответствовало подобное же среди интеллигенции: возникло «Религиозно-философское общество»{2}, объединявшее различные слои образованных людей от профессоров до духовенства всех толков. Во главе его стоял Дмитрий Сергеевич Мережковский, о блестящей пророческой публицистике которого мы лишь смутно слыхали, а сами, гимназистками, зачитывались его странно-умными романами. Однако Лютера в России не нашлось, реформации на религиозной почве не произошло, да она, скорей всего, и не была бы по душе русскому человеку. Не осуществилась и социальная революция 1905 года.

В столицах в начале века собирался цвет народа, его интеллигенция. Одни пытались поднять разобщенных неравенством людей в область духовной жизни, «вечных идей», как бы предлагая выход к переживаниям, стоящим над злобой дня. Это еще в гимназии доходило из столиц через иконописный образ философа и поэта Владимира Сергеевича Соловьева. Правда, философии его мы в отрочестве не читали — только стихи. В последнем классе гимназии еще дошли и пленили нас стихи Блока, музыка Скрябина, картины Врубеля… Это был мир возвышенный, таинственный, манящий. Тем временем поднимались новые силы: либеральная интеллигенция делала попытки мирной «культурной революции» в России; росло и давало плоды кооперативное движение в деревне; в городах открывались народные бесплатные Университеты; шла борьба за демократию в Государственной Думе; не менее двух поколений образованного купечества, молодого, только нарождавшегося в России класса, вносило свой огромный вклад не одними

капиталами, но и инициативой — рядом просветительских дел: возникали издательства, картинные галереи, библиотеки, театры, больницы, богадельни… Молодежь, приехавшая в Москву, ходила по Большой Калужской и Девичьему полю мимо новых прекрасных, больничных корпусов, выстроенных московскими купцами; входя в Третьяковскую галерею, читала на фронтоне: «Дар Москве»; слушала лекции в великолепных аудиториях бесплатного университета Шанявского на Миусской площади{3}. Иногда казалось, что наступили времена гармонии, вулкан истории успокоился, и голос возмездия умолк. Но так казалось только на поверхности жизни неопытным юношам или легкомысленным обывателям. За этим цветеньем талантов, за живой и плодотворной работой молодой интеллигенции в обеих столицах, за этим цветистым занавесом лежала и дремала огромная страна, молчаливо жили многомиллионные массы ее народа — какое дело до этой культурной жизни было им, не принимавшим в ней участия, не имевшим от нее почти никаких ощутимых плодов?

«Двести миллионов было погружено в бездну забот о существовании, а сотни вольноотпущенников дерзали убеждать их в возможности насыщения всех пятью хлебами»{4}, — читаю я теперь об этом же в дневнике писателя Михаила Пришвина.

Недаром мне мелькнул сейчас перед глазами образ театрального занавеса — это и было так в России тех дней: театр и публика. «Публика» молчала. Огромная страна, ни на одну на земле непохожая, все в ней растекалось по бескрайним пространствам, разобщенное, друг другу неведомое, казалось, безликое… Огромность российского неустройства соответствовала огромности самой территории. Понимал ли это сам народ? Или он жил «как от века положено»? Или думали за него только интеллигенты? Но, несмотря на всю сумятицу мысли, это совершались за занавесом роды новой России. Война с Германией затянулась. Терпенье у людей кончалось. Недовольство, недоверие, страдание — все вместе перелилось через край. Народ вдруг встал на ноги с помощью неведомых нам, обывателям, людей революции. К добру или злу это вело — рассудит только долгое беспристрастное время.

Вступая только что в жизнь, совсем юные, мы видели собственными глазами и понимали безо всякой посторонней подсказки: люди сделали страшный, рискованный и неотвратимый шаг; весь сложный опыт культуры поставлен под сомнение, идет пересмотр всех ценностей, нажитых человечеством. Но иначе быть уже не могло, и, хотели мы того или не хотели, мы должны были вместе с ними идти.

Кто скажет, в который раз все это совершается в мире? Что будет отброшено и что останется? Будет ли это последний пересмотр жизни нашей страной? На этот вопрос ответит только время, и мы, свидетели начала, не услышим ответа, не увидим конца. Нам остается надежда, что не напрасен подвиг и страданья нашей родины России. Как понять, каким именем назвать, в каких образах сделать зримым ее характер, ее призвание среди народов мира? Как помянуть бесчисленных и безвестных ее детей, шедших из сострадания на гибель? «Моя маленькая обида является ключом к чувству обиды множества людей, слеза моя падает в море слез, несущее на себе корабль нашего будущего»{5}, — записывает в дневнике один из них (Михаил Пришвин). «Ну что ж, одной заботой боле, одной слезой река шумней, а ты все та же: лес, да поле, да плат узорный до бровей»{6}, — читаем мы у другого (Александр Блок).

Море слез — их несмолкаемый шум. Вот что услыхал и увидал бы вернувшийся на порог нашего столетия человек. Да, родившиеся на этом пороге грозного века дети не выбирали сами своих судеб и не своей волей призваны были жить.

В домике молодого офицера о происходящем даже не помышляли. Дума сушит жизнь, и сама сила жизни охраняла молодых супругов, когда они совершали свое дело на земле. Подобно всем матерям и отцам от создания мира, они не задумывались над тем, как тесно связано все в природе: каждый шаг по земле не только разносит семена и споры жизни, но и мнет траву, давит цветы, обрушивает камни. Они не задумывались над тем, что ребенок их будет отвечать характером и судьбой за все, совершенное в прошлом его отцами и дедами. Какое это было прошлое — мы сейчас увидим.

Отец мой Дмитрий Михайлович Лиорко был сыном нотариуса из маленького провинциального городка Торопца Псковской губернии. Мать его рано овдовела и осталась с четырьмя детьми на руках без всяких средств к жизни. Благодаря тому, что покойный муж ее был беспоместный и безденежный, но все же потомственный дворянин, ей удалось поместить двух сыновей, Дмитрия и Николая, в закрытое «сиротское гатчинское училище». Мать все силы отдала воспитанию двух дочерей. Сестры окончили консерваторию пианистками, скоро вышли замуж и обе умерли первыми родами. Мне говорят, что я похожа на покойных теток. Я подолгу со страхом и жалостью рассматриваю их портрет. На меня грустно смотрят две прижавшиеся друг ко другу головки. Как будто они уже заранее знают, что жизнь их будет не дожита и оборвана. Напрасно

кончили консерваторию — музыка не для них. Напрасно любили — не для них муки и радости материнства. Они мелькнут по жизни и уйдут, и останется от них только этот портрет.

— Умерли родами, — говорит бабушка и горестно качает головой.

«Что такое смерть?» — думает маленькая внучка. «Ловушка природы», — говорит, глядя на этот портрет, кто-то из взрослых, и она запоминает эти слова навсегда: любовь — и какой-то жестокий закон природы, которому должны были подчиниться молодые женщины.

Так было с дочерьми. С сыновьями было иначе. Младший Николай стал акцизным чиновником, жил бобылем, запойно и горько пил. Он честно отвоевал Русско-японскую войну, благополучно вернулся домой, после чего стал постепенно опускаться, и следы его жизни так и затерялись в первые годы революции.

Сколько усилий было со стороны матери — и все напрасно! Судьба этих людей ничем не отличалась от судьбы придорожной травы, погибающей безропотно под колесами проехавшей телеги. Маленькая внучка однажды заметила, что у бабушки Наталии Алексеевны не было ресниц, и бабушка ей объяснила, что ресницы у нее вылезли от непрекращающихся слез по своим детям. Новая загадка для ребенка: смерть — и непрекращающиеся материнские слезы.

У матери оставался в утешение старший сын Дмитрий. Он вышел статным и красивым юношей. Его отличало от всех грустное выражение прекрасных карих глаз. По окончании сиротского училища, откуда он вышел грамотным, но мало образованным юношей, жизнь подсказала ему простейший выход — военную службу. Молодой офицер выделялся в беспросветно-серой военной среде провинции необычайным нравственным складом: правдивостью в словах и в поступках, серьезностью, не покидавшей его ни на полковых балах, ни на холостых пирушках. Вскоре он был назначен адъютантом своего пехотного Ленкоранско-Нашебургского полка. У него появилась уже невеста — красивая девушка с большим приданым… И вот однажды он встретил на вечере оживленную хрупкую девушку с тонким лицом, открытым выражением светлых смеющихся глаз, с русой косой, по-деревенски неубранной в бальную прическу. Новая встреча мгновенно расстроила намечавшийся «благоразумный» брак. Это была дочь разорившегося витебского помещика Наталия Аркадьевна Раздеришина. Ее в тот год «вывозили», как это было принято, в поисках замужества на балы, и семья для этого на зиму переселялась в город. Три брата учились в кадетских

корпусах. Детей растила, вела запущенное мужем хозяйство, добывая средства к жизни, мать, Александра Андреевна. Отец их бывал уже в доме редким гостем. Когда-то Аркадий Павлович был богатым помещиком, владельцем двух имений под Витебском. Он влюбился в красавицу-жену своего товарища, выкрал ее у мужа, добился развода, женился на ней. Однако любовь владела им недолго, и, предоставив жене самой управляться с хозяйством и шестью народившимися детьми, он отдался соблазнам жизни. Две страсти владели его душой: цветы и женщины. В имении Лужино была устроена оранжерея по последнему слову науки. Выписывались из заграницы новейшие технические усовершенствования, содержался первоклассный садовник. Составлялись роскошные букеты. Букеты эти к тому времени уже посылались соседке по имению — княгине В. Вскоре в своем соседнем с Лужиным втором имении Аркадий Павлович поселил овдовевшую княгиню с ее маленькой дочерью. Шли годы — княгиня старилась, а Лиза выросла и расцвела. Уже от Лизы у Аркадия Павловича родилась дочь Евгения.

Старший сын Александры Андреевны звался также этим именем — Евгений. Иногда Аркадий Павлович возил детей погостить из одной семьи в другую… Кто знает? Может быть, этим общим именем своих первенцев смущенный Аркадий Павлович стремился сообщить какой-то строй и стиль своей жизни, сбившейся с пути.

Александра Андреевна продолжала до самой смерти своей грустно и молчаливо любить мужа, и очень скоро она превратилась из голубоглазой строгой красавицы в старушку, ездившую на старой бричке в городской банк отсрочивать уплату процентов с заложенного имения.

Дети помнили внезапные приезды судебных приставов для описи перезаложенного имущества, когда мать запиралась в дальних комнатах, сказавшись отсутствующей, а детей посылали прятаться в сад. Потом мать снова ехала на старой бричке в город к влиятельным знакомым, и дело временно улаживалось.

Она страстно любила своих первенцев Евгения и Марию и была холодна к остальным, родившимся в годы ее унижения, одиночества, угасшей любви. Старшая дочь и три сына учились в закрытых учебных заведениях и мало бывали дома. Младшие, Наталия и Людмила, не учились вовсе: они жили при матери в деревне и, как тогда говорили, «приучались к хозяйству». Людмила, младшая, обладавшая легким характером отца, быстро покинула неласковое родительское гнездо, она вышла замуж, не достигнув совершеннолетия. Наташа осталась одна. На ее детские плечи легла вся тяжесть материнского горя. Оно отравляло,

казалось, самый воздух затхлого лужинского дома. Все напоминало вокруг, на что ни взглянешь, об одном, об одном!

В заброшенной отцовской оранжерее при каждом шаге звенят разбитые стекла; на старых кустах крыжовника, заросших высокой травой возле самого дома, ягоды покрыты серыми шершавыми болячками, их никто не собирает; в огромном яблоневом саду за домом стоит теплый густой аромат — так пахнет «падалица», сплошь покрывающая землю. Яблоки падают во множестве от червяков, от болезней. Надкусишь в поисках самого сладкого и бросишь — не жалко! Все равно приедут арендаторы, соберут их в душистые груды, увезут…

В глубине сада пруд, сплошь заросший вязкой тиной. Посреди него — островок. Туда ведет гнилой мост, вот-вот обрушится. На острове безымянная могила. Вместо креста на ней лежит каменный жернов. Есть предание, что здесь покоится католический ксендз, бывший некогда владельцем Лужина, он убит за какие-то грехи своими же крестьянами. Ночью он встает из могилы и бродит в тоске неуспокоенной совести, и звонят перед ним невидимые колокольчики, как звонят они в костеле во время богослужения. Маленькая Наташа не раз слышала этот звон, когда просыпалась на рассвете. Как хочется девочке вырваться в какую-то иную жизнь! Больше всего ей хочется учиться. Сколько пролито было ночных одиноких слез — они-то и определили несомненно в будущем болезненные стороны ее души. Сколько бесплодно проведенных часов над заманчивыми и непонятными учебниками, выпрошенными у старших братьев и сестры. Какая жажда внимания и ласки — и в ответ усталый взгляд суровой матери или оскорбительно-легкая мимолетная ласка отца. Девочка росла болезненной, как тогда говорили, «слабогрудой», с постоянной обидой на сердце. Но, наперекор всему, она выросла красавицей на загляденье, и у нее не было недостатка в женихах. Не приходила только любовь. И вот, на двадцать третьем году, она встретилась с Дмитрием Михайловичем.

Когда она впервые заглянула в его глаза? Может быть, они и танцевали уже зимой вместе на балах… Но семейным преданием было установлено, что настоящая «роковая» встреча их произошла в Вербную субботу во время всенощной службы в храме. В этот вечер было принято приходить молящимся со свечами и с букетами цветущей вербы. Наташа заметила, что у молодого офицера не было в руках вербы, и, когда он проходил мимо, она протянула ему несколько веток, отделив от своих. Он молча взял и остановился позади нее близко за плечом. Она не смела оглянуться. В храме было светло и торжественно, огни

отражались в глазах, а за стенами храма на воле шла в это время по земле самая ранняя, самая чистая весна. Оба они были молоды, красивы, обоим хотелось любить. Вскоре Дмитрий Михайлович приехал в Лужино просить Наташиной руки.

— Знаете ли вы, — сказала аккуратная старушка, — что она у меня слаба и часто болеет? Знаете ли, что у нее нет приданого?

— А мне она именно такая и нужна, — ответил Дмитрий Михайлович. Осенью они повенчались.

Среди пожелтевших от времени, исписанных старинным витиеватым почерком семейных документов хранится письмо деда по материнской линии, Дмитрия Михайловича, адресованное к будущей воображаемой невесте внука, в то время еще воспитанника сиротского училища. Сохраняем стиль и орфографию письма:

«21 февраля 1885 года.

Митуля, Бабуша прислала мне твое письмо, оно мне очень пондравилось. Да, ты человек, молодчина, хорошо учишься, не ленишься, то и о женитьбе подумать недурно. Но один часок, а через год — два часка, и так до двадцати четырех часов, и все это время насматривать Прелесть. И когда, верно, ты уже будешь профессором, то и жениться не худо, тогда жену выбирать… можно — Прелесть! Будет чем ее кормить, поить и одевать. А что ты будешь хорошим мужем, то во свидетельство покажи ей это мое письмо:

Милостивая Государыня, будущая моя внучка, смело отдавайте сего подателю сердце, руку и даже обе ваши малюхотенькие ножки. Я вам за ваше счастье с ним ручаюсь, лишь всмотритесь в его карие очи, как они прямо, чисто смотрят. Преданный ему и его будущей супруге ваш дед».

29 октября 1899 года у молодых супругов родилась дочь. Первым признаком предстоящей жизни ребенка было данное ему при крещении имя Калерия. В святцах написано: «Калерия, тож Валерия». Тяжеловесное, суровое, не то монашеское, не то купеческое имя это понравилось неопытным родителям своей необычностью. Но жить с таким именем было нелегко.

Девочку звали уменьшительным именем Ляля. «Счастливое детство — это выдумка благополучных людей», — напишет Пришвин на полях первого наброска этой биографии. И вправду, детство часто — самое трудное время первых суровых опытов незащищенной души. Мать рассказывала: Ляле три года, ее держит нянька на руках, и они вместе наблюдают проходящую за окном по улице похоронную процессию. Девочка потрясена впервые дошедшим до нее сознанием смерти, она рыдает,

повторяя: «Не хочу, чтобы люди умирали!» Долго не могут ее успокоить.

Так чувствует трехлетний, впервые пробуждающийся сознанием ребенок. Так думает и гений человечества в расцвете мысленной силы — Толстой. В ту известную нам всем ночь его «арзамасского страха» он записывает в дневнике: «Ничего нет в жизни, есть только смерть, а ее не должно быть»[7].

Напрасно люди тщатся поставить новые нравственные задачи и открыть их решения: все уже открыто глубокому сознанию, будь то малый ребенок с душой, еще не замутненной опытом жизни, или старик, ставший на путь очищения сознания — возврата к детству. И задача каждого нового поколения сказать все о том же старом, давно известном мудрецам и детям, но так, чтоб стать понятным своим современникам: найти новый образ старой вечной истины. У каждого времени свой язык, но сколько ни живут люди на земле, задача каждого нового поколения сводится все к одному: к победе над смертью.

Идут мутные серые годы, точно нанизанные на одну тоскливую нитку. Такими остались они в памяти. Одно из первых воспоминаний времени революции 1905 года. Девочка просыпается ранним зимним утром от фабричного гудка, сзывающего на работу. Ей тепло в чистой постели. Но она холодеет от сознания, что есть какие-то люди — рабочие, о которых она иногда слышит от взрослых, те, кто должен сейчас по гудку просыпаться, выходить из теплых домов в темноту и на холод, идти на грязные и душные фабрики. Это люди из другого страшного мира, все их жалеют, и как хорошо, что она никогда в тот мир не попадет! Отчего же она не может об этом мире не думать? И отчего она стала бояться рассвета, и отчего раннее утро стало с тех пор вызывать в душе непонятную тоску?

То же чувство недоумения и стыда, что и при фабричных гудках на рассвете, испытала однажды Ляля, зайдя с матерью в домик к знакомой белошвейке. Она видела у матери ее работу — что-то воздушное, поразившее тончайшим мастерством и изяществом. Ей казалось, что такие вещи делают, играя и смеясь, нежными прекрасными руками. У белошвейки в комнате было тесно, темно и дурно пахло. Она стеснялась пришедших, стояла у корыта, вытирая передником большие красные руки, и на лице ее отчего-то было виноватое выражение.

Пройдет еще десять лет, и Ляля вернется к этой детской своей тоске. Случится это одной августовской ночью, тоже на рассвете. Тогда-то она и поймет, что все люди, без исключения все, неотделимы в судьбах своих друг от друга. Тоска была вернее всего предчувствием стоявшего у порога возмездия,

накопившегося за времена еще такого недавнего рабства в России. С другой стороны, она была предчувствием конца: своей ли жизни, всего ли белого света? Эта тоска на протяжении человеческой истории овладевала не раз не только отдельными людьми — целыми народами и заставляла готовиться к концу мира. Люди надевали белые одежды, оставляли свои земные дела, но бывали неизменно обмануты: конец не наступал. Может быть, и всегда эсхатологическое чувство рождается на пороге нового времени, когда над тьмой человеческого страдания расцветает новый день? Так рождался образ конца мира и у целых народов и у ребенка, едва начинающего жить. Пройдет несколько десятков лет, и Ляле встретится человек, который скажет: «Я человек не концов, а начал»{8}, и всю жизнь свою отдаст на прославление начал жизни. Она увидит свет в этом человеке, почувствует, что он стоит у горнила современности, где выковываются в новых формах все те же неизменные вечные истины, насущнейшие, как хлеб. И ей захочется отдать ему свою, уже, казалось, загубленную жизнь.

Девочка рано начала читать, и с тех пор у нее пошло двойное существование: она поняла, что жизнь можно переделывать по-своему. Лишь только ее уложат спать, и мать, привычно перекрестив на ночь, уйдет из детской комнаты, у Ляли начиналась увлекательная жизнь. Вглядываясь в темноту, горящая от волнения, она сочиняла счастливые концы к грустным историям, прочитанным за день: разве можно было оставить жизнь в таком горестном беспорядке! Она чувствовала себя полновластной хозяйкой чужого счастья и часто плакала слезами восторга перед открывавшимися ей возможностями любви и добра. Никто не знал об этих ночных ее пирах.

Вот какие еще мысли жили в ее сознании, и она хранила их от взрослых как свои тайны. Первой тайной было, что все вокруг только кажется, а на самом деле мир *иной,* и надо постараться застать жизнь *без себя.* Девочка пытается поймать ускользающую действительность, внезапно подглядывая через щель дверей в соседнюю комнату, откуда слышатся голоса взрослых. Но опыт ни разу не удается: мир успевает мгновенно переделаться, ускользая от ее глаза.

Интересно, что Лев Толстой вспоминает из своего детства о подобном, но прямо противоположном по смыслу: «Я воображал, что кроме меня никто и ничего не существует в мире, что предметы — не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я на них обращаю внимание»{9}. Для Толстого-ребенка мир не существовал помимо него, для Ляли мир жил своей закрытой

для нее жизнью, в которую она пыталась проникнуть. Этот мир был живой и реальной тайной. И так, вероятно, происходит у всех в забытом взрослыми детстве. Поражает единство переживания жизни у детей, словно есть у всех общее сознание, словно все мы незамутненным взглядом через край своей отдельной лодочки прямо смотрим в великий океан, а после медленно слепнем и дальше уже на ощупь, смотря по дарованию, пытаемся воплотить в дела или образы постепенно бледнеющие воспоминания.

Другой тайной девочки была мысль: «Что было бы, если б ничего не было?» Мысль эта восхищала своей невместимостью в сознание: это был образ чистого небытия, и Ляля не позволяла себе задерживаться на нем вниманием.

Тогда же у девочки начались ночные кошмары, бесследно прошедшие с ее физическим созреванием. Ей виделся кусок окружности земного шара, покрытый волнующимся серым водянистым туманом, — как огромность задания, которое она должна осуществить. Среди тумана единственной определенностью был маленький кривой забор, ограничивающий окружность, — как бессилие перед величием заданного ей в жизни дела. Иначе и не растолкуешь сейчас эти сами собой рождающиеся символы. И второй постоянный кошмар: огненная дорога в бесконечность, как окончательная гибель, как безвозвратность. Среди огня стояли аккуратные выбеленные столбики, ограждавшие по двум сторонам огненное шоссе. Ненужная красивость их на дороге, откуда нет возврата, была столь невыносима, ужас был столь велик, что ребенок начинал кричать, покрывался холодным потом и, обессиленный, возвращался в сознание на руках у взрослых. Родители никогда не уходили из дому по вечерам до определенного часа, пока не наступал крепкий сон.

Отец и мать были для девочки разными существами, хотя обоих она в те годы страстно любила. Наталия Аркадьевна, нашедшая в муже все, чего была лишена в детстве — не только отцовскую заботу, но и материнскую нежность, расцвела. Она умно и трудолюбиво вела маленькое хозяйство. Вместе с тем она любила все удовольствия жизни, обычные для ее круга: вечера, приемы гостей, театры, сдержанное поклонение восхищенных ее красотою мужчин. По вечерам из гостиной доносились модные в те годы цыганские романсы, столь не шедшие к робкому, непоставленному голосу матери. Нарочито «жестокие» интонации звучали фальшиво, и девочка радостно переглядывалась с отцом, когда мать переходила на простые русские песни: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» или «Вьется ласточка

сизокрылая». Любимым романсом отца была «Ночь» Чайковского: «Отчего я люблю тебя, светлая ночь… оттого, может быть, что далек мой покой».

Отец был счастлив своей любовью к семье, но он не был духовно удовлетворен. Настоящий покой от него действительно был далек. Этот простой, правдивый и углубленный в себя человек шел не по своему пути. Он сознавал это смутно, как смутно чувствовали в нем существо иного, высшего порядка все соприкасавшиеся с ним люди. Достаточно было войти Дмитрию Михайловичу в любое общество со своим приветливым и в то же время необычным выражением, как люди, не отдавая себе отчета, невольно подбирались: умолкали недобрые сплетни, тщеславное остроумие. Иное настроение проникало незримо вместе с Дмитрием Михайловичем и веяло над людьми. Человек этот ничего не достигал, живя в рамках самого обыденного, но он облагораживал все, к чему прикасался, и возбуждал если не всегда любовь, то неизменно, без всяких исключений, уважение. Был он внимателен и даже оживлен на людях, но в себе — молчалив.

Чем бы занялся Дмитрий Михайлович, если б судьбе угодно было иначе им распорядиться, если бы кто-то вовремя разбудил его ум, по-русски дремлющий, чего-то ожидавший?

Мать заботилась о дочке, прививая ей свои привычки, иногда с болезненной нервозностью. Тяжелое детство не прошло для нее бесследно: у этой молодой счастливой женщины вызывали, например, тоску весенние лучи, журчанье ручьев, праздничные дни — многое, что радует и украшает жизнь всех людей. Сколько было слез и взаимного непонимания у двух женщин — маленькой и большой, причем трудно сказать, кто из них был ребенком в этой борьбе. Тяжелее всего для девочки были требования откровенности. Самой большой ее потребностью как раз и было кому-то открыться. Но как это сделать, если туманный клубящийся мир, в котором она жила, был ей самой еще непонятен? «Девочка была огонь в обществе, но погружена в себя наедине. Каждый ребенок своей живостью скрывает свою тайну», — записывает на конспекте этой работы Пришвин.

Случались ссоры и примирения со слезами раскаяния, жалости, но близость матери с дочерью не увеличивалась.

С отцом было иначе. С ним можно было взяться за руки и молча идти по улице: высокий плотный военный и с ним девочка, розовая, большеглазая, круглолицая, как две капли воды похожая на отца. Изредка можно было перекинуться понимающим взглядом по поводу встречной собаки — все собаки по дороге в гимназию изучены и знакомы «в лицо». О чем-то можно было

коротко спросить, но еще лучше было вместе молчать. Это они оба любили.

Вечерами девочка становилась за креслом отца, когда он перебирал за письменным столом бумаги, и так простаивала часами, обняв отца и время от времени целуя сзади его голову. Родной запах оставался в ее памяти долгие годы.

Так продолжалось глубокое воспитание молчаньем. Но и с отцом, даже с ним, невозможно было ей до конца преодолеть одиночество. Запомнился один вечер. Взрослые сидели за медленным вечерним чаем. Девочка стояла у большого окна и смотрела на небо. Конечно, не впервые видела она ночное звездное небо, но пришла такая минута понимания: для девочки она была неповторимым и единственным переживанием, а для взрослых, сидевших за чаем, продвинулась только на одну черточку стрелка больших столовых часов. Девочка смотрела в зимнее небо, блиставшее звездами. Душа ее была потрясена, и она заплакала.

Что с тобой? — спросила тревожно мать.

Звезды, звезды… — повторяла девочка сквозь рыданья.

Что поняли взрослые, что подумали? И вот отец, горячо любимый отец, поднял голову от газеты, сурово нахмурился и сказал одно только слово:

— Нехорошо!

Много лет спустя дочь поняла, что осудил в ней отец в тот вечер. Он, добрый, молчаливый человек, знал за собой провалы в гнев и раздраженье, редкие минуты потери самообладания и потому боялся всех проявлений нервозной чувствительности.

Девочка наблюдала однажды отца в безудержном гневе. Было это, по-видимому, в первые годы после революции 1905 года. Однажды смущенная кухарка шепотом сообщила матери, что на кухне дожидается женщина из соседних железнодорожных мастерских, она плачет и просит повидать отца. После недолгого разговора из кухни вышел своим тяжелым крупным шагом отец и быстро стал куда-то собираться. Трудно было узнать его лицо — так оно было искажено гневом. Наталия Аркадьевна встревожилась, просила его обождать, одуматься. Но он резким движеньем отвел ее руку, сунул в карман револьвер и ушел из дому. Оказалось, он уехал хлопотать о незнакомом человеке, которому угрожало страшное наказание. Кто был этот человек, каково было его преступление, что, кроме простого сострадания, побудило Дмитрия Михайловича вмешаться в судьбу, по-видимому, рядового рабочего? Никто теперь на этот вопрос не ответит. Девочка помнила лишь семейный рассказ, что после того у отца были какие-то по службе «крупные неприятности».

И еще одно обстоятельство врезалось в ее память: после того случая отец перестал заряжать револьвер. Может быть, он в гневе выхватил его в комнате какого-нибудь начальника? Но зарок этот он выдержал до конца, и это однажды спасло ему жизнь.

Поздним осенним вечером отец возвращался домой, и у самой двери его грубо остановили в темноте неизвестные люди: «Давай оружие!» Отец без сопротивления отдал револьвер. Один из нападавших схватил его и, направив на Дмитрия Михайловича, нажал курок. Выстрела не последовало. Еще нажал, еще…

— Не заряжен! — вскричал напавший испуганно.

— Я его не заряжаю никогда, — сказал Дмитрий Михайлович.

— Почему? — спросил неизвестный в крайнем изумлении.

— Чтоб не убить вгорячах человека.

Были это простые бандиты или политические террористы — неизвестно. Они бросили револьвер к ногам Дмитрия Михайловича в грязь и скрылись. Правда в это мгновение Наталия Аркадьевна, поджидавшая мужа, услыхала голоса на улице и стала открывать дверь. Может быть, спугнули ее шаги.

И немного позднее из обрывков взрослых разговоров она узнает: у отца снова какие-то «неприятности» — за Дмитрием Михайловичем шла дурная слава либерального офицера. Неизвестно, как бы на этот раз обернулась его судьба, но заступился за него человек, о котором справедливо будет здесь рассказать. Человеком, старавшимся делать добро в условиях своего времени и своего положения и заступившимся за Дмитрия Михайловича, был шеф корпуса жандармов Владимир Федорович Джунковский{10}. Вот что удалось много лет спустя узнать мне о нем. Гвардейский офицер с придворными связями, он был назначен на место убитого народовольцами великого князя Сергея Александровича — московского губернатора. После того, ко времени войны 1914 года, он был назначен товарищем министра внутренних дел и шефом корпуса жандармов. Будучи на этих постах, он открыто участвовал в борьбе с Распутиным и за это был смещен со всех своих влиятельных должностей. Известно, как вел себя Джунковский в отношении всех подвластных ему людей, — рассказывали о посещении им политических заключенных в их камерах, о хлопотах за них, о спасении многих.

У Дмитрия Михайловича не было близких друзей. Он выписывал и покупал книги без системы, без понимания. В доме, уже на памяти Ляли, появился большой стенной шкаф, который стал заполняться нарядными новыми переплетами. Рядом с Лермонтовым стал Надсон, рядом с Львом Толстым — Шеллер-Михайлов{11}. Отец переписал красивым твердым почерком ходившую по рукам «Крейцерову сонату»{12}. Где-то он услыхал об

индийских йогах, где-то — о физической культуре Запада (стал по утрам делать гимнастику «по Мюллеру»); где-то — о новейших открытиях Лондонского общества психологических исследований. Своими открытиями он делился только с одной дочкой. Теперь, оглянувшись назад, ясно видишь, как хотелось отцу сдвинуть с места свое застоявшееся существование, но он сознавал себя необразованным человеком российского общества времени так называемой реакции.

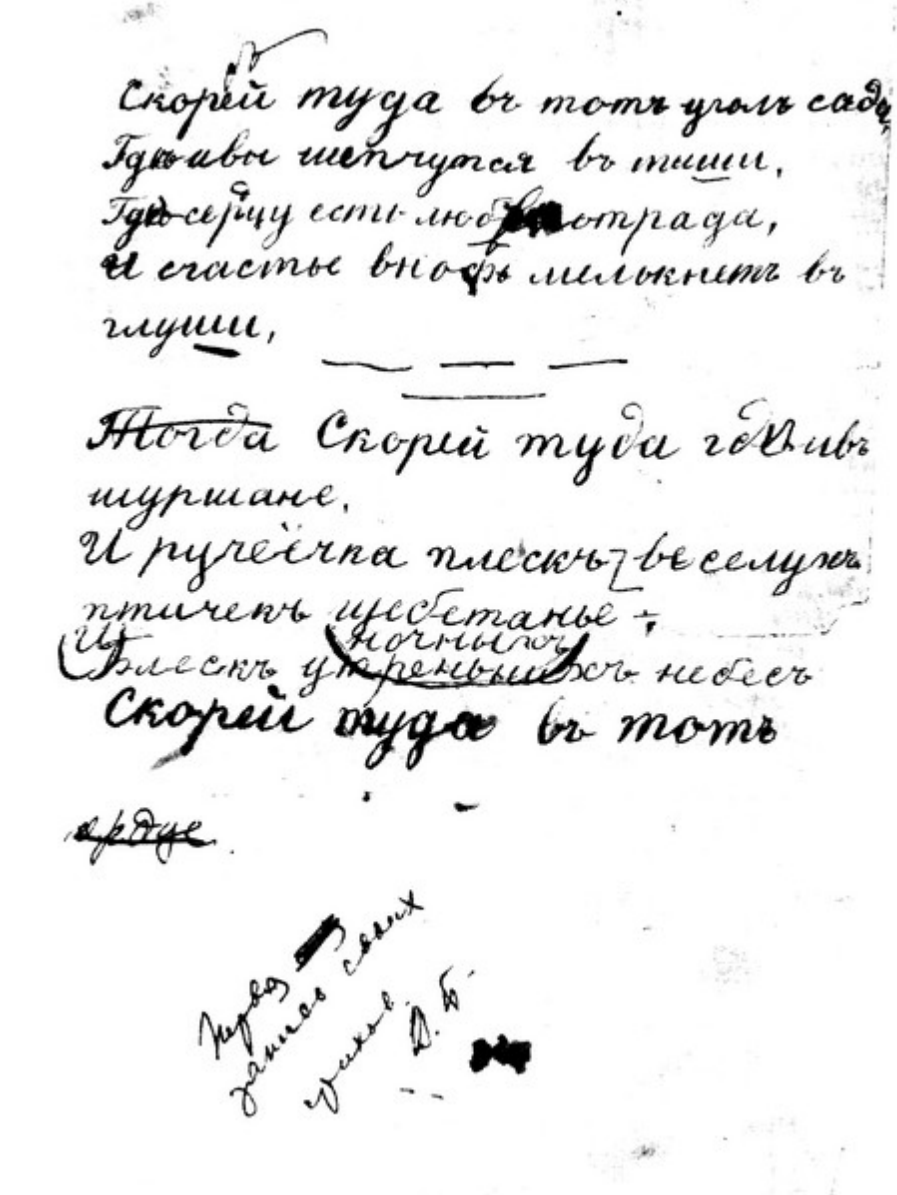
— Был бы я лесником, — говорил он, — жили бы мы с вами в лесу… — Дмитрий Михайлович грустно улыбался, он не знал вокруг себя примера, чтобы можно было развалить и заново устроить накрепко сколоченный быт. Девочка тоже понимала: им не увезти в лес с собой свою красивую и слабую мать. И жизнь продолжалась — прежняя, навсегда установленная.

С годами стираются впечатления, но отдельные картины и события сохранились, часто именно те, что, казалось, меньше всего близки пониманию ребенка. Отчего так? Много может быть ответов, и один из них — что неопытная душа ребенка ближе к той общей «утробной» жизни Природы, где все мы друг от друга еще неотделимы. Вероятно, величайшее дело жизни состоит в том, чтобы выйти из-под бесчисленных внушений и взглянуть на мир и на себя свободными глазами. Возможно ли это? Где границы этой последней свободы и достоверности? Эти вопросы не возникали, конечно, в сознании ребенка. Он, как и все, обречен был впитывать внушения быта, среды, окружающих. Внушения шли от родителей, от няньки, от подруг, от книг, от случайно подслушанных слов взрослых. Слова эти, так или иначе, воспринимались девочкой и начинали жить в ней своею собственной жизнью. И вот сейчас, обернувшись назад, мы пытаемся заглянуть в тот котел, где кипело и варилось будущее начинавшего жить нового человека.

Первые прикосновения современности девочка почувствовала в свои четыре года: она сидит на ковре у ног взрослых и рассматривает картинки Японской войны в иллюстрированном журнале «Нива»[13]. Где-то высоко над нею у лампы взрослые читают газеты и перебрасываются тревожными фразами о войне. На картинках — проволочные заграждения, и на них маленькие раскосые японцы с тонкими ножками, как жуки на булавках, и русской девочке их жаль, и непонятно ей, зачем людей нужно насаживать на колючки.

Дальше выплывает из памяти, как они с матерью возвращаются по темным и необычно пустынным улицам. Мать торопится, тянет ее за руку, вот они уже бегут. Слышится стрельба. Хлынула откуда-то беспорядочная толпа. Мать

бросается под арку ворот. Свистят пули. Проносятся на лошадях военные люди. Улица мгновенно становится пустой, словно ее промела невидимая гигантская метла. Вечером в комнатах не зажигают огня. Что-то страшное совершается за пределами дома.


Скорей туда въ тотъ уголъ сада,
Гдѣ вы шепчутся въ тиши,
Гдѣ сердцу есть любо отрада,
И счастье вновь мелькнет въ глуши.

Скорей туда гдѣ вы шуршане.
И ручейка плескъ веселый
Птичекъ щебетанье
Плескъ ночныхъ
Скорей туда въ тотъ

Детские стихи В. Д. Пришвиной.

Новой радостью и новым волнением была проснувшаяся в ее душе музыка после того, как она узнала о существовании стихов.

Теперь почти всегда внутри что-то пело, ритмически раскачивалось, пыталось сказаться словом. Стихи — это был Океан, незримый, плескавшийся мерно рядом с ее душой, которому отныне ее душа принадлежала.

В восемь лет ей подарили том Лермонтова, и это определило всю ее жизнь с детства до старости: «Есть речи — значенье темно иль ничтожно, но им без волненья внимать невозможно…»{14} Лермонтов в полном смысле этого слова поглотил ее жизнь. Вероятно, он первый открыл ей то зрение в глубину, где живет у каждого одинокая душа, страстно жаждущая своего выражения, своего выхода, как цыпленок из яйца, как бабочка из куколки, как семя, когда оно созрело и только ждет движенья ветра. Она разыгрывала «Демона» и «Хаджи-абрека»{15} со своей куклой, артистов было двое, зрителей не было ни одного: артисты играли в пустом зале.

До гимназии у девочки не было подруг, она жила в обществе взрослых. От первых гимназических лет в ее памяти сохранились тоже только отдельные картины.

В гимназии, куда девочка поступила в 1909 году, гимназистки носят тайно под передниками красные банты: это запретное наслаждение риска, смысл его до первоклассниц не доходит, но они мужественно подражают старшим классам и рискуют отметкой за поведение. У тех же первоклассниц есть еще одно смущающее Лялю тайное наслаждение: в этом маленьком полуеврейском городке русские девочки, возвращаясь домой после уроков, любят столкнуть иногда с тротуара маленького еврея, если он окажется слабым и проявит признаки страха. Те же русские девочки только что сидели за одной партой с еврейками, они с возмущением вступились бы за своих подруг при малейшей попытке их обидеть. Дети никогда не говорили между собой об этих поступках, вероятно потому, что в глубине души стыдились их.

В это же время, верным слухом улавливая тон своего времени и отзываясь на него, Ляля переживает настоящее вдохновение: голова горит, сердце часто бьется, дыханье захватывает, и из этого выходят детские, подражательные, очень плохие стихи, которые записываются с таким же дрожаньем губ и рук, с горящими щеками, как это, вероятно, бывает у настоящих поэтов. Скорее не стихи, а рифмованные лозунги… в те годы слово это не было в употреблении. Но для автора и для ее десятилетних подруг они звучат высокой гражданской поэзией:

Будем, братья, смело правду воспевать.
Будем злых и гордых правде научать.

Будем труд священный свято почитать,
Свет науки будем мыв толпу бросать.
Будем друг за друга все горой стоять
И, вперед стремяся, тихо угасать.
Пусть священный светоч маяком горит
И пускай да вечно он во тьме светит.

События цеплялись за события, они были разные, но чувствовалось, что все ведут к одному. По утрам взрослые ждут напряженно свежих газет, где пишут о каком-то «уходе» Толстого. Книги Толстого в окружении Ляли читаются плохо, больше вокруг разговоров о модных романах Вербицкой и Арцыбашева{16}. Но судьба Толстого волнует почему-то всех — читавших его и не читавших. Все, не сговариваясь, знают, что Толстой — это общая совесть своих современников.

— Умер! — говорит однажды отец упавшим голосом, разворачивая утреннюю газету…

Ребенок, конечно, не улавливает смысла событий, но слышит их тон и этим близок к художнику, который тоже оглушен шумом приближающегося будущего, в то время когда обыватель еще безмятежно наслаждается тишиной.

В эти годы девочкой овладевает страх расставанья с родителями — ведь умер же «бессмертный» Толстой! И если приходит этот страх, надо совершить решительный шаг, и все будет спасено: где бы ни застала ее мысль о страшном неминучем, у доски ли во время урока, на улице ли, в гостях — она должна упасть на колени и мысленно произнести заклинание против судьбы: «за папу, за маму, за Лялю». Все думают, что она поднимает оброненный мелок или споткнулась о край ковра в гостиной или о камень на мостовой. Никто не догадывается о ее секрете, а она терпеливо сносит подшучивания и выговоры.

Однако скоро она сама отказывается от позорно-слепой борьбы с роком: у нее рождается потребность найти смысл в стихийном переполняющем ее чувстве. Что в жизни все слепо, случайно и бездушно, что не от кого ждать помощи, ей и на ум не приходит, настолько исполненным смысла и живой силы кажется ей мироздание. Что ощущает она: глубину всей жизни или глубину своей собственной души? Кто был прав в детстве в опыте с подглядыванием в щелку за ускользающим миром: она… или Лев Толстой? существует ли вне меня объективный мир, или он лишь «мое представление»? И если принять первое «наивное» детское видение, то каков этот неведомый мир: бездушная машина или одушевленная Тайна? Как дикарь — дитя

человеческого рода одушевляет все явления природы, так и ребенок каждого нового поколения одухотворяет все явления жизни тем смыслом, той тайной связью, которая содержится как созидательная сила в глубине его собственного существа. Девочка ищет этот связующий смысл в океане видимой бессмыслицы, в океане разрозненных явлений жизни. Где найти опору сознанию? И она хватается за спасительный канат, брошенный ей окружающей средой. Нет, это был уже не канат, а лишь его обрывки, распадающиеся на глазах нашего поколения: это было воспитанное в народе за целое тысячелетие российское православие.

Будучи системой мировоззрения, пронизывающей всю жизнь, оно не только создавало высокое искусство, но проникало во все слои русского общества, связывало их в единый организм, называемый православной Россией, и создавало своеобразный быт, не похожий на быт ни одного народа в мире. Говорят презрительно: «быт», а между тем — это плоть жизни, без которой сама жизнь превращается в отвлеченную схему или небытие. Конечно, тот же быт может стать мертвым памятником существования, длящегося по инерции и мнящего себя жизнью, но в начале века в нашей жизни мы еще ощущали дыханье православия — как в этой простой записи из дневника Михаила Пришвина: «Мне помнится теперь то забываемое царское время, когда многие жили с открытыми сердцами, и в Светлое Христово Воскресение, бывало, в Москве, если хорошо поглядеть на незнакомого человека, да еще если он немного выпивши, то он возьмет, обнимет тебя и похристосуется. А то раз, помню, в марте в Москве на какой-то улице увидал свежие зеленые огурцы и начал их торговать. „А сколько, — спрашивает, — вам надо?“ — „Мне, — говорю, — много надо, десяточка два“. — „Нечего делать“, — говорит, и завертывает два десятка, и денег не берет, потому что, оказывается, я первый покупатель и для почину продать надо бесплатно. А то, помню, на Тверской вот дует кто-то меня в спину кулаком, оглядываюсь, незнакомая старуха ругается: „Ай ты глухой, кричу, и не слышит, скажи, родной…“… Так жили мы тогда с открытыми сердцами, и что из этого вышло?»{17}

Мы застали православие в трудный момент сомнений, а может быть, рождения новых, неведомых для нас форм жизни? Не знаю, но девочке знание православия открывалось в формах устоявшихся и привычных. Богослужебный круг в течение года раскрывал последовательно систему мировоззрения Библии — сборника священных книг древних иудеев и христиан. Это была

история создания мира и человека, его падения, спасения и воссоздания в будущей новой совершенной природе. Церковное богослужение сообщало значение каждому часу в дне, дню — в году, году — в мировом историческом и космогоническом процессе, который должен завершиться созданием нового человечества и новой вселенной: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали…»{18} Так кончается Библия Апокалипсисом — видением Иоанна, любимого ученика Христа. Многие тысячелетия люди питались образами и преданиями этого мировоззрения. После классиков русской литературы излишне будет описывать детскую радость рождественских праздников, возвышенную умиленность Прощеного Воскресенья, которым начинался Великий пост, собранную строгость долгих великопостных служб в преддверии Пасхи — праздника Воскресения Христова, торжественные службы Страстной недели — последней недели поста, и, наконец, Пасхальную ночь, когда толпа, как один человек, ждет первого удара колокола. Кто бывал в эту ночь на площади Успенского собора в Кремле среди напряженно молчащей толпы, тот помнит: все становились в эту минуту детьми, способными верить в победу Праведника над смертью. Первый удар колокола, шапки летят долой, и всех охватывает ни с чем не сравнимая в жизни радость.

Но в той же нашей литературе с гораздо большей страстностью описана непрочность этих минут увлечения мечтой и неоправданность мечты, со вкусом и большой изобразительной силой описаны все противоречия идеала и быта; на это не пожалели наши художники и поэты мрачных красок. Впрочем, так оно и было, и вся история была и, вероятно, будет до конца картиной бесчисленных измен людей своим мечтам. «Революция — это месть за мечту»{19}, — записал однажды в своем дневнике Пришвин.

Дом нашей маленькой героини — это была жизнь прекрасных людей. Доброта, благожелательность, физическая и нравственная чистота как благоухание возникают в памяти, когда сейчас, через многие десятки лет, представишь себе комнаты очень скромной квартиры на тихой провинциальной улице, обсаженной тополями. Комнаты эти были нарядны чистотой, теплом и множеством свежих цветов.

Входишь в переднюю. Направо дверь в маленькую, в одно окно, комнату горничной Жени. Она — старая дева, вся рябая от частых оспинок на лице. Женя — полька, живая, сдерживающая свою женскую неудовлетворенность. Над постелью у нее висит

гитара, украшенная цветным бантом, и по праздникам она куда-то уносит свою гитару, а в будни иногда приглушенно перебирает ее струны и вполголоса поет. Рядом с гитарой висит на гвоздике «сердце Иисуса», похожее на анатомический макет и вдобавок еще грубо позолоченное. Это священная реликвия Жени — благочестивой католички. На праздник Сердца Иисуса она снимает золотое сердце с гвоздика и идет с ним в костел, где носит его перед собой в процессии. В этот день улицы сонного маленького городка оживают.

Налево дверь в кухню. Там жили за занавеской, отделявшей огромную плиту, толстая немолодая кухарка Аннушка и ее «собственная» собака Бобик. Аннушка, в противовес Жене, была совершенно удовлетворена собой и жизнью, решительна в суждениях и откуда-то набралась прогрессивных идей. О ней запомнилось: в доме готовятся к приему гостей, и Аннушка говорит: «Ну что вы, барыня, зачем это выбрасывать? Пустим в дело: гости что свиньи — все съедят!» Другая сцена: мать что-то выговаривает Аннушке. Та снимает передник, швыряет его на пол и совершенно серьезно говорит: «Давайте расчет! Уеду в Америку, там выйду замуж». В конце концов Аннушка действительно вышла замуж за солидного пожарника и приходила вместе с мужем и с Бобиком по большим праздникам поздравлять.

Прямо из передней третья дверь в комнаты «господ». Гостиная, столовая и кабинет не интересны. Но вот спальня родителей с большим семейным образом и горящей перед ним всегда лампадой. Рядом детская комната, там стол, изрезанный перочинным ножом, полка с книгами, умывальник с сосочком и скамейка, на которую надо девочке стать, иначе до умывальника не дотянуться. Белая кровать и над ней образок целителя и мученика Пантелеймона. Он изображен юношей, держащим ящичек с лекарствами, а на руке у него висят розовые четки. Это был дешевый бумажный образок, наклеенный на доску, никаких признаков художества в нем не было, простая литография под грубый «народный» вкус, когда посмотришь на нее сейчас издали опытным глазом. И только теперь понимаешь, что ребенок, как и народ, вкладывал в образ содержание своей души и этим жил, это видел, а не дешевую бумажную иконку. Сквозь образ как сквозь окно он видел живой предмет своей веры и любви. Такими «окнами» и были иконы, почти невидимые за окладами, и непонятные славянские слова умершего языка, невнятно и наспех произносимые, и богослужебные символы, недоступные большинству молящихся по сложности их смысла. Все это создавало, однако, настроение, и в это настроение каждый привносил свой смысл. Этим, вероятно, и держалась

нравственная жизнь прежней России.

Девочка, как и все дети того времени, вместе с матерью в раннем детстве читала утренние и вечерние молитвы. Мир вечного света был для ребенка несомненен и близок; воротами к нему была икона, а ключом — устремленность молитвенного внимания. Это было простое предстояние источнику жизни с доверием к добру, надежда еще неопытной в мире зла души: «Огради, спаси!» Ей еще не было тогда известно, что от зла нет иного спасения, кроме мужества и решимости терпеть до конца, но своей вере не изменить. В этой решимости и заключается спасение. А если и бывает помощь как чудо, нельзя о нем сказать — это останется личной тайной каждого или само покажется непреднамеренно из каждого правдивого рассказа. Пусть будет так и у меня.

Чем была ее детская молитва? Ее единственная, доверчивая просьба была об ограждении от зла любимых родителей. Что зло существует где-то рядом — это она чувствовала и содрогалась иногда от страха. Первая исповедь в восемь лет — она была очень серьезна. Она воистину совершалась перед Богом, и потому не мешало, а, может быть, даже помогало, что священник оказался груб лицом, вдобавок горбат. Он слушал, ни о чем не спрашивая, не заслоняя главное своими вопросами…

Вся жизнь сменявшихся будней и праздников в России строилась по кругу евангельских событий, проникавших в быт людей всех классов и их связывавших. Праздники — это разноцветные огни лампадок во всех комнатах, новое платье, свежие цветы на столе, уставленном яствами. Первые три дня Пасхи — прислуга свободна, плита не топится, дверь в доме не стоит на петлях от поздравляющих («визитеров»), приезжающих всего на несколько минут.

Все знаменательное в *жизни* от рожденья и до смерти связывалось с церковью, но церковность оставалась часто пустой формой без понимания и души. В семье девочки была в этой форме душа, но вряд ли было понимание: в доме висели иконы, теплились лампады, отмечались праздники, но не было Евангелия, и его никто не читал.

В десять лет Ляле купили маленькую красную книжку за 18 копеек вместе с учебниками, как то требовалось школой, и вот девочка стала читать без участия взрослых эту книгу. Не толще любой современной брошюры, эта книга, с одной стороны, вызвала в мире величайшие споры, войны, зажгла костры инквизиции. С другой — вдохновляла простых людей на величайшие нравственные подвиги добра и терпенья, а гениев человечества — на величайшие творения искусства. Она создала

двухтысячелетнюю культуру, в которой нашей маленькой героине суждено было расти. Остатками ее и посейчас питается обнищавшее человечество.

Книга рассказывала о чудесных событиях. Чудесное не вызывало сомнений у ребенка — он сам, как чудо, недавно появился из таинственных глубин природы. Поразило в Евангелии другое: слова о совершенной любви, подобной солнцу: «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас; да будете сынами Отца вашего небесного; ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных… Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный»[20].

Эти слова, именно *эти* слова вызвали первые слезы духовного восторга у ребенка. Все забылось и растаяло в тумане прошлого, все поглотило время, но эту минуту она запомнила навсегда. Только раз на самой заре жизни у белой детской постели под бумажным Пантелеймоном она почувствовала богатство любви как величайшую реальность жизни, ее цель, как исчерпывающий смысл своего существования. Для этого стоило жить, ради этого было не страшно и умереть. Не об этом ли прочитала я позднее у Пришвина: «Путешествие ценно не так тем, что оно обогащает человека новым знанием, как тем, что открывает глаза на близкое. И есть такое путешествие в такую отдаленную страну, возвращаясь откуда люди могут понимать даже любовь к ближнему и даже к врагу. Только надо очень далеко уехать: я *там не бывал*»[21]. — «А я там была однажды», — могла бы откликнуться ему на эти строки Ляля, но тогда они еще не знали о существовании друг друга.

Жизнь ребенка пролетает над тяжелым бытовым временем, в более подвижном и отзывчивом на все потоке. И потому можно сказать, что только в «детской» комнате жизнь семьи бывает вполне современна. Так и Ляля жила, как бы вдыхая время или летя с ним, а жизнь ее родителей шла по заведенному, внушенному и привычному времени порядку.

После Евангелия, года через три, появился в детской Л. Н. Толстой. Это были «Исповедь», «Так что же нам делать?», «После бала». Смелые, бьющие в сердце слова о зле жизни впервые были услышаны подростком. Эти слова требовали не только любви, но и борьбы за любовь. Это и был голос современности, стучавшийся в каменные стены храмов, уже обреченные в скором времени на разрушение. Толстой ничего не нарушил в мировоззрении Ляли, он внес лишь корректив

действенности, может быть, отвлек от мечтательного мистицизма. «В религии она естественная, как будто религия есть биология, — запишет о ней впоследствии Пришвин. — Ни малейшего суеверия, ни малейшей мистики, и даже не любит луну»[22].

Любовь к старшим и воспитанное послушание спасли девочку от нигилизма и разрушения собственных основ[23].

Однажды за ужином отец рассказал, как он в молодости был свидетелем телесного наказания солдата — почти как у Толстого. Ляля потеряла сознание, и взрослые заметили это, лишь когда она беззвучно соскользнула со своего стула под стол. Именно после этого случая и начала она повторять себе евангельские слова, которые в свою очередь повторяли ее духовные отцы — все лучшие люди России: «Нет больше любви, как если кто душу свою положит за друзей своих»[24]. Много горького нужно пережить, чтобы понять, как слаб человек в своих лучших намерениях и как он самонадеян; понять, что плод жизни реален и у того, кто лишь *переносит* выпавшие на его долю страдания, как бы ничего не совершая; что охрана иногда не менее плодотворна, чем действие, что имеющие силу радоваться жизни подчас делают для человеческого общества больше, чем его величайшие преобразователи. А «преобразователи» и «спасители» нередко бывают творцами войн и погубителями жизни.

Впрочем, то служение «страдающему брату», о котором мечтает Ляля, должно наступить для нее еще не скоро. Ей можно еще прислушиваться к бесполезной музыке своей души, шептать про себя строки стихов, радоваться весенней природе; краски, запахи, звуки — их дивный согласный строй входит в сознание как огромный мир чистой радости, незамутненной никакими «вопросами». Томительно ожидание в городе весеннего переезда в деревню, бесконечными кажутся хлопоты взрослых, пока наконец все садятся в поезд. На маленькой станции охватывают волны деревенских запахов, распахивается дверь в зеленое и голубое, и она бежит ему навстречу, оставляя взрослых с их делами и вещами, бормоча уже знакомого Фета:

> Листья полны насекомых,
> Все растет и рвется вон из меры…[25]

Она бросается в траву ничком, прижимается к земле, счастливых слез ее никто не видит. Никогда больше не повторятся в ее жизни эти детские полные встречи с весенней природой, и она будет вспоминать о них с тоской как о безвозвратной утрате. «Последняя правда, что мир существует

таким прекрасным, каким видят его дети и влюбленные»[26], — читая это у Пришвина, невозможно было не вспомнить те детские слезы в траве много лет назад.

С пробуждением острого чувства природы пробудилось еще одно сильное и тревожное чувство, которому нигде не находилось объяснения. Его можно было назвать тоской по счастью, но оно таило в себе какую-то угрозу, как будто за ним скрывались одновременно и свет и тьма. Это была жажда не той любви, жертвенной и сострадательной, воспитанной в ней Евангелием, как мерило добра и зла на Земле; и не той, которую она испытывала при встречах с природой; нет, это была жажда любви к единственному избранному ею существу, и это была любовь для себя. Девочка стала мечтать о брате и просить об этом наивно мать. Но мать отвечала смущенной шуткой: она не могла иметь детей после тяжелых первых родов.

Детство вспоминается, как медленный путь в густом тумане. В этом тумане и пережита первая любовь к мальчику, всегда сидевшему на заборе соседнего дома. Он никогда не принимал участия в играх детей во дворе, но, овладев высотой, надменно и победоносно дразнил оттуда девчонок, запуская им в косы колючие шишки дедовника. Ляля не запомнила даже его лица. Так и осталось непонятным, чем он возбудил острое и грустное чувство первой любви, доставившее столько стыда и огорчений. Можно считать, что отсюда начинаются у девочки поиски «героя» ее жизни, долгие поиски, причинявшие одно лишь страданье в смене событий и лиц.

Ей было двенадцать лет, когда на детском вечере во время рождественских каникул ее пригласил на вальс молодой студент. Через несколько дней он приехал с визитом к родителям. Когда он вошел в гостиную, ей это было как солнце во тьме, незнакомое до тех пор счастье — сознания не было, один всепоглощающий свет. Студент о чем-то снисходительно спросил ее, краснеющую, смущенную, она что-то робко отвечала. Он уехал в Петербург в Университет. Больше не появлялся. Но жизнь теперь была до краев заполнена: в нее влилась новая сила. Серый туман одиночества и ожидания растаял. Мечты о возможной встрече, воображаемых разговорах; и приближение — рука в руку, взор во взор. Какие признания она готовит? какие слова слышит в ответ? Так продолжается год, может быть два. Но ничего не приходит в ответ ожиданиям. И вот однажды весной она возвращается из гимназии и видит: по мостовой едет извозчик, в пролетке — он, в знакомой студенческой фуражке, до странности такой же, каким она помнила его все эти долгие дни своей любви. Он не

изменился и от этого как-то победнел. Но она… сколько новых сил ей прибавилось, как она выросла за это время — только теперь при встрече она это в себе поняла. Он смотрит невидящими глазами на дома, на прохожих, на нее, прижавшуюся к стене дома, уронившую сумку с книжками, только бы самой не упасть. Он ее не узнает, да, он ее и не вспоминает — он проезжает мимо! У Ляли медленно кружится голова, но легкую девочку поддерживает стена дома, она быстро поднимает книги, оглядывается: никто ничего не заметил, извозчик проехал, и с ним навсегда исчезла ее неразделенная любовь, как комета, орбита которой однажды пересекла путь Земли.

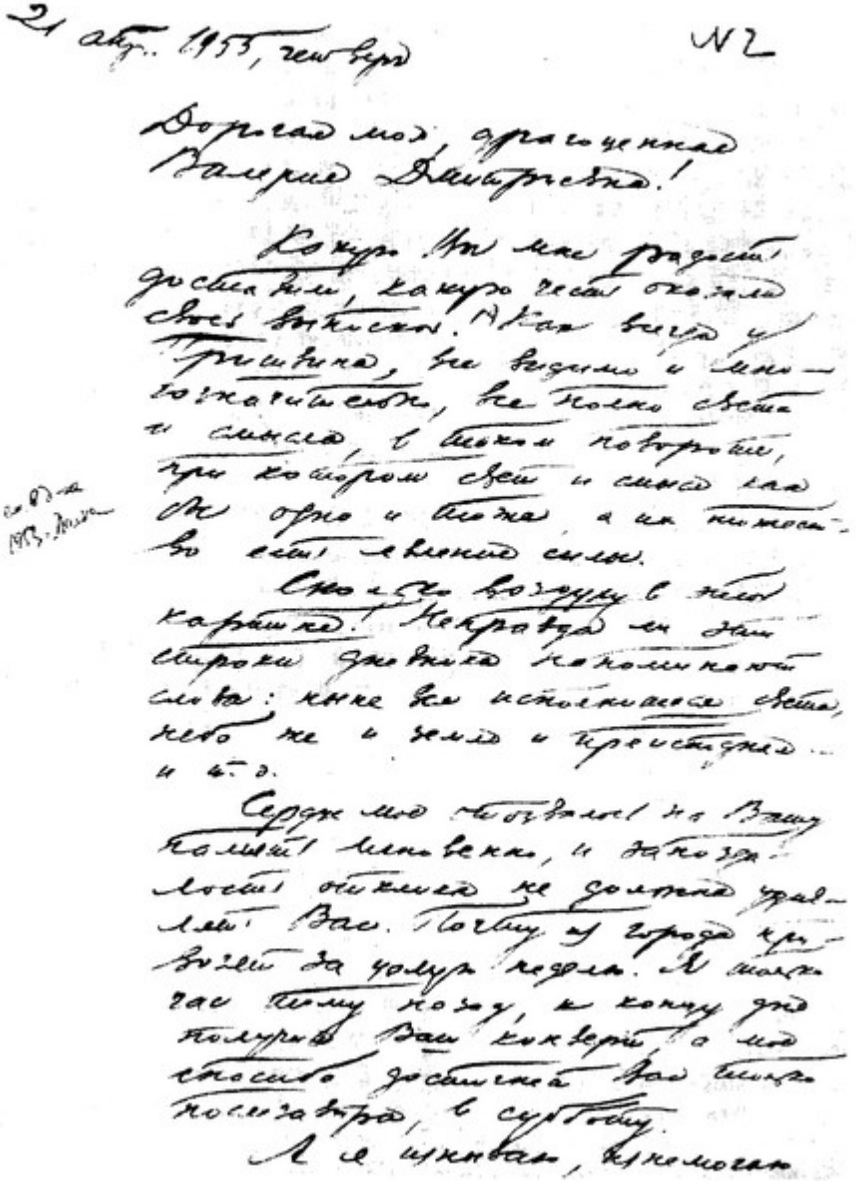
Через много лет Ляля услышит от Бориса Леонидовича Пастернака в его чтении из неопубликованной тогда еще автобиографии{27}, что терять в жизни более необходимо, чем приобретать, что надо жить не уставая, смотреть вперед и питаться живыми запасами, которые совместно с памятью вырабатывают забвение. Она слушала тогда и удивлялась правде этих слов и вспоминала: так именно и случилось с нею на пороге ее юности — новые силы встали на помощь, и любовь прошла. Ляля почувствовала себя свободной: это был не *тот*. Но где-то ведь *он* существует?

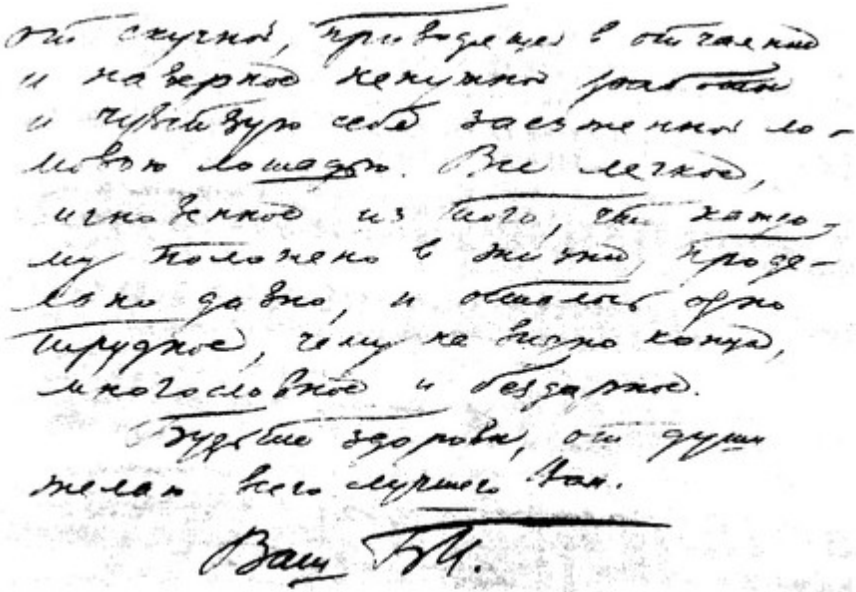
И она ожидает его изо дня в день, из года в год всю жизнь. Иногда она выходит на улицу безо всякого дела — у нее тайная игра с судьбой: она ожидает его из-за каждого утла, из каждой открывающейся двери, в каждом встречном лице. Она бормочет:

> Черной улицей, грубо оттепелью обнаженной,
> Бесстыдно выставляющей голые камни напоказ,
> Я иду с робкой и нежной надеждой,
> Почти безнадежной, что увижу вас.
> Я не встречу вас ни у одного из перекрестков…

Это обращение к еще не встреченному, но такому реальному, что она даже не решается ему сказать слишком интимное «ты». Да, так и будет длиться почти всю жизнь: «не он, не тот», всегда трезвое и суровое понимание, как голос совести: «Не тот!» Позднее этот мотив перейдет в новый, не очень понятный и ей самой: «я — не жена». Так будет, пока на пути не встретится человек, который увидит ее душу, оправдает ее поиски и принесет ее совести мир. «Ляля мне сказала, — запишет он, — что перед единственным человеком она не чувствует греха. А я на это ответил, что „единственный“ тоже себя так чувствует, и еще, что все ошибки в ее жизни свидетельствуют о праведности ее души, направленной к Единственному по слепому пути»{28}. Это

отталкивание от обычных форм человеческой любви и жажду в любви еще неведомого совершенства можно объяснить, вероятно, той самой жаждой, которая является основной движущей силой всякого искусства и мучает художника. В искусстве нас это не удивляет, но почему же не может быть художника любви?





Письмо Б. Л. Пастернака, адресованное В. Д. Пришвиной.

«Всякое искусство предполагает у художника наивное, чистое, святое бесстыдство рассказывать, показывать людям другим такую интимно-личную жизнь свою, от которой в былое время даже иконы завешивались… Путь художника есть путь преодоления этого стыда: художник снимает повязки с икон и через это в стыде укрываемое делает святым. Искусство это делает своими, единственно ему присущими средствами. Но Ляля, не владея никаким искусством, стала делать любовь свою как искусство. Вот почему только художник мог понять ее, и только художника могла она полюбить»[29], — пишет в своем дневнике Пришвин.

Неблагополучие в природе и у людей девочка ощущает очень рано. За светом, который Ляля однажды увидела в любви, живет еще какая-то тьма, которая и отталкивает и почему-то манит.

В доме «гости». Отчего ей стыдно за того господина, который сидит у них за столом? Ей стыдно, а может быть, и жалко того за его щеки, этого за нос, того за живот, а эту за ее пальцы, фальшивый голос, рассказ, вызывающий нечистый смех. Она решительно проводит разграничивающую черту: за чертой — стыдное. К «стыдному» относится и такое, когда тот господин говорит об этой вот даме: «Моя жена». Какая-то тайна скрывается людьми за их благопристойным видом, за стенами их домов, в их уютных спальнях. Недаром она отводит глаза от светящихся окон,

в которые тянет заглянуть с улицы: в людских жилищах совершается какая-то измена прекрасному, которым дышит природа и поэзия.

Пришвин позднее запишет об этом как о «невозможности выйти к „обыкновенному“ состоянию из своей „духовности“», справедливо взяв и то и другое в кавычки. И продолжит: «Может быть, не разумом, главное, человек отличается от животного, а стыдом… Вот с тех пор именно, как человек почувствовал стыд, русло реки природы сместилось и осталось в старице, а человек в своем движении вырыл новое русло и потек, все прибывая, а природа течет по старице, все убывая. На свои берега человек сам переносит и устраивает по-своему все, что когда-то он взял у старой природы… Сколько мы должны были сговариваться с Лялей, чтобы соединиться: я должен был пойти в церковь, она — пойти со мной на охоту»[30], — пишет Пришвин в дневнике.

Пройдет время, и Лялю встретят готовые образы великой мировой литературы: князь Мышкин и Настасья Филипповна, Эмма Бовари и Анна Каренина, или Лариса Островского, или его Катерина… Все они идут из-за любви на смерть. Но если бы продолжали жить «в благополучии», «в счастье», не получилось бы прекрасного — искусства. Где выход из этого противоречия? Просто подчиниться природе? Ляля бессознательно идет на ту же борьбу за совершенство в любви ценой страдания — около этой борьбы, впрочем, извечно блуждает человек, по-разному ее называя. Это борьба за лучшую природу. Пришвин называет ее в своем опыте «физическим романтизмом», определившим его жизнь: «Вся моя особенность, все истоки моего характера и поведения берутся из моего физического романтизма, из некоей силы, которая понимается с общей мужской точки как слабость. Тут все, и в книге „Жень-шень“ об этом я все сказал»[31].

Кто знает, когда эта Природа осуществится! Усилиями совместного человеческого творчества в долгих веках? В результате нового катаклизма во вселенной? Есть предание, что Христос, спрошенный кем-то, когда придет Его царство, ответил так: «Когда будут два одним и наружное как внутреннее, и мужское вместе с женским, не мужское и не женское»[32].

Надежда никогда не оставляла Лялю и, может быть, это соединило в будущем ее путь с путем Михаила Пришвина, который смог понять не только ее жизнь, полную сомнений, страданий, ошибок, но понять и ее жизненную задачу, смысл этой женской судьбы: «Та любовь, о которой пишут Л. Толстой, Розанов и другие, доставая мысль о ней из собственного опыта любви — печальная любовь. Эта любовь — доказательство того, что объединение Мужчины и Женщины на чувстве рода,

называемом любовью, недостаточно для современного человека. Мне стыдно самому вспомнить о том, как я думал о любви до встречи и последующей жизни с Лялей. И еще я думал этой ночью о том, что я, прожив столько лет, склоняя со всеми людьми слово „любовь“, до Ляли не имел о любви понятия… Она мне собой показала пример возможности во Христе любить жизнь, а не смерть: эта жизнь как суровая борьба за любовь. Но как много надо пережить, перемыслить, чтобы до этого понимания дожить»[33].

Только все это еще далеко впереди, а пока — ждать любви и оскорбляться от мысли, что принадлежишь человеку. Правда, есть в мире один, в котором все несовершенства трогательны и прекрасны, — это отец. Значит, может и чужой стать таким «безупречным»…

Дух и плоть (идеализм и материализм) — преодоление этого разрыва или, наоборот, углубление — эти идеи владели всеми умами в начале нашего века. Тут и толстовство, и оккультизм, и индуизм, и проповедь экономического материализма, и, конечно, философия христианства, провозгласившего преображение и воскрешение плоти (материи), единство духа и материи, как существо самой жизни, как саму Истину.

Конечно, ребенок еще не знает о борьбе идей и направлений. Но каждому из нас задана с детства своя тема, и ребенок старается расслышать ее в разноголосице жизни. Выпевать же эту тему каждый обречен по нотам, которые получает из рук старших. Так и Ляля выводит свою песенку по нотам родного православия.

Из того времени запомнилось: снится Ляле однажды священномученик Пантелеймон, милый юноша с ее бумажной иконки, висевшей над детской постелью. Он берет ее за руку, вводит в сияющий зеленью весенний сад и протягивает розовые четки цвета утренней зари. Все сны забываются, но этот остался в глубине памяти навсегда. Забываются и мысли, но остаются в памяти образы как ключи к пережитому, и, если усилиться в сторону прошедшего еще и еще, вырастает перед глазами майский день в саду городского собора. Стайка девочек возвращается после удачно сданного экзамена. Собор открыт и пуст. По нагретым солнцем ступеням девочки вбегают в тишину, уходящую под высокие своды. Несколько женщин украшают Распятие первыми желтыми кувшинками и молодыми березками: завтра Троица. Долго ли стояла Ляля, о чем думала — давно это было, не вспомнишь. Но, пробегая назад волнующуюся жизнь, память неизменно останавливается на этой минуте. Девочка стоит перед большим Крестом, на котором распят замученный

Человек. Отчего же ей не грустно за Него, не страшно за себя? В руке она держит не жертвенную свечу, а весеннюю полураспустившуюся ветку тополя. Много лет спустя, при одном воспоминании возникал тот смолистый запах, а на сердце — та радость. Никогда не забывалась испытанная однажды сила надежды. «Я не могу быть несчастна», — скажет Ляля много позднее своему другу. Сила этих слов будет питаться той полузабытой минутой ее детства. Она будет повторять эти слова еще не раз на пороге отчаяния во время всех своих падений и под ударами судьбы. Долго эта тополевая веточка хранилась в детских дневниках как залог радости. Но пришла черная минута, и, по существу, весь рассказ наш будет о дальнейшей судьбе этой тополевой ветки — о том, как однажды Ляля эту ветку сожгла.

С какой ясностью встают перед внутренним взором эти далекие события детства и как ясен становится их смысл, когда в дневнике Пришвина обнаруживается то же самое стремление понять духовный смысл радости и отстоять ее: «Голгофа, по-моему, могла быть только раз, а после того явилось новое сознание „спасенного человека“. Так что Голгофа принадлежит уже старой истории, а истинный последователь Христа, как спасенный, должен быть в жизни победителем и как-то по-иному, чем распятием и жертвой… Наш путь иной и, вероятно, состоит в утверждении (а это, может быть, не легче Голгофы) радостного духа»{34}.

Дух Святой завершает радостью («славой») историю всего человечества. Был Ветхий завет — под знаком творчества мира; Новый — под знаком его спасения жертвенной любовью Креста; и тайно действует третий завет под знаком радости — преображения мира и творчества новой вселенной.

Можно подумать, читая эти страницы, все время сбивающиеся на рассуждения, что в детстве девочки были одни только раздумья. «Так не бывает», — скажет читатель. Но я спешу удержать его доверие. Нет, конечно, все было в детстве: и катанье на салазках с гор около дома по чистому снегу, какого не видят в городах современные дети; он лежал белоснежным до самой весны. Были игры во дворе, поросшем травой, с живописными сарайчиками, как в деревнях, с колодцем, курами и с дурно пахнущими помойными ямами, пробегая мимо которых мы учились задерживать дыханье. С кустами густо растущей сирени, которую не запрещалось ломать, сколько хочешь, и она была «ни по чем». Были шумные игры, с криком до хрипоты, с прятаньем по чердакам, рассаживанием в кровь коленок, а вечером — отмачиванием присохшего от крови чулка. Бурные ссоры и

примирения, детская порывистая непрочная дружба.

Упоительно играть в разбойники или даже в простые лошадки. Весь мир в твоей власти: нет вещей, какие не мог бы ты мгновенно разрушить и по-новому создать, и радость творчества твоего безгранична. Правда, редко игры эти кончаются без слез и обид…

А запах первого снега, а запах рождественской ночи после елки и детского бала! Эту елку девочка ждала целый год: раз в год ей завивали на ночь волосы на бумажки, только к вечеру их разворачивали, и из-под бумажек падали на плечи крупные локоны, каких не бывает у обыкновенных детей в обыденной жизни. Ляля, как Золушка, с замиранием сердца разглядывает себя в зеркале. Ее везут ночью после бала домой, усталую, счастливую, укутанную шерстяным платком до глаз. Сквозь платок она вдыхает морозный воздух и смотрит на зимние, яркие звезды. Потянет приятным теплым душком конского навоза, и опять мерное скольжение санок, и блаженная дремота на коленях у отца.

Особенно резко остались в памяти запахи. В комнатах скромной квартиры всегда были свежие цветы. Запах роз, привозимых среди зимы в лубяных коробках из далекой Европы, в каких продают у нас теперь клубнику. Запах гиацинтов, выращенных специально для пасхального стола. Запах ландышей, появлявшихся, как и у нас теперь весной, в букетиках на улице.

Откуда эти свежие дорогие цветы в доме, который живет расчетливо, на «жалованье», дорогие цветы у людей «двадцатого числа» — день, когда обычно жалованье выплачивалось? Не раз среди зимы посыльный из цветочного магазина приносил легкие лубочные корзинки, где лежали закутанные во влажный мох нежнейшие розы, будто только что срезанные с куста. Это было бы не диво в наши дни воздушных сообщений, но тогда они совершали свой путь не по воздуху, а по земле и от самой далекой Ниццы! Цветы эти посылал Наталии Аркадьевне железнодорожный врач Александр Николаевич Раттай, из левонастроенных с либеральными вкусами земцев. Он был по наружности невидный человек, главным украшением которого служили ухоженные, закрученные кверху усы и, кроме того, педантичная опрятность «кустюма» (он был рижанин и говорил с акцентом).

Ласково иронизируя, в семье Наталии Аркадьевны говорили о присылаемых цветах: «Аромат души нашего доктора». Ирония преследовала его до гроба. Доктор отличался величайшей добротой и порядочностью в отношениях, но обладал он невозможным для общежития характером, соединенным с каким-

то странным упрямством, не позволявшим ему приняться за работу над собой. Никто не мог с ним ужиться, даже родная мать. Он жил один в своей аккуратной холостой квартире, и все же нашлось существо, способное разделить его одиночество: это была кухарка Феня, которую маленькая Ляля считала не человеком, а идолом — так она была похожа на изображения древних каменных изваяний из начального учебника истории. «Поэтому только Феня и могла ужиться с Александром Николаевичем», — так думала девочка.

Феня двигалась, как бы наступая угрожающе на своего противника, неся перед собой огромные руки и все свое обширное каменное тело. При этом она была безгласна и уничтожающе невозмутима. При Фене жил и ее муж, служивший в цветочном магазине: он-то и приносил Наталии Аркадьевне цветы.

Александр Николаевич появился в раннем Лялином детстве. Он влюбился упрямо и бесповоротно в Наталию Аркадьевну, распространил свою любовь и на ее мужа, и на дочь; он следовал за семьей, разделяя все ее переживания, до конца своей жизни.

Каждый день доктор появлялся у них в доме, как необыкновенные часы, заведенные на всю жизнь одним заводом. Редкий день не ссорился он с Наталией Аркадьевной по любому поводу, иногда не успев еще снять в передней галоши, которые вновь судорожно надевались и иногда просто швырялись о стенку в знак протеста. После этого хлопала резко входная дверь, доктор убегал. Через несколько минут он возвращался, чтобы снова по любому ничтожному поводу прийти в крайнее безудержное раздражение. На золотых карманных часах доктора на крышке были выгравированы инициалы Наталии Аркадьевны. Эти часы не один раз летали, подобно галошам, а после чинились. Но они были какой-то удивительной марки и снова шли. Так шла и жизнь доктора, как часы, но с неустранимым дефектом. И все же, чем она была бы, эта жизнь, без странной привязанности, не имевшей никакого ответа?

Но однажды в жизни своеобразный ритм ее был нарушен. Это было в начале влюбленности в Наталию Аркадьевну. Раздался телефонный звонок. «Прощайте, — сказал Александр Николаевич, — я отравился!» Отец бросился к нему на извозчике. Сделали промывание желудка, и Александра Николаевича спасли от смерти. После этого на семейном совете (самое примечательное, что с участием самого Александра Николаевича) решено было спасать его от любви. Решено было ему уехать как можно дальше. Александр Николаевич прожил два года на Дальнем Востоке, после чего вернулся, и все пошло по-старому. Новое было — роскошные японские ширмы в гостиной Наталии

Аркадьевны (по черному шелку вышитые гладью розовые хризантемы) и появившиеся в доме бесчисленные веера слоновой кости.

В жизни Ляли была одна встреча с человеком, о котором непременно нужно здесь рассказать. Это была Елизавета Александровна Лавинская{35}, впоследствии жена довольно известного в то время скульптора, одного из соратников Маяковского и участника ЛЕФа. Впрочем, ЛЕФ не существовал даже ни в чьем воображении, когда две девятилетних девочки встретились однажды летом на даче в Финляндии. Они жили в разных городах, и потому вся многолетняя дружба приняла форму переписки, превратилась в дружбу «по воздуху». Скорее даже это была не дружба, а повод для размышления на бумаге — настолько она была отвлеченно-умственной. Лиля была петербургской девочкой из обеспеченной буржуазной среды, ее возили в Крым лечить слабые легкие, она пишет оттуда такие же приподнято-восторженные письма о море, о горах, как из Петербурга — о Ницше. Она учится в лучшей столичной гимназии, берет уроки живописи, у нее уже интересные встречи, например, с мальчиком, носящим редкостное имя Орест… У Ляли в жизни мало событий: безымянный мальчишка на заборе да студент, как виденье. Мечты и одиночество. Дружба «по воздуху» приподнимает над повседневностью, это тоже своеобразная форма одиночества.

А вовне идет другая оживленная жизнь: гимназия, подруги. В классе обсуждаются новые понятия, которые восхищают гимназисток — пессимизм и оптимизм. И вот шесть подруг в классе остаются после уроков, чтобы спорить об этом до конца. «Оптимистки» — это русские девочки. Три еврейки были «пессимистками». Оптимистки пишут чувствительные стихи и декламируют на гимназических вечерах «Христианку» Надсона или «Друг мой, брат мой, печальный страдающий брат» его же. Пессимистки сдержанны, они не декламируют, они стихов не любят. У них есть какая-то своя деловая тайна, и они никогда не переходят границу откровенности. Для чего-то они собираются у учительницы истории, Лялю с собой не приглашают — ее это обижает, но виду она не подает. Самая интересная среди пессимисток — это Рая Э. Она сумрачна, красива, горда, независима. Ляля — та живет на своей земле, ей легко отдаваться восхитительным мечтам о служении добру, людям, о жертвах ради них и о служении «эдиалу» (так и пишет она через «э» оборотное это слово в детских дневниках). От горячей любви к людям и неумения ее осуществить девочка плачет по ночам

блаженными слезами. Как ей жить, какой путь избрать? И нет рядом человека, кто мог бы ее вести за собою. Родители? Нет, они уже для нее сами стали как дети, не знающие пути.

Вот на даче мальчики увлекают Лялю в путешествие «Робинзонов»: они на лодке уезжают на «необитаемый остров» среди озера, купаются, ловят рыбу, жгут костер. Ляля забывает о доме от счастья чувствовать себя не одной — и опираться на это чувство общности. Она поздно возвращается домой. Ее встречают мрачно: «Почему мокрое платье, почему изодран подол, почему, почему… говори правду!» Ей впервые не верят. «Говори правду, а не то…» — и в голосе отца угроза. Она бледнеет от оскорбления, выскакивает из-за стола и бросается в лес. Она никогда не вернется домой! Лучше погибнуть там от голода и зверей.

До утра слышны по лесу отчаянные крики и призывы матери, Жени, Аннушки. В конце концов она устает плакать от обиды, и жалость к матери побеждает: она выходит из своей засады. Отец смущен, мать обрадована. Ляле стыдно: она же знала наперед, что не решится умереть. Все на радостях прощают друг друга… Так ли? Не останутся ли следы? Иначе как объяснить, что, лежа часами на полу над географической картой воображаемых путешествий, Ляля позволяет себе с ласковой иронией думать о родителях, как они «всю жизнь собираются на Кавказ и, конечно, никогда не соберутся».

Но вот случилось в ее жизни необыкновенное: отец начитался где-то про дивное Светлое озеро в Ветлужских лесах, местах древних староверских скитов, и решил поехать туда с маленькой дочкой. Едут они сначала по железной дороге до города Семенова, потом на лошадях — весь этот путь описан уже и у Мельникова-Печерского{36}, и у Короленко, и у Пришвина, и мы не будем его здесь повторять. Ляля запомнила, как сидела на берегу озера среди неграмотных старух и читала им Евангелие{37}.

Так жили все эти люди, их жизни уже переплелись на наших глазах и скоро будут брошены в полную переплавку историей, в ее кипящий котел. Участники нашего повествования еще не чувствуют, как колеблется почва под их ногами, хотя наступил 1914 год. Мы-то знаем теперь, что значил этот год для последующей жизни человечества.

Стояло на редкость жаркое и сухое лето. В это лето совершено было в Сербии известное покушение на австрийского кронпринца. Сербия, Германия и потом Россия вступают в войну. Все эти события далеки от тыла, вяло воспринимаются провинцией, глухо доходят до сознания ребенка. Мы уже пережили в то время недавнюю японскую войну, там тоже где-то

на далекой окраине сражались, страдали, умирали, а близкая жизнь в тылу не менялась: все также взрослые ходили на службу, дети — в школу. По вечерам кто шел ко всенощной, кто играть в карты, и по праздникам по-прежнему гремела музыка, и танцевали, несмотря на то, что защитники этих людей умирали на полях сражения.

Так и сейчас: на стене в столовой приколота карта войны, и отец передвигает с газетой в руках по карте маленькие разноцветные флажки на булавках: наступление — отступление, вверх — вниз. Похоже на настольную игру с костяшками: кинешь, сосчитаешь очки и, в зависимости от удачи, либо вверх, либо вниз по цветному картону с нарисованными лестницами.

Девочка вспоминает, как сидела ровно десять лет назад на ковре у ног взрослых, которые читали газеты, а она рассматривала картинки в «Ниве» с колючей проволокой и насаженными на нее японцами, и было ей жалко их, маленьких… Но все тогда быстро окончилось и пошло по-старому. Правда, не у тех, у кого кто-то погиб или вернулся домой калекой. Но разве видны они, эти немногие жертвы, в общей толпе среди молодой человеческой поросли!

В 1914 году все началось воинскими поездами. *Ляля жила* вблизи железной дороги и смотрела со страхом и недоумением на бесконечные вагоны, пассажирские и товарные, тесно наполненные людьми, как, бывало, перевозили скотину. На всех товарных вагонах выведено красивыми буквами: «40 человек 8 лошадей». Впервые она поняла смысл этой надписи. Потом пошли назад уже санитарные поезда с подвесными койками в два этажа, в них везли раненых.

Наталия Аркадьевна стала работать на питательном пункте при вокзале. Это было общественное начинание. Женщины из местной интеллигенции горячо взялись за нужное дело, они организовали кухню, шитье белья, медицинский пункт, установили круглосуточное дежурство и встречали каждый поезд. Огромная ленивая государственная машина не могла сама наладить это дело, как не могла справляться с голодом крестьян во время неурожаев, уступая заботу общественной инициативе — Льву Николаевичу Толстому и другим совестливым русским людям.

Ляля ходила с матерью по вагонам, робко протягивала папиросы забинтованным людям, со сжатым сердцем отводя глаза от пропитанных свежей кровью повязок. Сладкий запах крови висел в душном воздухе низких накаленных вагонов. От этого запаха летняя жара давила еще тяжелей. Раненые вызывали чувство жалости и страха перед страданьями, но от них веяло

глубоким достоинством выполненного долга, пусть их подвиг совершался не по доброй воле, а по государственному принуждению. Раненые были в глазах девочки неизмеримо выше всех прочих людей: это был мир, недоступный обычному благополучному обывателю.

Вагоны раненых были безгласны. Машинисты трогали их бережно, без толчков, и они мягко отходили в молчании. Так мягко проходили в мирное время только одни поезда с царской семьей: Ляля видела однажды, как проходил мимо вокзала царский поезд. Летом пошли поезда с беженцами. Эти были сплошным криком. Беженцы производили жалкое впечатление суетливой растерянностью и поглощенностью личной бедой. В вагонах рожали, умирали; дети теряли родителей на долгих остановках; многих война застала врасплох, и они бежали, бросив все имущество. Нужны были срочно одежда, еда, врачебная помощь.

Наталия Аркадьевна теперь шила до глубокой ночи мужские рубашки с тесемками вместо пуговиц, чтобы удобней было надевать на забинтованных людей, и утром рано была уже на пункте. Эта неопытная женщина стала прекрасным работником и организатором в громоздком деле. Она поняла, сколько дремлющих сил пропадало у нее в жизни, и как будто второй раз родилась на свет. Но тут-то как раз и застигла ее судьба, и вся жизнь маленькой семьи навсегда была сломана и раздавлена.

Дмитрий Михайлович и Александр Николаевич уехали на фронт в действующую армию, а Наталия Аркадьевна с дочкой, бросив свое гнездо, — в Москву, к дальним родственникам: Москва — сердце страны, и там, им казалось, они будут вне военной опасности. Так пытались спастись наивные люди, к которым уже приближались небывалые потрясения. И никто не представлял себе тех событий, что стояли уже на пороге, и только поэт видел тень «люциферова крыла»{38}, покрывающую землю. Наталия Аркадьевна с дочкой доверчиво и бездумно шли этой тени навстречу.

Теперь Ляля не плачет, как когда-то «не хочу, чтобы люди умирали» при виде смерти. Она пытливо всматривается: так в 1916 году она стоит у гроба бабушки Наталии Алексеевны, который вынесен в часовню петроградского вдовьего дома. Монашка, читающая над покойницей, куда-то отлучилась, и девочка осталась одна. Бабушка, так горячо ее любившая, лежит холодная, торжественная и чужая. Это страшно. Но самое страшное, что Ляля не чувствует горя от потери: совершилось необходимое и даже где-то в непонятной глубине благое. И потому не жаль, что бабушка ушла из этой жизни —

прислушиваясь к себе, испуганная и почти уничтоженная своим состоянием, которого она готова стыдиться, Ляля ощущает в себе прилив необыкновенной бодрости и новых сил. Девочка не проронила на похоронах ни одной слезинки. «Бесчувственный ребенок, — слышит она разговор смущенных родителей, — что это значит?»

«Что это значит?» — спрашивает у себя и она сама, не понимая, какая в ней происходит работа и как определится около переживания первой смерти ее дальнейший путь. Что-то связывается и укрепляется в ее душе перед лицом смерти. Но Боже сохрани кому-нибудь это открыть! Ляля впервые чувствует смысл в происходящем, не оправдываемую опытом рассудка веру: бабушка отошла в тайну, а ей надо было жить. А жить — значит действовать, и потому еще нужно было понять, как. Так и примем, что детство Ляли кончилось со смертью бабушки Наталии Алексеевны.

Я хочу, чтобы книга моя была не рассуждением, а правдивой картиной жизни души — пусть выводы сами покажутся в конце моего рассказа. Так записал однажды в дневнике Михаил Пришвин: «Яснеет современная задача искусства обнажить человека совершенно, лишить его всяких покровов религиозно-этических и романтических»{39}.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Революция

Прежняя Москва отличалась от нынешней еще и тем, что снег на ее улицах не убирался, а лежал основанием санного пути. Всю зиму он сохранялся белым, а весной бурно таял и журчал ручьями по канавам между булыжной мостовой и тротуарами, и пешеход нередко стоял в раздумье перед задачей, как ему перейти улицу на противоположную сторону. Снег, падая, приносил на городские улицы нежный запах, напоминавший свежестью аромат цветов. Этот запах молодого снега знаком нам и теперь, но только тем, кто бывал зимой в глухой деревне, расположенной вдали от автомобильных дорог, где топят по старинке дровами.

Улицы были тихими, и лишь на главных, в центре, время от времени звенел и лязгал по рельсам трамвай. Ляля ходила по белым улицам в чужую гимназию. Она жила в новой и чужой ей семье дальних родственников. Без отца она чувствовала себя одинокой, но не тяготилась этим, как не тяготится путешественник, освободившийся от всего привычного и домашнего и вышедший в широкий мир. Ей хорошо было принимать на себя все влияния, все веяния большого города, живущего еще неведомой ей жизнью.

Провинциалы, приехавшие в Москву, направлялись сразу же, в зависимости от вкусов и образования, кто к Василию Кессарийскому, что на Тверской, где служил знаменитый своим басом диакон Михайлов, впоследствии певец Большого театра, кто в Успенский собор, где служил не менее знаменитый диакон Холмогоров и пел ангельскими голосами синодальный хор мальчиков. Другие устремлялись в Художественный театр, где голосом искусства говорила современная мысль. Лялю потянуло в театры. Провинциальная девочка, очутившаяся в многослойной среде столицы, стала выстаивать вместе со всей молодежью очереди за дешевыми билетами. Идти на Шаляпина, Ермолову, в Художественный или на выступление Александра Блока значило нечто, подобное хождению по святым местам у простого народа. А в Художественный театр гимназисты и студенты входили с таким же чувством, как богомолец входил в храм — театр сумел создать атмосферу, единство настроения, в котором сливались и зритель, и артисты, и билетеры, и капельдинеры, работавшие на вешалке. Публика говорила в антрактах вполголоса, аплодисменты были отменены.

Ляля сидит на чеховском спектакле «Три сестры» и плачет,

откровенно уткнувшись в муфту, которая лежит у нее на коленях. Она плачет с того момента, как Маша впервые произнесла свое знаменитое «в Москву». Где та «Москва», по которой тоскуют и чеховские сестры и их никому не известная маленькая сестра в публике?

Балет в Большом театре, «Лебединое озеро», четвертый ярус, выше уже галерка. Туда ведет отдельный ход, но с четвертого яруса в антракте можно успеть сбежать вниз, в нарядный партер, и полюбоваться на блистающих туалетами и драгоценностями московских красавиц, на военных в разноцветных мундирах и элегантных, всегда в черном, штатских.

Балет — это полет. Куда? Может быть, в ту же «Москву», о которой плачут чеховские сестры? Балет — это власть над телом, сделать его послушным мысли, легким, как птица! Что думают вокруг нее об этом люди? Щеки так горят от возбужденья, что ей за себя неловко. Она оглядывается и видит внимательные глаза своей молоденькой соседки, сочувственно разглядывающей ее.

— Лететь хочется? — спрашивает ее соседка.

— Как это вы угадали?

— А мне тоже хочется, — сказала девушка очень серьезно и наклонила доверительно стриженую головку, прелесть которой была в контрасте: мальчишески задорная короткая прическа и застенчивый, внутрь себя смотрящий взгляд. Ляля молчала и ждала.

— Я кончаю Высшие курсы по филологическому, а мне хочется больше всего быть балериной или наездницей, — сказала девушка. — И никому нельзя сознаться.

— А мне сознались!

— Ну, вам тоже летать хочется, — пошутила соседка. — К тому же это случайная встреча, вольный разговор.

— Знаете, что это? — решилась сказать Ляля в следующем антракте, краснея. — Это полет в мир фантазии, несбыточный обман…

— Может ли быть несбыточным что бы то ни было, доступное воображению? — ответила соседка.

— Как смело! — обрадовалась Ляля. — Но все-таки, если попробуем, вниз полетим и разобьемся.

— Разобьемся раз, другой, третий, — ответила загадочно соседка, — и в конце концов полетим.

— А почему вы не можете стать балериной? — осмелилась спросить Ляля.

— Мне надо зарабатывать. У нас рано умер отец; старший брат, чтоб дать образование нам, сестрам, пошел служить в контору вместо университета. Нет, мне нельзя ни балериной, ни

наездницей. Но это не обидно: я радуюсь, что кому-то это доступно. Я поняла, что не надо проводить резкую границу между собой и людьми и тогда будет очень широкая жизнь при самой скромной судьбе.

— Вы говорите, как будто уже летите, — сказала Ляля. — Можно спросить, как вас зовут?

— Отчего же, — улыбнулась та. — Зиной, Зинаидой Николаевной. А вас?

При выходе из театра девушки вновь столкнулись в тесном потоке людей. На улице мело.

— Какой ветер! — сказала обрадованно Ляля первое, что пришло на ум, лишь бы окликнуть Зинаиду Николаевну.

— А я люблю ветер! — отозвалась та.

— Все потому же любите? — спросила ее Ляля, и они улыбнулись обе, как заговорщицы, понимающие друг друга с полуслова.

Крутящийся снег и густая толпа расходящегося народа быстро разъединили их.

— С кем это ты? — спросила Лялю в трамвае ее взрослая троюродная сестра Клавдия, в семье которой она жила теперь. Ляля в ответ промолчала.

Клавдия… Тяжелый, влекущий и непонятный мир скрывался для Ляли за этой девушкой. Клавдия уже несколько лет как кончила гимназию. Никакие науки ее не интересовали, никакие «вопросы» не беспокоили. Особых талантов у нее не было ни к чему. Зато она обладала телом античных пропорций, неправильным, но обольстительным лицом с припухшим ртом негритянки — все в ней излучало победительную силу и как бы смеялось над правилами и законами людских условностей. Она любила посвящать Лялю в свои дела, когда сама принимала ванну: вода была слегка подкрашена хвойным экстрактом, цветом напоминала зеленоватую морскую, и Клавдия в ванне походила на розовую Венеру в перламутровой раковине какого-нибудь мастера эпохи Возрожденья.

Единственная дочь почтенной и обеспеченной семьи, отлично воспитанная, но мало образованная, она была от природы умна и прекрасно держалась в любом обществе, очаровывая всех, и мужчин, и женщин. Но что скрывалось под этой непринужденной и благородной простотой, знали лишь поверенная ее тайн, младшая троюродная сестра да мужчины, на которых Клавдия мимоходом пробовала свою силу: на кондукторе трамвая, когда брала билет, на продавце магазина, когда покупала туфли, на капельдинере театра, даже на священнике во время исповеди, поднимая на него глаза. При этом она была искренно набожна и

выполняла привычный обряд по влечению сердца, а не по принуждению. И ставила свечи у чудотворной Иверской, и водила маленькую провинциалку по московским церквам, серьезная и кроткая, спускалась в подвальную келью патриарха Гермогена в ныне снесенном кремлевском Чудовом монастыре, где при нашествии на Русь поляков Гермоген принял мученический конец.

Однажды Ляле пришло в голову попробовать свою силу, подобно Клавдии. Она шла в гимназию. Стоял сильный мороз, на ней была тонкая шерстяная вуаль, а под вуалью не было стыдно: это походило на игру, на маскарад. Она повела, как Клавдия, глазами. Мужчина остановился и взял ее под руку. В ужасе она вырвала руку и бросилась бежать до самой гимназии, не переводя дыхания.

Самым тяжелым было то, что Клавдия сделала Лялю хранительницей своей тайны. На одном из балов в Благородном собрании Клавдию познакомили с видным должностным лицом из свиты московского генерал-губернатора. Это был статный, вдвое старше Клавдии военный. В Москве же он считался неотразимым. Еще не будучи представленным, он подошел к Клавдии, сидевшей после танца в похожем на греческую тунику платье, дерзко и решительно наклонился к ней и, рискуя быть услышанным ее отцом, сидевшим неподалеку, с наглой сдержанностью, глядя ей прямо в глаза, без улыбки произнес: «Какая кожа!»

Через несколько дней Клавдия послушно пришла в назначенное им место, и он увез ее за город на рысаке. Он поступил с ней безжалостно, расчетливо и сделал чувственную любовь единственным содержанием ее молодой начинающейся жизни. Клавдия, будучи жертвой, с легкомысленностью юности считала себя победительницей в этой битве с неравными силами. У него была жена, сын; и от балерины из кордебалета Большого театра у него тоже был мальчик. Для встреч с Клавдией он содержал специальную квартиру. Ляля, отправляясь вместе с сестрой в театр, на самом деле идет в театр одна, а потом дожидается на трамвайной остановке, когда подкатит лихач, отворачиваясь, чтобы не видеть «его». Усталая, как всегда спокойная и простая, подходит Клавдия и говорит, снимая на ходу густую вуаль: «Помоги, пожалуйста, зацепилось где-то за шпильку». Ляля со страхом смотрит на припухшие, как южный разрезанный плод, губы Клавдии. Ее пронизывает холод запретной тайны.

— У тебя будет то же в свое время, — бросает легкомысленно и жестоко Клавдия. — Он спросил вчера, когда ты проходила

мимо нас: «Как зовут твою сестру? Скоро от этого яичка останутся одни скорлупки».

Душа сжимается от оскорбления и от бессилия. Если он и правда подойдет к ней и скажет, как тогда Клавдии… У нее кружится голова при одном воображении. Как же ей дальше жить? Она шепчет про себя как заклинание: «И уста мои не целованы»[40].

«Уста» ее действительно еще «не целованы». Однако, если сказать по всей правде, ее волнует сейчас и манит именно эта таинственная плотская любовь. Доходит ли это до ее сознания? Конечно, нет! И если бы кто-то сейчас ей об этом сказал, как бы она оскорбилась!

Так протянулась в угаре зима. Заканчивался последний, обязательный седьмой класс гимназии. Ляля меньше всего думала об учении, отгоняя мысль о выпускных экзаменах. К ее счастью, выпускные экзамены были отменены по случаю войны и еще по каким-то уже забытым теперь причинам, и она не пошла даже на раздачу аттестатов. Оказалось, что она получила золотую медаль. Это было для нее неожиданно, но радоваться успеху было некому: отец далеко, а бабушка умерла, бабушка, которая одна теперь бы радовалась медали: обе ее покойные дочери «окончили с медалями»…

Весна в Москве — это веселые ручьи на улицах, букеты искусственных фиалок приколоты на груди. Потом начинают продавать живые подснежники, потом — ландыши, а на Красной площади, у Кремля, собирается веселый «вербный» базар. Проходят службы Страстной недели, и вот наступает радостная Пасха. Высоко весеннее небо, легок воздух, крупные и влажные дрожат над городом апрельские звезды. Уплывает вместе с талым снегом зимний угар, и первое, что надо сделать, это порвать с Клавдией. Ляля долго собирается с духом и однажды отказывается идти с сестрой «в театр». Она ожидает гнева. Но Клавдия грустно взглянула и сказала:

— Прости меня.

— Чем это кончится? — осмелилась спросить Ляля.

— Я сама не знаю. Это как-нибудь само кончится…

— Он бесчестный, жестокий, он не жалеет тебя! — вырывается страстно у девушки.

И Клавдия опять повторяет:

— Прости меня!

Ляля идет по кремлевскому спуску, мимо Чудова монастыря к Никольским воротам. В одной руке книга, в другой букет ландышей, только что купленный на углу у разносчика. В стене

монастыря оконце, в нем всегда стоит монах и продает прохожим свежие просфоры. За этими вкусными «чудовскими» просфорами к чаю приходят сюда любители. Ляля протягивает монету и видит в узком окне лицо молодого послушника в черной скуфейке, лицо бледное, застенчивое. Мгновенно проносится: «Что заставило его запрятать в каменные стены свою молодую жизнь? Уйти от солнца, от ожидания радости?» Девушка смотрит на монаха, монах — на девушку. Он протягивает ей просфору. А она, повинуясь порыву горячего сочувствия, протягивает ему свой букет ландышей, видит, как смущенно вспыхивает его лицо, и она бежит вниз по спуску, не оборачиваясь.

Казалось бы, бесконечно далек этот порыв от печальных опытов прошедшей зимы — от тайной муки ее несчастной сестры. Этого поступка ей не нужно будет стыдиться. Она только будет осторожно обходить мыслью случай с покупкой просфоры у Чудова монастыря. Почему? если по правде, по последней, крайней правде? Ландыши, протянутые монаху, — действие той же силы, перед которой и она, и Клавдия равно стоят завороженные. И некого винить, и не перед кем превозноситься. Надо лишь со страхом и надеждой ожидать, кто ей встретится на пути и хватит ли ей упорства в борьбе за свое, пока непонятное ей и повелительное лучшее.

А на окраинах огромных просторов ее родины в это время шла война, и сотнями умирали люди, в то время как здесь, в тылу, гимназисты и студенты неистовствовали на ярусах театров, мечтая о возвышенной любви, а бездушные соблазнители увозили на рысаках девушек в притоны.

Зимой 1916/17 года приехал с фронта на побывку отец. Он сильно похудел, поседел, потемнел лицом, как будто жил под южным солнцем. Глаза были тревожны и тоскливы. Он был в защитной гимнастерке, подпоясанной ремнем, и высоких сапогах, остро пахнувших кожей. От него шел фронтовой запах мужского одинокого, неухоженного тела.

Отец говорил тихим голосом — о смятении среди офицеров, о ропоте среди солдат и падении дисциплины. Об общем недоверии к правительству и потере веры в царя. О страшных подозрениях — измене царицы; о Распутине — злой силе возле престола. Все смутно чувствовали, что в России пошатнулись самые основы, и она, как планета, сошедшая со своей орбиты, понеслась в неведомое пространство. Никто не знал, что он лично должен предпринять, и испытывал стыд из-за необходимости терпеть и ожидать событий. Отец походил на связанного по рукам и ногам человека, у которого отняты и зрение, и слух, и ему

больно, и нечем дышать. Отец внушал острое сострадание. Сердце сжималось от жалости, и Ляля молча стояла около него, вдыхая его новый запах и целуя время от времени его большую милую руку.

И вот неожиданно произошло то непонятное, что впоследствии получило название Февральской революции. Она была действительно почти бескровна, как будто подготовлена всеобщим разочарованием в существующем порядке жизни. Революция коснулась обывателя главным образом внезапно появившимися очередями за продуктами да слухами, часто похожими на анекдоты. «Все уляжется, велика Россия, — думал он, — все бывало на ее веку. Надо запастись сахаром, того и гляди лето, варенье варить, а сахар исчезнет. Все перемелется». Ляле варенье варить не приходилось — в очередях она не стояла. Она в тот год открыла себе Блока и теперь про себя повторяла:

Сдайся мечте невозможной,
Сбудется, что суждено.
Сердцу закон непреложный —
Радость — Страданье одно![41]

Ей было не совсем понятно, почему радость — это «страданье одно», и хотелось ей простой радости, без страданья. Но можно ли было спорить с Блоком!

Если бы не письмо отца, полученное с фронта вскоре после революции, она бы думала, что для нее ничего в мире не произошло.

Среди жизненных утрат, понесенных ею впоследствии, больше всего ей было жалко этого несохраненного отцовского письма. Первое и последнее письмо, адресованное отцом ей лично, он писал ей как взрослому человеку, он поздравлял дочь с переворотом власти, и благодарил Бога за произошедшее, и говорил, что ей придется жить уже в лучшее время, когда будет правда и справедливость, завидовал ей, радовался за нее и горячо советовал поэтому идти на юридический факультет. Отец верил в право.

После приподнято-радостного письма отца (неотступно стояло перед нею его потемневшее лицо, ввалившиеся грустные глаза, слышался запах его гимнастерки) она вдруг поняла, что произошло нечто столь большое, после чего уже нельзя шептать стихи о «радости — страдании» и мечтать о любви. Надо помогать отцу и решать деловые задачи. К тому времени она кончила восьмой дополнительный класс гимназии и должна была выбирать себе жизненную дорогу. Письмо отца сразу спустило ее

на землю.

Вторым событием, призывавшим к делу, был внезапный паралич матери, случившийся в первые дни после революции. У матери отказались двигаться руки и ноги, и она лишилась голоса. Мать лежала пластом, и лишь по глазам дочка догадывалась, что ей нужно. Ляля превратилась в сиделку. Болезнь длилась недолго, но эти недели были первой школой реальной жизни для девушки.

Если бы судьба послала в те дни учителя и советчика, он направил бы, возможно, ее силы на какое-то дело взамен мечты. Ведь из таких, как она, детей складывались героические отряды революционеров, борющихся «за народ». Из них же формировались и в Белой армии отряды, легшие костьми на Перекопе или в Сибири «за матушку Русь». А тот юноша-послушник в окошке из Чудова монастыря, а девушка с «Лебединого озера» — найдут ли они свой путь в новой жизни? Сколько их погибнет вслепую и безвестно, как удобрение истории!

Ляле выпадет на долю долгая дорога, учителей на ней будет много. Но пока в учителя напрашивался ее гимназический преподаватель законоведения — московский адвокат Высотский. Это был уже седеющий человек, женатый и многодетный. Гимназистки с недоумением наблюдали, как в учительской он взбивает у зеркала редеющие кудри, перед тем как идти к ним на урок. Вместо сухих сведений о праве Высотский развивал перед изумленными и ничего не понимающими ученицами идеи строения Вселенной; он рассказывал об иерархии существ, ее населяющих, от атома до высших духов; о множестве взаимопроникающих друг друга вселенных; о скрытых, но реальных способностях человека, развивая которые можно достигнуть познания «высших миров», о прошлом планеты, о древних исчезнувших культурах атлантов и майи; о методе йоги — методе развития скрытых психофизических способностей человека… Девочки очень мало понимали в этих лекциях, но для всех было ясно: читались они специально для Ляли, и Высотский в нее откровенно влюблен. Все это окончательно выяснилось на выпускном вечере, где гимназистки, украсив желтыми кувшинками зал, встречали гостей-учителей, сбросив впервые в этот день свою коричневую форму и вместе с ней свое переходное, бесформенное отрочество.

Рассветало, когда Высотский провожал Лялю домой. Впервые взрослый человек объяснился ей в любви. Это ей и льстило, и отчего-то нерадостно волновало. Высотский был ей неприятен, и она, стараясь из деликатности подавить отталкивание, избегала

прикосновения его руки, коротких сильных пальцев с длинным желтым ногтем на мизинце, которым он подправлял табак в своей английской трубке. Расставаясь, он подарил Ляле тетрадь со стихами, посвященными ей. Начиналась она так:

В небе тает, выцветая,
Ночи порванный покров.
На востоке реет стая
Белокрылых облаков.

Зорька в розовом тумане
Правит лентами лучей.
По лазоревой поляне
Погоняя голубей.

Для счастливых и несчастных,
И для добрых и для злых
У нее во взорах ясных
Много радостей живых.

С перламутровой коляски
На серебряном ходу
Уронила зорька краски
По полям и по пруду.

И во сретенье царевне
Мирной жертвы огоньки
Закалили по деревне
Синеватые дымки.

Это был вариант «прекрасной дамы» — модной темы мистической Софии, широко обсуждавшейся философами и поэтами тех лет. Дальше у Высотского шел перефраз из Сведенборга[42]:

Читать умеете ли вы?
И что читаете в себе вы?
Не Мудрость ли в венце Любви?
Вы — лед весны под ликом девы.

«Деве» это льстило, но было далеко от настоящей поэзии и говорило об особом, настораживающем ее направлении автора. Это направление называлось оккультизмом, или теософией, —

мировоззрение, процветавшее в то время в некоторых кругах интеллигенции, претендовавшее на некую универсальность, объединяющую религию с наукой. Рассказывал о Лондонском обществе психологических исследований, об известном русском профессоре-химике Бутлерове, он же — страстный спирит-экспериментатор; о книгах Блаватской, Успенского{43}, которыми и Ляля в это время зачитывалась. Ляля прислушивалась к рассказам Высотского с затаенным и опасливым любопытством, но какое-то личное качество мысли никогда не позволяло ей переходить черту наблюдателя и тогда, и во все последующие встречи с так называемым «тайным знанием».

Что отталкивало ее? Барственное, пренебрежительное отношение к ее родной вере, заключавшее в себе, по-видимому, и само чувство Родины; к понятию «добра», пусть наивному, но воспитанному духом этой Родины с детства. По мнению Высотского, понятие добра и зла, как и верность этому духу, были необходимы лишь для детей, но в бесконечности мирового прогресса, в калейдоскопе сменяющихся культур и рас, в космическом процессе перевоплощения и совершенствования форм жизни — какое для мудреца это могло иметь значение? Он всерьез полагал, что может быть и надо, чтобы Германия победила Россию, чтобы разбился старый быт, чтобы рухнула обветшавшая православная церковь со всем привычным сердцу: и эта «свеча поселянина пред иконой Божьей Матери», и эта страна родная, которую «в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя…»{44}. Эту Россию он не жалел, не любил и легко бы ее отдал. Впрочем, так считали в те годы многие революционно настроенные интеллигенты.

Несмотря на универсальность своего мировоззрения, Высотский считал возможным для себя принадлежать к отдельной политической партии: он был эсером. Ляля не разбиралась в программах партий. Но она вспоминала теперь с новым чувством келью Гермогена, удушенного врагами его родины, подвал, куда она спускалась со свечой в руках. Хотя, пожалуй, она не ответила бы еще на вопрос, что содержалось для нее в этом слове «Россия», она по-прежнему запальчиво искренно утверждала, что все общественные перегородки ложны, придуманы людьми в своих временных интересах и что она понимает себя только «гражданином вселенной».

Наступило жаркое лето. Ляля с матерью остались одни в душном городе. Отец на фронте, откуда с трудом доходят редкие письма. Клавдия с родителями уехала в Кисловодск лечиться. Ляля целыми днями сидит над индийскими йогами и теософской литературой, которой ее забрасывает Высотский. Это был первый

образованный человек на ее пути, она этим дорожила, так же как хорошо знала: этого человека она не может полюбить. Душными вечерами он увозит ее за город, в долгих беседах открывает ей новые горизонты мысли. Он убеждает Лялю стихами, что она «ему предназначена» и будет то, «что от века назначено». Он обещает открыть ей астральное зрение, если она согласится заняться с ним медитацией. Но для этого нужно полное уединение, а они не бывают одни. Впоследствии выяснилось, что Высотский обладал и гипнотическими способностями. Но Ляле было сейчас не до медитаций: она тревожилась, как ей быть с высшей школой. Шли какие-то реформы, девушке не исполнилось еще 17 лет, и она решила пропустить год, пока все утрясется.

Стояла теплая затяжная осень. Был конец октября. Ляля шла по улицам Москвы с новым чувством прочного обладания жизнью: она впервые заработала деньги — ей посчастливилось достать два урока с детьми — и купила у разносчика любимых матерью южных груш. Последнее время было очень жалко мать: Наталия Аркадьевна таяла от тревоги за мужа. Лялю же по-прежнему не оставляла надежда, что все идет к хорошему концу. Они жили теперь с матерью на верхнем этаже огромного Воспитательного дома на Солянке, в квартире коменданта здания, у которого снимали комнату.

В тот вечер Ляля не могла долго заснуть от радости по поводу принесенных матери груш на первые заработанные деньги и слышала, что мать беззвучно плачет в подушку. Потом обе заснули. И вдруг одновременно вскочили от непривычного звука: свист и разрыв снарядов бил над головами. Все выбежали на территорию Воспитательного дома и обменивались сбивчивыми мнениями. Это обстреливали Кремль — война в центре России, в самом, казалось, прочном и незыблемом месте и над головами мирных жителей. Говорили о каких-то большевиках, «тех самых, за которых голосовали все кухарки в знакомых семьях». Будто бы против них и восстали юнкера из офицерского военного училища. К худу ли, к добру ли идет эта борьба — никто не знал. Боялись выглянуть на улицу. На следующий день магазины были закрыты, люди жили своими запасами. В один из этих дней Ляля заставила себя добежать по длинной аллее территории Воспитательного дома до выхода на Солянку и выглянула опасливо за ворота. На пустынной улице не было ни одного человека, и вдруг из-за угла показался грузовик. Он был доверху наполнен обнаженными окровавленными телами, наваленными друг на друга, как дрова.

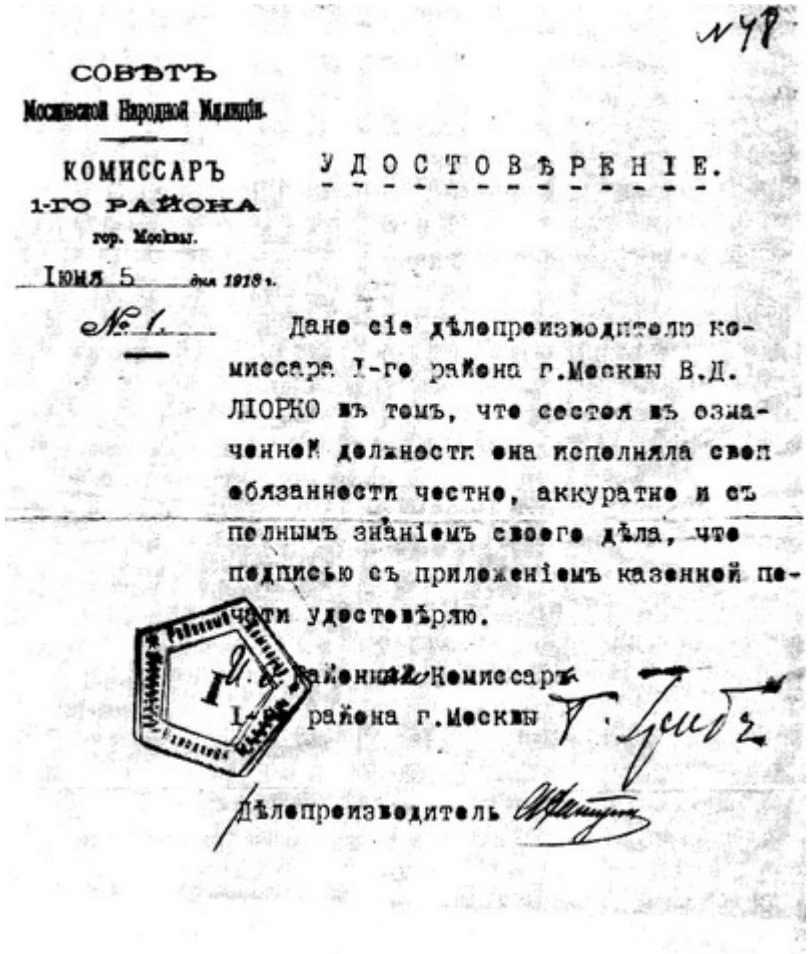
Наконец стрельба прекратилась, комендант дома исчез. Пришли вооруженные люди и приказали в 24 часа его семье и всем жильцам очистить квартиру. Куда было деваться Ляле с

Наталией Аркадьевной? И тут к ним явился Высотский. Спокойный, оживленный, он говорил, что все идет как должно, что он работает уже в каком-то совете каких-то депутатов, и Лялю уже устроил туда заочно на работу: «Теперь необходимо работать, а не учиться, будет трудный переходный период». Наконец он объявил двум растерявшимся женщинам, что перевозит их к себе, так как у него большая квартира, которую все равно «уплотнят».

Так Ляля очутилась на Остоженке в роскошной квартире адвоката.

Сама природа, казалось, заметает следы злодейства братоубийственной войны: как только утихла стрельба, пошел обильный снег, он лег на всю зиму, сразу намел сугробы, которые уже не расчищались до весны. Каждое утро Ляля и Высотский, с усилием перебираясь через эти сугробы, шли на Тверской бульвар, где в бывшем Управлении московского градоначальника помещался административный отдел Моссовета. Ляля получила там должность секретаря заведующего наружной охраной города.

В общей комнате сидели все на тех же местах, как при градоначальнике, машинистка Лизочка и бывший чиновник для поручений Шрамченко. Лизочка, как и при градоначальнике, часто пудрила нос, вынимая из кармана ручное зеркальце, и бодро стучала на машинке. Шрамченко, черный, с густой шевелюрой и бородой, был молчалив и только улыбался всем маленькими, глубоко сидящими глазами. Новое было в нем одно — следы отпоротых погон на плечах.



№ 48

СОВѢТЪ
Московской Народной Милиціи.

КОМИССАРЪ
1-ГО РАЙОНА
гор. Москвы.

Іюня 5 дня 1918 г.

№ 1.

УДОСТОВѢРЕНІЕ.

Дано сіе дѣлопроизводителю комиссара 1-го района г.Москвы В.Д. ЛІОРКО въ томъ, что состоя въ означенной должности она исполняла свои обязанности честно, аккуратно и съ полнымъ знаніемъ своего дѣла, что подписью съ приложеніемъ казенной печати удостовѣряю.

Районный Комиссаръ
1-го района г.Москвы

Дѣлопроизводитель

Еще в комнате сидел регистратор Саша Х., одних с Лялей лет, сын серпуховского огородника, любознательный паренек-самоучка, какими полна была тогда Россия. Ляля сразу прозвала его Тагором за то, что в промежутках между записью очередных входящих и исходящих, которых было немного, он, выдвинув ящик стола со спрятанной там книгой, читал «Садовника» Р. Тагора{45}. У Ляли тоже мало было дела, и она, подобно Саше, целыми днями читала. Они быстро подружились. Решено было не терять времени; на пари в течение двух месяцев они изучили стенографию по учебнику, раздобытому Тагором. Ляле это знание не пригодилось в жизни, а у Тагора, как потом оказалось, определило судьбу.

Тагор, как и Ляля, до всего должен был доходить сам. Бог весть как он наткнулся на поэзию. Также сам наткнулся на симфоническую музыку, и это он впервые свел Лялю на «Битву при Керженце» и на «Полет Валькирий»{46}, открывших перед ней новую область искусства. Вместе они ходили на бесплатные

концерты — все было тогда бесплатно, начиная с продуктов, получаемых по карточкам, и кончая трамваем и почтой. Тагор был неуклюж, сер и невыразителен лицом, чувств своих никогда не открывал, относился к Ляле покровительственно, хоть и был с нею одних лет, следовал повсюду, как нянька, и однажды, ужасно стыдясь, принес ей букетик ландышей.

Начальником Ляли был товарищ Гриб, молодой интеллигентный еврей. Он сидел в отдельном кабинете, где стояла маленькая железная печка, получившая тогда впервые название «буржуйка», и звал к себе время от времени своего секретаря погреться или чтоб угостить ее оладьями, которые сам тут же на буржуйке и пек. Что делал товарищ Гриб? Лялю это не интересовало. Она охотно ела оладьи, механически регистрировала и отправляла какие-то бумаги. Все происходившее вокруг казалось ей временным и не стоящим внимания. На лестнице она иногда встречала мрачного человека с утомленным лицом, который здоровался первый, но ни разу (это она заметила!) не улыбнулся ей. Об этом человеке говорили, что он добр и кристально честен. Это был их главный начальник — известный большевик Михаил Иванович Рогов (он погиб при Сталине как «враг народа»).

Ляля знала, что Рогов и Гриб часто остаются работать по ночам. Если бы они обратили тогда внимание на этих детей, искавших себе живого дела, может быть, Ляля и Тагор пошли бы за ними. Но этого не случилось. Шла перестройка государства, в котором они жили, но с их реальной жизнью она соотносилась в той мере, в какой можно соотнести бодрствование и сон, и до сознания как бы не доходило, что происходит вокруг, хотя в городе быстро исчезали продукты, надвигался голод. Переустройству быта предшествовало его полное разрушение. Вечерами Лялю заботливо провожали по темным, неосвещенным улицам Шрамченко или Тагор. Но в доме Высотских все шло пока по заведенному порядку. Жена Высотского, свежая женщина, затянутая с утра в корсет, царила за столом, где робко между ее четырьмя детьми сидела и Ляля. Младшая дочка Высотского недавно научилась ходить.

Высотская относилась к Ляле снисходительно-ласково и как бы не удостаивала замечать отношений к девушке своего мужа. По вечерам в роскошном готическом кабинете адвоката занимались музыкой, сам Высотский был импровизатором на рояле, приходила иногда жившая выше этажом пианистка. Тогда Высотский садился на ковер у Лялиных ног, а жена его насмешливо и покровительственно улыбалась им ярким, всегда влажным ртом.

И вдруг неожиданно приехал с фронта отец. Он был все в той же гимнастерке и, как Шрамченко, со следами споротых погон на плечах. Ляля со щемящим сердцем наблюдала, как отец вежливо благодарит хозяйку, целует ей руку, вставая из-за стола полуголодный, такой большой, такой похудевший, измученный, униженный. Она ненавидела в эти минуты Высотскую с ее красным ртом и самонадеянной улыбкой, когда та ставила в буфет и запирала на ключ оставшиеся от обеда хлеб и котлеты. Они жили у Высотских не из милости, они платили за пансион и платили дорого. Деньги кончались, оставалось одно Лялино жалованье. И вот отец пошел продавать на улицу газеты. Когда он возвращался, Ляля старалась не встречаться с ним глазами — так было легче им обоим. Кроме того, Ляля видела, что родителей тревожат отношение к ней Высотского и зависимость их семьи от него. Она сама тягостно ощущала на себе паутину его влияния. В конце зимы Высотский стал говорить настойчиво о браке, уверяя, что с женой он «договорится», и что она ему «давно не жена», и что дети будут ее, Лялю, «боготворить».

Но однажды Высотская позвала Лялю к себе в спальню. Она была впервые без корсета, опущенная и обмякшая, красные губы ее опухли от слез. Она обратилась к Ляле как к сильной, как к имеющей власть. Она умоляла ее «не губить семью», и девушка поняла, в какую беду вовлек ее учитель. Она рассказала все матери. Решено было немедленно из этого дома уехать. Тут, кстати, вернулся с фронта Александр Николаевич Раттай, в несколько дней нашел комнату, и вся семья переехала на Пречистенку, в дом 25, которому суждено было стать самым страшным местом за всю Лялину жизнь.

Я обходила мыслью воспоминания тех дней, и вот они встают передо мною вплотную: сейчас мне их уже не обойти. Давно прошедшее и никогда в душе не умирающее… Как бы хотела я рассказать о нем короче и строже!

Отец и Александр Николаевич уже не продавали на улицах газеты, теперь они устроились на работу в Статистическое управление. По вечерам отец надевал мамин передник и помогал ей по хозяйству. Александр Николаевич доставал откуда-то конину, ставшую основным питаньем семьи. Ляля ходила на службу, отдавала родителям свой заработок, ничего для себя не просила, ни во что домашнее не вмешивалась и жила своим замкнутым миром, полным неясных ожиданий и невозможной путаницы в мыслях, разобраться в которой никто и не мог ей помочь. И правда: всем было не до нее.

Вечером она читала или шла с Тагором в летний театр

Аквариум на симфоническую музыку, которую творили голодные артисты для голодной публики. Там увидала и услыхала она Рахманинова, дирижировавшего «Поэму экстаза» Скрябина. Музыка говорила языком, независимым от эпохи, людских временных целей и дел. Высотский упорно посещал пречистенскую квартиру, стараясь не встречаться с отцом.

Мать, похудевшая, словно уменьшившаяся ростом, изо всех сил старалась сохранить привычный порядок в доме, цепляясь за него как за последний призрак уходящего прошлого. Она что-то непрерывно мыла, шила, скребла. Это называлось у нее «не опускаться». Отец, выходя из кухни в мамином переднике, большой, широкий, что еще сильнее подчеркивалось его худобой, иногда вопросительно и с укором поглядывал на дочь, сидевшую безучастно с книгой.

Однажды в воскресенье отец позвал Лялю за город. Ехали долго на трамвае, потом шли пешком. Наконец они попали на зеленое загородное кладбище с заброшенными могилами и сели на чьем-то безымянном холмике в высокой траве.

— Я давно хотел тебе сказать, нарочно для этого сюда поехал, в городе трудно начать… Мне тяжело твое отношение к матери. Ты дома как чужая, а к ней ты просто жестока. — Ляля первый раз в жизни увидала слезы на глазах отца.

— Я люблю тебя, — ответила Ляля и, отвечая, терзалась, понимая голую правду его слов. Ей не хотелось укрываться от голоса совести. — Я люблю тебя, — повторяла она, лежа ничком на траве и плача, — но я не люблю нашу маму.

— И тебе ее не жаль? — спросил отец после долгого молчанья. Ляля сразу не ответила. Потом она поднялась, оправила платье, вытерла слезы и сказала:

— Я тебе обещаю, я все тебе обещаю!

Они взялись за руки и, как в недавнем детстве, молча пошли рядом.

Лето 1918 года стояло жаркое и сухое. На Москву со всех сторон наползали голод и тиф. По железным дорогам, увесив гроздьями поезда, ехали «мешочники». Это были голодные городские люди, искавшие еду; это были и крестьяне, сбывавшие свои запасы за вещи, за деньги, за драгоценности. Ползли слухи о наступлении Белой армии, о том, что скоро большевики кончатся и начнется «нормальная жизнь». И вот однажды был объявлен в Москве приказ явиться всем офицерам царской армии для регистрации по месту жительства. Дальновидные люди, имевшие политический нюх, уклонились от явки. У этих в будущем сложилась разная судьба: кто бежал в сторону белых, кто погиб

позднее при очередных «чистках» населения, кто благополучно пережил все перекаты и мирно закончил свой век трудовым пенсионером.

Дмитрий Михайлович не колебался. Совесть его не упрекала ни в чем: во все времена на своем месте он был справедлив и великодушен. Так — перед судом своей совести, но как можно рассчитывать на проницательность людей, лично его не знавших? Дмитрия Михайловича судили лишь по его военной форме. Он, как послушный ребенок, пошел в свою районную милицию, и Ляля спокойно его провожала. Она перекрестила его на прощанье, и они расстались у дверей, не подозревая, что эти двери вели в арестантскую камеру. Ляля с матерью ждали возвращенья отца несколько дней… Потом бросились на розыски. С трудом добились ответа, что отец в Таганской тюрьме и что справки надо получать в ВЧК на Лубянке.

У ворот Таганской тюрьмы стояли растерянные женщины. Они приносили скудные передачи заключенным. На Лубянке Ляля добилась приема у следователя, который вел дело отца. Фамилия его была Медведев. Это был бледный, измученный непосильным напряжением и, вероятно, голодный человек из рабочих, убежденный революционер. Таким он открывался в беседах с Лялей.

— Кто бы из наших людей мог подтвердить ваши об отце показания? — спросил ее однажды Медведев.

— Рабочие мастерских, переброшенных в Рославль, — ответила Ляля. — Нам писал оттуда знакомый мастер Залипаев. Он революционер, и отец однажды спас его своим заступничеством. Отца знали и уважали рабочие.

Медведев сумрачно поглядел на девушку:

— Я вам верю, но этого мало. Пока — вот вам пропуск на свиданье.

Не буду описывать это свиданье… В конце концов все началось еще, когда отец приехал первый раз с фронта: чужой запах примешивался к родному запаху его тела, то же тревожное выражение его прекрасных глаз, то же чувство жалости к нему и своя пугающая беспомощность. И та же упрямая надежда, что ничего не может случиться безвозвратно плохого, надежда на хороший конец «несмотря ни на что».

Мать плакала. Отец говорил, что это касается не его лично, а всех, а со всеми не могут расправиться жестоко. Что у него вдумчивый следователь. На прощанье он попросил достать ему Библию. Отец никогда ее не читал, знал о ней, как большинство в его кругу, понаслышке. Ляля достала Библию и принесла со следующей передачей. В одной из записок, которые разрешалось

посылать при получении передачи, отец говорил о Книге Иова с радостью и надеждой. Это было, по-видимому, первое в его жизни глубокое «священное» чтение, и он предавал себя, как древний Иов, в руки Божии во всей простоте своей искренней веры и чистой души.

Наступил роковой день: эсерка Каплан совершила покушение на Ленина. Правительство объявило красный террор. В этот день отменили передачу, и у ворот тюрьмы в смятенной толпе женщин нарастало волненье. Женщины не расходились. Ляля стояла в первых рядах толпы со своим уже ненужным узелком и тупо смотрела не отрываясь на громадные тюремные ворота, в которых время от времени отворялась маленькая дверца и кто-то из служащих в военной форме входил и выходил. По-видимому, за ней был внутренний тюремный двор. Ляля стала вглядываться в освещенный квадрат, открывающийся за дверью. Но как бы мог *там* очутиться отец, там, а не в камере? Ожиданье становилось безнадежным, и все же она чего-то ждала. Сколько часов прошло так в пыли под жарким августовским солнцем?..

И вот случилось невероятное: дверь открылась перед очередным проходящим, и Ляля увидала за ней, совсем близко, в освещенном квадрате родное измученное лицо.

— Папа! — раздался над толпой ее высокий звонкий голос. Толпа притихла. Многие повернули головы на крик. Толпа расступилась. Она бросилась вперед. Дмитрий Михайлович услыхал ее голос, разглядел ее в толпе, его лицо просияло, он поднял руку и издали перекрестил ее широким крестом. Дверь захлопнулась. Ляля все поняла.

Александр Николаевич увез в этот день Наталию Аркадьевну за город к кому-то из знакомых «подышать воздухом», ничего о происходящем не подозревая. Ляля не застала их дома. Страшная была эта ночь. Ляля то бросалась на колени и громко, как самого близкого и всесильного друга, просила Бога, то выбивалась из сил, ложилась ничком на пол и рыдала.

Молитва ее не была принята и исполнена. И если б она тогда отвратилась от этого Бога, какому молилась, никакие силы земли и неба не могли бы ее осудить. В своем стремлении она была не одна: бесчисленные дети ее родины — и красные, и белые, и просто, как ее отец, не сознающие своей вины, — все эти русские люди переживали одно и то же. Кто их рассудит, кто утешит, кто примирит?

Утром Ляля бросилась на Лубянку, с трудом пробилась к Медведеву. На нем не было лица. Он мрачно посмотрел на девушку и сказал:

— Если хотите спасти отца и если вы говорили мне правду,

немедленно поезжайте в Рославль и достаньте ту бумагу от рабочих. Немедленно!

Ляля прямо с Лубянки бросилась на вокзал Александровской, теперь Белорусской железной дороги. По пути она встретила знакомую женщину, которая взялась сходить к матери и рассказать о случившемся: терять нельзя было ни минуты.

Поезда ходили тогда с задержками, без точного расписания, билетов не продавали — поезд был даровой, места брались с бою в прямом значении этого слова. Народ сутками спал на вокзале, живя ожиданьями и слухами, среди подсолнуховой шелухи, бумажек и плевков. В гуще галдящих, потных людей Ляля втиснулась в вагон. Всю ночь просидела она на чьем-то узле. На нее наталкивались, через нее шагали. На короткие минуты она забывалась. Так было и под утро: она открыла глаза от тоскливого толчка в сердце и увидала в окне над собой бледное светлеющее небо. Это было то самое небо, которое она видела из окна своей детской комнаты десять лет тому назад; она вспомнила свою тоску от зловещего гудка, сзывающего рабочих на очередную смену, свой ужас за них, за себя, за всю человеческую жизнь перед неминучестью. Она поняла, что это пришла черная минута возмездия — в эту минуту погибает ее ни в чем не повинный отец. И, странно, эта минута была для нее как избавление: она отбросила все мысли, потому что спасения уже не было. И она опустилась, как в могилу, в глубокий сон.

Утром она вылезла в Рославле. В центральном зале вокзала она увидела огромную икону Смоленской Божьей Матери, местную святыню. Перед иконой горело множество свечей — их ставили проезжие пассажиры. Они надеялись еще на помощь; эти люди, в своих делах и мелких делишках!

Ляля прошла мимо иконы, не поднимая глаз: все было кончено, ей не о чем было просить. Она жила теперь в том мире, где не на кого надеяться, но надо действовать самому. И она делала: она достала с помощью мастера Залипаева нужную бумагу, внизу которой стоял длинный столбец подписей рабочих людей. Ей дали еще два больших круглых хлеба, пахнущих настоящей рожью, и посадили в отходящий на Москву поезд. Вместе с ней в купе ехали несколько мужчин и женщина, молодая, необыкновенно крупная, с красивой, по-мужски стриженной головой и могучим телом. Ее звали Маруся и подчинялись ей с оттенком подобострастия. Вся эта компания была вооружена, хотя одеты были и мужчины и женщины в штатское. Они везли ящики с чем-то явно запретным и очень осторожно их передвигали. Люди эти перебрасывались

непонятными словами на особом жаргоне. Они сразу заперли дверь и не открывали ее никому в продолжение всего пути. Как только поезд тронулся, в купе начался пир. Ляля как в сказке смотрела на роскошную еду, от одного вида которой у нее кружилась голова. Маруся долго не удостаивала девушку своим вниманием. Наконец обернулась к ней, поиграла перед ее лицом револьвером, бросила ей на колени большой круг колбасы, несколько пирогов и сказала:

— Залазь на полку и лежи. Ничего ты не видала. Понятно?

— Понятно, — ответила Ляля, взяла колбасу, пироги, полезла на самую верхнюю багажную полку. Там она съела один пирог и сразу же заснула. Она действительно не видала, когда Маруся со спутниками и таинственным багажом вышли из купе.

В Москве Лялю встретили Александр Николаевич и мать. Они встречали каждый поезд и жили без нее двое суток на вокзале. При взгляде на мать первое, что бросилось в глаза: как может похудеть человек за двое суток. Ей хотелось обнять и спрятать мать от непосильного горя, хрупкую, худую. Но Ляля не могла освободить рук и выпустить два огромных хлеба и кольцо колбасы среди голодной толпы. Так с хлебом и колбасой они все трое бросились на Лубянку. На улице была небольшая группа людей, по каким-то причинам никого не впускали, как обычно, в помещение. Молодой человек из сотрудников время от времени высовывался в дверь и спрашивал у пришедших:

— По какому делу?

Он взял у Ляли бумагу, ею привезенную, и пообещал немедленно передать Медведеву.

Прошло несколько безнадежных часов на границе отчаяния. Наконец все тот же молодой человек высунулся из дверей, выкрикнул Лялю и сказал ей:

— Товарищ Медведев вас принять не может и передает, что вы опоздали: приговор приведен в исполнение.

Ляля встретила известие почти спокойно: она уже про себя знала все.

— А моя бумага? — бессмысленно спросила она.

— Бумага останется в деле, — ответил молодой человек и скрылся за дверью.

Ляля услыхала за своей спиной падение человеческого тела: это свалилась без сознания мать на камни мостовой{47}.

Несколько суток не выпускала Ляля из рук свою мать, бившуюся в рыданьях. Она гладила лицо матери, целовала, укачивала ее, как ребенка, и без конца говорила, говорила горячим шепотом прямо на ухо те тайные слова, восстановить которые в памяти сейчас невозможно, но именно об этих словах

Наталия Аркадьевна впоследствии вспоминала, что Ляля ими ее тогда спасла… Кроме того, Наталия Аркадьевна рассказывала, что в эти несколько часов после известия о гибели отца с Лялей совершилась необычайная перемена, и это было замечено всеми: она стала походить на отца до мельчайших оттенков во всем своем существе — в движениях, в манере говорить, в привычках…

Мать успокаивалась только когда Ляля держала ее руки в своих или медленно гладила по голове и по плечам. О своем личном горе Ляля как будто забыла в те первые дни — она вся ушла в дело спасения матери. Александр Николаевич ходил с красными глазами, что-то молча прибирал, кипятил чай, впускал и выпускал знакомых, приходивших с выражением сочувствия. Ни Ляля, ни Наталия Аркадьевна никого не замечали.

Слова, которые Ляля шептала в те дни на ухо своей матери и которые, по признанию Наталии Аркадьевны, ее спасли, были выражением нового для самой девушки и еще непонятного ей самой состояния. В нем она отдала себе отчет много позже, когда острое горе матери стихло, и Ляля вернулась к самой себе; вот что с ней случилось в те дни.

Это случилось внезапно. Она ехала в трамвае на службу. В Моссовете все знали, но никому не пришло в голову преследовать дочь человека, расстрелянного во время террора. Ляля читала выражение молчаливого сочувствия на лицах людей, окружавших ее на работе, и сам М. И. Рогов так же вежливо кланялся ей, как и прежде, при встречах. Хорошие люди были среди тех, кто делал кровавую революцию. И эти люди также делали ее.

Вот она едет в трамвае на службу. Прошло с тех пор несколько десятков лет, но все сохранилось в памяти, как будто произошло только вчера. Вот серый дом на Пречистенке, мимо которого в это мгновение проходит трамвай; она стоит посредине, держась за кожаный ремень над головою; ноет нога, стертая еще, когда ездила на Таганку с передачами, некогда было бинтовать — терпела; боль в ноге — это самое близкое ей в данную минуту… И вдруг — это внезапное озарение, когда ей в одну минуту открылась полная независимость от так называемой жизни, свобода и несокрушимое счастье: смерти нет и ее не может быть!

Знаю, это важно только мне одной, и все-таки запишу: этот дом был тем самым особняком, в котором ныне расположен музей Л. Толстого. Почему мне это важно вспомнить? Вероятно потому, что достоверность существования и посейчас того дома, зримого, осязаемого, сообщает достоверность и тому моему сопутствовавшему переживанию, которое живет лишь в памяти сердца. И если бы мое сердце остарело, и я забыла бы это

пережитое, то вид старинного дома на Пречистенке с несомненностью то мгновенье бы воскресил.

Это новое убеждение как знание, недоказуемое и, тем не менее, неопровержимое, было, по-видимому, той силой, которая «спасла» Наталию Аркадьевну от отчаяния и вернула к жизни. И, кажется, то же чувство клубилось в душе Ляли тогда, у гроба бабушки Наталии Алексеевны.

Первое, что легло резкой чертой между смутным старым и трудным, но ясным новым, был короткий разговор с Высотским. Надо сказать, что после гибели Дмитрия Михайловича Высотский не показывался в их доме и даже не звонил по телефону. И вдруг однажды он как ни в чем не бывало пришел. Ляля открыла ему дверь и тихо, чтобы не слышала мать, сказала: «Не приходите к нам никогда. До самой смерти». И закрыла дверь. Высотский больше не пришел. Потом началась самая трудная в их жизни голодная и холодная зима 1918/19 года. Дома в Москве не топились. В комнатах замерзали вода и чернила. Сидели и спали в шубах, шапках, валенках. Картофельные очистки заменяли хлеб. Александр Николаевич работал врачом и изредка приносил Наталии Аркадьевне то молока, то крупы. Уходя на службу, Ляля и Александр Николаевич оставляли двери в квартиру открытыми, чтоб соседи могли навестить Наталию Аркадьевну, не вставшую с постели. Она таяла на глазах, отказывалась от еды и все время кашляла. Перестилая ее постель, Ляля находила под матрацем куски оставленной ей на день и испортившейся пищи. Ляля сердилась на мать и плакала.

В ту же зиму Ляля поступила на филологический факультет. От попытки бороться за лучшее место в жизни сохранилась только зачетная книжка без единой пометки о сданном экзамене: учиться, работать, голодать и выхаживать умирающую мать было непосильно. Тогда она бросила Моссовет и поступила делопроизводителем сразу на две службы: обе они были рядом с ее домом и, что было главным, давали усиленный военный паек. Это были редакция журнала «Военное дело» и «Пенитенциарные курсы» (ирония судьбы!), возглавлявшиеся Крыленко{48} и готовившие… тюремных надзирателей.

Этой же зимой Ляля нашла в брошенной квартире бежавших соседей книги по философии, которые ей стали еще дороже хлеба (а хлеб был в те дни мерилом вещей). Прежде всего она прочла «Введение в философию» Челпанова{49}. Эта простая, почти школьная книга открыла ей мир строгой мысли, подчиненной своим, независимым от природы формам и законам, столь

непохожий на то, чем два года питал ее Высотский. Но кто из молодых людей не стоял в восхищении перед впервые открывшейся им перспективой чистого философского умозрения? Видеть действительность по-разному: по Платону, по Декарту, по Канту, по Гегелю, и у каждого одинаково убедительно, как убедителен в своей художественной выразительности один и тот же пейзаж и у наивного реалиста, и у изысканного импрессиониста.

Успокоив мать и услышав ее ровное дыханье, Ляля забиралась с ногами на свой диван, закрывалась всем теплым, что было в доме, и распухшими руками в перчатках листала страницы книги иногда всю ночь напролет. Собеседников она не искала. Старые друзья Шрамченко и Тагор куда-то уехали из агонизирующей Москвы.

К весне у матери развился туберкулез легких, она погибала. Александр Николаевич и Ляля устроили ее в санаторий под бывшим Сергиевым, и теперь каждую субботу Ляля ехала после работы до Сергиева и оттуда шла несколько верст пешком. Широким полукругом уходили к горизонту холмистые сергиевские дали, ноги легко шагали, летом голод переносился легче, и у молодости был запас скрытых сил. По дороге складывались у девушки строки стихов, ценны они сейчас, конечно, не как стихи — какие это стихи! — а как неподдельный документ жизни.

Всю жизнь мою, в каждом ее биенье,
Всю в руки тебе!
Из дней мимолетных ее выкуй крепкие звенья
Цепи, врученной судьбе.
Радостен будет путь через долину смиренья
Всю в слезах и крови, —
Цепь, что ты сковал, будет не цепь терпенья,
А цепь любви.
Радостен будет путь здесь в стремнине холодной
На цепи, и слепой судьбы.
Когда передастся по звеньям — другой конец, свободный
Бережно держишь ты.

Это была молитва к отцу. К Богу она теперь не обращалась.

Она шла на свиданье к матери, и сердце заливала горячая волна жалости, когда она представляла себе Наталию Аркадьевну у ворот санатория, издали машущую платком. Ляля полюбила теперь мать как своего ребенка. Наталия Аркадьевна отвечала тем же и вверялась своей дочке преданно и самозабвенно. В те дни

Наталия Аркадьевна записала на листке то, что с нею произошло:

«Чтобы память сохранила все без изменения до последнего момента моего земного существования, записываю. Приняла это событие как великую милость ко мне Бога. Когда мне бывает особенно тяжело, то я нахожу большое облегчение, мысленно возвращаясь к этому событию.

После постигшего нас горя я заболела экссудативным плевритом на туберкулезной почве. Обстановка для тяжело больного была кошмарная, 18-й год был годом экономической разрухи, вызванной гражданской войной. Дома не отапливались, трубы полопались, я лежала в комнате, в которой замерзали чернила, с высокой температурой, в согревающем компрессе, боясь пошевельнуться, чтобы не охладиться, лежала одна в пустой квартире, так как Ляля и доктор-сосед с утра уходили на службу, оставляя около меня еду — все, что можно было достать, урезая самих себя. Входную дверь оставляли незапертой до своего возвращения в надежде на то, что кто-либо из живущих в этом доме зайдет ко мне.

Через полтора месяца, держась за стенки, я пыталась ходить. Ляле шел восемнадцатый год. С большим трудом и любовью ей удалось устроить меня в подмосковный санаторий (туберкулезный). Пробыла я там несколько месяцев, не входя ни с кем в общение. Мое горе — утрата любимого единственного в мире человека — не ослабевало. Мысли о нем, жалость, обида за него и Лялю, лишенную любимого отца-друга, не могли улечься во мне, терзая дни и ночи. Я жила как бы вне жизни, если можно было назвать мое состояние жизнью. Я все ждала его, и других мыслей у меня не было. За каждым поворотом дорожки я ждала его, а вдруг он покажется!

Уйду в конец парка, молюсь, зову его, прислушиваюсь, вот отзовется, — но все молчит, и я одна, одна, он не слышит, молчит… Но ведь где-то он есть… Плачу, бьюсь головой, жалуюсь Ляле мысленно, уношусь к ней, страдая за ее одиночество: она так любила его! Истерзанная, больная иду в дом, избегая людей.

Вся моя забота, жалость, любовь перешли к Ляле. Я сознавала, что должна жить и бороться за своего ребенка, для нее: все в ней, весь смысл жизни моей, видя

в ней его. Я была одна и справиться с собой не имела силы. Поделиться своим горем и мыслями было не с кем: горе меня разрывало.

На моем ночном столике стоял его портрет под марлей, я прикрывала марлей, чтобы не видеть лица, не в силах была смотреть на него, но чувствовала его около себя. Так проходили дни за днями, я заметно окрепла и стала справляться с болезнью.

Теперь подхожу к случаю чудесному и принятому мной как милость Божья мне, грешной и недостойной. Со страхом великим пишу эти строки, но знамение милости ободряет меня.

В один чудный июльский день, как обычно, я ждала мою девочку, это были мои праздники. Я накапливала продовольствия для нее, которое состояло из санаторных капустных котлет. Поминутно выбегала на дорогу, высматривая ее. Она не пришла по какой-то причине. Грустно дотянув до вечера, помолившись за них, легла спать. Рано утром я проснулась, солнышко уже золотило верхушки деревьев в саду за окном. В окно вливалась свежая влага утра, в природе все было неподвижно и беззвучно. В комнате со мной все еще крепко спали, я лежала, и знакомый разъедающий яд одиночества, обида на Бога-отца, допустившего такую несправедливость, — все эти мысли рвали на части душу. Я надвинула капот и, вопреки порядкам санатория, вышла тихонько в парк. Все еще спали, двери на ночь не запирались, с вечера выметенная площадка серела гравием, на него опрокинутые стояли кресла. Вокруг площадки шли клумбы с душистыми цветами и газоны с травой. На всем еще лежала печать сонной ночи, отдыха. Ни одного живого звука. Собака спала в своей будке, природа хранила тайну ночи, царственный покой, и это величие проникало в мою душу, я чувствовала себя как бы на молитве в храме.

Вся лужайка, клумбы, деревья были покрыты обильной росой. Я перевернула одно из кресел, поставила на границе лужайки и села в него. Я была вся во власти своей тоски и разлада с Богом, плакала, молилась о нем, звала. Все молчало, и звуки возвращались в меня обратно, ложась камнем на душу. И вдруг, опустив глаза на траву, я неожиданно увидала на лужайке у своих ног в зеленой серединке сборчатого листа громадную каплю росы, которая весело играла на

солнце и переливалась, как бриллиант, всеми огнями. Росой были покрыты все цветы и трава, но эта капля приковала к себе все мое существо. Я впилась в нее глазами, боясь дышать. Сердце сразу забилось, я задрожала и замерла. Всем своим существом слилась я с этой дрожащей каплей, окружающее перестало существовать.

И вдруг я почувствовала, что во мне что-то происходит: в сердце стал вливаться сладостный мир вместо злобного ропота, и кто-то мне сказал: „Это Митя!“

Какой восторг, какая радость всколыхнула все мое существо! Нет таких слов, которыми можно передать чувство того мгновения. Слезы полились из моих глаз дождем, но это были слезы благодатные, до того радостные, что нет радости, которая бы сравнилась с ними. Как будто из моего сердца кто-то вынул страшную боль. Я плакала и смеялась, боясь отвести глаза от листка с капелькой, смотрела на „Митю“, и он смеялся, блистая капелькой, его душа дрожала и радовалась, переливаясь лучами, — это Митя смотрел, он был со мной, любимый, тут, утешал, ласкал свою бедную Наташу.

— Родной мой, счастье мое! — шептала я. — Приласкай меня и нашу девочку!

Я вся дрожала, опустилась на колени над листком, боясь, что капелька-душа исчезнет как-либо, с большой осторожностью наклонилась над землей, перекрестилась и выпила ее, как причастие. Листик же положила себе на грудь, потом и его проглотила.

Я была счастлива первый раз после всех страданий, но счастье это было совсем особенное, не наша радость земная, — это было счастье какой-то близости тишины, которая во мне, со мной, и никто у меня ее не может отнять. Я чувствовала себя царицей, что-то большое принявшей и несущей в себе великую тайну.

Оглянулась вокруг себя и не узнала: все то же и не то, все изменилось какой-то радостью. Краски нежно ласковые, солнышко будто целует все, что обливает своими лучами. Стали просыпаться и птички, защебетали вокруг, точно молясь и сливаясь с моим счастьем. Зашевелились утренним ветерком деревья и кусты, где-то послышались голоса людей. Я стояла будто зачарованная, боясь расплескать в себе эту радость

торжественного очарования. Няни показались в окне дома, по дорожке прошел зеленщик с корзиной овощей для кухни, очнулась и я, радостно отправилась в свою комнату. Взяла со стола его покрытый занавеской портрет (до сегодняшнего дня не могла на него смотреть), прижала его к себе, поцеловала, легла с ним счастливая и уснула.

Долго и ярко чувствовала я все пережитое, с каждым днем стали прибывать силы для служения моей дорогой девочке, которая — весь смысл моей жизни, как его продолжение. Ей принадлежит каждая моя мысль и каждая капля крови, которую я с восторгом отдаю ей. Все это святая правда. Благодарю Тебя, Боже!»

Долгая жизнь удерживается в памяти лишь отдельными впечатлениями-пятнами. Такое «пятно» — разговор с больным моряком Сергеем Николаевичем Мелентьевым в один из приездов в санаторий. Они сидят в густой траве на краю поля. Сергей Николаевич часто кашляет и завистливо поглядывает на розовую девочку, полную сил. Знает он или не знает, что должен скоро умереть? Тяжело больные не допускают обычно эту мысль до сознания.

— Мы гадаем с вами, — говорил он, — к чему стремиться, в чем счастье? Будем откровенны, мы оба хотим одного — любви. Я моряк, я жил свободно, был в дальних плаваньях. Мы, моряки — не институтки, я знал много женщин. И понимайте мое «знал» в узком и определенном смысле. Но что дало мне величайшее наслаждение в жизни? Отказ себе в любом чувственном, шире сказать — эгоистическом желании. И, если найдешь в себе силы так поступить, сразу поднимаешься на новую неизведанную ступень и испытываешь наслаждение роста и свободы.

— Я знаю, — ответила Ляля, — у аскетов это называется борьбой со страстями.

— Ну, я не сведущ в религиозных ученьях, — и засмеялся и закашлялся Мелентьев. — Сами понимаете, какой я монах! Без страсти нет ни жизни, ни творчества. Страсть — это источник силы. Страсти надо не подавлять, а преобразовывать, чтоб сохранить их огонь и чтоб уничтожена была их «самость», эгоизм{50}. Это — главное, что я узнал. Успею ли я это в жизни осуществить? Вернее всего — не успею. Но я говорю вам на память и оставляю в наследство. Я не люблю вас и не успею полюбить: я слишком болен и отвлечен болезнью. Но я дышу и наслаждаюсь сейчас нашей совместностью. Вы не забудьте нашего разговора: вам еще долго жить.

Через месяц Мелентьев скончался от внезапного легочного кровотечения. Могилу его мы осыпали последними полевыми цветами.

В 1919 году стояла долгая жаркая огненная осень. Леса сохраняли разноцветную окраску, и листья не хотели облетать. Казалось, они вместе с людьми страшились новой грозной зимы. Ляля шла со станции, и пятна багряной листвы напоминали все об одном, и в голове всплывали стихи:

Как эти зори странно алы.
Как жутко листопад багрян.
Ты душу ныне потеряла
Иль кровью изошла от ран?

А медный осени орган
Поет о стрельчатых порталах,
О непостижных, небывалых
Снах золотых нездешних стран.

Но знойный воздух душен, прян.
Земные ризы темно-алы,
Кровавый стелется туман,
И черны наших душ провалы.

И грудь земли моей родной
Вся в отблесках листвы багряной
Мне чудится одной, сплошной,
Свежо сочащеюся раной{51}.

Этой осенью произошла еще одна встреча, которую я не предам забвенью — так характерно было в ней все для того времени.

На симфоническом концерте — он шел на открытой сцене в Аквариуме — рядом с Лялей сидел странный человек: обмотки и старые опорки на ногах, на плечах кисло пахнущая солдатская шинель, тонкие пальцы из-под рукава рваной шинели непроизвольно движутся в такт музыке. Голубые глаза, по-детски изумленные — человек этот весь ушел в слух.

В антракте Ляля заметила на себе его внимательный взгляд. Этот взгляд беззастенчиво рассматривал ее всю с головы до ног в стоптанных брезентовых туфлях. Наконец глаза поднялись, встретились с ее, возмущенными, и человек этот сказал, добродушно и чисто улыбаясь: «Вы созданы для моей Античной студии!» И тут же все о себе рассказал. Он оказался врачом,

недавно вернувшимся с фронта Гражданской войны. Но лечебной практикой не интересуется. Он занят своей теорией создания гармонического человека. Выходит на днях книга, где изложена его система. Сейчас он добивается принятия его проекта «Античной студии», чтобы осуществить на практике свою идею и воспитать артистов-учителей, которые понесут его открытие в народ.

— Вы созданы для моей студии, — повторяет он и записывает четким, изящным, неожиданным у грязного оборванца почерком Лялин адрес.

— Тихон Дмитриевич Фадеев, — представился он ей на прощанье. Девушка тут же забыла о симпатичном докторе.

Кончался срок пребывания матери в санатории. О новой надвигавшейся зиме страшно было подумать: Наталия Аркадьевна ее не перенесет. На глазах у всех девушка боролась за жизнь матери, и нашлись среди наблюдавших эту борьбу люди, захотевшие ей помочь. Она об этом поначалу и не подозревала: все делалось за ее спиной. Главный врач санатория Николай Николаевич Гринчар, его начальники из областного здравотдела… Да, много хороших людей совершало жестокую революцию! Подобралась целая цепочка этих людей, и Ляле предложили место педагога во вновь организуемом детском санатории, куда она могла уехать из Москвы, взяв с собою и мать. Это было спасение. Но не было у нее главного — солидной характеристики с работы. У кого просить? Не брать же с «Пенитенциарных курсов»… Разве что на прежней службе у т. Гриба? Она колебалась. И тут случилось неожиданное и очень странное событие. Однажды Ляля наутро собиралась в очередную поездку к матери. Она была той ночью в квартире одна. На рассвете раздался резкий стук в дверь. Ляля, недолго думая, открыла ее и увидела на пороге двух вооруженных красноармейцев, которые протягивали ей ордер на арест. Понять, отчего Ляля отнеслась к этому событию с легкомысленным спокойствием, трудно, но что-то подсказывало ей: ничего дурного с нею не случится. Она оделась и пошла между двумя молодыми пареньками, которые вели ее зачем-то посередине пустынной ночной улицы, прямо по булыжникам и трамвайным рельсам. Предрассветное небо разгоралось. Природа спокойно встречала утро. Ляля чувствовала прилив бодрости и уверенности. Ее состояние передалось конвоирам. Они удивленно поглядывали на арестантку, и один из них на прощанье сказал, явно нарушив дисциплину:

— Много мы народу важивали, а такую веселую впервой.

Лялю привели и сдали, к ее крайнему удивлению, на

знакомый Тверской бульвар в административный отдел Моссовета. В знакомом зале, где происходили у них обычно собрания, теперь сгрудили целую толпу арестованных. Никто ничего не понимал, и все опасливо поглядывали друг на друга. Время от времени выкрикнут фамилии, несколько человек уводят, и они больше не возвращаются… Лялю беспокоила только одна мысль о матери: та ее сегодня ждет. Вдруг отворилась дверь, и через залу под конвоем быстрым шагом прошел т. Гриб, ее бывший начальник. Он был всклокоченный, возбужденный, в грязном белье, шинель в накидку. Рассеянно он скользнул глазами по толпе и узнал Лялю.

— И эту тоже! — воскликнул он досадливо и гневно. — Скоро грудных детей начнете таскать! — И исчез вместе с конвоирами за дверью.

Ляле шел уже девятнадцатый год, но она почувствовала себя действительно несмышленым ребенком. Вскоре выкрикнули ее и повели куда-то. Это оказался кабинет т. Рогова. Сам Рогов сидел в отдалении, а Лялю подвели к незнакомому строгому человеку, который стал придирчиво ее допрашивать и заполнять листок. Вопросы были ясны, скрывать было нечего. Она поняла, что обнаружен какой-то заговор и что в него вмешан т. Гриб. Допрашивавший на каком-то вопросе вдруг смягчился, переглянулся с Роговым, молча наблюдавшим допрос…

— Можете идти, — сказал суровый человек.

— К маме? — наивно спросила обрадованная девушка. Человек нахмурился, ничего не ответил и выкрикнул:

— Следующего!

Ляля вопросительно посмотрела на Рогова, не веря еще столь скорому избавлению. И тут Михаил Иванович впервые в жизни чуть-чуть ей улыбнулся.

— Знаешь, — сказал он, обращаясь к ней на «ты», — тебе учиться надо.

— Меня приглашают в детский санаторий воспитательницей, — ответила Ляля, — там будут кормить и мою маму и будет тепло.

— Пожалуй, это неплохо, — снисходительно ответил Рогов.

— Только нужна солидная рекомендация, — сказала Ляля и осеклась, густо покраснев. Михаил Иванович взял листок бумаги, написал несколько слов и протянул Ляле:

— Вот рекомендация, попробуй себя педагогом.

Так с наступлением поздней осени Ляля с матерью в обществе незнакомых женщин на грузовике отправились по Большой Калужской дороге в бывшее имение недавно бежавших за границу князей Трубецких Узкое, где открывался санаторий

для детей без различия их возраста, пола, происхождения, детей, погибавших от государственной разрухи. Для Ляли и ее матери начиналась новая жизнь. Александр Николаевич оставался в Москве, один в пустой квартире.

За несколько дней до отъезда, в сумерки, появился в их темной передней какой-то незнакомый человек. Не раздеваясь, он прошел в столовую, как хорошо знающий расположение комнат. Ляля и Наталия Аркадьевна, опасливо переглядываясь, следовали за ним. Когда он вышел на свет, они сразу узнали в бритом и от этого неузнаваемо помолодевшем человеке Шрамченко. Даже глазки его, радостно смотревшие на них, увеличились от худобы и загара.

— Где вы столько времени пропадали, что с вами было? — бросились Ляля и Наталия Аркадьевна к нему, как к родному.

— Я был на той стороне, в армии генерала Деникина, — ответил Шрамченко. — Сейчас я приехал затем, чтобы увезти вас. Надо торопиться, я ежеминутно рискую. «Там» у меня все оформлено для вас. — Он встал, почтительно вытянулся и сказал с отчаянной решимостью: — Я не смел раньше говорить об этом. Я был бессилен и почти уничтожен. Но сейчас я приехал… просить, Валерия Дмитриевна, просить вашей руки. Поедемте, вы спасетесь из этого ада, и мы будем счастливы!

Ляля грустно смотрела на Шрамченко и молчала. Ей было обидно за его напрасный порыв, почти подвиг, и больно ему отказывать, но она знала, что не любит и некуда ей уйти из своей жизни, такой, как она складывалась сама, не по ее воле. Почему она должна была ее терпеть — этого она не могла объяснить ни Шрамченко, ни себе самой.

Наталия Аркадьевна обняла и поцеловала Шрамченко. Тот все понял. Он опустил черную, коротко остриженную голову, постоял, потом по-военному повернулся на каблуках и исчез так же быстро, как появился. Я никогда ничего не узнала о его судьбе, как не могу сейчас даже вспомнить имени этого человека.

После появления Шрамченко Ляля часто стала возвращаться мыслью к пропавшей своей сестре Клавдии: «Наверно, она тоже „там“». Года через два они получили по рукам шедшее, все истрепанное письмо, в котором Клавдия писала: «Дорогие тетя Наташа и Ляля, пишу наспех, без особой надежды, что вы получите это письмо. Мы все живы. Мы бежали с Кавказа через море в условиях, о которых страшно вспоминать, и вот очутились в Константинополе. Перед тем отец перехватил и прочел письмо от N., которое ему открыло глаза. Я боялась, что с ним будет удар, до сих пор он не может мне простить прошлое. Да, это все уже прошлое… Следы N. потеряны и вряд ли найдутся. А жить

надо, денег нет, мама стала разваливаться, отец только храбрится. Короче говоря, я вышла замуж за одного турецкого коммерсанта, очень богатого. Я с ним познакомилась на пароходе во время бегства… Он молодой, красивый, влюблен в меня. Понимаю, как вам тяжело, если только вы живы. Но решаюсь просить, если когда-нибудь узнаете об N., дайте мне знать любыми путями, какие найдете. Ваша всегда благодарная Клавдия». Это было последнее, что Ляля с матерью узнали в жизни о Клавдии.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Шкала радости

Длинная аллея золотых осыпающихся лиственниц вела мимо церкви и кладбища с родовыми княжескими могилами к дому. В одном из крыльев, соединявшихся с центральным зданием крытыми галереями, поселились дети и весь персонал санатория.

Ляле с матерью отвели угловую комнату, светлую, как фонарь, и оклеенную обоями, повторявшими забавную сцену борьбы мальчика, козла и собаки. Без сомнения, это была детская комната Трубецких.

Какие в их окна роскошные, отягощенные первым снегом заглядывали ели, какие утренние зори, какие вечерние закаты! Такое случилось впервые в Лялиной жизни, и много в этой встрече с природой таилось нового смысла.

Узкое было еще недавно одним из центров культурной жизни Москвы. Оно принадлежало Петру Николаевичу Трубецкому{52}, предводителю московского дворянства. Его братьями были известные философы — профессора Московского университета Сергей и Евгений{53}. В этом доме скончался недавний властитель дум московской молодежи Владимир Сергеевич Соловьев. Все здесь говорило о богатой и внезапно оборвавшейся жизни просвещенных русских аристократов.

В столовой еще стояли стулья, обитые красным сафьяном, на их спинках вытеснен герб Трубецких. Еще висело на стене меню приема хозяевами Николая II, оформленное рукой Васнецова. Еще не была увезена в музей из залы первоклассная скульптура двух мальчиков Трубецких работы Паоло Трубецкого{54}. В библиотечной комнате высились до потолка и поблескивали стеклами книжные шкафы. Они были заперты еще рукой хозяев. Заманчиво проглядывали ровные корешки переплетов. Шкафы эти еще никто не осмелился открыть. Здесь же висела фотография Владимира Соловьева с иконописной головой в длинных волосах. Ляля только слыхала о философе, но не прочла еще ни одной его строки. С этого времени Соловьев становится еще одним духовным наставником девушки. Уезжая через год из Узкого, Ляля увезет с собой из библиотеки фотографию Соловьева и будет хранить ее всю жизнь. Не прочитав еще ни одной его строки, она однажды отправится на Новодевичье кладбище, и разыщет там его могилу, и прочтет на плите выгравированные слова из его стихотворения:

Смерть и время царят на земле,
Ты владыками их не зови.
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви[55].

Это были первые прочитанные ею слова философа.

За домом была стеклянная оранжерея, в которой росли персиковые деревья. Жил еще старик-садовник. Он, как оглушенный, по инерции двигался по оранжерее, что-то обрезал и подвязывал, мелькая за разбитыми стеклами, и заметно было, как он старается не попадаться на глаза новым хозяевам. Перед домом еще видна была поляна с заброшенными клумбами. За нею виднелась цепочка искусственных прудов.

Зиму жили в отапливаемом крыле здания, а к весне открыли широкие двустворчатые двери центрального корпуса, и среди драгоценной барской мебели замелькали одинаково стриженные головки мальчиков и девочек, уравненных общей бедой. На ногах у детей вместо чулок были белые бязевые мешочки, подвязанные тесемками под коленом. Колени торчали голые и посинелые от холода. Но дети, привезенные сюда умирающими, теперь здоровели и веселели. Ляля мало чем отличалась от них, она тоже плыла по волне, несущей ее вместе с ними снова в жизнь. Все время она проводила со своими воспитанниками, которым отдавалась со всей щедростью молодости. Впрочем, так жили в Узком все члены этой внезапно образовавшейся огромной семьи: они чувствовали себя здесь как на острове и радовались своему спасению. У них была пища, которую отрывала от себя и присылала голодная Москва; они сами топили огромные кафельные печи запасами княжеских дров, сами шили нехитрую одежду ребятишкам, поправляющимся и оживающим на глазах, как растения от поливки.

Подробного рассказа заслуживает работавшая с Лялей Ольга Александровна Немчинова, на судьбе которой был еще виден отсвет народовольческих идей. Молодой девушкой она переселилась в крестьянскую избу, на свои личные средства построила школу и учила там крестьянских ребятишек. Это было в имении ее родителей под селом Воскресенским на Ветлуге. Следуя голосу времени, молодая девушка через сколько-то лет оставила свои заволжские комариные дебри и переехала в Москву, где поселилась с двумя единомышленницами-подругами и родной своей сестрой Евгенией. Девушки были захвачены идеями служения страдающему народу, но уже считали, что надо в первую очередь идти к рабочим. Небольшие личные сбережения

дали им возможность бесплатно преподавать на пречистенских рабочих курсах и открыть народное издательство «Грамотей». Они переносили и распространяли нелегальную литературу и прокламации. Жили они аскетически и, хотя были вполне нормальными и даже хорошенькими девушками, замуж не выходили и единственное, что позволили себе за долгие годы своеобразного подвижничества, — это две поездки за границу «в целях изучения педагогического дела». Евгения Александровна, член партии социал-демократов, попала в далекую ссылку, из которой освободилась лишь с приходом революции. До конца жизни у Ольги Александровны время от времени можно было застать бородатых колхозников и заволжского вида пожилых женщин в платочках, которые привозили ей муку и мед. Это были ее прежние ученики, они не дали ей умереть с голоду в годы войны, звали доживать в родную Ветлугу. От Ольги Александровны услыхала Ляля и рассказ о Светлом Озере на Ветлуге. Это напомнило о поездке туда в детстве с отцом, как о чем-то произошедшем во сне или в другом мире.

Мягкая и женственная, Ольга Александровна после революции взяла себе на воспитание крестьянскую девочку, некрасивую, как обезьянка, и покрытую болячками — дочь своей московской молочницы. Из-за этой-то девочки, все равно как Ляля из-за матери, она и попала в Узкое. Но настоящую любовь свою Ольга Александровна отдала Ляле. Эта небольшая женщина с узелком редких волос на затылке и добрыми выцветшими глазами оказалась тем человеком, который открыл Ляле глубину и богатство родного языка, поэзии и природы. Через Ольгу Александровну и через чтение Владимира Соловьева Ляля, одинокая, выбитая из жизни, выросшая без культурных традиций, впервые приобщилась к глубокой родной культуре. Случилось это именно в Узком.

Зимним вечером Ольга Александровна читает Тютчева, которого Ляля до этого времени не знала.

О чем ты воешь, ветр ночной,
О чем так сетуешь безумно,
Что значит странный голос твой.
То глухо жалобный, то шумный?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке
И ноешь и взрываешь в нем
Еще неведомые звуки!

Падают и падают строки Тютчева. Снег идет за окном. Вокруг

стоят запушенные ели, далеко расходятся пустынные поля, стынет огромная, разоренная Россия.

Ольга Александровна и Ляля организовали с детьми общество «Бодрая жизнь». Лозунгом были избраны известные, плохо переведенные строки Виктора Гюго:

Будь бодрым, будь смелым, будь честным всегда,
В пленительной смене любви и труда.

Ни обязательных программ, ни контроля в их работе не существовало. Кому в Москве было дело до кучки детей и взрослых, спасавшихся от смерти где-то на отшибе? Для Ляли и Ольги Александровны их работа была свободным и бескорыстным творчеством, как в родной семье. И поэтому она давала прекрасные результаты. Старшие дети поделили между собой младших и заботились о них. Ольга Александровна, опытная учительница, занималась с ними грамотой и счетом. Ляля просто жила с детьми, как старшая подруга, и была окружена их любовью в ответ на свою полную открытость, готовность делиться всеми мечтами, сомнениями, планами и находками. Она читала им любимые стихи, пела песни, а в часы, отведенные под уроки, рассказывала по найденному в шкафу Трубецких учебнику древней истории сказки о египетских фараонах, пирамидах и греческих богах. Кроме того, они вместе сочиняли и ставили пьесы, на которые приглашались дети из соседних деревень…

Но самое главное, они жили в глубоком общении с природой. В спальнях круглые сутки и даже в морозы были открыты окна, детей часами заставляли лежать на верандах, и ни один серьезно не заболел в течение всей холодной зимы. Поправлялась и Наталия Аркадьевна, тоже постепенно начиная жить интересами этой большой семьи и отходить от своего горя.

Скоро уйдут последние люди, помнящие твою нежную улыбку, доверчивое выражение глаз, розовое лицо в рамке серебряных волос: на моей памяти ты была всегда седой, это ваше родовое свойство, бабушка Александра Андреевна поседела в семнадцать лет. Изящество души сквозило ровным чистым огнем сквозь все твое телесное, как огонь свечи сквозь тонкий шелковый экран. Ты сохранила до конца дней стройное тело, и когда ты лежала в храме на смертном ложе семидесятичетырехлетней старушкой, незнакомые люди подходили и спрашивали, сколько тебе лет — они принимали тебя за молодую женщину. Красавицей и в полноте жизненной силы ты осталась одна, но никогда никого ты больше на земле не полюбила, сохранив

верность одному человеку. А я со всей жестокостью юности и не допускала для тебя возможности нового счастья: я считала тебя отжившей. Ты доверчиво шла за мной, как ребенок за старшей сестрой, во всех моих требовательных исканиях, которые были постоянным разорением, губительством того, что называется у людей счастьем. Я не могла стать иной, а ты отдавалась мне с доверием и любовью. Строгий пост — и ты покорно варишь нам у своего примуса в темном коридоре корешки и грибы. Вставанье чуть свет — чтоб успеть до своей каторги-службы к ранней обедне — и ты ласково провожаешь меня на весь долгий день: церковь, служба, после — лекция или доклад на дому у кого-либо из друзей. Долой женские украшения — и ты шьешь мне серое ситцевое платье, но с женской прозорливостью купишь «случайно» изящные туфельки — и, правда, не босиком же ходить. Купишь заочно и шляпку, которая как раз и придется к лицу.

Тревога матери за будущее девочки, оставшейся без отца, в новой непонятной жизни и не умеющей ее устраивать; без семьи, без профессии, в жестоком мире, где все перемешалось, бурлит и неизвестно куда движется. К тому же и старость у Наталии Аркадьевны не за горами: она начинает постоянно болеть. Тогда дочка должна до работы все успеть приготовить для матери и после работы спешить домой, чтобы вновь приниматься за домашние дела.

Мать ничего не требует, она терпеливо ждет. Она переживает все испытания… Твое застывшее ровное белое лицо, как посыпанная мелом у клоуна неподвижно-страдальческая маска. Таким запомнится оно в будущем через двойную решетку камеры свиданий в Бутырской тюрьме. Об этом будущем еще предстоит мне рассказать. Твоя поездка ко мне в далекий северный Нарым… Все выдержала ты с достоинством. Я помню твои глаза перед смертью. Ты глядела на меня с прежним доверием, ты простила мне все испытания, которые я ставила перед тобой, не считаясь с твоими силами. Друг наш Борис Дмитриевич Удинцев{56} принес мне после твоей смерти строки из «Пер Гюнта»: «Спасибо за все: и за брань, и за ласку, / За все, чем ты в жизни, была для меня. / А мне поцелуй в благодарность за сказку / Ты дай, да езду и лихого коня». Я не оценила тогда проницательности Бориса Дмитриевича, я тогда не понимала: это о нас с тобой, и каким я была для тебя невольным мучителем — Пер Гюнтом!{57}

Я незаметно перешла с третьего лица на откровенное первое. Так и буду продолжать{58}.

Маму любили, ею любовались дети, и постоянно, как

испуганная стая воробьев, они выпархивали из нашей комнаты. Дело в том, что две старые девы-докторши, стоявшие во главе санатория, запрещали им посещение комнат персонала. Меня же докторши невзлюбили сразу: «Вы дезорганизуете санаторий!» Докторши были, как я теперь понимаю, меньшевички, скучные и «принципиальные» реликты времен бестужевок и суфражисток. Они явно пережидали время в детском санатории в расчете на то, что большевики не удержатся у власти. Впрочем, кто из русской интеллигенции всех направлений об этом не думал в те дни? Пережидали время в Узком еще две женщины, также не любившие меня — завхоз и кастелянша. «Шар и кегля» — звали их дети. Одна была высокая, несгибающаяся, затянутая в корсет бывшая начальница института Е. А. Булыгина. Вторая — ее бывшая классная дама, маленькая и во всех своих частях круглая. Обе они ни в чем не походили на докторш, кроме веры в скорое падение большевиков. Они были откровенными монархистками. В комнатах у них демонстративно горели лампадки перед иконами, они постоянно по ночам слышали артиллерийскую канонаду, которую никто из нас не слышал, хотя и шло уже наступление армии Деникина.

Ничего нового не ожидали только дети в санатории, благодарно возвращавшиеся к жизни; вместе с ними ничем иным, кроме настоящего, не жила и я. Не понимая (как, впрочем, и все «понимавшие») происходящего, я угадывала верным инстинктом, что и докторши, и «шар с кеглей» — тени умирающего прошлого.

Что будет — о том я не думала. Единственной реальностью была моя настоящая жизнь, которая в это время складывалась из двух переживаний: природы и потребности действовать, участвовать в общем, совершавшемся вокруг меня человеческом деле. Жестокая гибель отца с какой-то «астрономической» точки зрения, может быть, и была ничтожной подробностью истории, но только не для меня. Передо мной всегда стояло его лицо в тюремных воротах. Он все тогда уже знал. И почему-то без этих «подробностей», без этой никому неведомой девочки и ее несчастной матери мировое дело не может быть полным и законченным… И откуда-то эта уверенность, что я должна участвовать в нем и что-то делать. Самым близким «делом» были дети. И я стала думать о новом отношении к ним: о всестороннем, «гармоническом» (как говорил тот чудаковатый доктор Фадеев) их воспитании. Я стала создавать в своем воображении необыкновенную школу и назвала ее «Школой радости».

В дальней пустой комнате огромного дома я стала запираться на ключ и часами лежала на полу, скатывая и раскатывая рулон

обойной бумаги (писчей нам не хватало даже для занятий с детьми). На длинном листе вырастала схема этой новой системы тремя параллельными колонками: умственное, эстетическое и религиозное воспитание. Получался одновременно и проект с тезисами и графический плакат. 18 верст отделяло меня от Москвы, и как там, по слухам, было ни страшно, но стало необходимо туда возвращаться, чтобы добиться разрешения работать вместе со всеми. В правильности и успехе своего дела я не сомневалась.

Как-то раз в конце зимы появился в Узком Александр Николаевич Раттай. Проделав пешком 18 верст, он вошел с обычным ворчаньем на «чертов мороз», на то, что только назло можно забраться «в такую дыру». Но, тем не менее, я с радостью поняла из его рассказа, что он приглашен врачом во вновь открывающуюся больницу в районе Марьиной рощи, что он получает там с осени отдельную теплую квартиру, куда перевозит с Пречистенки остаток нашего раскраденного соседями имущества. Будет тепло — это решало все вопросы.

Ранней весной по снегу пришел, не побоявшись восемнадцативерстного пути, еще один неожиданный гость. Он долго разматывал башлык, топтал разбитыми валенками. Когда он снял полушубок, в комнате распространился кислый запах немытой и непроветренной одежды, лицо было опухшим от голода, но радостно сияло. Это был доктор Фадеев. Он преодолел трудный путь только для того, чтобы сказать мне: его проект принят, ему дано помещение в Кривоарбатском переулке в доме 5, где весной открывается его «Античная студия». Он сложил своими руками печь в большом зале и получил из какого-то барского особняка конфискованный ковер во весь пол, на котором будут танцевать обнаженные ученицы. Он познакомился с известным театроведом и автором работ о ритме Сергеем Волконским{59}. Тот обещает свое участие и помощь.

Артистические недомытые пальцы доктора чертили план студии, красивое, несмотря на голодную одутловатость, лицо вдохновенно преображалось, добрые глаза светились… Доктор вынул из заплечного мешка два тома, толстых, как кирпичи, — его философская система, каким-то чудом сейчас отпечатанная. Это была смесь физиологии, социологии и эстетики с материалистических позиций, некая физиология искусства, сводящаяся к античной культуре в его, фадеевской, интерпретации. Она, вероятно, была и ненаучной, и художественно беспомощной — и у меня, и у мамы доктор с его книгами вызывал одну только щемящую жалость. Мы его накормили и дали ему на дорогу все, что только могли и что он в

силах был на себе унести, этот голодный рыцарь своей идеи, каких на Руси было очень много: он был типичен для тех дней. «Непременно приду», — говорила я ему, умолчав о своей «Школе радости»: мне стало за себя отчего-то неловко… «Неужели и я такая?» — мелькнуло у меня в голове. Но я отбросила сомнения и стала думать о ритме для своей «Школы радости» и о Сергее Михайловиче Волконском.

Нужно сказать, что в те дни молодежь, прикосновенная к искусству, голодная, но получившая невероятную энергию в общем движении революции, вся поголовно говорила о ритме. В нетопленом помещении действовал специальный «институт ритма», в любой школе, начиная с театральной и кончая обычной общеобразовательной, преподавалась ритмическая гимнастика. Ею занимались все: актеры, певцы, художники, учителя, врачи, дети. Это было музыкальным явлением времени. Думала о ритме и я.

— Что это у вас за странный запах? — спросила Ольга Александровна, входя в нашу комнату.

— Это неплохой запах, — ответила я, — это от полушубка, это московский запах. У нас сейчас был оттуда замечательный человек, — и рассказала о докторе и его студии.

— Сергей Михайлович Волконский! — воскликнула Ольга Александровна и непривычно порывисто ко мне обернулась. От этого движения заблестели в ее волосах впервые замеченные мною серебряные нити. — Я не знала, что он в Москве. Ты непременно должна с ним познакомиться.

Что-то подсказало мне, что не нужно самой расспрашивать Ольгу Александровну о Волконском. Я стала ждать. И вот однажды она рассказала мне о своей единственной любви, не замеченной никем и неизвестной любимому ею человеку. Лет пятнадцать назад она встретила его у друзей в семейном доме. Он ее не заметил — она его полюбила. Пути их никогда не сошлись. Я слушала и пыталась понять, для чего была эта несостоявшаяся любовь, какой в ней смысл и какое ей оправдание.

Однажды летом, когда я лежала по обыкновению на полу, вырисовывая свой проект, распахнулась дверь, и в нее, как ветер, влетело что-то легкое, сияющее улыбкой и блеском знакомых серых глаз с египетским разрезом. Это была потерявшаяся за годы разрухи подруга моих детских лет Лиля, которая переехала в Москву из Питера и вот разыскала меня. Она стояла передо мной ладная, стройная, сила женственности, казалось, льется у нее через край. Она рассказывала и видом своим нетерпеливо

требовала от меня полной отдачи, полного внимания. Я поняла из ее рассказа, что она замужем за скульптором Лавинским и сама стала художницей. Лавинский сошелся с ней в первые дни революции, когда молодежь громила старую Академию и, конечно, Лиля вместе с другими. Для Лавинского встреча с Лилей была эпизодом — он тут же ее бросил беременную. Ребенок погиб…

— Не будем говорить о ребенке! — сказала Лиля и отвернулась.

Теперь Лавинский вернулся к ней, тяжелое забыто, она счастлива.

— Он интересный, страстный в своих поисках художник. Нас целая группа, мы боремся за новое революционное искусство. Все наше с тобой детское — этот Ницше, и Толстой, и Христос — все это надо отбросить и забыть. С нами Маяковский. Ты не знаешь Маяковского? Это огромное явление! Я тебя с ним познакомлю. Не думай, что у нас одни только идеи — у нас новые формы быта, реальной невыдуманной жизни.

— Что же нового у вас? — прервала ее я.

— Нового? Ну, например, мы боремся с чувством собственности во всех его аспектах.

Я заметила, что Лиля тут остановилась, и в глазах ее мелькнула неуверенность. Но она быстро справилась с собой и решительно закончила тираду:

— Да, боремся с чувством ревности, как с пережитком собственности. Поэтому я и простила прошлое Антону.

— И то ему простила, — спрашиваю я, — что из-за него ты так легко поступила со своим ребенком?

— Легко? — перебивает меня с возмущением Лиля. — Ты говоришь: легко… Я чуть не утопилась тогда в Неве. — И, тряхнув головой, отгоняя неотвязную какую-то мысль, она обнимает меня: — Ляля, у тебя ужасное горе, а я тебе об Антоне, об искусстве… Как ты его пережила, наверно, не можешь простить? Ты скажи — я пойму.

Мне впервые приходилось отвечать на такой вопрос даже себе самой.

— Нет, — подумав, сказала я. — Мне некого винить. Все варится и кипит, на поверхность всплывают события, которые мы только и видим. Но из чего это варево, кто варит и что из него получится — все это скрыто. Я уверена только в том, что раз это случилось, значит, и не могло быть иначе, как будто это результат всего… знаешь, я чего-то такого ожидала с детства… А для общего дела это все, наверное, невозможные мелочи…

— То, что случилось с Дмитрием Михайловичем, для тебя

«мелочи»! — воскликнула изумленная Лиля.

— Ну что ты, Лиля, для меня это — незаживающая рана, я радуюсь только тому, что он больше не страдает… я сказала про «мелочь», потому что… все так запуталось… Люди лучше, чем друг о друге думают, винить никого нельзя. Надо жить и делать, и не носиться с собой.

— Что же, по-твоему, надо делать? — спросила Лиля и приоткрыла рот, как в детстве, когда чему-нибудь непомерно удивлялась.

— Ну вот, ты со своим Антоном лепишь «конструкции», — ответила я. — Я тоже хочу «лепить».

— Лепить? — еще больше изумилась Лиля.

— Ну да, — улыбнулась я, — лепить людей. — Смотри! — и я развернула перед Лилей свой рулон обойной бумаги.

— «Школа радости» — какая прелесть! — воскликнула Лиля, рассматривая. — И плакат, и как здорово сделано! Ляля, ты сама не понимаешь, до чего же ты современна. Только тебе надо отбросить все старое, как сделали мы. Ну к чему у тебя эти разделы: «эстетика», «религия»? Ты ищи простые имена простым вещам, из которых и состоит жизнь. Нас долго держали на искусственной пище и утешали легендами. Теперь этот маскарад мысли окончен. Оглянись трезвыми глазами: это сурово, но это правда! Вот наш материал — камень, железо, дерево, земля, наше тело, оно требует хлеба, тепла и проникновения чужого теплого тела.

— Мне это нравится! — отозвалась я. — Я понимаю, это любовь! А как же смерть?

— Смерть — биологический факт, — отрезала Лиля.

— Ну а если любимый человек?

— На мыло!

— Как на мыло? — переспросила я, не поняв.

— Ты знаешь, что говорит Антон, — со злобой повернулась ко мне Лиля, — он говорит, что если я не решусь отдать на мыло тело моей матери, — это не больше как слабость моего сознания: а-та-визм! Антон, Антон! — закричала она кому-то на веранду в открытую дверь, и тотчас к нам в комнату вошел рыжевато-выцветший человек с резким выражением лица и таких же выцветших упрямых глаз. Он молча пожал мою руку и стал бесцеремонно меня разглядывать, как любопытную вещь.

— Мне стыдно с вами спорить, — сказала я Лиле.

— Стыдно? — переспросила Лиля, делая вид, что не понимает. — Антон, слышишь? — Но я-то видела, что она не только понимает, она в чем-то и соглашается со мной.

— Да, стыдно вашей самоуверенности. Откуда вы знаете все и

сразу за всех?

— Жизнь покажет, кто прав! — запальчиво бросила Лиля.

— Пойдемте, я вас чем-нибудь покормлю, — примирительно ответила я, прячась в роль хозяйки.

Прощаясь вечером, мы стояли на маленьком железном балконе второго этажа, куда выходила дверь из нашей комнаты.

— Знаете, кто вы? — спросил Лавинский, беря мою руку своей рабочей рукой скульптора. — Вот вы кто, — и он постучал по деревянным перильцам балкона. — А нам надо быть вот чем, — и он постучал о железо переплета.

Я не нашлась ответом, но на всю жизнь запомнила его слова. Солнце садилось. Гостям предстояло еще отмерить 18 верст. Но что эти версты! — перед всеми нами была куда более долгая жизнь, и она должна была ответить на вопрос: кем нам быть — деревом или железом?

Я не ошиблась, когда сказала в начале этой работы, что правда жизни, оказывается, богаче самого смелого вымысла. Почти неправдоподобно, что в МОНО отнеслись с серьезным доверием к девушке, которая сбивчиво рассказывала о своей будущей «Школе радости». В подтверждение мечты она принесла рулон обоев с текстами и схемами своего проекта. Это могло случиться только при рождении нового государства, когда все вокруг были в какой-то мере романтиками; но нам представляется сейчас большим утешением, что такое случается время от времени между людьми.

— Переделайте заявку, — строго сказала мне женщина с умным лицом и мужскими манерами. Это была Л. В. Дубровина, начальник отдела народного образования. Когда через 20 лет я пришла к ней однажды как к директору детского издательства, она не узнала меня, и самого МОНО, вероятно, даже в ее воображении уже не существовало. Но я помню те дни во всех подробностях.

— У вас стройная мысль. Но вас вяжет мертвая терминология. Зачем это «религиозное воспитание»? Что оно может значить сейчас? Ваши обои также нас не устраивают. Перепишите заявку в тетрадь и принесите нам на утверждение. Нам нравится ваша увлеченность. — Дубровина говорила со мной как учительница со школьницей. — И название не годится! Найдите, чтобы звучало жизненно, современно. Мы подыщем помещение, а вы приглядывайте себе сотрудников. Заведующий будущим домом нужен с солидным педагогическим стажем. Вас же мы утвердим организатором и педагогом. Мы вам доверяем, товарищ!

Я не ложилась спать, я писала всю ночь напролет, пристроившись на широком подоконнике в нашей пустой пропыленной пречистенской квартире. На какие-то секунды отрываясь от работы, я смотрела с высоты шестого этажа на бледнеющие звезды, на светлый восток, на золотящийся купол храма Христа, еще стоявшего тогда на своем месте: глубоко внизу стекала к нему с горки пустынная ночная улица Пречистенка.

Ровно два года назад я провела в этой квартире такую же бессонную ночь. В ужасных рыданьях стояла я перед этим же окошком и громко молила о помощи. Но помощь тогда не пришла. С тех пор я больше ни о чем не прошу. Я поняла за эти два года, что надо решать лишь о ближайшем, отчетливо видном и не требовать от жизни ничего для себя: надо жить смиренно и мужественно. И все же то невыносимое, казалось мне, горе теперь потеряло надо мной свою власть. Жизнь моя продолжается, и, самое удивительное, я испытываю радость.

Дописываю последние страницы. Стройно ложатся из-под пера на бумагу дорогие, много раз передуманные мысли. Мне кажется, что так написанное — это уже осуществленное!

Я распахиваю окно. Как и в ту страшную ночь, встает над городом то же августовское солнце. Утренний ветер мирно поглаживает по растрепанным волосам, холодит горящие от волнения щеки. Ну что ж, пусть это будет не «Школа радости», а детский дом «Бодрая жизнь» — это название Дубровина примет охотно. Они спорят о словах, а сущность у слов осталась одна. Легко можно бы жить, если бы это всем стало понятно! Я высовываюсь из окна — золотое солнце показалось над горизонтом.

Так родилась и в ту же ночь кончилась моя «Школа радости», но я долго еще не пойму, что школы моей уже нет. Долго я буду пытаться воплотить ее в жизнь. Так постоянно бывает: мысли проходят — зерна мыслей остаются. Ничего-то не осталось от той тетрадки, от самой «Школы радости», от юношеского вдохновения! И только зерна мыслей когда-то найдут и будут выращивать новые, идущие по нашему следу люди{60}.

У меня оставалось еще несколько дней от моего отпуска. И вот, отдав заявку в МОНО, я решила сразу же после бессонной ночи отыскать доктора Фадеева и Лилю Лавинскую.

При выходе из МОНО я столкнулась со стройной женщиной в мужских сапогах и военной гимнастерке, с револьвером в кобуре на кожаном поясе. Остановило внимание знакомое лицо со смугло-бледным восточным оттенком кожи. Тяжелая коса узлом на затылке. Это была гимназическая подруга, предводитель

«пессимисток» — Рая Б. Пораженные встречей, держа друг друга за руки, мы молча сели на скамью в коридоре.

— Что значит твоя форма? — начинаю я.

— Форма! — с оттенком насмешки повторяет Рая. — Я уже с гимназических лет на подпольной работе.

— Ах! — роняю я и только сейчас догадываюсь, — вот для чего вы собирались тогда у нашей исторички, а я-то обижалась! Вы для этого собирались?

— Конечно, — отвечает снисходительно Рая, — тебе мы не имели права доверять. Ну, как ты сейчас живешь? Где отец?

— Папа… убит на фронте, — отвечаю я раньше, чем отдаю себе отчет в том, что лгу. Что-то запрещает мне открыть страшную правду. Что — не пойму.

— Когда? — продолжает спрашивать Рая.

— В последних боях, — продолжаю лгать я и перевожу разговор. — Так все же — что значит твоя военная форма?

— Я — чекистка. И я, и мой муж. Сейчас работаем по борьбе с беспризорностью. Ты не представляешь, сколько гибнет ребятишек и скольких мы спасаем! Есть среди них даже людоеды. Мы их находим в необитаемых подвалах, в помойных ямах, в склепах на кладбищах. Вот где тебе надо работать! Бросай свой санаторий и переходи в детский приемник.

— Рая, но ведь эти дети… многие забыли своих родителей. Может быть, они по происхождению твои классовые враги?

— Да, ты права, это единственная область, где мы вынуждены обходить принцип, — отвечает Рая. — Вот тебе мой адрес. Приходи!

Рая уходит. Что-то мешает мне верить, хотя, кажется, правда: у нас общее дело, вокруг нас — измученные люди. Я смотрю ей вслед и молчу. Вот она свернула за угол, решительная, прямая, с этой кобурой на боку, она исчезает, и мы никогда в жизни не встретимся больше с ней.

Студия доктора Фадеева помещалась в старом особняке на задах Арбата. Звонка не было. Дверь оказалась не запертой. Пошла наугад на звуки фисгармонии. Вошла и замерла на пороге.

Просторная, с низким потолком зала была устлана во всю ширину тем самым роскошным ковром, о котором рассказывал нам в Узком с наивной гордостью доктор. По потолку над драгоценным дворцовым ковром — сеть из жестяных труб с подвешенными в местах стыков консервными банками на проволоках. Трубы вели к двум железным буржуйкам, которые из экономии еще не топились, хотя раньше времени в тот год наступили холода.

Доктор сидел за фисгармонией. На ковре под его музыку импровизировали, стараясь передать звуки телодвижениями, две совершенно обнаженные женщины. Исхудавшие за два года голодовки тела были того нежно-сиреневого цвета, которым будет восхищаться старый Бунин в своих парижских рассказах. Этот нежно-сиреневый цвет ознобленной кожи вызывал одну жалость и чувство неловкости за доктора, за его идею, столь несоответствующую всему, переживаемому Россией.

«Античная гармония выдумана и доктором и греками», — думаю я. А доктор в это время радуется мне, светится доброй улыбкой, и я смущенно пожимаю ледяные ручки голых его учениц. Все возбуждало жалость: и женщины, и ковер, и консервные жестянки над ковром, и сам доктор Фадеев.

— Завтра по случаю вашего приезда мы сделаем пробную топку, — сказал доктор.

— Тихон Дмитриевич, — ответила я, храбро глядя в его сумасшедшие глаза, — я ни за что не разденусь, и я не хочу античной гармонии: я в нее не верю.

— Ваши идеи так близки моим! — убеждал меня Фадеев.

— Нет, доктор, — грустно ответила я, — у меня уже не «Школа радости», а обыкновенный детский дом «Бодрая жизнь». Я буду спасать детей из приемников, с кладбищ и из помойных ям. Это еще очень далеко от «гармонии». К тому же мне надо учиться, потому что я ничего не понимаю в происходящем. Дайте мне адрес Волконского. Он образованный человек, и я хочу с ним посоветоваться.

Я никогда больше не видела доктора Фадеева. Слышала, что студия его быстро развалилась, что сам он женился на одной из своих сиреневых учениц и у него родился ребенок. Знаю, что потом он стал простым санитарным врачом у себя в районе. В тридцатых годах, кажется, был арестован и пропал где-то в лагерях.

В тот же день я отправилась разыскивать Лилю. Трамваи не работали, и я из последних сил доплелась до Почтамта у Мясницких ворот, напротив которого в огромных корпусах ВХУТЕМАС жила моя подруга. Поднялась по бесконечной лестнице. Постучала. Услыхала Лилино «войдите». В комнате было два предмета, сразу привлекающих внимание. Первый — у окна: это была обложенная мокрыми тряпками неоконченная скульптура, изображающая человека, и валяющиеся вокруг куски глины, обрубки дерева, обрезки жести. Второй — в углу комнаты: это было широкое ложе, где на нечистых подушках лежала моя Лиля. За три месяца, что мы не видались, она изменилась, как после тяжелой болезни. Ее кровать была похожа на логово, а она

сама — на загнанного зверька. Глаза были огромны. Лицо бледное. Худая длинная шея. Она обрадовалась, нахмурилась, смутилась… Мы обнялись и молчали.

— Антон занят, а я беременна, меня все время тошнит. Если будет сын, я его назову Никитой, — это, кажется, уже не мне, а кому-то поверх моей головы говорит Лиля и посылает будущему Никите такую прекрасную улыбку, какой я у нее еще не видела. — Я не могу забыть моего первого ребенка. Как я тогда Антона любила! Какая ты… — Лиля покосилась на меня и не договорила. — Посиди, я сейчас! — Она вылезла из-под одеяла, вышла из комнаты, принесла таз с водой, мыло и стала отчаянно тереть себе лицо, шею, руки. Посвежела, засмеялась, стала похожа на себя прежнюю. — Это я из-за тебя, не могу видеть, какая ты чистая, злюсь!

Доверчиво стала рассказывать. У нее соперница, Антон увлечен, но у них закон: не допускать ревности, то есть чувства «собственности» на любимого.

— Как Володя Маяковский любит! Там даже есть третий — муж, и вот же справляется с собою Володя: все трое дружат и живут даже вместе[61]. А я так не могу, я — ничтожество!

Лиля плакала, громко всхлипывая, размазывая слезы, как ребенок. Я гладила ее по волосам, по мокрым щекам, целовала и не находила слов утешения.

И тут вошел Антон.

— Привет! — бросил он мне небрежно, словно я виделась с ним каждый день. Он задержал мою руку в своей и, глядя в упор бледными глазами, проскандировал: — Бе-лень-кая барышня, в мастерской скульптора замараетесь!

— Я не боюсь, я сама стираю, — ответила я.

— Он мечтает теперь о занавесочках и фикусах, его теперь прельщают мещанским уютом, — сумрачно вставила Лиля. Антон в ответ пожал плечами.

«Как бы отвлечь их?» — мелькает у меня, я не могу видеть отчаянного Лилиного лица.

— Антон, — спрашиваю я, — что это у вас в мокрых тряпках?

— Рабочий. — Я ненаходчива в разговоре, но тут меня осеняет: — Антон, помните, вы в Узком стучали на балконе по железу и говорили, чтоб я стала такой, и с презрением говорили о дереве. А у вас в этой скульптуре не только железо, но и глина, и даже дерево.

— Эта деревяшка — только опора для руки моего рабочего.

— Вот-вот, — торжествую я, — вам понадобилась и деревяшка, все разнообразие материала!

«Как могла она полюбить этого раздраженного человека с

наигранным апломбом и резким голосом, словно вся его жизнь в том, чтоб спорить, резать и ломать?» — так думаю я, а сама в это время смотрю на Лавинского и не слушаю его фальцет. И вдруг вспоминаю: подобное я уже видела еще до революции в Морозовском музее западной живописи. Какое же это народное, да еще революционное искусство? Все это было уже в Европе.

— Антон, народ вас всех повыбросит. Ваше искусство — из головы, оно бессердечно.

Антон насмешливо отвечает:

— Беленькая барышня, вы еще ходите в панталончиках, как ваши сентиментальные бабушки девятнадцатого века. Что вы можете понять в плебейском искусстве?

Лиля, перебивая нас, вставляет:

— Это у Антона нет сердца, но не у нас! Ляля, ты не знаешь Маяковского, ты нас суди по Маяковскому, а не по Антону.

Лиля загорелась, мгновенно преобразилась в себя прежнюю и стала нам читать — она читала стихи превосходно, и я впервые услышала Маяковского:

Пока выпячивается рифмами пиликая,
Из любвей и соловьев какое-то варево
улица корчится безъязыкая,
ей нечем кричать и разговаривать…

Пройду,
Любовищу мою волоча…
В какой ночи,
бредовой,
недужной,
какими Голиафами я зачат,
такой большой
и такой ненужный?{62}

Стихи Маяковского меня потрясли. Так о старом по-новому никто в наши дни еще не говорил. С этого дня я стала вчитываться в его стихи. Он всегда мне казался гениальным и будто оглушенным собой, не в силах посмотреть на себя и на жизнь со стороны. Казалось, он упрямо продирается сквозь жизнь, живет в своих гениальных преувеличениях, «зачатый Голиафами». «Что может его остановить, заставить прислушаться к самой жизни?» — так спрашивала я себя все последующие годы, пока движение его не было остановлено самоубийством.

— Хочешь встретиться с Володей? — спросила меня Лиля на прощанье. — Оставайся, он обещал сегодня зайти.

— Нет, я боюсь, когда-нибудь после.

— Я вас выведу ближайшим ходом, — сказал Лавинский. Во дворе в темном проходе он прижал меня к стенке, приблизил свое лицо к моему, заглянул мне в глаза своими белесыми и сказал тихо, внушительно, словно заколачивая в меня гвозди:

— Вас надо изнасиловать, только тогда вы опуститесь в жизнь и станете человеком. А теперь идите — это выход прямо на Мясницкую.

Раннее утро следующего дня. Снова я на шестом этаже у своего окна, внизу течет пустынная Пречистенка. Подведем-ка с тобой итог, «беленькая барышня», за вчерашний день.

Все говорят на разных языках: библейская вавилонская башня и «смешение языков» оказываются неожиданно современной проблемой. Я перебираю в памяти вчерашние встречи: Рая, Фадеев, Лиля, Лавинский, Маяковский. К чему они стремятся — выразить себя или послужить общему делу? Самоутверждение или самоотверженность? И не совпадают ли где-то эти, казалось бы, противоположные стремления?

Не могу разобраться, и от противоречий кружится голова! Надо найти форму мысленному хаосу — найти систему мировоззрения! Возможно ли это? Но разве не эта возможность восхитила меня, когда я впервые читала школьный учебник введения в философию Челпанова? Философия… вот где выход! И зачем искать мне далеко: я прожила целый год в доме, овеянном ее духом, я глядела целый год на портрет Соловьева. Соловьев питал Достоевского. От Соловьева родился Александр Блок. На могиле Соловьева я прочла то удивительное четверостишье. И я пошла в Румянцевскую публичную библиотеку.

Теперешний ее посетитель с трудом представит себе огромную залу, в те годы почти пустую. В разных углах сидят несколько юношей и девушек вроде меня, по виду учащихся. Кроме того, непременно встретишь здесь, когда бы ни пришел, нескольких «чудаков». Например, запомнился мне постоянный посетитель библиотеки — пожилой человек с длинными волосами, в рубище, сквозь которое проглядывало голое тело, всегда с солдатским котелком на поясе. Был он не навязчив, ни с кем не искал знакомства. Я так и не узнала его истории, хотя много раз сидела рядом за читальным столом. Впрочем, в те годы нас ничто не удивляло, и все мы, голодные читатели, искавшие смысла больше, чем хлеба, в чем-то были очень схожи.

Я стала читать «Оправдание добра» Соловьева{63}. Это была философская система, а не сравнительное изложение чужих и разных воззрений, как в учебнике Челпанова. Поэтому книга

убеждала. Может быть любая, строго выдержанная система подчинила бы меня в те годы? Вряд ли, потому что должна была в системе присутствовать родственная мне направленность. Это близкое выразилось у Соловьева в восхитившей меня при первом чтении схеме: «стыд, жалость и благоговение». Вся нравственная жизнь легко размещалась в этой триаде: стыд за все, что ниже человеческого достоинства; жалость (или сострадание) к подобному себе; благоговение к высшему (к идеальному, к предмету моих стремлений).

Эти категории уже были мною пережиты до всякой «философии» в опыте жизни. С первых проблесков сознания я знала этот стыд, эту жалость и это благоговение как благодетельные силы, побуждавшие меня на борьбу за лучшее. Искать больше мне было нечего: надо было действовать, надо было идти к Волконскому, человеку той «соловьевской» культуры — он укажет мне, где найти ее продолжателей.

На следующий день я отправилась к Волконскому. Но я плохо рассчитала время и пришла слишком рано. На мой стук ответил недовольный голос только что проснувшегося человека. Я вошла в каморку — бывшую комнату прислуги, где на узкой кровати лежал худой взлохмаченный Дон-Кихот с лицом русского аристократа. Смущенно Дон-Кихот натягивал на себя одеяло и спросонок смотрел снизу вверх, раздраженно и беспомощно на ворвавшуюся к нему загорелую и румяную девушку, нимало не походившую на сонное видение. Оба очутились в одинаково неловком положении, и это создало какое-то успокоительное равновесие. Я посмотрела на Волконского, и на меня напал неудержимый смех. Сергей Михайлович высунул из-под одеяла запрятанную наполовину голову, лицо его собралось в добрые складки, и мы начали вместе дружно смеяться. Отсмеявшись, я уселась на стул поверх лежавшей в беспорядке одежды, и мне нетрудно стало рассказать Волконскому, зачем я к нему пришла.

— Большевики — это временное явление в России. Они скоро пройдут, — говорил Волконский.

— А что придет на смену?

— Придет, конечно, новое, но какое — не знает никто. Конечно, не монархия — она давно и постепенно шла к своему безнадежному концу.

Волконский говорил то, что я слышала ежедневно и от интеллигентов, и от так называемых обывателей. Что думал по этому поводу народ, рабочие и крестьяне, я, конечно, не знала.

— Не вяжите свою свободу никакой политикой, — продолжал Волконский, — занимайтесь искусством.

— Все взаимосвязано в жизни, значит, и с политикой, —

солидно поправила я собеседника.

— А вы постарайтесь держаться выше всех направлений, — не снисходя к моей реплике, сказал Волконский. — Помните, как у Пушкина Моцарт: «Нас мало избранных, счастливцев праздных, / Пренебрегающих презренной пользой, / Единого прекрасного жрецов». В конце концов смешаются все классы, вырастет новая интеллигенция; наше дело для нее сохранить высоту. — Дон-Кихот делает широкий жест, спохватывается и прячет худую длинную шею под одеяло.

— Вам надо на философский факультет, — продолжает Сергей Михайлович, — но его не существует. Московские блестящие философы читают теперь лекции по студиям, кружкам, а самые стойкие отсиживаются дома на голодном пайке. Сейчас возникает любопытное заведение — Институт Слова. Поступайте туда, советую. Его организует чтец Сережников, он — пропагандист коллективной декламации, это звучит сейчас актуально. Но Сережников со своей декламацией, в сущности, ширма. В Институте будут, кроме декламационного, еще два факультета: литературный и ораторский. Читать будут и ученые-большевики: Луначарский, Коган[64], Брюсов. Дали согласие и старые литературоведы: Грушка, Айхенвальд, языковед Ушаков[65], криминалист и историк Котляревский[66]. Есть и начинающие ученые Грифцов, Шервинский[67]. Есть собирательница фольклора Озаровская[68]. Но ораторский факультет — это затея Ивана Александровича Ильина[69]. Вы не знаете Ильина? Это самый блестящий из наших московских профессоров — гегельянец, которого лишили сейчас кафедры, потому что он идеалист и великолепный оратор. На государственном совещании 1917 года Ильин имел смелость сказать во всеуслышание, что совещаться больше не о чем, потому что Россия погибла. Мы не знаем еще, прав он или нет, но человек он убежденный и яркий. Ильин, по-видимому, рассчитывает сохранить преемственность русской философской мысли под прикрытием «коллективной декламации». Не чует Сережников, «какого змея ласкает на груди своей». Ильин проектирует ораторский факультет по образцу ораторских школ Древней Греции. Вы не знаете, что такое греческие ораторские школы? Это — высшие философские школы, где оттачивалось мышление в полемическом мастерстве. Вы услышите в Институте разных людей, научитесь читать и думать. Это и есть основная цель высшей гуманитарной школы. Дальше вы сами выберете себе путь.

Все это было захватывающе интересно[70].

Жили мы теперь у Александра Николаевича при его больнице в Марьиной Роще. Каждое утро я шла через всю Москву сокращенными путями: через заваленные снегом пустыри, образовавшиеся от того, что горожане сожгли все заборы в своих «буржуйках». Шла я к Никитским воротам, которые стали средоточием моей жизни: в Леонтьевском переулке помещалось МОНО; на Большой Никитской — консерватория; напротив нее — Институт Слова; в Газетном переулке — вегетарианская столовая, центр толстовства, их ораторская трибуна; в Мерзляковском переулке, у самых Никитских ворот — Вольная академия духовной культуры; даже особняк бывшего министра торговли и промышленности во Временном правительстве Коновалова, предоставленный мне под будущий детский дом, помещался на Большой Никитской, 43а. За него шла борьба у МОНО с учреждением, называвшимся Центроэвак, и мы с Ольгой Александровной, назначенной директором «Бодрой жизни», ожидали его освобождения.

Утром я появлялась в МОНО по делам организации будущего дома: надо было перехватить и оформить ордера на одежду, посуду, постели, продукты, учебные пособия, реквизированные у частных владельцев. Это было знамение времени: все пришло в движение — вещи, люди, идеи — все стало неустойчиво и текуче. Была потребность так или иначе остановить ускользающее, понять, определить границы — может быть, этим объяснялась жажда знаний, которая владела в те годы нами — молодежью.

Из МОНО с куском черного хлеба в портфеле на целый день я шла в Институт, а после лекций — в консерваторию. Мы любили там концерты Райского{71}, певшего романсы Метнера на слова Пушкина и Тютчева под аккомпанемент самого автора. У Райского был маленький голос и огромный вкус. Зал был набит до отказа стоявшими плечо в плечо слушателями. Атмосфера была такая, будто Пушкин и Тютчев незримо присутствуют на этих концертах — так мы учились понимать русское искусство. Вход был тогда всюду бесплатный. Молодежь, голодная, растревоженная, ищущая, осаждала эти храмы искусства и знания безо всякой мысли о практическом применении добытого или какой-либо «выгоды» для себя.

В Вольной академии духовной культуры шли споры людей противоположных мировоззрений. Там можно было услышать диспут между блестящим Луначарским, этим европейски образованным большевиком, и о. Павлом Александровичем Флоренским, инженером, профессором математики, выступавшим в священнической рясе. Там впервые мы услышали лекцию профессора Степуна{72} о книге Шпенглера «Закат Европы»{73}. И

ни лекторы, ни слушатели не отдавали себе тогда отчета, что мы присутствуем на собственных похоронах: это «закатывалась» Россия, а мы, молодые и сильные, были тенями той уходившей культуры.

Но мы не хотели быть тенью — мы хотели жить! Кто в валенках, кто в самодельных ватных сапогах, в военных шинелях и в истрепанных дореволюционных шубках, мы слушали лекции в нетопленых зданиях, записывали их негнущимися, распухшими пальцами, читали стихи простуженными голосами, спорили — и пар шел изо всех ртов. Но если наше поколение было когда-либо счастливо, то именно тогда и только тогда.

Никто не занимался нашим политическим воспитанием. Мы не задумывались над тем, что какие-то люди, взявшие на себя смелость разрушить прежнюю жизнь, теперь ведут тяжелую работу по управлению государством. Они борются с голодом, с тифозными вшами, со своими внутренними политическими врагами и внешними врагами России. Мы получаем от них как должное жалкие пайки хлеба со жмыхом и ничего от них не требуем. Мы жили, как дети живут около взрослых, всецело поглощенные своей богатой и непонятной взрослым жизнью.

Нужнее хлеба нам было зацепиться за какой-нибудь смысл бытия. Мы искали его, мы ходили толпами и валили во все открытые двери. Нигде не спрашивали в те годы пропусков, с нас не требовали экзаменов. Мы даже не успевали знакомиться в ту первую зиму друг с другом. Аудитории были набиты и молодежью, и пожилыми людьми. Дети вроде меня — недоучки со школьной скамьи, и люди с положением, теперь выбитые из привычного седла. Эти тоже растерялись и чувствовали себя недоучками в жизни.

Домой я приходила к ночи и сваливалась в мертвом сне. Мама не могла понять, чем я занимаюсь, но верила, что так надо. Александр Николаевич жил за стенкой и, как обычно, был всегда и всем недоволен. У мамы была невеселая жизнь.

На Молчановке, тоже вблизи Никитских ворот, жила и Ольга Александровна. Иногда через всю Москву плелась она с санками, маленькая, закутанная платками, везла нам овес — подарок с Ветлуги от ее бородатых учеников. С наступлением темноты на прохожих нападали «прыгунчики», они маскировались под привидения, становились на ходули, в прорези глаз светили огарками и раздевали малодушных. Были и простые грабители, которые действовали безо всякой романтики. На мою старую шубенку никто бы не польстился. И я преодолевала бесстрашно свои два конца в день через всю Москву.

Впрочем, очень скоро я стала уже возвращаться в Марьину

Рощу не одна: каждый вечер меня провожал мой новый товарищ — студент Института Слова Александр Васильевич Лебедев. Проводив, он шел из Марьиной Рощи через весь город к себе в Замоскворечье, где жил, вернее, только успевал ночевать.

Работал он в то время инструктором кооперации и потому на лекции в Институт всегда запаздывал. Я, не оборачиваясь, угадывала о приходе Александра Васильевича по осторожному баритональному покашливанию за моей спиной и по запаху его старой шинели. У Александра Васильевича было бледное, до последней степени асимметричное и некрасивое лицо с вьющейся русой бородой. На этом лице в полном несоответствии с наружностью поблескивала золотая оправа очков. Глаза у него были сильно близорукие и так глубоко прятались в целиком поглощавшую мысль, что казались иногда как бы замороженными. Но как только они освобождались от этой мысли и устремлялись к живому человеку, тотчас оттаивали и теплели.

Выражение лица у Александра Васильевича настолько менялось, что сам он существовал как бы сразу в двух лицах. Вот Александр Васильевич слушает во время занятий чье-нибудь чтение: он весь светится мыслью, устремляясь за словом; смотришь на него и сразу узнаешь: это Белинский. В другую минуту Александр Васильевич ушел внутрь себя: лицо сумрачно, напряженно, выдаются скулы, обтянутые серой кожей, глаза опущены, руки сжаты: Достоевский!

За сдержанной собранностью Александра Васильевича, даже за его некрасивостью угадывалась нравственная сила. В товарищах он возбуждал неизменно уважение и доверие. Они постоянно делали его поверенным своих тайн и судьей в нравственных вопросах. Но сам Александр Васильевич был замкнут и прятался, как за плотно закрытую дверь, за свою ко всем одинаковую улыбку.

Я очень скоро привыкла к нему. Он стал моим единственным и преданным другом, не считая мамы. Это новое обстоятельство в моей жизни не вызывало у меня никаких вопросов. На всех появляющихся у нас книгах мы надписывали теперь обе наши фамилии: все становилось постепенно общим. Но выбирать направление, ощупывать дорогу, чтоб двигаться вперед, решаться на следующий шаг — это мне приходилось одной по той единственной причине, что Александр Васильевич был необычайно медлителен и потому шел по моим следам — след в след.

Он был типичным «разночинцем», сыном мелкого управляющего чьим-то имением. Ко времени нашей встречи он кончал Коммерческий институт — высшее учебное заведение,

готовившее строителей народного хозяйства. В институте царило либерально-революционное настроение. Правда, там пользовался громадным авторитетом профессор экономики С. Н. Булгаков, бывший марксист, ставший к тому времени идеалистом, а вскоре — православным священником.

Александр Васильевич, как и большинство молодых людей его поколения, жил в сфере политико-экономических теорий и с этой позиции разрешал все вопросы жизни. Ближайшим товарищем его по институту был студент Абрамов, по убеждению марксист. Оба друга этой осенью решили вступить в партию большевиков. В Институт Слова Александр Васильевич поступил с единственной целью развить в себе ораторские навыки, необходимые для предстоящей общественной работы — был он от природы неречист. И вот встреча с девушкой, живущей в непонятном для нее самой могучем мире поэзии, перевернула все существо Александра Васильевича. Для меня эта встреча была находкой дружеской руки, всегда готовой на поддержку. Для него — откровением и полным переворотом жизни. Так началась у Александра Васильевича его большая любовь, причинившая нам обоим в жизни много страданий. Кооперация, политическая работа, экономика, партия — все оказалось ненужным. Он почел лишним даже сдать единственный оставшийся ему экзамен и бросил на ветер свой диплом. Он с головой утонул в поэзии, музыке, философских диспутах, где бы они ни велись, в чтении со мной всего, что нам удавалось достать по метафизике, начиная с Платона и кончая последними предреволюционными русскими мыслителями: Флоренским, Булгаковым, Бердяевым, Розановым, Франком{74}, Шпетом{75}, Трубецким, Эрном{76}. Мы читали, кроме того, запоем мистико-аскетическую литературу всех веков христианства: Блаженного Августина, Беме{77}, Сведенборга и, наконец, напали на новый источник, заставивший нас бросить дальнейшие поиски: это были сочинения подвижников древнего православия, так называемая святоотеческая литература, изданная в пятитомном собрании «Добротолюбие».

Подвижники-аскеты не столько умозрительно рассуждали о метафизике и богословии, сколько рассказывали о своем практическом опыте приближения к истине путем переделки своей собственной природы и указывали дверь в существующий, по их утверждению, рядом с нами иной, совершенный мир. Это был новый путь, он казался нам непосильным, на него мы и не дерзали вступать, но мы узнали о его существовании.

В жизни случались события, пережитые как бы вскользь, но теперь, когда жизнь как на ладони, они оказываются вехами на пути. Таким мне запомнился обычный день и разговор с

Александром Васильевичем или, скорее, с самой собой — я всегда тревожилась, как бы его не забыть.

Мы шли по Яузскому бульвару самой ранней весной. Вероятно, шли из Подкопаевского детского приемника, откуда я брала детей в детский дом. Пишу это сейчас по памяти — запомнился только разговор, так скажу и в отношении всего в жизни пережитого: плохо помню события, обстановку, даты, но врезаются навеки мысли, слова и переживания.

Мы говорили в тот раз о страдании мира. «Я не могу быть несчастна!» — сказала я. Не помню ответов Александра Васильевича, но отчетливо запомнился идущий в собственном сознании внутренний разговор: «А как же личные страдания? — Какие бы страдания меня ни ждали! — Как же можно оправдать такой оптимизм? — Можно, потому что я верю в окончательную победу. — Сколько горя, несчастья, крови вокруг. — Вижу. Но надежда — это тоже реальность, только с нею и стоит жить. — Это безумие! — Нет, это — исповедание Бога». Когда это началось во мне? Я думаю, в канун Троицы в детстве: тополевая веточка вместо жертвенной свечи у Распятия{78}.

Через несколько лет (каких лет! и они уже стоят у порога) в 1929 году я скажу другому другу, о существовании которого еще не знаю: «Помни, какие бы страдания нас с тобою ни ждали, мы самые счастливые на земле».

Дружба смягчала ожидание неприходившей любви. Я благодарно привязывалась к Александру Васильевичу, но никогда не появлялось даже мимолетной мысли о возможности подмены. Это было целомудренное знание границы, где начинается любовь, границы, через которую не должна переступать дружба. И только поэтому нам обоим, и мне и Александру Васильевичу, было тогда хорошо рядом идти.

Но было у нас обоих одно огорчение: в жертву своей первой любви он приносил дружбу с Абрамовым. Так случилось потому, что мир, в котором жил теперь Александр Васильевич, был непонятен Абрамову, и, как это постоянно бывает с серьезными, но ограниченными людьми, этот мир Абрамова отталкивал. Вероятно, у Абрамова его марксизм был тоже «первой любовью». Или, быть может, Абрамов отстаивал найденную им теорию как средство личного спасения в идейном хаосе безвременья, в котором суждено было нам проводить свою молодость и определяться в жизни? Каждый из нас искал тогда себе такую защитную форму, в которой можно было бы спрятаться от падающих на нас со всех сторон камней и текучей лавы, как на известной картине Брюллова. Да, время нашей молодости

воистину походило на разрушение Помпеи. К тому же мы были неопытны, потеряли опору в среде, в нажитых предками традициях. Искать было трудно. Вот почему раз найденное каждый из нас отстаивал в те дни, может быть, и не по любви, а по крайней нужде, но тем не менее со страстью и самоотверженностью влюбленного. Так было с Абрамовым. Так было и с Александром Васильевичем.

— А что, если нам встретиться у вас всем троим? — предложила я. — Познакомьте нас. Может быть, еще не все потеряно?

Он благодарно заулыбался, крепко и долго жал мне руку. В следующее воскресенье Александр Васильевич пришел за мной, и мы вместе прошли долгий путь в Замоскворечье, тот самый, который ежедневно он вышагивал всю зиму из-за меня.

Удивительная картина предстала передо мной, когда я очутилась на пороге его комнаты. Посредине стоял громоздкий письменный стол, в углу — железная кровать. Никакой мебели больше я не замечала. Но двигаться по комнате можно было только с величайшей осмотрительностью: человек, попавший сюда, был подобен кораблю, лавирующему среди скал и рифов, отыскивая узкий фарватер. Дело в том, что весь пол просторной комнаты был густо уставлен стопками книг разной высоты. Между книжных башен оставались узкие проходы, и иногда приходилось высоко поднимать ноги, чтобы сделать переход в местах заторов. Книги лежали на подоконниках, под кроватью, на столе, под столом. Но беспорядок был только кажущимся: здесь все было подчинено обдуманной системе. Книги были покрыты слоями пыли различной толщины, это беззастенчиво обнаруживал яркий солнечный свет, заливавший веселую комнату. Убирать пыль здесь было, конечно, немыслимо.

На столе книги были сдвинуты по сторонам, и я заметила следы хозяйственных приготовлений: чайник, стаканы, хлеб, сахарный песок, насыпанный в кружку, бутылка, заткнутая бумажкой, — постное масло. Это был всех нас в те дни уравнивавший паек, получаемый по карточкам.

Я села на единственный в комнате стул, Александр Васильевич — на ближайшую ко мне книжную кипу, как на табуретку. Он стал мне рассказывать со скромным достоинством, нет! с затаенной гордостью о своих сокровищах. Хлебный нож, взятый со стола, превратился в его руке в указку.

— Под тем окном — политэкономия и социология. У дверей — философия. Там — языкознание. Там — художественная литература и поэзия. Там — история.

— А под кроватью?

— Под кроватью математика и статистика.

— А сидите вы на чем?

— Это энциклопедический словарь Брокгауза: должен быть всегда под рукой.

— Да, оно и заметно: на нем меньше всего пыли…

Александр Васильевич сиял, радостно взволнованный.

— Бедный вы, бедный! — воскликнула я.

— Это вы о книгах? — недоуменно спросил он.

— Нет, о пыли!

— Но мне невозможно сейчас приобрести шкафы, — попробовал возразить Александр Васильевич.

— А полки? — воскликнула я с возмущением.

— Полки? — повторил он за мной в крайнем изумлении и тут же просиял. — Конечно, полки! Как это я мог не догадаться?

— По всем четырем стенам, самые простые полки, — обрадованно подхватила я. — Значит, с книгами решено. Но постное масло? Вы, конечно, ничего не умеете сами себе приготовить.

— Конечно, не умею, — с готовностью, радостно улыбаясь, подтвердил Александр Васильевич мои слова. — Но, уверяю вас, нет ничего проще: я прихожу вечером, достаю у соседки кипятку, потом макаю хлеб в масло, после этого в сахарный песок и запиваю кипятком.

«Провожает меня в Марьину Рощу, голодный идет назад. Потом среди пыльных раскопок ест постное масло с сахаром… Выбросить лишний хлам, открыть окна, сделать этому нелепому, славному человеку самое простое: убрать, вымыть, накормить…» — думаю я про себя.

— У меня замечательная мысль, — говорю я, — скоро открывается «Бодрая жизнь». Вы можете преподавать там любой предмет (я показала широким жестом на книжные груды), и тогда мы получим право зачислить вас на питанье.

Мое открытие кажется нам блестящим, и мы оба радуемся. Я смотрю на него и думаю: «Это большой беспомощный ребенок!» И тут весь мир как бы поворачивается и показывается мне другой, неизвестной до сих пор стороной: ко мне приходит впервые в жизни новое, неиспытанное чувство. Правда, было в прошлом что-то похожее в чувстве к матери после гибели отца, но такое, к совсем чужому человеку, взрослому мужчине, куда более сильному, чем я, такое сравнить было не с чем. Чувство это было огромно, но оно не было той ожидаемой мною любовью. Что же это пришло ко мне? Я растерянно молчала и не слыхала слов Александра Васильевича.

Много лет должно было пройти, много горя должно было

пережиться, пока я поняла, что же тогда произошло со мной. Это было рождение матери в девочке. Это новое чувство не обращалось ни к кому лично, но оно в то же время включало в себя каждого. Я была подавлена им, но с несомненностью знала: я, сидящая посреди этих книг (этих отточенных мужских мыслей, накопленных веками), не тонула и не терялась в них. Я была — страшно сказать! — царицей и властительницей и мыслей этих, и всей жизни на земле. Так вот что такое, оказывается, женщина, и какая ей дана сила и власть! Конечно, смысл этот не доходил тогда до меня, но доходило понимание данной мне величайшей силы.

— Милый вы мой! — сказала я и провела обеими руками по наклоненной ко мне голове Александра Васильевича, по лицу; сняла очки и поцеловала его глаза, оказавшиеся без очков беспомощно-туманными, как у слепого человека или новорожденного младенца. — Милый, бедный вы мой! — повторила я.

И тут случилось непредвиденное: Александр Васильевич рухнул на пол и прильнул лицом к моим коленям. Мне передавалась дрожь его большого тела. Он поднял лицо, и я отвернулась — так страшно было читать его выражение. Меня сковывали жалость и страх. Это была та сила, отдаться которой значило погубить свою надежду и погибнуть самой.

Я возмутилась, отогнала призрак, гневно стряхнула его. Я разняла руки Александра Васильевича, обнимавшие мои колени, и, держа в своих, сказала:

— Никогда, дорогой мой, никогда, это невозможно!

— Вы не любите меня, разве можете вы полюбить меня! — воскликнул он с горечью, разрывавшей мне сердце.

— Это неправда, я очень люблю вас, — говорила я, полная сочувствия к нему и непонятной жалости к себе. — Мы были до сих пор друзьями — будем братом и сестрой! У меня не было брата, и я все детство мечтала о нем. Прошу вас, будем братом и сестрой!

Я вытирала платком то свои, то его глаза, а он целовал мои руки: темный призрак отошел.

— Не плачьте, — сказал Александр Васильевич, — я благодарю Бога уже за то, что вы существуете, это уже счастье. Разве я хотел бы вернуться в тот мир, в котором жил год назад и где вас не было? Разве это была жизнь? Нет, вам не надо больше из-за меня плакать. Я обещаю вам, я буду счастлив, я буду вашим братом. Я обещаю вам!

Теперь, на исходе жизни, я вижу, как искренно, как самоотверженно обманывали мы в ту минуту друг друга, как

обманывались сами, не зная своих сил — и чего будет стоить в будущем нам обоим этот самообман!

И в эту минуту к нам вошел Абрамов. Из-под козырька надвинутой на лоб кепки он подозрительно и ревниво оглядывал нас глазами, в выражении которых поражала с первого взгляда какая-то остановившаяся и затвердевшая мысль. В Абрамове угадывался жар души, переходивший в мрачный «накал», который и светился в его черных умных глазах.

Он преувеличенно вежливо, даже церемонно поздоровался со мной, кивнул Александру Васильевичу, схватил чайник:

— Пойду принесу кипятку, я прямо из командировки — не спал и не ел.

Скоро он вернулся с кипятком, вынул принесенный хлеб из рыжего портфеля, зашитого по углам сапожной дратвой, и мы стали пить чай, постелив на стол газету. Мы перекидывались незначительными словами и изучали друг друга.

Александр Васильевич выжидательно помалкивал, потирал руки, то на ходу поглаживал по плечу Абрамова, то притрагивался просительно к кончикам моих пальцев, передавая мне стакан.

— Ну что ж, товарищи, — сказал наконец Абрамов, — драться так драться — не будем тянуть!

— Зачем же драться? — удивилась я, решительно не принимая его вызова.

— Затем, что я не уступлю его вам, — не сдался Абрамов. Он выглядывал сумрачно из-под густых волос, прядями падавших ему на лоб, как ни оглаживал он их то и дело рукою. Волосы не слушались его руки и снова падали: они одни в его наружности не слушались и выдавали его подлинный характер. Я сразу заметила: лицо его, несколько неподвижное от отсутствия улыбки, было отучено улыбаться. Всем своим видом Абрамов теперь выражал неудовольствие человека, отвлеченного от серьезного дела, и он торопился поскорее перейти к тому, для чего мы и собрались.

— Мы в долгу за каждую каплю крови на фронте, — начал он, — за каждый кусок хлеба в тылу перед этими людьми, которые взяли на себя труднейшее дело, чтоб дать нам это насущное… — Он замялся, ища слова и, чтоб продлить время, вытянул руку широким ораторским жестом, показывая на стол, где на газете стояли грязные стаканы и лежали куски недоеденного хлеба. Жест Абрамова, усвоенный им, видимо, на общественных выступлениях, здесь, перед нами двумя, вконец разрушал силу его слов: он вызывал смех.

«Неужели он сам этого не понимает?» — подумала я.

Но Абрамов смутился, сам почувствовал неуместность жеста, самоуверенность его покинула, и что-то мягкое, вопросительное и молодое мелькнуло в правдивых глазах под насупленными бровями. На короткое мгновение он расправил между бровями суровую складку, как, дрогнув, опускает уши собака, позволяя себе довериться ласковому голосу человека. Только на мгновение…

— Чем вы занимаетесь? — говорит он мне, игнорируя Александра Васильевича, и презрительно добавляет: — Де-кла-ма-цией! И еще этими идеалистическими сказками, от которых не имеете мужества отказаться, — показывает рукой точно на тот угол, где лежит у Александра Васильевича религиозная философия. — Я не говорю даже вам, что эти сказки метафизики бред. Они существуют, они очаровательны, но они — чистая выдумка и потому пустоцвет. Никакого отношения к реальной жизни они не имеют. Человечество долго питалось этими фантазиями, и вот настало время, человечество созрело и должно выйти из своей детской комнаты. Чем вы занимаетесь? — повторил он.

— Вы нечестно боретесь! — воскликнула я, обижаясь. — Зачем вы пытаетесь все свалить на одну меня? Вы вместе с Александром Васильевичем читали этот «бред», вы точно изучили даже его расположение в комнате, а я совсем не образована и ни к чему, кроме поэзии, не имею вкуса. Но в чем я вас хорошо понимаю — это насчет долгов: я чувствую остро свою связь с людьми, я думаю иногда, что человек в отдельности, сам по себе не существует. Иначе из-за чего бы я бросила сытное и теплое Узкое и увезла оттуда мать, и хлопочу с утра до ночи для детей именно об этом?

Тут я невольно повторяю до точности жест Абрамова, который только что нас так насмешил, и показываю торжественно на грязный и убогий стол. И снова живая искра вопроса и неуверенности пробегает по лицу Абрамова.

— Александр Васильевич не изменяет вам, — продолжаю я, — он не бросает вашей кооперации, но вы хотите отнять у него право жить в том этаже сознания, который вам недоступен, в том этаже, где живет поэзия…

— А вы думаете, — взвивается Абрамов, загоревшись, — вы думаете, эти люди, которые сидят бессонными ночами над декретами и военными картами, вы думаете, им недоступна поэзия? Они занимаются хлебом вместо поэзии, обрезая себя по живому телу!

Тут Абрамов незаметно для себя разрушает возведенную им

между нами мысленную баррикаду и пересаживается на ближайшую ко мне книжную кипу:

— Если они позволят себе отдаться поэзии, то опять уведут всех в болото фантазии и завязнут в нем. Оно теплое, это болото, оно очень утешительное! Люди сидят в нем уже две тысячи лет. А впрочем, куда дольше! — И он безнадежно машет рукой.

— У «этих людей», — замечает не без язвительности Александр Васильевич, — тоже своя поэзия — поэзия власти. И втайне они ею живут.

— Хотите, я вам ее покажу, — говорю я, встаю и читаю торжественные строки Маяковского: «Мы идем революционной лавой, / Над рядами флаг пожаров ал…»{79}

Могучий ритм подчиняет. На какое-то время все мы трое забываем спор.

— Послушайте, — говорит мне Абрамов, блестя черными глазами, — это сильнее многих томов рассуждений и доказательств! Я не знал Маяковского. Послушайте, — повторяет он, разглядывая меня пристально и с восхищением, — вы же наша! Вы этого просто не понимаете. Иначе разве вы могли бы так прочесть! — Абрамов забыл, как только что упрекал меня «де-кла-ма-цией». — Кто вы сейчас? Мелкая служащая, наемница? А вы должны брать в руки руль: люди — неразумные дети, их надо насильно выводить из болота — это и есть диктатура партии. Почему вы не хотите с нами? — с жаром настаивает Абрамов.

— Я никогда не ставила себе этот вопрос. Я же сказала вам, что мало понимаю в политике. Я могу вам ответить только сравнением: вы хотите воду закупорить в бочку со стенками, с дном, а ей надо течь, это ее назначение, чтоб течь и подвергаться в природе всем влияниям, всем изменениям. Я боюсь этих стенок, этой чужой воли. Все равно, что поступить на послушание в монастырь. Я видела несколько лет тому назад в Чудовом монастыре мальчика-послушника, он продавал в окошко просфоры. Он был, как цветок в оранжерее. Где он теперь, как живется ему в простой природе, когда стены его оранжереи сломаны? Я часто о нем вспоминаю. Как могу я поверить людям и по доверию за ними пойти, если на протяжении всей своей истории они только и делают, что ломают созданное и строят, чтоб снова ломать? Сейчас вы вообразили себе, что открыли верный путь. А мне вы кажетесь ребенком, упрямым и самонадеянным. — Удивительно! Абрамов слушает меня с интересом и не перебивает. — Люди иначе и не могут продвигаться в истории, — продолжаю я, — они должны ошибаться, мучить друг друга и потом, спустя долгое время, сознавать свои ошибки. Они убивают близких себе во времени, но

время проходит, и новые поколения оценивают этих убитых по достоинству, иногда возвеличивают их. Поэтому, когда сгоряча в драке убивают — это простимо, даже неизбежно, но мучить организованно ради идеи — нет, на это я не пойду и лучше погибну сама. Я приехала в Москву, чтоб помогать, я не могу быть в стороне от общего дела. Но я не буду делать то, что претит моему нравственному вкусу.

Абрамов (злорадно):

— Вот, вы сказали «вкус» и выдали себя с головой! Знаете, откуда ваша нравственная брезгливость, откуда ваше «нравится — не нравится»? Из быта и традиции ваших предков — господ. А у него, — кивает в сторону Александра Васильевича, — от его предков, господских прислужников, разночинцев.

Я: — Все в мире решается этим «нравится». Корни наших «нравится» уходят так глубоко! Если копаться — действительно докопаемся до обезьяны. Давайте будем не о корнях, а о плодах. Давайте смотреть не назад, а вперед: откуда бы мы с вами ни шли, мы-то уже освободились от своей «обезьяны», мы бескорыстны, мы по-настоящему свободны — мы за свое не деремся. И вы такой, и я, и Александр Васильевич. Вы хорошо знаете: он отдаст свою жизнь за настоящую правду. Есть, кроме Маяковского, еще один поэт, Хлебников: «Мне мало надо:/ краюшку хлеба,/да каплю молока,/ да это небо,/ да эти облака». От каких предков он произошел — вы даже и не спросите. Он — поэт. Если бы вы захотели нам поверить — сколько верных помощников вы сразу бы приобрели!

Абрамов: — Это старая песня: таких барышень-идеалисток в России было — пруд пруди! Ими девятнадцатый век бурлил, но они свое дело уже сделали. Сейчас они, заметьте это, вредны! У нас сейчас прямая, ограниченная цель: сделать рабочий класс господином жизни и ее творцом. Отсюда — единство метода: железная партийная дисциплина, которую вы сравниваете с бочкой или монастырской стеной.

Я: — Сколько мыслящих русских людей отдавали жизнь — декабристы, петрашевцы, народовольцы, славянофилы, западники, Достоевский, Гоголь, Толстой, они вам прокладывали путь. Вы своей идеей классовой борьбы порываете с почвой, на которой выросли, с отцами, от которых произошли…

— С отечеством, — подсказывает тихо Александр Васильевич, и я замолкаю: до меня впервые доходит смысл этого слова — Отечество!

Абрамов (насмешливо): — Сейчас вы начнете мне доказывать, что царское правительство освободило крестьян из гуманных чувств или что партия кадетов, имея в своем составе крупнейших

капиталистов, хотела блага народу. Извините, в лучшем случае это — непроходимая глупость.

Я: — Да, вы правы, слишком много было позади, мы расплачиваемся за весь мир, не только за грехи России. Видно, нужно пройти через возмездие, разрушение, через всю революцию. Но — вот горе! — зло порождает только зло. Прислушайтесь хотя бы к своему языку: сколько в нем раздраженья. Так вы и в народ вдалбливаете волчьи чувства. Какими путями вы подняли на борьбу массы народа? Вы внушаете зависть, месть, жажду материального богатства. Нетрудно предвидеть последствия. Я задаю вам вопрос, не лучше ли было продвигаться вперед с медлительностью черепахи, чем казнить одних и развращать других? А что люди придут в конце концов к нравственной свободе — в этом нет сомнения, хотя бы на примере сегодняшнего разговора: раз мы трое дошли, значит, непременно дойдут и все.

Абрамов: — То, о чем вы говорите — жалкая теория непротивленцев и прогрессистов. Она изжита.

Я: — Голые названия звучат у вас как ругательства. Я говорю о своих раздумьях, а вы ищете, куда бы меня ударить больней.

Абрамов: — У Пушкина Моцарт тоже так себя «открывает». Он, видите ли, презирает «нужды низкой жизни» потому, что легкомысленный человек и сам не страдает от унижения и нужды. Пушкин — барин, и мы не побоимся перетрясти каждое его слово, хотя он, говорят, и гений!

Я: — Это мне не ново! Маяковский уже это говорил о Пушкине. Что делать! Жизнь круглая, а каждый видит ее только со своей стороны и кричит другому: «Ты не прав, ты не прав!» Но я хочу до вас докричаться и построить мост понимания. Я кричу вам: мы стоим около одной правды — устройство справедливости между людьми, самой простейшей, и мы оба называем ее добром. Оно всем понятно. Без него ни вы, ни я не примем ни красоты, ни искусства. Посмотрите же, какая тонкая между нами перегородка и как легко нам с вами ее разрушить, чтобы соединиться! Вы сказали мне только что: «Вы наша». И правда, мы — свои люди.

Абрамов: — Вы хотите остаться свободной в мысли и требуете от нас к себе доверия. А как нам прикажете отличать друга от врага? Вот почему мы вынуждены говорить: кто не с нами — тот против нас. Да, мы пока сознательные доктринеры. И вы должны попросту отказаться от своего идеализма.

Я: — Значит, от Бога?

Абрамов (не удостаивая ответом и обращаясь к Александру Васильевичу): — Я вас теперь спрашиваю, мы с вами, а не с этой барышней здесь столько ночей копья ломали. Отвечайте: мы

окончательно расходимся? С ней вы или со мной?

А. В.: — Я усомнился.

Абрамов: — В теории марксизма?

А. В.: — Нет, в любой партийной теории. Ни одну принять по совести не могу. У всех у них круговая порука, и выродится она неминуемо в цепь преступлений и желанного счастья людям не принесет.

Абрамов: — Совсем по Достоевскому о «слезинке ребенка», через которую вы не можете переступить и возвращаете мне билет… Старо! А по-моему, если необходимо — пусть гибнет «ребенок», за которого прячется по слабонервности Достоевский, я приношу этого ребенка в жертву всем детям будущего.

— Неправда, — перебиваю я Абрамова, — вы так говорите только потому, что у вас нет своего ребенка, и вы еще никого в жизни не любили. Вы не знаете, как думали бы, если б сами любили…

Абрамов (неожиданно смущается): — Должен признать… вы правы, я не любил. Но я знаю, что такое сострадание. И, поверьте, я часто сам себя беру за горло.

Я: — Попробуем подвести итоги. Разница у нас с вами, что вы хотите достичь быстрого перерождения человека, мы же видим эту возможность только на медленном пути, без насилия и мести. В вашем опыте большой риск: вы не можете предвидеть, какие вырастут новые перегородки в новом «бесклассовом» обществе после того, как люди удовлетворят «нужды низкой жизни». Вы идете на риск в своем эксперименте, и какой ценой!

Абрамов: — А вы обречены топтаться на месте со своей теорией прогресса.

А. В.: — Неверно! Уже по одному тому, что мы о прогрессе говорим и друг друга понимаем, можно заключить, что он совершается.

Абрамов (саркастически): — Скажите, какое открытие! Да во все времена были немногие чудаки, которые вели подобные беседы: и в Вавилоне, и в Египте, и в Риме. На ход истории они не повлияли. Они говорили, а вокруг них в то же время совершались злодейства и совершаются до сих пор. За много тысячелетий взаимопонимание нескольких высокоразвитых личностей ни к чему не привело.

Но вот мы открыли науку общественной жизни. Научный опыт не обходится без жертв, но он необходим и честен. Придут новые поколения, будут нас исправлять. Другого пути быть не может. Все остальные испробованы.

А. В.: — Есть сейчас на Земле еще один путь общественного прогресса — это христианская церковь. Она предполагает

существование Истины. Не временной правды, а универсальной Истины, проявляющейся по-разному в разные времена. Ваша современная правда — тоже ее проявление, потому что революция началась с христианского сострадания, но тут же выродилась в зависть и насилие.

Абрамов: — Церковь — та же партия. Таких партий вокруг вашей «универсальной истины» в истории была тьма: вспомните историю иудейства, магометанства, всех христианских церквей и сект… Но как опозорили они себя в своей практике! Вы какую себе выберете и по какому признаку?

Я: — Выбирать нам не приходится: мы родились в русской истории, воспитывались в православной вере, мне до сих пор не приходилось никогда усомниться в значении Евангелия. Но вот настало такое время, оно требует от нас себя проверить — что это значит: родина, история, православие.

Абрамов: — Если говорить о Евангелии с его учением о любви, то в нем нет ничего принципиально нового: буддисты даже муравья не убивают. За Евангелие держатся по незнанию истории, а в истории дело Христа не удалось.

Я: — В Евангелии дело не в учении, а в небывалом явлении новой Личности. Христос говорит о себе мало, и только под самый конец, и только немногим открывает как тайну, что Он берет на себя все преступления людей, все зло мира, и за это идет добровольно на страданья, которых мог бы избежать.

Абрамов: — Смерть за других не оригинальна, так поступают все, кто предается своей идее.

Я: — Не умею вам ответить: богословы тонко подводят стройную систему своих доказательств, но я в споре все их доводы забываю — мне неловко об этом спорить. Смысл моих доводов в том, что Христос есть образ всех усилий в борьбе за идеал, вероятно, и ваших усилий. Даже если б мне доказали, что Христа не было в истории, меня бы это ничуть не поколебало: важно лишь одно, что Он мыслится, этот Образ, и, значит, существует. Когда заглянешь в себя по-настоящему, там остается одно чувство доверия ко Христу. Это настроение мне понадобилось с первых проблесков мысли и живет там, несмотря ни на что, живет даже не соотносительно с текущей жизнью. А его насаждали огнем и мечом! Вот где средоточие всех преступлений, за них мы сейчас и расплачиваемся.

Абрамов: — Вот вы и признали, что противоречие между идеей и осуществлением христианства чудовищно. Вам остается лишь честно признать ее неосуществимость. Мы, революционеры, хоть не обманываем человечество «непротивлением злу злом». А вы? Заглядывали вы когда-нибудь сюда? — Абрамов показывает

мне на словарь Брокгауза, на котором я сижу. — Откройте в нем любое имя: Генрихов, Борджиа, Иоаннов, Екатерин, католических пап, византийских императоров… Почти каждая жизнь — немыслимые злодейства. И так протекали все века христианской культуры. Византийская императрица выкалывает глаза родному сыну за инакомыслие в вопросах веры. Королева… забыл — английская либо французская — принимает ванны из крови младенцев для своего омоложения. Испанская инквизиция — Торквемада и Лойола из-за идеи сжигают живьем сотни тысяч своих братьев во Христе. Вы это знаете из школьных учебников. Еще так недавно, в XV, XVI и XVII веках, лучшие люди были сожжены на кострах: Савонарола, Бруно, Жанна д'Арк, такая же, как вы, обольщенная мечтою дурочка… Но теперь… опомнитесь! Чему вы отдаетесь? Вы боитесь отказаться от привычного наркоза мечты, чтобы выйти в трезвую деятельную и простую жизнь. Вы предпочитаете жить в своих снах.

А. В.: — Вы говорите о западном католичестве и Византии. Мы имели счастье родиться в России: и смысл и практика нашей истории иные. Возможно, что и роль наша будет для всего мира особенная — вот что надо изучить и понять!

Абрамов (с возмущением): — Вы повторяете за славянофилами и Достоевским их хвастливую ложь о России. Я напомню вам о сожжении живыми людей, подозреваемых в ереси при Иоанне III, о сожжении протопопа Аввакума при Алексее Михайловиче, о голодной смерти в земляном мешке боярыни Морозовой — я называю вам общеизвестное. А сколько злодейств, не названных мною или вовсе не записанных! Довольно назвать каменные подземелья в монастырях, «охранителях евангельского учения». Вы можете мне возразить, что в православной России костров и мучительства было меньше, чем в Европе. Но разве количество решает вопрос для нашей совести?

Они спорят и уже забыли меня. Я понимаю: это продолжается давний, еще до меня начатый спор. Студенческая нетопленая комната, остатки жалкой еды на подстеленной газете, вокруг — книжный хаос и посреди два истощенных, но светящихся страстной мыслью лица: как будто я это уже видела. Иллюстрация к какому русскому роману? Из какого десятилетия прошлого века? Конечно, это герои Достоевского, это его разночинцы, это вы, дорогие наши русские юноши, искатели правды, вы перешагнули, оказывается, вместе с нами в наш двадцатый век.

— Вы меня не собьете, — тихо, но решительно отводит словесную шпагу противника Александр Васильевич. Он даже улыбается при этом. Но почему его улыбка не обезоруживает

Абрамова, не раскрывает дверей между спорящими? Улыбка у Александра Васильевича как отрицание, она возводит ледяную прозрачную стену, от нее в нетопленой комнате становится еще холодней. Когда в споре он облечен во всеоружие логики, его добрые глаза становятся стеклянными.

Абрамов, в противовес Александру Васильевичу, спорит горячо и часто попадает впросак. Он зол и от него не дождешься улыбки. Но какая в нем подкупающая простота!

Я так пристально вглядываюсь в обоих, что они временами то меняются в моих глазах местами, то сливаются в одного человека, который рассуждает сам с собой. Так оно и есть на самом деле, это все тот же вечный русский юноша, стремящийся личным усилием добраться до большой правды.

— Вы меня не собьете, — повторяет Александр Васильевич. — Надо увидеть жизнь в ее постепенном развитии, в ее перспективе, а не выхватывать события как отдельные пироги из печки: один подгорел, другой не пропекся. Представьте себе жизнь, как она была в века возникновения христианства. Она была жестока, и ее не с чем было сравнивать, потому что не было еще вселенского образа добра, не было еще живого идеала. Он появился отчетливо, когда было проповедано Евангелие. Идеал этот пролил свет на человеческое злодейство. Я сделал выписку о жизни рабов Рима на заре христианства. Вот она: «Рабов мололи на мельничных жерновах, сдирали кожу с черепа, обрубали нос, губы, уши, руки, ноги, подвешивали голого на железных цепях, оставляя на съедение хищным птицам. Его распинали на кресте. „Я знаю, — говорит раб в комедии Плавта, — что моим последним жилищем будет крест: на нем покоятся мой отец, дед, прадед и все мои предки“». Это происходило в просвещенном Риме с его искусством, наукой, правом ко времени появления христианства. Вот при каких нравах усваивалось и перерабатывалось Евангелие, кто создавал церковь, ее догматику и формы ее быта. Это были обломки античного общества, но главным образом завоеватели его, дикие народы. Из какого же мрака выбивалась евангельская идея! Вот это и надо понять, а не действовать на воображение средневековыми пытками и кострами. Католические костры — продолжение древнего варварства, не более. Формы изживают себя медленнее, чем питающие их идеи. Если б люди это понимали, они не торопили бы судорожно жизнь, не давая ей естественно вызревать! Для нашего спора важно одно: в православной церкви никогда инквизиция не была возведена в принцип. Православие не становилось на путь жестокости, хотя совершалось этой жестокости много. Может быть, объясняется это и тем, что

православная церковь никогда не руководствовалась единой властью, а управлялась соборно, значит, была она подвижней в исканиях, разнообразней в осуществлениях. В ней постоянно шло невидимое брожение, как в океане теплых и холодных течений, это была созидательная борьба во всей массе народной. Только у православных народ может сам выгнать из храма недостойного священника, и это не будет считаться бунтом. Государственность, которая определяет в истории папизм с его стремлением построить Царство Божие на земле, принадлежала в России царской власти: Помазанник брал на себя религиозную миссию построения христианского государства. Церковь же была для государства дружественна, но в своей духовной сердцевине неуловима. Вот этот особый дух православия меня привлекает, и я хочу его понять.

Абрамов: — Слушаю вас и диву даюсь: где вы такую церковь видели?

А. В.: — Конечно, в книгах, но ведь и марксизм свой мы добывали тоже из книг. Пока будем говорить по книгам: вы сейчас ссылались на жестокости и цинизм переходных к новому времени веков. Да, это был огненный рубеж — и на западе и у нас людей жгли живыми.

Я: — Вы забыли Франциска Ассизского{80}. Разве это была уже не вода на огонь?

А. В.: — Вы очень хорошо заметили: именно вода на огонь! У нас подобный Франциску источник открылся двумя веками позднее — в XV веке. Это были «заволжские старцы». Кто их знает? А ведь они — наша родная история. Епископ Иосиф Волоцкий{81}, книжник, начетчик, образованный для своего времени человек, византиец по убеждению, был апостолом самодержавия в молодой начинавшейся Руси. Для него государь был наместником Бога на земле. Иосиф был объединителем церковной и светской власти, иными словами, он положил начало подчинения церкви государству, подчинения, с которым поведется отныне борьба у православных людей до наших дней. Эта борьба продолжается, заметьте, и сейчас, потому-то я и говорю вам о «заволжских старцах». В Заволжье подымается и растет новый дух. Он объединяет иноков Вологодских и Кирилло-Белозерского монастырей во главе с исключительной личностью — Нилом Сорским{82}. Это был человек с богатым воображением и предприимчивостью — достаточно сказать, что в те времена он совершил путешествие на Восток: в Палестину, Константинополь, в Грецию — на Старый Афон. Вернувшись, он поселяется уединенно на реке Сороти, неподалеку от Кирилло-Белозерского монастыря и занимается изучением и списыванием книг, не

только Священного Писания, но и принесенных им с собой из путешествия на православный восток религиозно-философских сочинений христианских подвижников первых веков. Он делает их «с разных списков, тщася обрести правый… согласно разуму и истине». Заметьте, он так дерзает поступать во времена, когда каждая книга считалась в народе божественной и исправлять даже явные ошибки, толковать их смысл было недопустимым. Около Нила собираются единомысленные ему люди, становящиеся его последователями и учениками.

Монашество, в понимании Нила Сорского, — это делание внутреннего человека, и аскетический подвиг должен быть направлен не на телесное умерщвление, а на устроение души. Монах — враг всякой внешности. Храмы должны быть чужды украшению. «Чем жертвовать на церковь, лучше раздать нищим», — учил Нил Сорский. Послушание наставникам должно быть не механическим, а сознательным. Высшим авторитетом для послушника остается Священное Писание. К врагам церкви надо относиться с любовью, милостью, не судить, не наказывать, а молиться за них.

Все эти идеи были новы и не по плечу современникам Нила Сорского. Они вызывали недоверие, подозрение в ереси. Особенно раздражало выступление заволжских старцев на соборе 1490 года в Москве, разбиравшем дело так называемых «жидовствующих» еретиков, которых поначалу решено было «сожещи», а в конце концов, под влиянием Нила Сорского, ограничились лишь отлучением нескольких упорствующих. Но ряд казней на местах все же был совершен представителями враждебной Нилу партии.

Следующим раздражающим выступлением Нила Сорского был его протест на соборе 1505 года против землевладения монастырей.

Все это я рассказал вам, чтобы задать вопрос: враг Нила, формалист и государственник Иосиф Волоцкий был канонизирован в конце XVI века. О Ниле же исследование отмечает, что неизвестно, был ли он когда-либо канонизирован формально. Но тем не менее в церковном календаре и поныне отмечается день его поминовения как святого — 7 мая, и в заглавиях его сочинений сохраняется имя «великого старца». Кто, спросим мы, оценил по достоинству личность Нила Сорского, кто сделал его святым? Верующие православные люди, а отнюдь не иерархи церкви. Вот что такое — дух православия.

Я: — Не так давно это было, а слушается сейчас как сказка, да и в детстве подобные рассказы звучали как страшная и далекая сказка, которая не может повториться.

Абрамов: — Наше детство! Это виселицы 1905 года, кровавое воскресенье 9 января! Это не сказка, это была самая реальная и жестокая правда, на которую вы сейчас закрываете глаза.

Я: — Нет, Абрамов, я ужасаюсь этому. Но, по существу, оно было и тогда уже как призрак прошлого, его пережиток и потому было всем без исключения ненавистно. На этом примере видно, что Александр Васильевич прав: события истории всегда отстают от уровня сознания.

— Вы ведь Чехова считаете честным писателем? а что он говорит в те годы нашего детства, дайте мне книгу его пьес… — Абрамов бросается в кипу художественной литературы и сразу безошибочно находит. — Вот! Тузенбах говорит: «Нашу жизнь назовут высокой и вспомнят о ней с уважением. Теперь нет пыток, нет казней, нашествий». Как же? Ведь это было, ну хотя бы казни были! В том-то и дело, что все это уже было несовременно, оно стояло ниже уровня нашего сознания, это был пережиток, оно должно было очень скоро засохнуть намертво и отпасть. Помните, там же Вершинин говорит: «Через двести-триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной»[{83}]. И наше поколение призывалось делать эту «изумительную жизнь». Я гимназисткой проплакала откровенно весь спектакль подряд именно от этого сознания своей высокой и счастливой миссии. Но почему же, почему Чехов ошибся? Сейчас мы это видим, сидя уже на пожарище… Подумать только! Прошло только четыре года с тех пор, как я, девочкой, плакала в Художественном театре от восторга и веры — и снова, как в давно прошедшие времена варварства, люди сжигают друг друга в топках паровозов, вырезают друг у друга на спинах кресты и звезды, и красные и белые это совершают одинаково — с ненавистью, со сладострастием.

Мне рассказывала на днях наша бывшая прислуга, приехавшая из деревни: у них толпа засекла насмерть священника-старика. И не преступного, а доброго, всеми местными людьми уважаемого. Их подстрекали какие-то пришлые люди, подстрекали «принципиально», произошло что-то вроде массового гипноза. Заметьте, в толпе было много женщин. И они участвовали в зверской расправе. Не сомневаюсь, подобное совершается и «на другой стороне»… Что с нами случилось? Как будто история потеряла направление и помчалась назад.

А. В.: — И вы хотите, Абрамов, чтобы, зная все это, я отдал людям свою волю? Нет, ни красным, ни белым «Робеспьерам» я воли своей не отдам.

Абрамов: — Вы собираетесь стать новым Нилом Сорским? А я вам пророчу: вы сами станете Робеспьером вроде Иосифа

Волоцкого, как только вступите в ряды князей церковных. И попадете, смотришь, в святые! Вы его еще не знаете, он слишком принципиален, слишком правилен, недаром его называли у нас «совестью курса». Он из-за принципа не только меня — вас поволочет на костер.

А. В.: — Юпитер, ты сердишься…{84}

Я (Александру Васильевичу): — Бросьте, ваш друг не заслуживает иронии! Он даже прав: сейчас с революцией церковь стала свободной, государство ее от себя отсекло. Но спор Нила с Иосифом продолжается. Подлинная Церковь — не от мира сего, и только поэтому она светит грешному миру. Но что, если она вновь соединится с государством и поставит перед собой идеал византийского земного величия? Тогда она неминуемо потеряет свою силу. Абрамов неожиданно показал себя правовернее вас: он опасается, что вы можете превратиться в князя церковного — в государственника. Это и будет последний конец православной России, конец тому, чем она могла бы светить миру.

Я говорю, и мне кажется, что чем четче я выражаю свою мысль, тем более огрубляю ее, тем дальше становлюсь от ее сокровенного смысла. Я смущаюсь.

— Мы все не правы, — говорю я, — потому не правы, что хотим рассудочно построить схему своего идеала и путей его осуществления. А идеал рассудком неуловим.

Абрамов: — Ваши тонкости слушать любопытно. Но они не ко времени. Поэтому я вам повторяю: кто не с нами, тот против нас. Вы против?

Я: — Мне и самой неясно — кто за кого! Поглядите на людей, называющих себя христианами, по ним легче всего понять мою мысль. Иной атеист ближе, чем они, к Богу. И первый — это вы. Не делайте зверского лица — я это утверждаю! Сейчас я вам прочту стихи одного подобного вам «атеиста».

Значит — опять
темно и понуро
сердце возьму,
слезами окапав,
нести,
как собака, которая в конуру
несет
перерезанную поездом лапу.

Я думал — ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,

из-за голенища
достаю сапожный ножик.
Крылатые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахнувшего ладаном, раскрою
отсюда и до Аляски!

Пустите!
Меня не остановите,
вру я,
в праве ли,
но я не могу быть спокойней.
Смотрите —
звезды опять обезглавили
и небо окровавили бойней!

Эй, вы,
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!
Глухо.
Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо[85].

У Маяковского весь космос — как одно огромное ухо. Разве вы через этот образ не видите, что Маяковский спорит с живым Творцом? Маяковский не стал бы тратить себя на борьбу с химерой. В это мгновение он верует (знает), одновременно отрицая.

По Маяковскому можно увидать еще одно особенное наше русское свойство — целиком отдаваться нравственной идее, бросаться в нее, как в костер. Другие народы мира постарше, они уже поостыли и, конечно, расчетливее тратят себя на общее дело. Вот почему, может быть, и революцию мы *за них* совершаем…

Абрамов: — По правде говоря, нам действительно нечего было терять! Посмотрите на моего бывшего друга Александра Васильевича: что у него? одни книжки. И те он сожжет, когда пойдет в попы. Но это — между прочим. Скажите мне о другом: зачем ваш бог строит с такими сложностями свою вселенную («недоучка», «крохотный божик»)?

Я: — Ничего, Абрамов, я не обижаюсь, мне стало с вами уже

не трудно… Вы на Бога смотрите, как на верховного администратора или как дикарь на деревянного домашнего божика. А если мы с нашим Творцом сотрудники?{86} Самое главное, мне кажется, мы должны научиться о Нем молчать, а не так, как оно было бесстыдно перед революцией у декадентов, у оккультистов, в разных философских столичных кружках. В простом верующем народе было иначе. Помню, как няньку мою один образованный и легкомысленный гость спросил, есть ли Бог, она ответила ласково, серьезно и очень иронично к его легкости: «Что-то, барин, есть», — и он замолчал.

Абрамов: — Допускаю на минуту, что вы правы: мы, русские, имеем особое нравственное призвание в мировой истории. Тем более подвиг нашего времени один: это делание общественной справедливости. Значит, надо торопиться делать эту справедливость, простую и понятную всем. За это мы, революционеры, и взялись. Ни капли времени терять не будем, и тогда ваш же бог нас погладит по головке. А вы, на что вы себя обрекли? охранять стены пустых храмов, камни, обряды и догматы на потребу старух и кучки бывших интеллигентов?

Я: — Вы правы, храмы будут разрушены, я с детства предчувствую это! Все будет разрушено! На что Владимир Соловьев был поборником церковной организации, ее вселенского торжества на Земле, а и он говорил, умирая, своему другу Сергею Трубецкому: «Магистраль всеобщей истории пришла к концу… кончено все. Христианства нет, идей не больше, чем в эпоху Троянской войны…»

Разрушение как возмездие за грехи церкви уже совершается на наших глазах. Никогда, вероятно, не осуществятся, не станут видимы в массе людской наши идеалы. Мне что-то запрещает теперь произносить перед скептиком имя Божье вслух. Мне неловко бывает смотреть на священника в его облачении среди неверующей толпы. Кончится мир или начнется по-новому, но вера теперь должна стать нашей тайной, явными — наши дела. Только дела и могут убедить.

А. В.: — Вы говорите об этом с таким оттенком, словно радуетесь предстоящему разрушению и торопите его. Но если все-таки останется жизнь на Земле и не сохранится видимой церкви, где хранить сокровища мысли, накопленные поколениями?

Я: — В мысли. Смысл невозможно уничтожить{87}. Он сохранится в естественной поэзии, во врожденном чувстве прекрасного, этом необъяснимом свойстве нашей души. Люди выйдут из борьбы голыми, и красота будет их первая одежда. Она и просвечивает сквозь преступную историю человечества. Вот о чем, может быть, и думал Достоевский, когда говорил, что

«красота спасет мир». Поэзия — это дрожжи в мировой истории: самая минимальная доля в общем составе, но без дрожжей не получится хлеба.

Абрамов: — Ваши церковники вас бы сожгли на костре, родись вы немного пораньше. Но он еще, может быть, вас и сожжет, — говорит Абрамов, указывая на Александра Васильевича. — Прощайте! — Они прощаются за руку, не выдерживают, обнимаются.

Тот наш спор был, конечно, короче и проще. Воспроизвести его с точностью через полвека — невыполнимая задача, но я свела в единство многие наши думы и слова, всплывшие в памяти, и нигде не вышла за пределы правды тех лет.

До сих пор, спустя несколько десятков лет, мне снится иногда, будто я поднимаюсь по мраморным лестницам, отраженная в зеркалах, прохожу по торжественным дворцовым залам, среди обтянутых шелком стен, и все это великолепие — мой дом. Именно так вскоре и случилось со мной, и это был не сон, а самая жизненная правда. Такое странное было время, что я, с одной стороны, человек, выключенный из общего потока жизни, уцепившийся за край громадной вращающейся сферы, чтобы не оторваться, не провалиться в бездну, с другой — оказалась вечной для всех времен Золушкой, не ведающей, что сказочный поворот судьбы ожидает ее через мгновенье. Каким-то непонятным образом все вокруг именно так и происходило, и ты на самом деле не знал, где окажешься завтра, то ли в тюрьме, то ли в чужом прекрасном дворце.

Окончилась тяжба МОНО с Центроэваком за особняк № 43-а по Б. Никитской, и он был передан мне под детский дом. Зима тоже кончалась. Солнце шло на лето. Снег в тот год лежал на улицах громадными сугробами и даже с крыш редко где убирался. Пока мрачный молодой человек в полувоенной форме, назвавшийся комендантом, возился с заржавевшим и разбухшим замком, время от времени поглядывая на меня с недоверием, я любовалась золотой капелью, падавшей с крыши этого большого двухэтажного особняка. Дом стоял необитаемым всю зиму и смотрел на меня огромными зеркальными окнами без переплетов, холодно и безразлично. Хозяин его, крупный промышленник и министр Временного правительства Коновалов, бежал за границу. Дом, казалось, неохотно впускал новых хозяев: замок поддавался с трудом.

На дворе, окруженном высокой ажурной решеткой, сохранился ряд каштановых деревьев: их не решились почему-то срубить замерзавшие вот уже четвертую зиму москвичи. Как они

будут цвести, эти каштаны, перед нашим домом?

Наконец дверь подалась. Тамбур, еще одна стеклянная дверь, несколько широких ступеней вверх — и мы в вестибюле. Оттуда идет широкая, в два пролета лестница, ведущая на верхний этаж. Посредине вестибюля на фоне зеркальной стены нас встречает босоногая мраморная девушка-пастушка, сидящая в спокойной задумчивости на белом мраморном пне. Она беззаботно пересидела здесь своих бывших хозяев, теперь она приветливо встречает меня, нищую и бездомную, которая скоро приведет сюда в этот дворец кучку таких же бездомных детей. Разве это не сказка, не сон?

Дом был проморожен, как склеп, но по южной стороне уже начинал согреваться. Через широкие окна лились теплые лучи, они отражались в огромных, вздымавшихся до потолка зеркалах зала, играли в хрусталях люстр. Эта зала и примыкавшая к ней вторая парадная гостиная были завешаны во всю вышину суровыми полотнищами — чехлами. Я приподняла одно из них и ахнула: стены были обиты белым шелком. Приподняла в гостиной — шелковые стены там были светло-желтые, цвета солнечного луча. Потом я поглядела на потолок — там ползли, растекаясь, зловещие пятна. Еще немного — и по шелковым стенам потекут потоки воды.

— Что делать? — спросила я коменданта.

— Чистить снег! — ответил он и пожал плечами.

«Как-то ты справишься с этим?» — говорила вся его фигура.

— Будем чистить, — сказала я с беззаботным видом, — несите лопаты! — И подумала: «Сейчас он мне ответит, что у него нет лопат — и все пропало».

Это было решающее мгновение — все зависело от колебания невидимых нравственных весов… И какое это было счастье! я неведомо как почуяла, что моя чаша перетянула: комендант молча повернулся и пошел за лопатами.

Комендант приносит лопаты, мы лезем по пожарной лестнице на крышу и до темноты скидываем снег. К концу работы мы оба уже знали: те весы для доверия и согласного действия нам больше не нужны. Так были спасены шелковые стены моей «Школы радости», которые до сих пор мне иногда видятся во сне.

От усталости и голода я валилась с ног. Нечего было и думать о возвращении в Марьину Рощу. Комендант дружески предложил переночевать у него, рядом, в теплом флигеле.

— Нет, — ответила я, — в южных комнатах уже не холодно. И я так устала, что ничего не замечу. Заприте меня на ключ, а утром выпустите: я сама не поверну ключ.

Комендант пожал плечами теперь уже обиженно, но мое

распоряжение выполнил в точности.

Удивительная и не похожая ни на какую другую в жизни была для меня эта ночь. Стояло полнолуние. Свет заливал призрачными прямоугольниками блестящий паркет, отражался в зеркальных стенах, скользил по черному лаку рояля. Я подняла крышку, дотронулась до клавишей. Звуки пронеслись по пустому зданию и печально замерли в нижнем этаже. Все пережитое возникло перед сознанием в неприкрытой правде и навалилось на сердце болью одиночества. Мне на мгновение стало страшно. Я опустила крышку рояля, стараясь не разбудить больше ни одного звука, и бесшумно, на носках спустилась в вестибюль. Мне казалось, что воздух вокруг наполнен призраками прошлого…

Как призрак, сидела по-прежнему в вестибюле мраморная девушка. Она была погружена в светлую задумчивость, полную удивительного покоя. Мрамор ее, твердый и холодный на дневном свету, отчего-то в лунных лучах потеплел. И странно, в присутствии мраморной девушки страх мой прошел так же внезапно, как и повеял только что наверху при звуках рояля: я теперь была не одна. Я погладила девушку по склоненной головке. Кажется, я не испугалась бы даже, если бы она поднялась и желтоватый мрамор замелькал в сумраке комнат… К счастью, этого не случилось. Теперь я решила медленно обойти свои владения. Двери комнат открывались от легкого прикосновения руки. Так было во всех комнатах, кроме одной. «Наверное, хозяева увезли с собою ключ, а ключ этот с секретом», — подумала я.

Наконец я вышла в строгую комнату нижнего этажа, отделанную в средневековом стиле. Это была столовая. Стены ее были обиты дубовыми панелями и плетеным бархатом. Таким же бархатом были покрыты резные скамьи, тянувшиеся по стенам. Я собрала эти скатерти и поднялась со своей ношей в гостиную. Там, на желтом шелковом диване, под бархатными скатертями я и провела остаток ночи{88}.

Спала ли я в ту ночь, зарывшись в коноваловские скатерти? Может быть, забывалась минутами. К тому же сказка еще для меня не кончилась: как только я улеглась и наступила тишина — послышались легкие дробные звуки по паркету. Я прислушалась, открыла глаза… в лунном свете по полу скользили мыши. Их было много. Они ничего не боялись, смотрели на меня блестящими бусинами глаз, легко цеплялись коготками за ткань покрывавшего меня бархата, карабкались, перебегали через меня. Все случившееся за последние сутки было так похоже на сказку, что чувство страха или брезгливости у меня не возникало, и я смотрела на мышей как на блики луны на паркете, как на блеск

ее лучей в хрустале люстр. Надо сказать, что мыши долго жили с нами уже и при детях, мы к ним привыкли. Потом куда-то они сами ушли.

Под утро я, вероятно, заснула, так как помню момент пробуждения: первой мыслью было, что я никак не могу достать в МОНО костюмов для мальчиков. Я открываю глаза: передо мной шелковая стена, завешанная полотняными чехлами. И тут я соображаю: раньше этот материал назывался коломянкой, из него шили гимназические блузы. Мы снимем чехлы и сошьем костюмы, а шелковые стены без чехлов будут еще прекраснее! С этого дня у нас закипела работа. Работники ГПУ, занятые борьбой с беспризорностью, привезли мне несколько машин конфискованных вещей: кровати, одежду, посуду, продукты — все оформленное мною ордерами в течение зимы. Эти же люди открыли отмычками таинственную запертую комнату. Чего только мы там не увидели! Меха, хрусталь, ковры, бронза… такое драгоценное и такое нам ненужное. Все эти сокровища увезли от нас обратными рейсами те же грузовики. Еще в этой комнате было много продуктов — их отдали нам. Так открылся секрет мышиного царства в особняке Коновалова.

На тех же санках, на которых Ольга Александровна привозила в Марьину Рощу овес, мы с мамой перевезли на Никитскую самое необходимое из своих вещей и снова расстались с Александром Николаевичем. Он уже тяготился непривычной «семейной» жизнью и не был опечален нашим отъездом. К тому же ему явно импонировал мой особняк и мое положение «организатора».

Нехитрым делом оказалась эта «организация». Скажем, хотя бы подбор служащих. Мне казалось важным только одно: создать настроение семьи, а не учреждения, и чтоб работали по своей охоте, а не по обязанности. Это мне легко удалось. Наталия Аркадьевна, умевшая шить, стала кастеляншей. Завхозом я пригласила встретившуюся случайно на улице, старинную знакомую нашей семьи Елену Константиновну Миллер — с начала германской войны сестру милосердия. Это была женщина с характером и такими твердыми правилами, что прямо просилась на диккенсовские страницы. Ольга Александровна была директором и главным педагогом. Еще было несколько приходящих учителей и воспитателей, среди них и Александр Васильевич Лебедев. Низший персонал дома подобрался сам, без всяких с моей стороны усилий, из живших по соседству голодных женщин, обрадованных готовым питаньем, главным образом — из бывших слуг Коновалова.

Наступил момент главного дела — подбора детей:

брошенные и бездомные, они свозились в приемники, о которых я уже слыхала от Раи. Самый крупный был в Подкопаевском переулке возле Хитрова рынка. Он походил на грязный и шумный вокзал. Мне выложили на стол груду анкет. Из приличия я их полистала. Я сразу поняла, что отбирать детей надо каким-то иным путем. И я стала определять на глаз, по первому впечатлению. Так я насчитала пятьдесят девочек и мальчиков, не справляясь об их возрасте, социальном происхождении, здоровье, и ни в одном из них я не ошиблась: в будущем среди них не оказалось ни одного чуждого нашему общему делу, ни одного неблагодарного или даже равнодушного ребенка, хотя были среди них и трудные, и порочные дети. Если я потеряла после их следы — в этом только моя вина.

Надо было сохранить в себе самой много детского, чтобы различать отдельные лица в этом хаосе непрестанно двигающегося, орущего, свистящего, ругающегося, съезжающего по перилам лестниц человеческого месива, вдобавок голодного, немытого, раздетого и, главное, недоверчивого. Вспоминаю одну сцену: из толпы выступает бледный мальчик с наглым выражением глаз, хотя я замечаю в этих глазах напряженное ожидание, может быть, даже и надежду. Какого чуда он ждет от меня?

— Филя Буров, одиннадцати лет, родителей не называет, — шепчет мне на ухо дежурный воспитатель.

— Пойдешь ко мне, Филя? — спрашиваю я, кладя руку на костистое плечо ребенка.

— А это видала? — вопросом на вопрос отвечает Филя и вынимает из кармана спичечный коробок. Вокруг раздаются смешки. Филя смотрит мне в глаза, я креплюсь, чтоб не отвести своих, и руки с плеча не снимаю. Секунда борьбы — и Филя прячет коробок в карман. Однако я не уверена, что это моя победа.

— Что у тебя там? — спрашиваю я, как бы не слыша озорного смеха обступивших мальчишек. Филя молчит.

— Он вшей собирает! — выкрикивает из толпы чей-то голосок.

— Как повезете, он их на вас и повыпускает! — разъясняет кто-то из-за спины товарищей. Смешки усиливаются.

— Как хочешь, — говорю я с искренним огорчением и не тружусь его скрыть от ребят: пусть думают обо мне, что хотят, я не буду с ними лукавить. — Я тебя не неволю. — Мне грустно потерять Филю.

Что-то дрогнуло в глазах мальчика. Они опускаются, снова поднимаются: это идет в нем тайная борьба.

— Я тебе чтой-то скажу, — говорит он, и прелестная просительная улыбка освещает серое личико.

Я обнимаю его и говорю обступившим ребятам:

— У нас секретный разговор — отступите! — Они послушно отступают, с любопытством поглядывая в нашу сторону.

— Я к тебе пойду, — доверительно, горячим шепотом обращается ко мне Филя, — если ты Юшку возьмешь.

— Кто это Юшка?

— Брат у меня тут, нас вместе в один Дом не хотят брать, маленький он. Я без него не пойду! — он хмурит брови и выразительно похлопывает себя по карману, где лежит «тот» коробок.

— Филя, — говорю я, — непременно возьмем с собой и Юшку.

— Дай слово! — говорит Филя.

Я ликую: у маленького беспризорника сохранилась вера в слово!

В детском доме Филя Буров стал нашим главным помощником во всех хозяйственных «мужских» делах. Он проявил недюжинный организаторский талант. Через много лет он нашел меня, он был уже взрослым человеком. Зачем он приходил ко мне? Я уже плохо помню подробности нашего свиданья. Может быть, за советом, может быть, из благодарности за прошлое… Помню другое — как сама я была в то время не устроена душевно, как сама нуждалась в помощи и совете… Больше он ко мне не пришел. Может быть, ты погиб на войне, а может быть, еще и существуешь? Где ты, Филя Буров?{89}

Я подобрала детей, не считаясь с разницей их возраста, и это была моя деловая ошибка, так как она же и создала недолговечность нашего дома: детей надо было учить по школьным программам и, значит, разделить по возрастным группам в разные интернаты. Но иначе поступить я тогда не могла, что видно хотя бы на примере Фили и Юши Буровых. Возможно, на том переходном этапе жизни детей это было лучшее, что я могла для них сделать. Я думала о спасении самых несчастных, и цель моя была достигнута: их вымыли в ваннах из розового мрамора; их накормили в роскошной столовой; их провели, изумленных, по великолепным залам и уложили в чистые постели; их ни о чем не спрашивали, у них ничего не требовали, их ни в чем не упрекали. Они сразу поверили в нас и в свой дом. Очень немного времени потребовалось, чтобы наладить жизнь и чтобы всем стало в доме хорошо. И взрослые, и дети — мы все доверяли друг другу, и доверие ни разу никого из нас не подвело. Несколько детей из Узкого, которых мне удалось

перевести во вновь открытый детский дом, явились на первых порах драгоценными помощниками: они сразу задали нашей жизни верный тон. Ольга Александровна с головой ушла в школьное дело: нелегко было ей приладить свою педагогику сразу применительно к детям от 4 до 14 лет.

А я, как жила теперь я? У меня дел было по горло: попробуйте завести себе семейку из 50 человек, не считая взрослых. Днем я обегала учреждения, чтоб достать для них все необходимое, но, как только я освобождалась, дети сбегались ко мне, и около рояля у нас начинались занятия, не предусмотренные никакими программами. Мы пели, читали хором стихи, иногда под музыку. Мы двигались под музыку, и это движение часто переходило в импровизированный танец. Мы слушали музыку и учились под музыку думать и молчать. Дети были первыми судьями того, что я разучивала и исполняла в Институте Слова.

Вечера я проводила теперь в Институте. Но когда наш дом на ночь затихал и все расходились по спальням, я шла наверх, в парадную половину, в залы, где провела свою первую в этом доме ночь и где продолжала с тех пор спать на желтом шелковом диване. Здесь шла моя личная, никому не известная жизнь. Никто не подозревал, да и сама я не догадывалась о том, что, дожив до осуществления своего замысла, я уже переживала освобождение от него: оно стояло уже позади, за плечами. Я наслаждалась теперь передышкой перед новым, неизвестным, ожидающим меня испытанием сил. Я наслаждалась простором прекрасных комнат, вольным ночным одиночеством. Я знала, что такое в жизни моей больше не повторится. Иногда было жалко тратить ночь на сон. Тогда я вставала — мне как-то в те дни посчастливилось побывать на выступлении удивительной Айседоры Дункан — и, не суди меня строго, читатель: перед тем как заснуть, по ночам, среди спящих зеркальных и шелковых стен я танцевала.

Каждый день, возвращаясь домой, я читаю у ворот на жалкой жестяной вывеске: «Экспериментальный детский дом „Бодрая жизнь“». Разве об этом я мечтала, думая о «Школе радости»? Пусть не совсем об этом, но в этом доме живут дети, жизнь и души которых теперь спасены от гибели и унижения. Это — законченное и прекрасное дело, а не какая-то выдумка, вроде «Школы радости»! Да, но я уже не могла вложить в него ничего нового от себя, потому что я была не педагог, а сама почти ребенок, и думала я сейчас не о детях, а о себе: меня подавлял груз собственной души и неразрешенных вопросов. Сама для себя я была сейчас полнейшей неопределенностью. Вот почему все

вечера я проводила на лекциях, собраниях, диспутах, концертах, какие только ни давались, ни читались, ни слушались в те дни в Москве. Повсюду меня сопровождал Александр Васильевич.

В Институте Слова собрались люди всех возрастов, профессий и положений. В этом смысле он чем-то напоминал Подкопаевский приемник. Не было в Институте двух схожих людей, ставивших себе одинаковые цели. Наш Институт не являлся исключением в те переходные, смутные и все же прекрасные своей духовной свободой годы. Русские интеллигенты, те, которые были далеки от политики, и их дети не знали, как пережить им это время и свою растерянность в жизни, где найти честное применение своим силам. Институт Слова дал обществу сколько-то «деловых людей»; и посейчас они работают, кто артистом, кто педагогом, кто литератором.

Ближе всех мы с Александром Васильевичем сошлись с двумя студентами. Первый из них был Николай Николаевич Вознесенский, инженер-химик, профессор Менделеевского института, имевший много научных изобретений и патентов на них и на родине, и за границей. Он возглавлял красильную лабораторию Трехгорной мануфактуры. Это был человек с европейским образованием, манерами и привычками. Он резко выделялся среди нашей молодой, разношерстной толпы: наружность интеллигента чеховских лет, правильные черты, эспаньолка, густые темные волосы с легкой проседью на висках. Был он почти вдвое старше меня, но всегда бодрый, подтянутый, по-европейски точный — ни одной минуты, ни одного слова впустую. По взглядам он был законченный позитивист. Впрочем, он «либерально» щадил любые чуждые ему философские убеждения, хотя я запомнила его ироническое замечание, что в церкви следовало дезинфицировать иконы при общем к ним прикладывании, а в обществе — избегать рукопожатий. При наших летних загородных прогулках Николай Николаевич обычно привозил на всю нашу компанию заранее приготовленные бутерброды, аккуратно завернутые каждый в отдельную бумажку. В Институт он поступил для усовершенствования своих лекторских приемов и, конечно, чтоб скоротать гражданское безвременье.

Николай Николаевич умел работать и успевать сразу в нескольких областях. Так, одной из его многочисленных специальностей была гипнология, которой он интересовался со строго научных позиций и, не имея медицинского образования, состоял членом Московского общества врачей-гипнологов. Все без исключения непонятные явления в психической жизни человека он объяснял внушением или самовнушением.

К студентам, своим младшим товарищам он относился с ласковым и тщательно скрываемым превосходством, на что имел достаточные основания. Мы платили ему доверием и уважением. Мы догадывались, что за внешней холодноватой сдержанностью скрывалась горячая привязанность к матери, с которой он никогда в жизни не расставался. Из-за этой привязанности он, вероятно, и не был до сих пор женат. Никого, кроме матери, он по существу еще в жизни не любил. По этой же причине его устраивала, как я узнала об этом впоследствии, многолетняя связь с женщиной, к которой он имел вполне умеренное и потому не причинявшее ему никаких излишних хлопот чувство. Женщина эта умерла незадолго перед тем, как все мы встретились в Институте Слова.

Николай Николаевич был уравновешен, держался всегда скромно, но с достоинством и был совершенно до конца уверен в правоте своих взглядов и поступков. Это была завидная и очень мужская уверенность. Однако она не отталкивала, настолько присуще было ему чувство меры и особая порядочность русского интеллигента. Николай Николаевич был и по-настоящему добр, он умел незаметно и дельно помогать в беде там, где мы тратили много слов и мало умели делать.

Придется здесь еще упомянуть и о том, что его безнадежно и много лет уже любила работавшая в его подчинении в той же заводской лаборатории художница Людмила Владимировна Маяковская, сестра поэта.

Трудно придумать больший контраст, чем тот, который существовал между Вознесенским и вторым нашим товарищем, имени которого я не могу сейчас вспомнить. NN был молодым офицером морского штаба, помещавшегося на задах Института, и, может быть, это последнее обстоятельство было ближайшей причиной того, почему он попал в число наших студентов. Кроме того, он попал туда, я думаю, из-за общительности и «светскости», привитых ему воспитанием в лицее. Молодому человеку надо было переждать это трудное время и надо было как можно веселее это время пережить… Институт был для того подходящим местом, хотя бы потому, что там было много хорошеньких девушек.

NN был не только лицеист — он был еще сыном весьма достойного священника, известного по Москве своей духовной направленностью. Из-за своей отрешенности и, скажем, наивности в вопросах мирской жизни батюшка, вероятно, и попал впросак: уступив просьбам своей матушки, отдал единственного сына в лицей. Так, по крайней мере, рассказывал нам NN. Лицеист из поповичей слишком откровенно обнаруживал свое

пристрастие к светской жизни, слишком цепко держался за нее, был несколько в этом смешон, и нам было иногда за него безотчетно неловко. Впрочем, эта черта при молодости и добродушии не нарушала приятности его живого и неглубокого характера. Больше, пожалуй, и нечего прибавить к его портрету. Внешность, украшенная формой морского офицера, была прилично заурядной. Танцор на всех вечерах, затейник в любых веселых и всем приятных начинаниях, NN почему-то, однако, тянулся к нам. Такие все разные, мы четверо были неразлучны и сидели на лекциях рядом, словно воробьи на телеграфной проволоке.

Самым серьезным и менее всех посещаемым был ораторский факультет, о котором мне говорил С. М. Волконский. В конце зимы на нем отобралось всего тринадцать человек постоянных слушателей, среди которых я была единственной женщиной. Лекторов было тоже, если не изменяет память, не менее тринадцати. Не знаю, получали ли какую-нибудь плату наши учителя, но хорошо помню, что двум нуждавшимся студентам они выдавали стипендию из собственных средств. Для наших профессоров ораторский факультет был начинанием идейным: они пытались спасти русскую философскую мысль. Вместе с большей частью русского народа они верили, что время диктатуры большевиков для России переходное.

А самым ярким в институте человеком был Иван Александрович Ильин. Вдохновенный оратор, он сочетал оригинальность и четкость мысли со страстностью ее выражения. В курсе «Эстетика» Ильин впервые раскрыл передо мною увлекательные возможности диалектики. Если до того мир мысли светился для меня одним и тем же, то убывающим, то возрастающим светом, то теперь этот свет заиграл многими и противоположными оттенками. Среди стремительного и блестящего потока слов, острых, емких, сам Ильин, подвижный, высокий, походил на белого Мефистофеля: светлые глаза горели голубым огнем, светлые волосы отливали рыжеватым блеском. Речь его зажигала слушателей.

Вторым курсом, «Миросозерцание и характер», Ильин открывал нам выход из мрака — знакомил с анализом духовной жизни человека, вылившимся у подвижников древнего христианства в четкую систему, называемую аскетикой. Уже в те годы пятитомное собрание их творений «Добротолюбие» стало библиографической редкостью, и в поисках этих книг я отправилась однажды в Лавку писателей, помещавшуюся на углу все той же Б. Никитской улицы и Тверского бульвара. Существовала она, по-видимому, на кооперативных началах, и

торговали в ней сами писатели.

Покупатели неторопливо перебирали книги, выложенные им для свободного выбора на прилавок и выставленные на полках. Два продавца, не обращая на покупателей внимания, вели между собой разговор. Один из них поразил меня своей наружностью. В лице его душевная мягкость соединялась с мыслительной напряженностью, переходящей, казалось, уже в чрезмерность, в болезненность. Казалось так потому, что время от времени лицо это прорезывал и уродливо искажал резкий нервный тик, сопровождавшийся подергиванием руки. Конвульсивное движение прерывало на какие-то секунды речь и могло бы вызвать у слушателя даже отталкивание, если бы не подкупающая мягкость и спокойствие на лице этого человека.

Передо мной был известный уже в то время русской читающей публике, а теперь всемирно известный философ-публицист Николай Александрович Бердяев. Он был, как и Сергей Николаевич Булгаков, некогда марксистом, прошел затем длинный путь, пока, наконец, не стал идеалистом и религиозным мыслителем. Как мы убедились впоследствии, болезнь не помешала ему быть прекрасным лектором и до глубокой старости сохранить не изменявшую ему работоспособность.

Тогда я не знала еще в лицо Бердяева. Я подождала, пока кончится спор, занимавший двух продавцов, и спросила у Бердяева, нет ли в лавке «Добротолюбия». Бердяев глубоко вгляделся в меня темными внимательными глазами, вышел из-за прилавка, стал расспрашивать, и я рассказала, почему ищу эти книги.

Бердяев нашел для меня «Добротолюбие», и мы вместе донесли все пять тяжелых томов до моего детского дома: ему было, оказывается, по дороге. Он шел на Поварскую, где в доме 52, особняке графов Олсуфьевых, уже покинутом хозяевами, он читал всем желающим и, конечно, безвозмездно свой курс философии религии. Туда пригласил он и меня.

В определенные дни в послеслужебное время по неосвещенной лестнице тянулась на верхний этаж здания молчаливая цепочка незнакомых между собой людей всех возрастов. Они усаживались вокруг длинного стола в холодном зале, посреди стола горела единственная свеча, приносимая по очереди кем-либо из нас. Слушали, некоторые записывали. Молча расходились. Так прошла зима, но ни с кем из соседей по столу я за всю зиму так и не познакомилась. Все мы встретились безымянные, в полумраке, и расстались, как тени. Теперь стерлись в памяти и лица, но слушать было захватывающе интересно.

Р. С. Ф. С. Р.

Н. К. П.

ГЛАВПРОФОБР

ИНСТИТУТ СЛОВА.

№ 563

Августа 20 дня 1923 г.

МОСКВА.

Свидетельство.

Предъявительница сего гражданка Дагмара Дмитриевна Лидарева, родившаяся в 1899 году Сентября месяца 29 дня по выдержании вступительных испытаний в Сентябре месяце 1920 года, была принята в число действительных студентов Декламационного Отделения ИНСТИТУТА СЛОВА.

При прохождении трех установленных курсов ею были прослушаны следующие предметы: Техника речи (дыхание, голос, дикция)—**В. Н. Серебряков и М. С. Чуйко**; Музыка речи (логика и мелодия речи)—**С. М. Волконский и В. Н. Серебряков**; Введение в науку о языке—**Д. Н. Ушаков**; Анатомия, физиология и гигиена дыхательных и голосовых органов—**Ф. Ф. Заседателев**; Стиховедение **С. В. Шервинский**; Методика постановки дыхания и голоса—**О. Э. Озаровская**; Мимика и жест по системе Дельсарта—**С. М. Волконский и А. Н. Степной**; Исторический материализм, История Западной литературы—**П. С. Коган**; История русской литературы—**Ю. И. Айхенвальд**; Политграмота—**Я. М. Окунев**; Лирика XIX века—**Б. А. Грифцов**; Магия слова (анализ художественных произведений)—**И. Д. Ермаков**; Психология—**П. С. Попов**; Введение в эстетику—**И. А. Ильин**; Введение в изучение театра—**В. А. Филиппов и В. Г. Сахновский**; Музыкальный ритм в связи с ритмом слова—**И. Г. Званский**; Музыкальная грамота—**А. Ф. Титов**;

ПРАКТИЧЕСКИ ПРОРАБОТАНЫ:

Дыхание, голос, дикция—по классу **М. С. Чуйко**; Орфоэпия (правильность произношения)—по классу **Д. Н. Ушакова**; Логика и мелодия речи—по классу **С. М. Волконского и В. Н. Сережникова**; Коллективная декламация—по классу **В. Н. Сережникова**; Стиховедение—по классу **Ф. И. Коган**; Драма—по классу **О. В. Рахмановой**; Рассказ—по классу **В. Ф. Лебедева**; Методика постановки дыхания и голоса, Общая лирика и эпос. Русская народная поэзия (былина, песня, сказка), Лирика Пушкина—по классу **О. Э. Озаровской**; Стиль—по классу **Е. В. Гольдингер**; Мимодрама—по классу **В. А. Филиппова**; Мимика и жест по системе Дельсарта—по классу **А. Н. Степного**; Балетная гимнастика—по классу **К. А. Бек**; Хоровое пение—по классу **А. Ф. Титова**.

По сдаче установленных зачетов и по выдержании в конце 1922-23 учебного года выпускных испытаний постановлением **Президиума Института** гражданка Любожо признана окончившим **Институт Слова** и является кандидатом на квалификацию **Художника Устного Слова**.

Члены Президиума А.К.Шнейдер.

Заведующий Институтом Слова

Заведующий Декламационным Залом

Профессора

и Преподаватели

Секретарь Института

Председатель Главпрофобра

разрушались перегородки. По аналогии, которая здесь вполне точна, между нами таяли и разрушались ледяные стены, стоящие обычно между всеми людьми.

Мне трудно и даже невозможно через несколько десятилетий восстановить в памяти этот разговор, который был в моей жизни одним из самых сильных переживаний, хотя он и проходил наполовину в молчании. Разговор шел отрывочными, как междометия, высказываниями. Для третьего человека он вряд ли был бы понятен, но мы понимали друг друга с полуслова. Смотря в глаза не отрываясь, мы подхватывали мысль один у другого, как бы поднимая ее совместными усилиями все выше. Разговор этот остался в памяти, как молния, прорезывающая насквозь все поле внимания — все небо души. Это было состояние полного мысленного взаимопроникновения, и по силе, вернее, по быстроте действия, мне трудно вспомнить подобное за всю мою долгую жизнь.

Трудно вспомнить и другое: сколько это продолжалось. Я очнулась, когда Ильин сказал мне будничным голосом, прерывая текущий между нами мысленный ток:

— Я буду готовить вас своим преемником по кафедре в Университет. Считайте себя с этого дня моим личным учеником.

Видимо, Ильин был вполне уверен, что русская классическая философия и Московский университет возродятся. Не знаю, насколько исключительно было его мне предложение, вернее всего, не мне одной сказал он тогда такие обольстительные слова, чтобы среди многих уловить себе хотя бы одного достойного продолжателя. Но я поверила ему до конца и переживала счастье: наконец-то найдено дело взамен утомительной мечты, найден путь, и мне протянута сильная рука.

Это счастье пришло ко мне весной, а уже летом оно было разрушено: мы узнали, что ряд инакомыслящих культурных деятелей прежней России распоряжением правительства вежливо, безо всяких внешних репрессий, высылается за границу, даже с их библиотеками. В числе высылаемых, кроме Ильина и Бердяева, были Франк, Степун, Айхенвальд, Булгаков и другие, имена которых я припомнить сейчас не могу. Добровольно уехали к тому времени из России Рахманинов, Метнер, Шаляпин, Рерих, Мережковский, Бунин, Ремизов… Медленно дошло до сознания, какой новый обвал совершился в моей жизни и в жизни России и что мне придется начинать вновь свои поиски желанного дела. Упрямый оптимизм наперекор жизненной очевидности закрывал глаза на действительность и заставлял себя убеждать, что ничего непоправимого еще не случилось. Вернее всего, это был здоровый инстинкт самозащиты.

Я пошла к Ивану Александровичу Ильину в первый и последний раз на дом, проститься. В квартире шли спешные сборы, и видно было по беспорядку в оставляемом доме, что люди не надеялись сюда вернуться. Это были похороны живыми людьми самих себя. Мы присели с Иваном Александровичем на край заколоченного ящика среди хаоса увозимых и навсегда бросаемых в доме вещей. Ильин был подавлен. Если для меня оставалась еще какая-то надежда, питаемая хотя бы даже родной землей, на которой я оставалась жить, самой моей молодостью, то для Ильина не то что потухла надежда — казалось, сгорала и родина, и его личная вместе с нею судьба. И сам он, такой яркий в представлении всех нас, его слушателей, теперь сидел передо мной ровно-бесцветный, словно засыпанный пеплом пожара.

— Что я могу вам оставить как завещание? — сказал он мне. — Все то же «Добротолюбие». Я не вижу никакого света для вас, остающихся, кроме внутреннего подвига веры.

— А из людей? — спросила я.

— Найдите в Сергиеве профессора патристики Ивана Васильевича Попова{90} и учитесь у него: это живой клад никому не известных еще среди нашей интеллигенции сокровищ. Но какая их ожидает судьба? Какая судьба ожидает вас? — он безнадежно махнул рукой, и мы простились. Я упрямо не хотела понимать, что навсегда{91}.

Такова была судьба наших учителей. А наша судьба? Глубокой осенью 1922 года иду я по темному Леонтьевскому переулку. Жестоко стегает холодный дождь. Одиноко и смутно на душе. И тянется в душе в ритм шагу тоскливая музыка. Из нее сбиваются строки, которые я, придя домой, записываю. Я сохранила их: они — искренние свидетели душевного состояния тех дней.

КОШМАР (АПОКАЛИПСИС)

Сквозь безмерный ужас земли,
обугленной в последнем страшном пламени,
сквозь стоны, окутавшие ее, как пожарные дымы,
тяжко и душно,
я, последний, еще живой,
взываю к Тебе,
в расплавленное земными отблесками небо:
— Приди, Господи!
В глухом безумье

еще несется земля по знакомому пути
в Твою бесконечность…
Останови ее!
Странно и жутко
на черном комке среди дымящихся развалин
упрямо тянутся к Тебе
чьи-то обугленные руки…
Разве Ты не видишь,
что это воздеты к Тебе
руки Твоего последнего человека?
О, если и они опустятся!
— Умру я, Твой последний человек.
И никогда, ни на одной из звезд
Твоего голубого мира
не призовется имя Твое с такой надеждой и любовью,
как на нашей,
запекшейся в крови,
с выжженными глазами
земле.
Ты слышишь, это я, последний,
с земного пепелища
взываю к Тебе:
— Ведь и Ты умираешь со мною, о Господи!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
На пепелище

Мы продолжаем днем работать на обязательных службах ради хлеба. Вечерами собираемся, как и прежде, в Институт. Уже нет в Мерзляковском Вольной академии духовной культуры. Окончились по разным аудиториям города смелые диспуты людей различных убеждений. Ушел безвозвратно дух свободы, посетивший нас в первые послереволюционные годы. Правда, жизнь в Институте Слова продолжалась, но как бы по инерции, она делалась все более поверхностной и бедной. На ораторском факультете стало скучно, и мы с увлечением молодости занимались теперь на декламационном. Мы приобрели уже какое-то профессиональное умение и устраивали программные вечера силами своих студентов в различных московских аудиториях.

На вечере северного фольклора под руководством Ольги Эрастовны Озаровской я читаю заплачки, причитания и свадебные песни в древнем парчовом сарафане и кокошнике, вывезенных Озаровской с Беломорья. На вечере Достоевского под руководством артиста Малого театра Владимира Федоровича Лебедева играю Грушеньку в отрывках из романа. Это увлекательно, но я хорошо понимаю, что у меня нет актерского таланта: я не могу освободиться от себя на сцене, я слишком подавлена собой. Кроме того, искусство декламации мне кажется принижением самой поэзии, изменой ее сущности. Техника выразительного чтения, ее приемы меня отвращают. Строгая манера чтения стихов самими поэтами мне кажется благороднее и доходчивей. Так, говорят, читал Блок. Так читали Маяковский, Есенин, Клюев. Но чтоб так читать — не надо учиться декламации. Я стала хорошо читать и стихи и прозу, когда отбросила и забыла все, чему меня учили артисты и педагоги на декламационном отделении Института Слова.

Мы организовали однажды вечер Блока. Я читала на этом вечере свой ведущий текст. Студенты его иллюстрировали чтением стихов. Вечер повторялся в различных аудиториях. Присутствовавший на вечере директор одной из центральных московских школ предложил мне преподавать литературу в старших классах. Я снова стояла перед делом, которого инстинктивно искала, но терялась, не зная, как к нему приступить. Помню, как тупо я смотрела в школьные программы, принесенные директором и казавшиеся мне набором пустых слов. Я в них ничего не понимала и отказалась от предложения.

Вероятно, меня сбивало с пути овладения профессией убеждение в непрочности переживаемого времени. И правда, никто из окружавшей меня молодежи не помышлял в те дни о деле или карьере, необходимой в жизни.

У меня еще оставался мой детский дом. Но и там жизнь грозила мне новым обвалом. Нашу вольную семью в детском доме начинали уминать, обрезать, чтоб втиснуть в одинаковые и для всех заготовленные по одному шаблону программы и планы. К нам стали приходить контролеры, инспекторы — таков был порядок. Нам самим была ясна необходимость и неизбежность и программ и контроля, но инспекторы находили нашу работу образцовой. У меня сохранились их отзывы в журнале посещений. Сохранился и дневник нашей работы. Вот что писала я в докладе о детском доме «Бодрая жизнь», о целях его и плане их осуществления.

Начинается мой доклад следующим положением: «„Детский дом „Бодрая жизнь““ представляет собой коллектив маленьких и взрослых людей, собравшихся для создания большой общественной семьи, ставящей определенную задачу: воспитание в себе и окружающих обоснованного оптимистического миросозерцания, практическим результатом чего должен явиться здоровый физически и духовно, гармонически развитый, сильный духом и телом активный человек». Далее в докладе речь идет о человеке, «несущем свое внутреннее богатство самой большой семье, делу которого он служит — человечеству».

Я писала в докладе, что мысль об осуществлении подобного воспитательно-образовательного учреждения возникла еще в первый год революции и была выражена тогда в небольшом проекте под заглавием «Школа радости», что «школа радости» не есть новаторство и, возможно, такие школы были и существуют сейчас, не подозревая, что таково их название. Я писала: «Их сущность заключается в духе отношений всех членов одной семьи и не только друг ко другу, но и к каждому переживаемому мгновению жизни. Все коренится в этом духе и потому для создания такой школы не требуется никаких исключительных внешних условий — все самое обычное, только то, из чего, при наличии художественного вкуса, любви к красоте и чувстве гармонического, можно самим создавать прекрасное. Пусть ребенок научится быть сильным и изобретательным среди того, что его будет окружать и по выходе в жизнь за порогом школы. Надежный щит от разочарований и неудовлетворенности — уметь радоваться красивому сочетанию красок, цветку, яркости солнечного луча после пасмурных дней и углубленности серого дня после ликующих дней солнца. Видеть в капле отражение

миров — вот истинное счастье для человека.

Очень возможно, что впервые посетивший школу даже при внимательном взгляде на нее скажет:

— Что же тут нового? Это везде, во всех хорошо поставленных школах, где добросовестно относятся к делу.

— Да, — ответим мы, — у нас самое обыкновенное, но здесь любят именно это обыкновенное, и потому у нас обычное превращается в праздник.

Спросят: — В чем же ваш праздник? У вас тот же трудовой день. Сплошной же праздник вряд ли даст хорошую подготовку к жизни с ее трудностями.

— Наша сила в том, что на смену будничным праздникам мы несем праздничные будни, — ответим мы.

Вспоминаются какие-то новые американские школы, о которых слышали мы. Там дети живут в мраморном дворце над морем. Они бегают и играют в легких туниках, счастливые и нарядные, как маленькие боги. Только вряд ли они будут сильными и счастливыми, возвратившись в душные города с фабриками и каменными домами в виде ящиков. Нас же не ждет разочарование, потому что мы идем в жизнь, сдружившись с обыденным, когда оно озарено внутренним светом.

При современных условиях трудно всякое новое начинание. Оно требует огромных затрат технических средств, а в них такой недостаток. „Школа радости“ не требует ни обстановки, ни особого устройства. Конечно, хорошее помещение, хорошая местность — условия, которые она примет с благодарностью, но она не хочет выходить из общего ряда других школ. Ей нужно лишь одно: взаимопонимание, дух бодрости, солидарности, теплоты, дух, в котором сильнее и духовнее будут развиваться дети».

Сохранились и дневники, которые вели и мы, и дети нашего детского дома «Бодрая жизнь». Рукой Александра Васильевича написано: «К обоснованному оптимистическому миросозерцанию» и рукой Ольги Александровны Немчиновой: «Что дети рассказывают о себе».

Рассказ Паши Дмитриева. Говорили о собачке-лаечке, у которой не было дома. Она жила то на одном хуторе, то на другом. Всюду ее принимали, кормили и считали своей.

Паша: — Это я такая собака.

Мы: — Почему?

Паша: — Я ходил из одного дома в другой, к разным знакомым. Везде меня кормили: у-у-у, как я наедался! У меня был «ракитик» в животе: вот так выпирал. И хлеба, и мяса давали, и лепешек с творогом, и белую булку. Я тогда всегда сыт бывал. У

меня знакомых много. Я ночевал в собачьей будке. Один раз меня чуть собака не заела. Я залез в будку, а собака пришла, видит, кто-то лежит, зубы оскалила да как кинется на меня: все лицо исцарапала. Я как закричу! Очень испугался, а она тоже испугалась — выскочила из будки. Я будку перевернул дверкой вниз и ночь проспал хорошо.

А еще ночевал на паровозе в депо. Залез, где топят, на дрова, в уголок схоронился, тут меня дяденька увидал: «Что это там шевелится?» — и давай в меня доской совать, весь в синяках сделался. Я как завизжу — и с паровоза. Полез на другой, он меня и с этого с лесенки спустил, я и скатился в яму. Потом побежал за заборы, там солома была. Я в солому забился — отлично ночь проспал.

Я пять раз из Подкопаевского бегал. Один раз прибежал в комендантскую. Комендант стражнику сказал: «Вот тебе, Николай Саввич, сынок». Он меня взял. Я там читал и писал, а работать не заставляли. Стану я просить у тетеньки Маланьи: «Тетенька, я воды принесу». — «Не носи, тебе тяжело». Я шесть месяцев у них прожил, а потом нашли из Подкопаевского и назад увезли. Тетенька говорит: «Ты больше не бегай, а то бродяжкой будешь». Она даже заплакала, как я пошел.

Я слышал, вы меня из детского дома отсылать хотите. Ради Бога не отсылайте, а то скажут: я на месте жить не могу, и скажут: «ты не ходи к нам, и ничего не будут есть давать».

Рукой О. А. Немчиновой «Возвращение с прогулки».

«Сумерки весенние, голубые, ясные… Филя Буров говорит: Теперь в деревне на завалинках сидят. О чем говорят? Конечно о том, что хлеб дорог. А мы прошлый год об эту пору совсем хлеба не ели, все щавель варили. Юшка маленький, бывалыча, плачет. У нас прежде и лошадь, и корова, и овцы были, и как отец помер, мать все свои юбки продала — все хлеб покупала, а потом уж не на что стало покупать, все щавель варили.

— Отчего же она такая плохая-то стала?

— Она по людям ходила, подсобляла. А тут совсем есть стало нечего. Не знаю, как мы живы остались. Женатый брат уехал в Саратов, он нас к себе звал, да его в солдаты забрали. Мы теперь не знаем, где он, а он, наверно, думает, что мы все померли.

Мама приехала с Юшкой в Москву к крестной, а меня оставила у соседей. У нас одна одежа была. Потом она приехала за мной. Юшу в Москву довезли еле живого. Он от голоду весь распух. Тетка (мамина сестра) спервоначалу все ругала, что мы приехали, а потом перестала. Мать моя больная, она работать не может, только по дому тетке подсобляет».

Рукой А. В. Лебедева: «Апрель, 18-е. Дом оставляет после себя

все более приятное ощущение. Я не преувеличиваю, утверждая, что физиономии детей изменились, что они более теперь способны к произвольному вниманию, собранности, что они стали мягче и сердечнее. Ира сама рассказывает о своей болезни. Шура и Алеша приглашают на праздники. Толя временами охотно играет роль солидного и рассудительного человека. Запас их понятий растет у нас на глазах. В беседах они обнаруживают сведения, которых никогда не ожидаешь. А в некоторые моменты при чтении и рассказе обнаруживаешь сочувствие и не поверхностное отношение к познаваемому».

Дальше запись моей рукой: «Никогда не ожидала и не имела основания надеяться, что так сравнительно легко начнут прозревать мои дорогие слепые зверята.

При нашей неустроенности, отсутствии преданных идее людей, при ежедневной борьбе за каждую ложку и плошку, за нашу свободу и право, трудно при таких условиях давать, сколько хотим, и это ужасно! И вдруг неожиданные проблески — какая это живая награда и поддержка. Иногда руки опускаются: в центре какая-нибудь неприятность, недоверие; или дворник, кухарка не желают работать — плохой паек; не во что одеть ребятишек, нечем мыть, испортилась канализация, и не дают рабочих чинить. Устаешь смертельно или больна — и некому заменить; промелькнет в ребятах что-нибудь старое, „Подкопаевское“… кажется, игра не стоит свеч! Мечты невоплотимы… И вдруг!

Вчера разговор с Федей Кабановым. Отчаянный мальчуган, один из наших „бичей-подкопаевцев“. Грубый, с хищно выдающейся нижней челюстью и с запасом изысканных ругательств. Правда, 11 лет еще спасают. Итак, разговор…

Ребята старшие спрашивают меня:

— И чего это вы для нас работаете? Устраиваете дом? Жили бы одни — куда бы легче было.

Я удивлена постановкой вопроса и объясняю, вернее, пытаюсь объяснить, что мне так веселее, потому что самое скучное — для своей пользы жить, это значит, что никого не любишь, выходит, даже хуже животного… Страшно неуклюже, да и не мудрено… Легко ли, когда на тебя смотрят много пар глаз, начиная с семилетних прозрачных гляделок Фимы и кончая хитрыми, лживыми, себе на уме Алеши, и все ждут, что им скажут сейчас интересное, такое, что они никак, ну никак понять сами не могут!

Федя Кабанов, немного смущаясь:

— А я все-таки не понимаю, зачем любить других.

Я чувствую себя побежденной, готова себя побить за то, что понадеялась на свое проникновение в их душонки. Через

несколько минут Федя, долго и упорно что-то переваривавший, вдруг обращается ко мне очень беспокойно и настойчиво:

— Валерия Дмитриевна, а вот как это со мной бывает теперь, как я к вам из Подкопаевки попал, вот намедни я на дворе стоял перед трубой дождевой и будто один голос мне говорит тихо, словно шепчет: „Лезай на крышу“, а другой его перебивает: „Не надо, просили нас не лазать“. Вот я словно между двух голосов, а потом все-таки не полез. И вот тоже ночью — проснулся, встал и пошел в уборную, а после возвращаюсь, темно в коридоре, мне страшно стало. Я скорее в спальню вошел и зажег электричество. Вижу: Толя лежит и во сне скинул одеяло наземь. Думаю, поднять? или нет, не надо, пущай его. А после взял скоренько, поднял и накрыл Толю. Лег я — и сразу заснул, кре-е-пко! А всегда, когда ночью встану, так валяюсь, валяюсь, никак заснуть не могу!

30 апреля. Когда приучаешь детей к порядку и связанному с ним физическому труду, необходимо самой идти как хорошему полководцу впереди войска с оружием в руках (в данном случае — чаще всего с тряпкой). Совершенно иное отношение к труду, интерес, желание не отстать и ни тени мысли о том, что скучно, что устал или, что всего хуже, не хочется, может, зря делаю, а делать надо: заставляют!»

Рукой О. А. Немчиновой запись: «Что рассказывают дети о себе»: «Сегодня Маня Семенова была печальная. Вечером, обнимая меня, сказала: „Некому меня пожалеть, у меня нет мамы“. Тогда Маша Демина позвала со своей постели: „Подите, посидите со мной. У меня есть мама, я узнала об этом недавно: крестная приезжала и сказала, что она жива. Меня совсем маленькую сестра взяла в Москву. Я плакала и просилась к маме, тогда сестра сказала, что мама умерла, я поверила и скоро забыла. Мы сначала хорошо жили, а потом сестра стала очень нехорошая, била меня и выгоняла на улицу. К ней все дяденьки ходили. Она посылала меня продавать марлю, я по сто аршин в день спускала. Потом она стала делать самогонку, а меня посылала на улицу сторожить. Я так всю ночь простояла, ноги в легких ботинках закоченели, а один палец на руке до сих пор болит. Она мне есть не давала, меня чужие кормили. Она прогнала меня под самое Рождество. Потом опять было пустила. Ее за самогонку арестовали, на нее подруга доказала. Мы защитника за пятьсот тысяч наняли. Ей бы пять лет в тюрьме сидеть, а тут ее на два с половиной постановили на принудительные работы. Я от нее убежала. Нашла детский распределитель, а оттуда меня в Подкопаевку привезли. Мать моя в деревне живет. Есть ли у нее земля — не знаю. Нас всех 12

человек детей было. Я в деревню ни за что не поеду. Тут я человеком буду, а там что? Я в поле работать не умею“».

Рукой О. А. Немчиновой: «Дети заботятся о нас. Когда детям дали в первый раз молоко к кофе, они сейчас же заметили, что я пью без молока. Посыпались вопросы: почему? Объясняю, что молоко дано как усиленное питание только детям. „А разве вам не надо? Вы работаете больше нашего. Разве вы не люди?“ Дежурные подскочили ко мне с кастрюлькой кипяченого молока и ложкой: „Возьмите, возьмите, мы одни не будем пить!“ Весь стол принял участие, все просят, даже требуют: „Налейте ложку, мало одной, еще… Нам и так хватит“. Часто слышу: „Ольга Александровна, сядьте, вы устанете“, — несут табуретку. Вежливости их в Подкопаевке не учили, так что это — не слова, а чувство».

Рукой А. В. Лебедева: «12 мая 21 г. Вспоминаю свои ощущения в первые дни занятий с детьми. Прежде всего отсутствие уверенности в целесообразности собственных действий, что, впрочем, неизбежно при новом роде занятий. Почти непосильный для меня переход от убийственного языка понятий и языка взрослого человека с богатым сравнительно запасом слов к конкретно-образным выражениям в пределе довольно ограниченного количества слов. Но дело не только в словоупотреблении, но и в характере мышления, в степени убедительности тех или иных построений. Все это было лишь полуизвестно теоретически и совершенно неизвестно практически. У детей почти отсутствовало умение произвольно быть внимательными, а признаки утомления их внимания или исчезновения влияли на меня очень сильно и заставляли искать способов борьбы. Важнейший был из них, конечно, интерес к предмету и увлекательное его изложение, но он и труднейший. Я внушал также и то, что невнимательность вредит не только невнимательному, но и товарищам. Могу только отметить и более легкую возбудимость у детей внимания, и большую его продолжительность. Преподавание стало легче для меня. Но то, что есть, это далеко не то, чего хотелось бы, то есть есть место для страданий и теперь, но об этом в другой раз».

Рукой О. А. Немчиновой: «14 мая 21 г. Сейчас Юша меня удивил ужасно. Последнее время он стал задира, дразнит других, довел Витю до слез тем, что посмеялся над его отцом. Пришлось с ним серьезно поговорить. А он вдруг проникновенно и ясно говорит: „Спасибо вам, Ольга Александровна“. Что это значит? Ему только семь лет, и он казался мне таким маленьким, маленьким…»

Снова моя запись: «27 мая. Иногда мне приходит в голову,

что познавание мира не только в области, называемой искусством, но и называемой наукой, эмпирической наукой, есть по существу процесс эстетический.

Произведение искусства присвоило себе привилегию выявлять предмет через свою эстетическую материю путем нашей внутренней сосредоточенности на ней и проникновения через материю в ядро (предмет). Но и мир, явленный науке, как объект эмпирического познавания, есть та же эстетическая материя, и путь проникновения в „предмет“ природы, языка, числа, истории — совершенно тот же (по крайней мере вначале, до последующей логической систематизации) — через эстетическую материю. Знание только тогда будет для детей действительным приобретением, когда оно дано не в схеме (будь то ботаника, физика, геометрия или история), а когда оно дает в руки изучающему ариаднину нить внутреннего смысла (ядра).

Вот почему нужно говорить об общем, о главных течениях мысли, настроениях, не застревать в деталях (например, точной хронологии и т. п.), рисовать яркие картины, как это делает художник, который творит символ. Все в мире пронизано мировой идеей, только несовершенство человека мешает ему видеть это. И все должно быть, стать Символом. Изучая мир во времени и пространстве и объясняя это другим, человек должен выявить, дать почувствовать, что все вещи проникнуты Единым. Он должен творить символ, он должен быть художником.

Только если обучающийся почувствует это, приобретенное знание станет частью его самого. Если бы он и забыл впоследствии фактическую сторону, душа его уже обогатилась, получила более высокое развитие».

Рукой О. А. Немчиновой: «Кончился урок пенья. Дети бегут вверх по лестнице, громко смеются и поют, поют… Еще поют что-то, уже не то, что пели на уроке, свое, и танцуют, танцуют… Какое оживление, какая радость! Шумят ужасно, но как это хорошо, как прекрасно. И не утомляет нисколько, хотя уже вечер и я устала за день. Напротив, это оживляет, потому что это настоящее веселье — радость жизни.

Как отличается от той буйной суматохи, которая им тоже кажется весельем, когда они толкаются, валят друг друга на пол и вопят дикими голосами. Это веселье всегда заканчивается дракой, слезами, злобой.

Это музыка, хорошая музыка настроила их так гармонично. Побольше бы музыки, искусства, вообще „искусство облагораживает“ — эта фраза только кажется избитой, но когда входишь в самую гущу детской жизни, то чувствуешь, что это вовсе не „фраза“, а искусство необходимо в воспитании.

Ах, Алисы, Алисы, имя которым легион, сгиньте вы все с вашими кухнями, приспособленностью к жизни, находящие в искусстве только роскошь».

Одной из Алис, упоминаемых в последней записи Ольги Александровны, была давно, но неглубоко знакомая мне женщина, которую я по доверчивости пригласила в коллектив. Это была мать Лили Лавинской. Она не заслуживала этого доверия. «Алиса» не выпускала папиросу изо рта, говорила сиплым голосом, была острижена по-мужски, делала по утрам в трусиках гимнастику (ею тогда еще почти никто не занимался для здоровья) и считала нас отсталыми людьми. Она приехала из Питера, но у дочери ей было невозможно жить. И вот я ей дала приют в своем детском доме. С ее появлением начались интриги внутри нашей семьи, клеветнические доносы на сторону. Живой творческий дух в доме тускнел и угасал. Как только я почувствовала это — я отступилась. Это не было малодушие, а правильная, хотя и бессознательная оценка соотношения сил. Бороться было бесполезно. Все в доме пошло самотеком, и наша «Бодрая жизнь» растаяла, как на солнце снежный ком.

Детей надо было учить по школьным программам, разделив их для этого на две крупные возрастные группы по разным домам — и мы согласились. С точки зрения педагогики это было неизбежно. Кроме того, турецкое консульство претендует на наш особняк, предлагая взамен свой, более скромный на 1-й Мещанской, 27. И с этим приходилось согласиться: кому более подходят наши шелково-зеркальные стены, ванны из розового мрамора, двухсветное антре — иностранному посольству или вчерашним беспризорникам-детям?

Внешним поводом к окончательному разделу дома было происшествие с очередным инспектором, навестившим по доносу «Алисы» наши спальни вечером, когда дети уже улеглись на покой. Инспектор заметил у некоторых детей на груди крестики. Мы никогда не касались со своими воспитанниками вопросов религии, но детей учили молитве когда-то их матери. Мы не учили и не препятствовали. Внутренний такт подсказывал нам такое поведение. Я и сама тогда не молилась…

Инспектор был лишен этого такта: он сорвал крестик у одного мальчика, у другого снял и бросил на пол иконку с изголовья кровати. И тут на инспектора под возмущенные крики полетели со всех углов огромной спальни подушки. Инспектор бежал. Целой комиссией из МОНО было учинено официальное дознание. Оно ни к чему не привело. Но в доме воцарился чуждый дух нашей новой сотрудницы, жить в нем стало тоскливо.

Так душа одного человека была той брешью, через которую утекла вся вода.

Мы без спора уступили обстоятельствам. Детей разделили. Старшие, во главе с Ольгой Александровной, переселились по соседству в новое здание. Нас, служащих «Бодрой жизни», временно перевели в подвал нашего особняка, до обмена зданиями с турецким консульством. «Алиса» на этой операции мало выиграла — она вынуждена была переселиться к дочери. Все происходящее меня уже почти не задевало. Я жила теперь, как живут транзитные пассажиры на вокзале в ожидании поезда: когда он придет и в какую неведомую страну меня повезет, я не знала, но что он будет, этот поезд, я верила, я не сомневалась. Работать с Ольгой Александровной в ее новом доме я отказалась. Однако мне надо было зарабатывать себе и матери хлеб, и Александр Васильевич устроил меня на работу в Центросоюз, где сам работал по кооперации. Я попала инструктором на заочные кооперативные курсы. Это была сухая, почти канцелярская работа, но приходилось ее терпеть в ожидании своей судьбы.

Сколько за эти годы у нас с матерью было перемен, сколько раз мы начинали с нею строить свою жизнь сызнова! Теперь мы ее переносим в узкую подвальную комнатку, похожую на сундук, с одним окном почти на уровне земли. В ней еще не так давно жила коноваловская прислуга. «Почему бы и нам так не пожить?» — говорит мама. Переселяясь сюда из дворцовых покоев, она шутит, улыбка не сходит с ее лица. Впоследствии она будет нас часто поражать этой чертой, родившейся в ней после жестокого перенесенного горя. Лицо ее совсем еще молодое и всеми чертами прекрасное, в рамке седых волос — будто она сошла со старинного портрета. Когда в 1918 году мама оправилась от горя и болезни и вернулась к жизни, с ней произошла разительная перемена: она точно проснулась, и сама не переставала удивляться своему пробуждению; она с радостным любопытством приглядывалась к новой деятельности, обшей со всем широким миром жизни, о существовании которой раньше не подозревала. У нее обнаружился недюжинный ум, чуждый отвлеченности и ложной мечтательности, ум добродушный, окрашенный юмором, этот ум проснулся, и она с интересом и доверием осматривалась вокруг: она понимала, что нищим было ее прежнее семейное благополучие.

— Горько мне, что я тогда этого не понимала, а ему было тесно, душно, ему хотелось этой широты, когда он, шутя, говорил нам о сторожке лесника…

— Не вспоминай, — прошу я, — не береди душу. Подумай о другом: мы сейчас с тобой свободные, мы любим друг друга, и

нам ничего не страшно.

Я любуюсь мамой, когда она легко взбирается на стол, чтобы промыть запылившееся с улицы единственное окно нашей каморки. Голубые глаза ее доверчиво мне улыбаются. Я люблю ее. От горячего чувства слезы навертываются мне на глаза. Мне нетрудно их скрыть, потому что я сижу в этот момент на полу и перебираю лишние книги, чтоб их выбросить — и без них тесно. Мама машет приветственно кому-то знакомому, проходящему по улице, и напевает вполголоса старинный цыганский романс.

— Ты не находишь, — спрашиваю я, — что в нашей с тобою жизни есть что-то цыганское? Жили в дворянской усадьбе, потом в роскошном купеческом доме, теперь перебрались в подвал. Остается на улицу промышлять гаданьем… — Мама весело смеется.

К нам часто заходил мой товарищ по институту Николай Николаевич Вознесенский, подобно всем моим друзьям, но посещения эти никогда не бывали случайными и без дела. Теперь его целью было лечить маму гипнозом, и действительно, мама на наших глазах стала расцветать. В определенные дни и в строго назначенный час приходил Николай Николаевич. Он укладывал маму на кушетку и просил закрыть глаза. После нескольких обращенных к ней вполголоса «спите» она погружалась в сон. Николай Николаевич уже не просил, он приказывал спящей:

— Отдыхайте, все болезненные процессы в вашем теле прекратились, все органы работают правильно. Вы чувствуете себя здоровой.

Пробовал Николай Николаевич усыпить и меня, но опыт ему не удался ни разу.

— Вы не моя сомнамбула, — говорил он досадливо и шутливо.

Мы все читали в те годы книги по гипнотизму и изучали Фрейда.

— Сведите нас на заседание общества, — попросила я его однажды.

И вот мы с мамой очутились в зале, заполненном врачами и приглашенными. В президиуме я увидела председателя общества врача Каптерева, профессора Довбню. Фамилии других врачей позабылись.

— Вот сильнейший среди нас гипнотизер, — указал мне Николай Николаевич на сидящего в президиуме как раз против нас человека с ровно бледным, застывшим, как у мертвеца, лицом.

Я заметила, что Протасов не сводит глаз с моей матери. Опыты с сомнамбулами, которые производились в это время

несколькими врачами, отвлекли мое внимание. Когда я снова взглянула на маму — мне стало страшно.

— Смотрите! — шепнула я Николаю Николаевичу. — Смотрите, что с ней происходит?

Мама сидела неподвижно, вытянувшись, с отсутствующим выражением лица под взглядом Протасова, который пришпиливал им мою мать, как жука булавкой.

— Это нечистый человек, — ответил Николай Николаевич, — и я давно все заметил, их нельзя оставлять ни на одну минуту.

Тем временем заседание окончилось. Все задвигались и потянулись к выходу. Мама продолжала сидеть.

— У меня разболелась нога, я не дойду до дому, — сказала она, глядя на Протасова. А тот уже подходил к нам. Поздоровавшись с нами кивком головы, он задержал мамину руку в своей и не выпускал ее.

— У меня разболелась нога, я не дойду до дому, — повторяла слово в слово мама одну и ту же монотонную фразу.

— Я помогу вам, — ответил Протасов. — Сейчас я верну вашу спутницу здоровой, — обратился он к нам, и не успели мы ответить, как он повел ее в помещение, находившееся в конце зала и отделенное тяжелыми занавесками. Мы двинулись им вслед.

— Нельзя сейчас ее окликать и вмешиваться чужой воле, для нее это может стать губительным. Надо дать ему ее пробудить.

— Разве она спит? — спросила я в изумлении.

— Она находится в гипнотическом сне уже с середины заседания, — ответил мне Николай Николаевич.

Теперь мы стояли у занавеса, за которым скрылась мама, и подглядывали между его складок. Мама лежала на диване с закрытыми глазами. Протасов делал движения рукой, так называемые пассы и говорил ей:

— Нога ваша не болит. Через три дня вы почувствуете снова резкую боль и вспомните обо мне. Вы придете ко мне ровно к семи часам вечера. Повторите мой адрес. Вы слышите мой приказ?

— Слышу, — еле донесся до нас ответ спящей.

— Теперь вы просыпаетесь и все забываете до назначенного вам срока. Просыпайтесь!

Мама открыла глаза, поднялась, смущенно оглянулась, не узнавая обстановки.

— Все прошло, благодарю вас, — сказала она Протасову и стала прежней.

— Ну и работу задал мне этот негодяй, — шепнул мне Николай Николаевич по дороге. — Теперь мне надо бороться с

его влиянием, а это трудно и, главное, губительно для здоровья Наталии Аркадьевны. Но другого выхода нет!

И вот, на моих глазах, начался невидимый поединок двух гипнотизеров.

В назначенный Протасовым день мама стала тревожиться и затаиваться от меня. Открылись резкие боли. Она стала поспешно к вечеру собираться, глядя сквозь меня как сквозь стекло, которое глаз не замечает. Пришел Николай Николаевич. Под предлогом осмотра ноги он уложил мать на кушетку, и тут началась борьба. Мама не подчинялась обычному влиянию, но не имела сил окончательно его отбросить. Две воли сталкивались и боролись, и полем битвы был хрупкий организм болезненной женщины. В конце концов ее удалось усыпить, и мама погрузилась в транс. Николай Николаевич теперь властно требует от нее забыть Протасова и его внушение. Мама стонет, мечется, еле слышно шевелит губами. Мы угадываем:

— Не могу, не могу, — говорит она. Лицо ее искажено и бледно, из-под сомкнутых век изредка скатываются слезы. Николай Николаевич не сдается, хотя я вижу, как дрожат от крайнего напряжения его пальцы, которыми он делает ритмические, мерные движения над ее телом. Долго идет борьба. О времени мы с Николаем Николаевичем забываем. И вдруг лицо мамы светлеет, она облегченно вздыхает. Как по проводу, передается эта перемена Николаю Николаевичу. Он сияет.

— Вы свободны и здоровы, — говорит он маме, — вы никогда не вспомните Протасова, а если встретите, почувствуете отвращение.

— От-вра-щение, — послушно повторяет мама по слогам, и гримаса ужаса пробегает по ее лицу. Назначенный Протасовым час проходит. Мама мирно спит.

Николай Николаевич вынимает платок, вытирает влажный лоб и лукаво мне подмигивает: «Мы победили!»

Остается добавить, что позднее постановлением общества Протасов был из него исключен.

Прошла зима. Мы открыли свое окошко. В него нередко летят к нам букеты первых весенних цветов. От кого бы это? Александр Васильевич о цветах не догадывается, он наш ежедневный гость, да и входит честно, только дверьми, и носит мне одни только книги. Однажды мы успеваем заметить мелькнувший белый китель и убегающую морскую фуражку. Значит, цветы приносит третий мой друг.

С наступлением тепла друзья приходят прямо к нашему окошку, во двор. Тогда мы с матерью поднимаемся к ним наверх

через окно, минуя мрачный коридор. Во дворе наша «гостиная». Вот в окно заглядывают одновременно две головы.

— Всюду жизнь! — иронически сочувственно замечает по поводу нашего убогого подвала Николай Николаевич.

— И неплохая! — решительно отбивает удар мама.

— Когда же консульство вас вывезет отсюда? — спрашивает NN.

— Кому-то это будет неудобно, — не принимает снова мама снисходительного сочувствия мужчин, — особенно затруднится доставка цветов!

Все смеются. Мы вылезаем с мамой по лесенке прямо в окно и усаживаемся все на скамейку в палисаднике под каштанами, набирающими белые грозди.

— Доколе же нам так? — замечает мама однажды вечером, ложась спать.

— О чем ты?

— Надо же нам с тобой подумать о будущем. Я начинаю болеть, стареть, скоро мне стукнет пятьдесят. У тебя ни дела любимого, ни дома, ни семьи, ни защиты, тревожно мне за тебя.

Я успокаиваю маму как могу, и мы не возвращаемся больше к этой теме…

Через сколько-то дней мы вечером идем домой из Института вместе с Николаем Николаевичем — ему было со мной по дороге, жил он на Новинском бульваре. Мы оба молчим. Мы часто с ним по дороге молчим, каждый думая о своем. Темнеет. Он ведет меня под руку.

— Ляля, — говорит он, — нужно вам поехать хоть на месяц в деревню этим летом. Наталии Аркадьевне необходимо, она очень за зиму сдала.

Я ничего не отвечаю, но чувствую, как тепло, благодарно становится на сердце. Подходим к моему дому. Стройная линия каштанов уже покрылась белыми соцветьями. Их кроны, как видения, высятся на темном небе. Между цветами кое-где виднеются и дрожат звезды.

— Николай Николаевич, — говорю я, — мне сейчас было от вас, как от отца, когда он меня провожал в гимназию. Я вам уже рассказывала об этом…

Он покровительственно и ласково поглаживает в ответ мою руку и молчит. И тут у меня впервые внезапно мелькает удивительная мысль! Не давая себе труда ее проверить, и радуясь, и почему-то тревожась, я торопливо обращаюсь к своему спутнику, словно боюсь эту мысль потерять.

— Николай Николаевич, — говорю я, — мне пришла сейчас одна мысль…

— Ну, какая же это пришла *нам* мысль? — спрашивает он как всегда, когда говорит со мною, добродушно-иронически и продолжает гладить мою руку.

— Вам надо на мне жениться! — отвечаю я и прикрываю смущение дружеской непринужденностью.

Отчего же он так долго молчит? Досадно, что на улице тьма и я не вижу выражения его лица; темный силуэт человека стоит возле меня неподвижно, как столб. Он долго так стоит. Наконец знакомый спокойный голос из темноты мне отвечает:

— Вы говорите пустяки! Я вдвое старше вас, и все это — детская выдумка. Выкиньте ее из головы. — Он похлопывает рукой по моей руке, прощается: — Спокойной ночи! — и исчезает в темноте.

Я растерянно смотрю ему вслед и потом медленно спускаюсь в свой подвал прямо в окошко.

Я ничего не расскажу матери. Я с самого детства скрываю от нее, как и ото всех без исключения людей, только мне одной ведомую тайную жизнь сердца. Если я расскажу матери о произошедшем, я заранее знаю, что она ответит мне на своем языке: «Я ожидала этого разговора между вами. Николай Николаевич — очень подходящая, блестящая партия». Но разве я о «партии» думала, когда на меня накатила эта странная мысль? Нет, я ничего ей не скажу! «Это совсем не стыдно, — продолжит мама, — он до конца благородный и свой человек. А ты не умна, если выпаливаешь сразу все, что приходит тебе в голову. Так жить нельзя». — «Я сказала ему, что он напоминает мне отца», — отвечу я тут матери. — «Вот-вот, — засмеется она, — так ты ему и сказала! Ясно, что ты его не любишь…» — «Я начала бы его любить, — отвечу я, — и, наконец, полюбила бы. Разве не может так быть?» Вот на этот-то вопрос мне ни мать и никто не ответит.

На другой день мы встретились с Николаем Николаевичем как ни в чем не бывало, и все потекло внешне по-прежнему, если не считать того, что со мной случилось. А случилось со мной нехорошее: какая-то брешь с того раза открылась в душе, и защитная перегородка, прочно охранявшая душу, разрушилась: я впервые допустила мысль, что та единственная любовь, для которой я родилась и живу, которой я с тоской и надеждой дожидаюсь, эта любовь не придет, и ее можно попробовать заменить другой, подходящей… Я усомнилась в вере своей, и это было моим первым и невосстановимым паденьем: так начала я терять свое целомудрие{92}.

Хотелось бы мне пропустить еще один эпизод, так он мимолетен и не связан по существу со всем последующим, но я его запомнила, и в жизни невыдуманной все так связано, что она

рассыпется, и если что-нибудь попытаться в рассказе о ней скрыть, приукрасить или изменить, то рассыпется и самый рассказ.

Отцвели белые каштаны. Мама, как и в прежние «мирные» времена, выполняла весенний ритуал: в выходной день она посылает меня во двор просушить на солнце и выколотить от пыли зимние вещи. Неподалеку от меня тем же делом занимается и наша соседка по подвалу — Даша Великолепная, как прозвали ее в детском доме за дородность и красоту. Это бывшая повариха Коноваловых. Сейчас ей помогает выколачивать вещи муж, рослый красногвардеец, только что вернувшийся с фронта. Она горделиво и ласково посматривает на мужа из-за круглого плеча, высоко подняв руки и перебирая ими растянутые на веревке вещи. Он протягивает ей что-то ярко горящее малиновым цветом на солнце и улыбается Даше покорно и влюбленно. Даша весело кричит мне что-то про хорошую погоду.

Как проста и радостна бывает жизнь! А я, могла ли бы и я жить так же?

За оградой мелькает знакомый белый китель и фуражка.

— Какая погода! Едем за город! — кричит мне NN, открывая калитку.

— Как же быть? — спрашиваю я. — У меня оторвался каблук, а в этих, — показываю я на свои домашние, — еще сыро…

— О, это не препятствие, — говорит он. — Сапожник на углу. Давайте туфлю.

Он исчезает так же молниеносно, как и появляется. Очень скоро мы его снова видим с починенной туфлей в руке. Туфля наполнена, как ваза, свежими ландышами. Мама одобрительно кивает головой и говорит:

— Вот как надо ухаживать за девушками! Так бывало в наше время.

Мы возвращаемся домой уже в темноте.

— Хорошо было? — спрашивает мать.

Я протягиваю ей вместо ответа огромный букет сирени. На душе у меня неспокойно. Почему? Ведь ничего не случилось дурного. Такого, чтобы… разве только слишком уж смело (мама сказала бы по-старинному «фамильярно») он обращался со мной. Эта рука, которую он забывает на моем плече, когда помогает перебираться через канавы и лужи, эти случайные прикосновения… Но ведь он же свой, товарищ, почти что друг… Да, ничего мне не понять в жизни, которая, как вода в разлив, подбирается ко мне со всех сторон. Поскорей бы уснуть — я устала. Только вымыться сначала, тщательно, долго мыться, чтоб стереть из памяти все следы чужих прикосновений. Какая

таинственная вещь — вода!

Я прячу разгоревшееся от усталости лицо во влажную чашу сирени: от аромата еле заметно кружится голова.

— Надо вынести на ночь цветы — можно ими насмерть отравиться, — замечает мама.

С Александром Васильевичем мы по-прежнему неразлучны. Школа философской мысли была нами утрачена с закрытием философского факультета в Университете и после того — в Институте Слова. Теперь мы ловим любые сигналы, спешим на каждый отсвет мелькнувшего нам мира философской и богословской мысли. Москва велика, но редкий день мы не отправляемся на поиски места, где можно было бы услышать что-то интересное и новое, где сохранился живой росток подлинной русской культуры.

Так мы попали однажды всей компанией, вчетвером, к толстовцам в Газетный переулок, где помещалась вегетарианская столовая и где происходили их собрания. Что это за люди, о которых мы наслышаны с детства, что несут они нашему времени?

Первое, бросившееся в глаза при входе, — это плакат: «Я никого не ем». Не сразу доходит до сознания смысл, мы переглядываемся. NN давится от смеха. Николай Николаевич делает непроницаемое лицо. Александр Васильевич добродушно улыбается. Вокруг нас говорят, что сейчас приедет председатель общества Владимир Григорьевич Чертков{93}, ближайший, преданный друг покойного Льва Толстого. Чертков был страстным проповедником учения, созданного последователями Толстого, к которому сам Толстой относился критически, разделяя далеко не все взгляды «толстовцев».

— Сегодня выступление Бати, — говорит нам толстовец с породистым лицом и манерами аристократа. Он здоровается с нами за руку, и я замечаю, как не вяжется с его наружностью огрубелая и как будто плохо отмытая рука. Впоследствии мы убедились, что в этом человеке все было искренне. Он, действительно, плотничал и сапожничал — этот барин в грубой толстовке, подпоясанной добротным шпагатом. «Я никого не ем!» — и он не наденет пояс из кожи убитого животного. Это был Николай Сергеевич Родионов{94}, друг Черткова, его «альтер эго», как определял свое к нему отношение сам Чертков.

Я с любопытством рассматриваю толстовцев, которые один за другим появляются на трибуне и поучают нас… Слушаю и удивляюсь, до чего они все друг на друга похожи. «Замечаете, — шепчет мне сбоку NN, — у них интеллигенты стараются казаться

мужиками, а мужики изо всех сил подражают интеллигентам». Обращаются друг к другу ласково, даже с оттенком подобострастия: «Дорогие братья и сестры». «Мяса не едят, но в речах поддевают друг друга, — шепчет мне с другой стороны Николай Николаевич. — Боюсь, друг друга они сильно покусывают!» — «Все люди едят своих ближних, — отвечаю я примирительно. — У этих не заметно ничего оригинального, чему бы нам поучиться». — «Как нет? — а женщины? — замечает NN. — Вглядитесь: это верх оригинальности! Где вы видели таких женщин, которые старались бы не нравиться мужчинам?»

Александр Васильевич укоризненно останавливает наши пересуды и говорит: «Посмотрите, какая замечательная фигура!» На возвышение поднимается огромный грузный старик с вдохновенным лицом, властным голосом. Это уже не серая посредственность, среднее многих слагаемых «братьев и сестер». Это вождь и диктатор, это последний язык пламени от уходящего в историю толстовского пожара. Около Черткова — самоотверженный Родионов. Пожалуй, на этих двух людях держалось все движение толстовства в России. Чертков говорил горячо и повелительно, но, если вдуматься в смысл, все было сухо, назидательно, без тени юмора или сомнения, он говорил как носитель всей правды на Земле, так, как будто не существовало и не могло существовать иного направления мысли или образа жизни, кроме «Я никого не ем».

Я слушала, и мне казалось, что они ограничены и как будто недостаточно образованны, хотя думать так о Черткове было странно. Я, помню, спросила своих друзей, что думают они, и какую же «пищу» вынесли мы для себя из вегетарианской столовой.

— Собрание бессильных мужчин и некрасивых женщин, — ответил в своем духе NN.

— Остро, но не исчерпывающе, — парирует его слова Александр Васильевич. — По-моему, здесь нет никакой загадки: это типичная русская народная секта со всеми своими классическими признаками: рассудочная и пытающаяся оторваться от исторических корней. Вы заметили — они, как сектанты, не допускают инакомыслия, с ними нельзя даже начать честный спор… Ни малейшего признака универсализма.

У нашего окна в подвале тем временем начинают появляться люди, не похожие на толстовцев. Это теософы или гностики, которые по-разному определяют свое направление, но их объединяет одно: они создают науку о духовной жизни. Тут члены теософического общества, антропософы — приверженцы учения доктора Штейнера{95} и его адепта в России Андрея Белого,

в большинстве своем интеллигенты, в отличие от толстовцев стремящиеся к универсальному знанию. По сходству же с толстовцами они уверены в своей исключительной правоте не менее любых народных сектантов.

В своих поисках мы набрели с Александром Васильевичем на преподавателя Лобанову (имени я не помню), которая по методике йогов ставила голос и дыхание актерам и певцам. Мы встретили у нее всю студию молодых, начинавших работать вахтанговцев. Кроме того, Лобанова лечила тем же способом йоговского дыхания тяжело больных людей, и в ее крошечной «уплотненной» квартирке мы постоянно заставали очередного пациента, которого она обычно поселяла у себя до полного излечения. Сама она припадала на ногу — след костного заболевания, по ее словам, успешно излеченного по методу йоги.

Студенты нашего Института Слова, и я в том числе, занимались у Лобановой в течение одной лишь зимы, и в результате занятий у меня открылся хороший певческий голос. Лобанова хотела сделать из меня профессиональную певицу, но я отказалась. Я тосковала в поисках того исчерпывающего смысла-дела, который, мне казалось, не могла мне дать никакая профессия, а все практическое, возникающее передо мною в жизни, казалось мне призрачным и ненужным.

Среди людей, бродивших в поисках по бурлящей Москве и Бог весть как существовавших материально, запомнилась мне фигура Бориса Михайловича Зубакина{96}. Все знали его в те годы, по крайней мере в районе Никитской, где действительно по необъяснимой случайности сосредоточена была культурная жизнь Москвы.

Зубакин пробавлялся выступлениями как поэт-импровизатор и лекциями как археолог. У Зубакина было красивое лицо, классическая голова — но посажена она была немилостивой природой на непомерно маленькое тело. Видимо, Зубакин тяготился этим физическим недостатком своей внешности и, как многие маленькие люди, был крайне самолюбив, заносчив, в выступлениях бил на эффект, и это ему отлично удавалось. Главным даром его была импровизация. Происходило все как у Пушкина в «Египетских ночах»: Зубакин предлагал собравшимся дать ему тему. Иногда он получал несколько тем от каждого из присутствующих, и перед ним возникал ряд слов, не связанных между собой смыслом, и словами он должен был овладеть мгновенно, связав их в единстве. Он вскакивал на возвышение (увеличивался рост!), бледнел и начинал импровизацию. Запомнилась мне лишь одна строфа:

А там, на севере, олени
Бегут по лунному следу,
И небо нежную звезду
Качает у себя в коленях.

У Зубакина была претенциозная кличка Богарь. Его обычно сопровождали как две тени две женщины, одна — бывшая, другая — настоящая его жена. Это были в прошлом две подруги, по профессии актрисы. Мы знали их «мистические» имена, а русские, обычные, я уже теперь позабыла. Бывшая жена — Руна, уже немолодая, тяжеловато-скандинавского типа, была всегда серьезна. Я никогда не видала улыбки на ее лице северной матроны. Ходила она в самодельном платье, похожем на хитон, в сандалиях на босу ногу, волосы и лоб прикрывала повязкой, наподобие тех, что мы видели на головах египетских цариц. Одевалась она так, конечно, со значением, и вела почти нищенскую жизнь; не знаю, как кормилась. Богарь не заботился о своих женах. Не знаю, чем зарабатывал он сам, только помню роскошный вечер на квартире Зубакина, длившийся до рассвета, с вином, с цветами… Помню на нем молодого Есенина в вышитой русской рубашке — белым отроком; помню, мне показалось, что он был под легким гримом… Он читал стихи, вокруг толпился народ, но вся обстановка вечера меня отвращала, и потому, наверное, я не услыхала и не поняла Есенина.

Иза, младшая жена Богаря, обладала прекрасным меццо-сопрано, была хороша собой и непосредственна. Она часто прибегала в наш подвал выплакаться на груди у моей матери по поводу «невыносимой жизни с этим Богарем». Вслед за ней обычно являлся сам виновник. Он мгновенно усмирял жену одним прикосновением пальцев к ее лбу между бровями: там, по его словам, расположена у человека «особая» точка. Зубакин был еще гипнотизером. Меня он уверял, что изучил с помощью лица, имя которого открыть не может, магию, что обладает оккультным знанием, неизвестным позитивной науке. Так ли это было — я не знала и не стремилась узнать: Зубакин не внушал мне доверия. Лишь один случай, о котором придет свой черед рассказать и который связан с главным событием в моей жизни, заставил меня рассказать здесь о Зубакине. Его давно уже нет в живых, как и двух его жен. Все трое они погибли, кто — в тюрьме, кто — в ссылке.

Все эти люди, которых я объединила для себя под общим именем гностиков, обладали еще одним общим признаком: в своих умственных конструкциях они были оторваны от

исторической почвы, от жизни и души своего народа и его духовной культуры. Их теории производили впечатление самоуверенной вымышленности. Они казались мне чуждыми духу совестливости и нравственного самоотвержения, которыми отличается характер народной души и мысли русского человека. Это чуждое просвечивало в них, начиная с кличек и кончая стилем их речей. Впрочем, достаточно взять в руки любую книгу адептов современной мировой теософии, проповедуемой как незыблемая доктрина, а не как личный, не навязываемый никому опыт, чтобы найти подтверждение сказанному. Не стал исключением для меня и талантливый Андрей Белый, на лекции которого я присутствовала однажды — больше меня к нему не потянуло{97}.

Теософия всех видов воспринималась мной как болезнь ума, поскольку была оторвана от нравственно обязывающей жизни сердца, но «болезнь» эта в те годы была распространена; может быть, и сейчас мои слова встретили бы отпор у многих.

Так шло время и подготавливало меня к встрече с международным, действующим во все времена и под различными личинами гностицизмом.

Однажды Александр Васильевич с несвойственной ему взволнованностью сообщил мне, что один из профессоров университета, не вошедший, по счастливой случайности, в списки высылаемых заграницу и оставшийся лектором в Институте Слова, приглашает нас к себе на дом для какого-то разговора, но просит держать в тайне его приглашение. Было от чего взволноваться: немолодой, солидный профессор не мог так обставить маловажное дело.

На наш звонок дверь открыл сам профессор: мы поняли, что в квартире сейчас нет ни одного человека, но в кабинете застали еще несколько неизвестных нам молодых людей. Старинная профессорская квартира избежала, по-видимому, пока уплотнения и была молчалива. Огромная квадратная комната освещалась одной лампой на низкой подставке под плотным абажуром. Стены, сплошь уставленные книжными шкафами, уходили в темноту. Хозяин усадил нас в тесный круг и стал тихо говорить, однако мы были оглушены услышанным.

Он сообщил нам, что во всех странах мира и поныне существует мистический орден, средневековое имя которого я сейчас не назову в силу взятого с меня некогда слова; что орден существовал во все века, меняя свои имена и формы, и возник, как только сознание человека развилось и стало способным воспринимать высшие идеи; сказал, что это была, есть и будет

единственная рудоносная жила в организме всего человечества, которая несет поток истинного знания и ведет к совершенству и свободе все народы мира. Он утверждал, что высшие существа проходят среди людей во всех поколениях неузнанными, сказал, что орден узнал нас, избрал и призывает в свои ряды на великую работу, для которой мы и были рождены, что нам открыты двери, но что войдем мы в них не сразу. Мы узнали, что посвящение наше будет проводиться ступенями или кругами, на границе каждого перехода над нами будет совершаться малое посвящение, пока, наконец, мы не подойдем к последнему, после которого возвращения назад не будет. До этого наша воля была свободна, и от нас требовалось одно — молчанье. Мы не должны были спрашивать о том, что нам не сообщается, не могли ничего записывать и до окончательного вступления в орден не должны были видеть ни одного его члена, кроме нашего руководителя.

— Страшно! — сказала я Александру Васильевичу, когда мы вышли на улицу.

— И, кажется, это уже вполне серьезно, — ответил не сразу Александр Васильевич. — Впрочем, пока мы еще никого не обманываем — ни себя, ни профессора. Послушаем и решим, как нам должно поступить.

Сорок с лишним лет прошло с тех пор, и я не могу уже восстановить подробно содержание наших бесед. Меня связывает к тому же данное сорок лет назад слово, хотя профессора нашего давно уже нет в живых. Но за ним стояли и, конечно, все еще стоят какие-то неведомые мне люди, которым, в лице профессора, я тоже давала это обещание. С другой стороны, ничего нового мы не узнали, по крайней мере такого, чего не найдет внимательный читатель в изложении всех мировых систем гностики, если отважится погрузить себя в эту необъятную литературу: Упанишады{98}; Ориген{99}; гностик II века Валентин, которого Владимир Соловьев называет гениальнейшим мыслителем всех времен; Дионисий Ареопагит{100}; Беме; Сведенборг; Шеллинг… И поэтому я расскажу здесь не столько об учении, нам преподанном, сколько о воздействии его на мою душу и к чему эти занятия нас всех привели.

На первом этапе посвящение состояло из сообщаемых нам изустно поэтических легенд, рисующих картину миротворчества. Полотно этих легенд было такого обширного охвата, что история не только Земли — всего нашего космоса выглядела на нем как история, скажем, песчинки перед Солнцем.

Не говоря о содержании развертываемых перед нами картин, я сразу перехожу к возникшим у меня тогда сомнениям, которые я держала пока в себе. Вот каковы они были.

О том, о чем рассказывали легенды гностиков, говорила нам в малой, правда, доле и Библия, говорила скупо, намеками, как бы указывая на промыслительно скрытую от нас тайну, познание которой с помощью рассудочного изучения излишне, да и невозможно для человека на его коротком земном пути. У этого пути есть свои прямые задачи — задачи спасения. «Спасения от чего и каким путем?» — спросит читатель. Постараюсь ответить на этот вопрос. Открытое для всех религиозное знание, в частности, не разделяющее верующих на посвященных и непосвященных, христианство, с точки зрения преподаваемого нам учения гностиков-эзотериков (то есть тайноведов) было детской пищей для масс, которое и подавалось в таком виде из снисхождения к простоте ума этих масс, к убожеству их духа. Мои новые учителя со снисходительным превосходством относились к христианству, не признавая его догматы по существу.

«В чем же эта сущность?» — спросит снова меня читатель. Она — в переделке своей души, в борьбе за ее просветление, движение к добру, очищение, высшей ступенью которого является, по словам великих христианских подвижников всех веков, смиренномудрие, через которое человек достигает подлинной любви и познает Бога. Этот нравственный опыт святых и был изложен в «Добротолюбии». «Смиренномудрие есть не имеющая имени благодать в душе, теми только именуемая, которые изведали ее опытом», — пишет св. Иоанн Лествичник в VI веке. И другой автор того же времени Исаак Сириянин: «Смирение есть некая таинственная сила, которую по совершении всего жития воспринимают совершенные святые… Добродетель сия заключает в себе все… Не всякий, кто скромен, или безмолвен, или благоразумен, или кроток по природе, достиг уже степени смиренномудрия. Напротив, тот истинно смиренномудр, кто имеет в сокровенности нечто достойное гордости, но не гордится… Смиренномудрие есть риза Божества».

Однако перед лицом тончайшей мистической диалектики самый вопрос о добре и зле, о нравственном подвиге борьбы между ними становился наивным: гибкость этой диалектики позволяла добру и злу произвольно меняться местами.

И вот я начинаю скорее чувствовать, чем догадываться, что есть некая Личность, являющаяся сердцем преподаваемого орденом учения. Она спорит с образом Распятого, которому с детства предана моя душа. Для этого достаточно признать низшей нашу бедную, грешную Церковь и усомниться в значении подвига святых: подвига перерождения грешной человеческой природы через смирение. Подвижники христианства понимают под смиренномудрием «не имеющую имени благодать в душе»,

«таинственную силу, заключающую в себе все». Но гордость, ему противопоставляемая, была также не простой гордостью, а «онтологической», то есть гордостью по существу, иначе говоря — сатанинской. Я стала замечать, как самый образ Христа-Спасителя начинает в легендах ордена туманиться, и сквозь Него проступает другой образ, тоже прекрасный, я узнаю его: это светлейший из сотворенных духов, Сатанаил, совершающий свой дерзкий замысел богопознания через произвольное богоуподобление.

Если верующие во Христа люди призваны двигаться к Богу по прямой и эта прямая есть путь сердечного очищения, то Сатанаил и его ученики совершают путь, пусть якобы туда же, но по бесконечной окружности. От этой-то бесконечности и спасает нас Христос, и я думаю, не является ли само понятие бесконечности, по кругам которого «совершенствуется» Сатанаил, синонимом Небытия? Церковь Христова учит очень определенно: Сатана — высший тварный дух — свободно избрал себе идеалом гордость, он пожелал той творческой силы, которая присуща единственно Творцу, или Отцу жизни. Это желание поставить свое Я на место любимой Личности — и есть уничтожение любви, то есть зло в существе своем. По слову святого апостола Павла, грешник может спастись покаянием, но как бы из огня, то есть после покаяния, как зола после костра, остается нечто несгораемое — то, что от Бога, и оно-то и есть истинное Я, которое непременно спасется.

«Что же, однако, волнует меня и страшит?» — думала я, вслушиваясь в поучения нашего профессора. Ведь я легко могла бы в развернутом мне учении о вселенной найти место и моей бедной исторической Церкви, в которой я выросла и жила до сих пор. Но именно эта Церковь учит нас: все, что в ее границах, необходимо и достаточно, границы ее «безграничны» для всякого святого творчества человека, и потому она есть полнота и вместилище всего до конца земной истории. Таков опыт святых. Постепенно я понимаю: богатства гностического познания уничтожают необходимость труда и любви на узком пути спасения — пути святости. Гностики хотят достигнуть цели без подвига нравственного очищения, они довольствуются силой ума{101}.

Но раз средневековый орден оказался живущим в моем двадцатом веке, то почему же не быть реальной Церкви святых на моей земле и в моем времени?

В душе я уже решила выйти из ордена, вернее, окончательно решила в него не вступать. Но я не могла оставить Александра Васильевича, а увести его оказалось нелегко. Все люди, и посторонние, и друзья, стали замечать и удивляться, не понимая,

что стало с Александром Васильевичем. Такой неловкий, такой серый, он стал утонченным, светящимся, даже по-своему красивым. И только я одна знала источник этой «красоты». Александр Васильевич был увлечен орденом и светился его «светом». Мне оставалось терпеть до последнего, выжидая какого-то благоприятного события. Это «последнее» уже над нами нависало. Однажды руководитель объявил нам, что первый круг нами пройден, и мы переходим на следующий. Теперь мы должны были избрать себе имена с одной и той же заглавной буквы по греческому алфавиту. Нашей буквой, сказали нам, будет альфа. Сейчас я думаю, что, вероятно, так производился учет членов ордена, но я об этом тогда не догадывалась. Над нами был совершен ритуальный обряд, слов которого я не помню, но помню хорошо старинный меч в руках профессора, которым он ударял каждого из нас, называя наше новое имя. Это вызывало чувство неловкости и за себя, и за седого, серьезного профессора. Мое имя было Антос, по-гречески цветок… Все это теперь я терпела из-за Александра Васильевича, терпела и чего-то ждала…

К этому времени со мною стало твориться нечто непонятное: я начала на наших собраниях впадать в сон, похожий на гипнотический. При этом сон был неполный, только приглушалось активное сознание. Я сидела с открытыми глазами и даже отвечала на вопросы, но не запоминала ничего. Никто не замечал моего состояния, вероятно, и сам профессор.

Наконец нам было объявлено, что мы находимся у последних дверей, и от нас требуется решительный обет полного и пожизненного послушания ордену. После этого возврата быть уже не может. Что же угрожало нам в противном случае? — спрашиваю я себя теперь. Не знаю, и никто не задавал себе этого вопроса тогда. До сих пор меня удивляет, с какой легкостью все согласились приступить к последним обетам. Так пришел момент, когда мне необходимо стало объявить о своем несогласии и уйти.

Однажды, почти накануне дня, когда мы должны были произнести свои роковые обеты, нам было сказано собраться в новом месте у профессора математики, «рыцаря» такого же высокого ранга, что и у нашего руководителя. Как понимаю сейчас, это было нечто вроде предварительного смотра перед посвящением. Двери маленького особняка в районе Пречистенки на наш условный стук открыл сам хозяин. Так же, как и в первый раз, никого не было дома. Такая же в нем была тишина. Мы пришли первыми, и молчаливый хозяин, оглядев, оставил нас одних в подготовленной для занятий комнате.

— Вы решились? — спросила я у Александра Васильевича.

— Решился, — ответил он мне коротко. — А вы все колеблетесь?

Споры шли у нас уже давно.

— Я не могу доказать своей правоты, но я не останусь с ними. Я не знаю только, как уйти, чтоб не обидеть, не обмануть их доверия.

Мы сидели в пустой комнате: круглый стол посредине да несколько стульев. Тяжелые занавеси на окнах. Полумрак. Проходит сколько-то времени в молчании. Я различаю в углу какой-то предмет, завешанный черным. Я встаю и, почему-то крадучись, подхожу к нему. Дотрагиваюсь: черный бархат. Хочу приподнять.

— Не трогайте! — шепчет мне сзади Александр Васильевич, как новый образумленный Адам, останавливающий Еву перед запретным.

— Нет, я должна посмотреть, что там!

Я решительно поднимаю черный бархат: там большая мраморная скульптура Мефистофеля, погруженного в думу, всем известного Мефистофеля работы Антокольского. Я опускаю бархат и смотрю на Александра Васильевича: он бледен, как бумага. Произведения искусства не завешивают черным бархатом, не ставят в угол, как икону… Мы беремся молча за руки и, уж не помню под каким предлогом, уходим из дома и от этих людей навсегда.

Всю ночь я писала письмо нашему профессору, пытаясь объяснить причину ухода{102}.

Порвать с орденом было нелегко, но еще трудней оказалось порвать сети, которыми искусно, пользуясь моей полной неопытностью, да и по собственному легкомыслию, окружал меня третий приятель по Институту. Выбиваться мне было трудно потому, что он сам попал в собственные сети, расставленные другому: начав не более как привычную игру, он полюбил. Он стал на моих глазах меняться. А я не любила его и не могла полюбить — ни одной минуты я в этом не сомневалась. Однако во мне боролись противоречивые силы, они-то и сковывали мою волю, притупляя здравый смысл. Это было и отталкивание, граничившее подчас с отвращением, и сочувствие, и жалость, и неумение с достоинством и решимостью произнести окончательное «нет»; NN был близким товарищем, почти другом, мы ежедневно встречались в Институте; каждый день я собиралась объясниться и не находила решимости и слов.

Впрочем, отбросим самооправдания: это продолжалось во мне то внутреннее падение, которое началось недавно и о

котором я уже говорила. Моя «мягкость» (мать на своем языке называла это женственностью) при отсутствии любви, на каких-то строгих, точнейших весах была продолжением того падения. А NN, считая день моего молчания своим выигрышем, ничего не замечая или не желая замечать, мечтает о «литературном салоне» в обширной квартире своего отца: «Вы будете его музой, вы рождены для этого!» — говорит он мне с наивным тщеславием. Я слушаю его, и мне стыдно, так стыдно, что я никогда не смотрю теперь ему прямо в лицо. Разобраться в значении этого тяжелого стыда я не решаюсь. А он по-прежнему ничего не замечает.

— Вам не избавиться от меня, дорогая! — весело и уверенно говорит мне NN.

Он считает долгом своим рассказать мне, как они с приятелем, блестящим оратором и гордостью нашего Института, занимались в виде спорта «охотой» за моими институтскими подругами.

— В знак того, что это навсегда кончается, приношу к вашим ногам мой дон-жуанский список.

Он доволен собой — он поступил сейчас благородно. Он удивлен, что я ужасаюсь, я даже не верю ему.

— У вас устарелые предрассудки, — смеется он надо мной. — Эти девушки стали свободней и глубже понимать жизнь — и только. Это их приобретение.

— Просто так, безо всякой любви? — восклицаю я. Он не слышит моего «без любви». Он, все превращающий в шутку, говорит теперь серьезно:

— Я решительно другой, посмотрите на меня! Я знаю, мне не добиться от вас согласия, я пойду к вашей матушке, по доброму старому обычаю просить вашей руки.

«Не ходите!» — хочу я сказать, но меня сковывает стыд. Как мне объясниться с ним? Он все сведет снова к шутке. Мне остается только бежать. И как сказать «нет», когда он готов стать иным? И куда бежать, если тот, кого я жду, за мной не приходит? Самое страшное — я перестала его ожидать.

У меня были верные друзья: мама, Александр Васильевич, Николай Николаевич, каждый из них протянул бы мне руку и вывел. Но я скрываю от всех свой плен и пытаюсь вырваться собственными силами.

Вот каков мир и его любовь! Вот что значили при взгляде на взрослых тревожные предчувствия в детстве. В эти дни произошло для меня губительное разделение простой и единой жизни на «этот» мир, полный злых страстей, от которого надо бежать, и на «тот», желанный. И отвращение к людям, и вместе с тем любовь к ним до слез. Именно в эти дни, вернее, в эти ночи я плакала от

горячей любви к людям, от жажды соединиться с ними и служить им и оплакивала как неосуществимую мечту о единственной встрече. У меня сохранились стихи тех дней.

Стою на глухом перекрестке,
а ветер, гулящий, хмельной,
в игре безудержной и хлесткой
помериться вздумал с тобой.

В провалы пустынные улиц —
(в провалы глухие судеб!)
мой дух боязливо сутулится —
сдержит — не сдержит разбег?

Но силой державной влекомый
в лазурь запредельных сторон
последней и страшной истомой
еще непокорный смятен.

И здесь, на глухом перепутье,
под вьюгой и ветром хмельным,
какими путями свернуть мне и
зовам ответить каким?

Поверить зарницам далеким
всей ширью немеркнущих глаз,
иль с ветром пуститься в широкий,
как смерть упоительный пляс?

КАПЛЯ — ОКЕАНУ

Близится час отлива.
Ты оставляешь меня на берегу
и уходишь.

Сухой прибрежный песок пьет меня
тысячами жадных уст.
Острая и злая трава,
что растет у самого берега,
извиваясь, тянется ко мне,
бледная от жажды.

Солнце опаляет меня и зовет за собой,
и я не в силах противиться его желанью…

Ты покинул меня, но я слышу
отдаленный шум Твоих волн.
О, Ты есть — и этого мне довольно!

Из облака, что бессильно поднять меня
к жестокому солнцу,
я вернусь к Тебе, снова к Тебе.

ГЛАВА ПЯТАЯ
«Около церковных стен»

Однажды NN решил мне показать, какие замечательные люди бывают в доме его отца и, значит, в его доме. В тот день его отец принимал у себя известного в религиозно-философских кругах Москвы издателя популярной, так называемой «розовой» библиотеки — Михаила Александровича Новоселова {103}.

Много замечательных русских людей прошло и забыто в эти годы ломки и переустройства России. Личность и жизнь Михаила Александровича Новоселова заслуживает большего, чем мои неумелые попытки хоть что-нибудь оставить о нем для памяти будущих людей. Когда однажды Лев Николаевич Толстой приехал на квартиру к директору Тульской гимназии по поводу своих сыновей, он увидал восьмилетнего Мишу, сына директора, и сказал отцу:

— Вот удивительный ребенок — в нем сохранилось дитя, ему по душе действительно восемь лет, это очень редко бывает!

Рассказ этот, как семейное предание, я услыхала от самого Михаила Александровича много лет спустя, но при первой встрече с ним за столом в квартире моего институтского друга у меня было точно такое «толстовское» впечатление: ребенок в облике молодого старика. Михаилу Александровичу не было тогда и 60 лет, но из-за седой его бороды, а главное — из-за собственной моей юности я его сразу отнесла к старикам. На свежем лице светились мыслью и весельем голубые глаза. Юмор не изменял «дяденьке» (так звала его вся Москва) в самые тяжкие минуты жизни. Если бы мне поставили задачу найти человека, ярко выражающего русский характер, я бы без колебания указала на Михаила Александровича. Был он широко сложен, но благодаря воздержанной жизни легок и подвижен. От природы он был одарен большой физической силой и в молодости славился в Туле как кулачный боец, о чем любил с задором рассказывать.

В его существе разлита была гармония физической и нравственной одаренности, без тени болезни и надрыва. Шла ему любовь его к цветам, к природе, к красивым вещам, которые он не приобретал, не хранил, но умел ими любоваться. Не забуду его детскую радость по поводу особенной жилетки из старинного тисненого бархата, подаренной ему в дни его нищенских скитаний, о чем рассказ еще впереди.

Около Михаила Александровича все оживлялось, молодело, дышало благожелательством и бодростью, как будто в своей

бесприютной, нищей и зависимой ото всех жизни он все-таки был ее господином и повелителем.

Девушки, которых я встречала около Михаила Александровича, были как на подбор красивы, и это не вызывало удивления; казалось, жизнь и должна была расцветать около «дяденьки». Такой была и сероглазая красавица с ярким румянцем и соболиными бровями — боярышня, сошедшая с картины Кустодиева, М. А. Викторова, которую я встретила в первые же дни знакомства у Михаила Александровича. В годы, предшествовавшие революции, она помогала «дяденьке» в составлении популярных книг по святоотеческой литературе и церковным вопросам, она была дочерью московского священника и сама — знаток всего церковного. Знаю, что при Сталине она попала в лагеря и там приняла тайный постриг.

Вспоминаю. Едем мы с Михаилом Александровичем за город в женский монастырь Екатерининская пустынь под Москвой, на храмовый праздник — это начало декабря. Только что стала первая нарядная зима. Со станции идем заснеженной дорогой, и Михаил Александрович учит меня «японскому шагу» — приему плавного и в то же время быстрого передвижения. Мы всю дорогу играем в этот шаг и смеемся, как дети.

Тем же вечером прекрасно, отрешенно от суеты светится его лицо, когда мы становимся с ним на «келейную» молитву в маленьком номере монастырской гостиницы. Мы любили вместе совершать это «правило» в немногие счастливые наши совместные утра и вечера.

Толстой недаром заметил Михаила Александровича еще ребенком: юношей Михаил Александрович сам пришел к Толстому и отдался его делу. Он ринулся со всей активностью своей натуры в практическое осуществление толстовских идей: устройство столовых для голодающих и организацию толстовских колоний — осуществление самого быта по принятому на веру учению. Таким он оставался всегда — делом подтверждающим свою веру и, когда понадобилось, не пожалевшим отдать за это и самую жизнь. Однако его духовный голод не был насыщен толстовством. Он говорил мне впоследствии, что Толстой столь же гениален в прозрениях о душевной жизни человека, сколь ограничен в области духа. Какие-то страницы Шопенгауэра стронули Михаила Александровича с места и помогли развязать путы рассудочности. Немного поколебавшись в сторону протестантизма, он вошел в православие, узнал его глубокую жизнь, которая скрыта от всех бытовой и государственной церковностью, и стал в силу своего общественного темперамента апостолом православия.

Верность до крайности полюбившейся идее и тут толкнула его на крайний «ангельский» путь. Побыв, однако, послушником в одном из московских монастырей, он скоро понял, что это не его путь. И действительно, при острой своей наблюдательности, ироничности ума, он не вынес бы того требования крайней простоты и отрешенности от всего «человеческого», которые необходимы монаху на его трудном пути личного внутреннего перерождения. Михаил Александрович был слишком жизнедеятелен. И он смиренно вернулся в покинутую им было жизнь, снял послушнический подрясник и занялся делом составления и издания религиозно-философской библиотеки для широкого народа. Темы его изданий не ограничивались одними узко церковными вопросами, но сводились к православию как «столпу и утверждению истины». Маленькие книжки в розовой обложке имели широкое хождение в народе.

В его квартире в доме Ковригиной, что у храма Христа Спасителя, кипела и ладилась работа при небольшом числе помощников. Двери были открыты для всех, здесь можно было встретить всю православную Россию — от странника-мужика и студента-богоискателя до знаменитого литератора или профессора Московского университета.

Много лет спустя, в годы моей жизни с Михаилом Михайловичем Пришвиным, литературный критик Николай Иванович Замошкин{104} принес нам однажды книгу В. В. Розанова «Опавшие листья», на которой мы прочли дарственную надпись: «Дорогому Михаилу Александровичу Новоселову, собирающему душистые травы на ниве церковной и преобразующему их в корм для нашей интеллигенции. С уважением, памятью и любовью В. Розанов». Замошкин помогал распродавать библиотеку семье своего умершего или арестованного друга. Он не знал Новоселова, не знал и того, кому он принес эту книгу.

Сила и страсть борца, которая в юности, по-видимому, и проявилась в кулачных уличных боях, сохранялась в Михаиле Александровиче всю жизнь и прилагалась им к тому делу, которому он был предан. Так, незадолго до падения Распутина, Михаил Александрович подготовил совместно с великой княгиней-монахиней Елизаветой Федоровной, сестрой царицы, книгу, разоблачавшую Распутина и его губительную для России деятельность. Книга была уже им отпечатана, но лежала еще на складе, когда о ней узнали власти, о чем и было доложено государю. Нравственный авторитет Михаила Александровича был так велик, что ему было предложено под честное слово самому сжечь тираж: на этом условии дело предавалось забвению.

Михаил Александрович снискал себе не только всеобщее

уважение, но и любовь. За аскетическую жизнь, проводимую в мирской обстановке, за светлый характер и, я думаю, за весь его светлый облик Михаила Александровича называли в Москве «белым старцем».

Только теперь, когда пройдена жизнь до конца, только теперь мне до глубины стали понятны его настойчивые слова, обращенные как-то ко мне:

— Я не боюсь за тебя, только об одном прошу и тебе завещаю: не принимай на себя никогда никакой формы. У нас с тобою один путь. — Такими словами он окончил свой рассказ мне и о неудачном своем послушничестве, и о своей бессемейности, и о поиске себя — смене нескольких направлений жизни и образов деятельности.

Наша дружба выросла быстро, незаметно для обоих, с какой-то легкой равноправностью и свободой. И теперь, когда я мысленно возвращаюсь к годам общения с Новоселовым, я неизменно вхожу в полосу света, чувствую благоухание иного воздуха, которым довелось мне так согласно и так недолго с ним дышать. В этом свете и в этом воздухе мы забывали о разности возраста, пола, обо всех утомительных условностях человеческого бытия.

Михаил Александрович рано разошелся с Толстым и, разойдясь, порвал всякое с ним общение. И, к чести Льва Николаевича, он сам протянул руку своему бывшему другу: последнее в жизни письмо из Оптиной пустыни было написано Толстым Новоселову. Михаил Александрович не успел уже на него ответить. Впрочем, он мне сказал, что и не ответил бы, если бы даже Толстой и остался жить: Михаил Александрович не принимал толстовского отношения к Личности Христа, в чем по существу и заключался их непримиримый спор.

С этим-то человеком и устроил мне встречу NN. В тот знаменательный день вместе с Михаилом Александровичем я встретила за столом еще Сергея Николаевича Дурылина{105}, впоследствии ставшего известным советским искусствоведом. Вот как написал о нем Б. Л. Пастернак: «Это он переманил меня из музыки в литературу, по доброте своей сумел найти что-то достойное внимания в моих первых опусах. Он жил бедно, содержал мать и тетку уроками и своей восторженной прямотой и неистовой убежденностью напоминал образ Белинского, как его рисуют предания» («Люди и положения»).

Это был запостившийся, строгий, без улыбки, молодой человек, принявший недавно священство, вопреки церковной практике будучи неженатым. Это имело тяжелые последствия для его судьбы, о чем скажу в свое время… Но в те годы, когда

ломалась вся жизнь России, чего только не пробовали, в чем только не ошибались, какие подвиги не совершали и какой гибелью не погибали дорогие наши, дерзкие в своих крайностях русские юноши! Так было в политике, в семье, в искусстве и, конечно, в церковной жизни России.

Первое знакомство оставило у меня лишь чувство стеснения перед этими людьми, с какой-то их большой, неведомой мне жизнью, войти в которую я, вероятно, недостойна. Михаил Александрович внимательно ко мне приглядывался за столом и, прощаясь, пригласил к себе, назначив точно день и час. Я еще не понимала значения этого знакомства, но потянулась безотчетно к протянутой мне в помощь руке.

Большая квартира Михаила Александровича походила скорее на книжный склад. Смутная была я в то первое свиданье. Сначала слушала, молчала и не открывалась. А Новоселов говорил сам и не расспрашивал меня ни о чем. Тогда мне захотелось рассказать ему о прошлом — это оказалось легко. Он особенно близко к сердцу принял мой рассказ о матери, о горе ее и возрождении, и о нашей выросшей с нею дружбе после смерти отца. Я не побоялась даже коснуться в рассказе болезненного воспоминания о разговоре с отцом на кладбище незадолго до его гибели.

Михаил Александрович указал мне на большой портрет своей матери, висевший над его постелью. Она умерла незадолго перед нашим знакомством.

— Я любил ее всю жизнь и по ночам, уже взрослым, уже стариком плакал от мысли о неминуемой ее кончине. И я стал просить о силах пережить это будущее горе. Когда она скончалась, я почувствовал не только покой, но великую радость, которую могу сравнить только с радостью на Светлое Христово Воскресенье. Вас прошу, всех прошу: поминайте иногда рабу Божью Капитолину!

Я сидела на диване, а он ходил передо мной по комнате, иногда останавливался и обмывал меня взглядом голубых глаз из-под очков. Из этих глаз на тебя струился поток сочувствия. Он говорил мне, помню, о том, что церковь Христова существует и сейчас, что она жива, она — не остаток ушедшей безвозвратно истории, что в храмах живет благодать, а не искусство, оставшееся от былой веры. Эта жизнь Благодати, или Святого Духа, разлита невидимо в человечестве. Она мелькает повсюду, то в отдельном поступке, то в слове, то просто в улыбке человека или прикосновении его руки. Она сочится как родник среди несчастий человеческой жизни.

— Господь обещал и не отнял у мира своего обетования, — сказал он.

Про себя Новоселов сказал, что воочию увидал святость в недрах православия и после того отдал ему душу.

Он говорил и словно вытягивал меня из тумана, в который я была погружена. Но вот он остановился у окна, вгляделся и поманил меня:

— Подойдите, посмотрите!

Я увидала знакомый белый китель, который мелькал перед окнами дома вперед и назад. Мы оба отошли от окон в глубь комнаты, и ни слова больше не было сказано между нами об этом.

— Я в вас заметил одну черту, — продолжал Михаил Александрович, — из-за этой черты вы много примете горя и другим причините его. И за собой я знаю эту слабость: нам с вами трудно отказывать людям. Это не только деликатность — это отсутствие мужества, оно может завлечь на гибельные дороги.

Много-много раз Михаил Александрович повторял мне впоследствии:

— Ни в чем я за тебя не боюсь, все вынесешь, из всего выберешься своими силами. Одна у тебя слабость, и помни мой завет: не умри от «любезности». Вот что, — сказал он мне на прощанье в то первое наше свиданье, — садитесь-ка завтра на поезд и поезжайте в Зосимову пустынь — это по Ярославской дороге мужской монастырь. Там игумен Герман, великий молитвенник и мой духовник. Там живет в затворе о. Алексей, он человек благодатный{106}. К нему я вас и посылаю, и да поможет вам Господь…

Я увидала в руках у Михаила Александровича большой медный крест, настолько древний, что вся резьба по металлу на нем стерлась от прикосновений рук и губ. Впоследствии он говорил мне, что крест этот — великая святыня.

— Поезжайте, дохните благодатью, убедитесь, что она не оставила людей, — сказал мне Михаил Александрович на прощанье. Но я и так уже знала, что отныне в мире не покинута. В то первое свиданье я видела ростки обновления, чувствовала благоухание иного воздуха, хотя передо мной был человек, которого я впоследствии узнала ближе и в его силе, и в его слабости. Но именно через него в то первое свиданье мне блеснул Свет, и я об этом свидетельствую. Отблеск того же Света видала я еще минутами на Михаиле Михайловиче Пришвине. Он тоже пронес через всю жизнь тайную (порой тайную от себя самого) веру и подвиг во имя нее. Иногда он даже физически мне напоминал Новоселова. Даже в телесном составе их было нечто общее. И еще, в самом деле Михаила Александровича я назвала бы образцом русского человека, а вторым в моей жизни я назвала

бы Пришвина.

Если мне суждено досказать до конца свою жизнь, я еще приведу не один пример этого сияния, увиденного мною через человека. И пусть меня спросит строгий читатель: «Видала ли ты в своей жизни несомненный духовный свет?» Богословы называют его Светом Фаворским, Светом Софийным — я не смею касаться этих слов, но на вопрос: «Видала ли ты в жизни этот Свет?» — «Да, видала!» — отвечу я.

И все же после свиданья с Михаилом Александровичем камни были навалены на мою душу, и двигалась я еще как бы во сне. Иначе как объяснить, что, отправляясь на следующее утро по железной дороге в монастырь, я не подсчитала, хватит ли у меня денег на обратный путь.

От маленькой станции Орсаки за бывшим Сергиевым, я шла в монастырь, не замечая природы, не думая о том, что меня ожидает. Но это было не простое равнодушие. Это скорее походило на глубокий сон, в который погружается сильно усталый человек.

Монастырь показался мне крепостью, стоящей на другой земле, а не в центре страны, по которой в это время бурно проходила революция.

В тихой гостинице со смешанным запахом старого дерева, постного масла и плохо проветриваемых коридоров встретил меня монах-гостинник. Его равнодушно-зоркий глаз, казалось, ничем нельзя было удивить. В то же время по обязанности своей он был обходителен и, ни о чем не спрашивая, определил меня в комнату с двумя кроватями, одна из которых уже была кем-то занята.

— Отдохни, отдохни, матушка, — ласково приговаривал он, глядя поверх моей головы и думая о чем-то своем. Я не сразу добилась, чтобы он услыхал мой вопрос, как попасть к старцу Алексею.

— Не попадешь, и не надейся, — недовольно замотал он головой, когда мои слова дошли, наконец, до его сознания. — Недугует он, того и гляди преставится. Сама увидишь, какая толпища к нему домогается. Послушник хорошо одного-двух пропустит. Недугует отец Алексей, и не надейся.

Я не огорчилась — таким равнодушием было сковано сердце.

«Наверно не отошла еще служба, — подумала я, — полагается пойти, раз приехала в монастырь». Вот он, храм внутри ограды, окруженный четырехугольником братских корпусов.

В тот раз я впервые в жизни попала на строгую уставную службу, какую не увидишь в обычных «мирских» храмах. В

монастырской службе ни одного лишнего движения ни у совершающих ее, ни у стоящих неподвижными рядами монахов в левой половине храма. Зато в правой, среди мирских богомольцев — непрестанное движение, поклоны, вздохи, шепотом вопрос соседу, там передают свечу, там плач ребенка, уговоры матери… Мятется-течет неудержимо жизнь. А над нею — ровное, отрешенно-сладостное качанье-плеск монашеского хора, он ритмично переговаривается с клироса на клирос. В монастыре соблюдался еще древний чин песнопения, сложившийся в ту пору, когда певцы были неграмотными и один из них, избранный «канонарх», произносил нараспев стих, который повторял весь клирос, выводя музыкальной вязью. Правый хор исполняет песнь — стихиру. Левый выводит следующую — в ней развивается смысл предыдущей. После этого оба хора стремительно, но почти неслышно (только шелестят длинные одежды), спускаются с клиросов на середину храма и, соединившись, исполняют вместе завершающую смысл всего пропетого стихиру. Это действие называлось «катавасией».

Один музыкант как-то сказал мне, что музыка — выражение космической гармонии и, вероятно, райское искусство, ведь недаром говорится о музыке сфер и пении духов вокруг престола Всевышнего, но именно потому, что она — небесная, она отзывчивей, подвижней других искусств и в падшем мире оказалась отзывчивей на зло. Действительно, музыка, как ни одно из искусств, обладает силой завораживать душу, и против нее у нас в душе нет защиты. Душа перед музыкой обнажена, душа и музыка — одна стихия.

Церковь защищала издревле детей своих от «музыкальных» соблазнов строгостью устава, в котором проверенный веками порядок или «чин»: все богослужение совершается в пределах восьми музыкальных настроений или гласов. Эти гласы столь же неизменны, как и тексты, из которых состоит богослужение.

Правда, наши русские композиторы — и Чайковский, и Рахманинов, и многие другие, писали музыку на темы восьми гласов, но за стены монастырей эта светская музыка не проникала, а так и оставалась «в миру». И это понятно. Жизнь течет, меняется, мелькают века, а Церковь стоит и утверждает неизменное и непреходящее. Это совершает главным образом монастырь, как нетленный ствол растущего дерева — человечества. В узком значении этим «стволом» является устав богослужения в его словесном и музыкальном строе.

Я очень хотела бы воспользоваться моментом, чтоб описать здесь воздействие на душу богослужения, раскрыть, по

возможности, его смысл и художественные особенности. Но из взятого на себя долга не отступать от правды описываемой жизни делать этого не буду: я хорошо помню, что именно в Зосимовой пустыни душа моя была отупелой. Я холодно наблюдала и холодно слушала все происходившее в храме. Доскучав до конца службы, я вышла, наконец, на зеленый дворик и вместе с народом двинулась к келье затворника. Никакой особой «кельи» не оказалось: о. Алексей жил очень прозаически в общем монастырском корпусе. К нему вела лишь особая дверь прямо с улицы, за которой виднелась темная деревянная лестница с перильцами, как в любой мещанской квартире городского жителя. В этом входе к затворнику было все слишком обыденно, разве только не слышно ни криков взрослых, ни плача или смеха детей. Еще виден был в открытые двери чистый деревенский половичок, аккуратно устилавший лестницу и бегущий по ней со ступеньки на ступеньку вверх. Ясно было, что по лестнице почти не ходили.

Внизу же у двери стоял могучий средних лет монах с широким и добродушным лицом, очень похожий на кучера. Он как бы держал в руках невидимые вожжи и управлял большой толпой женщин и мужчин простого народа, в которой тонула и я с таким же платочком на голове, завязанным под подбородком.

Все стояли в полном молчании и чего-то ожидали. Молчанье толпы было необычно и поражало. Монах осмотрел всех, остановился глазами на мне и поманил меня пальцем. Я не отнесла его жест к себе и не двигалась. Между тем все глаза обратились на меня, толпа послушно раздвинулась и без ропота вынесла меня вперед, слегка даже подталкивая. Монах молча указал мне на лестницу; взбежав по половичку наверх, я уже стояла перед входом в келью, робея: я готовилась встретить сурового и необычного человека — затворника.

— Но, но, — негромко, но ободрительно крикнул мне снизу послушник, — не стой — толкни дверь-то!

Я отворила дверь в довольно просторную комнату, убранную истертой мягкой мебелью и картинами духовного содержания, со множеством цветочных горшков у окон. Видно, хозяин любил цветы. В комнате было много солнца. Веселый деревенский половичок перебрался как ни в чем не бывало с лестницы через порог и продолжал свой путь по комнате. Я тоже сделала по нему было два шага и остановилась: из соседней комнаты навстречу мне шел старик в простом подряснике, с маленькой шапочкой-скуфьей на голове, из-под которой выбивались седые пряди. Он был высок, но сильно сгорблен, с невзрачным русским лицом, какие во множестве видала я у добродушных стариков из народа. Я поцеловала его благословляющую руку. Он спросил, не помню о

чем — все это уже исчезло из памяти. Дело было не в словах. Было же что-то за этими забывшимися словами и в этом человеке, если от его прикосновения сразу все повернулось, как от легкого толчка поворачивается глобус на оси и открывается обратное полушарие. Так во мне совершился поворот, и я увидала обратную сторону своей души, и в горьких рыданиях бросилась на грудь к этому незнакомому человеку, как если бы передо мною был давно мне известный, родной, может быть сам мой покойный отец!

О. Алексей обнял меня за плечи крепким движеньем, посадил на диван, сел рядом и, так же крепко держа меня одною рукой, другой стал гладить по наклоненной голове. Когда я, наконец, подняла к нему свое мокрое лицо, я увидала, что он плачет вместе со мной крупными детскими обильными слезами. И я стала ему рассказывать обо всем, что лежало на сердце, что вязало совесть, что было пережито, что я любила и к чему стремилась. Я говорила, а он слушал серьезно, доверчиво и только иногда вытирал рукой слезы, мешавшие глядеть на меня, этот старик, который за минуту до того не знал о моем существовании и с которым я сейчас расстанусь навсегда. Он слушал, а я говорила, пряча лицо на его груди, ощущая сладковатый запах его подрясника, старческого тела и еще чего-то священного, чем пахнут старинные вещи, книги, комнаты.

— Ну, что же, деточка, — сказал он мне, когда я кончила свой рассказ. — Выйдешь замуж, встанете вы утром, самоварчик поставите, — продолжал он медленно, сам вглядываясь в меня. — Сядете вы за чаек рядом — вот-то славно будет? — закончил он с поразившей меня вопросительной интонацией.

— Нет, нет, только не это! — вырвалось у меня.

— Так что же, Церкви послужить хочешь? — строго спросил он у меня.

Но я молчала, я не могла еще тогда понять его «Церкви», мне слова эти показались умалением моей жажды. Самое христианство, тем более «местное», православие казалось мне тогда этапом мировой истории. Эта история раскрывалась перед моим наивным сознанием простым арифметическим рядом событий: одно, другое, третье. Противоречивость явлений земной жизни, их невместимость в обычное сознание еще не были мною тогда пережиты до конца. Я не доросла еще тогда до понимания, что такое единичное явление, как христианство, может перекрыть всю историю, что одна Личность может перекрыть всю массу людей, называемых человечеством. Я молчала: до пришвинского понимания мира мне было еще далеко.

О. Алексей встал и начал передвигаться в соседнюю комнату,

не выпуская моей руки, второй же рукой придерживаясь за мебель и стены. «Недугует батюшка, — вспомнила я гостинника, — преставится скоро». Вторая комнатка была спальней, маленькая и почти пустая. Я заметила кровать, образ с лампадой и аналой перед ним с раскрытой книгой. «Стоя читает», — подумала я. В углу громоздился нелепый комод. О. Алексей с трудом выдвинул ящик, наклонился, долго что-то искал. Наконец поднялся. В руке он держал маленький деревянный образок св. Иоанна Предтечи.

— Вот тебе мое благословение на аскетическую жизнь, — сказал он и благословил меня этой иконой первого новозаветного пророка и подвижника, которая у меня сохранилась.

Когда я спустилась во двор, толпа там не уменьшилась. Она снова молча меня пропустила, и я пошла, ничего вокруг не узнавая: и постройки, и поля, расстилавшиеся за воротами, и самое небо надо мной — все было новое, словно я перед тем спала, а теперь проснулась. Я с любопытством оглядывалась, но не этот внешний мир был главным в моем новом состоянии: главным была моя душевная легкость и свобода. Как жить дальше, было неясно: я сознавала, что жизнь моя только начинается, что слова о. Алексея — это был заброс удилища, а рыбы самой не видать — она плавает еще в далеких водах. Но одно было несомненно: от тягостного плена я была освобождена; и не надо было даже писать, я могла теперь ему сказать правду. Внутри меня стало теперь мягко и округло, исчезли углы, на которые с болью натыкалось прежде сердце. Я старательно обходила мыслью этот новый дивный мир моей души — только бы его ничем не нарушить.

«Зачем мне Христос? — вспоминаю я вопрос, преследовавший меня в те несколько переломных лет, когда я читала исключительно теософские книги и индусскую литературу. — Разве недостаточно чувствовать: Я — и Тайна? Зачем мне этот Посредник? Почему я так привязана к этому образу и имени? Детские впечатления? Верность отеческому преданию?» Много лет пройдет, пока я доживу до ответа. А пока мне давался в руки ключ к пониманию христианской аскетики — идеи очищения и монашества как врачебницы, восстанавливающей утраченную цельность. Вот где объяснение моего крутого поворота к церковной аскетике с того дня.

Сидя на скамейке у ворот, я бездумно наблюдала, как проходил светлый день позднего лета. Уже кое-где на березах и липах желтели отдельные листья, и далеко виднелись в прозрачном воздухе обжатые поля со скирдами невывезенного

хлеба. В воздухе стояло тихое тепло.

«Но мне надо в город», — вспоминаю я и тут обнаруживаю, что у меня не хватит денег на обратный билет. Я улыбаюсь своей оплошности, но покой не покидает меня. «Образуется!» — думаю я.

Поднимаюсь в комнату, бросаюсь на кровать и сразу засыпаю{107}.

Проснулась я, когда уже закатное солнце косо заглядывало в окна. Но не солнце разбудило меня. Меня разбудил человеческий взгляд. Напротив меня на второй кровати сидела моя соседка. Она пристально разглядывала меня и улыбалась.

— Неужели это вы! — воскликнула я.

— Я давно на вас смотрю, я вас сразу узнала, только не решалась разбудить, — ответила она.

Это была уже забытая мною девушка с «Лебединого озера» Зинаида Николаевна Барютина.

Мы принялись рассказывать друг другу все пережитое за эти годы, приведшее к встрече в монастыре. Мы говорили так, словно были старыми, испытанными временем друзьями. Нам помешал гостинник, который узнал от кого-то, что я попала к отцу Алексею вопреки его предсказаниям. Он вошел к нам, въедливо вгляделся в меня и, наконец, высказал вслух свои размышления:

— Ну, матушка, ты бы так и сказала, что у тебя есть к отцу Алексею грамотка от кого поважней. У него много ученого важного народу бывает. А чтоб просто попасть — не может быть того, послушник не пустит: совсем отец Алексей у нас хворый. Ты бы так и сказала, что у тебя грамотка.

Как ни уверяла я монаха, что попала безо всякой грамотки, он мне откровенно не поверил, не стал и слушать моих объяснений и в заключение предложил принести монастырских шей. Мы весело переглянулись с Зиной: мы обе были очень голодны.

Зина рассказывала про себя: окончив высшие курсы, она попробовала работу учительницы, но это ей оказалось не под силу: она, свободная в общении с отдельным человеком, не могла управлять классом, терялась. Она ушла из школы и стала зарабатывать частными уроками на дому — это было ей легко, так что отбою от уроков не было.

— Зарабатывать надо: у брата, нашего кормильца, теперь своя семья. Старшая сестра Екатерина, избалованная в обеспеченном замужестве и совсем еще молодая, овдовела, вернулась к нам. Ей трудно смириться с нашим бытом и со своей оборвавшейся судьбой. Характер у нее упрямый, самовластный,

горячий, но душа, расположенная к добру. С ней предстоит долгая борьба с любовью и терпением, пока она поймет… — что поймет, Зина не договорила.

— Вторая сестра Евгения, она немного старше вас, та у нас красавица. Учится живописи и служит в канцелярии ради заработка. Мы с ней близки, хотя и очень разные. Она ловкая во всяком практическом деле и в доме у нас за мальчика. Все мужские дела — на ней. А над всеми нами наша мама, — продолжала Зина. — Вам надо узнать нашу мать — это сама Россия.

— Как так? — не поняла я.

— Она и великодушная, и смиренная: она умеет перешагнуть через себя, забыть себя начисто ради того, что любит. Я живу с детства среди простого народа и в лучших русских людях часто это свойство замечаю. Я расскажу вам о нашей матери? — просительно сказала Зина. — У бабушки нашей, тоже рано овдовевшей, была скорняжная мастерская, я бабушку помню хорошо. Помню ее суровой, неулыбчивой, но очень заботливой к своим работникам. До сих пор ее бывшие «мальчики», теперь седеющие бородачи, встречаясь с нами, ее поминают добром. Вот, когда дочь подросла, она и говорит ей: «Выбирай, что тебе по сердцу: замуж — приданое дам; а не хочешь замуж — иди в монастырь, молись Богу за себя и за грешный мир, живи строгой жизнью, дам тебе туда вклад». Мама выбрала замужество. Любил ее отец наш как душу, он был предприниматель, горячий, фантазер и неудачник в делах. Он рано умер и оставил ее молодую с кучей детей. Мама не роптала. Она сжалась во всех расходах, терпела зависимость от богатых родственников ради своих детей, всегда весела и бодра. Придет, бывало, утром, остановится в дверях нашей детской комнаты: мы еще только проснулись, а она уже сбегала на рынок и по дороге заглянула на минуту в церковь. Стоит в дверях, худенькая, розовая с воздуху и от быстрой ходьбы — сердце у нее больное. Печь уже топится. У нас хоть и Москва, а до сих пор русская печь в доме. Мама скупая на ласку, а изнутри светится. «Вот, — говорит, — вот, Зина, иду я по улице, смотрю на людей: все они торопятся, у всех забота, всем трудно, и все для кого-то стараются — живут. И так мне их жалко, и так я их люблю!» Говорит, а потом неожиданно кончит: «Как хорошо жить, Зина, слава Богу за все!» И она ведь счастлива! она умеет переступать через свое «хочу — не хочу», она благодарна жизни такой, какая она есть. Это я и называю духом России.

А ведь в опыте христиан, — продолжала Зина, — утренние и вечерние молитвы установилось начинать с благодарения, высшим настроением святые считали не просьбы, не покаяние, а

слова благодарности — радости о добре и пренебрежении злом. Благодарный — это человек, умеющий быть счастливым; по-моему, это высшее качество души.

Эти Зинины слова всплыли в памяти, когда через много лет в дневнике Пришвина я вдруг прочитала о том же самом: «Благодарность — это радость о добре, пренебрежение злом. Благодарный — это человек, умеющий быть счастливым, а значит, верящий в смысл происходящего, это высшее качество души. Погода и благодарность — родные: одна родилась в природе, другая — в душе человека. И чувство гармонии в душе человека вышло из благодарности, и в этом открылся человеку Бог. И вот в это чудесное утро благодарю тебя, Боже, за чудесные темнеющие стручки акации с ее маленькими птичками, и нагруженные подарками для белок еловые вершины, и за всякую вещь, переданную человеку от человека: за стол, за табуретку, за пузырек с чернилами и бумагу, на которой пишу».

«Какой день пришел в грозе и как радовал на закате сквозь лес красный глазок солнца. Боже мой! если так плохо между людьми, то откуда же приходит к нам это дыханье природы с ее гармоническим утверждением радости жизни? Благодарю, и не знаю, теряюсь и мучусь, как же мне дальше жить с неблагодарными!»

«Есть благодатное состояние души во Христе, когда человек только благодарит Бога»[{108}].

— Значит, это качество не у одних монахов? — спросила я тогда Зину.

Зина улыбнулась:

— Ваша правда — не у одних монахов. Это повсюду разлитая новая жизнь, начатая в первохристианстве. Но она разбита, разбросана по крупинкам, по лучам… надо подмечать ее, узнавать и беречь. Я походила, послушала по разным сектам народным, убедилась, что все они родились из православия, отпали от него и от этого «опростились» и победнели мыслью. Тогда я пошла прямо в православную церковь. Это она донесла до нас образ Христов и Евангелие, по грязи несла, по крови и через всю страшную человеческую историю. Больше идти мне некуда и нечего искать. С тех пор я так и живу. Работаю весь день дома ради хлеба, а ранним утром и вечером иду в храм.

— Каждый день?

— Каждый день, и утром и вечером. Все мирское: книги, театры, развлечения — все стало ненужным. Сестра моя Женя тоже со мной. А Катя понемногу успокаивается возле нас. Вот и вся наша простая жизнь.

— Да у вас тот же монастырь, только много строже, —

сказала я, робко на нее поглядывая. — Но если все будут, подобно вам, только по своим кельям, кто же будет двигать и устраивать общую жизнь?

— О какой общей жизни вы говорите?

— Той, которой мы пользуемся: производство, торговля, жилища, больницы, школы, почта, войско и мало ли еще что…

— То общее, о котором вы сказали, нам навязано насильственно при нашем рождении. Мы очутились в этой жизни не своей волей. Никто не скажет, что человеку нужно и что для него было бы лучше… Давайте представим себе на минуту, что мы решили определиться в жизни совершенно свободно. Посмотрите, как по-разному это будет выглядеть у каждого из нас. Вот, к примеру, сестра моя Катя. Она служит экономистом и уверена, что от нее всем польза. Она удовлетворена и поэтому свободна. Для меня же ее работа была бы тюрьмой, и потому если буду себя насиловать и пойду работать в учреждение, то всем будет от этого вред. Моя свобода сейчас в том, что я своим образом жизни зарабатываю себе право на свою бедную жизнь в обществе: я никому ничего не должна. Вы спросите опять: «А все-таки, в чем ваша лепта в общую пользу?» Я отвечу: те незаметные усилия, которые я делаю ежедневно, собирая свое внимание в молитве, отдавая себе отчет за каждое слово, стараясь налаживать мир в семье и со всеми, с кем встречаюсь, и, главное, не щадя себя на это дело до конца, эти мои усилия — не меньший вклад в общее дело — как если бы я строила мосты, лечила людей или стояла на посту милиционером.

— Вы сказали: молитва — это работа внимания. Я перестала после одного страшного в своей жизни события молиться. Но я была не права: я просила по своей воле… Вы же очищаете в себе место для высшей воли, вы и молитесь для того, чтобы освободиться от себя, от своей маленькой личной воли… Да, это тяжкий труд! Он не виден и даже некоторыми невеждами осмеян{109}.

— Ах, жизнь так скоро пройдет, пусть смеются! — воскликнула Зина и тряхнула своей остриженной совсем юной головой; в лицо ее хотелось смотреть не отрываясь.

— А помните, вы говорили, что хотели бы стать балериной. И теперь, когда вы мне рассказываете про свою мать и про Россию, у вас такие выразительные интонации, такое подвижное лицо, такие точные движения рук: в вас, конечно, пропадает сценический талант — вы актриса.

— И даже несомненно, — неожиданно согласилась Зина. — Мне это еще в гимназии говорили. Но через это я уже перешагнула. Если бы мой талант был как у Ермоловой{110}… А

так — стоит ли добиваться, если даже с детьми я теряюсь? Впрочем, я умышленно никаких рогаток жизни не ставила. Вот, к примеру, сестра Женя мечтает о монашестве, боится брака, а я и брака не боюсь. Если бы мне это выпало на долю, у меня хватило бы, кажется, любви и на мужа, и на многих-многих детей.

— Значит, и вы мечтаете, как все девушки? — удивилась я и обрадовалась, — как и я мечтала о земной любви?

— Нет, я не успела дожить до этих мечтаний. Но тут моя личная тайна, я о ней никогда никому не говорила. Но вам скажу, тебе скажу, — поправилась она, — потому что ты мне друг и сестра на всю жизнь — я это предчувствую. Только пойдем отсюда на волю, в поле пойдем!

Скоро мы были уже за монастырской оградой на желтом жнивье в последних закатных лучах. Зина шла впереди по узкой тропке, прямая и легкая, как мальчик.

— Ты на мальчика похожа.

— Меня в школе звали карандашиком.

— Я смотрю на тебя и думаю о той «земной» любви: кто бы посмел с тобой обойтись просто как с женщиной?

— А я думаю об этом по-другому. Посмотришь на мужчин — какие они уверенные в себе, сильные, а на самом деле это дети! К ним наклониться надо и пожалеть, они в глубине души этого от нас и хотят… А тот, о ком девушка мечтает, тот должен быть бесконечно выше и сильнее ее. Но разве может быть такой после… — Зина остановилась.

— После кого?

— Вот об этом я и хочу сказать, для того и повела тебя в поле… Я тебе все покажу здесь, на природе… Видишь поле, оно выжжено солнцем. Представь, что идет оно в бесконечность, все такое же желтое и сухое. А посреди крест с распятым на нем Человеком, который умирает в жестоких мученьях, всеми покинутый и осмеянный. Но Он до последнего вздоха не теряет сознания неразрывности Своей с каждым существом во вселенной, участия во всем, ответственности за все. Пойми, это ведь и есть жертва и крест! Он-то уж это знает в совершенстве и берет на Себя свободно, и несет все наше убогое добро и слепое наше зло. И зло! А ты можешь себе представить величину этого зла, уже совершенного и которое будет еще, конечно, совершаться до конца нашей истории? Заметь: Он идет свободно и зовет нас с тобой также по доброй нашей воле. Так Он открывает нам дорогу в новую жизнь на земле — жизнь совершенной любви. С этой верой Он и умирает. Но многие ли из Его учеников сразу понимают глубину найденного смысла? Вот после того, как в детстве я услыхала этот рассказ, я полюбила Христа. Даже имя

Его я люблю больше всего мыслимого в мире. Помнишь, в детстве парадные поздравительные открытки на Пасху? На них яркие Х и В, обсыпанные блестящим порошком. У меня маленькой сердце заходилось от радости при виде этих букв, хотя открытки, конечно, были грубые, нехудожественные. Как после этого мне ждать еще кого-то? Моя душа полна. Поверь, это не гордость! Мне некуда вместить исключительную любовь к тому или другому мужчине.

— Я это хорошо знаю, ты поняла сущность своей души, ее призвание. Я это знаю с детства: стыд принадлежать человеку. Никто не достоин моей души, и в то же время я стыжусь ее несовершенства. Неразрешимое противоречие! Когда еще я говорила себе эти странные слова: «Я — не жена!» Но в то же время страстно мечтала о любви земной, о близости и душою и телом. Как это во мне совмещалось — не знаю, и в этом мое мучение. Да, я совсем другая, чем ты!

— У меня все просто, — ответила Зина, — я этого не знаю и знать не хочу.

— Перешагнула?

— Да, перешагнула! Вот так! — Зина широко развела руки и стояла передо мной как молодое деревце. На закатном небе четко вырисовывался девичий силуэт.

— Как тогда, помнишь? Перед Большим театром ты говорила, что любишь ветер.

— Люблю, я не меняюсь. Не бойся жизни, она пролетит, а молодость останется{111}.

Признаюсь, мне всегда было страшно учиться молитве: боялась системы, техники там, где ее не должно быть. И больше всех ценностей мира я дорожу способностью бесхитростно обращаться вниманием в мир вечности, способностью, сохраненной от детства, от первых уроков матери. Более того — если я ее потеряю, я потеряю *всё.* Я боюсь наблюдать молящихся людей: я боюсь в них подсмотреть наигранность чувства. Но сколько раз в течение жизни я становилась в храме так, чтобы видеть Зинино лицо! Я смотрела на нее и думала: «Христова невеста — это не поэтическая выдумка, вот она, ушедшая святая Русь». Ушла ли она и впрямь с нашей земли? Может быть, просочилась незаметно, как вода к корням деревьев, в современность? Новая жизнь часто не помнит о своих истоках и ничего не знает о Боге. Но ценится ею бессознательно все то же: любовь, чистота, самоотверженность… Люди по-прежнему ищут свой единственный идеал человека, любуются им, хотя и забыли его источник. Так и душа России, может быть, молчаливо живет и

все-таки растет.

Я вспоминала наш разговор с Зиной, когда читала впоследствии дневник Пришвина и обнаруживала в нем созвучные моим тогдашним мыслям мотивы: «Нужна ли девственность? родить „как все“ или самому родиться и тем дать пример возможности изменений в жизни и управления ею как силой? Культура монашества и есть попытка управления жизнью»{112}.

Правда тогда была, конечно, у Зины. Зина действительно была «не-веста» — не ведающая зла — она в своей чистоте могла равно благоговейно думать и о браке, и о девстве. Самый порок, как заноза, был вынут из ее души. Она рассказала мне однажды, что в юности, мечтая об одинокой девственной жизни, отданной на молитву за мир, она искренно думала, что этот уход в более для нее приятное и легкое от христианского призвания женщины — семьи, будет нарушением воли Божьей, и она тогда каялась в своем стремлении как в слабости.

На фоне Зининой души ярко выступает сейчас мое «гнушение» браком: и правда его, и ложь. Я искала спасения от темной стихии, которую с детства мне дано было увидать в человеческом мире, — она меня отвращала, но подчас тайно манила мое воображение. Единственной защитой была неискоренимая ненависть к темному сладострастному миру, где чувство понималось как чувственность; где навстречу жажде любви предлагалась до конца удовлетворенная собою страсть. Этого удовольствия, удовлетворения я точно не могла принять. Я никогда не соглашалась с этим зовом, но в то же время чувствовала себя до странности беззащитной перед ним. «Не умри от любезности», — шутил М. А. Новоселов, но это было не шуткой по существу. Бессильной оказывалась я перед добродушными и легкомысленными людьми, начиная с Клавдии и кончая человеком, из-за которого приехала в Зосимову пустынь. Я отмалчивалась, мне было стыдно, я не умела бороться, сама удивлялась себе, и в то же время я твердо знала, что никогда за ними не пойду. Женственность? Мне предстоял долгий путь обретения мужества, как будто у меня было только одно крыло и надо было вырастить второе. На этот-то, как я понимала, путь благословил меня тогда отец Алексей иконой Иоанна Крестителя.

Внешне этот путь будет походить на утомительное блуждание среди непонимавших меня людей. Моим спасением из «блуда» в далеком будущем явится встреча с Михаилом Пришвиным, единомысленным человеком, с которым мы будем жить воистину в одно дыханье. Можно ли будет эту жизнь назвать браком? Если это был и брак, то не простое согласие на зов природы, а нечто

большее, что стало для обоих полной и несомненной любовью. Такое осуществится в моей жизни только на ее закате. «Наша встреча с Лялей дана нам в оправдание прошлого»{113}, — записал он однажды, и сейчас я о своем прошлом пишу. О прошлом Пришвина свидетельствуют его дневники.

Для ясности всего дальнейшего надо заметить, что и толстовство с его гнушением плотью, владевшее умами двух поколений — наших родителей и нас самих, тоже родилось из осознания испорченности природы и жажды возрождения. Но толстовство исходит только из испорченности человеческой природы, а христианство рассматривает тело как Божественное творение, как храм Божий, нуждающийся в очищении. В основе монашеской аскетики — тоска по утраченному небесному состоянию девства совершается в благоговейном смирении перед волей Божьей, включая брак. В толстовстве гнушение плотью становится средством для нравственного самосовершенствования и превращается в гордыню. К самому Толстому, что видно по дневнику его последнего года, приходит новое понимание жизни{114}.

Еще было светло, когда мы возвращались к ограде монастыря. У ворот мы подошли к группе женщин в платочках, у которых шел взволнованный разговор. Все они смотрели наверх, на большой квадратный образ Богородицы, вделанный в камень, крестились и принимались о чем-то совещаться. Мы прислушались:

— Синячок явственно… на щечке! — говорили одни.

— Грех-то какой! и знамения не принимают! — вторили другие.

Наконец мы поняли, что какие-то парни-«безбожники» бросили камнем в образ, и вот появился на Лике синячок. Мы подошли близко к иконе — синячка не было, но женщины его видели. Простые сердца требовали знамения — и оно им явилось. Женщины видели синячок, как дети видят воображаемую обстановку и предметы своей игры. Я не видела и знала, что синячка для меня нет. Я и сейчас не могу принять неблагоговейное отношение к законам природы, пусть падшей, но боготварной; не принимаю нежелание считаться с этими воистину чудесами, не могу принять их обхода с помощью «чудес». Спор о границе воображаемого и реального стар как мир и для серьезной философской мысли, кажется, неразрешим. В описанном случае с синячком на Лике иконы каждый из нас был, мне кажется, прав, каждый — живя в своем мире. Из Пришвина: «Вычитал у Гоголя в „Портрете“, что законы естественной

истории являются средством Божьим, ограждающим нас всех от проникновения в жизнь нашу чудес антихриста… Сами законы природы, не допускающие этих „чудес“, сами по себе являются чудом божественного происхождения. Посредством законов природы силы ада и неба вступили между собою в борьбу. Законы даны против дьявольской магии, но дьявол их обратил на соблазн человека: машина стала повелевать»{115}.

К нам подошел старик-гостинник. Он не то что не видел синячка, он им не интересовался. Он, вероятно, не задавал себе никогда вопроса по поводу того чудесного, чему был выучен с детства, с молоком матери впитывая сначала мир сказок, потом — священных легенд. Для гостинника этот мир «чудесного» был непреложен, как природа, но он его не замечал, о нем не думал, подобно крестьянину, живущему постоянно в природе и поэтому ее не замечающему. Больше того, во всем, что требовало размышления, решений, выдвигаемых жизнью, монах был скептиком. Так было с его недоверием тому, что я попала к затворнику «без грамотки».

Зина не смела не верить в синячок потому, что в него верил весь окружающий ее верующий народ, и лучше ей вместе с этим народом ошибиться, чем оставаться на отдельном пути. Я же не могла себе лгать: я не видала ничего. Я стояла среди толпы, мне было грустно и снова одиноко; и ясно мне было: та цельная жизнь, в которой, может быть, и совершались материальные чудеса и открывались тайны природы — та цельная жизнь сознания, не тронутого анализом, распадается. Впрочем, скоро распадутся даже камни, из которых сложен этот монастырь и все храмы моей родины. Распадаются формы ее многовековой жизни. Само время расслаивается и распадается — и в истории, и в физике, и в философии. Это происходило в 1923 году, в центре революционной России, и все мы, думая по-разному, все мы были современниками и в то же время людьми разных веков.

Из Пришвина: «История мировая в анатомическом срезе текущего мгновения всей жизни. В этом разрезе окажется налицо и Египет, и Ветхий Завет, и все, что мы знаем о прошлом. Это история мира налицо, потому что кто хочет — может найти (одновременно) и рыцаря и инквизитора»{116}.

Вот почему я промолчала всю жизнь со своими любимыми спутниками о тысячах своих с ними несогласиях, тоскуя о полном единомыслии хотя бы с одним. Только под самый конец мне будет послан человек, с которым мы во всем согласимся. И это будет как печать на дело жизни, и моей, и его — свидетельство того, что любовь воистину ведет к воплощению идей, а иначе все идеи остались бы пустой мечтой, не заслуживающей внимания.

В первое же воскресенье Николай Николаевич подбил нас четверых на прогулку в Сокольники. Они совсем не были похожи в те годы на теперешний городской парк, это был пустынный лес с множеством зеленых полян и запущенных дорожек, где редко попадется встречный человек. Как только мы расположились на хорошем месте и Николай Николаевич деловито роздал нам завернутые заранее в отдельные бумажки бутерброды, я поднялась, взяла за руку NN и сказала:

— Подождите нас, мы ненадолго…

— Что случилось? — спросил встревоженный Николай Николаевич, когда я вернулась из лесу одна. — Где NN?

— Он не придет, не ждите. Я знаю, он скоро забудет! — сбивчиво ответила я.

Николай Николаевич все понял и задумался.

— Я останусь, — сказал он. — Я пойду его искать. А вы оба уходите.

Александр Васильевич по обыкновению молчал, но я заметила, как радостно заблестели из-под очков его глаза. Я мгновенно поняла причину его радости, на сердце у меня защемило и мелькнуло тревожно: «Как сделать, чтобы вокруг всем стало хорошо?»

Эта тема была источником всего в моей жизни: и добра и зла, которые я в ней совершала. В ней все перемешивалось: любовь-жалость как самоотдача, любовь для себя как жажда воплощения и, несмотря ни на что, совершенная невозможность принадлежать человеку — стремление к какой-то единственной, небывалой, настоящей любви.

Мне надо было отдать Зине свой долг за обратный билет — так я попала впервые к Барютиным. Деревянный домик внутри двора на 3-й Мещанской улице, зажатый большими каменными домами. Комнатки с голландскими печами и маленькими старинными окошками. Высокая, во весь угол божница с семейными иконами и «неугасимая» лампада перед ней. Заботливая ухоженность каждой вещицы в небольшом хозяйстве, на какой ни остановится взгляд.

«Люблю бедность!» — вспомнила я недавние слова Зины. И какой чай! Никогда и нигде не доводилось мне пить такой уютный семейный чай в те годы на нашей разоренной родине, кроме как в доме Барютиных. С приветливостью, с благожелательством, с ненавязчивой готовностью сделать для вас больше, гораздо больше протягивалась вам чашка мягким и законченным движением Катиной руки. Впоследствии Михаил Михайлович Пришвин познакомился с моими друзьями и записал

в дневнике: «Был у сестер. То самое, что я нашел у Ляли, как самое для меня важное: это, прежде всего, неисчерпаемый источник и вообще смутное чувство бесстрашия перед концом своим, то же самое теперь у этих сестер видишь на глаз в их порядке жизни, в устройстве, в утвари, на стертых уголках дверей и столов. Чувство победы человека над суетой и независимость его от внешних событий охватывает, и вот, оказывается, что та Россия, которую я любил и которую будто убили, жива и никогда не умирала»[117].

В то первое посещение Зина подарила мне фотографию с картины Берн-Джонса «Король Кафетуа»[118]. Картина изображает короля, посадившего на свой престол нищенку и снявшего перед нею свою корону. Такова древняя шотландская легенда. Их окружают дети с задумчивыми ангельскими лицами. Я для чего-то много лет берегла эту открытку, и Пришвин увидел ее у меня, взял и вложил в семейный альбом рядом с нашими фотографиями…

В доме Барютиных в мое первое посещение я всех легко узнавала по рассказу Зины. У Жени[119] действительно была голова камеи, сама же она — молчалива и строга. Катя — маленькая и хрупкая: круглые карие глаза смотрели серьезно и прямо из-под выпуклого круглого лба. Глаза эти заранее с тобой не соглашались. Маленький рот был упрямо сжат в бутон на круглом, как солнце, лице. Вьющиеся волосы обрамляли его, выбиваясь из прически. Ловкие на всякую тонкую работу Катины руки были округлы в кисти и в локте, с округлой ямкой там посередине. Катя была упряма, но добра. Зина незаметно на нее влияла, подчиняясь в мелочах и давая Кате полную уверенность, что она управляет их жизнью. Еще я увидала в доме белокурую девушку — почти подростка, она звала Зину на «вы», по имени и отчеству и говорила не по возрасту басом.

— Это моя младшая сестра Людмила, — сказала Зина. — Я с ней много занималась в детстве, она меня особенно поэтому и почитает. Она только что окончила школу, поступила на счетную работу, а для души поет у нас в хоре: у нее хорошее контральто.

— У кого это — у нас? — спросила я. Оказалось, что Зина с Женей в своих поисках напали на храм, где настоятелем интересный человек — о. Роман Медведь[120]. Он разъясняет богослужение, толкует учение древних подвижников об очищении внутреннего человека по «Добротолюбию» и, главное, объединяет своих прихожан в братство для взаимной духовной и житейской помощи.

Здесь нам придется отвлечься, чтоб рассказать о церковных братствах тех переходных двадцатых годов. Братства возникали

повсеместно во всех крупных городах России вокруг выдающихся священников, возникали стихийно, одновременно и так же исчезли к тридцатым годам, уничтоженные органами новой государственной власти.

Надо тут вспомнить, что, по словам Достоевского, Церковь со времени Петра после отмены патриаршества и подчинения ее светской власти была «в параличе». И вот в 1917 году революционное государство отсекло ее от себя как инородное тело, как ненужный балласт, и она стала бедной, беззащитной, но совершенно свободной. А это и было единственно необходимое для нее, чтобы ей стать истинной Церковью. Быть священником или просто молящимся стало невыгодно и даже опасно, поэтому в церкви оставались теперь только верующие, бескорыстные люди. Молодежь, не вовлеченная в политическую деятельность нового государства, подобная мне и Александру Васильевичу, потянулась к Церкви: это было место для свободных размышлений, мир высокого искусства, хранивший связи с прошлым родины и ее духовной культурой. Новое, привносимое в жизнь революцией, доходило до нас столь смутно, что казалось временным и обреченным, — оно было в наших глазах чужеродно, разрушительно и жестоко.

После рассказа Зины я сейчас же пошла в храм святителя Алексея, который стоял окруженный старыми липами в Глинищевском переулке. О. Роман говорил убежденно. Как типичный интеллигент (он был в прошлом учителем), пришедший в церковь из мирской жизни, а не плоть от плоти ее, о. Роман пытался организовать жизнь прихожан своего храма по-другому, по-новому, то есть пытался придать форму той сверхличной стихии, которая называется церковностью и которая, по нашему опыту, глубже усилий отдельных проходящих во времени людей. Только долгая жизнь и опыт научили меня этому пониманию. Вряд ли я донесу его беглой записью до понимания моего читателя. Замечу только, что Михаил Александрович Новоселов всегда недовольно отмалчивался, когда выплывала в разговоре тема о братствах и их инициаторах: он-то знал, о чем я пытаюсь сейчас сказать.

Я прохожу в своем рассказе мимо того мелкого и «слишком человеческого», что неминуемо должно было снижать быт этих братств, особенно если припомнить, что они состояли главным образом из женщин с разбитыми судьбами и подорванным здоровьем. Но все отрицательное было ничтожно перед величайшей искренностью, стремлением к идеалу и бескорыстием. Здесь собирались прекрасные люди, и только в те годы кратковременного освобождения от государственной

«мирской» зависимости красота церковной жизни могла так ярко выступить на поверхность и стать заметной.

У братств на Руси сколько было инициаторов, столько и оттенков. У о. Романа был свой оттенок, своя мечта — создание «монастыря в миру». Приподнятая романтика просветленной плоти, радостного аскетизма, преодолевшего грубые страсти, владела воображением о. Романа, она владела и всеми нами, идеалистической молодежью 20-х годов. И я, как в чистую воду, бросилась в эту стихию.

Нет, я не обманывалась. Какая-то последняя трезвость меня никогда не покидала: я знала, что монастырь в миру неосуществим, и понимала всю наивность этой мечты, но мне надо было войти в жизнь церкви не через книгу, написанную много веков назад, а через живое чувство вместе с другими живыми людьми. Да и чем была бы наша жизнь на земле без этих святых провалов в мечту?

Я видела, что обе сестры Барютины тоже по-разному участвуют в деле о. Романа. Зина с помощью строгого участия в богослужении, чтения и отхода от всяких развлечений воспитывала в себе молитвенное внимание к Богу, к людям, к своей душе. Вероятнее всего, она по кротости своей не смела не верить в «монастырь в миру». Сама по себе она была слишком цельна для такой романтики.

Женя отдалась отцу Роману со всей страстностью натуры. Во всех последующих испытаниях батюшки она была ему поддержкой, и он умер у нее на руках. Преданность Жени идее батюшки не ослабела даже из-за произошедшего в ее жизни неожиданного зигзага вскоре после нашего знакомства: она, как сама впоследствии мне признавалась, «пожалела» влюбившегося в нее без памяти своего сослуживца — инженера-путейца и одновременно пианиста В. А. Рождественского. Батюшка вынужден был их повенчать и, говорили, что с присущим ему артистизмом, сам того не желая, сделал из венчания похороны.

Женя переехала к мужу и разделила его большую комнату занавеской на две части. В первый же год брачной жизни Женя, однако, родила Алешу. Муж ее очень болел, а потому бросил службу, давал уроки музыки на дому и до конца дней боготворил жену. Она руководила всей жизнью: зарабатывала, перевозила на дачу и с дачи семью, заколачивала гвозди, шила, мыла, готовила и очень долго сохраняла моложавость и красоту. Мальчика она болезненно, страстно любила, скрывая это ото всех и, может быть, даже от себя. Цельно, строго, возвышенно любила она, вероятно, одного только батюшку. Вот что она сказала мне, когда приехала от о. Романа из ссылки в 30-х годах, где его навещала: «Я забыла

в эти дни обо всем: о сыне, о муже, обо всех людях и всех делах».

Во время войны призванный сразу из школы в армию ее сын погиб на фронте. Никто из нас не слыхал от Жени слова жалобы. Она стала еще строже. Около шестидесяти лет ей было, когда она похоронила добрейшего своего мужа. После этого ее жизнь обрела, казалось, вполне законченную форму: всюду, где нужна помощь, приходит без зова, делает без лишних слов и уходит, не ожидая благодарности. А под конец жизни она нашла себе работу по душе: стала реставратором икон.

В хоре Глинищевского храма я заметила высокого молодого человека, певшего рядом с Людмилой.

— Он врач, полюбил нашу Людмилу. Но она еще совсем ребенок и любит по-настоящему только меня, — объяснила мне Зина. — Конечно, она ему отказала.

В своем рассказе я вернусь еще к этой паре через несколько лет. Сейчас же мне надо рассказать, как я познакомилась с батюшкой.

Мне назначен был дневной час между службами. Я застала о. Романа в пустом храме одного. Он сел на скамью, я примостилась у его ног на ступени. Он говорил мне уже давно известное из книг: об аскетическом труде и о целях братства. Я почтительно, не допуская возражений, выслушивала. Здесь Зина, которой я верю больше, чем себе. Здесь родное, что называется церковью Христовой. А люди и я сама, и все будет вокруг изменяться. Я не подозревала, что соблазн этого личного творчества внутри церковной жизни подстерегал уже и меня, что этот «соблазн» есть функция роста, признак еще неполной духовной зрелости, и мне самой его не обойти.

Итак, я слушаю выразительный голос батюшки с певучими украинскими интонациями и замечаю, как на уровне моих глаз из-под длинного подрясника выглядывает кончик его сапога. Он так хорошо начищен, что луч солнца, падающий сквозь растворенное окно, отражается в этом сапоге, как в зеркале. «Кто-то ему чистит обувь, — думаю я, — и вкладывает в это маленькое дело всю свою любовь. В простой жизни так сапог не чистят».

Я сижу у ног батюшки и думаю… Сила католичества — организация, сила православия — таинство. «Отойди от мира, и он ляжет у твоих ног, как раб», — читал тот же о. Роман Исаака Сирина{121}. А тут наивная мечта: христианский социализм? Она из прошлого века и уже потерпела крушение. Я думаю: «Христиане ничем не должны отличаться от окружающих. Они должны делать общее дело: строить, лечить, обрабатывать землю и рядом с этим совершать богослужение, миру непонятное и

ненужное. Так жили первые христиане. Почему нам не вернуться к своим истокам?.. А что если это началась уже моя мечта, и в таком случае, чем я отличаюсь от батюшки?» — Обрывки мыслей сталкиваются, путаются, и я делаю усилие, чтобы их отогнать. Я отрываю взгляд от гипнотизирующего пятна на кончике сапога о. Романа и поднимаю голову: хорошее лицо, добрые печальные глаза.

— Хочешь ли вступить в наше братство?

— Хочу.

Батюшка кладет мне на голову руку и произносит свою молитву. Он любил по разным поводам произносить такие молитвы от себя. Он молится о новой овце, приобщаемой к Христову стаду. И тут острая мысль ужом проскальзывает, я не успеваю ее остановить у порога сознания: «Какая же я „овца“? Разве ты не видишь меня? Уж, не для своей ли „идеи“ ты собираешь овец? Если бы для Христа — ты не стал бы возиться с организацией братства…»{122}

Мысль ясная, холодная, и она делает невыносимо ложным мое положение. Встать, извиниться, уйти? Это будет оскорбление. Нет, нужно сделать усилие и вытолкнуть эти мысленки: жизнь сама поведет — я уже верила в ее руку над своей головой.

Если бы возможно было обогнать время и тогда, в 1923 году, заглянуть в дневник М. М. Пришвина 1943 года, где он записал по поводу моего рассказа именно об этом давно утонувшем прошлом:

«Единственный ли это путь — быть овцой или пастырем? Для овцы и пастыря это единственный, но есть, например, такое существо, как козел <…> Овцу надо гнать, а козел идет, не думая ни об овце, ни о пастыре: он идет сам по себе. И умный пастырь, облегчая труд себе, ставит козла впереди стада: козел идет сам по себе правильно, а за ним идут овцы. Так вот это и есть наше положение в церкви: мы, художники, не овцы, не пастыри, мы, как козлы, просто умные существа, идем сами по себе, а за нами без всякого нашего старания идут овцы. Мы — козлы, нам нет дела ни до овец, ни до пастырей, а дорога наша одна»{123}.

А тем временем обычная моя жизнь шла своим чередом, и события в ней катились своими путями, повинуясь каждое данному некогда толчку.

Пришел сентябрь, сухой и теплый. На именинах мамы в Натальин день Николай Николаевич мне шепчет:

— NN вернулся с юга, — я знала, что NN взял отпуск и уехал по настоянию Николая Николаевича «проветриться».

— Ну, так что же?

— Мне надо с вами поговорить без свидетелей, поедем завтра за город.

На следующий день наш разговор продолжается на некошеном лугу около пустынной станции, где наугад мы вышли из вагона. Я слушаю Николая Николаевича и грызу сладкие основания травинок. Николай Николаевич время от времени, не прерывая речи, ласково, но настойчиво их у меня отнимает: «Сколько здесь проходит народу, можете заразиться!» Я не возражаю, но вот снова рука тянется за стебельком. И снова Николай Николаевич его у меня отнимает. Пока Николай Николаевич говорит, я думаю о своем: слова его плохо до меня доходят — я не хочу возвращаться к пережитому. Его послал NN как друга убедить меня «в последний раз».

Меня утомляет борьба за травинки. Я ложусь на спину, закинув руки за голову, и смотрю в небо.

— Когда смотришь в безоблачное небо, кажется, будто оно опускается на тебя. Вам тоже?

Николай Николаевич укоризненно качает головой:

— Я вам о серьезном, а вы…

Я возмущенно взрываюсь:

— О чем вы печетесь? Вы же знаете, что он утешится очень скоро. Вы бы лучше пожалели меня!

Нет, напрасно я думаю, что на душе у меня покойно, это самообман. Мне очень больно от жалости к себе, мне кажется, что все, что меня манило в жизни — моя единственная любовь, все это теперь прогоркло для меня. Я ложусь ничком и прижимаюсь лицом к земле. Николай Николаевич долго молчит. Потом отрывает от земли мою голову, целует мое лицо, неловко, поспешно; гладит мою голову, плечи. Я знаю, он меня не понял, он вложил в мои слова свой какой-то смысл, и все же мне становится тепло на душе от его ласки. Тот ли это насмешливый и сдержанный человек? И тут он говорит мне:

— Вспомните наш разговор весной. Это была, конечно, у вас игра и шутка. А я не хотел тогда становиться на пути вашей молодости — я думал, что вы полюбите его. Но теперь… Я люблю вас давно… я буду счастлив… мы все забудем. Мы поедем вместе. Вы бросите службу, Наталья Аркадьевна успокоится за вас и расцветет. И у меня будут и сын и дочь — непременно двое!

— Почему, почему вы тогда не согласились! — с отчаянием вырывается у меня. — Поверьте, я тогда не шутила: я еще слушалась бы вас тогда…

Николай Николаевич понимает мои слова, как хочется ему — иного понимания он не допустит.

— Ничего, — великодушно утешает он меня, — я вас люблю

еще крепче. На днях я вас представлю своей маме и сестре.

Он говорит, сияя от радости, он не считает нужным сдерживать ее: вопрос был решен им — мужчиной, какие могли быть еще сомнения? Так почему же в душе моей такая смута?

Через несколько дней Николай Николаевич, слегка взволнованный и гордый, повел меня домой на «смотрины».

— Я познакомлю вас с Людмилой Владимировной Маяковской, это преданный мне друг. «Неужели он считает, что Маяковской, влюбленной в него, это будет утешительно?» — думаю я и тут тревожно вспоминаю Александра Васильевича.

За старомодным столом в глубоком кресле полулежала слабая старушка. В ее глазах я прочла испуг, ревность, какую-то непонятную просьбу. Вот почему я свои глаза в тот вечер опускала и смотрела, не отрываясь, на скатерть.

Разливала чай женщина неопределенного возраста с резко выдвинутой нижней челюстью — сестра Николая Николаевича. Обдуманно-законченные фразы, любезно-настороженная, не сходящая с лица, точно нарисованная улыбка. Эта женщина завидно владела собой!

Николай Николаевич просит меня спеть. Сестра садится за рояль. Я не смею отказаться. Робко, как ученица на экзамене, я начинаю… Сестра берет, наконец, заключительные аккорды.

— А умеете ли вы делать нашу женскую работу? — спрашивает она со своей улыбкой. — Хотя бы так же, как петь?

«Нет, я больше не должна бороться, здесь моя судьба», — в отчаянии успокаиваю я себя.

— Валерия Дмитриевна будет отличным врачом-невропатологом, — решает за меня Николай Николаевич. — Хозяйство — вещь второстепенная.

— Нет, отчего же, — настаивает сестра, — время на все найдется, мы будем хозяйничать понедельно. — Она тоже, как и брат, все решает за меня.

Николай Николаевич показывает мне большую, уставленную множеством старых и ненужных вещей квартиру.

— Вот отдельная комната для Натальи Аркадьевны — она на солнце.

Я понимаю, я, конечно, должна быть ему благодарна…

Николай Николаевич провожает меня до дому и гладит время от времени мою руку. Какая темная, какая беззвездная ночь! Пусть он не видит в темноте моих слез, пусть он радуется, пусть ему будет хорошо: хоть кому-нибудь пусть будет около меня хорошо!

Вот она, эта страшная минута, пронесенная в памяти через

всю жизнь, — глубина и утонченность падения: мне становится сладко подчиняться! Стихия женственности в природе: из нее вновь и вновь лепятся формы, чтоб снова растекаться в небытие. И это называется у людей счастьем?

— У тебя отчего-то соленые губы, — шепчет, прощаясь у моих дверей Николай Николаевич. Он даже не заметил моих слез. Он впервые сказал мне «ты»…

На следующий день он пришел к нам несколько смущенный: оказалось, вчера, возвратившись домой, он застал свою мать в нервном припадке, кончившимся обмороком. Придя в себя, она умоляла сына подождать с браком до ее смерти:

— Тебе недолго ждать, она добрая девушка, она еще так молода, что ей стоит подождать! Чует мое сердце — этот брак к беде, я не хочу его видеть.

— Это ревность, — говорит Николай Николаевич, — это пройдет. Поверьте, я преодолею в ней это своим вниманием. Осенью мы будем с вами заграницей.

«Вы не спросили меня о главном — люблю ли я вас. Вы только уверяли меня в своей ко мне любви. Я не дала вам еще своего обещания», — вот что надо мне решиться сказать. Надо оставить себе эту щель для спасенья…

— Николай Николаевич, — говорю я, — вы помните, как бывает в романах?

— Так и бывает.

— Нет, в романах он предлагает ей руку и сердце, а она ему говорит свое «да». Я вам своего «да» еще не сказала…

Николай Николаевич откровенно смеется:

— Мы с вами повенчаемся в церкви. Иначе вас не изловишь.

Если б он знал, как я радуюсь этой оттяжке, как я благодарна его матери! Я закрываю глаза на будущее.

А пока я с головой ухожу в открывающуюся мне новую жизнь. Это было не изучение, а вживание в учение древних подвижников о работе над внутренним человеком, которую они называли «искусством из искусств».

По учению христианских подвижников, все существо человека с его силами и способностями было поначалу совершенно, но вследствие общего падения природы свойства эти извратились, они как бы обернулись своей изнанкой. В этом состоянии они называются у аскетов «страстями» и подлежат выправлению, подобно тому, как негатив «выправляется» в позитив, но не уничтожается, как о том иногда ложно судят не знающие православной аскетики люди. У подвижников первых веков христианства, например, у преп. Иоанна Лествичника{124}, разработана система, или «лествица», по которой восходит

человек в борьбе за очищение и полное восстановление первозданного гармонического существа своего. Вот где открывалась мне в новом значении «школа радости»! Стоять у порога сознания и не допускать туда недолжную мысль — в этом и заключается существо труднейшего «искусства из искусств». Учители «духовного делания» началом его полагали избрание себе руководителя, которому ученик должен открывать свои мысли с целью очищения сознания. Это называлось на языке аскетов «послушанием». Послушание есть отвержение своей воли и замена ее волей другого человека с целью освобождения от своей «самости».

Как ни велико было мое расхождение с о. Романом, я считала невозможным поиски иного руководителя: они могли стать бесконечными. К тому же дело заключалось не столько в качестве руководителя, сколько в искренности и самоотверженности ученика. К этому я была готова.

Михаил Александрович Новоселов как-то однажды сказал мне: «На страшном суде я буду свидетельствовать о твоем послушании». Сейчас я думаю: он ошибался, не зная всех извивов моей души. Я решилась на послушание, но не выполнила его. Незаметно для себя самой я отстаивала свою природу «козла» и не могла сделаться иной. Я бессознательно искала свой путь спасения, мне предназначенный, пусть даже и бесконечно трудный. До сих пор не знаю, была ли я права. Святой Иоанн Дамаскин{125}, поэт, поступил в подобном положении иначе. Но то был святой.

Вспоминая, я думала, что это время в моей жизни было недостойной игрой в аскетизм, и так об этом хотела писать. Но как только память пробилась сквозь все напластования и те годы предстали передо мной во всей своей правде, я увидала, что то была не игра. Это был самоотверженный труд, не заслуживающий иронии.

А в те дни на пороге православия я снова писала стихи, которые, хотя я этого еще не знала, были последней данью «теософичности» — больше стихов моих в этой книге не будет.

Ты Отец и Друг,
сокрытый в певучем сердце,
В нем обитавший, неведом
из долгих веков в века.
Ты воззвал меня
из слепых кружений к победам.
Мне не смыть отражений
Твоего непостижного света

в гордом сердце моем,
не желавшем с Тобой разделить
радость творческих сил —
в Тебе их святой водоем!
Ныне Ты улыбаясь
руку мне простираешь,
я прииму, побежден.
В долгое странствие наше
мы по мирам бесконечным
как дети, играя, пойдем.

(1923)

По требованию о. Романа я писала дневник. Все развлечения, светские книги, искусство, знакомства — все отпало, потому что перестало привлекать и казалось убогим. Александр Васильевич принес мне однажды диплом и значок института: я не пошла даже к раздаче их и на выпускной вечер. Я вспоминала, как сам Александр Васильевич три года назад точно так же бросил, не оглядываясь, свой Коммерческий институт.

Церковное искусство открывалось мне по мере вхождения в храмовое богослужение, посещение храма стало моим единственным «развлечением». Я поняла, что лучшие образы светского искусства отсюда. В богослужебных и библейских текстах поражали объемность художественных образов, смелость противопоставлений, богатство ассоциаций, иными словами — глубина поэзии. За мной пришел в Глинищевскую церковь Александр Васильевич. Он привел своего сослуживца Бориса Дмитриевича Удинцева. Сюда пришла за мной и Шура Попова, бездомная девушка, потерявшая в революцию семью. Она жила по знакомым и кормилась то как уличная продавщица-лотошница, то как преподавательница иностранных языков детям нэпманов. Устраивать свою практическую жизнь ей было трудно еще и потому, что она катастрофически теряла зрение. Шура окончила в конце двадцатых годов по нашему общему настоянию курсы медсестер и получила работу и комнату при подмосковной больнице. Раньше времени ей пришлось выйти на инвалидность, но она осталась деятельной и стойкой. Каким-то шестым чувством Шура угадывала, когда мне нужна была ее помощь, и я знала: как только заболеет моя мать и я не в силах справиться и с уходом, и с хозяйством, и со службой, не знаю, что делать — непременно откроется дверь, войдет Шура и молча примется за домашние дела.

В 30-е годы Шура взяла к себе старую женщину, скитавшуюся

из дома в дом после лагеря. От нее отвернулись все, даже ближайшие родственники — это была семья крупного советского академика, по-видимому считавшая, что подобная связь была опасна. По своей доброте Шура всегда подкармливала окрестных кошек и собак, собирала хлеб и траву для больничной лошади, которая страдала от недобросовестного конюха…

«Мелкие, ничего не значащие факты, которыми полна жизнь», — скажет, может быть, читатель. Но как мне пройти мимо них? А «великое»… я не побоюсь положить его на одну чашу весов, а на другую — имя Шуры Поповой, и я не уверена, что первая перетянет.

Так проходило время. Серое ситцевое платье. Никаких украшений. Строгий пост. Раннее вставанье: в 6 утра начинается обедня, а оттуда прямо в Центросоюз. Вечером со службы прямо в церковь либо домой, где собираются друзья для совместного изучения какой-либо книги.

Зимой 1923/24 года в наш подвал приходил и Иван Васильевич Попов, которого мы нашли по завету Ильина в Троице-Сергиеве. Великий знаток старооотеческой литературы — патристики, курс которой он нам и прочел, и скромнейший человек; впоследствии погиб в лагерях. Слушали его тогда мои новые друзья по церкви и кое-кто из бывших студентов ораторского факультета, среди которых был мешковатый молодой человек типа провинциального бухгалтера — Измаил Сверчков. Студентом он производил почти отталкивающее впечатление сухого скептика. Я была поражена, когда в конце той зимы он мне сказал однажды: «Сегодня я выполнил свой долг, чего не делал с детства». Это значило, что он исповедался и причастился. Помню, его слова показались мне тогда невозможно сухими и оскорбительными для события, о котором он мне сообщал. Только позднее я поняла, что Измаил так говорил от благоговения перед тем, чего боялся касаться словами. А через несколько лет я снова встретила его — уже священником. Это был редкий на моей памяти и поразивший меня пример полного перерождения: даже внешне Измаил стал неузнаваем. Он светился внутренним изяществом, мягкостью, во время службы в храме был вдохновенен. Знаю, что Измаил погиб в тяжких лагерях на Свири.

В подвал приходил еще наш бывший студент А. М. Бардыгин, образованный историк, с умом точным и собранным — типичный молодой ученый. Он также был сослан без права въезда в Москву и умер, как мне передавали, от тоски, измучившись от умственного одиночества, где-то в глуши.

Я называю отдельных пришедших мне сейчас на память

людей того времени. Это были прекрасные люди, дети нашей родины, которая их не уберегла… «Горькая детоубийца — Русь!»{126} — пишет Максимилиан Волошин. А я пишу эти строки, как пишет верующая старуха свою поминальную записку с именами ушедших. Я пишу для вас, будущих людей, чтоб вы не забывали, какой ценой вы получили вашу, может быть, мирную, может быть, духовно богатую и прекрасную жизнь.

Мама не читала наших книг, мало вникала в смысл лекций, но ее покоряли сами люди, меня окружавшие. Она часто говорила впоследствии, что это было лучшее, что она встретила в жизни. Николай Николаевич по-прежнему в определенные дни и часы появлялся в нашем подвале. В наших лекциях и беседах он участия не принимал по причине деловой занятости, а вернее, по отсутствию к ним интереса. С мамой они крепкие союзники. И оба они не видят, как я, подобно воде, от них утекаю.

«После гибели отца Ляле открылся тот мир, где нет смерти, и в этом явилась ей небывалая радость, какой нет и не может быть на земле. С тех пор она стала на страже этой радости, стремясь, чтобы не подменил бы кто ее. И главный враг ее в этом отношении — ее собственная мать, стерегущая, наоборот, как бы только чем-нибудь „хорошим“ с ее точки зрения, нормальным, здоровым подменить высшую радость, понимаемую в глубине души как ненормальность», — записывает в дневнике Михаил Пришвин о моей жизни{127}. И это, конечно, правда, но я сама вряд ли это тогда понимала. Однако от Александра Васильевича я скрывала свой предстоящий брак, может быть, боясь его огорчить… Я знала, что он признавался о. Роману в своей мечте, но батюшка ему сказал: «Неужели ты не видишь, что вы не пара? Она твой друг, сестра, но женой твоей быть не может. Ты и не думай об этом». Так передал мне сам батюшка этот разговор.

Все еще шел тот единственный в моей жизни сентябрь 1923 года. События подгоняли друг друга, все стремительнее, все к одному, к одному… Невидимая цель этого движения стояла у моего порога, а я этого даже не предчувствовала. А тем временем — еще одна встреча на Цветном бульваре с Лилей Лавинской. И сейчас в точности я могла бы указать то место, где мы уселись с ней на скамейку, не разнимая рук, обрадованные. Лиля была уже матерью и, казалось бы, должна быть обогащена материнством. Но по лицу ее было видно иное. Лицо это утратило выражение устремленности и надежды, за которое я так его любила. Тот светлый огонь был притушен, а горел иной — мрачный огонь недоверия и опустошенности.

Я рассказала Лиле о своих находках, о православии,

раскрывшемся мне, как самое прекрасное, что я видела у себя на родине. Лиля смотрела на меня сумрачно.

— Это мракобесие, — наконец бросила она мне раздраженно, — средневековый кошмар! Прочти Фейербаха, если только ты еще способна мыслить свободно, он тебя исцелит.

Я смотрела на свою подругу и не находила слов для возражения. Ведь я понимала ее до последней черты, я могла бы легко пересказать ей все ею же приготовленные мне слова, но сделать зримым для нее мое видение мира было невозможно: у нее не было для этого глаз.

— Ты говоришь о мраке Средневековья, но разве мы знаем подлинную историю, не искаженную в угоду веку? — пробую возразить я. — Ты подумай о другом: какую титаническую работу мысли проделали вандалы, разрушившие античную культуру и сами вынужденные потом выбираться из-под обломков, чтобы вновь ее создавать. И они создали средневековую школу мысли, презрительно называемую невеждами «схоластикой». Но мы с нашей современной логикой — ее наследники. Возьми хотя бы одного Николая Кузанского{128}… ты, наверно, о нем и не слышала… А это мост от классической древности к современности.

Лиля примирительно улыбнулась.

— Как это похоже на наши детские споры о Ницше, — сказала она.

— Неужели ты не видишь, — говорю я, — что из века в век строится, разрушается и исчезает бесчисленное множество схем понимания жизни. Все они строятся одинаково добросовестно. Люди за них идут на костер. Но сама жизнь шире нашего охвата, она вытекает из-под этих схем, как живая вода, не умещается в них. Неужели ты не видишь всех этих неразрешимых противоречий? Ты пробуешь залеплять рассудком эти бездны. Люди уничтожают друг друга и, может быть, окончательно когда-нибудь уничтожат все человечество из-за добросовестности и прямолинейности, из-за неспособности свести в единство разные идеи. Не думай, что это мои слова, так говорит один из моих учителей-«мракобесов».

Лиля слушает внимательно, но отчужденно. Я вижу опущенные углы ее рта, ранние морщины около глаз. У нее дрожит щека в нервном подергивании. И вдруг она делает мне невпопад признание:

— Я потеряла Антона. Он живет еще с нами, но он уже с другой женщиной. Это, впрочем, началось давно, еще когда ты приходила…

— А ты? — задаю я пустой вопрос.

— А я, — повторяет за мною Лиля, — работаю над плакатами с Володей.

— Скажи мне, как он? Я часто о нем вспоминаю: о его силе, о его любви…

— Володя? — Лиля криво усмехнулась, — помнишь, я говорила тебе о его любви. Так вот, мне самой, вот этими ушами довелось недавно услыхать, как любимая им женщина сказала: «Кто такой Володя? Это извозчик, на котором едем мы с Осей».

— Чем же тебе помог, что объяснил Фейербах? — восклицаю я. — Ваша жизнь ужасна!

— Прощай, — говорит вместо ответа Лиля и быстро, не оборачиваясь, уходит. Может быть, навсегда? Нет, через двадцать лет мы снова встретимся, и свидетелем и летописцем этой встречи будет уже Михаил Михайлович в своем дневнике. Но будущее закрыто от нас, и я пока с тоской смотрю вслед своей подруге. Как сейчас вижу стоптанный задник бедной старенькой туфли, ступающей в лужи, в грязь, без разбору: она не видит даже дороги, так торопливо убегает от меня.

И вот, как-то в конце войны, выходя с Михаилом Михайловичем из метро (на площади Маяковского — какая судьба!), мы увидали жалкую, худую, плохо одетую женщину. Это была Лиля.

«Лиля Лавинская, жена скульптора, художница в образе нищенки с подвязанной рукой. Остатки разбитого ЛЕФа (Почему застрелился Маяковский?) …Источник поэзии Маяковского сливался с источником власти в одной воде»{129}, — запишет Пришвин.

Мы бросились друг к другу. Что-то изменилось в нас обеих, что-то перегорело или перешло на новую ступень сознания. Мы были снова просты, сочувственны, готовы к пониманию.

Лиля жила теперь с одной дочерью — муж и сын ушли из семьи. Она болела (открылся давний туберкулез) и очень нуждалась. С ними жила еще нянька ее детей Настя, уборщица в каком-то учреждении, а может быть, и не в одном. Настя, как я поняла впоследствии, была главной их опорой и даже кормилицей.

Годы эти были трудные для всех. Я иногда оказывала Лиле какую-то материальную помощь, но это было нелегкое дело: помочь ей самой, больной Лиле, когда там была семья, к тому же в ней всегда еще какая-то молодежь — товарищи дочери, студенты философского факультета Университета. Все они жили по непонятным нам своим беспорядочным законам. С ними (я наблюдала не раз) Лиля оживлялась, участвовала в их философских спорах, была им интересна и нужна.

Мы видались с Лилей редко. Но я знала, что у нас, минуя всякие рассуждения, в глубине наших душ существует теперь взаимное понимание. Из года в год я замечала теперь в Лиле все большую терпимость к чужому мнению, сдержанность и достоинство в разговоре — это была настоящая Лиля. Еще в ней была бесконечная терпеливость в отношении своего труднейшего быта и всецелая жертвенность матери горячо любимой дочке.

Я помню, как однажды, тяжело больная, она пришла ко мне на шестой этаж нашего городского дома по нужному ей делу: ей некого было послать вместо себя, а я не знала, что она идет ко мне, иначе могла бы к ней спуститься: лифт у нас не работал.

Лиля стояла в дверях бледная, задыхающаяся, но с неизменным новым ее выражением спокойствия, достоинства, благожелательности.

В 1949 году она попала в туберкулезную больницу, и я пришла ее навестить. Кашляя и улыбаясь досадливо-добродушно на свой кашель, она натягивала на себя неудобное узкое платьишко: у нее не было халата. Это тесное платье стоит у меня в глазах как символ ее жизни, а из-под него, когда она его с усилием натягивала на плечи, лихорадочно блестят ее глаза, терпеливые и все понимающие. Она понимала, что умирает. Она беспокоилась только о своей оставляемой дочке да еще о Джиме — старой преданной собаке, с которой не рассталась, несмотря на всю обстановку жизни.

Незадолго перед кончиной она очень серьезно и один только раз сказала, что завидует моему душевному устроению — тому же, как в детстве, и все бы отдала, чтоб его себе вернуть. И попросила Евангелие.

Осенью Лилю перевезли домой. Она уже не вставала. Помню удручающую картину суеты, брошенности на ее похоронах… На следующий день после смерти Лили ко мне пришла ее верная Настя и сказала, что пришла она по старинному русскому обычаю «помянуть» покойную. А мы с Настей до того почти не были знакомы. Мы тут же пошли в соседний храм и совершили «заочное» отпевание покойной. После Настя вернулась к нам в дом и провела целый день в беседе о Лиле. В этот день 9 января 1950 года Пришвин записал в дневнике:

«Вчера Ляля хоронила участницу ЛЕФа Лилю Лавинскую. Это были безбожные и безобразные похороны („Бесы“ перед этим — мальчики). Безусловное разделение людей на верующих и безбожников, свойственное Ляле, начинает быть и мне понятным (раньше я принимал это не совсем всерьез, разделяя людей вообще на верующих сознательно или несознательно. Настя, нянька, прожившая у Лавинской 30 лет: „Их жизнь — одно

страданье и беспорядок…“ Когда в русской интеллигенции умирает близкий человек, то перед лицом смерти в головах и сердцах является такой беспорядок, такая путаница мыслей и чувств, что простое отпевание является ощутимой реальностью. Умерла Лиля Лавинская из кружка Маяковского (ЛЕФ), и нянька Настя их пришла к Ляле отпеть».

ГЛАВА ШЕСТАЯ
Остров Достоверности

А теперь снова нужно вернуться в 1923 год. Вот и подходит к концу тот сентябрь. Дальше — расходятся круги по воде, как от брошенного камня. И даже встреча с Михаилом Михайловичем была последним кругом по этой воде.

Сентябрь подходил к концу, и я не знала, что сама подхожу к вершине своей жизни. Только перешагнув через высшую точку и опустившись вниз, я ее увидала издали — покинутую вершину. Я ищу простые, строгие слова, чтобы с ними подойти к этим страницам.

Сегодня 10 апреля 1962 года. Весна воды в разгаре. Я в дунинском доме, пишу, в окно вижу вышедшую из берегов разливающуюся реку. Вчера прошел первый лед при ярком солнце — это не часто бывает в природе. С горы я наблюдала его движенье. Льдины были голубые в разрезе, были и грязные, черные, желтые, землистые; плыли целые площадки, затоптанные людьми у прорубей. Все одинаково уносилось движеньем. И, казалось, старое, нечистое, истлевшее — все уносится и с души движением воды.

Итак, наступил канун праздника Воздвижения 13/26 сентября 1923 года. Я заглянула домой после работы, чтобы тотчас идти ко всенощной.

— Вот удачно забежала! — говорит мама. — Сейчас приходил к нам удивительный юноша. Он ищет, по его словам, «старцев», чтоб узнать подлинную церковь. Какими-то путями он попал к Зубакину, а когда уходил, его перехватила в передней Иза и сказала: «Не ходите больше к Борису, пойдите лучше на Б. Никитскую, 43-а, в подвале отыщите девушку Валерию, она знает, кто вам нужен, лучше Бориса». Я сказала ему, что найти тебя легче всего в храме. Он придет туда ко всенощной сегодня. Ты подойди к нему сама: он будет стоять впереди направо — мы так с ним условились.

— Но как же я его узнаю?

— Его не узнать невозможно. Он очень высокий, вьющиеся каштановые волосы шапкой, лицо измученное — то ли усталый, то ли голодный, прекрасное лицо! Очень сумрачный, а то вдруг прорвется детская доверчивость в разговоре. Удивительные глаза — у меня сердце упало, когда я их увидала… как на иконе Владимирской Божьей Матери.

— Как у Младенца?

— Нет… как у Богоматери… Его зовут Олег Поль.

Много лет спустя мать Олега Марина Станиславовна рассказывала мне, что она боялась смотреть в глаза сына, когда тот лежал еще младенцем, ничего не смыслящим, в колыбели.

«И имя совсем как у меня — с претензией, тяжелое для жизни имя», — подумала я.

Я сразу узнала тебя. Ты стоял всю долгую всенощную передо мной, не крестясь и не кланяясь, как человек, не знающий службы и впервые участвующий в непонятном действии. Это и было так: ты с младенчества не знал храма. Мать твоя, музыкантша, и отчим, живописец, были по взглядам толстовцами с добавлением всех умственных течений начала века, всех, кроме церковного православия. Они были последовательны: твои сестры, родившиеся после тебя, но еще до революции, не были крещены. Мать разошлась с отцом в твоем раннем детстве из-за того же толстовского «гнушения» брачной жизнью. Вернее говоря, она не любила его, потому что это не помешало ей выйти вторично замуж и родить еще троих дочерей. Но проповедь против брака она не оставляла. Семья жила в строгом вегетарианстве, и ты не прикоснулся до самой смерти ни к рыбе, ни к мясу.

Среда, а главное, горячо любимая мать, не могли не влиять на твое формирование. Твое целомудрие было уязвлено, как и мое, не одним только непосредственным наблюдением жизни, но и внушениями авторитетов: у тебя — Толстой, у меня еще и Вл. Соловьев. Оба они низводили тело с его «естественной» жизнью в категорию низменного, в то время как по учению древней Церкви оно освящено благодатью Христовой со всеми его силами и свойствами. Интересно, что наши учителя начала века исходили из диаметрально противоположного отношения к материи, к плоти: Толстой ее развенчивал безнадежно и безвозвратно, как скверну; Соловьев, видя ее идеальную красоту, принимал плоть только в небесном совершенстве.

Нам обоим было дано обонять зловоние греха с детских лет, и мы боялись его, гнушаясь самих органов, которые могут стать его орудием. Оба мы по-разному стали жертвами этого заблуждения. С какой трезвой простотой написано об этом в 41-м правиле св. Апостолов: «Аще кто девствует или воздерживается, удаляясь от брака, яко гнушается им, а не ради самыя доброты и святыни девства: да будет под клятвой. Аще кто удаляется от брака и мяса, и вина не ради подвига воздержания, но по причине гнушения, забыв, что все добро зело, и что Бог создал человека, мужа и жену сотворил их. И таким образом клевещет на создание — или да исправится, или да будет… отвержен от Церкви». Но до этого понимания еще надо было дожить, и я забегаю далеко

вперед.

В реальном училище ты отличался по математике и должен был поступить на математический факультет. В эти годы ты жил в новой семье твоего отца до тех пор, пока отец, композитор Владимир Иванович Поль, не уехал перед революцией в Париж{130}. Ты остался в семье отчима. Отчим, добродушный, но поверхностный человек, откровенно ревновал к тебе мать. В голодные годы революции он укорил тебя как-то куском хлеба, и ты, вместо того чтобы учиться дальше, пошел чернорабочим на земляную работу в толстовскую колонию «Ясной Поляны». Оттуда ты перешел в такую же толстовскую колонию под Москвой. Мы с тобой попали в сумятицу революционной ломки — ты был моим одногодком.

Ты был щедро одарен от природы во всех областях творчества, к чему бы ни прикасался. Ты был поэт в той же мере, как и мыслитель. Нигде не учась, среди утомительной и грязной работы, голодный, оборванный, бездомный, ты успел в какие-то два или три года усвоить и привести для себя в стройную систему достояние мировой философской мысли и, что особенно ценно, русской философской мысли — она бурно развивалась в конце прошлого — начале нашего века.

Ты требовательно изучил и отверг все оккультные учения, хотя и пробовал заниматься медитацией на крыше сарая, в котором ночевали вы — рабочие колонии. Ты понял, что это была попытка самонадеянного мальчика одному устремиться в страшный океан духа по неведомому для него пути, названному таинственным и привлекательным словом. О своих горделивых «опытах», стоивших тебе, вероятно, много сил, ты рассказывал нам с непередаваемым юмором, и мы, слушая серьезный, без улыбки рассказ о голодном юноше, проводящем ночи на крыше под звездами, пытаясь проникнуть в тайные миры, катались и помирали от смеха.

Ты отверг всякую вольную мистику и оккультизм, как только нащупал под ногой твердое основание, незыблемый камень классической философии. Первый, поразивший тебя, был Спиноза. Потом Лейбниц{131}. Они привели тебя к русской философской школе, и, наконец, как выход в конце пройденного пути, засияла перед тобой Церковь Христова, ее мысль, ее действенный опыт, ее жизнь — новая жизнь на новой земле. Она, эта «земля», была непонятна миру и называлась таинственным словом «христианство». Какое только содержание не вкладывалось в это слово!

Я сохранила лишь небольшую часть твоих писем ко мне, неполный черновик твоей большой философской работы «Остров

Достоверности», а также твой символический рисунок «Острова Достоверности», присланный мне как-то в письме. Вот и все. Каждый, кто прикоснется хотя бы к этим вещественным остаткам ушедшего человека, почувствует, кем ты был. Ты мог бы стать и философом, и поэтом, и художником, и музыкантом — у тебя был абсолютный слух: я не забуду, как однажды, только один раз это было, ты подошел к роялю и стал импровизировать. Ты построил своими руками два дома в горах Кавказа. Они были построены по общепринятому образцу, и в то же время ты не смог скрыть в этих постройках своего авторства, оно сквозило в каждой детали — я помню конструкцию твоего окошка, какой я не встретила с тех пор больше нигде.

Только один раз в жизни ты взял в руки инструмент резчика по дереву, чтобы вырезать для меня в подарок деревянный крест из самшита, который долго хранился у меня как святыня. Хранятся и сплетенные тобою для меня из шерсти четки. Чтобы донести до читателя твой образ, я должна бы рассказать еще о твоем таланте добродушного юмора, столь доказательного качества добротности души. Я его встречала в ярком проявлении еще у четырех людей, а прожила я немало: это были М. А. Новоселов, о. Александр Гомановский, его друг, великий подвижник, погибший в лагерях в 30-е годы, о. Даниил — кавказский пустынник, о котором рассказ впереди, и писатель Пришвин. Но рассказать об этом невозможно, как невозможно рассказать о музыке: ее надо слышать самому.

Михаил Осипович Гершензон{132}, знавший тебя с детства, сказал как-то, что он следит за твоим развитием, как за развитием гения.

Ты был порывист, но сосредоточен, весь во власти сложной внутренней работы, резок, иногда до отпугивания не знающих тебя людей. Таким ты и показался мне в первые минуты нашей встречи. Но только лишь в первые минуты. На моих глазах в течение одной неполной зимы ты под влиянием новых переживаний, открывшихся тебе в Церкви, повернулся другой, подлинной стороной своей души и характера, как стальная пластинка мгновенно выгибает в обратную сторону свой полукруг от легкого нажима пальца. Ты стал мягок, общителен, полон надежды.

В тот вечер мы шли с тобой из храма по мокрым тротуарам, не замечая луж и льющегося на нас осеннего дождя. Прошло с тех пор уже сорок лет. Но я вижу сегодня тебя ясно. Я вижу твои грубые крестьянские сапоги, пахнущие дегтем. Рабочую куртку, тяжелую, промокшую, в аккуратных заплатах — впоследствии я из тысячи заплат могла бы отличить сделанную твоей рукой!

Дождь струится по твоему лицу и голове — на тебе нет шапки. Я вижу выразительную лепку твоей головы, рук, плеч, всего рослого тела. Я замечаю, как болезненно обтянуты, изжелта бледны твои щеки («Тебе трудно живется, милый юноша!»). Ты застенчиво, рывками, преодолевая себя, рассказываешь мне… Что-то помимо твоей воли заставляет тебя мне открываться. Ты словно сердишься на себя за это и щетинишься сердито временами на мои вопросы. «Волчонок!» — думаю я. Наш путь от Глинищевского переулка до моего подвала был так недолог, но сколько успели мы друг другу сказать! Теперь, издали, он видится мне царским путем, ради которого мне стоило родиться и прожить свою нелегкую жизнь. Все прошло, а это осталось, и с этим я из жизни хотела бы уйти.

Когда мы подходили к дому, ты впервые улыбнулся застенчивой улыбкой и посмотрел прямо в глаза.

— Зайдем к моей маме, — сказала я, — вы ей полюбились. Кстати, вам надо обсушиться — какой дождь! — Мама нас встретила ужином.

В тепле кудри твои обсохли и круто завились. Щеки порозовели. Лицо твое засветилось радостным удивлением.

Мы говорили с тобой… Не смею сейчас ничего примышлять к дорогим воспоминаниям. Я не помню в подробностях содержания нашего первого разговора. Он был, конечно, о том, ради чего ты меня разыскал. Ты спрашивал о моей вере, о моем пути к ней, о православии. Я сказала тебе, что никогда не теряла веры, никогда с детства не чувствовала себя вне Церкви, и потому у меня не было к ней «пути»: искать мне было нечего — мне надо было лишь усилиться вниманьем к тому, что я уже имела. Вера была для меня всегда не суммой каких-то определений или формул, а ощущением Силы, с которой связана моя душа. Эта Сила была более реальной, чем мое «я». Эта Сила через разум и совесть давала мне силу жить и надежду возлагать на нее же — на эту Силу. Когда я сознательно стала узнавать учение Церкви, ее символику, ее догматику, ее людей — все это укрепило веру, с которой я родилась, в которой была воспитана семьей, литературой, обществом, «отцами». Церковь — это единственно прочное и реальное, что я нашла в мятущемся мире.

Вот, вероятно, круг мыслей, который я попыталась передать тебе при первом нашем знакомстве.

— А все-таки, — сказал ты между прочим, — Зубакин, конечно, неясная фигура, но он мне предсказал нечто: давайте запомним и проверим.

— Что же? — заинтересовались мы.

— Он рассматривал мою руку, потом сосредоточенно молчал,

закрыл глаза и сказал: «Вы умрете в 30 лет». На всякий случай я буду торопиться.

— С чем торопиться?

— Я начал писать систему философии для всех понятную, то, к чему мы пришли. Мы — это русская философия. Надо сказать для всех выразительно и просто, чтоб не затерялось в сумятице переустройства мира. А у меня туберкулез, пока, правда, неопасный — железы. (Ты показал свои набухшие на шее опухоли, как ты их называл — «шишки»). Но надо преодолеть болезнь, пока я не кончу задуманной работы.

Ты рассказал нам, что один инженер-изобретатель, владелец маленького завода, нэпман, поверил в твое призвание и предложил тебе ежемесячную помощь, чтобы ты мог, не думая о хлебе, писать.

— Очень маленькую, — уточнил ты, — но я проживу на нее. Как вы думаете, это допустимо — принять такую помощь?

— Конечно, — откликнулись мы с мамой в один голос, — это бывает, это называется меценатством.

— Потом мы откроем большое издательство, — пошутила я. — К тому времени ваш меценат прогорит, станет старичком, и мы будем о нем заботиться.

Ты вскинул на меня обрадованно глаза:

— А вы напишете книгу «Символ веры» — о тайнах веры на современном языке, чтобы всем было понятно. Я раньше сам о ней думал, а теперь, когда встретил вас, это будет ваше дело.

— Значит, будет у нас издательство? — спросила я.

— Будет! — убежденно ответил ты.

Вернувшись домой в тот вечер, ты сказал своей матери: «Если б ты знала, мама, какую я девочку встретил сегодня! Как жаль, что она не мальчик!» Это узнала я впоследствии от Марины Станиславовны. Мы очень скоро, не сговариваясь, перешли с тобою на «ты». Словно взявшись крепко за руки, устремились мы рядом к открывавшимся нам все новым горизонтам мысли. Это совершалось незаметно для нас самих. Работу свою ты мне тогда еще не показал. Ты посоветовался о ее названии, сказал, что пишешь к ней новое вступление, и мы вместе решили: это будет «Остров Достоверности».

Лишь сейчас, глядя назад, я вижу во всем смысл, тогда же мы не задумывались о себе. В этом-то и было самое существенное: мы совсем не думали тогда о себе. Если извлечь корень из наших отношений первых двух лет, то он окажется следующий: ты «торопился» — торопился успеть написать свою книгу; я старалась ни в чем тебе не помешать. Другого желания, другой мысли у меня и не рождалось.

Много лет спустя я нашла у Марины Цветаевой строки, вполне выражающие мое душевное состояние:

Я на душу твою — не зарюсь.
Нерушима твоя стезя[133]…

Когда я прочла их Михаилу Михайловичу Пришвину, он сказал: «Вот какая может быть любовь!» Но в том-то и дело, что у нас это была еще не любовь: мы ее к себе не впускали. И потому Цветаева знала, кого она встретила. Я этого начисто не замечала: мое сознание как бы выключилось в эту сторону. И еще более — у Олега.

Тем временем подходила весна. Однажды ты пришел и сказал мне, что хочешь ехать на Кавказ, лечить свои «шишки». Тебе дают туда письма к знакомым людям, где можно остановиться и дешево прожить. Но я-то знала: у тебя была другая, более важная цель. Ты недавно прочел книгу Свенцицкого «Граждане неба» о кавказских пустынниках[134], и как же тебе было их не поискать: неужели они существуют впрямь, в наше время, на нашей земле? Неужели это правда? И если существуют, то какой может быть разговор? надо с ними остаться!

— А книги? — спросила я. — Без них тебе не написать «Острова».

— За книгами буду приезжать раз в год, — ответил ты. — К тому же пока это только поиски. Что-то я найду на самом деле!

Ты уехал. Я помню и дивлюсь теперь: и мысли о том, что ты меня оставляешь и я теряю тебя, ни единой мысли такой у меня не мелькнуло. Неужели я еще совсем не знала, кем мы стали друг для друга? И вот, со всей строгостью, снова, как это было уже много, много раз, я сама себе отвечаю: тогда у меня действительно не было и мысли о себе, о возможности личных отношений с тобой, я была воистину в отношении тебя бескорыстна. «И по имени не окликну/ И руками не потянусь»[135], — сколько у Марины здесь горечи, нежности и женской страсти! Ничего такого не было в моей душе: я проводила тебя легко, радостно, спокойно и бездумно. Мы плыли с тобой на высоком гребне волны — это была настоящая свобода. Вспоминая, я не вижу даже и признаков влюбленности. Что же это было? Неполное, недостаточное чувство? Не могу ответить, знаю только одно: мы не снисходили тогда к себе самим, потому я и не могу сейчас на эти вопросы себе ответить. Такое редко бывает, вероятно, с людьми, и человек вряд ли может выдержать такое долго.

Ты уехал. Я не тосковала по тебе. Больше! Даже мысль моя редко была занята тобою. Но ты был тот, о котором Михаил Михайлович Пришвин запишет однажды в своем дневнике: «Живу я с ней хорошо, и она со мной счастлива, и я не нарадуюсь. Но скажу и признаюсь: зажег ее жизнь другой человек, чью рубашку я недостоин носить»{136}.

Ты уехал, как будто на последней странице закрыта была прекрасная книга. Моя жизнь пошла прежняя, тебе неведомая, тобой неразделенная со мною: служба, больная мать, Николай Николаевич, о существовании которого ты даже не подозревал.

И вот, среди зимы заболевает воспалением легких у Николая Николаевича его мать. Однажды он пришел в свой условленный час к маме на лечебный сеанс внушения. Он куда-то торопился. У него было очень грустное лицо.

— Какой-то вы сегодня необычный! — говорю я. Он молчит. Я вижу, как глаза его наполняются слезами. Он снимает очки и долго их протирает платком. Потом надевает и говорит:

— Сегодня ночью умерла моя мать.

Он уходит. Мы переглядываемся с мамой.

— Вот человек! — говорит она. — Не забыл прийти, потому что назначил заранее час…

— Европейское воспитание, — роняю я. — Тебе нравится, а мне страшно!

Ранней весной неожиданно произошло наше переселение из подвала на 1-ю Мещанскую, 27.

— Зачем вам ломиться с переездом? — досадует Николай Николаевич. — Оттуда — снова ко мне на Новинский…

Но я настаиваю на переезде: нельзя же так быстро после смерти устраивать свадьбу. Надо хоть с полгода подождать. Николай Николаевич соглашается.

Солнце светило по-весеннему, когда мы переезжали в новое наше жилище. У входа в дом лежали огромные голубые сугробы — в те годы снег все еще сохранялся чистым до весны, и никто его не вывозил. Машина с нашими вещами проехала во внутренний двор, откуда отдельная лестница вела в нашу будущую комнату. Я шла следом, опустив глаза на голубые сугробы. И тут я увидала на снегу деревянную писанную маслом икону Спасителя. На обороте я прочла выцветшую надпись: «Господь Вседержитель благословит вас. Монахиня Сергия Тихменева. 1898 год». Это был год брака моих родителей.

Нам с мамой досталась огромная светлая комната. Ее помог мне получить все тот же комендант, с которым мы несколько лет назад чистили крышу коноваловского особняка и который вместе с нами переехал на Мещанскую. В этой комнате прошли лучшие

годы нашей с матерью жизни. До сих пор мне и сладко и грустно смотреть на огромное полукруглое окно на втором этаже, когда я проезжаю мимо, на высокие ворота, запиравшиеся на ночь, через которые столько раз я перелезала, возвращаясь с ночных служб под великие праздники.

Я замечаю, что мама часто о чем-то совещается с Николаем Николаевичем, и они переводят разговор на другое при моем появлении. Я догадываюсь: их тревожит, что я оставила за собой «последнее слово» и не даю его. Я вижу, как грустит Николай Николаевич, как тревожится мать, мне их жаль, жаль и себя. Я постоянно колеблюсь теперь в решении, и это меня терзает. Мечты об издательстве с Олегом, а он живет на милостыню от мецената, туберкулезный мальчик, ожидающий себе гибели через несколько лет… Михаил Александрович Новоселов уже скитается, бездомный и преследуемый за свою церковную деятельность… «Монастырь в миру» о. Романа — я не верю в него, я не могу отдавать этому жизнь. А самое основное — какая я монахиня? я — мечтательница, у которой «не вышла» любовь. Чего как не любви ожидала я всю свою недолгую жизнь?

Любовь не приходит — я не буду больше о ней думать. Я должна выйти замуж за доброго, благородного Николая Николаевича. У меня на руках мать — это мой ребенок, завешанный мне отцом, вся внешняя жизнь должна быть посвящена матери. Все это так. Но я продолжаю упрямо ожидать какого-то чуда, которое перевернет мою жизнь. И я молчу и таюсь даже от себя самой. Так приходит новое лето.

— Ты никогда не была на юге, — говорит мне мать. — Мы всю жизнь с папой собирались на Кавказ, да так и не попали. Николай Николаевич предлагает тебе с ним поехать.

Кавказ! Там бродит сейчас Олег. Его адрес: Сочи, до востребования. Но он не пишет. Значит, ему не до нас.

— Только неудобно ехать вдвоем, — продолжает мама, — в гостиницах останавливаться… Ты не девочка и Николай Николаевич не старик. Вам надо хотя бы зарегистрироваться.

Так вот о чем они совещаются за моей спиной! Николаю Николаевичу всюду мерещится гипноз. Он думает, что я под гипнозом о. Романа. «Вы не моя сомнамбула!» — вспоминаю я его слова после неудачной попытки меня усыпить.

О. Роман знает все обстоятельства моей жизни, он хорошо знает мою мать. Он грустно смотрит на меня и все предоставляет моей воле. Я иду, как приговоренная, в ЗАГС и возвращаюсь оттуда с новой фамилией: Вознесенская. У Николая Николаевича вид хирурга, удачно произведшего операцию. Он искоса посматривает на меня: пациент жив и чувствует себя

удовлетворительно!

— Для вас это, конечно, еще не окончательное «да»? — весело бросает он мне, и я не понимаю, шутит он или говорит серьезно. — Я знаю, ваше «да» будет, когда о. Роман нас повенчает. — Я молчу.

— Бросьте свою ненавистную службу — ведь вы уже на нее не вернетесь. После Кавказа мы поедем осенью в научную командировку в Англию.

Но я не бросаю работы, я беру отпуск, скрывая это ото всех. И мы уезжаем на Кавказ.

Предгорья Кавказа. Из окна поезда видна пустынная полупрозрачность гор. В те годы не было еще железной дороги по побережью. В Туапсе мы пересаживаемся на пароход до Сочи. На рассвете Николай Николаевич будит меня. Я выбегаю на палубу. Солнце уже поднялось над горизонтом, но на востоке его прикрывает цепь Кавказского хребта. Горы стоят темной пилой на фоне розового неба. Они отбрасывают тени на узкую береговую линию, где ютятся домики скромного селения Сочи. Только одно здание — гостиница «Ривьера», построенная перед самой революцией, говорит о будущем, ожидающем этот тихий берег.

Он еще в тени, но отражение лучей невидимого из-за гор солнца уже играет на поверхности воды: море покрыто мелкой переливчатой рябью, как перламутр. Так бывает короткие минуты на рассвете, пока солнце не поднялось еще над линией гор: двойное отражение его света — раньше на небе, потом в воде. А берег все еще в тени. Неясными очертаниями уходят вверх и прячутся в темной зелени здания. Оттуда доносится к нам сладкий запах от невиданных мною деревьев — это цветут магнолии.

Я стояла на палубе, потрясенная зрелищем приближающегося ко мне рая. Прекраснее я ничего не видала на свете и думала тогда, что таким и должен быть вход в рай: лучшего не нужно и быть не могло. Так думал, вероятно, Гоген, впервые увидавший острова Таити.

Нас переправили к берегу на баркасе. Ривьера с ее претензией на европейский комфорт была почти оскорбительна рядом с природой, еще боровшейся против наступления цивилизованного человека. В Сочи тысяча девятьсот двадцать четвертого года я не помню еще ни одной автомашины, а на берегу у моря — ни одной бутылки, консервной банки или коробки из-под папирос. Кавказ Лермонтова и Пушкина был тогда еще жив. Каждый раз, когда впоследствии мне приходилось проезжать через Сочи по дороге в горы, я ни разу не задержалась

даже для того, чтоб освежиться после вагона в море — так больно было видеть разрушение рая.

Мы поселились на Ривьере. В большом номере я выделила себе уголок и робко попросила горничную найти мне ширмы. Произошло неловкое замешательство. Девушка вопросительно посмотрела на Николая Николаевича. Тот иронически улыбался. Ширм в гостинице не оказалось. Стояла жара. Николай Николаевич целыми днями работал над своей книгой по химии на затененной веранде и два раза в день — утром и вечером спускался со мной к морю. У него уже начиналась сердечная болезнь, о которой я тогда не подозревала. Он сразу установил строгий порядок нашей жизни, не советуясь со мной. Понятно, он привык к одиночеству, привык быть господином своей жизни. По его расписанию мы пили по утрам неизменное какао в номере. Моей обязанностью было ранним утром ходить в город за свежими булками и на почту. Я отсылала какие-то бандероли, получала корректуру… Обедали мы в ресторане гостиницы, висящем над морем, как ласточкино гнездо. Выбирал еду Николай Николаевич, а я со всем соглашалась: стыдилась его методичности.

Помню, мне хотелось свежих помидоров. Николай Николаевич понимал это, но то ли был еще «не сезон», то ли он ждал, что я сама попрошу… Но я молчала. Почему досадно и мелочно запомнился на сорок лет такой пустяк? В день отъезда Николай Николаевич заказал мне помидоры и сказал при этом:

— Ну вот, ты ведь давно их хотела.

Значит, понимал и нарочно не заказывал. Значит, это был замаскированный поединок двух воль — испытание силы на власть. Власть у Николая Николаевича ускользала, и он держался за ее обрывки, хотя бы за «помидоры». Вот почему я и запомнила эту, казалось бы, ничтожную мелочь…

По ночам у нас под окном резко пахли огромные мясистые цветы магнолий. Они казались немыми, затаившимися в грубой чувственности существами. Безвыходно бились и бились волны у наших окон, и стены, как живые, постоянно дрожали. Воздух был полон летающими и светящимися насекомыми; казалось, они никогда не отдыхают, все ищут и ищут свою пару. Мне казалось, природа так беспокойна, что человеку рядом с нею страшно: страсти ее неутолимы — любовь и смерть — и снова любовь и смерть, и нет этому предела и конца.

Я лежала не одну ночь с открытыми глазами и слушала дыхание спящего Николая Николаевича. Уверен ли он в своей победе? Я вспоминала, как недавно, перед тем как заснуть, он

сказал мне: «Я люблю тебя так, как любил только свою мать».

— Николай Николаевич, — говорю я однажды с неожиданной для себя решимостью, освобождаясь от его рук и складывая свои как на молитве, — Николай Николаевич, умоляю вас (я продолжаю говорить ему «вы», и он над этим добродушно подшучивает), — умоляю вас, скажите мне по самой крайней правде: если мы расстанемся, вы будете жалеть, что встретили, что полюбили меня?

Из коридора, через матовое стекло над дверью, падал мягкий свет прямо на его лицо. Оно было печально. Николай Николаевич долго молчал и наконец ответил мне тихо и очень твердо:

— Никогда ни в чем я тебя не упрекну. Я сохраню к тебе до конца моих дней только благодарность.

И вот он спит, а я буду лежать с открытыми глазами до утра. А утром пойду «по расписанию» за свежими булками и на почту и загляну в окошко «до востребования» и спрошу, нет ли письма на мое имя. Я это делаю каждый день: оттого так охотно и хожу с поручениями в город. Но письма все нет.

Оно так и не пришло до самого нашего отъезда. Олег не отвечал на мои отчаянные письма, в которых я умоляла его помочь мне бежать в горы на любую жизнь и навсегда.

Этот удар я готовила и для Николая Николаевича и для моей матери, но я обдумала его и хорошо знала: они не оставят друг друга, а там… лишь бы мне вырваться сейчас из плена, из Ривьеры, из Москвы. Но Олег, как потом выяснилось, весь этот месяц бродил по горам и ни разу не наведался в Сочи за почтой.

Подходил к концу отпуск. Однажды Николай Николаевич сказал мне:

— Я нанял лошадей, съездим на Красную Поляну, это шестьдесят верст в горы. Нельзя уехать, нигде не побывав.

Конечно, современным туристам трудно представить силу впечатления, охватившего нас на долгом пути на лошадях: мы выехали на рассвете и приехали в сумерки. При этом мы были единственными в тот день приезжими на Красную Поляну. Наутро к нам явился местный житель — проводник, худой, жилистый, немногословный, и повел нас на одну из вершин, окружавших долину, на Аибгу. Мы не дошли до вершины: мы увидали, что Николай Николаевич идет из последних сил и задыхается.

— На той горе, видишь? — говорил мне проводник, — живет монах, пустынник Даниил. Он мой знакомец. Хочешь — сведу. Он примет и побеседует. Хочешь?

Я растерялась и… обрадовалась, когда Николай Николаевич решительно заявил, что мы возвращаемся: лошади дожидались

нас.

В Москве, прямо с вокзала, мы поехали в мой новый дом. Мамы не было в городе, она гостила на даче у знакомых и должна была на днях вернуться.

— Вот ваша комната, — сказала мне сестра Николая Николаевича и со знакомой улыбкой показала мне на букетик из нескольких крохотных белых цветочков, помещавшихся в столовой рюмке, стоявший около предназначенной мне постели. Странный «свадебный» букет был, видимо, задуман ею как символ чего-то… И мне снова, в который раз стало неловко и тревожно.

Рано утром Николай Николаевич ушел в свою лабораторию. Мой отпуск окончился также, но никто об этом не подозревал.

— Я уже с шести часов утра на ногах, — заметила вскользь моя свояченица. — Будем теперь хозяйничать по очереди: вот расписание!

На стене висела бумажка с днями наших с нею дежурств. Сестра Николая Николаевича стала показывать мне свое хозяйство, разъясняя, как живет, и будет жить, и никаких перемен не допустит этот мертвый дом. Я, как добросовестная ученица, старалась запомнить каждую новую чужую вещь и не могла отогнать мысль о родных наших с мамой сбереженных вещах, полных дорогих воспоминаний. «Мама найдет здесь верный тон, она сумеет себя поставить!» — думала я, и круг моих рассуждений привычно и безнадежно вертелся без выхода.

Как нежна и покорна была я в те дни и те ночи! Я чувствовала (ни на одно мгновение того не сознавая!), что они — последние. «Священная блудница», — запишет у себя в дневнике Пришвин, выслушав мой об этом рассказ…

Вернувшись домой после работы, Николай Николаевич объявил мне с сестрой новость, что у него на работе организуется кооперативное строительство, что он первым получит квартиру, где я буду хозяйничать по-настоящему. Он ласково потрепал меня на ходу по плечу и пошутил:

— Так-то! Тебе пора сказать свое «да». Когда же мы будем венчаться?

И, не дождавшись ответа, ушел на заседание, а я — в храм к о. Роману на вечернюю службу. Он хорошо понимал сложность моего положения и сам терялся в противоречиях. Он долго думал, потом сказал:

— Я решился на шаг, слишком, вероятно, смелый и, может быть, не совсем правильный. Но пусть Сам Господь судит нас — мы никому не скажем. Завтра за литургией я положу на престол две записки; какую выну, так ты и поступишь.

Судьба моя решалась. Завтра вернется в город и мама. Все концы связывались — и навсегда.

Утром, после обедни, я подошла к батюшке. Сочувствие светилось на милом лице о. Романа. Он протянул мне записку. Я прочла на ней: «Выходить замуж за Н. Н.» Он перекрестил мою низко наклоненную голову. Я, не поднимая ее, вышла из храма. Мне не под силу было сейчас возвращаться к людям. Я села в трамвай и поехала за город. Целый день я проходила по полям, не чувствуя ни усталости, ни голода, ни времени. Я почти ни о чем не думала: это было бесполезно, все уже столько раз было передумано… Если бы меня спросили, что я намерена сделать, когда возвращалась вечером на Новинский, я бы удивилась такому вопросу: «Сегодня утром все решено», — ответила бы я. А сделала я вот что: войдя в квартиру (у меня был уже свой от нее ключ), я не застала никого. Николай Николаевич, видно, задержался на работе, а его сестра с мужем куда-то ушли. Я присела за письменный стол Николая Николаевича, быстро набросала ему короткую записку, взяла свой чемодан и бежала из этого дома навсегда. Когда я появилась у мамы, она все прочла по моему лицу и не стала меня ни допрашивать, ни упрекать. Я же чувствовала, что совершенное сейчас мною почти без участия воли, почти бездумно решение было правильным.

«Что с Николаем Николаевичем?» — думала я теперь непрестанно. Я вспоминала его выдержку в день смерти матери. Он пришел к нам недели через две, постаревший, осунувшийся, пришел как добрый знакомый, ни одним словом не коснувшись происшедшего. Он пришел мне сказать, что организует «для меня» курсы по подготовке в Университет, — тогда впервые для поступления были объявлены экзамены.

— Вам еще надо жить, и долго жить, и трудно. У вас на руках мать.

Однажды я встретила на улице сестру Николая Николаевича. Мое смущение сразу рассеялось от ее впервые обращенной ко мне искренней приветливости. «Она радуется», — недоуменно мелькнуло у меня. И тут я поняла: конечно, она радуется освобождению от меня, и она права. Она, как и мать ее, обе предвидели несчастье. Она была так неосмотрительна в своей радости, что не остереглась рассказать мне, как пережил Николай Николаевич мой уход. Он, ни разу и никуда не опоздавший за всю свою жизнь, прочитав мою записку, лег на свою постель лицом к стене и пролежал так неделю, ни с кем не разговаривая. На службу сестра сообщила по своему почину, что Николай Николаевич заболел. Через неделю он вышел из своей комнаты непроницаемый, постаревший. Он не позволил никому в доме

коснуться случившегося словом, и все пошло по-старому.

С тех пор он стал бывать у нас аккуратно раз в месяц, корректный и отчужденный. Без меня они с мамой снова о чем-то совещались, а при мне, как и раньше, замолкали.

— Николай Николаевич, — сказала я ему в следующий его приход после моей встречи с его сестрой, — я знаю свою вину перед вами и не ищу оправдания.

— Вы ни в чем не виноваты, — отвел он мои слова решительно и сухо. — Никто не виноват, — продолжил он. Вскинул на меня потеплевшие глаза, скупо улыбнулся. — У меня была такая, как вы, тетка. Когда ее выдали замуж, она зачахла и умерла. Я это понял еще в ту ночь, на Кавказе, когда вы меня спросили…

— Николай Николаевич! — с отчаянием воскликнула я. — Зачем вы мучаетесь, зачем грустите? Я вам скажу одну вещь — и вы утешитесь: я никогда не стану больше ничьей женой, и потому я не попрошу у вас никогда развода. Я — не жена, я это знаю с детства и просто с вами забылась. Так пусть все будет, как до Кавказа, и мы останемся родными людьми! Я буду очень вас любить!

Николай Николаевич с нескрываемой грустью и нежностью поглядел на меня, поцеловал мою руку и сказал:

— Вы ничего не понимаете в жизни, и за это, вероятно, я вас люблю. Живи вы в другое время… а сейчас вы пройдете по жизни, незаметная, ненужная, причините немало горя себе и другим и погибнете, вернее всего, ни за что, и никто вас даже добрым словом не помянет. Я тревожусь за вас. Вам надо пока не поздно приобретать профессию, а не болтаться по ветру зря.

Это-то я хорошо сама сознавала! Но никто из «моих людей» в этом меня не понимал и не поддерживал. Ни о. Роман со своим «монастырем в миру», ни даже Александр Васильевич (тот был послушен и безгласен во всем, что от меня исходило). Олег? Тот был далек, он шел своей дорогой, он горел ярким огнем и «торопился».

Михаил Александрович говорил мне в ответ на мои сомнения:

— А мне нравится, когда человек, ничем внешне не отличаясь от других, отсиживает свои часы на работе, пусть скучной, но обществу необходимой, а потом приходит домой и погружается бескорыстно в иную жизнь, возвышенную и свободную. Это прекрасно! Таким был Федоров{137}, великий мыслитель и подвижник, а для всех скромный библиотекарь. Но он оставил неизгладимый след в истории русской мысли. Зачем связывать тебе две несовместимых области жизни?

Я не смела возражать, но чувствовала свою правоту и тосковала по делу, которое бы позволило зарабатывать деньги и было бы близко моей душе, хотя и сама еще не знала, какое это могло быть дело. Интересно, что в точности об этом я впоследствии нашла запись в дневнике Пришвина:

«Мой друг А. М. К-в разделил свою жизнь на две: одна жизнь отдается службе, другая — любимому делу… Огромное большинство людей интеллигентных так именно и жило. Мне пришло в голову, глядя на них, что это в корне безнравственное дело — разделять свой труд на „для души“ и „для хлеба“. Вовсе не понимая тогда всей глубины этого подвига — достигать неразделенной жизни, я стал заниматься только любимым делом, писать, и только писанием зарабатывать себе деньги. Признание обществом моего искусства явилось исключительно как награда за строгое выполнение идеи неразделенности жизненного труда»{138}.

Вот почему я не отказывалась от будущности врача, которую мне готовил Николай Николаевич, но меня страшили годы подготовки и ученья: математику я должна начать с азов, химии я совсем не проходила в гимназии. И тут я натолкнулась на соблазнительный выход, который, кстати, позволил бы жить не в городе, а где-то на природе: это была профессия пчеловода. Как некогда я попала за советом к князю Волконскому, так отыскала я в Петровском парке автора книги по пчеловодству Брюханенко{139} лишь для того, чтоб задать ему вопрос: можно ли мне будет прокормиться этим делом вместе с матерью? Брюханенко убеждал меня, как всякий автор, в прочности своей идеи, и я поступила на открытые им при Московском земельном отделе курсы. Так началась зима 1924/25 года.

А Олег продолжал свои поиски на Кавказе. Он писал мне довольно скупо, но все же из его писем я узнала, что он встретил интересных нам людей. Это были переселившиеся сюда в начале века интеллигенты — нравственные искатели разных толков. Около Майкопа Олег познакомился с семьей Скороходовых — детьми известного толстовца, морского офицера, оставившего некогда свой петербургский круг и превратившегося в крестьянина, который переписывался с Л. Н. Толстым, был душой местной колонии, как все толстовские колонии, быстро рассыпавшейся. Его убили как «кулака» вместе со старшим сыном в начале революции. Олег застал уже его двух младших детей — своих однолеток Сережу и Настю, выросших на хуторе, на крестьянской работе. Они испытывали отталкивание от «толстовства», дорого стоившего их матери, петербургской

институтке, привезенной «на землю» своим увлекающимся мужем, а кроме того, они с детства насмотрелись на всю беспомощность толстовских попыток создать «новую жизнь». В то же время они сохраняли благоговейную любовь к покойному отцу. В их семье рос и Валек Николаев — сын известного московского толстовца Сергея Николаева, автора книги об экономисте Генри Джордже. Валек вырос человеком особых, ни с кем не согласных взглядов — скептиком-анархистом. По существу, все эти дети были жертвами своих немудрых отцов, недостаточно образованных сектантов мысли.

В Геленджике Олег встретил еще людей иного направления: это были супруги Бироны Михаил Николаевич и Людмила Дмитриевна, художники, окончившие в начале века Мюнхенскую академию. Они, как многие представители предшествующего нам поколения, увлеклись мистическими полухристианскими полуязыческими идеями, бросили городскую жизнь и переселились из Петербурга на дикое побережье Кавказа. Жили они в точном смысле слова нищенски, проводили время за чтением и размышлением, зарабатывая себе на скудный хлеб окраской чужих заборов и крыш.

Около Бironов лепился и чудаковатый преподаватель математики Владимир Евгеньевич Филимонов. Это был человек, неспособный самостоятельно одеться, не то что заботиться о себе и семье. Однако он в молодости был женат и народил двух дочерей. Жена догадалась вовремя его оставить, взяв с собой одну дочь, и с тех пор он жил с матерью, которая несла всю тяжесть забот о сыне и маленькой внучке. Олег и Александр Васильевич неоднократно с горячностью утверждали, что у Владимира Евгеньевича есть гениальные идеи в математике и своя система. Может быть, так оно и было, но все это не получило законченной формы из-за неспособности его к упорной работе. Кроме того, Владимир Евгеньевич был поэт, и у меня до сих пор хранится рукописная тетрадь его стихов.

Подробности жизни Олега я узнавала главным образом из его писем к матери. Ему казалось недостаточно «аскетичным» вести деятельную переписку с «девочкой», но в письмах к матери он неизменно просил передать мне их содержание. Благодаря этим письмам Марина Станиславовна сблизилась со мной: в своей большой семье ей не с кем было глубоко поговорить о сыне.

Я ловила мельчайшие черты характера и жизни Олега, о которых незаметно выспрашивала Марину Станиславовну. Из писем этих я поняла, почему Олег не получил моих отчаянных призывов из Сочи: в конце лета он жил уже на Красной Поляне у того самого о. Даниила, к которому меня приглашал на Аибге

проводник. Он нашел «отцов», полюбился им и остался с ними жить, как мы понимали, навсегда. О том, что пережила за эти полгода я, Олег, конечно, и не подозревал.

И вот однажды, в начале зимы, он приехал с Кавказа и привез мне рукопись первой части своего «Острова Достоверности»[140]. Это был еще первый черновик будущей работы, впоследствии частично переделанный, аккуратная в восьмую листа сшитая тетрадка, исписанная четким и мелким почерком. И тетрадь, и почерк говорили о многом. Через двадцать лет эту тетрадь с восторгом читал Пришвин и говорил мне, что у Олега надо учиться даже тому, как он сшивал свои тетради и как выписывал, вернее, «рисовал» в них свои мысли. Михаил Михайлович часто бранил меня за торопливость в письме, за небрежность почерка. Он говорил, что мысль будет чище и сильней, если ее удерживать, медленно выписывая, подобно художнику, на бумаге. Так писал Олег, так писали древние летописцы и переписчики священных книг.

Чтение этой оборвавшейся на полуфразе тетради, как и писем Олега, будет отныне питать творчество Пришвина. У Олега: «Пространство и есть цветоносная или цветосозидающая сила». У М. М. Пришвина: «Мы опять будем с ней на лавочке говорить о личном человеческом времени и цветосозидающем пространстве»[141]. У Олега: «Из факта нашего совместного философствования уже следует, что мы существуем, причем „мы“ имеет по крайней мере смысл „мы с тобой“. „Мы“ означает первоначально „мы с тобой“, а потом — всю вселенную». У М. М. Пришвина: «Читаю философскую разработку темы „Люблю тебя“: „Мы с тобой — Вселенная“. Это и будет содержанием моей Песни Песней, т. е. мы с тобой, как Вселенная». «Настоящее писательство, впрочем, всегда вне себя и всегда не от „я“, а от „мы“ („мы с тобой“)»[142].

Неужели могут быть впустую бескорыстные усилия юноши, в жестоком припадке малярии не выпускавшего пера из рук? Таким его нашел в Геленджике Александр Васильевич, куда он приехал по следам Олега во время своего отпуска в то первое лето. Олег вышел к нему в чалме из мокрого полотенца, с исхудалым лицом землистого цвета и тут же начал читать только что написанные страницы и советоваться. Когда Александр Васильевич заставил его поставить градусник, с трудом найденный у соседей, ртуть показала 40. Олег так торопился доделать свою работу, что зимой в Москве мне стоило большого труда его уговорить, чтобы поставить коронку на больной зуб. «Не стоит, долго ли жить?» — говорил он.

Итак, приехал Олег, привез свою тетрадку и в тот же вечер

стал нам ее читать. «Посылая тебе эти записки…» — начал он, и я поняла сразу: «Остров» адресован мне. Олег умышленно так строит свои фразы, чтобы непосвященный читатель не разгадал, к мужчине или к женщине направлено его «ты». Читая, он лукаво посматривал на меня, спрашивая глазами, понятен ли мне его «хитрый» замысел.

«Тебе рано дано было со всей силой вопросить — и в ответ открылось тебе зрение острова Достоверности, — читал Олег. — Я добрался до него иначе, путем долгим и печальным. И вот, рассудил я послать тебе эти размышления о вселенском спасении… Когда я проходил этот путь, слушая, читая, размышляя, я не знал, куда он приведет. Но он пройден, цель достигнута. Достигнута она, хотя иным путем, и тобой. И мне не хочется делать вид, будто не знаю, куда иду…»

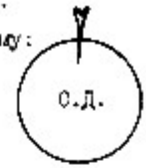
Я поняла: отныне мною найдено свое место в жизни, хотя оно мне было отведено только… в книге, написанной для других, и я сама в ней невидима. Но мне этого было с избытком довольно.

— Как же вы хотите — совсем без личной жизни? — спросил меня как-то один мой приятель.

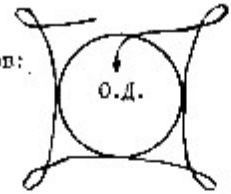
Помню, как удивилась я этому вопросу, он мне даже был не совсем понятен, настолько нераздельно было тогда в моем сознании личное и общее. Все было тогда в единстве, и не было никакой внутренней борьбы, была простота, и это было однажды в моей жизни, и это было настоящим счастьем. Я вспоминаю об этих лучших в жизни нескольких годах, как о приоткрывшемся мне ненадолго окне в мир свободы и неиссякаемой радости. Как будто это «Невидимый град» моего детства, «Школа радости» моей юности превратились теперь в «Остров Достоверности».

кой системы, изложенной в "Острове Достоверности".

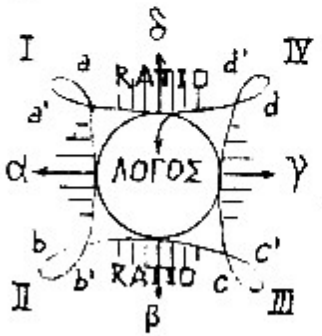
"Твой путь таков, – пишет он и рисует его схему:



а мой – таков:



Мой длинней, но зато мне пришлось много повидать и узнать различных опасностей, которые угрожают всякому страннику. Чтобы завершить эти предварительные замечания окутуи, начертаю более подробную схему его – подобие только что данной, но с подчёркиванием соотношения рационального и логического. Синим кругом обозначу Остров Достоверности, а исходящими от него лучами – свет Логоса, открывающий созерцания истины. Мысль человеческую, склонную всё время убегать в облака рациональных абстракций, тяготеющую к Рацио, обозначу красным цветом.



Здесь a, b, c, d – взлёты рациональной дедукции.

a', b', c', d' – возвращение к наблюдению действительности.

α, β, γ, δ – прорывы недоказуемого знания из области Логоса.

«Остров Достоверности». Машинопись с рисунками Олега.

В ту зиму мы с Олегом изучали литургику, то есть поэзию и философию богослужебных текстов, иконописи и для этого ездили в староверские храмы у Рогожской заставы, где сохранялись древние иконы. Именно эти иконы навели Олега на мысль о царстве небесном как о радостном сосуществовании тварей, а не только как о совершенном устроении человеческой

души. На иконах Воскресения и Преображения мы прочли веру наших отцов в то, что и растения, и животные, а не одни только люди, сохраняются для вечности в замысле о них Творца. На иконе «Неопалимая купина» Олег прочел схему своей философской системы, изложенной в «Острове Достоверности». «Твой путь таков, — пишет он и рисует его схему, — а мой — таков (см. рис.). Мой [путь] длинней, но зато мне пришлось много повидать и узнать различных опасностей, которые угрожают всякому страннику». И дальше продолжает: «Мое исследование разбивается на четыре больших размышления. Их можно озаглавить так:

1. О природе, или вселенная, которая существует.
2. О нравственности, или вселенная, которая должна существовать.
3. Об истории, или спасение, которое совершается.
4. О религии, или спасение, которое должно совершаться».

Щедрым потоком льются на нас новые образы и идеи. Мы изумлялись им, мы были счастливы. В ту зиму родилась наша мечта о совместной жизни и работе… Конечно, в горах. В неразвлекаемом уединении. Ради тех, для которых и пишется «Остров». Для этого пригодится и мое пчеловодство. Это будет обитель, незаметная для людей — современное монашество, сохраняющее предание о древнем подвижничестве и в то же время приобретшее новые формы, как мы считали, востребованные временем. Так думали мы, и мы были не одни неопытными самовольными мечтателями: Церковь — не музей, а живой организм, надо ли здесь повторять эту истину? Мы мечтали не о том почитаемом нами монашестве, которое предполагает жизнь вне времени — только с Богом. Мы стремились к жизни аскетической, но отнюдь не одинокой. Мы по-детски радовались как находке словам из псалма: «Се что добро или что красно, о еже жити братии вкупе». Так мы призвали в союзники самого царя Давида. И, конечно, современных нам богословов: «В апостольский и после-апостольский век появляются аскеты и высоко ценится девственность, и, между прочим, зарождается, быстро выродившийся, но интересный институт сожительства аскетов обоего пола», — читали мы в вышедшей перед революцией в 1911 году книге «Два града» Сергея Булгакова…

«Мы с тобой» — в эту формулу включалось все нам дорогое: с нами будут жить близкие, единомысленные люди, и наши матери, и, конечно, Александр Васильевич. Втайне я надеялась, что и Николай Николаевич, но молчала об этом. Спросят, а как же мое

«послушание» о. Роману? Батюшка был посвящен в наши планы и не противился им. Он доверял нам. Но на самом деле мы были мечтатели, и еще, вероятно, мы любили — как мы любили и к чему эта любовь обязывала нас, и к чему вела, в то время мы и сами не знали.

Ранней весной 1925 года Олег уехал в горы к о. Даниилу на Красную Поляну.

В тот год я особенно сблизилась с Михаилом Александровичем Новоселовым. Сближение это росло легко, радостно, непринужденно. Нам не было нужды, что я была молодой девушкой, а он стариком; что жизнь наша была далеко не легкая в те годы; что трагическое завершение этой жизни уже ждало Михаила Александровича, да и всех нас у порога. Михаил Александрович вступал тогда на последнюю ступень, за которой его ждала безвестная и бесславная гибель. Еще в первый год нашего знакомства я увидала поразивший меня сон. Я никогда не была суеверной и всегда отсекала всякую легковесную «мистику», все попытки произвольного толкования непонятных для нас явлений жизни. Так приняла я и этот сон, но все же рассказала о нем «дяденьке». Сон был следующий: я увидала Михаила Александровича озабоченным, в монашеском облачении, с обыкновенной дворницкой метлой в руках, которой он выметал за порог сор. Выслушав мой рассказ, Михаил Александрович стал очень серьезным, удивленно посмотрел на меня и сказал: «А ведь ты у нас сновидица! Твой сон — со смыслом». И он впервые рассказал мне, чем он занят. Оказывается, он боролся с «Живой Церковью», этим новым движением, начавшимся после революции внутри церковного общества. Вождем движения был священник из интеллигентов по фамилии Введенский, который пытался «обновить», модернизировать православие{143}.

Михаил Александрович, почитаемый в различных кругах православных людей, рассылал доступно изложенные послания к мирянам и духовенству, которые переписывались и распространялись добровольцами в разных концах России. Но деятельность эта, конечно, ему не прошла даром: в самые свободные от репрессий годы в начале нэпа к Михаилу Александровичу явились с ордером на арест, вероятно, по проискам тех же «живцов», с которыми он боролся. Михаил Александрович ушел черным ходом, и с тех пор в течение шести лет жил в Москве, не сняв даже выдающей его бороды, жил он у разных друзей, то там, то тут, как птица, и не прекращал борьбы за чистоту возлюбленного им православия. Иногда по делам он уезжал в другие города, где у него были единомышленники, и

тогда я получала от него ежедневно письма. Я не сохранила эти драгоценные письма. Это случилось по разным причинам, но, отчасти и оттого, что по молодости казалось: жизнь впереди, там будет расцвет нашей деятельности и наших отношений, а не здесь — в переходном настоящем.

Я мало общалась тогда с людьми, жила в мире идей и сосредоточена была на своих личных переживаниях, общественный уклон деятельности Михаила Александровича меня не привлекал, но я любила этого человека и любовалась им. Много таких же прекрасных людей довелось мне узнать через Михаила Александровича, все они погибли в конце 20-х и в 30-х годах. О каждом из них можно было бы написать особое «житие».

Через Михаила Александровича я ощутила веяние вселенской стихии православия, именно в нем впервые почуяла действие Духа Святого, «который веет, где хочет», перебегает по отдельным людям языками пламени, вспыхивает то здесь, то там, уравнивает всех и соединяет в то единое целое, что и есть Церковь Христова в существе своем.

Мне запомнились слова одной самоотверженной женщины, Клавдии Владимировны Назаровой, у которой часто находил приют в те беспримерные годы Михаил Александрович и которая с улыбкой иногда говорила мне: «Одна надежда — проскользнуть в Царство Небесное вместе с нашими красавцами, как блоха в шкуре медведя».

«Сейчас такое время, — сказал мне однажды Михаил Александрович, — когда праведность человека перед Богом определяется не столько его личным поведением, грехами или добродетелью, сколько его твердостью в вере — в верности церковному сознанию, решимостью стоять в этой верности до смерти и мученичества». И тогда же прочел мне рассказ из сборника сказаний о жизни древних подвижников, который я с тех пор ни разу не слыхала. Это был рассказ об одном монахе, которого укоряли во многих грехах, испытывая его смирение, и который кротко принимал все обвинения, хотя и не был виноват. Но когда его обвинили в принадлежности к ереси, то есть в измене самой Истине, он решительно и гневно отвел это обвинение и сказал: «Не совершал я этого и не приму на себя этой лжи!» И присутствовавший при том мудрый старец рассудил, что монах проявил истинное смирение, потому что отстаивал не праведность свою, а любовь.

Я иногда спрашиваю себя, что же осталось мне от Новоселова на вечную память? Пожалуй, то, что он сам собою каждый день доказывал не книжное, а реальное существование Церкви Святых.

Летом 1925 года Александр Васильевич уехал во время отпуска к Олегу, а я — к Новоселову, где жила в заброшенном доме его друзей на станции Пески под Москвой. Мы сидим с Михаилом Александровичем на высоком берегу Москвы-реки и изредка перебрасываемся словами. Они так просто прикладываются друг к другу, как будто думает один человек, и от этого на душе ясно и просто. О чем мы говорим?

— Река выразительнее моря, — говорит он. — У нее ясно направление, определена цель, и она эту цель достигает.

— Море тревожно от безнадежности, — отвечаю я, — вечное волнение без выхода: прилив — отлив. У вас сегодня усталое лицо, вы слишком долго работаете ночью. Прилягте ко мне на колени, я соберу травы вместо подушки. Я буду сидеть, не дыша, а вы подремлите.

Какое усталое лицо, когда он снял очки и закрыл свои вечно улыбающиеся глаза! Легко ли старику жить без угла, зависеть от настроения разных людей, от их внимания, готовности помочь, благодарности… И никогда ни слова уныния, жалобы или осуждения. Я вспоминаю послание апостола Павла: «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть». Я поглаживаю седые мягкие волосы на голове, покоящейся на моих коленях.

— Вам надо обрезать бороду: она вас выдает.

— Что ты! разве ты не знаешь, как наши предки боролись с Петром Великим за свои бороды? Это была не простая борьба за привычку, они были убеждены, что борода есть знак священного благообразия.

— И вы рискуете жизнью из-за этого знака?

Он улыбается лукаво и таинственно.

— Ты у меня умница, разберись сама, а я… зачем мне думать? Моя нянька в детстве говаривала: «Пускай лошадь думает, у нее голова большая!» Ты думай, а я подремлю. — И снова закрывает глаза.

— Вы все шутите…

— Как тебе сказать… и шучу, и правду говорю, — отвечает он в полудреме.

— Одновременно? — смеюсь я.

— А как же? — он приподнимается с моих колен, надевает очки, оглядывается вокруг. — Вся земная жизнь состоит из борьбы света и тени, оглянись. Послушай, что пишет об этом один мой друг. — Михаил Александрович вынимает из кармана записную книжку и читает: «Истина содержит все возможные о ней суждения и потому каждое из них одинаково доказуемо. Тезис и антитезис вместе — вот выражение истины». Для

рассудка это безнадежно, но в этой безнадежности как раз и есть наша надежда, в подвиге самого рассудка, признавшего свою ограниченность, в его решимости преобразиться и взойти на высшую ступень. Это и есть наша вера.

И он продолжает читать: «Тайны религии — это не секреты, которые не следует разглашать, не условия партии заговорщиков, а невыразимые переживания, которые не могут облечься в слово иначе, как в виде противоречий. Это „паче смысла таинство“». Все это из труда друга моего священника Павла Александровича Флоренского «Столп и утверждение истины». Толстенный кирпич, плод его юношеских размышлений. Сам Флоренский относится к нему скептически, главным образом, со стороны формы. Но мне книга кажется очень ценной, и я мечтаю издать из нее извлечения в своей розовой библиотеке, если когда-либо ей суждено будет возродиться.

Я: — А чем теперь занимается Флоренский?

Михаил Александрович: — Он математик, профессор, инженер. Знает множество языков, философ. С ним страшно разговаривать, настолько он учен в любой области. Говорят, что он может читать курс по любому предмету в любом высшем учебном заведении. Сейчас он читает в каком-то Институте лекции, не снимая рясы и креста по особому разрешению.

Я. — Когда вы сейчас читали, я подумала: если даже докажут, что *ничего* не было, это не может поколебать нашей веры. Христос есть образ всех усилий в борьбе за идеал абсолютного добра. Даже если бы мне доказали, что Его не было в истории, меня это не поколеблет, для меня важно одно: что он мыслим, этот Образ. Когда успокоишь сознание и заглянешь в него, остается чувство доверия к этому Образу, который живет там с первых проблесков мысли. Но как это объяснить?

Михаил Александрович: — Я понимаю, ты хочешь сказать, что раз мы уверовали, значит полюбили. Если полюбили — нам *не важны* доказательства. То, что мы увидели и полюбили, сильнее фактов, на которые опирается короткое знание земной жизни.

Михаил Александрович снова читает: «Приемы исторической критики, порой кажущиеся наивному уму чем-то неумолимо логическим, на деле так же основаны на вере, как и убеждения верующего сердца. В сущности, не приемы различны — они одинаковы, ибо одинаково устроение ума человеческого, а различны веры, лежащие в основе тех и других. У одних вера в неверие, вера в сей проходящий и растленный мир; у других вера в веру, вера в иной, вечный и духовный мир… Согласно вере своей каждый говорит, раскрывая в объективных по виду приемах доказательства чаяния своего сердца… И потому, если кто

сдается на доводы исторической критики, то это не то значит, что они основательны, а то, что он уже расслаб в своей вере и душа его тайно вожделела, с кем бы ей пасть».

Мы замолчали. Небо, в тот день серое, строгое, с облаками, на мгновение расчистилось; небесный свод просиял голубым и вновь закрылся сквозным покрывалом. Но мы знали, как знал уже каждый ребенок, что астрономическое небо — оптический обман, зато облака на нем — достоверность, они ближе к нам, чем то, обманчивое, голубое. Облака были правдой. Но еще ближе к нам и еще достовернее была наша человеческая мечта о прекрасном, наша вера в него.

— Знаете, на что похожа наша вера? — спросила я и сама ответила. — На это серое небо с облаками. Я так понимаю православие, как и русскую природу, они говорят нам: потерпите, не ищите голубых миражей, за нами солнце, рано ли, поздно ли оно откроется вам.

Михаил Александрович часто вспоминал мне впоследствии мое «серое небо».

Мы с дяденькой сидим на берегу, молчим, и каждый думает о своем. Я вспоминаю Олега: он бродит сейчас в предгорьях Кавказа вместе с Александром Васильевичем, они ищут подходящий участок для нашей будущей «обители». У меня лежит письмо с описанием их путешествия. Но дяденьке я его почему-то не прочту. Письмо Олега:

> «1925 г. Ляле. По обычаю, сначала надо толковать о видимых делах. И хотя А. В. все расскажет самым точным образом, однако, надо кое-что сказать.
>
> Мы с ним не успели поехать на Красную Поляну, так как трудно было подладиться к расписанию пароходов. Пришлось бы с невероятной быстротой обернуться туда и назад, все время бежать и нигде как следует не побывать. Это было досадно, так как хотелось, чтобы он побывал у пустынников. Один вид кельи пустынника действует магически. Пришлось нам ограничиться путешествием по окрестностям Геленджика. Мы выбрали хороший маршрут, так что захватили и высокие горы с видом на море, и виды на Кубанские степи; прошлись по глубокому ущелью с речкой и водопадами, по так называемой „Плясецкой щели“, потом попали на Кубань, прошлись длинной долиной реки Абина, отличающейся необыкновенной красотой, хотя уже не вполне в кавказском духе, наконец, явились в Карасубазар и побывали на облюбованном мною месте. Она очень

понравилась А. В., и именно та поляна, о которой я писал. Он расскажет тебе наши хлопоты и что мы узнали. Я же хочу лишь добавить к этому несколько соображений. Именно, лесничий сказал нам, что явись мы в апреле или даже в мае, он немедленно мог бы дать нам эту землю, так как она была в его ведении. Подтвердил, что она хороша для пчеловодства, подтвердил то же и председатель местного общества пчеловодства. Но теперь она находится в ведении станицы Славинской, которая тоже охотно дала бы ее, если бы жители соседнего селения (Николаевского и Гостогаевского хуторов), желающие выделиться в самостоятельное земельное общество, не стали бы ее себе просить в дополнительный надел.

Их 50 дворов, земли у них довольно. Поэтому они сами просят с сомненьем, не знают, дадут ли. Никто не знает достоверно ничего, даже неизвестно точно, действительно ли земля в ведении станицы Славинской. Я думаю, что, если бы Господу было угодно, Он убрал бы с пути моего многочисленные препятствия, задерживающие отъезд на Красную Поляну, и земля была бы уже наша. Теперь же, очевидно, Ему угодно, чтобы мы одержали одну победу — чтобы любовью победили этот Николаевский хутор и добились бы, чтобы жители его приняли нас в свое земельное общество. Тогда мы получили бы землю как надел. Добрый лесничий советовал нам взять землю как надел хоть на один год, построить на ней шалаш и жить, а в октябре, мол, будет происходить землеустройство, тогда вы, как фактические пользователи, попросите себе эту землю в надел. Это несколько рискованный способ, и, во всяком случае, не следует с самого начала наживать себе врагов в лице близких соседей, поэтому прежде всего нам надо получить благорасположение этих хуторян. Земля слишком хороша и недаром нам указана. Не надо так легко отступаться от нее. Я постараюсь познакомиться с хуторянами и снискать их расположение. Но это возможно в том только случае, если Господь пошлет в сердца их доброе к нам отношение, о чем прошу тебя помолиться.

На случай неудачи есть еще одна долина по верховьям реки Абина, называемая Малогреческой. Мы по ней проходили, и она очень понравилась А. В. Хотя мы и не видали земель, о которых нам говорили, но о

характере их судить можем. На эти земли претендентов нет, но у них есть два недостатка: около 40 верст до станции и на участке нет воды. А. В. так нравится местность, что он готов и на эти условия. Однако я думаю, что, имея в виду наших старичков, надо соблюсти осторожность в выборе. И во всяком случае, не надо *разбивать* внимания, ибо оно вершит в невидимом, видимые причины — только следствия.

Поэтому да будет внимание наше направлено на Неопалимовскую долину (надо найти название, это — временное условно, и для нас) и на стяжание добрых отношений с Николаевским хутором.

Толковать о внутреннем устроении обители трудно, потому что сейчас какой-то странный момент: никогда она не была так близка к осуществлению, как теперь, и вместе с тем все крайне шатко и висит на волоске. Может быть, Бог захочет даже, чтобы мы пережили покорное отречение от наших мечтаний, и тогда единым мановением все создаст. Но не думаю. Он ведь знает, что покорность у нас есть.

Относительно молитвы и творчества. Мы действительно знаем ряд святых, которые не были „художниками“ молитвы, — таковы большинство мучеников и все князья-воины. Только тот тип, который носит почетное имя „преподобных“, был совершен в делании молитвы, да еще „святители“ — производное от преподобных: преподобные, но церковные деятели. И вот изумительно, что как раз эти-то „мастера молчания“ были самыми талантливыми и плодовитыми писателями. Ведь это неоспоримый факт. Посмотрим, как совершается творчество. Беру знакомую мне область — философию. Мне никогда не приходится ничего „обдумывать“, и я хорошенько до сих пор не понимаю, что это значит.

Вот, мы читали „Остров Достоверности“, спорили о пространстве, я слабо возражал, а больше соглашался. Прошло два месяца, и вот внезапно налетает множество мыслей о пространстве. Оказывается, мое мнение было верно, в пользу его приводятся готовые доказательства, новое понимание формируется в целую теорию. Мало того, оказывается, это — русское понимание пространства, отличное от западного, как и от античного. Это — осознание того понимания, которое выражено в русской архитектуре и живописи, особенно в

иконописи. Пусть это кажется слишком смелым, но я не могу умалять важности нового апокалиптического понимания пространства, оно — не мое, я прочел его главным образом в иконах.

Теперь спрашиваю себя: где тут обдумывание, размышление? Очень мало, оно нужно лишь при связывании накопляющихся фрагментов, и именно ему-то обязаны своим возникновением те натянутые и скучные рассуждения, которыми соединяются и упорядочиваются искры умозрений.

Собственно, тут мне представляется дело так: поэты плетут венки из живых цветов. Цветы они срывают, им нечего обдумывать, надо только выбирать в бесконечном разнообразии видимого им мира или получать, если беден, то, что случайно дается, и „рукой рассеянной“, по Пушкину, вплетать их в общую цепь.

А философы — ювелиры. Они куют венцы из драгоценных камней. Цветов больше, чем камней, они разнообразней, камней не так много, оттого философы обращаются почти с одними и теми же понятиями, соперничая в гранильном мастерстве. Опять-таки, эти камни они получают готовыми как дары, творчества тут нет никакого, кроме гранения. Размышления же, систематизирующие и размещающие, есть изготовление золотой или серебряной оправы такой формы, чтобы наилучшим образом и в самом выгодном сочетании явить свыше дарованные камни. Не правда ли, драгоценный камень — это материализованная ясность и отчетливость? Так вот, разве все эти работы нельзя делать с молитвой? Тетя Туся рассказывала, что в Китаевском монастыре под Киевом готовили необыкновенно вкусный борщ. Когда она пыталась узнать у монахов рецепт приготовления, повар отвечал ей: „А мы, матушка, все с молитовкой: лучку положим с молитовкой, и капусты тоже, и посолим с молитовкой, оттого борщ-то и хорош выходит“.

Прости за кухонное сравнение, оно не вполне противно духу Церкви, точнее — церковным традициям. Рассудим еще так: все ли время творец, скажем поэт, пребывает в состоянии углубленного размышления? Нимало, наоборот, по свидетельству Пушкина, „в заботы суетного света он малодушно погружен“. И вот, кажется, надо бы переделать стихи Пушкина в таком духе (пишу прозой, само собой разумеется): „Пока не призовет поэта

к священному служению Святая София, он погружен в молитвы, аскетические упражнения и дела милосердия“.

Подойдем еще и с такой стороны: оглядываясь на прошедший день, никогда не можешь сказать, чтобы прошел он в творчестве. Но большая часть времени промелькнула в мыслях ненужных и пустых. И не было бы никакого ущерба для творчества, если бы это время было заполнено молитвой. Тогда очищенный духовный слух много больше воспринял бы из духовного мира. Скажем еще и так: отцы пишут, что богослужение они совершают в том месте, где движется молитва Иисусова, — выходить никуда не нужно. А теперь — так как все сказанное может послужить в будущем, в последний день, к моему осуждению (ибо предлагаю художникам в нынешних условиях их жизни бремя тяжкое и неудобоносимое, не подвигая перстом к его приятию), спешу отступить назад.

Сказал я вначале, что от воинов не требовалось непрестанной молитвы. Нынешние же творцы волею Божьего творят не в тех условиях, в каких были преподобные, но в условиях, близких к тем, в каких были воины. Не могут они, не нарушая воли Божьей, покинуть мира. Поэтому с них нечего и спрашивать. Но кажется несомненным, что это — в ущерб творчеству. Возьмем еще раз философию. Пусть она — рефлексия над опытом. Но какая тут философия, когда опыта нет?

Теперь любят толковать о третьем завете — творческом. Пусть даже так, но ведь все заветы заключались в пустыне и осуществлялись в пустыне, и не было эпохи, когда сердце Церкви было бы не в пустыне.

Вот ветхозаветная книжка светского богослужения „Псалтирь“ вещает: „удалихся бегая, и водворихся в пустыни“. Вот новозаветный Октоих, назначенный и для светских храмов в обыкновенной воскресной службе, воспевает: „пустынным непрестанное божественное желание бывает, мира сущим суетного кроме“.

И не надо думать, что пустыня означает забвение мира, ибо, по преподобному Нилу Синайскому, „блажен инок, который на содевание спасения и преспеяния всех смотрит, как на свое собственное“. Ведь по Апокалипсису в последние дни Церковь бежит в пустыню. И если Богу угодно третий завет заключить, завет молчания Бога и творчества человека, и он, думается, не в ином месте должен быть заключен, как в

пустыне…

Что поистине страшно, так это то, что творчество человека действительно сопровождается молчанием Бога, теперь, по крайней мере. Словно нарочно Господь повелевает человекам творить, а Сам молчит и не говорит, где десно и где шуе…

Он хочет, чтобы мы угадывали Его волю сами. Поэтому люди так мечутся, отыскивая прозорливца, который открыл бы им несомненную волю Божью, готовы советоваться со всеми, ищут учителя, проникающего в тайные основы событий ясновидением, чтобы он научил их искусству творить и не ошибаться. Поэтому люди проходят весь мир в поисках верного свидетеля воли Божьей, увлекаются самозванцами-пророками (спрос вызывает предложение), раскапывают и переводят ненужные древние книги, ищут посвящений. Догмат папской непогрешимости — есть именно продукт отчаяния борцов, нуждающихся в самом скором, доступном и достоверном откровении воли Божьей. Странно сказать — наша всеобщая жажда полного послушания того же происхождения. Вот М. М. ищет в „Добротолюбии“ руководства к внешней деятельности. Это показательно. В мучении люди нередко медлят, оттягивают решение в надежде, что, может быть, Бог укажет свою волю. Но напрасно, преподобным старцам не дает Бог прозорливости. Он хочет, чтобы человек решил сам, и человек вынужден творить и действовать, так и пребывая в сомнении. Но зато этот подвиг должен быть награжден на небесах. Еще о том же. Почему я так хлопочу о молитве, не имея на то права, точнее, оправдания, как живое опровержение своих мыслей? Причина проста и ясна: страшно за философией, за многообразием богатств, за св. Софией, за иконографией потерять Христа. И мечта — укрепить Его в самом глубоком и надежном месте — в сердце, чтобы была прочная уверенность в непрестанном внимании Ему, и тогда уже воевать, творить, спасать и тому подобное.

Наверно, и ты так же думаешь, нового тут нет. Но ведь ты знаешь, что нередко одна и та же задача у нас обдумывается одновременно с одинаковым, хотя разно выраженным решением.

Сейчас или, точнее говоря, очень скоро мне понадобится твоя помощь, так же, как и А. В., в „умственной кооперации“: трудно сладить с третьей

частью, материала довольно, но надо „почувствовать“, что уместно, что неуместно, чтобы соблюсти единство духа, плана и стиля.

Читал „Лествицу“ и убедился, что описание знаменитой Темницы Плача в Раифе Синайской отталкивает, а не очаровывает. Это ужасно, т. е. что отталкивает, ибо означает чуждость духа покаяния… Если соберешься, перечти это описание в „Лествице“ (слово 5) и скажи, какое производит впечатление.

Во главу угла ставлю покаяние, но там оно отпугивает. Как это преподнести миру? Всю жизнь ничего, кроме вопля и скрежета зубов, чтобы не вопиять и не скрежетать там?!

Прости за большую длину послания. Я его единым духом настрочил, вдруг пришло настроение, а раньше все не мог собраться».

Я решилась быть верной фактам прожитой жизни и потому не могу укрыть встречи, мимолетной и в то же время на всю жизнь оставившей в моей памяти след.

В то лето я отбывала пчеловодческую практику на образцовом пчельнике, принадлежавшем женскому еще действовавшему монастырю Екатерининская Пустынь, но уже, тем не менее, находившемуся в ведении Московского Земельного отдела. Впрочем, вскоре монастырь был закрыт и на его месте организован концентрационный лагерь со «знаменитой» подземной тюрьмой, о которой я слыхала от очевидца — Васи Шершенева, по профессии букиниста, по убеждениям толстовца. В прошлом — крестьянский мальчик, он в юности натолкнулся на толстовское нравственное учение, показавшееся ему пределом мудрости и приведшее его к Черткову. Вася со всей чистотой и прямолинейностью своей натуры принял учение до конца и проводил его в жизнь подвижнически. За отказ от воинской повинности (в этом его была единственная вина), за прямое отстаивание своих убеждений Вася дважды отбывал тяжелое многолетнее заключение. Второе и закончилось в сухановской подземной тюрьме. Это была могила для живого человека, в камерах нельзя было вытянуться, не хватало воздуха для дыханья, и человек не выдерживал больше месяца: либо умирал, либо сходил с ума. Вася выдержал месяц и погиб бы, если бы не послесталинская амнистия. Он вернулся в семью, ошеломленный неожиданным спасением, но с совершенно подорванным здоровьем. Месяц спустя при переходе улицы он упал и умер от разрыва сердца. У жены, жизнь которой прошла в том, что она

дожидалась его возвращения, осталась бумага о полной невиновности мужа. Это называлось «реабилитацией»…

Монастырь, куда я приехала на пчеловодческую практику, в то время жил еще полной жизнью. Если б его игуменья мать Елена со своими способностями жила и действовала через полвека, она была бы героем колхозного труда, и на страницах «Правды» примелькался бы нам ее портрет: жестковато-деловое выражение на отечном круглом лице. В монастыре лицо было стянуто черным апостольником, на газетном листе оно было бы в крестьянском платочке под подбородок — по форме они близки. Только не было бы наперстного игуменского креста: в те годы мать Елена настолько была ценима специалистами-агрономами, что ей разрешалось читать лекции по району, не снимая ни монашеской одежды, ни креста{144}.

Монастырь жил на хозрасчете, сам себя кормил, выплачивая огромные налоги, содержал в порядке здания. Мать Елена почитала Михаила Александровича, и потому меня принимали «особо» в игуменских покоях. Впрочем, я угадывала у нее в отношении меня и некоторый умысел: я была для нее не только возможная «овца», но и желанный помощник. Меня потчевали изысканно-легкими постными блюдами, но было все это не в коня корм: я зорко и подозрительно осматривалась в этих стенах. Что-то напоминало мне в них недавно покинутый дом Николая Николаевича Вознесенского. Особенно щемило на сердце при виде молчаливо кланявшихся в пояс послушниц, прислуживавших в келье игуменьи во время наших «трапез». Мне было стыдно и жалостно на них смотреть, я опускала глаза и тогда замечала, как у всех у них одинаково выглядывали ушки от грубых полусапожек, сделанных в собственных мастерских. Эти одинаковые полусапожки вызывали особое щемящее чувство, объяснить которое сейчас не берусь.

Монахини беззаветно и безмерно трудились, жизнь их шла по издревле заведенному порядку, но шла она как бы по инерции, все вокруг на мой слух вопило о том, что она вышла из времени, что окрыляющая идея ее покинула и весь этот быт, как подтаявшая глыба, должен был вот-вот рухнуть. Понимала ли я это тогда? Вряд ли умом, но существом своим я это чувствовала глубоко и потому страдала за ложность положения этих женщин, вместе с матерью Еленой добровольно отдающих умирающему монастырю свою жизнь.

Сложились у меня близкие отношения не с матерью Еленой, а простой монахиней из крестьянок, еще не старой, но перешагнувшей возраст молодости. Она была уже в постриге.

Где и когда погибла эта спокойная добрая женщина — мать

Ирина? Она имела нетрудное послушание на пасеке, но больше болела и много читала в отдельной маленькой келье. Монахиня любила одиночество. Она принимала монастырь как великое благо, спасающее ее от пустоты, мелочности и зависимости от мирских эгоистических отношений. Так понимала она «мир».

— Не знаешь ты жизни простого народа, — говорила она мне. — Сколько женщин, сколько девушек избавил монастырь от мучителей — отцов, мужей, свекров, от деревни, которой ты и близко не видала. Унижение и рабство — наша женская доля!

И она была права, если говорить о прошлом России. Но в настоящем монастырь походил на вагон, отцепленный и брошенный где-то на полустанке. Время, как паровоз, умчалось вперед, и пассажирам оставалось только вылезать из вагона и своими путями, кто как может, двигаться ему вслед. Я говорила о своем впечатлении матери Ирине, она спокойно выслушивала, оторвавшись от книжки и подняв очки на высокий лоб, изборожденный мелкими морщинами.

— Так они же по своей воле здесь живут, — спокойно отвечала мать Ирина. — Вольно же тебе наши полсапожки примечать! А захотят ваших мирских бареточек и полегче работать — это им не заказано: снимай ряску — иди в мир. И то верно, — добавляла она, подумав, — что воспитывать нас некому. Мать Елена (дай ей Господь здоровья) все силы и разум на хозяйство кладет. Но хлебом единым монастырь не простоит, а дух убывает… Мир наступает на нас, и, по писанию видно, скоро всему старому конец, а что будет — не ведаем. Пусть молодые уходят и поищут другой жизни: церковь не судит чужого раба.

Я слушала мать Ирину и думала, что монастырю нет места в современном обществе, что нельзя осуществить идею братства в миру: отношения первохристиан, где осуществлялась подобная жизнь, неповторимы, как и все великое. И вот почему и мы в те годы искали для себя новых путей.

Пасекой заведовала моложавая монахиня, которой было уже под сорок, с лицом редкой красоты. Со мной она держалась строго, явно не шла на сближение. Моя общительность разбивалась о ее замкнутость как о камень. Я спросила как-то о ней Ирину. Та ответила уклончиво и почтительно:

— Это внучка известного подвижника, монахиня очень строгой жизни.

Я, как ни силюсь, не могу сейчас вспомнить ее имени, но и не хочу для удобства повествования давать ей придуманное. Ее образ останавливает меня перед этим, казалось бы, невинным литературным приемом.

В конце концов, я перестала с ней заговаривать и работала

усердно, с утра до ночи пыхтя дымарем, переставляя рамки, делая записи в журнале и непрестанно заглядывая в учебник Брюханенко. Мы по целым дням молчали, если только со мной не работала мать Ирина. Я уже привыкла к тому, что для заведующей пасекой, имя которой я не могу сейчас вспомнить, я не более чем один из ее розовых, голубых, желтых и белых улейков, разбросанных среди сада и окрашенных в разные цвета для того, чтобы пчелам легче было находить свой домик.

«В каком цвете существую я для нее? Может быть, она меня просто не замечает, углубленная в себя? Как она живет, эта удивительная женщина?»

А тем временем практика кончалась. Надо было уезжать. С любезной уклончивостью я отвела намеки игуменьи на возможность моего поступления в монастырь. Немыслимо было поднимать перед ней всю тяжесть моих доводов и сомнений. Я сознавала себя пороховой бочкой, которой нужно было отсюда благополучно укатиться, не взорвавшись и не обнаружив своего содержимого. Я сердечно и навсегда простилась с матерью Ириной. Теперь надо было проститься с матерью — заведующей пасекой. И я пришла к ней.

Я сказала ей несколько неловких слов благодарности, мне хотелось, и я не смела передать этой прекрасной и замкнутой в себе женщине, которой я любовалась все эти дни, горячее чувство симпатии, сочувствия, еще чего-то, жившего у меня в душе. Но к этому не было пути: вот я и стояла перед ней смущенная и нерешительная.

Монахиня только что пришла из храма после службы. На ней было полное облачение с мантией, спускавшейся плавными складками, полупрозрачное покрывало струилось с головы по плечам и волновалось даже от дыханья. В темных ресницах синие глаза, каких я никогда больше в своей жизни не встретила, смотрели на меня ласково и печально. Никогда еще она не смотрела на меня так откровенно-прямо. Чтоб нарушить неловкое молчанье, я неуверенно произнесла:

— Я убедилась, что, пожалуй, не проживу с матерью пчеловодством, это лишь мечта о природе…

— Да, капризное дело, неверное, — согласилась монахиня.

Опять обе замолчали.

— Я давно хочу спросить вас, — сказала теперь первая она, — вы собираетесь поступить в монастырь?

— Может быть, и хочу, сама еще не знаю, — ответила я заведомую неправду: не могла же я этой женщине, так прекрасно внутренне законченной, не могла же я ей рассказать о наших планах, об «обители», для чего я изучаю сейчас пчеловодство! Это

могло ей показаться самовольной, опасной, в лучшем случае детской мечтой.

И тут случилось следующее: монахиня наклонилась и упала к моим ногам. Она до земли поклонилась, и не простым поклоном: она приникла к земле лицом, как бы от нее набираясь силы. Потом подняла его ко мне, не вставая с колен: лицо по-прежнему поражало красотой, но оно было скорбно, и в синих глазах стояли непроливающиеся слезы. Она сказала мне:

— Умоляю вас, не делайте этого. Здесь нет уже любви, у вас в миру ее больше. Я не решалась вам это сказать, я все это время с собой боролась. И не могла вас так отпустить. Но, ради Бога, никому ни одного слова!

Я опустилась на землю рядом с ней, обняла ее, потом вскочила, хорошо помню, сжала в ужасе голову руками и бросилась бежать. Я не нашла в ответ ни одного слова. Потрясенная, я незаметно прокралась в гостиницу, схватила, как вор, свои вещи и убежала на станцию.

Через какое-то время я получила от матери Ирины письмо. Она благодарила меня за присланные книги и внизу сделала приписку: «А мать (следовало забытое мною имя) скрылась из монастыря, и никто не знает, куда и почему. Помнишь, ты меня пытала о ней, а я, выходит, была около сестры своей как слепая и бесчутая. Скажу тебе: на совести моей неспокойно».

Может быть, тоже неспокойная совесть заставила меня забыть сейчас ее имя? Что, если б я тогда нашлась и сказала ей нужное слово? Как-нибудь помогла? Но я ужаснулась перед бездной чужой души, мне открывшейся, и бежала… А об этой-то женщине и нужно бы написать правдивую повесть. Я никогда больше о ней ничего не слыхала. Может быть, она была раздавлена новыми разочарованиями в миру. А может быть, и нашла в нем любовь? Мир ее душе, наверное, ее уже нет на земле среди нас, оставшихся.

Между тем в середине лета вернулся Александр Васильевич. Письма от Олега, и без того редкие, прекратились. Шло лето, наступила осень — писем не было. Помню, я допустила мысль, что Олег ушел от нас в горы навсегда. Помню и другое: я не смутилась и *приняла* возможность расставанья. Я жила тогда просто, всецело доверяясь судьбе. Я спокойно засыпала с вечера и бодро поднималась рано поутру для обыденной работы: серое легкое небо стояло над моей головой.

В тот год (или, вернее, в те годы) я особенно горячо и заботливо любила свою мать, как если бы она была моим единственным ребенком. Эта любовь наполняла мою жизнь.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Любовь

И вот однажды, осенью 1925 года, мы получили от Олега письмо. Я с усилием убеждаю себя сейчас в том, что оно было получено поздней осенью, настолько в памяти оно связано по настроению с ранней весной. Письмо было обращено не ко мне, а к Александру Васильевичу. Но оно было не обычным по тону, украшено изящной заставкой пером, и я понимала, что шло оно от взволнованного сердца. Это письмо было из тех документов души, которые не могут быть не написаны. Больше того, я понимала: оно написано мне и только мне, пусть даже Олег этого не сознавал, пусть *без умысла* прикрывал именами друзей имя своего единственного адресата. Мне одной было понятно значение каждого, вскользь брошенного в письме намека.

Это случилось на службе: Александр Васильевич забежал в мою комнату и молча передал письмо. Я быстро его прочла, и сердце мое вздрогнуло от счастья, и не в переносном, а в точном физическом смысле. До сих пор мне казалось, что большего, чем я обладаю, и быть не должно. Мне и так уверенно и неплохо стало жить на свете — теперь можно было протерпеть мужественно жизнь свою до конца. Но вот пришло мое счастье, которого я ждала с детства и от которого не так давно решительно отказалась. Это счастье само постучалось в мою дверь. Ничего нового будто и не случилось — так старалась я думать. Но что бы ни думала, в мою жизнь вошла новая тема — «мы с тобой». Она уже была отныне не только в философском сочинении моего друга — из области абстракции она переселялась в жизнь. Ничего нового не случилось, но теперь я знала: Олег не оставит меня в мире одну — он не уйдет без меня в любимые горы.

Письмо Олега.

> «1925 гд. Несколько дней тому назад, утомившись от неисходного пребывания в своем обиталище, я схватил мешок и палку и побежал в горы. Отправился я на ту самую Аибгу, на которой в прошлом году была Ляля. Пастухи, во множестве населяющие склоны этой горы летом, уже ушли, и я имел счастье бродить в полном одиночестве. Две ночи провел в пустом пастушечьем балагане, ежась от холода у костра и слушая ночью звуки леса. Первый раз в жизни слышал я вой волков и был поражен его мистической силой, неизмеримой тоской об

утерянном рае, который в нем слышится. Днем поднимался на вершину и созерцал окрестные пики. На них уже давно выпал обильный снег, и потому они были одеты более великолепно, чем обычно, т. е. летом, когда снег лежит маленькими заплатками. Притом великолепие еще увеличивалось многообразием осенних красок. Горы открывались как бы в рамке: снизу темные зеленые пихты, сверху — облака, впрочем, последние располагались в несколько ярусов, и нижние копошились в долинах, иногда закрывая их от взора.

Там размышлял я и о горах, и о городах, и о горнем Иерусалиме. Вспоминал и друзей своих.

Мне припомнился странный сон, о котором как будто написал Ляле или нет, не помню. Будто вошел ты в нашу келью, одетый монахом. Но одеяние было странное: подрясник белый как снег, но не какой-нибудь небесный, а из земного материала, и я заметил даже, что, кажется, пикейный. Воротник же был очень большой, кружевной, какие носили ученые в Европе в XV–XVI веке. „Как у Спинозы“, почему-то мелькнуло у меня тогда. И войдя, сразу подошел к аналою и раскрыл книгу. На этом сон оборвался. И еще другой раз снилось, что шел ты вместе с М. Н., и говорили вы о какой-то книге.

Конечно, сны — пустое, но они наводят на многие мысли. Удивлялся, что там, в Москве, когда я был возле тебя и Ляли, многие новые разумения легко открывались, и когда я уехал на Кавказ и обитал возле Геленджика, тогда понял я центральный догмат христианства — учение о Царстве Божием. И знаю, что, если бы не было вас, да еще М. Н. и особенно Л. Д.{145}, ничего бы не понял. И ныне, когда промыслом Божьим приведен в вожделенную пустыню, мистический фейерверк оборвался, и все пришло в строгий и однообразный порядок. Как ни кротки, как ни исполнены любви Отцы, перед ними я вечно должен как бы нечто скрывать, что-то недоговаривать.

Одна из черт характера аввы, которая так сблизила меня с ним, — это его поэтическая любовь к природе вообще и к горам в особенности. Это не простая любовь туриста, даже не поэтическая, а мистическая. У него есть некоторые странные предметы любви, например, осенний ветер или гора Чугуш. И это соединяется с тонкой духовной рассудительностью и знанием святых

отцов. Я знаю, что его опыт несравненно богаче моего, но мне кажется, что чего-то в нем нет. Еще знаю и люблю некоего другого отца, который имеет особое благоговение к Благодатной и любит читать каноны Ей, — это друг аввы, но и он чего-то не знает.

Это смело, это, может быть, недопустимо, но несомненно: мы коснулись чего-то совсем особого. Я знаю, что этого же коснулись М. Н. и особенно Л. Д., но, кажется, здесь и оканчивается круг.

И вместе с тем, с другой стороны, я слишком ясно вижу, что нельзя не учиться у отцов. Пусть они последние, остаток древнего рода отшельников, но тем более оснований учиться у них. Я уже видел несомненно, что, если бы я не попал в пустыню, сразу нам удалось бы поселиться в горах, — это было бы неполно и незрело. И моя мечта, чтобы Бог внушил авве или другому такому же человеку прийти к нам. Но мечта, мало имеющая оснований.

13 сентября{146}, в день очень памятный для меня, когда мы совершали бдение, я дозволил себе недозволенное: воображением вошел в храм святителя Алексия, прошел мимо Ляли и тебя, затем стал на обычном своем месте. И когда я читал канон — его читала мать А.; не мы пели, а знакомый хор. Когда старец кадил своей пихтовой смолой — это Батюшка обходил с кадилом вокруг, и мы сторонились, почтительно кланяясь. И я сравнивал и изумлялся, что здесь „мироносицы“ не имеют того странного смысла, как там… Может быть, потому, что благодатную силу имеет богослужение в храме, но также и потому, что здесь я хоть и с любимым старцем, но в каком-то смысле все-таки один.

Отцы слишком определенно знают Церковь. Творчество, о котором мы мечтаем, есть, собственно, не что иное, как готовность видеть „славное и ужасное, великое и неисследованное“ там, где другие видят понятное.

Раз я спросил авву: почему преп. Серафим, Амвросий Оптинский, Зосима Верховенский, Иоанн Кронштадтский и другие подвижники последних времен на закате дней своих, „течение скончавая“, устраивали женские обители? Ответ его поразил меня своей трезвой простотой: в древние времена благочестие было высоко, и потому, если девица выражала желание посвятить себя

Богу, все родные оказывали ей в том содействие и благословляли на то. А ныне, наоборот, только о том и думают, как бы вытянуть в мир. Так вот потому-то духоносные мужи и брали их под свою защиту.

Удивительно просто. Но ведь мы, хотя и не можем равняться с аввой, склонны видеть здесь предивное и пречудное, неуразумеваемое и… знаменательное. И так и в некоторых других вещах.

Я вижу, что, если решусь остаться в пустыне и еще глубже уйду в горы, может быть, это и будет ко спасению, но я теряю способность удивляться. Пройдет пора детства, которое удивляется… Обращал ли ты когда-нибудь внимание на то, что делают ангелы? „Ангельский собор удивися“. „Иисусе пречудный, ангелов удивление“. „Удивишася чинове ангельстии“ и так далее.

Ангелы удивляются. И когда мы читаем Октоих или Триодь и удивляемся — это небесное удивление. И ведь Обитель нам нужна в значительной степени для того, чтобы удивляться.

Из ваших писем я как будто догадываюсь, о чем вы беспокоитесь: Ляля опасается, что пустыня совершенно покорила мое сердце и привела в своеобразное христианско-люциферовское настроение, некое печально-возвышенное отречение от любимых во Христе и в Благодатной.

Причина моего молчания (я, впрочем, не заметил его, так бежит время) — Кавказ, медленность почтового сообщения и дальность расстояния между обиталищем и почтой. Не без Божьего промысла. Это нужно было, чтобы Ляля усомнилась в моей верности нашим мечтам об обители, больше надежды возложила на тебя: я не знаю, так ли, но надеюсь, что так, и радуюсь.

Больше всего меня смущало и смущает то, что, читая святых отцов, приходится пропускать мимо ушей многие их страшные предостережения и говорить: „Это он не по нашему адресу. Мы, дескать, особенные“.

Как ни нелепа эта мысль на первый взгляд, в ней есть истина. Ведь св. отцы знали два рода различия существ: по совершенству и по образу бытия (не в пример восточным мудрецам, которые везде хотят видеть „ступени“). Например, три Лица св. Троицы различаются не по совершенству, а по образу бытия, и так же различаются между собой человеки.

Отдыхая на горе у костра, я удивлялся различию образа мышления у древних отцов и у нас. Мы читаем в Патерике про одного инока-повара, что он пребывал в непрестанном плаче, ибо, смотря на огонь, вспоминал вечные муки. А я смотрел на огонь и удивлялся, что, сколько бы ни навалил дров, все языки пламени сходятся в одно пламя, как бы стягиваются и устремляются к небу. Сухие дрова сушат сырые и зажигают их. Дивился красоте пламени и вспоминал народную пословицу: „Одна головешка на загнетке гаснет, а две головешки и в чистом поле дымятся“. И правда, одно полено не дает огня… и т. д. Все течение мыслей современного человека отлично от течения дум инока в Раифе Синайской.

Еще хотел сказать нечто об отцах. Л. Д. делит людей на четыре категории: люди культуры, философии, мистики и святые. Она говорит, что Богу нужны все. Так вот, отцы (разумею здешних и вообще современных) принадлежат к классу святых. Они — не мистики. Мистика касается не столько Бога, сколько Мировой Души — Благодатной и душ человеков. Если и есть у отцов мистический оттенок, то лишь в любви к природе. У них есть что-то буддийское в этой благоволящей ко всем любви. Более того, свободу отшельника они видят *в отсутствии* слишком сильной любви к друзьям.

Итак, мое знакомство с отцами, о которых так долго мечтал, открыло мне нечто о том, как ты мне близок и Ляля. Я чувствую себя много ниже их, вижу в себе змеи тщеславия и гордости, которых прежде не видел, — только встреча и жизнь с этими смиреннейшими людьми открыла мне это, но тем не менее я чувствую, что у них мне трудно учиться, они не совсем „того духа“, и общение с тобой и Лялей научает меня, м. б., даже большему.

Если приведет Бог увидеться, мы подумаем о нашей мечте. Она осуществима, есть несколько путей, и один очень близкий, но он требует решительности и самоотвержения, преимущественно от тебя. А как именно — поговорим. Г. с тобой.

10 окт. ст. ст. Пришел на Красную Поляну, сижу на пустом поле под дубом. Все горы уже белые, и облака окружающие кажутся серыми перед их белизной. А вокруг меня деревья зеленые, с моря тянет теплый ветер. Вспоминаю: вчера читал Симеона Нового Богослова{147}. Он пишет: „Оставьте меня одного в келье. Буду

оплакивать те дни, когда я смотрел на это чувственное солнце и на этот мрачный мир“. Я его понимаю, этот мир перед духовным мрачен („темная бочка — небо и земля“, — говорит тот же Симеон).

Но ведь можно, созерцая эту „бочку“, умозрением постигать „древнюю доброту“. И ведь можно и в человеках, в друзьях видеть эту „премирную доброту“. Ведь в каноне на Преображение сказано, что Господь явил славу человека до падения. Или нет?»

Письмо Олега было одновременно и программным и пророческим. Программным потому, что «наша идея» уже точно названа в нем: это — стремление постигнуть «древнюю доброту, созерцая мрачную бочку падшей природы».

Это было сознание современного христианина, разительно отличное от древнего, понимание того, что разделение на «плоть» и «дух» соответствует разделению на «тот» мир и «этот» — это была борьба с «темным аскетизмом, принципиально разделяющим плоть как зло от духа как блага».

Эти слова принадлежат Пришвину, который будто шел навстречу Олегу. В 1941 году, читая Олега, он отмечает: «Мы с ним единомысленны», а в знаменательный день своего первого после нескольких десятилетий причастия 15 ноября 1940 года пишет: «Основа моего переворота духовного состояла сначала в том, что исчезла искусственная черта, разделявшая в моей душе любовь чувственную от душевной и духовной. Ляля меня научила понимать любовь в единстве, всю любовь как Целое». И в другом месте: «Второй этап моего миропонимания — смерть потеряла свое прежнее значение, и эта жизнь в своей творческой силе, минуя смерть, соединилась с жизнью бесконечной. Оказалось, что можно смотреть вперед поверх смерти». «Я хочу вступить в борьбу с величайшим злом, какое только рождалось на пути нравственного сознания человечества. Это зло состоит в проповеди идеи разделения жизни на „в этом мире“ и „там“»[148].

Постижение жизни в простом единстве возможно для сознания как святого человека, так и ребенка. Олег в письмах своих говорит о способности детского удивления, как источнике познания и творчества. Пришвин всю жизнь думает и пишет о том же задолго до «встречи» с Олегом.

«Сохраненное в себе дитя — вот мировой капитал человечества. Гениальный поэт в существе своем ребенок… Удивление покидает мир… Человеку надо вернуть себе детство, и тогда ему вернется удивление»[149].

Я назвала это письмо пророческим, потому что в нем —

будущая наша судьба. Говоря о необходимости нашей совместной жизни «для творчества», Олег тревожно останавливается перед «страшными» предупреждениями опытных подвижников, которые он вынужден как бы игнорировать, ощущая себя *иным* — «по образу жизни, — подчеркивает он, — не по совершенству». Вероятно, у Олега это не что иное, как ощущение призвания художника, который идет труднейшим неизведанным путем, и об этом же пути пишет в дневнике Пришвин: «Художник стоит перед Богом непосредственно и как бы мерится с Ним силами: в этом трагедия его положения».

И история борьбы Иакова с Ангелом в Книге Бытия образно повествует именно об этом.

В начале зимы приехал Олег. Шла всенощная под Николин день. Он вошел и встал позади, за моим плечом. Я сделала усилие и не обернулась, но мне стало трудно дышать. Когда служба окончилась, и я обернулась — глаза его сияли. Так началась та зима, о которой лучше всего расскажут несколько сохранившихся его писем. Они были написаны в Москве, так как мы встречались почти всегда на людях.

> «2 февраля ст. ст. 26 г. Сретенье Господне. Ляле. Мне хочется сказать тебе несколько слов по поводу одного места в нашей беседе, где я тогда промолчал. А так как нам редко приходится говорить наедине, то, чтобы не забыть, решаю лучше написать.
>
> На мои слова о полезности применения в наших отношениях различных аскетичных предосторожностей, которые в некоторой мере стараюсь применять, и, думал бы, что, может быть, хорошо было бы, если бы их более полно применял А. В., ты возразила, что самая нужда в них тебя возмущает. Между прочим, ты сказала: „Самое дерзкое произведение, которое я задумала, это наша любовь… Я верю, что еще здесь, на земле, возможен рай — рай плоти“.
>
> И мне хочется ответить тебе, что я понимаю тебя, твой замысел, и сочувствую ему, но не знаю, нужно ли чаять осуществление его на земле, потому что это было бы уж слишком большим чудом. Может быть, довольно молить Господа, чтобы осуществить *до конца* твой замысел (ибо „обитель“, как я мыслю ее ныне, не есть еще осуществление до конца) в жизни будущего века, для чего надо, прежде всего, стяжать сокровище на небесах.

Я знаю, какой должна быть наша любовь в идеале — знаю благодаря Злате{150}. Когда говорят об отношениях брата и сестры, обычно этим хотят выразить только чисто-отрицательную мысль отсутствия страсти, безразличие. Но есть в отношениях указанного рода и положительное богатство, которое редко проявляется. Любовь моя к Златочке не такова, как любовь к остальным сестрам. К последним у меня доброе чувство, но Злату я люблю иначе. Есть в моем отношении к ней, если употреблять страшные слова, которых мы вообще избегаем, некий софийно-эротический момент. Я люблю ее как „Алису в стране чудес“{151}, я хотел бы, чтобы она взяла меня за руку и повлекла в эту страну, которую еще через год-два она покинет. Я даже люблю, когда она смотрит на меня своими мышиными глазками, и со страхом думаю, что и она — нашей породы, и ей в будущем предстоит тот же опасный, но в случае верного избрания направления великолепный путь. В отношении к ней я с точки зрения аскетической законности имею право ничего не бояться, и потому не страшусь созерцательно-мистической любви, наблюдая те богатства, которые она приносит.

Эти богатства малы в сравнении с теми, которые я получаю через тебя, хотя, наверно, увеличатся, если она благополучно доживет до возраста взрослой девицы. И по ним сужу я — хотя не смею думать, а как бы в подсознании, какие богатства принесла бы наша любовь, если бы она после смерти развернулась подобным образом в Царстве Небесном. Может быть, чаяние жизни будущего века с полнотой такой братской любви когда-нибудь вдохновит тебя к написанию новой „Песни Песней“.

Прости, что изрекаю то, что, может быть, не должно быть изрекаемо. Но мне кажется, что я чувствую то значение, которое тебе открывается в словах „просвети тело мое Твоею страстью бесстрастной“{152}. А у нас не следует ничего только подразумевать, можно не страшась выводить все на свет „разума святого Евангелия“. Света боятся только грибы и плесень подземелий, а не скрытые там драгоценности. И как ни смело будет утверждать это, я думаю, что образ совершенной любви, который ты видишь, принадлежит к числу небесных самоцветных камушков. Это не мешает мне, зная человеческую природу вообще и свою в

частности, относиться к ним осторожно».

Читая это письмо Олега, можно восхититься его изысканной сдержанностью и удивиться смелости девушки, дерзнувшей открыть автору такого письма свою мечту о любви.

Девушка шла на голос своего призвания. Это был, в сущности, вызов природе. Юноша встретил его опасливым обдумыванием. «Читал письма Олега, — записывает Михаил Пришвин, — и дивился возвышенной силе его творческого самосознания… И вот, такой-то творец бежит от девочки, рискнувшей ему предложить „рай плоти“. Не бежать он должен был, а или взять ее в свой горний мир для сотворчества, или самому сойти с ней в долину любви человеческой и на некоторое время, как наказанный ангел, стать как все»{153}.

После кончины Олега Марина Станиславовна нашла несколько страниц его дневника, который Олег вел тогда же в Москве, и эти записи перекликаются с только что приведенным письмом. Вот эти страницы:

> «Ты сказала: „Многие считают это гордостью, но гордости нет во мне поистине“. Я знаю, это не гордость, а царственное достоинство женщины. Еще ты сказала: „Стихия женственности, как я ощущаю ее в себе — покорность. До Христа женщины не сопротивлялись, потому их можно было запирать в гаремах, им не свойственно было сопротивление“.
>
> В тебе я вижу преображение и прославление женственности силою Христовой. Вот почему ты прекраснее всех женщин.
>
> Примечание: в „Песни Песней“ есть места вроде таких:
>
> „Чем возлюбленный твой прекрасней других возлюбленных?“ И идет описание внешности. Ныне же вот чем прекрасней: красотой пола, преображенного Господом.
>
> Я не помышлял о человеческой любви и молил Господа дать силу вступить на путь, который наставники наши назвали ангельским образом жития. Я решил искать восполнения неполноты своего бытия только в Господе — не у человеков.
>
> Ты отреклась от естественного стремления женственной природы искать полноты и устойчивости бытия в этом мятущемся, изменчивом мире через мужественное дополнение. Ты обрела мужественность во Христе.

И когда мы оба замкнулись в одиночестве, возложив упование на Господа, Он в храме Своем привел нас к таинственной встрече.

Но неужели же только такая любовь есть прославленная любовь человеческая? Неужели благочестивые христиане-супруги не Христовой любовью любят друг друга? Ты сказала: „Им Христос нужен, как только Покровитель их любви“.

Но подобало мужчине и женщине замкнуться в отрешенности, возложив упование на Господа. Подобало найти цельность в себе — только с угасанием жажды восполнения может возникнуть царственная человеческая любовь.

Наша любовь есть дар Господа последним временам. Не могла она прийти в мир раньше, ибо она — предзакатный дар. В этих словах моих нет превозношения. Знаю, что нищ я совершенно, и одежды не имею, чтоб войти в чертог Христов, но одно богатство у меня несомненное — это любовь к сестрице моей. Это дар будущей Жизни. Не за заслуги послал его Господь, а только по непостижимому милосердию Своему.

Любовь земная страшится смерти, которая ставит ей преграду. Но царственно-человеческая любовь может завершиться только за вратами смерти. Днем брачного пира ее назначается день всеобщего воскресения, а самым пиром будет брачная вечеря Агнца.

Оттого-то расцветание этой любви есть знак последних времен. Она — любовь предзакатная. Она — как полет журавлей, означает прозрачную осень перед судом и воскресением (или паутинки „бабьего лета“).

Чего еще хотел бы я от нашей любви? То, чего я хотел бы, уже за пределами земли. Есть томление и в нашей любви, есть незавершенность. Но томление это — от плотности вещественного мира и бремени грехов. Если простит Господь, и воскреснем в последний день, тогда всякому томлению придет конец.

Ты сказала: „Самое дерзновенное произведение, которое я задумала, — это наша любовь“. И я понял тебя. Наша любовь — вызов князю мира сего. Ибо это не одна только любовь к духовной сущности, но полновесная. Есть в ней томление и по преображенной плоти. И чтобы полна была победа силы Христовой над вражеской силой, отравившей любовь человеков, нужно, чтобы наша любовь подарила нам *бесстрашие.* Таковое, какое

ведомо братьям и сестрам, но без равнодушия, какое есть между ними. Залог грядущего воскресения — страсть бесстрастная. Нашу любовь я воспринимаю, как послушание Христово.

Когда Иуда беззаконный, предавая, Тебя, Господи Иисусе, приветствовал лицемерным поцелуем, Ты сказал ему: „Иуда, лобзанием ли предаешь Сына человеческого?“{154}

Эта скорбь Твоя открывает нам, как велико значение лобзания святого и как страшен грех против него. Тысячи лет люди ели хлеб и пили вино и привыкли к этому, но Ты пришел и освятил всю жизнь мира, и освятил вещество. И ныне, вкушая хлеб и вино святой Евхаристии, люди вкушают тело и кровь Его, они не только приобщаются бессмертной обоженной плоти Твоей, но и „ум их питается странно“.

Ты освятил и поцелуй, сделав его …

О „Песни Песней“: ведь писана „П. П.“ от лица ее, а не его, хотя писал Соломон. Так что скорее *писать должна ты,* ибо Соломона нет.

Это убегание возлюбленного, этот характер какого-то сна у тебя должен бы преломиться так: она ищет его, но встречает страсть… Они не понимают ее, они не знают, чего она ищет…

Любовь, которая приносит девственность, а не отнимает ее. Думал не соблазнять людей… Но „не постыдится Мене в роде сем прелюбодейном и грешнем“…

Будь святой! Для тебя нет достойной одежды на земле, кроме иноческой мантии.

Я каюсь перед Господом не в том, что люблю тебя, а в том, что мало люблю, и молю дать силу любить истинной страстью бесстрастной. Я сказал наставнику своему про любовь. Он ответил: „Раз любовь не затемняет сознания, а проясняет, да будет она благословенна“.

Но, может быть, и этого не довольно? Неполнота моей любви в том, что она только проясняет и расширяет сознание. А она должна приносить больше. Она должна приносить то небесное опьянение, которое некогда подарило апостолам способность понимать всех и говорить со всяким на его языке. Здесь мы на лезвии меча. Здесь точка, где крайности сходятся… И я страшусь вступить на…

О том, что скорби — словесные скорби. Не здесь ли?

О совместных исследованиях… Как в сказке, надо мысленно взяться за руки, и тотчас все изменяется. Раскрываются дали, зияют бездны, темное и неясное становится ясным и отчетливым… Взяться за руки с именем Христовым. О том, какой образ любви великолепнее… Не разойтись и не брак, а свобода. О неограниченном кредите…

Мы встретились в храме на всенощной под Воздвижение. Так самое начало любви скрывало символ таинственного смысла ее: место встречи — храм, день же встречи, из которой рождается любовь, есть день Воздвижения Креста. Она есть торжество прославления Креста.

Ты сказала: „Христос дал людям сердце — страданье“.

О ревности то, что говорил А. В. о смирении: „За какие достоинства могу я желать любви? Я достоин только презрения Бога и человеков“.

Я люблю тебя за добрую самоутвержденность: „Это считают гордостью, но гордости нет во мне“.

О ревности: о том, что я хочу, чтобы Христа все любили, — так и здесь.

Та радость, которую я ищу от тебя, не отнимется от меня, ибо это радость того же рода, что и о Богородице.

Господи Иисусе Христе, я не могу целованием приветствовать сестрицу мою! Но иногда я мысленно наклоняюсь над ней и сквозь эту бедную вещественную плоть целую ее сердце.

О биении его. О молитве из ее сердца и за меня. Таинственный орган — орган ритма, где встречаются в едином ритме жизнь плоти и духа.

Да будет ритмом ее сердца Святое Имя Твое, и да слышу я биение ее сердца в своем… не смею!»

Дневниковые записи и письмо от 2 февраля — одновременны. Но, кажется, их писали разные люди.

Письмо Олега к его духовному отцу — о. Роману, также сохранилось.

Зима 1926 года.

«По поводу вашего вопроса, каковы мои отношения с друзьями: с Калерией и А. В., я хотел бы кое-что сказать поподробнее, и в частности по поводу К. Ибо прошло уже два года, даже более двух лет со дня встречи с ней (в

1923 году под Воздвижение в храме), и полезно подвести итог. Теперь можно смотреть издали и все обозревать свободно.

Я научился от нее многому и, в частности, уразумел, как следует отвечать на вопрос об отношении мужского и женского пола, который так занимает умы в наше время. Я узнал, что прежде чем начать классифицировать отношения полов по различным видам, с чего обычно начинают мыслители, надо узнать, чем отличается мужчина от женщины: есть ли это различие нечто случайное (как полагают, например, теософы, которые учат, что человек, в одном воплощении бывший мужчиной, в следующем воплощении может быть женщиной) или оно лежит глубоко в самой сущности личности. И мне кажется теперь, даже более, я в этом уверен, что различие лежит очень глубоко, различие в самом отношении ее к Богу и к твари.

Непреложная истина — изначальное различение двух полов, как о том свидетельствует Библия. Но обычно ум человека, а иногда, к сожалению, и св. отцы (только этого не следует распространять) склонны думать, что все отличия мужчины от женщины сводятся к тому, что женщина способна производить потомство. Однако церковь знает, что не в этом было изначальное, *небесное* различие полов, и нам предстоит точно понять, в чем же оно именно. Вот с этого и надо начать метафизику пола. Оглядываясь назад, на ход развития своих взглядов, я вижу с удивлением, что все дорогие мне умозрения о сущности вещей связываются с женским образом или, лучше сказать, именем, ибо образа нет, и не может быть.

Впрочем, должен оговориться, не все, а большая часть, и притом та именно, которая касается преображенной твари. Царства Божия. Исключением является учение о понятии, об имени, о слове и постижении в слове — эти умозрения как бы мужественного характера и источником своим имеют имя Христово.

Первый женственный образ — это Алиса из книги Льюиса Кэрролла „Приключения Алисы в стране чудес“. Кэрролл — английский математик, логик и вместе священник (монах по жизни). Он написал книгу, где изображены приключения девочки в сказочной стране, в стране сновидений. Эта старая, очень популярная в

Англии книга поразила меня тем, что открыла область „чистой фантазии“, — так, по крайней мере, мне казалось. Для меня образ маленькой Алисы был ключом к пониманию той „игры“ Премудрости Божьей, о которой говорится в книге Притчей. Алиса впервые вытолкнула меня из буддизма, в котором я себя топил с мрачной настойчивостью, и посеяла мысль о том, что и тварь достойна вечного бытия, и не нужно стремиться растворить ее в Нирване.

Влияния Алисы я, однако, не заметил, хотя она произвела огромную перемену в подсознании. Это было около 1917 года, мне было тогда лет 17. Следующий образ женственного совершенства — это была св. София. Ее икону я увидал в 1922 году в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры. Образ Небесной Девы меня поразил, и *через нее только я пришел к Церкви.* Без нее я не понял бы идеи Царства Божия и пребывал бы приблизительно в том понимании христианства, в котором находит удовлетворение автор „Книги жизни“{155}.

В иконе св. Софии меня поразило все: и ее огненный лик, и царский далматик, и тонкий жезл, и свиток с тайнами, неведомыми ни ангелам, ни человекам. И впервые я допустил мысль, что живые существа не так уж неминуемо „ограничивают друг друга“, что возможно вечное сосуществование многих существ, несущих друг другу не страдание, а радость. Впервые я допустил мысль о возможности вечного бытия преображенного вещества. Но и эти догадки и прозрения были еще робки. Ясно раскрылось мне христианское учение о вселенной через К.

Сначала я как-то не замечал или не хотел замечать своего отношения к ней, не хотел видеть *особой* любви. Вторую часть „Острова“, где уже было начало эстетического подхода к учению о Царстве Небесном, я писал без ее влияния. Вдохновляющим образом была только св. София. Но когда я съездил впервые на Кавказ и вернулся, уже отношения между нами были иные, начиналось какое-то единство в духе. В течение минувшей зимы (1924/25 г.) я вспоминал К. все чаще. Вспоминал не образ и даже не имя, а некое „умопостигаемое настроение“. Не было влюбленности, не было идеализации. Но некое новое настроение, настроение К., оно вошло постепенно и почти незаметно

в душу и осталось там навсегда, потому что проникло в глубину.

Когда это совершилось, у меня как бы раскрылось новое восприятие мира. Стали открываться небесные прообразы или идеи вещей. И в течение минувшего лета, а в особенности первые три месяца, я писал о кристалле, о цветке, о насекомых, о свете, о человеке, наконец — каковы они должны быть согласно рисунку Художницы Божьей, каково взаимоотношение тварей в Царстве Божьем — великом кругу существ, в котором раскрывается Бог.

Здесь я должен сделать оговорку, что тут влияние не одной только К., а и других: значительное влияние А. В., потом М. Н., а в особенности Л. Д. Однако К. как бы открыла путь всем этим влияниям.

Размышляя в горах обо всем этом, я пришел к такому выводу: вселенная по замыслу Божию есть соборность существ, в которой раскрывается Бог, как я уже указал. Эта соборность строится не хаотически, а по Божьему плану, в котором всякому существу указано свое место: и земле, и небу, и траве, и деревьям, и рыбам, и человеку.

Соборность эта держится через взаимную связь входящих в нее существ (это подробно исследует эстетика). Но любовь твари только сочетает воедино вселенную, однако еще не дает ей Божьего Света. Это совершает человек.

Он, с одной стороны, как бы собирает в себе вселенную, всю ее вмещает в своем сердце — это человек как женщина. Ее задача в том, чтобы материнской, духовно-материнской любовью, утешающей, согревающей, собрать в себя всю тварь. Задача мужчины — другая сторона дела человека: он как бы священник, который низводит благодать Божью на мир, он раскрывает твари ведение Бога. Отсюда получается то, что женщина, как одно из сотворенных существ, хотя и объемлющее тварь, не может познать Бога иначе, как через мужчину (на высших ступенях святости — через Христа), а мужчина не может постичь тварь иначе, как через женщину.

Вот сухой скелет сложившихся у меня взглядов. Добавлю к этому, что соответственным образом надо строить и схему ступеней отношения полов.

Начальная ступень — ветхозаветная любовь. Это

честный брак, естественный семейный союз. Он имеет место главным образом на земле. Ведь когда Авраам совершает жертвоприношение, он забывает Сарру, он — один. И Моисей, идя на Синай, отводит в сердце своем своей жене не больше места, чем всякому другому израильтянину.

Рыцарская любовь — это другой вид любви. Здесь поклонение прекрасной даме, в которой видится идеал. Физический союз не обязателен, он нередко отрицается, как то было обычно среди рыцарей.

Но высшее проявление христианского отношения полов — любовь Небесного Иерусалима. Многочисленные примеры ее дают жития святых. Она настолько многостороння и богата, что сама должна быть еще дополнительно подразделена на несколько видов.

Основных видов этой любви два: любящие встречаются либо как супруги, либо как равные. Пример первого — св. преподобномученики Галактион и Эпистима. Они сохраняют девство в своем „союзе духовные любве“, и более того, они оба монахи и живут в монастырях, хотя и близко друг от друга. Но они не равны: Галактион — глава Эпистимы, она тонет в его душе, их житие надо писать вместе: „Галактион и Эпистима“. Она называет его „господине мой“ и всюду следует за ним — на мучения и в Царство Небесное, где их венчает Сам Господь.

Но есть иная любовь, пример которой можно видеть в житии св. Иоанна Златоуста{156}. Флоренский отмечает его отношение к св. диаконисе Олимпиаде, как отношение исключительной любви. Св. Дмитрий Ростовский в житии св. Олимпиады сам указывает на эту любовь, именуя ее духовной любовью и подыскивая параллель: Апостол Павел и Персида. Верна ли параллель — не знаю. Но важно то, что жития св. Иоанна и св. Олимпиады пишутся отдельно. Их память в разные дни и их имена не соединяются. Они — некая опора один другому, но оба равны во Христе (по выражению К., хотя и сказанному о других святых, „они встречаются как равные“).

Тот же Ф-й отметил, что русские подвижники имели нередко удивительную склонность на закате дней своих строить женские монастыри. Довольно привести в пример пр. Серафима, Амвросия, Зосиму Верх. Русским

подвижникам свойственно в особенной степени то небесное отношение к девам и женам, то преображенное чувство другого пола, которое встречалось и у многих древних святых.

Я, разумеется, не осмеливаюсь утверждать, что наша любовь — этого порядка, но, по крайней мере, она направлена в эту сторону. Это — иноческая любовь.

Предмет так сложен, что трудно представить его в полноте и ясности. Но, желая дать еще несколько материала для должной оценки нашего опыта, добавлю несколько отдельных мыслей, извлеченных из записных книжек.

1. Истинное знание о твари доступно женщине, ибо, по замыслу Божию, она собирает в себе всю тварь. Мужчина может получить это знание не иначе, как через женщину. Первое знание раскрывается в ней в детстве. Девочке, не всякой, конечно, доступны души вещей, доступны идеи Божьи о твари, доступна *игра* Премудрости Божьей, которая имела место при создании мира. Этот особенный мир воспринимается как образ чистой фантазии. Но эта фантазия не есть нечто нереальное, воздушное, а есть касание той первой фантазии, ни от кого не заимствующей своих образов, но творившей их заново, помощью которой св. София начертывала рисунки вселенной в своей древней творческой игре.

Ребенок воспринимает этот мир с чувством своеобразного удивления, которое сродни ангельскому удивлению… Этот возраст „Алисы“ скоро минует. Девочка становится девушкой и делается предметом внимания мужчин. Как только она, заметив это, выражает согласие хотя бы мысленно, хотя бы бессознательно на то, чтобы быть предметом мужского внимания, Алиса умирает, великолепная детскость души, раскрывшая созерцание мира чистой фантазии, испаряется. Как только девочка высказывает, сама того не зная, согласие быть принцессой, мир софийной сказки затворяется для нее (а не раскрывается, как ошибочно думают многие), нет больше этого образа постижения твари.

Мужчина возводит ее на престол и поклоняется принцессе, может быть, именуя себя рабом ее, но лишь для того, чтобы потом стать ее господином. Он достигает своего: дева становится невестой, женой и матерью.

Ведение первобытной игры твари вовсе закрывается от нее, она ничего не постигает, кроме мужа.

И материнство не дает нового мистического проникновения в души существ. Ибо это материнство не отличается существенно от материнства в мире животных. Любовь матери к младенцу сродни той любви, которая заставляет кошку до смерти защищать своего котенка, хотя бы даже от льва, или курицу оберегать цыплят от ястреба. Мать больше всего заботится о том, чтобы ребенок был сыт, здоров, хорошо одет, она готова баловать его даже во вред его душе. Но вот сын вырастает, и мать видит, что он идет в дурную сторону: у него заводятся странные товарищи, он пропадает с ними неизвестно где, нередко подолгу и возвращается домой подвыпивший. Тут-то в матери просыпается новое отношение к нему. Она плачет, убеждает его, проводит ночи в молитве о его душе. Это — истинное материнство, человеческое материнство, неведомое животным, у которых мать заботится о ребенке, лишь пока он беспомощен. В этом новом материнстве женщина обретает новый способ постижения твари. Ей открывается материнское отношение к твари, открывается та сторона существ, которой все они должны быть собраны воедино духовно-материнской любовью. У многих матерей так никогда и не просыпается новое это материнство, и наоборот, у некоторых дев, не испытавших земного материнства, небесное столь широко, что объемлет всю тварь.

Игра чистой фантазии и духовное материнство — это начало и завершение небесно-женственной деятельности. Недаром св. София, художница Божья женственна. Она созидала первообразы обликов существ в чистой фантазии, первообразы мира, который женщина должна была завершить, собрав в своей материнской любви.

Первая явила такую любовь Пресвятая Дева Мария. Она, как образ совершенной женщины, сочетает начало и завершение женственного совершенства. Она указывает и путь к этому сочетанию. Путь этот (преображение средоточного события в жизни женщины, который разделяет период чистой фантазии и духовного материнства, если они вообще достигаются) — встречи с мужественным началом.

Если дева становится невестой Небесного Жениха,

невестой неневестной, она получает ключи и к области чистой фантазии, где зрит и приемлет Царство Божье „яко отроча“, и к царственному материнству по благодати.

1. Допустима любовь к человекам иного пола, но во Христе. Не влюбленность без физического соединения (о чем писал Бердяев, хотя, надеюсь, он передумал), а *детская* любовь — та, которая открывает двери детской удивленности, открывает мир софийных первообразов…

2. Эта детская любовь есть вместе с тем и старческая, не столько в смысле „старик“, сколько от слова „старец“. Она по сравнению с обычной любовью — иная: иноческая.

3. Возможна умопостигаемая любовь… Мечта не являет облика, не являет и лика… страсти не волнуются. Но перед оком ума все чаще встает умопостигаемое настроение любимой личности, это настроение сочетается с сердцем, и больше разделенности нет. Нет и частого воспоминания о любимой личности, нет исключительного заполнения всей души ею. Но когда ум молитвенно обращается к Богу, когда он призывает Имя Божие, и душа исполняется смирением и страхом, когда суетные помыслы отгоняются трезвенным вниманием, и ум в безмолвии предстоит Богу, тогда он слышит, что с ним вместе, не обращая на него внимания, и поодаль, но тем не менее в нем, участвует в молитве и другое существо.

Умопостигаемая любовь не боится далекого расстояния, хотя благодарно, как незаслуженный подарок, принимает встречу и единение усилий в работе для Бога. Умопостигаемая любовь проистекает от богатства и потому не знает ревности, за исключением ревности к Сатане и к миру — употребляя слово „мир“ в смысле, установленном преп. Исааком Сириянином, т. е. как собирательное имя страстей. Это — ревность за Христа, за Церковь, она безмерна и выражается в глубочайшей скорби за друга и молитве о нем.

Умопостигаемая любовь не есть блаженство, ибо его нет в юдоли плачевной, но есть малое предварение небесной радости. Отношение ветхозаветной любви, умопостигаемой любви и небесной любви, которая явится в „грядущей вселенной“, подобно отношению плодородной земли, драгоценного камня и преображенного, невесомого и непротяженного „камня

ясписа кристалловидного“.

4. Но горе взыскующим умопостигаемой любви, так как они — не только на краю бездны, но *уже* мчатся в нее. Задача человека — искать целомудрия. И если он отрекается от брака, стремится к бесстрастию, а Бог пошлет умопостигаемую любовь небесного цвета, с великим страхом и противодействием, с молитвенным вопрошанием Господа принимать, дабы не быть жалким образом прельщенным.

Таким образом, аскетическое бесстрастие, безразличие в отношении пола есть неизменный идеал для всякого, желающего спастись и содействовать спасению вселенной, безразлично, пребывает ли он в девстве, в браке или во вдовстве. Умопостигаемая любовь не идеал, а подарок.

5. Для творчества великую помощь дает соединение в умопостигаемой любви лиц разного пола, и особенно для философского творчества. Ибо, хотя философия не свойственна женщине, но чисто мужественная философия может много не увидать. Здесь соединение в духе позволяет видеть невидимое иным путем, ибо смотрит на мир и воспринимает его целый человек.

Разумеется, эти мысли суть не описание нашего опыта, а выводы и потому в них выходит все, может быть, уж чересчур возвышенно.

Теперь скажу об А. В. В отношении его процесс „вхождения в сердце“ совершился вполне только минувшим летом. Самое замечательное в наших отношениях — это то, что вместо ревности, которая должна была бы быть, если бы любовь была хоть несколько с земным оттенком, между нами все увеличивается любовь, и притом все та же небесного цвета, словно переходя с Калерии. Если бы не было А. В., я с самого начала боялся бы близости с К. „Ну, мол, а вдруг, да страсть проснется“. Если бы не он, не было бы в наших отношениях с К. той ясности, несомненности, какие есть теперь. Мы не знали бы, что наша любовь может простираться и на вселенную, что она не должна ограничиваться двумя человеками.

И когда явился Сережа Скороходов и вошел духом в наш круг, он был удивлен чему-то совсем новому, что открылось перед ним, чему-то, противному всем „уставам естества“.

Еще относительно влияния друзей на мои занятия.

А.В. помогал мне больше всего как критик: не забуду его замечаний о природе пространства, которые заставили меня углубить понимание пространства.

Калерия помогала, как я сказал, просто своим существованием, но не только этим — многие мысли я заимствовал у нее, относясь к ним, как к своим. Вообще, у нас один ум. И если у А. В. направление мыслей не совсем совпадает с моим — он более склонен к линии русских интуитивистов, которые считают себя продолжателями Платона и Аристотеля в философии, а я считаю более достойным продолжать Декарта и Лейбница, — однако через душу Калерии оба направления преломляются и идут по одной линии — православного духа».

Прерву письмо Олега, чтобы обратиться к пришвинскому дневнику, где он однажды, вскоре после нашей первой встречи, записывает: «Это мне сказала Валерия Дмитриевна в последнее наше свидание, но я настолько ее еще не замечал, что слова ее записал, как свои»{157}. Вероятно, и здесь проявилось универсальное, точно подмеченное Олегом начало мужского пути к пониманию существа мира — через женщину.

А Олег, между тем, продолжает:

«Первый раз, что я осознал, дал себе отчет в том, что внимание мое привлечено обаянием женственности, и что это *допустимо,* — это было после путешествия в Сергиево и встречи с иконой св. Софии. Когда мечта о св. Софии прошла через душу, и любовь к К., образ которой не окружен был тем ореолом, что св. София, я воспринял не как измену Премудрости Божьей, о которой говорит Соловьев, но как обогащение.

И так же понимает К. любовь ко мне после А. В. как обогащение.

Именно таково свойство христианской любви. Для буддиста любовь Христова к Иоанну, к Лазарю, к ученикам — измена вселенской любви. Но христианин видит в ней избыток любви, безмерное обогащение любви Христовой. И как мы ни малы, но наш опыт раскрыл сам, в каком роде, какого цвета — небесная любовь.

Однажды К. написала мне: „Бог любит не всех одинаково, но каждого больше“. Это — откровение о тайне личности.

Не раз я удивлялся Промыслу Божьему, собравшему

нас именно около вас. Ведь с пустынниками нельзя говорить о тех вещах, которые я изложил, да и вообще не знаю, с кем можно. И как ни отрывочны и неполны эти заметки, я, однако, решаюсь передать их вам».

Читая в 1940 году это письмо Олега, Пришвин записывает: «Бог любит не всех одинаково, но каждого больше (Слова Валерии). Вот чудесно-то!»{158}

Сквозь эту мысль, высказанную мной когда-то «по вдохновению», писатель с этих пор будет рассматривать действительность, в разные годы по разным поводам возвращаясь к ней в дневнике: «Существует и должна существовать для каждого тайна тайн, которую он открывать не может. Вот эта-то тайна образует из хаоса всех людей — каждого из нас, хранящего эту тайну… Но ведь Христос нас спас. Вы это чувствовали хоть раз в жизни? Если он нас спас, тогда надо верить и жить верой и любовью. И вот это состояние души остается тайной каждого, образующее его личность»; «Итак все великое — в исторических лицах, например, Наполеон… есть как бы имя тому, что делается всеми. Но что же есть не все, а я, единственное мое я, какое не было на свете и не будет? Это я, эта личность есть не что иное, как явление Бога в каждом из нас. Бог есть любовь, Бог любит всех, но каждого больше: вот это „больше“ и чувствуется нами как „я“, это и есть личность, и есть Богочеловек»{159}.

Так передается «тайна личности» от человека к человеку. Той девушки и того юноши нет уже на свете. Никто не помнит о них. Но художник, впитав промелькнувшие жизни, понесет их в себе. Он воскресит их в завершенности сотворенной им формы, даст им новую жизнь и вольет вместе с собой в общий поток жизнетворчества.

Вернемся снова к письмам и запискам Олега тех далеких лет, которые как бы являются продолжением друг друга.

Если в письме к Ляле, с которой Олег еще не решается иметь полной простоты, он сдержан, если вольная запись для себя — почти поэма, то в письме к старшему наставнику Олег старается втиснуть свою стремительную и свободную мысль в рамки, как бы схематизируя живую жизнь — недаром именно эта часть письма входит почти без изменений в текст его философской работы.

Вот что в связи с этим вспоминается мне: очарованная поэзией этих схем жизни, с головой утонувшая в них, я тем не менее и тогда с женской проницательностью улавливала в них нечто, от чего с болью отворачивалась, стараясь не анализировать, не замечать. Это «нечто» был чисто мужской творческий эгоизм (назовем его условно так) растущего сознания

одаренного художника. Он был неизбежен в художнике, пока тот не созреет в полного человека, к чему и пришел Олег в конце своей жизни. А сейчас это была неизбежная нехватка сил на внимание к любимому человеку, из которого Олег творил образ своей мечты.

«Будь святой. Нет для тебя достойной одежды на земле, кроме иноческой мантии». Мантию, тем не менее, надо было видеть Олегу на ее плечах. Мудрой, прекрасной, царственной Варварой или Екатериной — не менее, такой хотел он видеть девушку, которую в тайне сердца полюбил.

К чему же эта любовь здесь, на земле, призывала его и обязывала? Ни к чему! Олег переживал ее в те первые годы лишь как материал для создания философской работы — эстетической картины своего видения Вселенной. Это он понял впоследствии сам.

Зимой 1926 года в Москве Олег пишет мне свое следующее письмо, посвященное житию преподобного Авраамия, день памяти которого приходится на день моего рождения. Для спасения своей племянницы Марии, ставшей блудницей в Александрии, Авраамий принимает неузнаваемо-светский вид, становится одним из ее «искателей», а оставшись с ней вдвоем, открывается ей; она раскаивается, и оба возвращаются в пустыню, где завершают свой подвиг спасения. Олег пишет:

> «Житие очень поучительно… допустима хитрость в спасении самого различного рода (старый вопрос мистиков и святых: может ли Бог хитрить); допустим с целью спасения даже маскарад, т. е. прямая ложь; допустимо с целью спасения „мясо ясти благословенныя ради цели“. Итак, допустим целый ряд хитростей, но особенных — хитростей художественных, творческих, великолепная философия, доброзрачный храм, высокая воинская шапка. Апофеоз: принятие на себя чужого греха (не про нас писано). Слово „хитрость“ режет ухо. Это ничего. Ревность Божия восхитительна, ярость Его возбуждает в нас огонь любви. Хитрость Софии — эпитетов не хватает!»

Много лет я не прикасалась к этим письмам, но теперь решилась их перечитать. И снова, как всегда, глубокая скорбь наполнила душу: не сумела прожить свою единственную жизнь! Я не могла ни читать, ни думать — бросилась в сон, как в забвенье, и утром проснулась с новым чувством: впервые я почувствовала смысл того, что записывает в дневнике Пришвин при последнем чтении в 1953 году незадолго до смерти (и в который раз!) писем

Олега: «Читаю замечательные письма Олега и еще больше сознаю понятый путем личного опыта облик Ляли»; «Как много в этом смысла: оправдать! Положу все на это и Лялю свою оправдаю»{160}. И я смогла писать дальше о том, как все было.

Итак, наступил год моего короткого счастья.

Можно ли такое чувство назвать любовью? Мы были на том подъеме молодых сил, который не оставлял даже места сомнению. Не было у нас тогда в душе границы между личным и общим, но не так, чтобы мир обеднел и поблек — нет, он весь был как наша собственная душа. Я видела однажды старинную картину, возможно, то была икона, изображавшая душу, как неиссякаемый сосуд, причем вода переливалась через его край, а чаша наполнялась льющимся в нее сверху потоком. «Неупиваемая чаша» запомнилась мне славянская надпись под ней.

Что же это было с нами? — мечтательность, романтика, самообман или прикосновение к миру вечных ценностей? Горделивое «гнушение» законами природы, которым подчинен весь мир («все, но не мы!»)? Или, страшно сказать! — в своих неопытных руках мы держали тогда дар *новой* природы? Самообман или дар? Пусть этот вопрос останется без ответа… Только одна запись Михаила Пришвина, сделанная им на ходу в записной книжке в 1952 году приходит на ум: «Природа — это любовь. А человек — это что из любви можно сделать».

Однажды я услышала обрывок разговора наших матерей:

— Страшно за них! Живут, не понимая, с чем играют, и какова вокруг жизнь, и что их ждет, — так говорила одна.

— Да, страшно! — отвечает другая. — Но нельзя их смущать, сбивать своей опытностью.

«Это не про нас, — подумала я. — Нам-то какое дело!» Но Олегу почему-то об услышанном не рассказала.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Кавказ

Мать болела в ту зиму бесконечными плевритами, и ранней весной я ее отправила в Геленджик — у меня там были теперь через Олега заочные друзья. Мы с Александром Васильевичем собирались взять отпуск одновременно и вместе с Олегом после Пасхи ехать через Геленджик на Красную Поляну к о. Даниилу. Сохранившиеся письма мои к матери из Москвы восстанавливают в памяти картину нашей жизни.

«Среда. Благовещение. Мамочка, любимая моя, благодарю тебя за письмо твое, и радость и огорчение доставило оно мне, но больше радости. Огорчение, что так неудачно все складывается, и между строк читаю я тщательно скрываемое разочарование. Но какая радость — это твое самоотверженное желание скрыть от нас все свои тревоги! Одна у меня теперь надежда, что, может быть, все обойдется и будущее вознаградит тебя. Ведь там тепло наступает более усиленным темпом, и погода может неожиданно измениться.

Буду ждать от тебя дальнейших сообщений и прошу полной откровенности. Ты сама знаешь, что любящие сердца укрывательством нельзя обмануть, а лишь больше можно растревожить. А я люблю на свете явно для себя, кажется, одну только тебя. Во всяком случае, знаю, что только ты меня любишь, любишь меня, а не мои качества.

Прошу тебя, не пренебрегай Биронами, это настоящие, правдивые люди, каких трудно найти сейчас среди прикрытых внешним благородством. Особенно беспокоюсь я за Пасху. Постарайся встретить ее в хорошем и светлом чувстве (м.б., с Биронами?) и в предвкушении свиданья. Ведь Папочка, очень возможно, также встречает с нами Пасху, невидимо единясь с нами, как мы (с тобой) принуждены в этом году.

О себе что сказать… Очень я собой недовольна. Время расходится непродуктивно; отчасти из-за службы, отчасти из-за несовершенства своего. Мало иметь подходящую обстановку — надо еще укреплять волю. М.б., впрочем, и трудно было бы иначе использовать время. Служба, пост, занятия по подготовке в Университет и поддержание порядка — это очень много. А если прибавить людей, от которых все же целиком отделаться трудно, то вот и петля. Одиночества так и не получилось. А так хочется его, *чтоб увидеть себя, наконец.*

Эту неделю жил Мих. Ал. Сейчас будет жить Таня или Олег.

„Или“ — потому, что у Тани острой нужды нет, а Олегу очень нужно посидеть с недельку безвыходно, он очень переутомлен от людей и „шишки“ уже лезут. А мне это на руку, т. к. он берется сидеть круглый день безвыходно. Впрочем, еще не решено у нас. (В эти дни пребывания у меня Олег окончил „Остров Достоверности“.) Была я как-то у Зины — она тебя поняла и, по-моему, сердечно полюбила. Ал. Вас. внимателен ко мне, как лучший брат, которого ты мне не родила. Н. Н. звонит, но не идет. Господи, как мучит меня совесть за него! Чего бы не сделала я, чтоб он понял и вознаградился бы иным, высшим… Как тягостны мне мои грехи, как грозно тяготеет надо мной непрощенность. А последнее я чувствую. Мне много было дано, и спрашивается, и еще спросится. И только свыше может быть указан подвиг сильный, искупить все лукавое содеянное. Томлюсь я этим.

Твои заветы я всячески стараюсь блюсти. Да это и не трудно. У меня чисто и порядок. Перед Благовещением делала генеральную уборку, даже на службу не пошла. Что же еще? Как-то Дедушка{161} ночевал. Кошка черная соседская ночью наделала, и бедный Дедушка, самоотверженно вооружась щепочками, тряпками и т. д., наводил чистоту. Мы так смеялись с ним на тему, что подвижникам мешают пакости бесов, а нам… кошек, что не могли заснуть до утра.

Уже поздно, 1 час ночи. Кончаю. До следующего письма. Целую тебя, моя ненаглядная. Господь с тобой. Да хранит тебя Царица Небесная. Да будут с тобой папины молитвы. Твоя навсегда Ляля».

Из следующих писем:

«Эти дни у меня жил Мих. Ал., хотя, к стыду своему, скажу, что иногда и хотелось мне быть одной, но все же добросовестное сознание говорит, что мой долг ему служить, и мой порок, что я мало радуюсь этой возможности. Ведь я так много от него получила. Готовить мне не приходится, так как он почти ничего не ест, кроме сухарей и капусты… Занятия идут плохо, очень много сил отнимает служба, и вечером все-таки мешают. Ломаю голову, что бы придумать, уж на поступление в *этом* году и не надеюсь, но все же надо готовиться. Моя мамочка, знаю одно, что никто меня не любит из людей так, как ты». «Знаешь, будто что-то открывается мне, какая-то надежда на еще более глубокую любовь и понимание. Ты не можешь себе представить, какую в этом смысле пользу (в смысле самопознания и познания своих отношений к тебе) сыграл твой отъезд. Прими свое одиночество как пост перед великой радостью нашей совместной жизни».

И вот мы собираемся на Кавказ. О. Даниил, пустынник, спускавшийся только два раза в год в ближайшее селение, чтоб поменять на соль деревянные ложки, вырезанные им из самшита, теперь приглашал к себе девушку из Москвы, из самого центра суетного мира. Так поверил он своему молодому послушнику, и такой переворот произвел Олег в строгой уставной жизни монаха.

Мы — в вагоне, все трое едем на Кавказ в таинственные горы, к людям, о существовании которых мир не подозревает. Сорок лет прошло с тех пор, и я попытаюсь сейчас посмотреть на тех нас трезвым сегодняшним взглядом. Вот Олег — он счастлив, что везет меня в «пустыню». Он искрится умом и весельем. Сдерживаемое — оно еще сильнее кипит. Рядом вижу я Александра Васильевича — медленный, он не думает, а «комоды ворочает», по выражению одного общего нашего друга. Он с нами, но за нами не успевает. Близость моя с Олегом делает нас не вдвое, а в бесконечное число раз сильнее Александра Васильевича. Но мы этого не замечаем: мы слишком счастливы друг другом. Пожалеть бы Александра Васильевича! Но по странному инстинкту жестокости к каждому отстающему, людям хочется иногда такого не поддержать, а подтолкнуть. О, конечно, все это делается вполне бессознательно! Мы бы возмутились и не простили себе, если б только увидали себя такими. Но тут-то в темной и неподвластной нам области и прячет безжалостная природа подчас свои ловушки!

Мы проезжаем Северный Кавказ. Начало мая. Украинки продают на станциях прошлогодние соленые арбузы. Александр Васильевич покупает один и находит его превкусным. Мы с Олегом дружно признаем его отвратительным, переглядываемся — и арбуз летит в окно. Александр Васильевич вежливо улыбается — это его защитная маска. В нем уже началась ревнивая работа: он создает свою форму, свою силу против ущемлений со стороны более сильного соперника. Соперник — это мы с Олегом в единстве. Но никто из нас троих этого ни в малейшей мере не сознает, мы искренние друзья — все совершается в нас, и в то же время тайно от нас. Мрачность Александра Васильевича сейчас же проходит, и он вместе со мной смеется какой-то остроумной шутке Олега в связи с выброшенным арбузом.

В Геленджике на берегу моря мы ждем прибытия парохода, который повезет нас в Сочи. Олег сидит на камне и что-то набрасывает в записную книжку. Такой большой, напряженный, я смотрю на него и вижу, как он посвежел в Москве за неделю нашей совместной жизни на Мещанской. «Его попросту надо лучше кормить», — мелькает у меня в голове.

Солнце печет. Фуражка Олега сдвинута на самый затылок, и короткие кудри треплет морской ветер. Порыжевшие брюки завернуты до колен. Ворот рубашки расстегнут. Голова то наклоняется над бумагой, то поднимается, и глаза, заполненные своей мыслью, рассеянно скользят по уходящей в бескрайность воде. Я стою рядом, босоногая, загорелая, обвеваемая тем же ветром. На мне платье из дешевого серого ситца, наглухо закрытое, с длинными рукавами. Я сшила его специально такое для нашей необычайной поездки, оно намокло от брызг. В руке я держу розу — недавно расцвели первые розы в садах побережья.

Кто эти двое? Кто этот юноша? монах, отрекшийся от мира мыслитель? А может быть, это нищий художник или рыбак? Вот он опустился на черный камень, вытянулся, раскинул руки и подставил солнцу лицо…

— Бродячие артисты, — говорит провожающая нас мама и покровительственно улыбается нам из-под широкого зонтика. Красный зонт бросает на серебряные волосы розовую тень. — Вам не хватает только шарманки и попугая.

Мы настороженно переглядываемся. Я чувствую к своей матери из-за этих ее слов холод и неприязнь.

Мы берем самые дешевые билеты — на палубу и проводим ночь на толстых канатах, резко пахнущих морем, рыбой и смолой. Под головами у нас мешки (тогда еще не говорили в России «рюкзаки»), над головами — черное южное небо, полное звезд.

В тот год от Сочи до Красной поляны шли уже редкие попутные грузовики берегом Мзымты. От Красной поляны Олег вел нас в течение нескольких часов одному ему известными тропами, мимо развалин старой мельницы, по правому берегу маленькой шумливой речки Монашки, сбегающей с ледника Ачиш-Хо. Речка часто терялась в густом непролазном лесу, но неумолчно слышался и вел нас ее голосок. Наконец в сумерках мы вышли на поляну «на полгоре», как говорили местные жители.

Была ли она расчищена предшественником о. Даниила — о. Трифиллием, никто этого не знал. О. Даниил за жизнь свою в горах много переменил мест и не одну келью построил своими руками. Он ушел в горы в поисках строгой жизни без соблазнов, тревоживших его в монастыре. Был он уже манатейным монахом. О своем Новом Афоне он отзывался уважительно, особенно о трудолюбии братии, устроившей на диком побережье райский уголок природы и произведшей множество по тому времени редких усовершенствований благодаря игумену, образованнейшему инженеру о. Иерону. Особенно примечательна была система водоснабжения, остатки которой мы еще застали в те годы. Вторым памятником трудолюбию монахов были

насаждения: выращенная ими оливковая роща и кипарисовые аллеи украшают гору и посейчас. О духовной жизни монастыря о. Даниил рассказывать не любил.

Впрочем, рассадником пустынножительства был не один Новый Афон. Среди отшельников, тайно населявших горы, о. Даниилу приходилось встречать разных людей, начиная с искателей самоуглубленной жизни и кончая спасавшимися от политических преследований (это было еще в царские времена). Все эти люди, приходившие сюда в поисках убежища, становились добрыми монахами. О. Даниил знавал их лично и немногими резкими мазками набрасывал нам их портреты.

Так рядом с нашим временем, его техническим прогрессом, революциями, сменами философских систем, рядом с героями, гениями и злодеями в горах Кавказа благодаря их труднодоступности шло свое время, своя история. Она изустно передавалась и была неведома миру — история многих поколений христианских подвижников, осуществлявших образ древнего благочестия, как будто не кончились еще времена Фиваиды и не было еще в мире ни Данте, ни Леонардо, ни Бетховена, ни Эйнштейна. Какими должны быть эти люди? Олег умышленно ничего не рассказывал нам об о. Данииле:

— Сами увидите, — уклончиво отвечал он нам.

Я волновалась перед встречей. К счастью, на нас мгновенно свалилась темная ночь, как это бывает на юге, да еще в горах — даже наших лиц нельзя было разглядеть. Впрочем, мы так утомились, что я, ткнувшись в указанный мне угол, тут же и заснула. Проснулась я, когда солнце было уже высоко на небе, но на нашу поляну еще не заглядывали его лучи: мы находились на юго-западном склоне Ачиш-Хо. Вершина горы блистала розовым и золотым, а у нас еще стоял утренний туманец и кавказская душистая сырость, насыщенная пряными запахами южных растений. По краям нашей поляны шли непролазные дебри колючек, бурелома и зарослей. Среди них поляна наша напоминала зеленую чашу.

О. Даниил встретил нас просто, немногословно и суховато, словно ему было привычным и уже малоинтересным делом принимать у себя молодых девушек, и с первого же часа наша жизнь получила благодаря его такту четкий, для всех удобный и легкий порядок. Мне о. Даниил сразу определил свой деревянный топчан с таким же изголовьем, покрытый одной тонкой истертой козьей шкуркой. Правды ради, упомяну, что шкурка была полна блох. Олегу и Александру Васильевичу было указано спать на полу рядом со мной. В маленькой келье не оставалось больше места, и сам о. Даниил перешел в сенцы. Впрочем, мы никогда не

видали его лежащим или спящим, хотя вставали с солнцем.

Умывшись у родника, мы совершили полное утреннее богослужение: часы, утреню, обедницу по зачитанным и закапанным воском старинным книгам. Книги служили нескольким поколениям и сейчас лежали у нас на «налое», как говорил о. Даниил. В маленькое и единственное окошко видны были холмистые гряды близких зеленых и дальних снежных цепей. В него вливался горный чистейший воздух, доносились голоса птиц, и мы знали, что ни один звук из человеческого мира не нарушит очарования нетронутой природы.

Совершая последнюю службу — обедницу, о. Даниил вынимал единственную «роскошную» вещь, которую он считал украшением своего хозяйства — голубую кофейную чашечку с отбитой ручкой и выщербленным краем (как она очутилась у него?), клал в нее уголек — кусочек душистой пихтовой смолы и кадил в келье.

Я стою позади всех. О. Даниил читает быстро, перебегая от слова к слову. Его манера читать напоминает его походку. Он грассирует, что так редко встречается у людей из простого народа, и это почему-то приятно. Олег усвоил уже манеру строгого чтения с той ритмической четкостью, лишенной эмоций, с которой поют птицы и с которой читают в монастырях. Мы понимаем: Олег соблюдает великолепный стиль. Александр Васильевич читает слишком старательно, иногда у него проскальзывают интонации, усвоенные на уроках художественного чтения. Боясь того же, я решительно отказываюсь читать — я «веду хор».

Церковные «гласы» вписываются в симфонию утра и сливаются с птичьими голосами. Солнце поднялось настолько, что уже добралось до нашей поляны, и через край этой зеленой чаши заглянуло, наконец, к нам — на самое дно. Мне открывается в этот миг новый взгляд: я вижу суетность и убожество всего, чем занят где-то в далеком «миру» человек; вижу прекрасную бедность о. Даниила. Сладкий запах смолы улетает в окно. В клубах синего пихтового дыма как под вуалью плывет за окном роскошный мир девственной природы. Рядом со мной три человека. Они прекрасны для меня, каждый — по-своему! Я не могу сдержать слезы восторга — они льются без скорби, без надрыва, я их не знала еще — таких сладких и поднимающих слез. Я плачу, но все делают вид, что этого не замечают. Я выхожу из кельи, долго сижу у родника и думаю об одном: как удержать навсегда с собою этот мир, в котором сейчас живу? А когда я возвращаюсь, умывшись из холодного родничка, о. Даниил говорит мне ласково и серьезно:

— СестГица ВалеГия, слезы — утешение монаха: не стыдись их!

«Какой же я монах? — думаю я. — Не обманываю ли я всех?» О. Даниила об этом спросить нельзя — он настоящий монах, сможет ли он понять мои сомнения?

Он поразил меня сразу ясностью мысли, способностью к четким формулировкам не хуже любого тренированного ума. Каждое произносимое слово, как и каждое движение, было у о. Даниила непринужденно и точно. В соединении с деликатностью и внешним благообразием это производило сильнейшее впечатление. Ведь перед нами был необразованный крестьянин, живущий один вне каких бы то ни было влияний, кроме влияния природы да нескольких имевшихся у него древних книг. По нашему настоянию впоследствии о. Даниил написал свои воспоминания и назвал их «Близ заката». Книга была написана образным языком, но… без прописных букв и без знаков препинания.

Крестьянский мальчик-подросток, он работал на конфетной фабрике в одном из городов средней России и сбежал оттуда в монастырь. Он успел съесть к тому времени на конфетах передние зубы, о чем с пресерьезным видом нам рассказывал, но так, что мы заходились от смеха. Было ему теперь лет 50. Седины у него не замечалось, вероятно, из-за светлых волос. Был он сухой, небольшой, легкий на ногу, тренированный, как настоящий горец. Смотреть, как он работает или просто движется по земле, — было наслаждением.

Днем мы работали по нашему несложному хозяйству, читали, помогали о. Даниилу в его небольшом огороде, где стояли колоды пчел. Я привезла с собой учебник по пчеловодству, и мы его с о. Даниилом проходили на практике. Нашим бессменным поваром был также о. Даниил, никогда, как мы ни боролись, никому не уступавший этого дела.

С наступлением вечера, когда солнце пряталось за края нашей чаши, долго еще освещая вершину Ачиш-Хо, мы снова вычитывали все положенные службы, а потом в сумерки разводили костер, и тут начинались увлекательные беседы с участием о. Даниила. Иногда он пек нам на угольях «рябчиков» — так называл он блины на закваске, которые были высшей роскошью наших трапез. Без нас питаньем отца Даниила много лет были овощи и кукуруза, росшие на его огороде, да дикие плоды окружавших лесов: каштаны и груши. Постное масло, как постоянный продукт, появилось в келье о. Даниила с приходом к нему Олега.

Один-единственный раз о. Даниил отправился в соседнее

селение за несколько верст с просьбой дать ему бутылку молока. Крестьяне подивились и дали, не расспрашивая. Оказалось, что молоко понадобилось ему для кошки, неизвестно откуда пришедшей под его защиту, чтоб окотиться.

Сумерки падали быстро. Последний луч угасал на вершине, и тогда в густых зарослях, окружавших нашу поляну, на сотни километров вокруг начиналась своя ночная жизнь. Ночь в горах так же оживлена и шумна, как день в мире человеческом. Крики, свист, рев, вой, цоканье, трещанье — множество самых разнообразных и непохожих один на другой звуков наполняют леса южной ночью и сливаются в мощный хор. Мы прислушиваемся к дикой многоголосной музыке, время от времени подбрасывая хворост в костер. Тем временем чайник закипает. О. Даниил кидает в него горсть «чая» — сушенной на солнце дикой мяты. У вечернего костра и родилась книга «Близ заката». Рукопись ее не сохранилась, хотя и была переписана нами в нескольких экземплярах.

«Мы — цари», любил говорить о. Даниил, угощая нас «рябчиками» и повествуя о трудной, полной жесточайших лишений и опасностей жизни монахов-пустынников. В эти минуты у костра мы поняли, что о. Даниил не старик, а чудесно сохранившийся юноша без возраста, безупречно чистый и крепкий как орех без червоточины. Свобода и собранность, веселость и неизменное чувство ответственности за каждый день, за каждое движение мысли — все это было плодом личных, никем не воспитываемых, ничем «практическим» не вознаграждаемых усилий.

На стенах кельи я увидала однажды торопливо записанные углем отдельные слова. О. Даниил нахмурился, помолчал недолго, справился с собой и улыбнулся мне:

— СестГица ВалеГия, и глазаста же ты! Сам виноват — надо было вымыть келью к твоему приезду.

И он рассказал мне просто, не таясь, что имеет обыкновение записывать на стене углем (карандаш не всегда бывал в хозяйстве монаха) ценные для него мысли, приходящие во время молитвы, чтоб молитву не прерывать.

Так жили мы, отрезанные зелеными стенами от человеческого мира под несмолкаемый рокот Монашки, бежавшей глубоко под нами в низу крутого спуска. Она не была нам видна, и далеко было до нее спускаться, но серебряный голосок ее слышался и ночью и днем. Мы полюбили нашу речку, как живое существо. Ночью ее голос смешивался с голосами зверей: «чекалки», дикие кошки, рыси, медведи, кабаны, горные туры… Некоторые появлялись и на нашей поляне, стоило лишь

погасить угли костра и посидеть в длительной тишине.

Что говорить — это было полное счастье, единственное за всю мою жизнь без примеси сомнений, борьбы, забот и неосуществимых желаний. Одна только мысль тревожила меня иногда: я обманываю Олега, раз он не знает моего прошлого. Я боялась, что краду его любовь. Давно еще в Москве я готовилась к исповеди. Однажды после утреннего правила я решилась и повела Олега в заросли кустарников: там никто нас не увидит и не найдет. Я рассказала ему подробно всю свою жизнь и, рассказывая, поняла: к моменту нашей встречи я *действительно* перестала искать себе утешения и поддержки от людей, я действительно была одна и на это одиночество решалась. Нет, я не обманывала Олега: в момент нашей встречи я стояла одна перед Богом.

Олег выслушал меня молча и как бы несколько небрежно, давая этим понять, что ему все это неважно, как если бы давно было известно, и пережито, и забыто. Зато тут же сам попросил меня выслушать его ответное признание и рассказал мне про себя столь невинное по человеческому суду и тяжкое однако для его совести. Это была его ответная исповедь, которая пусть останется со мной.

Нам оставалось теперь только простить все прошлое и вновь обрадоваться друг другу. Вижу и сейчас то солнечное утро, сверкающую вершину Ачиш-Хо над нашими головами и нас самих, в высокой траве среди недоступных зарослей колючей «ажины», заплаканных, счастливых, как первые люди в древнем раю.

Святая прозрачность утра; сладкий зной среди короткого дня на горной поляне; мирный вечерний сумрак; бездна ночного неба, потрясающая душу; и мы двое, взявшиеся за руки с поднятыми головами среди непостижимого движения вселенной, затерявшиеся, никому неведомые, счастливые…

На следующее утро я проснулась с ощущением радости, прежде чем вспомнила пережитое. Я посмотрела вниз на пол и увидала, что Александра Васильевича там уже нет, а Олег лежит с закрытыми глазами, видимо, еще дремлет. Я неслышно спустилась к нему и впервые в жизни поцеловала его в губы. Но, оказалось, он не спал. Лишь на мгновение в его глазах что-то мелькнуло: то ли удивление, то ли испуг. Он не ответил мне на поцелуй, но прошло какое-то время, и в глазах его я увидела радость. Он снова закрыл их и долго лежал так со спокойным лицом. О чем он думал? Об этом он скоро мне напишет в Москву в своем драгоценном письме, по счастью, мной не уничтоженном.

Я продолжала сидеть на полу рядом с Олегом и не

шевелилась. Так застал нас о. Даниил. Олег, не меняя позы, слегка улыбнулся ему и очень серьезно сказал:

— Отец Даниил, вот о чем я думал…

— Ну, скажи, о чем? — спросил тот.

— Я думаю, что таинство исповеди осуществляется во всей силе, когда оно совершается взаимно.

— А как же, — ответил о. Даниил, — истинно так! А теперь подымайтесь-ка, вот о чем пришел я вам сказать: скоро Троица, надо нам сходить к отцам на Медовеевку. Путь долгий. Пока вы тут «проклаждались», я, сестрица Валерия, тебе чарушики сплел.

О. Даниил протянул мне пару легчайших лапотков из цельного куска кожи, размоченной и растянутой по форме ноги без швов — чарушей, лучшей обуви горцев.

— А как же сестра Валерия пойдет с нами к отцам? — спросил Олег. — Ведь у них ни одна женщина на Медовеевке еще не бывала.

— Какой ты бухгалтер! — ответил о. Даниил с непроницаемой серьезностью в голосе, блестя веселыми глазами, — какой бухгалтер: все вывел — и навсегда к книжке пришил! Мало ли чего не было, а будет. О. Савватию я разъясню, и он благословит. А другие отцы пусть о своих грехах помышляют, и чего не знают — не судят. Ты знаешь, что они у нас думать будут? Что она у нас монашенка, истинно так, тебе говорю! — И уже обращаясь ко мне продолжал: — Платье твое вроде ряска летняя, а на голову мы тебе белый апостольник сошьем: в жару у нас на Кавказе так послушницы молодые ходят.

Мы принялись с увлечением мастерить апостольник из моей единственной привезенной с собой простыни. Спорили мы о его форме, без конца примеряли, пока о. Даниил не отнял у нас кусок материи и утром принес нам готовый апостольник, подрубленный мелкими ровными стежками. Мы подивились работе.

— Монах должен все уметь! — весело ответил нам о. Даниил. — Я же говорю вам: мы — цари!

Медовеевка — было поселение монахов, состоящее из нескольких полян с кельями, разбросанными друг от друга на расстоянии «вержения камня». Она находилась верстах в 30 от Красной Поляны. Там уже издавна обитали несколько уважаемых старцев, и был посредине храм, ничем внешне не отличавшийся от остальных домиков, только в нем никто не жил и туда собирались раза два в год по великим праздникам окрестные пустынники для совместного богослужения и совершения таинства. Это были единственные дни их свиданий. Если кто не приходил — значит заболел или помер. Тогда шли к нему помочь

либо похоронить.

Такое же поселение было в районе Сухума, глубоко в горах за несколькими хребтами, называлось оно Псху. Там жили раздельно и монахи и монахини. Псху называлась «глубокой», устав жизни там утвердился весьма суровый, и о Псху говорили с великим почтением. По рассказам о. Даниила, были в те годы на Кавказе еще более глубокие, уединенные поселения монахов. О местоположении их не знал и сам о. Даниил, только известно ему было, что путь туда, почти недоступный, идет по висячим спрятанным в тайниках мостам через пропасти и потоки. И эта «глубочайшая» пустыня была мечтой каждого монаха.

Не знаю, о каких местах довелось слышать о. Даниилу, но вот что услыхала я сама от близких друзей много лет спустя после описываемых событий — в конце 40-х годов. Это рассказ советской альпинистки Александры Джапаридзе, которая была участницей экспедиции на Казбек, совершенной уже в послевоенные годы.

Издавна внимание всех привлекала таинственная железная цепь, видная в бинокль на недоступном склоне. Данной экспедиции удалось достигнуть этой цепи, и там обнаружили огромную каменную плиту в виде двери, закрывавшую вход в пещеру в совершенно отвесной скале. Цепь усилиям людей не поддавалась. Тогда они пробили отверстие над ней и пробрались внутрь. Там оказалась просторная пещера, похожая на храм, с книгами и другими предметами православного богослужения. Самым удивительным было то, что по многим признакам люди покинули эту пещеру совсем недавно. Кто знает? Может быть, им стало известно, что в пещеру собираются проникнуть исследователи. Куда попали найденные вещи, пытался ли кто-нибудь разрешить загадку и что удалось разгадать — все это мне неизвестно.

Итак, наступил канун Троицы. Рано утром мы перебрались по кладкам через узкую, но бурную Монашку и пошли трудной, постоянно меняющейся, часто пропадающей тропой. Мы то карабкались вверх, хватаясь за кусты, то спускались в сырые ложбины, в которых стоял неподвижно, как густой туман, резкий запах гниющих растений. Мы перелезали через завалы стволов, лежащих там многие годы, проходили заброшенными аулами с одичавшими садами, оставшимися, казалось, от времен покорения Кавказа. Мы видели развалившиеся постройки — в них теперь вместо ушедших людей жили дикие звери. Семья змей грелась на крыше сакли. При нашем приближении змеи уползли в дом. Из другого выскочила и скрылась в зарослях дикая кошка — опасный зверь, часто нападающий на путника.

Александра Васильевича мы уговорили остаться дома. Он утомлялся от непривычного образа жизни, ему не хватало сна, и мы решили, что он немного передохнет без нас.

У меня сохранился словесный план дороги, записанный рукою Олега, видимо, со слов о. Даниила — путь от Медовеевки к Сочи, точнее, в район Мацесты — на Змейку. Подобный же план несомненно был в голове о. Даниила, когда он вел нас на Медовеевку, руководствуясь природными приметами и зарубками путников. План этот многое может сказать и о времени, и о характерах, как диктовавшего, так и записывавшего, если прочитать его без торопливости.

> «1) От Влад. и Савватия — тропа к лужайке. Через кладку тропа до поляны. Через поляну и в Черн. речку по прав. стороне по-над речкой до скалы.
>
> 2) По тропе до кладки на лев. стор. речка повернет направо, тропа через хребет пойдет до натеса о. Мельхиседека, здесь тропа вверх, другая вниз по речке через кладку на прав. сторону. Идти правой стороной. Речка раздвоится. Тропа между речками по острову. Второй раз речка раздвоится. С боков впадают речки, но держаться на север главной рекой. Будет водопад, много кладок. Слева будет р., будет кладка и тропа по горке слева. Если не попасть, то идти прямо по речке. После водопада озеро. Озеро оставить на левой стороне и спуститься вниз снова к речке. От озера пройти версты две и смотреть в лев. сторону сухую каменистую балку. По ней идти около версты. Слева будут обсовы. Справа будет проток. До него не надо доходить 10 саж., а по обсовам искать следов налево. Подниматься на гору, держаться несколько левее, идти на хребет. Попадаются заросли чая.
>
> Спуститься в ручей саж. на 20 выше его впадения в Сочинку. Пальма. Тропа по берегу Сочинки, но идти плохо. Саж. 100. Тропа теряется, а вверх немного косогором видать чистую балочку, на ней площадка вроде аульчика (сейчас же). Приметы: как выйдем из ложбинки, стоит черешня, а на ней метка. В конце аульчика Фундучник. По низу Фундучника сейчас же пройти маленькую балочку. Начинается ясная тропа с ½ версты. В середине ручей, в ручье ямочка саж. 20, выше в пальме балаган лиловый. Пройдя ½ версты, выйдем на большие аулы: груши, черешни. Тропа теряется. Резать на середине. В конце ручей. Его перейти, будут пасеки,

выше будет уступ, на нем балаган. Гнать тропой до мертвой балки <3 строки стерты>. Место опасное. Вылазить хорошо. Тропа хорошая. Ручей надо переходить. Подходим — площадка, на ней кизил, спуск к ручью, с противоположной стороны большой обсов. Тимофей Григорьевич».

Дальше следует графический план.

На закате мы вышли на центральную поляну Медовеевки. Я присела с Олегом в стороне, а о. Даниил пошел искать о. Савватия в группе монахов, уже собравшихся около храма. О. Савватий был иеромонах, считавшийся в какой-то очень ограниченной степени главой этого вольного содружества. Разговор у монахов был недолог, после чего о. Даниил сделал нам издали знак рукой, и я пошла, робея, через всю поляну, долго, казалось мне, шла под внимательными молчаливо устремленными на меня глазами. Олег следовал за мной на расстоянии.

О. Савватий походил с первого взгляда на большого деда-пасечника в своей холщовой домотканой рубахе и таких же штанах, очень старых, заплата к заплате, но к празднику свежевымытых. На ногах у него были русские лапти и онучи. Он благословил меня по уставному чину, вместо приветствия. Вижу его добрые и строгие глаза, обращенные прямо на меня.

— А спать тебя мы положим в коЛидоре, — сказал он мне. — Не боишься?

— Я ничего не боюсь, — с поспешностью ответила я и, смутившись, осеклась. Серьезные глаза продолжали меня дружелюбно рассматривать.

— Неуж-ли? — уронил как бы про себя о. Савватий. Я молчала. — Помоги тебе Бог! — прибавил он с сочувствием и, как мне показалось, сожалением в голосе.

«О чем это он?» — смутно мелькнуло у меня в голове. Но что-то перебило мысль, и мне не хотелось к ней, тревожной, возвращаться, так прекрасно было все сейчас вокруг.

Подкрепившись принесенными с собой кукурузными лепешками и водой из медовеевского родничка, мы поспешили в храм, где уже начиналась длинная троицкая всенощная. Вся келья, вдвое больше обычной, была устлана свежей травой. Я стала позади монахов, сбившихся тесной толпой, кто — в крестьянской одежде, подобно о. Савватию, кто — в ветхом подряснике. Никаких привычных признаков храма в келье не было: ни иконостаса, отделяющего алтарь, ни икон, ни лампад перед ними. Но, тем не менее, это был храм, так как в восточной

части кельи стоял грубо вытесанный топором престол, покрытый антиминсом, и на нем несколько икон. Перед иконами горели толстые самодельные свечи: аромат чистого воска смешивался с запахом чистой травы у нас под ногами. Цветов не было. Только у одного монаха я заметила в руках небольшой букет, и этим монах выделялся в обшей толпе.

Молящиеся теснились в западной части храма, и воображаемая линия иконостаса четко отделяла их от алтаря, где свободно двигался, совершая службу, о. Савватий. Он «выходил» из алтаря и снова «входил» воображаемыми дверьми. Единственной реальной осязаемой деталью была поверх его холщовой заплатанной одежды старая парчовая риза, вероятно, служившая здесь в горах давным-давно. Из-под нее трогательно выглядывали его ноги в лаптях и онучах, аккуратно перекрещенных веревочками. На груди висел деревянный священнический крест. Светлое широкое лицо простого русского крестьянина, ничем не прикрытые русые с сильной проседью волосы. Тихие возгласы; в ответ на них тихое пенье молящихся — все мы, присутствующие, были хором.

Глубокой ночью кончилась длинная служба. Монахи улеглись отдыхать тут же в храме на траву. О. Даниил принес мне охапку сена, и я легла на наружном помосте — «колидоре». Ночи на юге, сменяя жаркий день, в горах бывают часто холодными. Но я мгновенно провалилась в сон после утомительного дня. Среди ночи я проснулась вся в поту и от непонятного ощущения тяжести на теле. Оглядевшись, я обнаружила на себе гору разнообразной одежды, лежавшей бесконечными одеялами и на мне, и вокруг меня, наподобие бортов лодки. Оказалось, отцы, лица которых я не посмела рассмотреть, имена — не успела запомнить, беспокоились обо мне, и ночью каждый, конечно, не сговариваясь, выходил и тихо, в темноте, наощупь прикрывал меня своей верхней одеждой.

Я вспомнила предостерегающие слова о. Савватия и его, как мне показалось, соболезнующее лицо: «Чего он боится для меня?» — подумала я, и, не обнаружив в себе и признака тревоги или сомненья, тут же снова беззаботно уснула.

Было совсем светло, когда меня разбудил о. Даниил: начиналась литургия. Все исповедались и причастились из самодельной деревянной чаши о. Савватия. Я подошла к ней последняя. Старик ласково благословил меня и простился со мною. Больше я его никогда не видела. Через год он прислал мне в Москву с Олегом подарок: ложку своей работы, покрытую резьбой. А еще через год я узнала, что он не пришел в Медовеевку на Пасху. Отцы тут же поспешили его проведать и нашли о.

Савватия лежащим в полном облачении на койке со скрещенными руками. Он давно уже скончался. Его похоронили, по обычаю, возле опустевшей навсегда кельи. Занять ее уже никому не пришлось.

После службы мы сидели с Олегом на краю поляны, ожидая о. Даниила, беседовавшего и прощавшегося с друзьями. Монахи расходились и, поравнявшись с нами, молча кланялись в пояс. Никто не любопытствовал и не разглядывал нас. Только один молодой высокий монах, проходя мимо, бросил вопросительный взгляд, и у меня навсегда осталось об этом взгляде воспоминание как бы огненного прикосновения. Монах шел быстрым летящим шагом, и чувствовалась в этом человеке сила.

— О нем отцы говорят, что это большой подвижник и одаренный человек. Это настоящий монах, — сказал мне Олег.

— А тебе не показалось, что он подозрительно отнесся к нам?

— Он стоит один перед Богом, — задумчиво ответил мне Олег, — ему не нужен никто из человеков для творчества. Ты видишь, какой он… огненный?

— Какой в нем огонь? — возразила я. — Ты же понимаешь, это он на нас направил свой огонь. Отчего же о. Даниил и даже о. Савватий нам доверяют?

Подошел о. Даниил и сказал, что перед уходом мы должны навестить его друга о. Симона, живущего тут же на Медовеевской поляне. Я заметила этого монаха еще в храме: это был тот, что один стоял с цветами в руке. Высокий, узкоплечий, измученный малярией, почти прозрачный, но еще нестарый человек с выражением лица мечтательным и кротким. Жить одному суровой жизнью отшельника ему было нелегко.

Мы разложили костер, вскипятили мятного чайку и сварили мамалыгу. Ложка постного масла в общий котел, принесенного заботливым о. Даниилом в бутылке, была праздничным украшением трапезы для о. Симона. Еще мы принесли ему в подарок сотового меда. О. Симон сочувственно и радостно принимал наши с Олегом откровенности и признания, от него веяло восторженностью, не вполне «приличной» монаху. Даже келья его отличалась ото всех виденных мною особой чистотой, и воздух в ней был свежий и ароматный, и единственная икона в ней — Иверской Божьей Матери стояла украшенная цветами.

Беседа затянулась. Пришлось заночевать. Утром мы отправились в обратный путь, и о. Симон долго стоял на пороге своего дома, махая нам слабой и тонкой рукой, пока мы не скрылись в густых зарослях. В полдень мы сделали привал у ручья. Я лежала на спине, глядя на плотные облака, изредка кораблями проплывающие по ровному густо-синему небу; они

предвещали устойчивую погоду. Я думала только об одном: как сделать, чтоб это осталось со мною навеки? Ничего иного от жизни я не желала.

Когда мы пришли на свою поляну, к нам бросился как к избавителям Александр Васильевич. Он даже спал с лица за двое суток нашего отсутствия. Наш расчет на его отдых не оправдался. Оказалось, одиночество в горах с непривычки было труднее, чем если бы он совершил с нами утомительный путь: на него напало известное у монахов беспричинное «страхование». Спасаясь от душевного смятения, Александр Васильевич пытался заснуть, но напрасно: ночью к келье подошло огромное стадо зверей, оказавшихся дикими кабанами. Они перерыли и уничтожили огород о. Даниила.

Александр Васильевич уехал. Мой отпуск тоже окончился, и я каждый день отгоняла мысль о службе, с которой меня уволят за самовольный прогул. Вспоминалась больная мать, вспоминался грустный Николай Николаевич. Но все это казалось как бы сном перед действительностью моей настоящей жизни, от которой я не находила в себе сил оторваться. К тому же о. Даниил ни разу не выказал и тени утомления от непривычной «семейной» жизни, столь неожиданно свалившейся на него волею фантастического ученика и послушника. В заботах гостеприимного хозяина и внимательного отца было столько благородного такта, что я откладывала со дня на день свой отъезд. Так я пряталась от жизни с головой в нашу зеленую чашу.

К тому же необходимо было еще совершить экспедицию на вершину Ачиш-Хо, перед лицом которой проходила наша жизнь. Эта вершина всегда была с нами — то розовая, то золотая, то, как сплошной черный горб, она вздымалась на фоне неба, полном ночами частых звезд.

Мы вышли в предрассветной сырости и холодном тумане. Поднимались весь день. К ночи были у пастушьего балагана на границе ледников. Ночь упала быстро, безлунная. Звездное небо дрожало над самыми нашими головами. По горизонту на северо-востоке его обрезала сплошная черная зубчатая кайма — это был горный хребет центрального Кавказа.

Нас окружала непривычная тишина: голоса животных и птиц не доносились из лесов, оставшихся глубоко под нами. Становилось холодно; резкий ветер гулял по вершинам. Мы укрылись с подветренной стороны шалаша и, усевшись тесно на отвесном краю обрыва, ведущего уступами в пропасть, пели акафист Божьей Матери: «Радуйся, ею же радость воссияет, Радуйся, ею же клятва исчезнет, Радуйся, падшего Адама

воззвание, Радуйся, слез Евиных избавление, Радуйся, высото, неудобовосходимая человеческими помыслы, Радуйся, глубино, неудобозримая и ангельскима очима…»

Кое-как продремав, подобно птицам, темные ночные часы, на рассвете мы стали подыматься по леднику к вершине. О. Даниил следил за каждым моим шагом, учил, как ступать, как помогать себе палкой. Олег и он шли за мной, и, если бы не они, я не раз рисковала свалиться в пропасть. Утомление нарастало. Были минуты, когда казалось, сил уже нет, чтоб сделать один только следующий шаг. О. Даниил посмеивался, подбодрял и говорил мне:

— Вот увидишь, перейдем одну черту — и сразу все силы вернутся. Ты только потерпи! Истинно говорю — вернутся!

И действительно, такая невидимая черта существует на подъеме. Как только мы ее перешагнули — усталость миновала, и можно было, казалось, начинать снова путь. Альпинисты знают, конечно, этот нехитрый секрет восхождения, все стали у нас спортсменами, и этим наблюдением теперь никого не удивишь. Но оно дорого мне по воспоминаниям, и я записываю его для себя — многое, наверное, я здесь записываю только для себя, и пусть меня извинит и поймет будущий читатель.

Скоро мы вошли в гущу сырых облаков, прошли сквозь них и очутились в новом мире — льдов, солнца и синевы, ослепляющем и грозном. А в полдень уже стояли на вершине Ачиш-Хо, той самой, которой любовались столько дней со своей поляны. Перед нами во все стороны открывался простор: зеленые невысокие гряды гор, поросших лесом, как мхом; долины и на них крошечные пятна редких селений — все тонуло внизу, закрывалось толпящимися облаками, то вдруг показывалось вновь в плывущие прозрачные оконца. На юго-западе виднелось огромное голубое облако, казалось, плывшее низко над землей, — это было Черное море.

На север и восток уходили вершины каменистых горных цепей, покрытых вечными льдами. Оказалось — горы можно увидеть и понять только с гор. Когда наблюдаешь их снизу, они прячутся — то скрываются за невысокие свои же отроги, расположенные на переднем плане, то за облака, толпящиеся на их вершинах. Горы стараются обмануть человеческий глаз. Но если человек достиг их вершины, они великодушно допускают его в свое царство. И ничего нет в природе величественнее гор, наблюдаемых не с самолета, и не в компании туристов, а с одной из вершин, сидя недвижно, долго и в полном молчании. После видения райского сада на побережье с парохода в 1924 году, это было мое второе видение Кавказа. Оно было сурово, оно было

даже бесчеловечно; с ним я могу сравнить лишь первые строки книги Бытия, которыми открывается Библия. Мы стояли, ошеломленные зрелищем.

— Как в первый день творения! — сказал Олег.

О. Даниил называл нам все знакомые ему вершины: Чугуш, хребет Псеашко…

— А тот пик? — спрашиваю я, показывая на снежную вершину, стоящую неподалеку от Псеашко. Его почему-то отец Даниил обошел молчаньем.

— Не слыхал его имени, — ответил он. — Озеро под ним есть, это я, истинно, слышал, но никто из отцов там не жил. Видно, нет у него имени — Безымянный.

А в 1937 году группа молодых ученых-географов, ночуя около озера у подножья безымянного пика и читая всю ночь у костра Пришвина, назвала и гору, и озеро его именем, сложив тур и оставив в нем свою записку. Но это будет еще не скоро. И еще нескоро я прочту в дневнике Пришвина записи, сделанные им в 1939 году, после поездки в Приэльбрусье.

«Бывает, идешь по равнине с какой-нибудь досадной мыслью в маленьком житейском плане, и она тебе все отравляет, и ты никак не можешь выкинуть ее из себя, пока не встретится что-нибудь особенное и не расширит твой кругозор. Здесь же, при восхождении на гору, можешь не бояться ничего самого скверного; стоит сделать вперед десять трудных шагов — и открывается другой кругозор, и ты в кругозоре сам другой человек…

Психология подъема на гору: мученье в себе и радость вне, возвращаясь к себе, переносишь муку легко. Точно так же и в жизни, когда задыхаешься от мелочей и готов сам в этом погибнуть, обращаешься посмотреть вне себя, и тогда оказывается, что ты повысился, и ты видишь, ты открываешь вокруг себя невиданные горизонты, возвращаешься к мелочам великодушным и побеждаешь…»

И все же наступил день моего отъезда. Олег посадил меня на грузовик, наполненный до отказа мешками и людьми. Мы обнялись с ним у всех на виду — условности были забыты. Я увидала слезы на его глазах, перегнулась еще и еще раз к нему через борт тронувшегося грузовика. Олег пробежал несколько шагов за машиной, не отпуская моей руки. Вот он оторвался, и я вижу высокую фигуру в клубах пыли, поднимаемой нашими колесами. Мы пересекли мост через Монашку у выезда с Красной Поляны. Все скрылось за резким поворотом. Машина начала свои петли по-над берегом Мзымты.

— Это ваш муж или жених? — спросил меня голос справа. Мне трудно было сразу ответить — что-то сжимало горло. Тоска расставания? — кажется, нет, я уезжала по-новому богатой и счастливой. Это была еще настоящая свобода, и никакого спора еще не начиналось тогда в моей душе.

— Это муж ваш или жених? — повторил настойчивый голос.

— Нет, это брат, — сказала я, наконец, поворачиваясь к соседу. Прекрасно одетый, еще нестарый, но слегка седеющий человек, интеллигентного вида с резкими восточными чертами лица, он с любопытством разглядывал меня.

В ответ на мои слова он крутит недоверчиво головой:

— Так братья не прощаются, я видел его лицо, какое лицо! — повторяет он восхищенно.

Если б я писала роман, мне удобно было бы сделать эту минуту в жизни моей героини переломной: она могла, она должна была бы прочесть в этих словах запретный и сладкий смысл: не разлучаться, никогда не разлучаться! Пусть не о браке будет речь — это слово вызывает у обоих опасливое отталкивание, пусть речь идет только о том, чтоб никогда не разлучаться. Так началось бы неминуемое раздвоение ее души, после которого все здание аскетики, построенное с такими усилиями, рушится, аскетики, понимаемой в глубоком значении, как самоотвержение и полагание на Бога, без всякого запроса для себя. Так должно было случиться с молодой, нормальной, любящей девушкой, живущей среди людей, а не в душевной изоляции монастыря или пустыни. Но в том-то и дело, что этого *не было*. Этого не было, и слова моего спутника не задели меня. Потому ли так получилось, что я сама тогда еще не потеряла собственной силы, или потому что Олегу этого не надо было еще от меня? Не знаю. Знаю лишь одно: мы оба еще ничего не искали для себя от жизни.

Вчера на прощанье он дал мне маленькую записку, величиной со спичечную коробку: «Прочти в минуту слабости и уныния», — сказал он. Записка лежит в сумке под рукой, хотя я знаю ее уже наизусть. В ней написано: «Детка родная, не горюй, что тратишь жизнь в сером труде будней. Потерпи! Мы идем к невечернему дню вечной радости». Подписал он записку своим детским именем «Лель».

Я вспоминаю, а сосед в это время задает все новые вопросы. Я скупо ему отвечаю, скрывая главное:

— Да, у брата слабые легкие, он из-за климата живет здесь у знакомого крестьянина, лечится… Да, я осталась в Москве с матерью, работаю… Где? — и вдруг у меня вырывается с горечью помимо воли: — Я скучно работаю, я не нашла своей работы, а

мне это самое нужное: мне нужно дело! Вернее всего, у меня нет никакого таланта.

Сосед снова крутит недовольно головой и смотрит мне прямо в душу добрыми, грустными глазами. Я отворачиваюсь, но не могу сердиться долго: что-то располагает к доверию в этом бесцеремонном человеке.

— У вас нет таланта? — переспрашивает он. — Неправда! Я видел, как вы прощались, я видел ваше лицо!

«Что он хочет этим сказать?» — удивляюсь я и молчу. А он продолжает:

— Почему вы уезжаете от него? Это неправда про брата и про болезнь… Зачем он отпускает вас одну? Я знаю жизнь, этого нельзя делать. Я видел, какие у вас были лица!

Я поворачиваюсь к соседу и отвечаю ему запальчиво, негодующе:

— Ему так нужно! Иначе ему не успеть окончить свое дело. Вы говорите, что понимаете жизнь: значит, вы должны понимать, как жизнь коротка. Она велика только совершенным, и мы должны успеть, чтоб заслужить вход к настоящему, непреходящему счастью, пусть оно наступит и в вечности. Я верю, надеюсь и уже в преддверии счастлива.

— Это я вижу, тут вы меня не обманываете, это меня и восхитило, — уступчиво соглашается сосед. — А вы говорите, что у вас нет таланта! Любить — это тоже талант. Я видел, как вы прощались! — в который раз повторяет он свою фразу.

«Этот человек много пережил, ему можно верить», — мелькает у меня. Поддаваясь непреодолимому желанию поделиться, я вынимаю записку Олега и протягиваю ему:

— Вот прочтите — он мне написал в дорогу для памяти. — Сосед внимательно и долго читает.

— Это не письмо, это, скорее, рисунок, — говорит он. — Так писали только в древности. Я изучил во множестве старинные рукописи, я археолог по образованию и люблю свое дело. У этого юноши буквы живут: посмотрите, у каждой свое лицо и своя манера держаться. Буквы бегут за мыслью. Они похожи на маленькие одушевленные существа. А эта концовка, вроде рыбки, сделанная одним росчерком…

— Рыбка эта появляется, — подхватываю я, — когда у него светло и уверенно на душе. Как же я могу сейчас не радоваться?!

— Записка замечательная, — говорит сосед, — и я благодарен вам за доверие. Но мне жаль вас и страшно за вас.

Бесконечно петляет грузовик. Мой сосед замолчал. Но путь наш долгий. Вот почему между молчанием и новыми вопросами я рассказываю ему свою жизнь. У въезда в город он мне говорит:

— Уже поздно, и сегодня поезда на Москву не будет. Как вы достанете завтра билет? В разгар сезона это не просто даже с моими связями. И где вы рассчитываете провести ночь? У меня целый дом пустует. Я живу один. Прошу вас — будьте моей гостьей, а завтра я вам устрою отъезд.

Что-то запрещает мне выказать ему недоверие, и я соглашаюсь. Была уже черная ночь, когда мы вошли в сад за высокой каменной оградой. Пряно пахли невидимые цветочные клумбы, по этому запаху мы обходили их, отыскивая на ощупь и на слух направление: шуршащие гравием дорожки сами вели нас к дому в глубине сада.

Залаяли собаки. Замелькали огни — это люди бежали к нам навстречу с фонарями. Дом мгновенно осветился. Хозяин провел меня в отдельную комнату с шелковой мебелью и широкой мягкой тахтой. От ужина я отказалась. Впервые за два месяца я на ночь разделась, с наслаждением бросилась в постель и заснула.

Утром меня разбудил вежливый стук. Вошла старая горничная. Она поклонилась мне в пояс, произнесла приветствие на непонятном языке, принесла таз и кувшин с водой для умыванья. Она подчеркнуто не замечала моего выцветшего, разорванного и наспех зашитого платья, сбитых, разваливающихся туфель. Горничная быстро навела в комнате порядок, накрыла стол и поставила на него букет свежих цветов. Принесла серебряный кофейник. После того пришел сам хозяин.

— Вы спали отлично — это видно по вашему румянцу. А я по-стариковски сплю уже одним глазом. Все думал о вашей судьбе.

— Какой же вы старик? — из вежливости возразила я.

— Вы правы, — не чинясь, согласился хозяин, — мне не так уж много лет, но счастье мое погублено, и жизнь моя кончена. Вот почему я и чувствую себя стариком. Я — не местный житель, я — армянин, это не мой дом, а моей покойной жены, русской женщины, и я никак не могу расстаться с ним.

Я ждала продолжения, но он не прибавил об этом ни одного слова.

— У меня осталась еще в душе моя родина, — продолжал хозяин. — Моя прекрасная родина с такой древней историей, храмами, книгами и воспоминаниями, каких вы не найдете у себя в России, может быть, во мне хватит сил, чтоб жить ради нее… Но не будем больше обо мне, послушайте, что я думал о вас этой ночью: вы будете жить одна и стариться в далеком городе…

— Мы поселимся в конце концов вместе, — перебила я его. — Если даже не изменится жизнь, и книги наши не будут издаваться, все равно мы проживем на этой благодатной земле, пусть в нищете, это нас не страшит.

— А ваша больная, с городскими привычками мать?

— Наши матери нас поймут и полюбят нашу жизнь.

Мой хозяин посмотрел на меня с ласковой усмешкой:

— Вы так уверены?

Почти такие же слова и так недавно я слышала от о. Савватия…

— Вы не следите за тем, что делается в мире, а я читаю литературу на многих языках, и кое-что предвижу. Вам никто не позволит издавать книги по метафизике. Больше того, вам не позволят даже жить своим нищенским, но вольным хозяйством. Даже в неприступных горах. Даже на никем не обитаемых, никому не нужных землях. Люди делают сейчас ставку на государственную организацию труда, на подчинение всех сил единой системе управления. Делают это ради того же спасения мира от страданий, о чем думаете и вы. Но эти новые люди смотрят сейчас только на землю, им ненавистны ваши расчеты на небо и вечность: человечество слишком долго и бесплодно обманывалось мечтами. Им надо делать жизнь здесь и сейчас.

— Мы об этом тоже думаем, — возражаю я. — В наши планы входит забота и об экономике. Пренебрежение ею было в какой-то мере грехом христианской Церкви.

— И вы надеетесь найти сейчас общий язык с современными людьми! Какая наивность! Вы сострадаете человечеству, а вас сочтут за врагов и, может быть, даже уничтожат, как преступников. Вы не знаете истории: это происходит не впервые в мире.

Я молчу. Я понимаю, что за словами этого человека — правда.

— Но самое главное, — продолжает он, — вы не хотите понять, с каким огнем играете в своей любви. Пока он горит в вас и каким-то чудом не обжигает, вы свободно расстаетесь… Но берегитесь! вы можете стать во всем виноватой. Бедная маленькая Ева, она вечно расплачивается…

«Это он о своей покойной жене», — понимаю я.

— Мне жаль вас и страшно за вас! — повторяет он вчерашние слова. И снова я отталкиваю их, вспоминая: «Потерпи! Мы идем к невечернему дню вечной радости».

— Я вам не учитель, — продолжает тем временем хозяин. — Я сам погубил свое счастье. Когда-нибудь я расскажу об этом вам, но не сейчас. Напишите этому юноше, пусть всегда останавливается у меня проездом. Я буду его ждать.

Вечером хозяин посадил меня в поезд. Из Москвы я написала ему. Он мне ответил. Но вскоре перестал отвечать, и переписка прекратилась. Вероятно, он был, подобно всем богатым

домовладельцам, «раскулачен», а может быть, и уничтожен. Так я и не услыхала обещанный рассказ о его погубленной любви.

Я сейчас вспоминаю строки Ахматовой, написанные в конце жизни:

Так, отторгнутые от земли,
Высоко мы, как звезды, шли.

Она решилась, посмотрела на свое прошлое со стороны. Я долгие годы не смела этого сделать. Почти сорок лет не решалась оглянуться на прошлое, записать. Но сейчас, кончая жизнь, я тоже делаю это по завету и Олега, и Михаила Михайловича Пришвина. И мне самой сейчас стало необходимо, чтобы люди когда-нибудь после меня узнали о нашем пережитом. Вероятно потому, что мы радовались и страдали действительно не только для себя, но и для всех.

Олег был свободен от житейских связей и ушел из грешного мира. Я не смогла уйти вслед за ним. Мы оба не догадывались тогда (еще не смели) совершить то единственное, что превратило бы наше мечтательное чувство в любовь: снять один у другого с плеч его ношу и понести на своих. Не о браке речь — мы об этом и не помышляли: только о том, чтоб рядом идти, не расставаясь, шаг в шаг. Моя ноша была — охранить до конца его девственность, в которой заключалось существо этого человека, призванного к монашеству; его ноша — охранить мою слабость, мою женскую незащищенность («не умри от любезности») в этом мире, где невозможно всех любить, никому не изменяя и никому не принадлежа. В ином положении эта женская слабость может превратиться в силу и красоту. Такой, верю, она бы и стала, если б мы тогда посмели, решились — и больше не расставались.

Блуждания в поисках пути видны из пройденной дали, а мы еще так недалеко ушли от себя. К тому же жизнь столь многогранна, что никакие односторонние суждения не исчерпывают ее глубины. Вот что, к примеру, записывает однажды Пришвин, размышляя об Олеге: «Известно, что стручки акации, как только определятся в конце весны, так и висят зелененькие, полные семян все лето, пока не потемнеют и не растрескаются, напрасно выбрасывая свои бесчисленные семена. Да и вся расточительность природы, и низшие животные отличаются обильной и напрасной тратой семян, этой жизненной силы, образующей основание пирамиды, на вершине которой монах проповедует бессемейное зачатие и новую жизнь в свете незримом»{162}.

Казалось бы, гимн монашеству как высшей форме жизни, возможной на земле. Но у того же Пришвина мы читаем: «У всякого принципа нет лица и внимания к людям. Вот почему все принципиальное — безжалостно». «Закон, обобщение, метод … соблазн „метода“ — вот этого страшного искушения нет в Евангелии»{163}.

Или читая книгу Феофана, автора XIX века, «Письма монаха к женщине», он пишет: «Начинаю понимать только теперь, что у монаха конечное счастье — покой, то есть монах является тончайшим эгоистом, враждебным нашему миру, в котором высочайшей любовью считается погубить душу за людей. Надо понять, где и когда возникло такое пагубное учение, заменившее учение Христа»{164}.

Конечно, к древним творениям аскетов-классиков эта запись неприложима.

«Последствием такого учения есть разделение мира, — продолжает Пришвин, — тогда как по нашей вере мир единится, и все люди становятся братьями, и животные постепенно приучаются человеком и входят с человеком в единство… и когда интеллигенция стала входить в церковь, тут-то вот и могли вырасти такие цветы, как Ляля и Олег. Я хотел бы, чтобы они стали цветами возрождения»{165}.

Пришвин против гнушения боготварной природой, он борется за любимую мысль о ее спасении здесь и сейчас, такой, уже спасенной, ему дано было увидеть ее. Так он видел природу с того давнего момента, как взялся за перо, когда понял необходимость целостной жизни на земле.

Эта целостность живет, конечно, в ней и во все века. Мы встречаем подобную жизнь и в наши дни среди людей, никому неведомых. А если вспомнить известных и праведных, хотя бы св. Иоанна Златоуста с его исключительной любовью к св. Олимпиаде — достаточно сравнить количество сохранившихся его писем из ссылки к ней и к другим людям.

«Кончилось бы это тем, что он сделался бы писателем, а не монахом, а Ляля была бы ему такой же чудесной женой-другом, как мне, — предполагает Пришвин. — Если бы не умер Олег, то она бы вывела его в жизнь и для того применила бы силу женского лукавства»{166}.

Но тут я должна со всею силой возразить Михаилу Михайловичу: так не случилось и случиться так не могло: именно это «лукавство», то есть эта женская (метафизическая) Хитрость, о которой писал и Олег («Хитрость Софии») не позволила мне «вывести Олега в жизнь». Она не позволила бы мне никогда нарушить цельность его существа, уже бывшего не от мира сего. И

как это призвание я понимала и ценила в нем!

Вот еще несколько записей из пришвинского дневника разных лет.

«Природа романтизма — это попытка человека физическое чувство любви сделать духовным состоянием, задержать акт размножения и воспользоваться силой его для личной свободы в духе — такова природа всей культуры.

Дело культуры было отстоять неумирающее (духовное) существо личности от поглощения ее законом размножения. Отсюда возникли такие понятия, как „непорочное зачатие“ и бытовое выражение этого — монашество и т. п. В сроках жизни эти семена дали всходы современности: сокращение деторождения, аборт и т. п. Человеческий сукин сын воспользовался идеей личного бессмертия с трагедией распятия для своего житейского благополучия. Произошла ужасающая катастрофа, в которой была потеряна и религия рода (т. е. вера в будущее), и религия личности (т. е. вера в культуру), в которой уже ранее найден и дан нам пример спасения».

«Большое искусство — это одна из форм аскетизма. Художник — это монах, девственник, часто имеющий облик распутника. Это монах „в душе“. И вот именно поэтому, как все признают, семейная жизнь художника находится в противоречии с его призванием. Яркий пример этому — жизнь Олега»{167}.

В этой записи Пришвина я вижу разрешение загадки собственной жизни — «художник — это монах в душе», и когда встретился мне на пути художник, я устремилась к нему с отчаянной решимостью, как к источнику спасения. Я сказала ему безо всякого обдумывания дерзкие слова, на самом деле вызванные только отчаянием одиночества и страхом перед возможностью новой потери: «Я буду для вас неисчерпаема!»

Он смутился, он не понял. Но через три года записал в дневнике: «На чем стоит наша любовь? Я твердо верю, что меня она не поглотит никогда совсем, и меня ей заменить нельзя: родить она, конечно, может от другого, но изменить мне нельзя. Точно так же и она знает, что ее я никогда не исчерпаю, что, сколько бы я ни погружался в нее, дна никогда мне не достать». «Ляля остается мне неиссякаемым источником мысли, высшим синтезом того, что называют чувством природы». «Ночью думал, что любовь на земле, та самая обыкновенная и к женщине, именно к женщине — это все, и тут Бог, и всякая другая любовь в своих границах: любовь-жалость и любовь-понимание — отсюда»{168}.

Помню, это было за два года до нашей встречи с Олегом: знакомые предложили мне провести три дня на их пустующей

даче под Москвой, в Томилине. Мне хотелось побыть на воздухе — я поехала. Ни одной книги, даже Евангелия, я с собой не взяла и постепенно стала чувствовать, как в одиночестве опустошается моя душа: казалось, что ничего своего в ней и нет. От собственной своей пустоты, которая в просторечии, по-видимому, и называется скукой, я не дотянула третьи сутки и бросилась домой, к людям.

Прошло с тех пор много лет. Спутники моей жизни ушли — я осталась одна. Теперь я не страшусь одиночества и своей «пустоты», как некогда в Томилине. Я заполнена мыслью, которой мне так не хватало, их мыслью, которая стала теперь и моей: нищенка с той открытки на царском престоле. Но ведь и женщина приходит в творчество не с пустыми руками, хотя ноша подчас так мала, что уместилась бы в ее ладонях. Это зерна мысли, которые принимает и взращивает мужское воображение… Вот когда становятся понятными загадочные слова Сведенборга: «Самое внутреннее в женщине есть премудрость мужчины».

«Она сама предупреждала меня, — пишет Пришвин, — что ее существо действенное всецело есть форма моих желаний, что все наше продвижение вперед зависит от меня». «В ней нет ничего, все отрицание и тайный вопрос: „Ты с чем пришел?“ Так рождаются боги (т. е. личности), т. е. то, чего нет в природе. Легко родить, как вся природа рождает, но как родить то, чего нет в природе… этот некий плюс. Это усилие, это сверхускорение темпа, борьба со временем, и пр., и пр. — то, чего нет… Из ее „нет“ у него рождается личность, преодолевающая „нет“. Именно это женское „нет“ — начало всему человеческому делу: создать то, чего нет»{169}.

Так что же такое любовь, на которой стоит мир, о чем пишутся книги, поются песни, которая нужнее всего, о чем бы мы ни подумали? Думаю, что любовь — это если видишь образ молчаливо Стоящего за плечом того, кого любишь. Он — единственная реальность жизни, к Нему направлена наша любовь, к Нему пробиваемся мы сквозь то, что называем земной любовью. Любовь — та же вера, путь к Богу, путь к будущему миру, к бессмертию.

«И я, и каждый из нас сам создает себе этот мир, где он будет жить после себя. И этот будущий житель созданного мною мира, конечно, и есть тот самый Он, кого я как простак всегда чувствую в себе и сверх себя, и не Он ли соединяет нас, не Он ли делает возможным дружбу величайшего по мудрости и знанию человека с человеком совершенно необразованным? После себя это Он остается, и за время жизни своей я должен сделать все, чтобы от меня большая часть осталась с Ним. В этом смысле — каждый из

нас создает себе тот мир, где он будет жить после себя»[170], — пишет в дневнике Пришвин.

И еще одна запись, сделанная Пришвиным в те годы, когда он не был еще церковным человеком, а был таким же ищущим, как многие из нас, для кого я, мне кажется, и пишу эту книгу — пишу о своем поиске.

«Толчок к творчеству. Кто-то близкий отметит вашу мысль, любовно разовьет ее и вообще поддержит. Душа окрыляется, внимание сосредотачивается на одном, и начинается работа. А когда давно написанное выходит из круга внимания, не интересует вовсе, но иногда приходит друг и хвалит, тогда захочется перечитать свою книгу, пережить ее еще раз. Так что в основе творчества лежат как бы две силы: Я и Ты.

Я ленюсь, тоскую, ничего не делаю, потому что нет Тебя.

Мое Ты: Ты прилетаешь ко мне, как лебедь, чтобы вместе лететь в общем нашем воздухе, или плыть по нашей воде, или отдыхать в наших зарослях, в нашей траве, возле наших цветов.

Я жду Тебя и очень тоскую, когда долго Ты не приходишь, но счастью моему нет предела, когда Ты являешься. Тогда вселенная — во мне, и два воробышка, которые попадаются мне на глаза, кажутся разными. Если Ты не приходишь, я никак не могу вызвать Тебя. Ты сам приходишь, и приход Твой мне всегда бывает нечаянной радостью.

Я не могу вызвать Тебя, а только верю, что Ты придешь когда-нибудь, но бывает, я теряю эту веру, и тогда мучусь и мучаю всех вокруг меня.

Ты страшно боишься насилия, и при всякой попытке моей удержать Тебя силой, Ты исчезаешь и долго не появляешься.

Я ищу Тебя в лесу, тихо переступая от дерева к дереву, прислоняюсь к стволу и ожидаю, неслышно перехожу к другому и ожидаю, и когда птицы и звери, считая меня за свое, перестают бояться меня и разбегаться, Ты, бывало, приходишь ко мне.

Я ищу Тебя в лесу, мне кажется, что дом Твой там в зелени, но я встречал Тебя в солнечных зыбульках воды, и в облаках неба, и на камнях своего дворика. Кажется мне, что весенний первый свет, когда первые капли падают с ледяных сосулек — больше всего возвещают о Твоем приходе, что это главные Твои вестники, но часто, бывает, я обрадуюсь Твоим вестникам, а Ты не являешься.

И когда бывает все разрушено в саду бурей осени и на серых ветвях остается лишь несколько красных листиков, эти листики мне становятся как огненные языки Духа Святого на головах апостолов, и Ты ко мне являешься.

Я *ищу* тебя, я замечаю Твоих вестников, но другою осенью я

смотрю на красные листы и не вижу в них Духа Святого.

А кругом говорят, что ленив я, и не могу исполнить заказ, и человек совсем не практический. Вот я под давлением их чувствую себя виноватым, начинаю лукавить с Тобой и падаю.

Тогда нужно больше упасть, в самую мерзость, и когда я достигаю последнего дна, в последнем падении я встречаюсь с Тобой.

Иногда я видел тебя в женщине и любил тебя в ней, но Ты уходил, и женщина оставалась ненужная мне. Нет! Ты равно явился мне в женщине, в юноше, в ребенке и в седом старце. Видел я Тебя в русском человеке, но видел и в немце, и в евреях я не раз узнавал тебя.

Однажды, когда заряженные ружья пьяных людей были направлены на меня, Ты посетил меня, я улыбнулся, пошутил, и пьяница не стал стрелять в меня. А другой раз негодяй направил в меня револьвер — я испугался, и негодяй успокоил меня словами, что револьвер не заряжен: Ты не посетил меня в моем унижении, Тебя со мной не было.

Что же, или мне вовсе не нужно искать Тебя, ведь Ты не бываешь там, где я ищу Тебя? Но если я не буду искать Тебя, Ты не придешь никогда.

Я ищу, я действую, я живу, а Ты приходишь как бы на зов мой, но совсем с другой стороны и не в то время, когда я зову Тебя. Да, я встречал Тебя иногда в своих мерзостях, но если я стану делать мерзость, я, наверно, не найду Тебя.

В хороших делах я всегда нахожу Тебя, но хорошее дело найти — все равно что найти Тебя. Тут опять должна быть простота, а если я для кого-нибудь сделаю, с тем чтобы этим вызвать Тебя, — Ты заметишь лукавство и не придешь ко мне, и богадельня моя будет *так* стоять.

Нет, никогда мне не узнать, откуда Ты приходишь и когда, — разве попробовать путь другой: когда Ты придешь ко мне, то идти за Тобой, все оставить — и за Тобой идти?

Вот сейчас Ты со мной, Ты меня покидаешь, я иду… Послышался голос: „За стихами идешь, за песнями?“

Я остановился, а Ты уже отошел, я еще вижу Тебя. „Нет, — говорю я, — не за стихами я иду, — за делами добрыми“. А Ты стал черным, как мощи, и вот собираются толпы людей со свечками и с ладаном, и гроб золотой возле Тебя. Я делаю усилие и вхожу в ту церковь: нет в церкви Тебя, старик и старуха просят милостыню.

Я пленник мира, сижу за решеткой, вокруг — мои сторожа. Но когда Ты приходишь, решетка падает, и сторожа исчезают, когда Ты приходишь, я бываю свободен, в Тебе моя свобода.

Я пленник — Ты мой освободитель.

Вот иду я к решетке своей, погруженный в мелкую думу, в мелкую злобу на сторожей, — и нет решетки! я увидел, как два облака на небе встречаются, и нет решетки — радость широты, радость охватывает, широкая, разная, как целая вселенная»[171].

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Мечта об обители

Наступила осень. Директор кооперативных курсов не уволил меня за прогул. Олег к зиме не приехал: он с головой ушел в писание и не мог его прерывать. Я проводила к нему Борю Корди, ученика Абрамцевской художественно-прикладной школы, моложе нас лет на пять. Боря, с детских лет круглый сирота, отличался скромностью и чистотой. Он был привязан к Олегу как к старшему брату, совершенно не искушен в философии, просто и глубоко религиозен.

Сразу же по приезде Бори принялись строить новые кельи для Бори и Олега на той же поляне. Помогать им приехал из Москвы толстовец Митрофан Нечесов, каменщик по профессии, работавший некогда с Олегом в одной колонии на черных работах; из Майкопа приехал Сережа Скороходов. Настя, его сестра, к этому времени вышла замуж и долго скрывала от нас свой брак, как «измену» будущей обители. Скоро ей пришлось открыться и даже пригласить Олега в крестные отцы ее первенца. Олег специально съездил в Майкоп и записал меня заочно крестной матерью маленького Сережи. Впоследствии он мне мимоходом бросил, что сделал это умышленно, чтоб поставить между нами в отношении брака еще одно — формальное препятствие (по церковным правилам, между крестными родителями брак не совершается). Я не обратила внимания на это признание.

Пройдет зима, наступит отпуск, и снова я буду в зеленой чаше среди любимых гор. А рано ли поздно ли будет наша обитель. Но если не будет? Тогда перетерпим короткую жизнь: «Мы идем к невечернему дню вечной радости».

Впрочем, черты будущей обители уже начинали слегка вырисовываться. Дело в том, что под Мацестой много лет существовали остатки быстро изжившей свой романтический период толстовской колонии «Змейка». Теперь это было лишь совместное сосуществование людей с тягой к «духовному», всеми понимаемому совершенно по-разному. Все они жили своим трудом на земле, о которой Митрофан говорил: «Палку ткнешь — и та растет». Митрофан и стал посредником между Олегом и змейковцами: поселенцы отдали ему пустовавший крайний с горы участок с остатками покинутой и недостроенной хаты. Этот дом и стал в замыслах Олега моим.

Женская обитель, отдаленная от мужской на 40 верст по

прямым сокращенным тропам, — это уже не могло возбуждать ничьего осуждения. Одно было неясно: как могла я при моих обстоятельствах жизни туда переселиться из Москвы. Вот отрывки из письма, которое я получила от Олега после моей первой поездки в горы:

«1926 г. 13 сентября. Сегодня памятный для меня день — вот прошло уже три года после нашей встречи. 11-го получил твое письмо. Все, что там сказано, уже ни в каких дополнениях и поправках не нуждается. Есть еще, может быть, многое, что можно сказать обо всех этих вещах, но, надеясь со временем „глаголати устом ко усты“, по принятому выражению, и больше писать не буду — сейчас, по крайней мере.

Вот тебе утешение. О. Симон спрашивал меня, скоро ли я буду тебе писать и велел передать что-то неясное — он не умеет литературно выражаться — поклон и благодарность, что ты у него была, и сказал мне, что „таких еще не видал“. Между прочим, о. Даниил разболтал ему, что мы с тобой вместе писали „Остров“.

Хотел сказать об иконе Владимирской Божьей Матери, что она выражает собой то, о чем ты говорила: „Зрелое полновесное сердце“. А Иверская изображает только образ совершенства девичьей красоты — и больше ничего. У о. Симона замечательный образ Иверской Б. М., и он любуется им почти с упоением.

В прошлом году ты написала мне однажды о печальном состоянии души и о том, что Бога нет — не чувствуется в ней дыхания Его. Я ответил, что нахожусь в том же состоянии, и потом получил от тебя суровое обличение за это письмо. Как-то я тебе говорил, что у меня с Господом „натянутые отношения“, т. е. так именно я их воспринимаю, но теперь совсем не так — я знаю, что натянутости нет. Мне было как-то неловко, было что-то неясное в отношении к Господу. Именно неясное, ни принятие, ни отвержение. А теперь, когда получил уверенность в прощении грехов (после нашей обоюдной исповеди), стало совсем иное основное настроение, какой-то новый фон душевной жизни.

Прежде если я и взывал: „Векую мя отринул от лица Твоего, Свете незаходимый“, я не знал, слышит ли Бог или забыл „до конца“, т. е. не то, что забыл, а лишил милости, внимания Своего. А теперь я убедился, что мы в каком-то смысле предмет Божьего внимания или, по

крайней мере, внимания нам Игумена нашего.

Это и ты говорила, но я теперь как-то с достоверностью чувствую это. И теперь мне легче мириться с тем, что в душе нет Бога, и я готов терпеть до смерти.

Я оглядываюсь на минувшие дни и вижу в них не только Божье чудо, но еще и искусную руку Преподобного, направляющего нас в эти дни.

Как удивительно хотя бы это: ты ехала с намерением принести покаяние перед любимым, а оказывается, это надо было сделать не тебе, а мне, хотя мне такая мысль и в голову не приходила. И я обрел душевный мир и ощутил почву под ногами. Вот поистине всякая молитва бывает услышана! Я молился, чтоб как-нибудь получить извещение о прощении, и мне и на мысль не приходило, что это извещение может явиться таким удивительным путем.

Я говорил тебе еще в прошлом году, что, когда у меня бывают приступы отчаяния о пустоте своей души, о том, что нет у меня сердца, мне хотелось уйти от всех в горы, если не навсегда, то до тех пор, пока Господь простит, если Он вообще простит и явит милость. Иногда, однако, у меня являлось подозрение, что в этом одиночестве я не получу ничего, что может быть Богу угодно, чтобы я обрел сердце как-то с твоей помощью, и мне от этого не убежать.

Теперь я дерзнул осознать эту мысль и, хотя и не утверждаю ее как истину, но, по крайней мере, решился ясно поставить ее перед собой. А вспомнил я эту мысль недаром: мне показалось, что твоим поцелуем открывается у меня сердце, что оно начало таять и, может быть, каменность отойдет от него.

Это не есть простая слабость моя или какая-то женственность души, так как ты знаешь: я предстою Господу сам, в одиночестве. Но иногда мне кажется, что такова Его воля, и как бы я ни упирался, мне иначе к Нему не прийти, и пустыня будет для меня чревом Китовым, куда попал Иона, пожелав отказаться от заданной ему задачи. Может быть, Господь хочет, чтобы я исполнял два дела: свое творчество (с твоим вдохновением), это, во-первых, и, во-вторых, помог бы тебе осуществить самое дерзкое и великолепное произведение, какое ты задумала, хотя я до сих пор не могу поверить, что для такого замысла, словно по

ошибке, Господь оказал внимание мне после всего, что ты знаешь.

Может быть, я ошибаюсь — и тогда я готов уйти во „чрево Китово“.

Сомнения твои, которые явились у тебя в день отъезда, да исчезнут без остатка. Ничего, кроме света и радости, не принесли мне дни нашего совместного пребывания в горах. Господь и Преподобный видят, что это истина.

Ляля, помни, мы ведь, не сговариваясь, пришли к мысли, что во власти Божьей изменить прошлое.

Помнишь, как я сообщил тебе свои размышления по поводу слов Спасителя, что Бог силен „из камени воздвигнуть чада Аврааму“{172}, т. е. Господь создал бы людей, и Авраам принужден был бы назвать их своими детьми, хотя он их и не родил.

Как-то меня очень оскорбили слова св. Августина, что в воскресении на телах мучеников останутся раны, подъятые ими за Христа, но эти раны будут их украшением. Меня оттолкнула эта обращенность к прошлому, словно Царство Божье — только награда, как бы медаль за подвиги на земле. А мне кажется, что во всеобщее воскресение прежде всего с великим торжеством сожгут Четьи-Минеи — это будет радостным завершением Страшного Суда. Сожгут со всеми воспоминаниями, как о прощеных грехах, так и о подвигах, т. е. как о милосердии Божьем, так и о трудах человеческих.

Ляля, чистая и непорочная дева, Жития как бы они ни были великолепны, существуют для человеков. Господь же наперед сжег их для себя.

Еще одно замечание. Мистики начинают писать свои книги, чтобы не забыть того, что им открывалось. Например, так объясняет свои побуждения к писанию преп. Петр Дамаскин. Так как наша встреча — истинное откровение, то не следовало ли попытаться записать то, что мы помним о важнейших моментах, хотя бы в виде кратких отрывков только для памяти? Хотя и это относится к тому житию, которое сгорит, и я думаю, мы сами с удовольствием его сожжем, если спасемся молитвами Преподобного, тем не менее, может быть, следовало бы сделать это.

Бодрись. Мне кажется, что 27-й год должен нам нечто принести. Ты чувствуешь это для своей жизни, я —

для своей. Мне нужен какой-то окончательный перелом, вход куда-то внутрь. Это должно быть связано с окончанием моей литературной эпитимии (можно ли так выразиться?) и постригом…

Отец Даниил говорил о твоей келии и увеличил срок „отдыха“ от Москвы уже до шести месяцев. Впрочем, не буду мечтать. Господь с тобой».

«От Бори узнал, что ты была в Абрамцеве, но в его отсутствие. Это меня удивило: что же ты ничего не написала? Боря очень понравился отцам, и они ему. Это удивительное существо, здесь он сразу расцвел. Он как будто попал на свое место, окружающая обстановка как-то подходит к нему, а в Москве он словно не на своем месте.

Кстати, это твоя формулировка или Борина собственная? Он сказал про о. Д., что тот относится к нам „с отеческим вниманием и с материнской заботливостью“. Это замечательно. Зинину критику получил. За нее благодарен ей, но не всегда она права и даже чаще всего не права. Однако критика ее ценна, как перечень мест, где у меня неясно выражена мысль или просто плохо продумано.

Бедная мысль человеческая! Все ее гонят и не понимают. Мысль есть множественный коррелят чувственности — в том небесном смысле, какой должно в философии придавать последнему слову. Ангелы не бывают мыслителями, они не пишут философских систем так же, как и Люцифер… метафизиком бывает только человек. Духовные люди с удовлетворением смотрят на самоубийство метафизики в „Острове“, но боюсь, что они не постигают при этом трагедии человеческой мысли. Она ведь если и умирает, то ради воскресения.

Есть в ее критике поразительно меткие указания противоречий. Их использую.

Между прочим, она вовсе не права, когда говорит, что в будущей жизни будет какой-то след этой, и в доказательство указывает, что Спаситель и по воскресении имел язвы гвоздиные. Ведь эти язвы Он явил по требованию Фомы, снисходя к его реалистическому настроению („Аще не вижду на руку Его язвы гвоздиные, и не вложу перста моего…“{173}) и т. д., т. е. это ставится условием веры. Это блаженный

Августин думал, что мученики будут носить следы ран, и жаль, что он так думал. Не пойми неправильно этих моих рассуждений. Не пойми как осуждение или недовольство Зининой критикой. Во многом она верна. Но я просто задумался о том, что если даже такой человек, как она, указывает несуществующие противоречия или неясности, то как же другие?

Только что отцвели последние розы. И астры отцветают. С Ачиш-Хо надвигается осень.

Маме привет. Прости меня, так как это письмо не выражает ясно то, что нужно. Не пойми неверно. О.»

«Хочу высказать тебе ряд мыслей, которые записаны на клочках бумаги карандашом сокращенно. Некоторые из них, быть может, устарели за несколько недель, тем не менее изложу их.

Не знаю, что у тебя делается, здорова ли мама. Хотя я не очень много думаю о тебе, но после того, как мне приснился глупый сон, что тебя утащили разбойники неизвестно куда, приснилось, что мама опасно больна — и вдруг твое письмо сообщает о том, что ей, правда, было худо. Пишу это в свое оправдание, так как, наверно, она себя прекрасно чувствует, не знаю твоего настроения, и потому не уверен в том, насколько нижеследующие размышления ему соответствуют.

1. Ты очень хорошо говорила о том, что „смотришь на нашу любовь как на художественное произведение, притом очень смелое“. В обычном творчестве бывает так: художник может иметь гениальный замысел и изнемогать в попытках исполнения его. У нас же („тако глаголет Господь“) в силах недостатка не будет. Нам предоставлено замыслить самую великолепную, полновесную и страшную любовь человеческую — и силы выполнения замысла подадутся в меру нашего смирения.

Самый факт „жития вкупе“ еще не есть венец человеческой любви — разумею, конечно, даже и ангелоподобное житие. Таких примеров можно найти немало. Вовне они не различимы — где торжество Нового Адама и где прелесть. Опять-таки простое существование врозь может свидетельствовать о малой любви или об отвлеченно мысленной любви, неполной и скорее даже ложной. Ибо это может быть простой слабостью, неполной иноческой свободой. Оправдана

может быть только сильная любовь, которая небезразлична к пространственной близости, как не безразличен был к ней Сам Господь по Евангелию.

Истина же в том, чтобы сознавать и подчеркивать необычайную силу любви, желание вечно быть вместе. Вместе с этим праведность любви. Она проявляется в том, что в любви выдержан строй Царства Божия, что любимый не стоит между любящим и Господом. Еще далее — надо подчеркивать полноту любви, желание вечной красоты преображенной плоти, а не духа только. И как выход, как результат всего — свобода. В этом — аскетическая логика. Из силы любви следует свобода. Не страшна удаленность, но радостны и встречи — в полном послушании Господу. И это будет иноческая любовь.

2. Итак, не вялое чувство „духовной близости“, а чрезвычайно сильная любовь, не вмещающаяся в этом мире и потому подвигающая к поискам единственного места, где она может осуществиться — Царства Небесного, стяжаемого покаянием. Покаяние — в одиночестве, творчество — в радости встреч, а вместе — свобода.

3. Из утренних антифонов воскресных св. Иоанна Дамаскина: „Се ныне, что добро или что красно, но еже жити братии вкупе. В сем бо Господь обеща живот вечный“.

Сопоставь „ныне“ и „вечный“. Это — аскетическая логика. На ней созидается и наша обитель.

4. Пример красоты целомудрия о. Даниила, а вместе с тем его наивности. Говорили о Злате. О. Даниил заявил, что хорошо было бы, если бы она у нас побывала. Пошли бы с ней к отцам. Я упомянул случайно, что она очень хороша собой. На это о. Даниил ответил: „Так и скажу отцам: приведу к вам ангела! Станем к ним девочек таскать, что они там, в самом деле!“

5. Кстати, ни в одной религии нет почитания красоты девства, кроме христианства. Я готов это доказывать, предвидя возражения, так как их легко разбить. Только христианин мог написать: „Красоте девства Твоего и пресветлой чистоте Твоей Гавриил удивися“{174}.

У св. Григория Богослова в его „Слове о девстве“ девство противопоставляется супружеству как „жестокое житие пространному житию“, а не как нетронутость.

6. Относительно выражения „ангельский образ“. Это, конечно, не следует понимать как образ некоего бедного, только ангельского совершенства. Ибо слово „ангельский“ здесь заимствовано из Евангелия и употреблено в том смысле, как употребил его Спаситель: „не женятся, не посягают, но живут яко ангели на небесех“{175}. А совершенство предполагается человеческое.

„Облецытеся в ризу спасения, препояшитеся поясом целомудрия, приимите знамение креста. Ноги умные вооружите воздержания орудием и обрящете покой душам вашим“.

„Да возрадуется душа моя о Господе, облече бо мя в ризу спасения и одеждою веселия оде мя. Яко на жениха возложи на мя венец и яко невесту украси мя красотою“.

Знаешь ли, откуда это? Тропари на пострижение в схиму. Схима предполагает совершенство. Схимник, как видно из чина пострижения, должен быть „светом миру“. И мы видим, что одновременно ему присуши венец жениха и красота невесты, т. е. он подлинно совершенный — полный человек.

О. Даниил думает, что тебе хорошо было бы на год или далее зиму поступить в монастырь. Тогда ты ознакомилась бы со всем чином иноческого жития, по его словам, была бы „как царица“. А далее — приехала бы сюда. Такова его мысль. Мне она кажется удачной, но, впрочем, на будущее доверяюсь Господу и Игумену{176} нашему и даже не хочу предначертывать планов, а то не сбудутся.

Еще сказал о. Даниил: „Как первые монахи нигде не были в монастырях, а почти все — святые, так будет и с последними монахами“.

Твое письмо я сначала колебался отдавать о. Даниилу, но потом дерзнул. Он был немного обижен твоими подозрениями. И я увидел, что и правда тебя отечески любит. Но о том он сам напишет в своем письме.

Господь с тобой. О.»

Письма Олега дышали той жизнью, которая так недавно приоткрылась мне на Кавказе, где я была среди близких, понятных мне людей, и то и дело ловила себя на мысли: как мне сохранить все это в себе навеки? А сейчас Олег с о. Даниилом советовали поступить в монастырь, звали снова к себе «на

полгода», а мне полагался трехнедельный отпуск, мать моя всю зиму болела, и я с трудом успевала ухаживать за ней и зарабатывать деньги нам на жизнь. Я жила в каких-то неясных сомнениях и колебаниях, с мечтой об «обители» и реальностью своей повседневной жизни, которая делала эту мечту недостижимой… И в то же время всю зиму и весну 27 года я знала, что единственная реальность моей жизни — это письма Олега.

Письмо без даты. Весна 1927 года.

«Милая Ляля, последние дни почему-то часто тебя вспоминаю. Вот и письмо сел писать потому, что хотел получить известие от тебя, а его все нет — так хоть я тебе напишу.

Ляля, я никуда не годный пустынник. Не могу я уйти в исключительно молитвенную жизнь. Постоянно вспоминаю с беспокойством о тебе, о всех вообще близких. Размышляю о Рацио и Логосе, и прочих высоких материях, в промежутке с этим усматриваю свои пороки, сокрушаюсь о них. Стараюсь молиться во время работы, но молитва все время улетает и надо ее ловить. Все это можно писать только тебе, потому что у меня какое-то несомненное чувство: рассказывая другому что бы то ни было о своем душевном состоянии, как-то теряешь энергию души (конечно, за исключением случаев, когда просить совета, и молитвы, да и то — частью).

Ты дважды писала: „Напиши что-нибудь о молитве“. Эти слова звучали бы для меня совершенной иронией, — что я могу сказать о молитве! — если бы не мои немощи, которые многому научают.

Чувствую себя каким-то существом, висящим в воздухе. Милость Божья уже в том, что борьба носит чисто внутренний характер. А борьба произволения — хотя и где-то глубоко — все-таки есть. И видел, что в моменты, когда произволение уступает, вдруг чья-то внешняя сила запрещает бесу, и он отходит.

Как в эти моменты начинаешь понимать всех людей, которые падают! Как исчезают нотки осуждения и является уважение к ним. Мне ведь дана такая малая борьба и притом устроено так, что запрещено вовсе подкапываться под монашество — это какая-то имманентно-иноческая брань, — и то Господь принужден спасать вопреки всякой справедливости. И начинаешь

понимать людей и уважать их страдания.

И раньше было понимание их, но то умом, а это внутренним ощущением. И видишь свое ничтожество перед страдающими и падающими.

А однажды в тот день напал враг с особой силой… И я вспомнил слово отца Даниила: „Тут молитва уже не помогает. Тут нужно прямо из сердца возопить: „Господи!“ — и сейчас же враг отойдет“.

Прежде и эти его слова казались мне иронией: так возопить — да разве я могу? Но пришло отчаяние, и я вдруг вздумал все-таки возопить. В тоске ушел куда-то в глубину и оттуда-то возопил всей силой страдания и отчаяния: „Господи! неужели оставил на поругание врагу несчастное создание Твое?“ Да нет, и слов-то почти не было… Никогда не думал, что способен я так искренно воззвать. И внезапно отлегла брань, рассеялась и исчезла вражеская сила, и совсем отошла.

Ляля, говорят, без скорби не спастись. Я до сих пор не ведал скорби, но может быть, это и есть скорбь? Но она так ничтожна — ее не могу выносить! Но какой урок! Так видишь на опыте, что только силой Божьей держимся: отымет Господь силу эту — и мятемся, и в персть свою обращаемся. Пошлет Духа Своего — и созидаемся, и обновляется душа…

Всякое упование на свою душевную силу исчезает, заменяется страхом — не потерять помощи Господа.

Детка, прости, что пишу такие печальные вещи: я и сам не знаю, зачем все это тебе написал. Никому другому мне не пришло бы в голову сказать, ибо страшусь потерять в будущем помощь Божью. А в отношении к тебе у меня нет чувства, что я другому говорю. Это все равно, что с собой беседую и уроки жизни повторяю.

Поскольку тебе не безразлично мое настроение, сообщу в утешение тебе, что в моей записной книжке совершенно непроизвольно (и даже против воли) вновь отдельные мысли стали кончаться веселым хвостиком, а это безошибочный признак, что опять блаженное детство касается души. Давно уже исчезла эта финтифлюшка из моих тетрадок, а теперь снова откуда-то прибежала и тихонько заняла свое место.

Жду вещественного доказательства твоего существования. Когда получишь это письмо, т. е. дней через пять после его отправки, я, верно, буду уже

подумывать об отправлении на старое место, куда пойду недели на две-три; а потому пиши лучше туда, а если что важное — в два места.

Даниил уверяет, что ты приедешь, и велел мне привести в некоторый порядок хату. Повторяю просьбу, которая была в предыдущем письме: не забудь балахон и платок, как в прошлом году, да и непромокаемое пальто тоже. Остановиться можно, где в прошлом году, — я предупрежу. К моему доктору зайди справиться обо мне, а сама идти к нам никак не дерзай: дорога такая путаная, что обязательно собьешься и ночевать под скалами будешь.

Господь с тобою. Л.»

«Недавно видел сон, он не имеет никакого значения, так, просто фантазия отдыхающего ума, вероятно, но хорошая фантазия. Будто ездили мы вместе в Дивеево. Особенно запомнилась дорога в лесу. Мы едем на какой-то линейке, дорога русская, грунтовая, потряхивает, кое-где лужицы после недавнего дождя, яркое солнце прорывается в листву леса, листва светлая, похожая на липу. На земле солнечные пятна, воздух свежий, хороший… Я, впрочем, не знаю, есть ли по дороге в Дивеево такой лес… После такого сна — целый день воздух словно напоен целомудрием и девством…»

Наступило новое лето. Я отправила мать в Ессентуки, а сама должна была в начале июля ехать на Змейку, где Олег достраивал «мой» дом.

Оба мы хотели быть вместе и в то же время грозили друг другу расставанием. Мы сами ставили себе препятствия, и в ответ на это судьба не скупилась вокруг их нагромождать. Так черной тенью висело надо мной в ту зиму душевное состояние Александра Васильевича. После жизни в горах он замкнулся, по-прежнему не отходя от меня ни на шаг. Он теперь выучился по-новому мучительно молчать, и я чувствовала, как от него наплывают на меня темные тяжелые волны, на которые я старалась не обращать внимания. Второй тенью в моей жизни было расстроенное здоровье Николая Николаевича: его сердечная болезнь быстро развивалась. Врачи отправляли его в Кисловодск. Он был настолько слаб, что уезжал в сопровождении медицинской сестры. Я одна его провожала на вокзале. Он был простужен, кашлял у наглухо закрытого окна купе и сверху вниз смотрел на меня, стоявшую на перроне. Он был отекший, постаревший… Впервые после смерти матери я видела слезы на

его глазах. Смотреть на него было невыносимо жалостно. И тут у меня сразу созрело решение, которое я не успела даже обдумать. Я поднялась на носках к закрытому стеклу и крикнула:

— Я еду к вам. Сестру вы отпустите: я пробуду весь отпуск с вами! — Я кричала в закрытое окно, помогая себе и жестами, и мимикой, только б он услышал, только бы понял меня. На лице Николая Николаевича появилась радость, потом недоумение, потом — ирония. В голове промелькнуло: а как же Олег, Змейка? Нет, я сделаю как надо, и больше об этом не думать, не колебаться.

Приближался день моего отпуска. От мамы шли тревожные письма: она ежедневно навещала больного, ведь от Ессентуков до Кисловодска рукой подать. Билет на Кисловодск у меня был уже куплен. Утром в день своего отъезда я получила от мамы телеграмму: «Н. Н. скончался. Тело везут в Москву».

Из письма, полученного вслед за телеграммой, я узнала, что мама была с ним в его последние минуты — он лежал без сознания. Обмывая его тело, она обнаружила на груди золотой крестильный крест: я знала, он не носил его раньше, иронизируя над обрядами. И тут я вспомнила, как последней зимой в пылу спора я сказала ему, что у нас «в самом главном разные взгляды». Он посмотрел на меня с упреком и ответил: «Откуда вы так уверенно это знаете?» Я не придала тогда значения его словам, самоуверенная, избалованная ненужной мне любовью. А он уже тогда, наверное, отыскал в материнских вещах и надел на себя свой детский заброшенный крестик. Какое значение вкладывал он тогда в этот поступок? В другой раз, прощаясь, он мне сказал: «Я только теперь понял, откуда ваша вера — она родилась от страданья».

Я вспоминала теперь эти отдельные черты, ставшие внезапно моим безнадежно непоправимым прошлым. Смерть обрушилась на меня и как бы смяла. День и ночь неотступно стояли передо мной за пыльным вагонным стеклом близорукие глаза, наполненные слезами. Когда, бывало, он снимал очки, чтобы их протереть, глаза становились у него невыразительными и безжизненными, как у слепого. Снова наденет очки — и глаза посмотрят с тем выражением нежности и иронии, с которым он уехал от меня навсегда. Я не узнаю теперь никогда, услыхал ли он мои отчаянные крики вслед трогающемуся поезду, понял ли, что я непременно приеду к нему?

Получив телеграмму, я бросилась к его сестре. Незнакомый человек открыл мне дверь. Не поздоровавшись, я пролетела мимо него в столовую, откуда слышались голоса. Надежда Николаевна сидела красная, заплаканная, судорожно комкая в руках носовой

платок в окружении нескольких ближайших товарищей Николая Николаевича по работе. Они что-то горячо обсуждали, и все замолчали, как по команде, лишь только я появилась в дверях. Они смотрели на меня настороженно, и я остановилась в недоумении. Все встали, почтительно откланялись, стали подвигать мне кресло, Надежда Николаевна ласково, слишком ласково меня обняла. Оказалось, моя мать прислала одновременно и ей телеграмму. Я чувствовала, что нахожусь среди чужих людей, но была настолько поражена случившимся, что все проходило мимо меня, не задевая сознания. За мной ухаживали, кто-то деликатно напомнил, что я — вдова, что на похоронах должна быть в трауре.

Гроб пришел запаянный. Его так и не вскрыли, и похоронили Николая Николаевича рядом с матерью его на Ваганьковском кладбище. Это был конец. Теперь я покорно выполняла все, что ласково, но настойчиво требовала — нет! — просила у меня Надежда Николаевна. Странная ласковость и почтительность окружающих скоро разъяснилась: я оказалась единственной законной наследницей всего имущества Николая Николаевича, его авторского права на книги, на патенты изобретений на родине и во многих странах мира. Это было целое богатство, неожиданно свалившееся на меня. И они, эти люди, окружавшие Надежду Николаевну, и сама она меня боялись. Откуда им было знать в эти минуты, что я сужу себя еще строже и беспощаднее…

Я немедленно подписала то, что было нужно: отказ от своих прав в пользу сестры покойного. Я видела их удивление, видела нескрываемую радость Надежды Николаевны, но холода вокруг меня не убавилось. Я не виню Надежду Николаевну, достаточно и того, что она ничем не укорила меня за брата. Больше мы с ней не встречались.

Товарищи Николая Николаевича, свидетели моего добровольного отказа от своих прав, начали было хлопотать о пенсии для меня: в бумагах покойного нашлось специально оставленное им письмо с настойчивой просьбой об этом. Да и при жизни он не раз мне об этом «на случай» напоминал. Но я не чувствовала себя вправе ее получать, хотя пенсия развязала бы мне все узлы, может быть, открыла бы дорогу в горы, дала бы покой за мать. Посоветовавшись с о. Романом, я снова поступила вопреки его совету и прекратила начавшиеся было хлопоты — так было спокойнее для моей совести и правильнее.

На похоронах среди любопытно-безразличной толпы я увидела лишь одного человека: в почетном карауле стояла женщина с грубовато мужественным лицом, которая безутешно плакала, никого не замечая в своем горе. Это была Людмила

Владимировна Маяковская. Потом она первая подошла ко мне и крепко пожала руку.

Мы встречались с нею после того много раз. Она тянулась ко мне, как к самому близкому, что осталось на земле от любимого ею человека, она сурово и откровенно рассказала мне о своей неразделенной любви и преклонении перед Николаем Николаевичем, я отвечала ей той же откровенностью. Людмила Владимировна делала трудные для себя попытки сблизиться со мной, но понять совершенно чужой для нее мир не могла. Однако ее любовь, перенесенная каким-то отсветом на меня, была столь щедра, что она не обращала внимания на эту разность. Я же продолжала из благодарности бывать в семье Маяковских: мне нравилась какая-то старомодно-добротная порядочность этих людей — матери и двух сестер, их взаимная любовь, обожание брата. Из их рассказов я сделала свои молчаливые выводы, что Владимир Владимирович был человеком страдающего и очень нежного сердца. Внешнее поведение, в котором его укоряли, было юношеской бравадой. В то время много раз мне представлялась возможность познакомиться с ним, но я верным инстинктом знала, что ничего из этого знакомства не получится: я чувствовала себя для этой встречи слабой и незрелой.

Мне казалось, что в доме Маяковских царили одновременно и честность и мертвенность, словно я попадала на кладбище духа. В семье, где родился великий поэт, «наступавший на горло собственной песне», действительно не было слышно никакой душевной музыки, и любовь Людмилы Владимировны, возможно, была единственным лучом поэзии в ее жизни. Я силилась — открывала нараспашку ей свою душу, но она не могла найти в нее вход, как слепая. Так и бродили мы друг возле друга в течение нескольких лет, пока новые непредвиденные события не развели нас — и не по нашей вине.

Во время похорон в толпе бывших студентов Института Слова я увидала и Александра Васильевича. Он почему-то не подошел ко мне. Да и самой мне было не до него. Возвращались с похорон мы с Шурой, не отходившей от меня в те дни. И вот она, всегда молчаливая и робкая, заговорила. Страшно стесняясь, она сказала, правда, лишь несколько слов и даже осеклась на полуфразе.

— Ляля, — сказала она, — ты не боишься, что Александр Васильевич? — и замолкла.

— Что с ним может тоже так случиться? — спросила я. Шура молча кивнула головой.

Вывело меня из нравственного потрясения мамино новое

письмо: ее здоровье сразу рухнуло, и она слегла одна в чужом городе с обострением всех своих болезней, затихших было под влиянием постоянных гипнотических внушений Николая Николаевича. От маминого письма я очнулась и кинулась на вокзал покупать билет в Ессентуки.

Перед отъездом мне нужно было еще непременно повидать Михаила Александровича. Дело в том, что накануне он встретил меня на улице, когда я шла с кладбища, это был, по-видимому, девятый день смерти. Я была все в том же крепе и черном платье, которые от меня требовала Надежда Николаевна.

Михаил Александрович странно поглядел на мой траур, съежился, будто от холода, что-то пробормотал и быстро ушел от меня в переулок. Я ничего не поняла.

Жил он в то лето у друзей на станции Лобня под Москвою. Я нашла его лежащим в постели после ночного сердечного приступа.

— Зачем этот маскарад, — сказал он, показывая на мой креп. — Как будто мы тебя потеряли. Это не ты.

— Как можно! — воскликнула я. — Это ребячество с вашей стороны, вы должны понять все обстоятельства! — И я принялась рассказывать о своем долге перед Николаем Николаевичем, даже перед его сестрой; о его благородстве, страдании, заботе обо мне и моей матери. Но Михаил Александрович не сдавался: у него была своя твердая логика и своя правда.

— Мужчины не заслуживают жалости в своем отношении к женщине, которой они домогаются. Ты не должна была подчиняться этому чувству. Ты не знаешь мужчину: ему не нужна и даже неприятна твоя жалость, а чего стоила она тебе! Я боюсь за тебя, за твою душу.

«Не умрите от любезности» — вспомнила я его полушутку при первом знакомстве, но промолчала: у меня была тоже своя правда, и на этот раз наши «правды» не совпадали.

Мне пришлось заночевать у Михаила Александровича, и в ту самую ночь приснился мне удивительный сон, это был второй сон, за который Михаил Александрович опять назвал меня «сновидицей». Он отнесся к нему очень серьезно, и мы расстались, не в силах сбросить с себя о нем воспоминание. Я не берусь сейчас решать вопрос о значении снов, об их происхождении. Я расскажу лишь тот свой сон, ничего не изменив в его содержании.

Дверь отворилась, и вошел Михаил Александрович нарядный, торжественный. Он был в роскошной шубе с бобрами, в такой же высокой шапке, как древний боярин или патриарх. От него исходило сияние: это блестел свежий, еще нерастаявший снег,

покрывавший обильно его голову и плечи. Снежинки, как россыпь алмазов, сверкали на темном меху. Михаил Александрович сбросил верхнюю одежду. Теперь на нем был подрясник и священническая епитрахиль. Не говоря ни слова, он жестом подозвал меня к себе. Я подошла и низко наклонила голову. Он положил на нее епитрахиль, и я почувствовала усилие его руки, которым он все ниже и ниже нагибал мою голову. Он меня повел, и я шла, накрытая епитрахилью, согнувшись и ничего не видя перед собой. Мне было очень трудно идти, но я ни о чем не спрашивала и терпела. Все совершалось в полном молчании. Наконец, я увидала, что мы подошли к престолу: антиминс, покрывавший его, был на уровне моей опущенной головы. По четырем его краям я видела зашитые в ткань частицы от останков святых мучеников. Они шли длинным сплошным рядом, подобно драгоценному орнаменту, по краям престола. Михаил Александрович, все не снимая епитрахили, нажатием руки заставлял меня прикладываться к этим мощам. Я медленно обошла весь четырехгранный плат, по очереди прикасаясь губами к останкам святого и, как я понимала, близкого мне человека. Так обошла я весь престол и остановилась. Рука, лежавшая на моей голове, поднялась вместе с епитрахилью. Я выпрямилась и стояла теперь перед Михаилом Александровичем, который смотрел на меня со спокойным и довольным лицом, и говорил мне: «А теперь, наконец-то, я буду заниматься тем, чего желал всю жизнь: творить непрестанную молитву».

Таков был сон, исполнившийся вскоре во всем внутреннем своем значении: в нем не оказалось ничего не значащего и не сбывшегося до малейших символических деталей.

Я неожиданно вспомнила сейчас, как в первый год обучения в Институте Слова пришла на занятия по «рассказыванию». Они были необязательны для студентов, и я попала на них в первый и последний раз. Занятия эти посещала несколько своеобразная публика: это были главным образом педагоги-дошкольницы и библиотекари, исключительно женщины и притом в большинстве своем немолодые. Ни с кем из них я не была знакома. В тот день было задание рассказать экспромтом какой-либо свой сон. И я рассказала перед классом один недавний свой сон, поразивший меня и крепко запомнившийся. Я помню его и сейчас, но дело не в его содержании, и я не буду это содержание сейчас передавать. Дело в том, что я рассказала сон свой доверчиво и старательно, не решаясь изменить в нем ни единой мелочи. Сон был строг и значителен именно символичностью этих мелких деталей.

Результат рассказа был самый неожиданный. Вместо того чтобы обсудить качество моей работы, то есть то, как я

справилась с задачей рассказа без подготовки, все слушатели объединенными усилиями восстали на меня за его содержание: они обвинили меня в том, что я выдумала свой сон, потому что таких снов *не бывает.* Я молчала и все усилия направляла к тому, чтобы не заплакать от обиды. Наконец за меня заступился руководитель профессор Шнейдер и подавил непонятную злобу раздраженных женщин. Я не раз вспоминала это происшествие с недоумением: за что они напали на меня, почему не поверили? Я и сейчас этого не понимаю, но все же это был жизненный урок, учивший меня сдерживать свою искренность и спрашивать себя, перед кем ты хочешь открыться, и помнить: перед чуждым сознанием искренний неизбежно будет понят как лжец.

Мне вспомнилось это унизительное и тяжелое переживание в связи с только что рассказанным сном, который, возможно, многие люди также сочтут подтасовкой под грядущие события, о которых мне предстоит рассказать, и только потому так сочтут, что он полностью осуществился. «Так не бывает», — скажут они.

И все же именно этот сон непереходимой чертой лег между пережитым и надвигавшимся, подводил к стоящим уже на пороге трагическим событиям моей жизни.

А пока я еду в Ессентуки выхаживать там больную мать. Меня провожает на вокзале Александр Васильевич. Поезд трогается, и я увожу с собой новое выражение неизменно-скрытной улыбки моего верного самого давнего друга…

С Олегом, тщетно ожидающим меня на Змейке, идет у нас лихорадочная переписка. Я написала ему из Москвы о своих сомнениях после кончины Николая Николаевича, написала о том, что, может быть, не должна была оставлять его… Некоторые из писем Олега в Ессентуки сохранились.

> «29 июля 1927 г. Сегодня получил твое письмо. Сейчас ночь, но никакой надежды заснуть нет, и пишу тебе ответное. Милая Ляля, я не могу исполнить твоего желания (и даже требования) не писать тебе по поводу произошедшего. Ну, что ж, не читай этого моего послания, выбрось его, но я все равно напишу то, что на душе. Я не знал того человека, о котором мы теперь думаем. При его жизни ты даже не хотела назвать мне его имени, не пожелала предоставить случай повидать, сказав: „Разве что он придет к Церкви“. Да будет так. Господу было угодно. Во всяком случае, у меня к нему была потенция расположения. Но о тебе хочу сказать, хотя и не умею.

Ты знаешь, о каких словах твоего письма я говорю, говорю, хотя бы ты вовсе его забыла. Если я знаю, что такое скорбь, то вот именно по таким твоим словам. Они, кровавые вехи, остаются в моей памяти. И вот еще раз…

У меня есть прозрение о тебе, и его ничем разбить нельзя. Оно мне всего дороже: это имя, которое дал тебе Сам Спаситель, — и ты от него отрекаешься.

Через это имя твое я только и увидал, хоть мало, сущность учения Христова о Царстве Небесном, а до того пребывал в неведении: слышал я о Царстве лишь как о царствовании Бога в человеке. И вот ты считаешь своеволием свое принятие этого имени, ты смеешь говорить, что скорее воля Божья была в том, чтобы быть тебе женой человека. „При всех бывших обстоятельствах…“ Да ведь нет обстоятельств перед лицом Христовым — есть только имена, которые Он дал человекам. И ты смеешь задним числом сомневаться в правоте своего девства! Пусть бы тот человек был самый святой муж, пусть ты спасла бы его из бездны и возвела до святости, пусть бы ты была перед ним виновата кругом и связана тысячами обещаний — ты не смела бы сделать этого таким путем — через брак. Земля бы не стала тебя носить. Все, все прощается человеку, все падения, но не невозвратное отречение от имени благодарованного.

Не понимаю, как Батюшка мог сомневаться! Или забыл он, что самому же ему предстояло тебя вопрошать: „Вольною ли волею, не нуждою ли?“ — кажется так. Младенцу ясно, что по самому существу таинства хула на Духа Святого делать из брака как послушание, так и жертву.

Ляля, если бы ты знала, с какой страшной болью пишу все это, если бы ты знала далее, что твое умолчание об этом ради меня есть как раз самое острое оружие, проходящее душу…

Да что, впрочем, я от себя говорю. Знаю все равно, что ты мне не поверишь, потому что я не святой, потому что я для тебя глупенький мальчик, который не все может понять, а для Бога — несчастный, измученный грехами человек.

„Истинно любит человека тот, кто любит мысли его“. Все более изумляюсь мудрости этих слов Сковороды{177}. Вот почему для меня твоя мысль о твоем девстве (а эта

мысль есть само это девство — оно в ней и состоит) — есть „быть или не быть“. Это для меня — краеугольный камень мироздания. Если он разрушится — я останусь наедине с Богом и со своими грехами.

Да, вот эта мысль — и есть девство человека. Все, все помыслы греха, все слова и дела — все они сон, уничтожаемый покаянием. Но если уязвлена мысль — ранено сердце. Господи, но ведь бывают же люди, которые о первом, т. е. о грехах, сокрушаются, когда второе, главное, — в опасности!

Верую, что Господь, „который любит тебя более, чем я“ и чем ты сама, уврачует эту рану (а не другие, воображаемые). „Останься, Олимпиада, девой, купно же и вдовой“. Да оправдается слово это — и в мысли твоей, в сердце твоем.

Никогда не ждал тебя как на этот раз, никогда не было так нужно тебя повидать — по крайней мере, так казалось.

Писал тебе об увлекательном секрете, который готовился к твоему приезду. Теперь все равно скажу: это был только всего-навсего дом. Моя хата уже стара, и мы задумали построить новый дом. В четыре дня мы вывели основание, так сказать, скелет. Еще в три дня покрыли крышу. Теперь занялись стенами, большая часть материала есть. Скоро надеюсь переехать в новый дом. Работаю, не спеша, легко. Вот моя участь: все строюсь. Придется ли жить?

В Геленджик не могу приехать. Размышлял, но чувствую, что это было бы человеческим своеволием. Конечно, очень хочу, но не смею. И, однако, все-таки поехал бы, но благословения нет. Когда-то приведет Бог свидеться? Ведь в Москву не поеду. Придется ли в этой жизни?

Мне самому страшно, как много моего существа в тебе. Но, может быть, это будет то игольное ухо, через которое Господь протянет тяжкий груз моих немощей.

Как долго ты не писала! Почему? Что стоило с дороги бросить открытку? Если можешь, все время (пока в отпуске) держи меня в известности о своем адресе.

Ляля, прощаешь ли ты мне все, что написал? Если не хочешь — не отвечай. Скажи только, что получила письмо. Ты думаешь, что понимаешь меня, ты ведь мудрая, но понять, значит согласиться. А ты не согласна. Это начало смерти во мне.

Мог бы приехать в Геленджик, настояв на своей воле, уломав о. Даниила. Но надо же когда-нибудь поверить, что через старца говорит Господь. Как ехать без его „Бог благословит“? И потому, несмотря на скорбь, решительно не могу поехать. И теперь мерилом воли Божьей остается мамина и твоя воля. Наперед покоряюсь.

Да, ты пишешь, что почувствовала, что и ты и любимые смертны. Но что же переживаю я! Ночь прошла, начался другой день. Ляля! мне было бы легче, если бы ты умерла, не написав мне того письма из Москвы. *Тот камень духовный,* в котором мне и сомневаться не приходило в голову, вдруг *заколебался.*

Вот когда узнал я недостоверность всего нового и удивительного, что открывалось нам в Царстве Небесном. Все, как подрезано. Только Господь и Крест — недвижны.

Ляля, веришь ли моей искренности? Я сейчас как человек, душу которого пронзили и оружие оставили в ране. Ты требуешь, чтобы я не говорил тебе об этом, но я день и ночь не думаю ни о чем другом. Я потерял уверенность во всем… Да, было совершено дело страшного риска: я утвердил свою веру, упование, знание, самого себя — не на одном Господе, но еще и на человеке. Не на праведности, даже не на любви, а лишь на мысли: на сердце его. И эта опора подалась.

Это самая страшная скорбь, какую я помню, это первая скорбь. Сейчас я очень беспомощен — повис в воздухе. Слова не имеют силы передать то, что я чувствую.

Впереди повисла черная завеса. Совсем не знаю, что будет. Не в вещественном смысле — это пустяки, в духовном. Как думать, как чувствовать, как жить?

Суббота. 30-го. Мысли по пути на мельницу. Если бы ты стала женой человека — пустое. Но когда ты свое девство объявляешь человеческой ошибкой, лишь использованное Богом во благо — это клевета на Господа. Это ложь о Боге.

Ты дерзнула отвергнуть данное тебе Господом имя девы…».

Здесь Олег преувеличил: я лишь усомнилась в правильности резкого шага ухода от Николая Николаевича…

«За эти сутки не было ни секунды, что не думал бы о

тебе. Меч остается в ране. Все умерло: и лес, и водопады, и скалы, и вся вселенная.

Не знаю, как смотреть на мир. Он весь переменился, учиться ли видеть его без тебя — это равносильно тому, чтобы вновь родиться, т. е. не возродиться, а просто невеждой войти в неведомый мир (но воли к этому нет), или, может быть, вещи опять станут на свои места? Нет, простое заверение не поставит их назад{178}.

Не осуждай, Ляля, постарайся понять, ты ведь считаешь, что знаешь меня, и я так до последнего времени думал, а вот *ты запнулась*.

Бог, который мог сотворить тебя, мог создать *такого* человека, конечно, силен будет и заступить в душе моей место этого человека… Нет, и это невозможно.

Но пока ты не отречешься от еретического мнения, что брак может быть послушанием и жертвой (здесь настроение в корне антихристианское), что девство, при каких бы то ни было обстоятельствах, может быть своеволием, *не хочу тебя ни в этой жизни, ни в будущей*, хотя не мыслю ни первой, ни, тем более, последней без тебя.

Дописываю 31-го. Не было случая отправить письмо. Сам пошел бы для этого, но не имел возможности. Завтра отправляю с риском, что письмо не застанет тебя в Ессентуках.

Тебе легче настоять перед мамой, чем мне перед о. Д. Иноку мчаться к возлюбленной для о. Д. все же странно, как он ни расположен к тебе. Он сказал: „Вот посмотришь, приедет!“ Но я не надеюсь. А тебе ехать ко мне в глазах мамы вполне естественно.

Господь с тобою. Целую тебя. Лель.

В какой мере твое имя обитает в моем сердце в духовном значении этого слова, знает Бог. Но что твое вечное имя, твое девство самым физическим образом обитает в моем физическом сердце, это я знаю хорошо по той реакции, которой оно отвечает на всякое действительное и воображаемое опасение за него, вообще за тебя.

Что же мне делать, что у меня такая мнительность… такой уж я глупый.

Думал, кто я такой, что смею обличать тебя? Попробовал вычесть у себя то, что получил через тебя, через о. Д. и других… и стало страшно.

Но не о грехах обличаю, а об ереси, а это — долг

каждого христианина.

Не могу ни думать, ни заниматься, пока не получу твоего ответа, так как временно не существую. Не знаю, как быть далее, с тобою в сердце или без тебя, и в некоем новом неведомом образе бытия непредставимом. Лишь на Господа надежда, что Он укажет. Но хочется верить, что это не понадобится…

Никогда не думал, что настоящую скорбь познаю через тебя и за тебя. Ляля, если ты считаешь полезным и нужным приехать, то, может быть, мама согласится на то, чтобы ты не обитала долго в этих местах, может быть, вредных для склонных к малярии, но мы могли бы совершить легкое путешествие пешком, например, на Красную Поляну. На это пошла бы какая-нибудь неделя, а в пути и на ночевках было бы достаточно времени поговорить».

«2 августа 1927 г. Вчера отправил тебе и маме по письму. Первая волна скорби, печали, возмущения, сочувствия прошла, и захотелось лучше понять тебя.

Догадки таковы. Если бы ты покинула его ради того, чтобы уйти в пустыню, в затвор, как те подвижницы, о которых мы знаем из житий, мук бы не было.

Но ты ушла от него в „зеленую чашу“, где радость о любимых. Ты ушла вообще не к одной скорби, но и к радости. И он знал это, и прощал, и готов был даже трудиться, медленно умирая в одиночестве ради того, чтобы ты где-то за тысячи верст от него радовалась. Он готов был никогда тебя не видать, чтобы ты жила где-то вдали в своей радости, какова бы она ни была.

Эта жертвенность, красота медленного умирания стоит перед тобой, ты спрашиваешь: „А что же сделала я?“ Но жертва эта, как она ни высока, — вне Церкви, и только потому она способна возбуждать в тебе твои муки, кои — от лукавого.

Ты посмела думать, что брак может быть послушанием, налагаемым Церковью, — „повелением церкви“ (т. е. Божьим), вопреки прямому вопрошанию Церкви о *свободном* согласии. Будучи со стороны Церкви налагаемым послушанием, он, очевидно, с твоей стороны имел бы характер *жертвы* ради любимого (неоднократно повторенная тобою еретическая мысль, между прочим, и в письме к Сереже Скороходову: „Чтоб облегчить борьбу любимому, я пошла бы и на брак“. Пусть эти слова в прошлом, но ты только что

подтвердила их).

Пока эта ересь не исторгнется из сердца, твои страдания не будут для тебя дверями в Царство Небесное. Ты не виновата, что тот человек не пришел сам к Царству Небесному и небесной неумирающей любви, что он медленно умер: нет вины у тебя перед Богом в том, что ты приписала Ему ложные веления, что впала в подлинную ересь. Обличаю тебя, как судья, притом не знающий никаких „смягчающих вину обстоятельств“, не желающий слышать никаких оправданий, и, вместе с тем, жду твоего ответа с большим трепетом, чем подсудимый. Ты понимаешь, что ревности во мне нет, кроме ревности за Христа. Люби, кого хочешь: я только радуюсь созерцанию этого образа любви Христовой в человеке.

Велик смысл учения о творении из ничего — девственном творчестве, в отличие от рождения мира у язычников (гностиков, индусов, египтян, персов). Томление, умирание в жертве, отречение от девства ради спасения кого-то — все это из арсенала гностических ощущений, все это ложь, вызывающая гнев Божий.

О возможности твоего приезда. Как он ни желателен мне, обдумай внимательно страхи твоей мамы. Кто знает, может быть, она и права, хотя никаких оснований к тому нет. Пишу это с болью, так как повидаться будто нужно. Но, может быть, нам нужно преодолеть эту новую преграду на пути (твою ошибку мысли, прямо скажу — ересь, в коей и я косвенно повинен) порознь, хотя это тяжело. Да удастся ли вообще преодолеть!

Пишу об этом потому, что попросту не могу взять перед мамой ответственность за твое здоровье — мы ведь все под Богом ходим, хотя, по-видимому, климат у нас хороший, и опасности лихорадки нет. Подумай, посоветуйся и решай. Не видать тебя для меня скорбь великая, но я ведь готовлюсь к возможности не видать тебя ни в этом веке, ни в будущем, и потому должен найти силы перенести это временное расставание. А все-таки как хорошо было бы, если бы ты приехала хоть на день!

Напиши скорей. Если будешь в Геленджике (туда, как и писал, решительно не могу приехать сейчас), сообщи свой адрес, тогда к вам заедет Марина, покажет написанные на моем хуторе этюды и расскажет о нашем житье.

Да просветит Господь сердце твое и ум твой и вернет тебя к себе, любимая детка. Прости. Лель».

«14 августа 1927 г. Милая Ляля, твое письмо — ответ на два обличительных послания — меня обрадовало. Но оно не совсем поставило точку на всей этой истории, и потому, хотя это и неприятно, я еще раз об этом потолкую.

Вспомни, что ты написала в упоминаемом письме: „Уверена, что Церковь при всех бывших обстоятельствах не позволила бы мне от него уйти и повелела бы быть его женой“. Все это было еще подчеркнуто. Дальше ты писала: „Но я поступила беззаконно, хотя в тот момент по совести. Буду надеяться, что даже неверные поступки, совершенные по вере, Господь, по милости своей, использует во благо“.

Еще ты писала (в своем злополучном письме): „Вчера похоронила. Совесть мучит, но все в руках Бога. Многое переоцениваю и вижу заблуждения. Ты ничего не знал и молчи“. Вот это было падение, о нем-то я и писал, а ты опять на старое поворачиваешь. Ты все стараешься мне объяснить, „как полагала ты возможность брака без твоего в нем участия“, и думаешь, что я за это тебя сужу. Да хоть бы ты просто по страсти собралась замуж, ну, что же, поскорблю о том вместе с тобой, сердце сожмется жалостью и любовью, а душа скажет: „Все давно Господь забыл“ — и только! Тут и объяснять нечего.

Но то, как ты в 1927 году, уже прощенная, уже внутренне инокиня, могла мучиться совестью, что оставила человека, и думать, что твое иночество — своеволие, а брак был бы заповедью Божьей!

Ну и довольно об этом. Что же касается до былой мысли о возможности девства в браке, то она, конечно, неверна, она неправославна. Я верю, что ты не участвовала сама в грехе, и очень хорошо понимаю это, но мысль твоя могла родиться именно в том состоянии транса, в котором ты была. Выход всегда есть: ты ведь нашла его! Но тот транс был явным влиянием Сатаны. Он имеет доступ в твое сердце через одну дверь.

Помнишь, я упрекал Ал. Вас. в склонности к зигзагам мысли? Он готов принять какую-нибудь мысль только потому, что она невероятна и как-то наизнанку умна. Он ведь мне дорог, а это болезнь, потому я и говорил об этом, хотя, как грешный человек, не умел, как нужно сказать. У меня при всех моих пороках мысль

прямолинейная и сердце тоже, кажется. Поэтому я это и замечал. Так вот, у тебя есть некие „зигзаги сердца“. Это все — плод общего наследственного вырождения, дряхлости человечества. Тебе близки некие ложные жертвы, странные изломы, хотя постепенно все испаряется.

Мама писала мне дважды о тебе. Первый раз, что ты прислала ей отчаянное письмо. Она тебя горячо жалела: „Бедное дитя! Она во всем себя упрекает, она не знает, что всякая жалость в этой области только ложь. Как могла и как умела написала ей, что вылилось из переболевшего тем же сердца“.

А второй раз, забыв о том, что уже раз писала мне, или может быть, если ты ей ответила, по поводу второго письма (хотя сомневаюсь) снова упоминает, но несколько иначе, приблизительно так: „Ляля прислала странное, непохожее на нее письмо, полное сомнений, нужно ли во имя того-то и того-то жертвовать тем-то и тем-то…“

Если говорить „в превосходной степени“, т. е. усиливая крайности, я сказал бы, что ты бываешь праведна в своих грехах и грешна в своей праведности. Чиста в падениях и запятнана в покаянии. Вот этот „зигзаг“ и разрывает мне сердце. Все, что я говорил тебе о „печальной королеве“, есть неудачная попытка объяснить тебе этот зигзаг, который ты в сознании своей мудрости не хочешь понять и признать.

Ну, что же, детка, увидим ли твой лик? Как странно, для меня постепенно весь мир стал „приходить в себя“ — не я, а весь мир. Я не знал, в какой степени мир освещен для меня лучом от твоего лика. Все-таки надеюсь увидеться.

Только что получил письмо от мамы. Снова упоминание о тебе: „Имеешь ли известия от Ляли? О ней тоже болит душа моя. Так горько было письмо ее по поводу смерти ее друга, так полно сомнений, правилен ли такой путь, какой избран ею. Может, это первый невольный вопль после внезапного удара, а не какое-либо устойчивое настроение? Дай Бог!“

Нашел в Сочи у кого остановиться в случае нужды. Не знаю, может быть, Господу угодно, чтобы мы преодолели все произошедшее „на расстоянии“, а тебе пришлось даже преодолевать двойную скорбь — смерть близкого человека и мои упреки. Но все-таки надеюсь

увидеть тебя. Солнце так ясно светит. У нас, наверно, все эти сомнения растаяли бы. Ну, прости, Ляля, довольно строчить. Господь с тобой. Целую тебя. Пойми и ты мое кажущееся непонимание. Теперь ведь я помирился — это остатки. Прости. Лель.

Это мне ли объяснять, что, готовясь к браку, внутренне хранила девство? Ляля, я перед тем первый раз увидел красоту девства на св. Софии, так как в человеческом мире ни в ком его не видел, а любить я мог только девственность. И потом первый (и последний) человек, в котором я видел девство, это была ты.

С самого первого дня встречи. Мне ли доказываешь? Первое сомнение зародило теперешнее твое письмо, побоялся, что ты теперь, в 1927 году, на моих глазах его теряешь».

И все-таки мне удалось вырваться на несколько дней к Олегу. Он встретил меня на сочинском вокзале, без улыбки, с провалившимися глазами на оливково-бледном лице. Он молча взял мой чемодан, и мы пошли на Змейку, раньше пригородными садами, потом узкой тропой между зарослями. Мы изредка перебрасывались короткими, ничего не значащими словами — слова сейчас были не нужны.

К вечеру мы сидели уже на поляне возле недостроенного дома, в котором забраны были две стены, но не было ни пола, ни потолка. Олег сделал под крышей временный настил и спал на нем, так как на участок ночью забегали звери и заползали змеи. Там провели мы с Олегом под звездами эту августовскую ночь.

Я видела в прошлом Олега огорченным, измученным, гневным, но духовно-расстроенным и ослабевшим видела впервые. Не помню, о чем мы говорили и как, но заснули мы, наконец, примиренные, проснулись спокойные и счастливые. Знакомая прочная и чистая радость вновь осеняла нас.

Олег был до крайности истощен, и я видела, как он вновь приучался есть и спать, как на глазах у меня поднимались его силы.

И еще прошла такая же ночь под звездами. Днем, когда мы готовили на костре традиционную «супо-кашу», так называли мы свою нехитрую еду, варившуюся сразу на сутки, мы увидали, что по дорожке, спускающейся на поляну со стороны гор, сбегают вниз знакомые фигуры с дорожными палками в руках и заплечными мешками. Это были о. Даниил, Боря и Сережа, спешившие с Красной Поляны, — они были извещены Олегом о моем приезде.

Правда, их ожидало на побережье еще одно дело, поважней, о чем Олег мне расскажет сам в следующем своем письме — уже в Москву. А пока происходило радостное свидание с друзьями.

Дня через два после моего приезда на Змейку, когда Олег зачем-то отлучился к соседям, а я осталась одна на хозяйстве и шла от соседнего источника с двумя полными ведрами на коромысле, я увидала у нашей хатки человека городского вида, в восточной тюбетейке со старомодной бородкой и с очень русским лицом. Он представился Константином Сергеевичем Родионовым и сказал, что пришел познакомиться, услышав об Олеге еще в Москве. Сейчас он шел с долины Псху, что под двумя цепями гор, где был у старцев в Глубокой.

Он-то и был первым, кто рассказал мне, что старцы на Псху обсуждали выступление в центральных газетах нового заместителя патриаршего местоблюстителя епископа Сергия. Я почти никогда не читала газет, убежденная, что все необходимое услышу от людей, которые их читают, и теперь тоже еще ничего не знала. Константин Сергеевич рассказал, что епископ Сергий провозгласил единство Церкви с советской властью, признавая эту власть народной, народом принятой и потому обязательной и для Церкви, которая никогда не боролась с государственной властью и имела свои, чисто духовные, независимые от мирской жизни цели. Константин Сергеевич по памяти процитировал: «Несть власти, аще не от Бога», и потому «ваши радости — наши радости и ваши печали — наши печали».

Сколько раз потом по-разному и разные люди повторяли друг другу эти слова из статьи — споря, не соглашаясь, страдая и соглашаясь, сколько раз потом я слышала их в Москве.

— А как отнеслись к этому старцы? — спросила я.

Константин Сергеевич говорил, что старцы приняли выступление послушно, хотя и настороженно. Вспоминали, когда в истории Церкви бывали выступления святых людей против некоторых действий светской власти, в случаях, когда она явно нарушала закон Христов. Вспоминали выступление митрополита Филиппа против жестокостей Иоанна Грозного, Нила Сорского против жестокостей в борьбе с еретиками при Иоанне III. Но общее мнение старцев на Псху было таково, что выступления Церкви возможны лишь против отдельных заблуждающихся или преступных личностей и их действий, но не против исторически складывающихся государственных формаций — старцы еще раз подтвердили, что Церковь никогда не становилась и не должна становиться на путь борьбы с государственной властью. Насколько мы знали то, что происходило все это время в столице, патриарх Тихон, не выступая против власти, боролся как раз с

отдельными постановлениями, пытаясь отстоять достоинство Церкви в новом атеистическом государстве. Но на официальное признание новой власти ни он, ни его последователи не пошли и были за прошедшие годы все так или иначе уничтожены.

Вместе с о. Даниилом мы обсудили церковные новости и присоединились к мнению старцев с Псху. Кто-то, помню, говорил, что Сергий, известный не столько своей духовной настроенностью, сколько ученостью и административным опытом, делает дипломатический шаг с целью оградить церковных людей от политических преследований и дать им мирно жить в новой обстановке атеистического государства. Но чувство тревоги поселилось в душе, было непонятно, каких последствий можно теперь ждать.

Я вспоминала про себя давний спор двух студентов — Александра Васильевича и Абрамова в начале революции и слова одного из них: «Но что если Церковь вновь соединится с государством? Тогда она потеряет силу». Слова эти звучали теперь в моей памяти как вопрос, так как спор Иосифа Волоколамского и Нила Сорского на Руси продолжался и поныне. Митрополит Сергий своим выступлением покупал мир для Церкви, какой ценой — никто не знал.

Константин Сергеевич Родионов оказался, после взаимных припоминаний, одним из слушателей лекций Бердяева в Олсуфьевском особняке, мы помнили лица друг друга и не знали имен. Он же был и родным братом того самого Николая Сергеевича Родионова, который запомнился мне своим светлым лицом на собрании толстовцев в Газетном переулке. Константин Сергеевич через день уехал, но с тех пор стал постоянным спутником моей жизни, часто пропадая куда-то на долгий срок и снова неожиданно появляясь.

Через несколько дней и мы с Сережей уехали: я в Москву, он в Майкоп, все провожали нас до Сочи под проливным дождем, мы были веселы и полны надежды.

В Москве я получила от Олега письмо.

> «12 сентября 1927 г.
>
> Ляля, радость моя и оправдание мое — совершилось! 28 августа ст. ст. в канун праздника Усекновения Главы св. Иоанна Предтечи, в 8 ч. утра о. Н. постриг недостойного брата твоего и нарек то имя, которое было задумано.
>
> Я, конечно, не ожидал никаких утешений, никаких перемен особых, потому что ведь для меня не может быть чуда (помнишь, как ты говорила, советуя мне

заботиться о себе: „Еще для Сережи может быть чудо, а для тебя нет“), А утешение я все-таки получил, если не прямо от Бога, то от человеков. То есть, прежде всего, от Бога (о чем напишу, как о более важном, дальше), а сначала от человеков. Какая-то ясная грань провелась еще раз в жизни, но в том смысле, что легла печать достоверности на то, к чему мы вместе пришли. И извне, и изнутри.

Прежде скажу про самый постриг. На мягкое сердце больше всего впечатления должно бы произвести начало, когда постригаемый идет к алтарю, несчастный и растерзанный в одной длинной рубахе, останавливается и падает на землю трижды, а старец ведет его, простирая над ним руку и покрывая его своей мантией. В это время поют тропарь „объятья отча“. Все это и значит „подводить“. Это, конечно, очень сильно и похоже на Василия Великого, составителя сего чина. Только здесь, если бы не подлинные переживания, символика граничите внешним эффектом. Говорю это, как бы смотря со стороны на постриг в монастыре по уставу, который слишком прекрасен внешне, и это меня немного пугает.

По счастью, мой постриг был лишен эффекта всего этого. Бедная церковка на кладбище, деловой человек — иеромонах, пели псаломщик, брат Николай да о. Арсений. Кое-как и кое-где раздобытая одежда и в добавление ко всему — яркий день. Так что все внешнее было устранено, осталось чистое таинство; и все как внешнее, так и „внутренне-внешнее“ в его действии тоже было устранено. Совершилось лишь словно некое утверждение обновленного существа — устранились тревоги, сомнения, столь знакомая тебе неуверенность, и стало как-то совсем не страшно и все ясно.

Неожиданным подарком были два разговора — с о. Даниилом и с той молодой схимницей, которой так восхищались отцы. Она сегодня уезжает. Даниил с увлечением начертывал картины иноческого жития последних времен. Осуждал старое иночество за презрение к умственной культуре… „Некоторые даже святые отцы писали, что монаху нужно только одно — покаяние: Господи спаси, да Господи помилуй. А я, может быть, даже соблазняюсь этим, погрешаю против них, считаю, что они ошибались. Это в древности монахи жили себе за святыми стенами или под святыми полами.

Вот им тогда и не нужно было ничего, кроме молитвы и трудов“ и т. д.

А с Серафимой так. В промежутке между утреней и обедней я искал места отдохнуть в тени. Обошел церковь, смотрю — у восточной стороны, прислонясь к алтарной стене, сидит она. Пригласила сесть. Стали толковать об иночестве. Я ее расспрашивал. Весь разговор поучителен, но опишу потом, так как долго. Скажу лишь, что, по ее мнению, монашество теперь будет в значительной степени в миру и не нужно бояться, находясь в мирской обстановке, тайного приятия пострига, только готовиться при этом к искушениям и т. д.

Теперь самое главное, из-за чего и письмо сел писать. Трудно писать об этом в пути, но когда вернусь домой, то сразу отправлю письмо. Поэтому постараюсь хоть как-нибудь написать здесь.

После твоего отъезда у меня начались суточные смены настроений. Ночью находили волны ужаса о том, как страшна эта медлительность Божья, проявляющаяся в иных случаях; какие непосильные крайние испытания веры дает Он именно людям последних времен. Какой огромной веры Он требует. Что перед этим двигать горами, если мог попускать такие скорби тебе, то чувство мучительного недоумения, которое делает невозможным никакую теодицею, кроме безусловного доверия Христу-Спасителю человека. Собственно, слова ничего не выразят. Но они мучили (только этим — ни одной мысли против тебя не было). А днем вдруг все это исчезало и сменялось то радостью, то чувством какой-то утвержденности, спокойствия и временами некий „страх высоты“ — то чувство, какое бывает в горах, когда заберешься высоко-высоко на шпиль и под скалой внизу раскидывается картина целой страны, — страх превознесенности. Словно какой-то силой мы были поднимаемы на гору скорее, чем успевали освоиться с высотой. Такое чувство испытывает ученый, когда его поспешно ведут в глубину науки, не задерживаясь для отдыха и освоения с открытием.

Потом перед постригом произошел перелом — я подумал, что ведь Господь всегда праведен в путях своих и не „оправдится“ перед Ним тот, кто выйдет в суд с Ним. Думал о том, почему Господь не устроил так, чтобы мы встретились раньше. Тогда моя жизнь была бы, может

быть, не такой, какой была, может быть, и твоя тоже. Но если бы и так, то тогда Сам Господь остался бы в стороне, и любовь при всей ее ясности основана была бы не „на камени“. Очевидно, нужно было, как и ты мне писала, тебе отречься окончательно от себя и от всякой надежды на человеков и возлюбить единого Господа, и мне тоже увидеть, что сам я пуст и неоткуда искать мне помощи и богатства, как только от Христа.

И вот тогда-то, тут уже немедленно, Господь устремился ко спасению каждого из нас и поспешил с нашей встречей. Я даже испугался при мысли, что было бы, если б я встретил тебя раньше. Я думаю, что, если бы явилась любовь, она была бы очень чиста, так как ты к иной не способна, и мне другого не попустил бы может быть Господь.

Пишу это все, хотя знаю, что тебе неприятно и противоречит моему обещанию вычеркнуть призраки из памяти. Поэтому заранее прошу прощения, может быть, лучше не писал бы, но подумал, что тебе приятнее, чтобы я писал все. Оправдывает меня конец — постриг. Он вдруг все отрезал, и я понял, что призраки просто никогда не существовали и не являются ныне даже недоразумением.

После пострига сидели возле церкви с Даниилом и Митрофаном. (Он присутствовал и пролил море слез. Заявил, что ему легче было бы постричь все 150 миллионов в России, чем меня одного.)

Да, я узнал, что пострижение есть именно таинство, а не обряд принятия определенного исторически сложившегося пути жизни — действительно таинство, в коем „Отец блудного сына лобзает и паки познание своей славы дарует, обнищавшее сердце целует“. Потому что оно дает уверенность в пути и освещает лучом Христовым как достоверное то, в чем сомневался. И это достоверное не совпадает с буквой уставов общежития последних столетий. Так что постриг — усвоение Христу, а не киновийному уставу.

Будь радостна, радость моя. Напиши мне. Прости, если по глупости чем-нибудь причинил боль. Господь с тобой. Л.»

Письмо Олега легло печатью на пережитое и наполнило мое сердце уверенностью и бодростью.

Марина Станиславовна известие о постриге сына встретила

иначе. Я видела, что она находится в жестокой борьбе с собой. Ей казалось, что этим шагом сын отдаляется от нее, от всех нас. Она пристально вглядывалась в меня, ища признаков такой же тревоги, и не находила: я невинно и радостно переживала новое в нашей совместной жизни великое событие. Чего опасается Марина Станиславовна? Что нового, непредвиденного случилось в этом давно ожидаемом и желанном событии? Что значит ее тайный обращенный ко мне вопрос? Да, понимаю, сын стал теперь духовным лицом, *иным,* чем мы все, оставшиеся в миру (иными словами — отставшие от него): он стал иноком. Это случилось для них, но не для меня! «Я не знаю, где кончаешься ты и начинаюсь я», — вспоминаю я его слова, обращенные ко мне.

Должно было пройти какое-то время, недолгое время, и я стала понимать: теперь нам необходимо нечто скрывать, как «незаконное», непостижимое для всех, кто, подобно Марине Станиславовне, смотрит на нас с Олегом этим двойным вопросительным взглядом.

Впервые ли я это замечаю и догадываюсь об этом? И вот, каким-то обратным сознанием, задержанным в тайных кладовых памяти, вырисовываются картины недавно пережитого: мы с Олегом сидим на нашем «чердаке», друзья спускаются к нам с гор, мы машем приветственно им, они отвечают. Вот они приближаются. Я вижу лицо о. Даниила, оно улыбается мне, и тут я тревожно отмечаю какую-то настороженность, какой-то холодный, отчужденный вопрос. Это было лишь мгновение, вопрос тотчас исчез, но я заметила его, и мне от него стало не по себе. Поняла ли я тогда, не помню, но оказалось, я его не забыла.

И «огненный» взгляд молодого пустынника на Медовеевке — я не забыла и его. Какая-то зловещая тень начинала нас настигать в нашем светлом, в нашем страшном полете. Сейчас в Москве я вновь вспоминаю мелькнувший взгляд о. Даниила. Это был взгляд со стороны — такого нам и нужно будет теперь опасаться.

Все это стало ясным как день теперь, через полвека, когда я со скорбью и любовью предаюсь воспоминаниям. Тогда же поднималась сердечная тревога да мысленный сумбур, я только лишь чувствовала в душе вопрос: как же нам жить дальше?

Олег — он парил высоко, монах, поэт и мыслитель, он не снисходил вниманием, чтобы замечать этот взгляд. Мне, женщине, дано было мало природой: возбуждать его мысль; он принимал иногда эту мысль через меня, но она всецело была его достоянием. А замечать все мелочи жизни, ускользающие от мужского творческого внимания, было моей ношей: я видела каждое пятно на его одежде, с тревогой всматривалась в утомленное его лицо. От меня не могли укрыться и взоры людей,

которым так трудно или невозможно было открыть нашу тайну, и величие, и красоту дарованных нам отношений. Своим принятием иночества Олег дал право суда над нами всем, кто нас окружал. Да, между нами вырастали горы неодолимых препятствий, но мы все еще их старались не замечать. И самым главным, чего я сама тогда еще не могла понять или еще не могла решиться допустить эту мысль до сознания, было то, что я не монахиня. И Олег тоже этого еще не понимал. В этом и была настоящая трагедия нашей любви. Но ни он, ни я, повторяю, этого еще не понимали.

Я только понимала, что незаметно подкрадывались ко мне постоянная озабоченность, раздвоенность сознания и чувства — так я теряла цельность и силу души, так появлялась почва для моего настоящего, а не выдуманного падения — через то я переступила в свое время, как через обрубленный сук, как через упавшую к ногам истлевшую одежду, и Олег был прав, считая меня до сих пор непорочной.

И вспоминается мне сейчас, когда я пишу эти строки, рассказ Михаила Александровича о том, как он встретил в те годы однажды на улице Сергея Николаевича Дурылина, который вернулся из ссылки. Михаил Александрович уже знал, что Дурылина выходила от тяжелой болезни, прямо сказать, спасла, сосланная с ним в одну местность не то послушница, не то молодая монахиня. Было известно, что они теперь жили вместе, и как круги по воде расходились и множились разговоры о том, что, переступив через обеты, они живут теперь как муж и жена. Кто знал об их подлинной жизни и подлинных отношениях? Конечно, они полюбили друг друга, потому что, перетерпев и пересуды и осуждение, вместе дожили до старости. Не знаю так ли, но говорили о том, что Дурылин должен был снять с себя сан — он стал позднее известным искусствоведом. Знаю только, что в их квартире оставался образ Спасителя и никогда не угасала перед ним лампада. Рассказ об этой встрече на улице с Дурылиным у Михаила Александровича был короток и заключался в том, что Дурылин, увидев старого друга, бросился к нему на шею со слезами, а Михаил Александрович не оттолкнул, но и не смог ответить участием на его порыв, предоставив Дурылина одного его судьбе. Хорошо помню, что что-то меня тогда в этом задело.

Как понятно теперь, что оба они были правы. Ведь Олег писал и писал о возможности любви двух людей — мужчины и женщины, сохраняющих чистоту друг друга, но живущих рядом. Может быть, и здесь блеснул свет писем Иоанна Златоуста к Олимпиаде, о которых часто упоминает Олег? Но время наше было суровое, и Михаил Александрович Новоселов стоял на

страже последних оплотов Церкви — мог ли он тогда рассуждать о чем-то другом? Для моего же сознания тогда это была и вовсе непосильная задача: нужно было соединить несоединимое, а мне это не удавалось и в собственной судьбе. Сейчас я думаю, что на последнем Суде найдут оправдание обе правды: и тех, кому удалось пройти свой путь по прямой, и тех, кто прокладывал собственной судьбой какие-то новые пути, никому из окружающих не понятные. Может быть, это были уже знаки нового времени, о котором только что говорила Олегу схимница Серафима — монашество в миру?

В отдаленной связи с только что рассказанным мне вспоминается притча, записанная в дневнике Михаила Пришвина за много лет до нашей встречи и в то же время в год описанного мною события. Вот она:

«На сеновале буквально над нашими головами оставалось гнездо с ласточками — четыре птенца. Я давно желал увидеть, как вылетают ласточки, потому что это сущее чудо: когда гнездо бывает прилеплено к окошку на пятом этаже, а внизу каменная мостовая — вот падение! Сегодня я увидал птенца на сене, взял его в руки, пустил в ворота, и он полетел к себе… И старики-ласточки окружили его — отец, мать и другая родня собралась, и молодой степенно летал между стариками. Потом бросился другой из гнезда, третий. Четвертого мы вытолкнули сами. Так ласточки учатся летать — в момент падения. Но так ведь и у людей, ползающих, бегающих и летающих, — у всех, кто рискует летать: пришло это им тоже в момент падения»[179].

В Москве выступление митрополита Сергия было принято нашими друзьями совсем по-иному, чем на Псху в Глубокой пустыни. Чтоб вести связный рассказ о дальнейшем, необходимо сейчас отвлечься и вернуться к событиям в церковной жизни предшествовавших лет.

Надо сказать, что в послереволюционные годы XX века в России в точности повторилось все пережитое в первые века христианства, когда масса простого римского народа вместе с просвещеннейшими людьми: философами, учеными, правителями — считала христиан темными изуверами, приписывала им преступные извращения в быту и гражданской жизни, вплоть до ритуальных убийств и поджога Рима. В нашей революционной стране христиане сотнями шли в заключение и на расстрел. Их гонители зачастую были столь же искренни в мотивах своего благородного ожесточения, как чисты были гонимые в своих поступках и образе жизни. Тем не менее во главе Церкви с ноября 1917 года вновь, впервые после Петра Великого, находился избранный Патриарх всея Руси Тихон (Белавин). Решение о

восстановлении патриаршества было принято на Церковном Соборе, который ознаменовал новую эпоху в церковной жизни России и в жизни всех православных христиан — в это труднейшее, гибельное время во главе Церкви снова был Патриарх. Он-то, Патриарх Тихон, и не шел на компромисс с новой властью, которая потеряла верное понимание существа религии и, в частности, христианства и заменяла это представление ложным, подчас чудовищно извращенным.

Конечно, были и среди христиан люди, и даже течения, связывавшие свою веру с политическими убеждениями, то есть с отстаиванием прежних государственных форм России, но это не было связано напрямую, как обычно представлялось властью. И среди гонителей также были люди, хорошо понимавшие невинность гонимых, однако приносящие их в жертву своим политическим целям.

Я далека была всегда, как далека и сейчас от жизни церковной организации. Но настроение происходящего в Церкви схватывала чутко и рассказываю, главным образом, об этом. Так, в годы патриаршества Тихона я понимала, как трудно приходится ему, а вместе с ним и всем церковным людям жить среди нового общества, ложно понимающего смысл Церкви и ее истинные цели. На что можно было рассчитывать, если даже сам великий писатель земли русской Лев Толстой превратно понимал вещи, доступные сознанию последней неграмотной, но благоговейной старухи?

Усилия Патриарха Тихона отстоять свободу Церкви, уберечь своих детей от лишних страданий были нам неведомы, но мы догадывались о них. Мы знали, что под конец жизни Патриарх Тихон был уже под негласным домашним арестом, в котором и скончался. Один уважаемый нами человек, пробившийся к Патриарху Тихону с каким-то поручением, на вопрос: «Приходится ли вам делать уступки под давлением гражданской власти?» — услышал от старого умирающего Патриарха такой ответ: «Не под давлением, а под удавлением».

Патриарх Тихон скончался в 1925 году весной. Он жил в Донском монастыре на окраине Москвы, где его и похоронили. Разрешены были открытые похороны, и очереди прощающихся тянулись через всю Москву: мне, например, пришлось стать в эту очередь на Самотечной площади. С тех пор прошло четверть века, и эти события даже мне самой по сравнению с нашей действительностью кажутся далекими и неповторимыми, как Средневековье.

По церковным правилам Патриарх не мог быть избран без собора епископов. И потому временно вступил назначенный

умирающим Патриархом местоблюститель его престола епископ Петр Крутицкий. Это был совсем незаметный, незначительный, как казалось, человек — «синодальный чиновник», который ничем не выделялся в своей среде. Но Патриарх Тихон оказался сердцеведом, и назначенный им Петр обнаружил себя человеком до самозабвения любящим Церковь. Что иное могло бы дать ему силы непреклонно держаться, как Тихон, не идя на соглашение с властью вплоть до безвестной и бесславной кончины? Очень скоро он был арестован и сослан в Обдорск, где в тягчайших условиях прожил сколько-то лет и там скончался.

То, что последовало за этим, поначалу казалось непонятным и невероятным: дело в том, что Патриарх Тихон оставил точный список пастырей в последовательном порядке, достойных занять его престол. С 1925 по 1927 год, то есть за два лишь года все они покорно и мужественно вступали «по порядку» на место заместителя патриаршего местоблюстителя. Петр в это время находился в ссылке, и они по очереди следовали за ним в заключение, исчезая там безвозвратно. Это были епископы: Серафим, Агафангел, Кирилл. Наконец, последним по списку вступил на овдовевший престол заместителем местоблюстителя епископ Сергий. И вот он-то не последовал за своими предшественниками, а выбран другой путь и выступил в центральной гражданской печати с упоминаемым выше и дошедшим до нас на Кавказе воззванием.

Все мы были далеки от церковной жизни, где она соприкасается с жизнью государства и, значит, с политикой. Но теперь, когда картина пережитого становится издали ясна, оказывается, на самом деле в жизни не бывает ничего внешнего, не отвечающего в чем-то внутреннему. И значит, всякая «политика» где-то пересекается с глубокой духовной, будто бы «независимой» жизнью человека.

Мы своими глазами читали письмо митрополита Петра, замаранное, измятое, прошедшее множество рук, пока дошло оно, наконец, до Москвы, до митрополита Сергия. Петр умолял в нем Сергия не разрывать единства, не уступать свободы совести, помнить, что Церковь жива не благополучным процветанием на земле, а кровью мучеников за Истину. Он умолял не пренебречь этой кровью и верить в ее силу. Митрополит Сергий избрал иной путь и стал патриархом. Это было началом нового «раскола» внутри Церкви. Отныне Церковь была подчинена особому органу контроля в государственном аппарате, и открыто атеистическое государство теперь ожидало с большей или меньшей долей терпеливости естественной смерти православия, бывшего еще так недавно основой духовной и культурной жизни России.

Иначе и не могло быть в те послереволюционные годы, но это мы видим теперь с высоты пережитого. Тогда же мы сами, участники, как могли мы быть объективными, если даже кроткие и далекие от мирских дел пустынники приняли происходившее близко к сердцу. Сейчас через четверть века кое-что становится понятным в этой борьбе с «сергиянством». Она была по существу продолжением старинного русского «раскола». Тут действовал дух борьбы Патриарха Никона с Аввакумом, Нила Сорского с Иосифом Волоцким. Это был исконный русский духовный максимализм, и потому она была в каком-то смысле глубоко национальным явлением.

В свете сказанного заслуживает внимания следующая запись из дневника Михаила Пришвина, хотя в ней речь идет не о внутрицерковной борьбе, а о противостоянии государства и Церкви, но дух русского «раскола» в ней выражен очень точно: «Наши большевики в зеркале прошлого средневековья похожи на иконоборцев (сектантов-рационалистов), а наши церковники — на средневековых иконодулов (монахов). Иконоборцы-рационалисты имели в виду будущее истории, а мистики-иконодулы отстаивали прошлое. В отношении категории времени иконоборцы его обожествляли (прогресс), а монахи-иконодулы вовсе с ним не считались, скорее они обожествляли пространство (бесконечное и в нем Сидящего). Одни уходят в прошлое, другие — в будущее. И эти все опыты на прошлое и на будущее терпит, как шпоры справа и слева в бока свои, настоящее.

Наша православная вера получена от Византии, как вера пространства, и вполне отвечала огромному пространству России. Большевики, обожествляющие время, разбудили дремлющее пространство лозунгами: догнать и перегнать. Борьба с религией у нас была борьбой с пространством за время. Теперь внимание наше обернулось не к Сидящему, а к Летящему. Вот эта мысль о коллизии пространства и времени есть центральная мысль современности»{180}.

Как понятна в свете трудной человеческой истории запись Пришвина в дневнике: «Боже мой! Сколько лжи собралось в человечестве под знаком креста! Как понятен человек, пришедший уничтожить всю эту дрянь. Но как велик будет тот человек, кто не побоится поднять этот крест из болота и вновь поставить на холме с плодородной землей»{181}.

Итак, я вернулась в Москву, где встретила совсем иную, чем на Кавказе, оценку события. Все мои московские друзья отшатнулись от митрополита Сергия, и знающие и не знающие историю, но имеющие опыт церковной жизни. Мне рассказали, что когда после литургии о. Роман, выполняя указ, прочел с

амвона воззвание митрополита Сергия, несколько человек, не сговариваясь, выбежали из храма и больше в него не вернулись. Это произошло еще в бытность мою на Кавказе.

Сцены, подобные описанной, повторились во всех храмах и по всей России. К митрополиту Сергию шли и ехали ходоки от мирян и ближних и дальних, шли послания по рукам и по почте от мирян и от духовенства. Мы читали своими глазами эти документы: они были величественны, искренни, напоминали по духу мученические акты первохристианства, сохраненные, к счастью, человечеством в подлинниках. Не знаю, сохранились ли документы о подобных актах 1927 года XX столетия.

Никто не призывал в них к борьбе с государственным строем. Все стояли вне оценок форм гражданской жизни, вне классовых и материальных интересов. Их связывала лишь одна мысль: люди умоляли Сергия не уступать государству независимость, приобретенную и приобретаемую кровью и жизнью мучеников. «Пойди с ними — и мы пойдем с тобой», — говорилось во многих из этих писем. Михаил Александрович Новоселов был одним из вдохновителей этой внутрицерковной борьбы. Мне пришлось быть свидетельницей проявления соборности в православии, которое выделяет его среди других христианских церквей. Я помню сцену, когда на литургии в храме Грузинской Божьей Матери, не примкнувшей к митрополиту Сергию и поминавшей по-прежнему — еще живого! — митрополита Петра, сослуживший с настоятелем храма провинциальный епископ помянул митрополита Сергия как главу Церкви. Сейчас же к нему в алтарь по рукам была послана записка, написанная одним из молящихся тут же на спине у стоявшего впереди человека. Записка была краткой, твердой, никого не оскорбляющей, но через нее говорил дух Церкви. Вскоре мы увидали этого епископа, который вышел из алтаря и, быстро пройдя между расступившимся народом, покинул храм. Это напоминало времена Вселенских Соборов, борьбу великих Отцов Церкви, но она происходила в наше время, на наших глазах. Настоятель храма о. Сергий Голощапов один закончил литургию. О нем мне запомнилось, не помню чье, свидетельство: он был сослан в северные лагеря, где работал сторожем лагерных огородов, и еженощно служил литургию в поле один на камне, служившем ему престолом; там, в лагере, и погиб.

Жизнь была наполнена самоотверженностью и страданиями. Начались аресты. Брали священников и мирян одинаково — всех, кто хоть сколько-нибудь выделялся в толпе тех храмов, где не поминали митрополита Сергия. Это не были тайные храмы в горах или тайные собрания сектантов. Нет, они открывали свои

двери для всех среди городских улиц и ни от кого ничего не таили. Там собирались не заговорщики или подпольщики, а люди, простодушно открывавшие свою «разрешенную» им государством веру. Убеждения эти не касались гражданской жизни, и люди эти не только не нарушали своих обязанностей, но, напротив, считали своим долгом выполнять их добросовестно. Эти люди добровольно и открыто подставляли свои невинные головы под удар. Я была свидетелем, как в церкви Большого Креста на Ильинке (ныне снесенной) один за другим выходили из толпы прихожан молодые люди разных профессий, чтобы принять посвящение, заступить опустевшее место арестованного священника, и через короткий срок последовать за ним, и сгинуть навсегда. Иногда этот срок длился не больше одной недели. Так погиб Измаил Сверчков, тот самый студент Института Слова, затем исчезнувший с поля моего зрения и неожиданно оказавшийся священником этого храма.

Таким путем в течение короткого срока лучшие люди были уничтожены, лучшие силы были выкачаны, буря улеглась, и церковное общество законсервировалось в предоставленных ему государством пределах.

Может быть, митрополит Сергий сделал попытку таким путем спасти храмы от разрушения, паству от гонений? Помню, как свидетельствовал мне в то время один правдивый человек о словах митрополита Сергия, сказанных в частном разговоре: «Весь вопрос в том, кто кого обтяпает». Трудно было понять, как и что, но еще говорили, что, когда предшественник митрополита Сергия митрополит Агафангел освободился из заключения, митрополит Сергий потребовал от него в письме отказа от своих прав на патриарший престол. Не дождавшись ответа, он тут же созвал Совет епископов, на котором Агафангел был лишен прав, завещанных ему Патриархом Тихоном…

Бурной и трагической обещала быть наступившая зима 1927/28 года. Описываемые события были ее зловещим фоном. Московские настроения вскоре докатились и до Кавказа, но друзья наши, принявшие теперь эти настроения, продолжали, однако жить своей прежней отрешенной жизнью, что видно из писем Олега той зимы.

«11 декабря 1927 года. Милая Ляля, третьего дня вернулся из небольшого путешествия, которое совершил вместе с Митрофаном. Пришел домой, послания от тебя нет, но захотелось побеседовать с тобой, вот и пишу.

В моей жизни внешних событий нет, чему весьма рад. Внутри же, в мысленном мире только начинает устанавливаться

некоторый порядок после летней забитости работой. Возвращаясь из путешествия, по дороге зашел к знакомому и взял у него сочинения Григория Саввича (или Вар-Савы, как он любил говорить) Сковороды. Только что начал читать книгу, но она уже произвела весьма сильное впечатление. Да, это действительно Сократ русской философии, он достоин этого имени. Много у него удивительных идей. Идея о человеке и его самопознании — главная. Главное в человеке — мысль, мысль же иначе называется сердцем. Слово „сердце“ чаще всего попадается у него. Этого слова я прежде не выносил, ибо оно отдавало сентиментальностью, „чувствами“ и прочим. Оно ведь в литературе доныне ходит в том одеянии, которое ему сшил Руссо — неприятное одеяние, надо сказать.

Но Сковорода говорит, что по природе в человеке сердца вообще нет в строгом смысле этого слова, а дарит его Бог — помнишь, ты это говорила? Сковорода все время употребляет ум и сердце в одинаковом смысле, то говорит, что „человек есть сердце“, то, что „человек есть ум“. Учение его в основе персоналистично. Оно состоит из множества существ, из коих в каждом есть высшее, символическое и внутреннее существо. Между этими внутренними сущностями есть таинственные соотношения „сродности“ (это понятие занимает у Сковороды значительное место). Существа сродные друг ко другу стремятся. Это стремление Сковорода называет постоянно „влюбленностью“. Человек есть средоточие и конец вселенной, и для него есть только один предмет, который он должен любить — Бог. Сковорода вообще имяславец{182}. „Имя Мое и естество есть то же: „Аз есть Сый““, — пишет он.

„Не тот есть богатый, кто верует о том, что золото находится в недрах земных, но кто погнался за ним, влюбляясь в оное, и, собрав, обогатился оным и укрепил дом свой, вверяясь на оное. Так верный христианин не тот, кто верует, что находится в свете Бог, а кто последует Ему, влюбляясь в Него, и основал дом счастья на любви Божьей, утвердив оный соблюдением Его блаженной воли, вверяясь как на твердейший адамант, что дом его не подвижется вовек“. „Во что кто влюбился, в то преобразился. Всяк есть тем, чие сердце в нем. Всяк есть там, где сердцем сам. Сего Единого люблю, таю, исчезаю и преображаюся“.

И много у него удивительных вещей. Но есть одна ошибка: он не понимает плоти. И из этой как будто маленькой ошибки и проистекают все прочие его неясные и ложные мысли. Плоть есть „тлен и дрянь“, плоть есть „телесное чучело“ и т. д. Отсюда какая-то неполнота его любви к человекам, бесплотность ее:

„отсутственная дружественная персона похожа на музыкальный инструмент: она издали бренчит приятней“. Отсюда же иногдашние уклоны к пантеизму, отрицательное отношение к обрядам. Значение плоти — только в том, что она есть та текучая река, в которой как в зеркале человек познает себя, а в себе Бога.

Но наряду с этим он верует воплощению Христову, верует в Пречистую Матерь Его: „в руках Ее цвет лилии, а в сердце сияние Святого Духа, задумчив и целомудрен взор…“

Это он описывает образ Ее, который особенно любил. Описанием образа и словами акафиста о Матери Божьей кончается главное его сочинение (кстати, эти слова: „Радуйся, честного таинства двере! Радуйся, премудрых превосходящая разум! Радуйся, верных озаряющая смыслы!“)».

«25 декабря 1927 г. Ляля, дорогая, так досадно и больно, что вот уже сколько времени, как разорвалась между нами вещественная ниточка, существовавшая в виде переписки. Вот уже четыре письма мои к тебе остались без ответа. Ты и не пишешь мне и не отвечаешь, так как не получаешь, и оба *мы* обращаемся в какое-то неопределенное пространство. Что значит это? Не простое ли обстоятельство, что в вашем доме не все знают вашу квартиру и, может быть, новый почтальон не находит тебя? Не понимаю. Если получишь это письмо, напиши мне, не особенно откладывая, чтобы почувствовать, что ниточка, хоть и тоненькая, восстанавливается. А то осталась только невещественная, но как это ни велико, пока мы в этом мире, хочется иметь и вещественную.

О моей жизни что говорить? Пока хорошо идет. У нас выпал неожиданно снег больше аршина. Приятель мой, живущий здесь более шести лет, говорит, что это в первый раз он видит такое явление, а то обычно снег бывает в феврале и лежит недели две: впрочем, иногда и в феврале не бывает. А теперь лежит уже несколько дней. Я в своей хатке, как на корабле. Понемногу читаю, понемногу, когда устанет голова, работаю над достройкой дома — стены в сарае и во второй комнате еще не забраны. Дома тепло, дров много, провизии натаскали с осени, и потому забот нет. Недавно приходили соседи проведать — жив ли я: Минаич и одна тетенька, трудно было идти им полверсты по аршинному снегу, но добрались, притащили меду. Постоянным моим сожителем является чахлый котишка. У бедного зверька плеврит, он все время хрипит и скрипит. Говорят, на Кавказе кошки все больные, простуженные: это не в пользу кавказского климата, т. е. собственно зимы. Что до меня касается, то, несмотря на мою симпатию к кошкам, я, очевидно, другой породы, и теплая погода на меня действует хорошо. Днем возможно работать в суконной

рубашке и хочется держать дверь настежь (это, когда кругом аршин с лишним снегу).

Благодаря заботам Митрофана у меня посажен уже сад, и не очень маленький. Митрофан посвятил меня даже в тайны пекарского искусства, и теперь ем хлеб собственного печения — вкусный и питательный, лучше, чем в любой московской пекарне, так как он из цельной муки.

Всех дорогих и любимых целую. Господь с вами. При сем мысленно представляю, что собрались у тебя с мамой Сережа и А. В. Только что получил твою телеграмму. Послал ответную».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Разлука

Шло разрушение Церкви, и видно было, что оно касается каждого, перекидываясь на отдельные судьбы: прошлогодний мой сон начинал воплощаться во всех своих подробностях.

Из мира, в котором я сейчас бреду, в этом 1962 году, временами я возвращаюсь в тот, давно минувший. Утраченный? Нет, чем дольше я живу, тем более четкими выплывают из тумана времени его подлинные черты, образы очищаются от случайного и наносного. Я и пишу эту трудную повесть с единственной целью — увидеть эти образы безобманным зрением, воссоздать их в настоящем и то, что окажется достойным, сохранить для будущего.

Сейчас я подошла к самому трудному: нелегко будет мне вновь пережить гибель дорогих людей и свою собственную гибель. Я постараюсь сказать об этом по возможности кратко. Постараюсь также перешагнуть и черную бездну следующего десятилетия своей жизни к 1940 году — году нашей встречи с Михаилом Михайловичем Пришвиным.

Александр Васильевич душевно заболевал. У него начались зрительные галлюцинации. Нет, он не запугивал меня, но и не скрывал своего состояния. Я впервые всерьез задумалась о его судьбе, видя безнадежный тупик, в который он зашел в своем чувстве ко мне и который мы с Олегом так легко обходили. Мы предъявляли своим друзьям невыполнимые для них требования: и Александру Васильевичу, и Сереже. Один Боря, монах по призванию с детства, оказался в силах эти требования осуществить.

Я впервые смутно начинала понимать, что и влюбленность и просто заинтересованность мною — все это опасно, не нужно. Кроме меня, об этом не догадывался тогда никто. Тревогу об этой смуте я желала рассеять путем любой, даже самой жестокой операции над собой и окружающими. Смуту эту поддерживал сам же Олег, монах и художник по дарованию, поджигавший все вокруг себя на костре своего аскетически-поэтического ви́дения. Он не считался с силами окружавших его людей, в первую очередь с силами Александра Васильевича. Впрочем, это давний опыт в истории: что посильно нравственным гениям, то разрушительно для подражателей и учеников.

Упростить, освободить, свести к обычному и незаметному — так диктовала женская прозорливость. Этим простым, казалось,

должен был бы стать брак и семья. Но как раз это было мною отвергнуто и мне запретно. Тем не менее Александр Васильевич чего-то от меня молчаливо ожидал, добиваясь своей цели терпеньем. Казалось, ожиданье было для него безнадежным: за столько лет я не полюбила его «женским» чувством и, значит, полюбить не могла. К этому времени у Александра Васильевича появились какие-то новые черты: он утончился, одухотворился, некрасивое лицо его часто теперь называли «оригинальным», он нравился женщинам. Девушка, влюбленная в него уже давно, еще со времен коммерческого института, приехала неожиданно к нему из провинции и с решимостью отчаяния поселилась, якобы, проездом. Александр Васильевич исчез для нас на какое-то время. Наконец он пришел и скупыми словами, застревавшими у него в горле, рассказал, как только он один умел рассказывать — медленно, запинаясь, уточняя, но и так все было ясно без объяснений: не устоял перед искушением. Однако он нашел в себе силы переступить через жалость: не скрыл от девушки, что любит другую, и отправил ее к родным в Румынию. Она исчезла навсегда. Впоследствии он не раз говорил мне, что это был его грех и его ошибка: «Привык бы и непременно полюбил». И какая это была правда!

Были в тот год и другие подобные случаи с Александром Васильевичем, о которых он рассказывал мне, не поддаваясь искушению. Я давала наивные и бессильные советы или отмалчивалась, а самой неотступно мерещилось лицо Николая Николаевича за вагонным стеклом и его беспомощные близорукие глаза. Вспоминались предостерегающие слова Шуры по дороге с кладбища в день его похорон.

В ту зиму пришла ко мне мать Александра Васильевича. Она держалась как-то приниженно, сидела на кончике стула, маленькая, простоватая, вытирала слезы, подозрительно смотрела на меня заплаканными глазами, глубоко посаженными на болезненно-припухлом лице. Она говорила о тяжелом душевном состоянии сына, она умоляла:

— Он запретил нам говорить о вас и сказал, что бросит нас навсегда, если мы посмеем… Никто, никто вас больше, чем он не полюбит! Чего вы ждете?

— Тебе скоро тридцать лет, — говорила мне моя мать. — Я болею, слабею. Олег от тебя отрезан. Ты ведь не оставишь меня, не уйдешь к нему в горы? И вы не можете жить вместе никогда, не навлекая на себя осуждения и непонимания: он монах. А ты — какая ты монахиня? — посмотри на себя.

Отчим Олега художник Буданов в те же дни говорит мне:

— К вам идет это белое платье, вы в нем похожи на сочный и

крупный цветок.

«Магнолия? Отвратительный цветок!» — думаю я.

После смерти Николая Николаевича мама теперь месяцами не встает с постели. Выручает меня Шура: она словно по воздуху узнает, когда я попадаю в безвыходное положение. Она появляется всегда неожиданно, без предупреждения, без вызова, на ходу вытаскивает из сумки рабочий передник и без единого лишнего слова берется за тряпку или становится к примусу. Тогда я могу убегать на работу.

Моя мужественная и веселая мама продолжает говорить со страхом о нашем будущем. Она просит меня одуматься, смириться, построить жизнь «как у всех». И я чувствую, как тяжелею и пригибаюсь к земле.

Однажды в детстве я увидала в поле одинокий подсолнечник с желтым цветком на крепком высоком стебле. Он поворачивал в течение дня гибко и послушно свою головку к небу за солнечными лучами, впитывая свет и тепло. Он был как второе маленькое солнце, ответно расцветшее на земле. И вот однажды уже осенью на закате я вновь увидала его. Но, Боже мой, что с ним случилось! Лепестки потускнели и свернулись, сердцевина же стала черной, тяжелой. Стебель потерял упругость и согнулся. Огромное солнце закатывалось на небе, а на земле также склонялось вниз черное маленькое солнце, бывшее так недавно золотым и легким цветком.

Но подсолнечник нес земле спелые семена новых растений. Я же бесплодно пригибалась на стебле, который меня больше не держал. Я начинала взрослеть — это была новая тяжесть женственной зрелости. Что она мне несет — я не знала. И никто не мог помочь мне: один только Олег! Он мог взять меня за руку, увести на любые пути: на всех я с ним была бы счастлива и свободна. Олег был прав, он угадал секрет моего существа: не невестой его была я тогда и не женой — я была проста и счастлива полнотой этой простоты, но только с ним одним. Что значило это во мне? Тоже очень простое: с ним я была всецело женщиной в чистом и высшем смысле этого призвания — с ним я была воистину девственна. Так и прошли бы мы с ним через жизнь рука в руку… Но я нуждалась в этой опоре, и рука его была единственная до конца бескорыстная рука!

Мне нужна была рука, а он уговаривал меня издали словами. Слова оказались тогда бессильны. Вот почему нам нельзя было разлучаться. Кому — нам? Ему — уже постриженному и нищему монаху, и мне, ничтожной советской «служащей» с больной матерью на руках. Никто из нас происходящего не понимал. Понял только один — тот армянин из Сочи, мелькнувший и

исчезнувший.

Так проходила зима 1927/28 года. Олег в эти месяцы безотчетно тревожится. Он пишет Михаилу Александровичу Новоселову:

> «17 января 1928 г. Дорогой дяденька, хочется высказать Вам еще несколько мыслей в продолжение нашего разговора относительно пострига сестры Валерии, чтобы прибавить еще несколько материала для решения. К мысли о тайном постриге можно подходить с двух концов: от идеи пострижения вообще и отданного человека, о котором идет речь. Когда мы подходим от идеи пострижения вообще, мы, конечно, видим множество серьезных и законных соображений против. Тут верно все, даже соображения о комнате должно быть принимаемо всерьез, хотя все же я чувствую некое внутреннее оскорбление, некое чувство унижения иночества, когда оно связывается с внешним комфортом, тогда как ведь иноки — это те, коим „не дается покоя до смерти“ и которые, как говорили мне отцы и как уже успел испытать я сам, даже строя себе келью своими руками, не рассчитывают в ней жить (в первой своей келье, на которую положил много сил и здоровья, не пришлось мне и переночевать). А о. Даниил за свою жизнь построил более двадцати келий.
>
> Однако нам приходится подходить с другого конца, отправляясь от сестры Валерии, и тогда и общие правила изменяются. Она сама как-то говорила, что как же может быть речь об общих соображениях, о подробностях правил, когда человек стоит одной ногой в гробу. Надо ведь принять во внимание ее жизнь. Вы сами вспоминали те многократные гипнотические опасности, которым она подвергалась, те сопротивления внешнему миру, которые ей приходилось оказывать. И она все время держалась своей мечты об иночестве, но все эти гипнотические влияния, скорби в связи с потерей отца с сопутствовавшими этому событиями, вызвали в ней своеобразную реакцию самозащиты, — она словно выделилась в астрал, потеряла чувство реальности этого мира. Она сама, как я говорил, поняла это как обман, имеющий общий корень с имяборчеством. Но этот больной выход найден ею тленно, потому что замысел иночества не психологически только, а онтологически ей свойственен. Иначе у меня не было бы всей тревоги,

боли, иначе я бы и не беспокоился, если бы не опасался, как бы она не сделала поступка, противного ее природе. Пострижение и нужно ей для того, чтобы уничтожить это разделение, дать уверенность в том, что нет никакой двойственности — что она реально существует и что то имя, которое она сознает от Бога ей данным от рождения и от которого никогда не отрекалась, — имя девы — еще раз от лица Церкви подтверждено.

Духовники указывали, что ничего особенно утешительного не приносит практика монашества в миру. Но много ли утешительного приносит наблюдение монашества в монастыре? Далее. Вы знаете добросовестность Валерии в отношении послушания. Уже одна та мысль, что кто-то будет за нее отвечать перед Богом, достаточна для того, чтобы сделать ее столь собранной и внимательной к себе, как немногие монастырские монахини. Ведь достоверно, что в послушании она добросовестна».

Письмо было не закончено и не послано.
Через неделю короткое письмо от Олега получила я.

«22 января 1928 года. Ответь, Ляля, что с тобой делается? О каком существенном для тебя деле думаешь одна — без меня? Чует мое сердце что-то недоброе. Места не нахожу, день и ночь мысль только о тебе. Скажи, не случилось ли чего с тобой 6/19 января около 4 часов дня? С кем-то близким что-то случилось.

Телесного страдания для тебя не боюсь так, как ошибок твоих в твоей собственной жизни. Ответь скорее, так как мучаюсь страхом за душу твою, ни о чем думать не могу, даже дышать трудно. Послал два заказных письма, ответа ожидаю. Господь да управит пути твои. Л.».

Вот что случилось со мной точно в тот день, о котором была написана эта отчаянная записка Олега: в тот день я дала Александру Васильевичу согласие стать его женой.

Под вечер я вышла на площадку нашей лестницы проводить его, уходящего от нас домой. Лестничные своды, не беленные с дореволюции, были тускло освещены. Лампочка высоко висела под грязным потолком, покрытая слоем никогда не сметавшейся пыли. Александр Васильевич привычно поцеловал мне руку и стал было спускаться. Потом неожиданно перемахнул несколько ступеней вверх и приблизил ко мне неподвижное, бледное,

страшное новым выражением лицо. Все поплыло у меня под ногами. Потом до меня донеслись дробно стучавшие где-то внизу шаги: это убегал Александр Васильевич. Тут я услыхала собственный голос — только два слова. Я произнесла их совершенно спокойно, очень громко и отчетливо, не думая, что кто-то может услышать, всего два слова: «Я пропала!»

Слова гулко пронеслись по пустой лестнице. Я постояла, шаги внизу замерли. Я вернулась в комнату. Там никто ничего не заметил.

Сколько лет уже прошло, но я мысленно выхожу сейчас на ту площадку, становлюсь спиной к двери, лицом к убегающему вниз бедному моему замученному другу, вижу темные своды, пыльную лампочку наверху, слышу свой спокойно-отчаянный голос так ясно, словно времени, разделяющего мое тогда и теперь, не существует.

Тут можно было бы и прервать рассказ, не дописывая его окончание. Это окончание будет по существу описанием конвульсий утопающего человека. Не все ли равно — медленно или быстро он захлебнется, если ясно, что гибель его уже предрешена.

На следующий день пришло второе письмо Олега. Надо сказать, что письма шли тогда медленными почтовыми поездами. Прочитала я вечером это письмо и ворочалась без сна всю ночь.

> «23 января 1928 года. Скоро уже две недели, как не могу превозмочь какой-то тревоги за тебя; и не о внешнем твоем благополучии, конечно, и оно ценно — но о состоянии души твоей. Вижу, что у тебя жизнь идет по двум линиям: тревоги и радости в связи с семейным разладом и заботы в связи с А. В. И ты сама писала, что последняя, главным образом, поглощает внимание, и боишься ответственности за него.
>
> Твое второе письмо с загадочными словами о воле своей и воле Божьей, о „существеннейшем вопросе“ еще больше взволновало меня. Я понял, что ты вновь поддаешься прелести. Снова тебе начинает казаться, что твои мечты об ангельском образе есть твои хотения, а, может быть, Богу угодно, чтобы ты покорно несла ярмо супружеской жизни, кротко и молчаливо трудясь для мамы и А.В. А иначе он погибнет, и ответственность будет на тебе. Что же касается до меня, то это не помешает, так как „наша любовь божественная“, и „между нами не может быть никакая другая любовь“. Зачем написала ты эти слова, что значит „иная“ любовь?

Разве стала бы ты говорить так по поводу любви к своей маме? Это подбавило мне тревоги.

Ляля, твой недостаток в том, что ты вмещаешь в себя столько, что не можешь с собой справиться, в тебе, вместе с девственным, есть и свойства женщины, и притом в особой недоброй форме — они очень глубоки. У тебя такая потребность в мужской власти над тобой (помнишь, в детстве: „Выйду замуж за моряка“), что и возлюбив Господа, ты и на Него перенесла свойства жестокого угнетающего Существа, воля которого обязательно должна переживаться как что-то раздавливающее тебя. Тебе хочется девства, а Бог хочет от тебя супружества. Ты не видишь, что тут происходит ужасная подмена: в тебе говорит женский атавизм, это воспоминание о вавилонском идоле, во славу которого каждая женщина обязана была однажды в год отдаваться неведомому человеку перед алтарем его… Я не говорю, что перед тобой стоит этот идол, нет. Ты по-настоящему веришь во Христа, но вследствие не испепеленной до конца падшей природы человеческой, демоническим образом в тебе проявляющейся, ты видишь Лик Христов, освещенным Мелеховым лучом, на Божественном Лике играют для тебя лукавые тени. Его искажающие …

Ты затвердила себе, что воля Божья обязательно должна быть тяжела, сокрушительна и идти наперекор высшим стремлениям человека. Ты забыла, что „иго Мое благо“, ты забыла, что во Христе воля человеческая хотела как раз того же, чего и Божеская, и через крещение и наша воля приобретает ту же способность. Что же, раз мне хотелось ангельского образа, значит, это своеволие? Ты забыла, что естество не способно хотеть девства, и если это хотенье есть, то оно только от Бога, и думать иначе, считать это веяние Духа Святого своеволием — значит высказывать самую страшную хулу на Святого Духа… Знаю, что ты ответишь на это: что ты и не сомневаешься в своем имени, но что нет иного выхода…

Ничтожны эти рассуждения, не бывает так, чтобы не было выхода. Сатана, не имея сил поразить тебя страстными помыслами, действует на тебя двумя путями: жалостью, возбуждающей страсть в друге, и состраданием в тебе, а также и чувством вины (его внушение!). С другой стороны — подменяя лик Христов, возбуждая женственную стихию покорности.

Ты забыла, что сказано:

„Благослови душа моя Господа…

— очищающего беззакония твоя,

— исцеляющего вся недуги твоя,

— избавляющего от нетления живот твой,

— венчающего тя милостью и щедротами,

— исполняющего во благих желание твое,

— обновится, яко орля, юность твоя“.

Так знакомы эти слова, и мы не обращаем на них внимания: „исполняющего желание“. Какое же? О девстве — обновлении юности.

„Первая Дева — Святая Троица“. Как же такому Богу может быть угодна жертва девством? Ляля, эта мысль тебе не простится, если до конца не покаешься.

Вспомни, что твоя особенность в том, чтобы ошибаться и грешить именно так, принимая „сатанинский гипноз“ за высшую волю. „Все ошибки свои я делала с Евангелием в руках… Я думала, что так надо…“ Но потом роковым образом раскаяние, почти отчаяние (опять сатанинское действие) и как план искупления — углубление в пропасть. Это ты ведь осознала, сказав, что твой предполагавшийся брак был бы завершением нисходящей линии. Но нет, ты готовишься сделать самую большую ошибку „с Евангелием в руках“. Детка, бедная, любимая, что мне придумать?

И вот ты надеешься именно на это, когда думаешь о браке — из жалости к любимому (бесстрастно!), в надежде на спасение его души… даже больше сказал бы я, не решился бы сказать, если бы сама не сказала некогда, что в твоих мыслях о браке имел значение и „страх за маму“. Это твои слова в письме. Прости меня, но мне кажется, что и теперь он является, неведомо для тебя, одной из слагающих. Тут в одном А. В. связались обе твои задачи: и мама и А. В., и как будто обе эти задачи решаются…

Странно мне и то, что ты ищешь волю Божью непонятным образом. Где ее искать, как не в Евангелии? Мало его — в житиях святых. В Евангелии обо всем этом не найдешь ничего: найдешь только заповедь о том, что возлюбивший кого бы то ни было больше Господа несть Его достоин…

А ведь ты знаешь, что у меня все поставлено на твое девство. Если оно просияет на Суде — и я с ним… Или

ты думаешь, что таинство — было игрой?

Помнишь ли ты, что таинство брака заключает отречение от девства, от имени девы? Если ты отречешься от девства, я исчезну. Я не могу этого вынести. Я или умру физически — до этого недалеко, я ведь всегда „на грани“, и здоровье мое есть следствие настроения. Или же существование мое обратится в непрестанную пытку, и еще здесь я узнаю адские мученья.

Как-то я увидел картину „Опричники у земского“[183]. Кажется, кого-то из передвижников. Опричники ворвались к боярину и хозяйничают. В комнате все перевернуто, разбросано. Посреди на полу — дочь боярина. С нее сорваны одежды, она без сознания или в исступленной неподвижности, равносильной смерти. Черная коса раскинулась по полу. Боярин привязан веревками к столбику кровати, и на лице его предел безумного отчаяния. Сын связан, лежит на постели, корчась в гневе и страдании за сестру, а два опричника за столом пьют вино. Мое состояние в случае твоего брака будет подобно состоянию этого отца, только растянется на остаток моей жизни и пойдет со мной в могилу.

Ты понимаешь ли, что твое падение по страсти я бы пережил, как бы это ни было трудно. Но это самонизвержение, якобы по воле Божьей, в жертву вавилонскому кумиру, при одной мысли об этом спирает дыхание и душат слезы ужаса.

Пытаюсь понять, как это все могло случиться? К тому, что уже написал об этом (пишу беспорядочно, не до порядка тут), добавлю следующее. Ты имеешь способность таять и изнемогать. Иногда и от меня. Я чувствовал это ясно… И от жалости, в особенности. (Вспомни вспышку любви, когда я собирался помирать от малярии.) А. В. пишет мне письмо, ты его поправляешь: таешь от жалости, от нежности к любимому, а он — кроткий, страдающий… и является мысль: а может быть, и в самом деле воля Божья? Вижу твое удивление им („письмо такое значительное и неповторимое“). Пусть так, но чувство остается. Это „таяние“ всегда вызывало во мне тревогу, даже когда оно направлялось по моему адресу.

Зачем же, зачем ты просила меня не умирать теперь, именно теперь, когда что-то столь ясное открылось

между нами? А вслед за тем готовишь мне удар, который не знаю, можно ли пережить?

А что мне остается, как не отречься от тебя перед Богом, хотя это и значит потерять половину себя самого (как и ты недавно о себе говорила) и даже более. Но что же я еще могу сделать? Как при послушании старец отрекается от ученика, если тот не пребывает в повиновении, так и при взаимном послушании. Твое оскорбление будет слишком сильно, мне останется только… отвечать за одного себя — уже с единственной надеждой на милость Божью.

Ты скажешь: как же я так способен тебя забыть? Нет, забыть тебя я не могу. Но представь мое положение: сестра сознательно готовится ко греху, отвергает мой голос и думает, что исполняет волю Божью — что мне остается делать? Раз лик Христов освещен для тебя чуждым светом, могу ли я молиться вместе с тобой? Могу ли я имя твое носить в сердце? Конечно! если сестра покается потом, брат не отвернется, но каково будет ему это?

Знаю, что и Сережа, и особенно Арсений будут переживать подобное, хотя, может быть, и не так сильно, потому что ты сама говорила, что мы с тобой — одно существо, только с двумя вершинами.

Да, Господь не потерпит твоей измены. Он расстроит твои планы, покажет, что то была не Его воля. А. В. умрет, ты останешься одна с мамой и с ребенком на руках… И тогда раскаешься и придешь… если буду жив… Да не сбудется!

Ты связывала для меня действительность с миром святых. Были в древности Варвара, Екатерина, они похожи на сказку… И вот и в действительности нашел я точку опоры в тебе — видел в тебе отражение небесного девства. Помнишь пример мой „о единственном друге“, который оказывается изменником?

Ляля, милая, пока еще можно к тебе так обращаться, вот какие мысли носятся вокруг меня уже двенадцатый день. Что это за дни! Ни о чем больше не думаю. Часто казалось мне, что, если я на мгновение перестану о тебе думать, снова впадешь в транс — недаром жаловалась недавно на одолевающий тебя сон, умственный, душевный, физический. Кажется, что тогда снова загипнотизирует тебя Сатана. Грустная, детская мечта! Если бы я мог спасти тебя непрестанной мыслью о тебе,

чего я ни постарался бы сделать!

Наибольшей напряженности моя тревога достигла 6/19 января, несмотря на то, что в тот день говел. Поднялся на гору. Было тепло, около 10 градусов, солнце светило вовсю, небо ясное, а я, казалось, нисходил до глубины скорби и тревоги за тебя… Или это все моя мнительность? А около 4 часов того же дня, как я тебе писал, понял я, что с кем-то что-то случилось, только не знаю что, и теперь не знаю — напиши. И верь, что за твое истинное послушание Богу Он и А. В. не оставит, а в противном случае и он может погибнуть, и ты.

Да, еще одна вещь: какая насмешка будет „мы с тобой“ как основа философии! Что же с этим делать — выбросить? Все рассуждения о поле, символы — все угаснет!

Или ты думаешь, что я еще кого-нибудь полюблю? Нет, Ляля, я ведь сказал тебе, что мне, по чину моему, подобало быть евнухом невесты Христовой, а если я ее не уберег, опыт, который был, может быть, однажды в истории мира, не удался. А знаешь ли, что если я к кому-нибудь имел не любовь даже, а теплое чувство, то это было все твое отражение, и после тебя еще раньше тебя угаснут всякие отблески твои. Ведь, кроме тебя, никто не мог бы разбудить во мне любовь.

Ну и довольно. Кончаю этот третий за короткое время памятник моей любви и ревности. Прости, прости, если оскорбил подозрениями, и прими серьезно, если хоть в чем-либо прав.

Верю, детка, что ты благополучно выйдешь из „искушения“. (Вот еще загадка: о каком искушении ты писала?) А осенью, надеюсь, увидимся и будем близко. Относительно же А. В. давай вместе посоветуемся: и первый шаг — это твое решительное ему слово.

Вот видишь, ты жаловалась, что я не указываю тебе твоих недостатков, — а теперь только поспевай защищаться. Ты писала мне о своей „порочности“, в которую я, к сожалению, не верю. Но теперь буду ждать, признаешь ли ты ее сама или нет?

Мама пишет, что была у тебя на Рождестве, но ты была нервна и напряжена. Что это значит? Спроси у мамы мое письмо к ней, там и тебе записка (а в письме к маме кое-что и на твое суждение есть).

Целую тебя, если ты верна заповедям Христовым и слову, данному Ему. Прости, что, будучи весь во грехах,

забыл об этом и обличаю, ведь от любви к тебе, чтобы ты соответствовала тому образу, который имеет для тебя Господь — и да будет благодать Его с тобой.

Думал о том, по-христиански ли, что у меня так „все на тебя поставлено“? Разве не должен христианин опираться только на Христа? Но вспомнил, что Сам Господь явил нам подобный пример, когда сказан: „Ты еси Петр, и на сем камне созижду Церковь и врата адова не одолеют ю“{184}.

Вот Он все ставит на человека, — да еще на того, которому, этому камню, предстояло поколебаться. В этом тайна любви, что любя не одного, можно на нескольких все основывать, то есть я на Господе и Святых Его, а из человеков — на тебе».

На рассвете кто-то постучал осторожно в нашу дверь. Я вскочила, накинула халат, открыла. На пороге стоял Олег. Не заезжая к матери, он приехал с вокзала прямо к нам.

Он рассказал, что после отправки последнего письма не находил себе места от тревоги. Ночью забылся и внезапно проснулся от стука при падении какого-то предмета. Чиркнул спичкой: без всякой видимой причины сорвался со стены и лежит на полу деревянный крест. И гвоздь, на котором крест висел, и тесьма, на которой держался, были целы.

Утром о. Даниил, не говоря ни слова о происшедшем, совершил с Олегом обычное правило, потом обернулся и сказал:

— Ну, что же, поезжай, только не задерживайся там долго. На это не будет тебе моего благословения. Поезжай с Господом.

Олег тут же вышел из кельи, преодолел пешком зимние заносы до Красной Поляны, к вечеру был уже в Сочи и вслед за своим письмом отправился в Москву. Письмо опередило его только на сутки.

Достаточно было мне его увидеть — и все отошло как наваждение. Обещала приехать летом. Просила не укорять Александра Васильевича и весь ответ брала на себя. Да и кого было винить в происходящем, если я и сейчас теряюсь в ответах при этом вопросе: кто был виноват?

Олег решил поговорить обо мне с Михаилом Александровичем. «Дяденька» произнес в ответ жестокие слова об Александре Васильевиче — не буду их здесь повторять. Но почему же ни он, ни один из окружавших меня людей не взял сильной рукой мою руку и не вывел из пожара? Вижу ясно теперь: никому не возможно спасти человека против воли его, даже такому подвижнику, а теперь уже мученику, как Михаил Александрович.

Олег вскоре уехал: он выполнил волю своего старца о. Даниила. Солнце зашло — поднялся снова туман. Если б Олег мог увести меня тогда за собой! Я и ждала этого и боялась, что это невозможное и впрямь произойдет. Я стояла теперь беспомощно перед тайными силами своей природы, которые были разбужены. Я прикрывала словами о долге перед Александром Васильевичем, перед покойным Николаем Николаевичем свое влечение, которое пыталась принять даже иногда за любовь. Это случилось со мною впервые в жизни, и Олег не ошибался, до сих пор считая меня девственной. Но теперь — это случилось, и я сама желала этого вопреки всем доводам совести и сознания. Теперь я старалась поставить перед собой непроницаемый экран из всяческих забот, чтоб не видеть собственной души: эти заботы услужливо на меня посылались. Шла на моих глазах горячая церковная борьба, переписка, свиданья с людьми, приезжавшими из разных углов России. Болела непрерывно и тяжело моя мать. Надо было изыскивать источники дополнительного заработка. И среди всего этого я погибала у всех на глазах, и никто этого не замечал.

Я не помню, как это случилось. Где, когда, при каких обстоятельствах… Как ни напрягаю сейчас память — не могу вспомнить, все вычеркнуто, как это бывает с людьми при сильной боли: они лишаются сознания. Так от душевной боли я все забыла. Олег ничего не знает, я получаю от него новые письма.

> «18 марта 1928 г. Милая Ляля, ты пишешь, что получила второе мое письмо. Первое послано было из Майкопа, может быть, там даже забыли его отправить, так как я не сам бросил в ящик, а кого-то попросил.
>
> Кстати, я уже сбился со счета: это не то четвертое, не то пятое. Предыдущее получила ли? Это, где длинное рассуждение насчет „Античного Космоса“{185}?
>
> Хотелось бы мне вовсе не возвращаться к теме наших длинных разговоров, но твое письмо вновь вынуждает. И огорчает меня не только факт возможности „второсортного выбора“, но та „невыносимая фальшь“, которая так удручает нас с тетей. И фальшь-то это не твоя, а чуждый тебе гипноз. Вот и сейчас как-то случилось, что все твои тревоги так странно преломляются у тебя. Законный мой и естественный страх перед ложным шагом, который обдумывает самый дорогой в мире человек, безотчетный страх за него, превращается у тебя в „брандовскую установку“, только что не сказано „аскетически-гордую“, которой

противостоит короткое и смиренное „второсортное решение“. Я оказываюсь какой-то энергичной натурой, уповающей на „свою человеческую волю“, которая у меня (на самом деле) есть только сознание человеческого бессилия. Вообще я не могу не видеть, как на все факты ложится у тебя особый отсвет или особая тень. Так что даже когда ты и признаешь свои сомнения плодом уныния и обсуждавшееся решение „второсортным“, все-таки как-то так поворачивается, что здесь — и смирение, и самоотречение, а там — „брэндовская установка“. Знаешь ли, во всяком грехе и соблазне есть два момента: момент чувственного услаждения и момент покорности темной силе. Они почти сливаются, но могут быть и разделены. Так вот твоя природа, насколько я понимаю, такова, что во всех твоих ошибках главное место занимает второй момент, совсем или почти совсем вытесняя первый. Только этим могу я объяснить твое удивительное бесстрастие и рядом с ним понимание влекущей силы зла…

Вот, и хотя ты отрицала это, мне кажется, что тут у тебя тоже была человеческая усталость. „Сладости покорности“, конечно, не было, это и я согласен, но „может быть, незачем сопротивляться“ — эта роковая формула была. И еще: вот, если хочешь, сущность моих страхов. Ты ведь сама сказала, что „то“ — абсолютно невозможно, что оно вызывает в тебе даже самые нехристианские чувства. Но я не мог не видеть безумия того, чтобы, перед лицом неба и земли давши человеку согласие на „нормальную“ жизнь, человеку, который мечтал об этом много лет, притом дорогому человеку, страдания которого нельзя будет воспринимать с полным равнодушием, надеяться на то, чтобы устоять…

Не кажется ли тебе, что я впадаю в отеческий тон? Пусть не кажется. Помнишь, как ты билась над исправлением моих пороков и спрашивала, какие у тебя недостатки? Не думал я, что когда-нибудь и мне придется с тобой спорить. Теперь-то я по-настоящему люблю тебя — это не просто идиллия, как было в прежние годы. Правда, та идиллия была омрачена „прекрасной королевой“, но, кажется, ее подземелья уже раскрылись. Даст Бог, во всех уголках светло там будет. Если бы мне так! Целую тебя. Г. с тобой. Лель».

Письмо Олега через три месяца.

«28 июня 28 г. Мне почему-то кажется, что моя „кавказская“ полоса кончается. Я боюсь, как бы это не привело к тому, что тоньше станет ниточка с дядей. Давно не видал его, но последний раз он был очень хорош. Уходя от меня, сказал, что хоть устроение моей „семейной“ жизни сейчас не удалось, но „раз оно начато, то уж будет тебе все равно так нужно“.

Я не отрекаюсь от Кавказа ни „внутренне“, ни „внешне“ (понемногу вожусь с достройкой хаты), а просто линия жизни как-то не так идет. Ну да мне это тоже неясно. Хочется повидаться с тобой. Неужели нужны еще испытания и осенью не увижу? Господь с тобой. Л.».

«6 июля 28 г. Получил я твой ответ на мое письмо, которое было по поводу твоего длинного, и недоумеваю: как ты его читала? Какое жалкое было мое письмо, но как ты могла вычитать там чуть ли ни благословение твоему шагу? Ты поняла, что я с тобой, хоть и считаю тебя заблуждающейся („праведно“, как ты поясняешь), и постараюсь не страдать. Этого там написано не было. Ты пишешь, как ты получила мое письмо и что переживала. Но я еще больше испытал в связи с твоим. Оно сразу произвело обычное действие — сердце болезненно сжалось и осталось в таком состоянии, так что трудно стало на гору подыматься и так далее. Как я ни старался скрыть от Арсения (он тогда был у меня) и других свою тоску, мне это не удалось. Арсений сразу спросил, что со мной, и другие, посторонние, если с кем приходилось встречаться, замечают. И вот я обдумал все это и увидал, что жить так я не смогу. Но так как, по непонятной милости Божьей, я, хоть и больное, извращенное и изломанное существо, чувствую всякий излом, все духовно нездоровое, но понял, что мне надо как-то найти силу жить, найти силу физически не умереть. Вот об этом-то я в этих самых словах и писал тебе, т. е. что постараюсь не умереть. Но теперь это кажется мне невозможным. И хоть и надеясь на помощь свыше, я переоценил свои силы. Вижу это из того, как мучительно тянется время. Хотел бы увидеть тебя осенью, и не знаю, как дотяну! Ты писала, что едва ли удастся приехать — я, мол, не знаю нынешних экономических условий. В прошлом году ты не написала бы так; ты все писала: „необходимо увидеться“ и приехала сама. Но неужели ты думаешь, что я смогу жить здесь зимой? Да стены моего

дома станут мне тюрьмою, я способен хоть пешком в Москву идти, или, если это бесполезно, куда-нибудь.

Может быть, это слабость, но какую же надо иметь силу? Сейчас мне трудно писать тебе, так как нахожусь в Сочи. Сижу за письменным столом знакомого доброго старика. Его нет дома, но есть другие, и собраться с мыслями трудно. На столе возле чернильницы стоят старенькие песочные часы. Вот я поставил их перед собой, сыплется мелкий песочек неуклонно, ровно, как идет время, и я думаю о тебе, что было и что есть, и „никаких мыслей нет, кроме тоски“. Думаю о том, как удивительно извращенно мыслишь ты, лишь бы оправдать себя. Думаю и о себе. Если бы я мог молиться — я ушел бы далеко-далеко. Если бы я не был верующим, то не жил бы больше. Но давно нет у меня молитвы, и я истолковал это в том смысле, что жизнь моя — в мысли, а молитва — сколько могу. И я научился читать и мыслить перед иконой Христовой, мысленно к Нему взирая сквозь строки книг и тетрадей. Я понял, что можно так жить, учиться, думать, ни к чему не привязываясь и взирая на единственный любимый Лик.

Но я был не один. Ты проделала надо мной со свойственной тебе бессознательной обдуманностью, может быть, один из самых страшных и смелых опытов, какие люди предпринимали. И результатом было то, что я не знаю — где я кончаюсь и где ты — в духе, в душе и в плоти. Незаметно так случилось, что твое девство стало биться в моем сердце; и доставляло это то такую радость, какая никому, верно, неведома, то такую скорбь, которой тоже, верно, никто не знает. Пусть иные сильно скорбят (только святые могут), но иначе, а для меня эта сила уже у предела.

Далее, вспоминал о том, как увидевши свой жизненный путь, неожиданный, скромный, но освященный надеждой, не мыслил его иначе как с тобой. Не в смысле совместной жизни (сначала, по крайней мере, я очень ее боялся — боялся, ибо страшился за твое девство), а в смысле совместного труда. Через тебя многое мне открылось, и мысль моя от тебя не отделялась. Потом я заметил, что тебе хочется и совместной жизни — и согласился с этим, увидев силу Христову.

Но если я не торопился, то, во-первых, потому что ждал воли Божьей, а во-вторых, по следующему

соображению: я хотел узнать, что это не моя слабость. Почему жалкое впечатление производит, когда два существа прижмутся друг ко другу, смотрят один другому в очи и заменяют один другому всю вселенную? Пусть даже в девстве, но это не должное, и праведно спорят против этого отцы. Так вот, как прежде я спрашивал тебя о „токах“ — не это ли называется страстью? так и тут я испытывал себя. Потому-то и хотел минувшую зиму не приезжать.

И я увидел, что, насколько видит духовное око, нет у меня „привязанности“ и есть подлинная любовь. Да, я мог жить и трудиться без тебя, без физического присутствия, только мне надо было знать, что ты существуешь. И я понял, что можно и, вероятно, угодно Богу, чтобы мы жили вместе или по возможности близко. И в таком смысле я надеялся на предстоящую зиму, отчего и хотел приехать пораньше.

При этом я не забывал А. В. Я думал, что ты мучаешь его именно тем, что не сделала еще решительного шага (пострига) и что на другой день после этого шага он был бы „счастливейшим человеком“, по твоему выражению.

Не буду вспоминать о том, как ты стала периодически становиться „чужой“, как обманывала себя и меня, решительно говоря вещи, которые назавтра отрицала. Как словно видел я спокойную, рассчитанную, неумолимую, уверенную в своем успехе силу адскую, которая влекла тебя к твоему безумному шагу. И как росла скорбь и беспокойство мое, как вынимали жизнь из моего сердца.

Только теперь я почувствовал, в какой мере жил тобой и с тобой.

Ты нервничаешь, и сердишься, и, может быть, страдаешь, но ты хочешь невозможного. „Праведными“ твои заблуждения я считать не могу, а если бы и считал таковыми, быть спокойным, как Сережа, после того, как мы с тобой столько лет искали и узнавали, что такое девство, и страдали из-за этого, не могу…

Главное, чего я боюсь, это что ты естественно умрешь для меня, останется только скорбь — боюсь, что Ляли уже нет.

Боже мой, Боже мой, если бы ты видела мое сердце!»

Это письмо переломное. В нем Олег погружается на дно своей тоски. Невозможно без ответной скорби и сочувствия читать эти

строки, хотя пожелтела уже от времени бумага, на которой они написаны, и писавшего их давно нет на свете. «Неуклонно, ровно сыплется мелкий песочек, как идет время, и я думаю о тебе, о том, что было и что есть, „и никаких мыслей нет, кроме тоски“», — повторяет он мою же фразу из только что полученного им письма.

Он ослабел, он томится, он ищет в себе и не находит сил, «чтобы начать опыт перерождения своего существа». Он пишет: «Только теперь я почувствовал, в какой мере жил тобой и с тобой… если бы ты видела мое сердце!» — эти слова тоже были из моего последнего письма.

Я не решалась написать Олегу всю правду о том, что происходит, и обманывать его было невыносимо. Наконец я получила отпуск и, не медля, поехала к нему на Кавказ.

Бессильной чувствовала я себя в Москве, но достаточно было двинуться поезду, чтоб снова появилась надежда: все развяжется, и мы будем все спасены. Ведь даже в поезде произошло со мной нечто, похожее на чудо — происшествие, которому и сейчас трудно найти разумное объяснение.

Дело в том, что Марина Станиславовна, провожая меня на вокзале, положила мне в ручную сумочку деньги для Олега: очередную маленькую сумму от его «мецената». В сумочке лежали также мои деньги и документы, и я старалась не выпускать ее из рук. Путь был долгий в те времена — трое суток. На второй день все в купе уже знакомы, ведется оживленный разговор. Неожиданно открывается дверь, на пороге стоит оборванный, грязный бродяга или нищий, он держит мою сумочку и говорит, обращаясь ко мне:

— Это вы забыли в уборной.

Я ужасаюсь, потом радуюсь, открываю сумочку: все в ней нетронуто. Я бросаюсь в дверь, которая уже закрылась за оборванцем, но его нет в коридоре. Я быстро пробегаю вагон: нет и нет! Я перебегаю на ходу поезда в соседний вагон — и там его нет. Никто не может мне сказать, куда исчез странный человек. На всю жизнь остается от этого человека только загадка с так и не высказанной ему благодарностью.

Олег жил на Змейке один. Он совсем не был похож на того ослабевшего, растерянного человека, каким я застала его после смерти Николая Николаевича прошлым летом. Он был теперь собранно ласков и даже не очень грустен. В нем чувствовалась независимость от жизни, какая-то кроткая над нею власть.

И снова, как год назад, мы провели ночь под звездами: мы лежали на полу в пристройке, где не была еще забрана одна стена. Ночи стояли, помню, прохладные. Олег настелил свежего

сена. Оно грело нас и сохраняло наше общее живое тепло.

Еще он укрыл меня своей старой курткой. От куртки шел избяной запах крестьянской одежды, и к нему примешивался запах его большого натруженного тела. Он лежал рядом, прикасаясь щекой к моей щеке, иногда приподнимаясь на локте и заглядывая мне в глаза. На плече своем я чувствовала его огрубевшую от плотницкой работы руку. До сих пор я помню форму каждого пальца на ней, резко выдающуюся косточку на мощном и худом запястье: оно предназначено было для сильного человека — таким задуман был он природой.

Олег не возмутился, не загоревал, чего я так опасалась, не выказал даже волненья. Он обнял меня с незнакомой до сих пор силой и спокойствием, поцеловал и сказал:

— Ничего не было! Помни — ничего не было с тобой. — Я плакала беззвучно, прижавшись к нему, а он оглаживал меня жесткой большой ладонью с той нежностью, какой я больше ни от кого в жизни не видала.

— Ничего не было, — повторил он. Потом он сказал мне впервые в жизни такие невыполнимые слова: — Мы никогда не будем расставаться с тобою. Ни днем, ни ночью.

Он поднял к звездам лицо, звезды плыли, пылая, низко над нами по черному небу, и я различала их блеск в его глазах.

Он наклонился надо мной и сказал со властью:

— С этим я предстану на Суде.

От человеческого суда мы были бесконечно далеки. Если б мы могли тогда вместе умереть!

«Никогда не разлучаться» — может быть, я должна была сама догадаться раньше и сказать тебе об этом? Я знаю, мы не нарушили бы той святыни, ты так хотел, и, значит, сам был тому порукой. Но раньше мне эта мысль никогда в отношении тебя не приходила на ум. Теперь было поздно: ты был монах, а я — женщина, связанная с другим человеком невидимыми, но крепкими узами, силу которых я, как ни противилась, ясно ощущала на себе. И я не могла себя объяснить ни себе самой, ни Олегу.

Подошло время возвращаться в Москву, а единственным правильным шагом было любой ценой туда не возвращаться. Даже выключить временно мысль о матери. Олег не мог меня спасти, если бы даже догадался меня запереть или связать, как поступают с душевнобольными! Он ждал моего свободного решения…

Наступил день отъезда. Мы проехали на машине до Сухума, где и ждали целые сутки парохода, идущего на Новороссийск. Днем мы взяли лодку и выплыли далеко в открытое море. Олег

сидел на веслах, я — на руле. С детства я боялась глубины и плавала всегда у самого берега. Меня ужасала мысль о темной подвижной бездне подо мной.

Когда мы выплыли из бухты, Олег сказал мне:

— Прошу тебя, спустись в воду и поплыви над глубиной.

— Но я боюсь.

— Преодолей, попробуй. Я буду рядом. Спускайся через борт.

Я сбросила платье и послушно перекинулась через борт лодки. Я плыла, и страх мой постепенно стал проходить. Вот я уже спокойно различаю далекую линию берега, и небо, и лодку, и улыбающееся, ободряющее лицо Олега. Так я овладела страхом.

Вечером пришел мой пароход. От пристани на него вел длинный помост с поперечными планками для упора ног. Провожающих на помост не пускали. Я простилась с Олегом внизу и стала подыматься. У самого входа на пароход я споткнулась и, придавленная своим заплечным мешком, тяжело упала плашмя лицом на помост. Я услышала глубоко внизу тревожный окрик Олега: наверное, он заметил в полутьме мое паденье. Собрав все силы, я ответила ему успокоительно:

— Ничего, все в порядке!

Крикнув так, я скрылась с его глаз, увлекаемая потоком пассажиров в адский жар и смрад темного трюма. Лицо мое было разбито в кровь. Нашлись участливые люди, меня положили, обложили голову холодными компрессами. Я лежала, и неотвязная мысль давила на сердце: «Это случилось недаром». Я никогда не верила предрассудкам, легко сбрасывала предчувствия и страхи силой какой-то отчаянной веры в лучшее, протеста против безвыходности и трагедии. Но сейчас я с ужасом убеждалась, что мне лишь остается закрыть глаза на неминучую правду: разбитое лицо было ее отражением. Я еду на казнь, я приговорена безнадежно, я сама этого хочу, и никакая сила не может освободить меня от моего желания.

Неужели же все, что светило мне с детства, было напрасно?

Так началась новая зима. Вокруг шли аресты священников и мирян, не признававших митрополита Сергия. Михаил Александрович приходил к нам усталый, грустный, часто напоминал он зверя, измученного преследованиями охотников. Люди, дававшие ему кров, начинали его побаиваться: и правда, у всех была трудная жизнь, семья, нужда… Вокруг исчезали все лучшие. Церковь обнажалась. Скоро, возможно, и не останется преемников благодати, которыми, как мы понимали, были священники, не примкнувшие к митрополиту Сергию. Об этом я как-то спросила Михаила Александровича:

— Как нам быть, если не останется священника старого

посвящения?

— Не надо создавать новый раскол, — ответил Михаил Александрович. — У нас единая Церковь, внутри которой ведется борьба. Если никого не останется — идите с ними, только не забывайте крови мучеников и пронесите свидетельство до будущего Церковного Собора, который нас рассудит, если только не кончится история и не рассудит уже Сам Господь.

Михаил Александрович, изредка ночуя и у нас с мамой, теперь как-то особенно проникновенно благодарил. Больно было видеть его невысокую похудевшую фигуру, осторожно спускавшуюся с лестницы ранним утром; он прячет под воротником пальто свою седую бороду — нет, и теперь он с нею не расстается ни за что.

Я чувствую, как Михаил Александрович теперь меня ревниво сторонится. Он с грустью говорит однажды Шуре:

— Наши пути с Валерией разошлись!

Мне он не говорит ничего.

Ранней весной Олег, выполняя послушание о. Даниила, отправляется в Ленинград, где еще сохранился епископат Тихоновской церкви. Там он принимает иеромонашество, а на обратном пути останавливается в Москве.

…Мы сидим с ним рядом на диване. Он повторяет мне те невместимые для жизни слова:

— Мы с тобой никогда не будем расставаться, ни на одно мгновение. Ни ночью, ни днем.

Давно ли он уговаривал меня потерпеть эту недолгую жизнь до встречи «в невечернем дне вечной радости»? Я берегу ту записку. Я не спрашиваю его, как теперь для нас может быть осуществлена совместная жизнь. Глубокая печаль заполняет мое сердце, но я молчу. Я знаю: сейчас совершается и проходит последняя минута моего единственного счастья. Надо ее запомнить на всю оставшуюся жизнь. Я вижу все это в ясности необычайной и говорю Олегу:

— Что бы с нами ни случилось, запомни, мы были самые счастливые люди на земле!

Он молча, понимающе кивает мне головой и опускается на пол, на ковер, к моим ногам. Знает ли он, что это последняя, крайняя, самая полная наша минута? Он поднимает на меня глаза, как на его детской карточке, в которые боялась смотреть ему — младенцу — мать. Он говорит:

— Какие у тебя холодные руки! — и греет их в своих больших ласковых руках. Мы молчим. Наконец, мы прощаемся: завтра он уезжает на Кавказ.

У меня сохранилось письмо, написанное им в те дни

пребывания в Москве — нам негде и некогда было поговорить уединенно.

«Без даты. 1929 г. Знаешь, с грустным настроением был я в среду в церкви на Воздвиженке. Был усталым, служба была длинная, с литией, у них престол в приделе. Трудно было стоять, голова неясная. И вдруг случилось то, чего давно не помню: то молитва обычно своя бывает, свои слова, скорбь, прошения, покаяние, свои чувства, свои „энергии“, если угодно. А то внезапно откуда-то иной свет, словно поток „энергии“ иной, словно кто-то посмотрел — и взор этот — сила и любовь; око Божьей Матери, сверху, откуда-то, любящий милосердный к тварям взгляд Ее, Ее присутствие. И бодренно, трезвенно в этом свете стоишь. А окружающее померкло, далеко где-то, и боишься шелохнуться, а в груди этот исток воды живой. Что-то такое новое и сильное, и мысли несвязные, слова к самому себе: „Вот что! Вот Ее присутствие, Ее милосердие, забота и любовь! И как я могу чего-нибудь бояться!“ И потом: „Так можно и умереть!“ И еще скорбь, что уйдет и что будешь опять в том же мире и в тех же своих мыслях. И ушло, и стало все, как обычное.

Знаю, что ты скажешь: может быть, это что-нибудь чисто физиологическое? Ну, а я разве стану доказывать? И ведь и не скажу никому, кроме тебя.

Знаю только, что если когда поцелуешь тебя — ясность и сила, источник какой-то чувствуешь, „энергию“ чистую от тебя, то может быть несравненно сильнейшее ощущение, что Кто-то принимает и милосердно смотрит. Это может быть несколько раз в жизни. Написал не к тому, чтобы придавал значение, но если говорят об „утешении“ схимники и схимницы, мы не ждем его. Мы не ждем, но вот приходит. И если бы пришло в затворе, в тюрьме, то можно вынести что угодно. И если сомневаться — не прелесть ли, то, во-первых, ты знаешь, что не ищем мы ничего, а во-вторых, если уверен я в твоем существовании, то ведь не по внешнему образу — так мы и всех людей видим — а по зрению души твоей. Вот и это так, только тут, страшно сказать, Матерь Божья.

Это так, не придавай значения. В жизни суетной все туманится и забывается.

Листок кончается, и писать кончу. Господь да хранит

тебя.

Как наивно было это слово: „любовь есть радость о бытии другого“. Она будет такой в Царстве Небесном. А в этом мире два совершенно противоположных (да еще как противоположных — не как человеческие верх и низ, а как небесный свод и подземные глубины вод) чувства объемлются этим словом: „радость о бытии другого и скорбь от опасения небытия, похищающего друга“».

Так кончается это без подписи письмо. В жизни суетной все туманится и забывается. Да, все забывается, но остается слово. Слово — это вечная память. Вечная память — это бессмертие.

Олег уезжал на Кавказ с того самого вокзала, с которого я провожала Николая Николаевича. Поезд трогается. Олег стоит на площадке и держится за поручни, высокий, ни на кого в мире не похожий. Его провожает в этот раз много народа. Глаза Олега обращены ко мне, но этого, вероятно, никто не замечает. Все машут ему, все радостно оживлены. Ни для кого ничего не случилось, только для нас двоих. Поезд исчезает в темноте. Я остаюсь одна и вспоминаю его слова: «Как бы я мог тебя унизить своим желанием? Вовлечь тебя в слепой принудительный акт природы? Носить, рожать? Один страх за тебя…» Я это еще с тех пор понимала, как мне показали карточку моих теток, умерших родами: в природе скрыто неблагополучие — какое? Я была создана для любви — иного не было у меня дарования. В мире людей любовь разделилась на тело и дух. И я стала, подобно многим, жертвой этого разделения… Просто сказано об этом в Евангелии: «Женщина, которая рождает, терпит скорбь. Потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир»{186}.

А от Олега снова приходят письма.

«16 июня 1929 г. Милая, дорогая и единственная Ляля, что-то в этом году так все выходит, что ни от тебя толком вестей нет, ни я не могу писать. Сейчас пишу в одном небольшом хозяйстве, где нашлась мне работа по садоводству. Но до почты далеко, верст 12, и надеюсь только дня через три там быть. Здесь чувствую себя хорошо — отдохнул как в санатории. Сад тихий, уединенный — дело мне знакомое, предлагают и впредь работу, так как садовников мало, и мои, хотя и скромные, познания кстати. Очень хотелось бы тебя хоть на время на поправку устроить. Тишина этих сливовых садов делает их специальным санаторием от всяких

нервов. Но я спешу к себе, так как забросил свое хозяйство. Ушел, посадив картошку и капусту, и не знаю, что там делается. До сих пор было суховато, но теперь пошли дожди, что весьма кстати, так как были опасения за урожай.

Что буду делать дальше — сейчас не знаю. Надеюсь, что меня уже ждет письмо от тебя. Либо продолжать хозяйство, либо бросать… Зависит, собственно, от тебя: соберешься ли ты в эти края (на что, по-видимому, нет никаких данных) — тогда буду ждать, в противном случае, хотелось бы еще где-нибудь повидать тебя. Необходимо знать твои планы, отсюда будут зависеть и мои. Если не писала, напиши сейчас же — и туда, и сюда.

Как хорошо, если бы ты могла побывать тут. Прошлись бы по новым местам, которые тебе, несомненно, понравились бы при всяком настроении, и, во всяком случае, действие было бы хорошее на здоровье и т. д.

Письмо это писал где-то в саду, а кончаю у моря. Погода холодная, над морем тучи, и сверкают молнии, и хочется затопить печку и закутаться в одеяло. На июнь не похоже. Маме твоей сейчас не пишу, у моря при прохладе не много напишешь. Жду времени идти на поезд… Прости, целую крепко. Г. с тобой. Л.».

В это время идет мой служебный отпуск, и мы плывем с Александром Васильевичем на теплоходе по Волге и Каме. Там на пристанях я получаю «до востребования» письма Олега. Получаю их тайно, чтоб перечитать на палубе, когда Александр Васильевич спит.

«20 июня 1929 г. Милая и единственная детка, сегодня получил твои письма с пути. Конечно, ты знаешь, какое действие должны бы они на меня произвести, если бы не было этого действия и раньше. Как ты можешь спрашивать, помню ли я о тебе? Не было такой минуты ни днем ни ночью, чтобы я о тебе не думал. Боль о тебе меня не покидает.

Ты винишь меня в том, что я не сразу тебя полюбил, что уезжал на Кавказ. Я любил тебя, но ты знаешь, что я боялся себя. Я страшился опалить тебя, я не мог предположить, что та злая сила, которая весь род человеческий съедает, может не иметь власти над людьми… Да, если бы это шло скорее, если бы полюбил

тебя без страха и опасений, тогда, может быть, нынешних наших страданий не было бы.

Но что говорить о минувшем — о настоящем станем думать. Тяжко, невыносимо тяжко то, что ты в плену. Что ты — под гипнозом. Если бы я был святым, я стат бы изгонять из тебя бесов или от тебя, от сердечка твоего дорогого.

Они исказили душу твою, исказили веру твою. Я не могу верить в Твоего Бога… У тебя все стоит призрак рока, и на словах ты отказываешься, это выдумка сатаны влечет тебя, как связанную, ты в плену, ты против воли идешь. Это родовая стихия имеет власть над тобой — подсознательно все время эта мысль: „А может быть, нужно, чтобы человек родился…“ Господи, истреби мерзкого беса, смущающего создание Твое!

Что могу я сделать, детка, я бессилен тут, лишь Бог может изгнать. И то в тебе темное, что способна замечать и писать такие мысли, что ты красивая, и этим мужчинам хотелось бы, чтобы ты с ними ехала, уверяю тебя, что такие даже невинно бесстрастные и печальные мысли не приходили бы тебе в голову, если бы не был приставлен к тебе родовой бес, и ты не принимала бы частично его нашептывания. И приставлен-то он не по „року“, а потому что ты ему должна — ты слушала и слушаешь порой его слова.

Думал я, ну что я теперь могу сделать для тебя? Садить сад, чистить сапоги в Москве, или служить там садовником, или еще что-нибудь? Недавно встретил Митрофана, который ломал голову над тем же и поведал мне грустный вывод, что единственное, что нужно, это сыпать деньги мерками, а это сейчас невозможно. Для этого надо или спекулянтом быть или большим начальником. Это был тот же вывод, который и мне известен, и я думал о том, если бы требовалось заботиться о тебе с мамой здесь, или быть сторожем, или садовником где-нибудь там, я мог бы, но нужно быть богатым, а это сейчас невозможно физически. Но и требуешь-то ты этого потому, что не доверяешь Спасителю. Ты похожа на мать в том отношении, что за нее, под ее гипнозом страшно боишься нужды.

А мне кажется, что тебе вреден самый стиль покойного Николая Николаевича — там была Ривьера, а тут — каюты пароходов на Волге и т. д. Это звенья одного целого со страхом за мать.

Если бы верила больше — сюда бы приехала. Очень просто: не пошла бы на службу, а взяла бы билет на Кавказ и нашла бы меня. Я бы пошел с тобой в еще новые неизвестные тебе места, ты бы отдохнула, пришла бы в себя, помолились бы вместе, и сошел бы с тебя этот туман.

Радость моя, ребенок мой единственный, для которого я живу, и вместе — нож, который мне в сердце вонзили, — ты своей рукой — и не вынули, послушайся, приезжай сюда. О маме не беспокойся. У нее много друзей, они позаботятся это недолгое время. Она ведь клялась, что на любую жертву для тебя готова. А за тобой и она приедет.

Я думаю, мне лучше не ехать. Чего мне там делать? Работа и здесь найдется. Если я хотел ехать — то лишь для тебя, чтобы около тебя побыть. Вместо этого подождал бы я тебя здесь — и на зиму здесь бы остались. Приехала бы тогда и твоя мама и устроилась бы здесь. Мои знакомые домик в Сочи, кажется, купили, и он пустой стоять будет — жить можно. И здесь в горах тоже можно, и в Майкопе можно. Тут и Сережа, и Митрофан, — понадейся же на общую заботу хотя бы.

А у меня работы по садоводству достаточно. Ты спрашиваешь, люблю ли я тебя. Мне тут находится место агронома — это лучше, чем просто садовника-огородника, и я ради тебя отказался, чтобы не связывать себя службой, чтобы иметь возможность уехать. А была бы ты здесь — я взялся бы. А как бы хорошо вместе жить и работать! Если же кто тебя любит — пусть сам к тебе приезжает. Решись, время пришло уже, разве же это так трудно?

Я вспоминаю тебя только в двух образах: во-первых, какой ты была в тот памятный вечер, когда увидел я ту „руку“, как ты отдыхаешь душевно и телесно получше примостившись, ясная и мудрая (в подобные минуты ты бываешь особенно мудрая). Во-вторых, в том платьице, которое примерял тебе Семен, когда еще зеркало подносил{187}. И в этом, и в другом образе — ты сама, в настоящей своей природе, не затемненной чуждым влиянием… Поверь, детка, что обе вы тут хорошо проживете.

Ты посмотри, детка, при моей непрактичности с Божьей помощью выходят же практические вещи у нас. Боря приехал сюда и поныне здравствует, и участок наш

хорош, построили домик здесь — и сейчас стоит. Предлагают место садовника и агронома. Готовое пристанище и в горах, и у моря, и на Кубани, и вместе отлично наладим жизнь. Страхи твои суть тоже гипноз. Вспомни, как ты в Сухуме решилась плавать с лодки на глубине — ничего, легко. Что ты цепляешься за службу — это тоже ведь гипноз общего страха. Работу и здесь найдем. Ты только сдвинься с места, и все будет. А он, если захочет, пусть приезжает. Займи мужественную позицию, уйди — и он еще сам и маму привезет, а нет, так я могу привезти. Дело покажет.

Знаю, что еще будет держать „квартира“. „Квартиру потеряем“. Ляля, речь идет о душе — о квартирах ли думать? Брось, все будет, когда надо будет, захотим в Москву приехать — тотчас квартира будет.

Мысли эти самые трезвые. Я уже слишком перемучился, чтобы в отчаянии решать, и говорю вполне практически. Вот этим способом, на этом пути испытай мою любовь, а не требуй чудес. Что другое возможно? Жить около тебя в Москве? Это уже решено. Но ты же сама говоришь, что этого мало. Это „паллиатив“. Потому что я не смогу тебя с мамой обеспечить. Сейчас это невозможно. Но пойдем другим путем — двигайся сюда — и все будет.

Есть случай отправить письмо, потому кончаю. Напиши теперь на старый наш участок. Здесь буду не раньше как недели через две, так предполагаю. Напиши скорее. Прости, если чем обидел. Целую тебя крепко. Г. с тобой. Л.».

«29 июня 29 г. Милая Ляля, пользуюсь случаем написать несколько слов, хотя особенного ничего нет. Надеюсь сегодня получить от тебя письмо. Дошли ли до тебя все мои послания — два, воздушной почтой и одно простое, и маме твоей одно. Я еще думал обо всем и убеждаюсь, что тебе нет иного образа действия. Ты оскорбляешь Бога, ожидая знамения, нехорошо это.

Уезжай и скажи А. В., лучше напиши, что если он тебя любит — любовь подскажет ему, что надо делать. Это вырвало бы и тебя, и его из той больной атмосферы, которую ты сама же около себя поддерживаешь. Уверяю тебя, что, если бы отошла сама хоть на несколько дней, ты ужаснулась бы ложности твоего положения.

Обо мне не беспокойся. Я живу отлично.

Уходят, спешу кончать. Прости за пустое письмо, трудно писать, когда через минуту надо кончать. Помню тебя все время и все сделаю, что можно будет. Сейчас чувствую почву под ногами в экономическом отношении, спокойствие и уверенность, что пора тебе переменить жизнь. Целую тебя. Г. с тобой. Не забывай меня… Твой Л.»

И все же — я и сейчас не перестаю удивляться Олегу, потому что после этого наступает не гибель, а возрождение, и хочется следить теперь не за историей его любви, а за его личным в этой любви ростом.

От письма к письму видно, как растет и крепнет духовное существо Олега: это уже не тот мальчик, который «строил на страх всему миру обитель». Это о. Онисим, усвоивший себя в таинстве Христу и быстро идущий к завершению жизни. Как преодолевает он свое личное страдание, восходя на новую ступень обладания скорбью, самообладания, он хочет теперь разделить все переживания своей сестры. Он отказывается от расчета на помощь мецената, ищет самостоятельный заработок, «он чувствует, наконец, в экономическом отношении почву под ногами».

Скорбь владеет им и ночью и днем, но теперь он не подчиняется ей: он в высшей степени, как никогда, деятелен во внешней жизни. Он пишет, учится, хозяйничает на участке.

Колебания — вместе ли строить жизнь или в полном одиночестве, для него окончились: «Устроиться без тебя было искушение в минуту слабости. Это — буддийская логика. Я буду возле тебя во всех твоих ошибках, на всех кривизнах твоих путей. Я хотел бы терпеть все с тобой до конца».

Он отвергает всякую попытку взаимно разжалобить друг друга: «Не смей страдать из жалости ко мне. Это в тебе та самая стихия, которую я ненавижу так же сильно, как люблю тебя. Для меня имеет цену только твое свободное убеждение».

Но самое важное, что он утвердился теперь в ясном сознании: его любовь — не «прелесть», потому что он любит «сестрицу свою после Господа» и исповедует это. Правда, он «слишком» любит ее, но это «слишком» — не слабость, потому что «любовь можно выровнять, только прибавляя там, где мало, а не убавляя, где непропорционально много».

Теперь он видит соотношение сил человеческих и сил промыслительных: «Если б я был святым, я стал бы изгонять из тебя бесов, или от тебя, от сердечка твоего дорогого… Но что могу сделать я, я бессилен тут, лишь Бог может изгнать». Олег

проходит подлинную школу смирения, как бы устраняясь и предоставляя действовать силе Божьей — он смиряется в своей человеческой ограниченности и получает тут же, как дар, силу веры и терпения: «Я слишком мало в своем отчаянии явил веры Господу. И если приступы его прошли, то именно благодаря вере». Признание и своей, и моей слабости вооружает его непоколебимой верой в силу Божью: «Не попустит Господь этого. Он слишком любит и жалеет тебя, и путями, Ему ведомыми, вернет тебя».

Теперь, наконец, приходит к нему понимание, почему все случилось; он винит теперь не одну любимую им девушку, он понимает, что, если бы сначала ответил на ее призыв без страха и опасений, тогда, может быть, «нынешних страданий и не было бы…». И добавляет: «Но что говорить о минувшем, о настоящем станем думать». Он теперь не идеализирует свою Лялю, он приходит к прекрасной трезвости, свидетельствующей о духовной зрелости его души. Он понимает, что переоценивал мои силы, не смея думать обо мне, как о слабом существе, «нуждавшемся в ограждении, которое действительно было нужно». Теперь он жалеет не об абстракции, не о том, что «образ не удался», а о Ляле, живой и любимой: «Радость моя, ребенок мой единственный и вместе нож, который мне в сердце вонзили — ты, своей рукой — и не вынули».

Последние письма Олега — это бесконечное снисхождение и терпение, и, что дивно, непоколебимая, несмотря ни на что, вера в раз и навсегда увиденный им внутренний образ любимого существа. «У нас ведь было, как в романах бывает, что „он“ сразу увидел, что это „ты“ — для него. А у нас я сразу увидел, что „ты“ — для Христа. Девство — твоя сила и твое искусство… Это единственное, что ты можешь сказать людям», — пишет он мне. Он понимает девство как «высшую чистейшую собраннейшую, напряженнейшую действенность человека». Это — божественное свойство: «Первая Дева — св. Троица», — повторяет он слова св. Григория Богослова.

Он не сомневается: «Ты проснешься, обожженная страстью человеческой, отовсюду ты воскреснешь, только до чего измученная и измучив других (разумею — не себя)».

Даже получив известие о формально совершившемся моем браке, он с прежней уверенностью, как о решенном, пишет о моем грядущем постриге.

В последних своих письмах Олег становится прост необычайно. Он пишет о самых обыденных вещах: о своих занятиях садоводством, о встрече с новыми людьми, описывает их наружность, обстановку их внешней жизни, возможной,

оказывается, и при аскетической жизни, то есть о жизни по форме «как у всех хороших обычных людей» — тема наших с ним поисков и споров. Он впервые серьезно беспокоится о моем здоровье. Терпением и верой пронизаны эти письма. В то же время они мужественны и строги. Он становится выше обычных чувств, столь, казалось бы, естественных при подобных обстоятельствах: ревности, осуждения. Он зовет к себе Александра Васильевича и не устает меня уверять в своей к нему любви: «Он мне близок и дорог, разве ты не видишь, что я его люблю?» Только один раз, в горькую минуту, он бросает по адресу Александра Васильевича отчуждающее «он».

Как далек он теперь от осуждения! Он внимательно и беспристрастно исследует и хочет понять причины совершающегося несчастья: «Нет осуждения тебе. Я вспомнил еще раз все, чем тебе обязан, и увидел, что не знаю, чем не обязан. А я для тебя не смог сделать ничего». Себе Олег не приписывает теперь никакой силы: «И без нашей встречи ты выбралась бы к пристани, не знаю, каким путем». Он как бы устраняется с моего пути, не отказываясь от меня, однако, до конца: «Я тебя всегда жду». Этими словами заканчивается наша переписка.

Пришвин не устает изумляться Олегу: «В результате чтения дневника многое понял непонятное в Ляле и Олеге, проникся уважением к Олегу. Он, по-моему, достиг в своем духовном развитии такого состояния, которое мне казалось недостижимым: самому, своим усилием победить чувственность, ревность, зависть и все прочее, связанное с чувственной любовью, и остаться торжествующим над своим жалким соперником»{188}.

Под конец жизни Олег получает, наконец, единственное, что всю жизнь жаждет для себя — «для безумной своей плоти» — полное и нерушимое целомудрие, как перерождение всего существа. Это был дар, перед которым он сам стоит в изумлении: «Все лето не было никакой брани… казалось, тот самый эфир, или что оно там такое, из чего сделан над нами небесный свод, что оно, это вещество, и на земле есть и пронизывает тело человека и дышит в нем». Дар этот он уже не относит ко мне: «Раньше оно бывало в связи с тобой, теперь как-то органически входит. Да укрепит Господь, чтоб не ошибиться».

Совсем недавно я выписала из книги современного автора, изданной в 1962 году в Париже: «Все мироздание стоит ради целомудрия. Все дышит и живет ради целомудрия. Все зачинается и растет ради целомудрия. Все болеет и беднеет ради целомудрия. Все страдает и умирает ради целомудрия — наивысшего осуществления его»{189}. Выписывая эти слова, я думала, что они не вмещаются в сознание современного мне

человека. Так же, возможно, будет непонятен ему и смысл моих воспоминаний. Для кого я пишу их? для считающих себя атеистами? — еще непонятно; для христиан? — уже не нужно… Никому не нужный труд — и все же я должна его закончить.

Одно из слагаемых, создавших силу моей необоримой «привязанности» к Александру Васильевичу, заключалось в том, что он в усилии задушить в себе чувство как бы заживо на моих глазах омертвел. Я видела теперь перед собой не живую душу и, оправдывая себя и жалея его, внушала себе несуществующую любовь к нему, путаясь между дружбой, долгом и впервые разбуженным чувственным влечением. Единственной навязчивой, маниакальной целью было теперь его оживить любой ценой. Этой «ценой» я и мнила брак. По-видимому, я считала, что самой мне уже нечего терять.

Письма Олега меня терзали и возмущали одновременно. Наша с ним любовь, как я думала, — уже совершившееся непреложное событие, и писала ему: «Между нами не может стать никакая другая любовь». Я возмущалась его непониманием этой простой, как мне казалось, мысли. Никто ничего не понимал в происходящем. Одна только маленькая Шура осмелилась и сказала Александру Васильевичу:

— Не женитесь на Ляле, она — не для вас, вы оба замучаетесь.

Но ее голос ни до кого не дошел.

Мама была на даче у друзей. Александр Васильевич приходил ежедневно, молчаливый, неподвижный, упорный. Страдал ли он? Или был до конца опустошен? Он так никогда и не ответил мне на этот вопрос.

Священник назначил на завтра день венчания, о чем никто из знакомых и не догадывался. В глубине души я понимала, что это губительный шаг, и почему-то торопилась его сделать — как «торопится» упасть под откос поезд, уже сходящий с рельсов.

Александр Васильевич приносит обручальные кольца, на которых выгравированы наши имена. Я смотрю на кольца и говорю Александру Васильевичу:

— Поедем на вокзал. Если я достану билет, я уеду на Кавказ — и это будет развязкой.

Он молча берет у меня из рук чемодан (давно уже приготовленный!) и провожает до кассы. Билетов нет. Носильщик предлагает необычный, со сложными пересадками… Я колеблюсь. Я смотрю на Александра Васильевича и, как это ни странно, со всей очевидностью понимаю: он обрадуется, если я уеду. Александр Васильевич в это время говорит решительно:

— Билет с пересадками и через носильщика не входил в условие.

Я сдаюсь и чувствую, что в глубине души радуюсь какой-то темной радостью такому решению.

На следующий день мы обвенчались. По возвращении из храма домой я чувствую, что заболеваю. Шура измеряет мне температуру: 39°. Александр Васильевич уезжает домой. Шура остается со мной. Я сваливаюсь в нервной горячке, о которой читала только в романах и думала, что она выдумана, что ее не существует в жизни.

В эти дни был арестован на улице Михаил Александрович. О моем браке еще никто не знал, даже мать, которая еще не приехала с дачи. Наконец, я выздоравливаю. Я хочу видеть Александра Васильевича (в дни моей болезни мы с Шурой просили его не приезжать). Я сажусь на трамвай и еду долго по вечерней Москве. Напротив меня в пустом трамвае сидит молодая пара с ребенком на руках. Я смотрю на спокойные, счастливые лица и верчу обручальное кольцо на своей руке. Вероятно, я захотела простой жизни, как у этих скромных людей, их простого счастья. Но разве оно возможно для меня? Все колеблется. Михаил Александрович арестован; Олег далеко; Александр Васильевич каменеет… Я рассматриваю свою руку, полоску кольца… Как может владеть мной подлая жажда жизни вопреки всему происходящему, и мыслимому и пережитому?

Я застаю Александра Васильевича не одного — у него приятель, они ведут какой-то философский разговор. Александр Васильевич ласково сдержан, видно, он мне не рад. Приятель деликатно хочет уйти.

— Я тоже ухожу с вами! — торопливо говорю я. И Александр Васильевич не делает попытки меня удержать. Я прошу усиленно меня не провожать, хотя ловлю себя на отчаянной надежде: он догадается, он захочет, пойдет! Но он остается — и я долго бреду по пустынным ночным улицам и вижу во всей обнаженности свою гибель. Мне казалось, Александр Васильевич перегорел, все ушло, хотя это было не так, а как-то сложнее, но смутно я понимала, что, если бы в ту ночь он бы встретил меня по-другому, — разве я стала бы от этого счастливее?

Эта ночь была началом конца моего слепого, внезапно и коварно возникшего чувства. Я не могу назвать его сейчас любовью. Чувство это смертоносно прошлось по нашей общей судьбе, ничего не оставив, кроме могил и бессильных сожалений. Эта ночь была еще началом новой «преступной» темы моей жизни: «он мне не муж, и это был не брак». Оставалась мать, и я должна была охранять ее в своей непоправимой катастрофе.

Теперь я решилась и написала Олегу всю правду о том, что уже произошло, и получила ответ.

«21 августа 1929 г. Милая Ляля, мне действительно очень тяжело. Скрывать нечего. И если не делается 40 температуры, то потому, что и все это время мне так тяжело, а во-вторых, что мне сегодня пришлось пройти 40 верст и вчера прошел довольно, дорожное напряжение берет свое.

И не права ты в своих „знамениях“ — давно известно, что летом нельзя достать билет на Кавказ в тот же день „даже через носильщика“. Ведь не могли же мы этой весной достать и за пять дней вперед, если бы не знакомства и „бронированные“ места в вагоне. Наоборот, знамение я вижу как раз в том, что носильщик предлагал тебе билет до Армавира, откуда нет ничего легче, как сесть на местный сочинский поезд, в котором всегда много мест, но это у тебя „не входило в условие“. Это и было знаком собственного произволения, которое надо было ожидать.

Дальше клевета, что мы боялись брака по своей, якобы, греховности, а А. В. не боится по чистоте. Мне трогательно и больно читать, как ты пытаешься оправдать его и себя, но все это не так.

Нет, мы хотели чистоты и потому боялись брака. А моя ошибка в том, что я переоценивал твои силы, я не смел думать о тебе, как о слабом существе, я считал тебя сильной. Если бы я знал, что ты способна одна дойти до брака, я действовал бы совсем иначе.

Скажешь, почему же любовь мне этого не подсказала? Да, видишь, я не умел понять, я был мальчиком, еще смотрел на тебя, как на существо чистое и мужественное, и, во всяком случае, не нуждающееся в таких странных „ограждениях“, как то, которое действительно было нужно.

Не клевещи, что мы были какие-то два грязных существа, которые тряслись перед браком из страха похоти, ты ведь знаешь, что это ложь. Просто мы были так наивны в своей детской простоте, что нам могли приходить такие планы, как на страх всему миру строить обитель и т. д.

И неправда, что возможно деторождение „в чистоте“, т. е. в бесстрастии. Евангелие от Иоанна в главе 1-й на это дает ответ раз навсегда: есть рождение духовное,

рождение от Бога, пишет на первой же странице девственник Иоанн, „иже не от похоти плоти, не от похоти мужеския, но от Бога родишася“{190}. Стремление к девству относится именно к „рождению от Бога“, а всякое человеческое рождение — „от похоти плоти, от похоти мужеския“. От жены же требуется, по крайней мере, такое отсутствие силы девства, что она соглашается быть сосудом этой похоти плоти. Нечего тут спорить, Ляля, да простит меня Бог, но я сейчас могу об этом рассуждать больше, чем когда-либо, потому что никогда еще не было так легко в этом отношении, все это лето не было ничего „летнего“, никакой „брани“, и если бы я был способен радоваться и смотреть, мне казалось бы, что тот самый эфир, или что оно там такое, из чего сделан над нами небесный свод, что оно, это вещество, и на земле есть, и пронизывает тело человека, и дышит в нем.

Детка, дорогая, я думаю, что и у тебя такое ощущение. Раньше оно бывало в связи с тобой, теперь как-то органически входит. Да укрепит Господь, чтоб не ошибиться!

Конечно, я не могу тебя покинуть. Постараюсь приехать и по возможности скорее.

Только одна Ляля по отношению к Лелю не была Эпистимой, но, Боже мой, и в это единственное место в мире, где без протеста души можно было помыслить любовь, и в это место закралось „ребро“! Ну, как мне не скорбеть? Не подумай, не об абстракции жалею я, не о том, что „образ не удался“, а о живой детке моей.

Все-таки то прошлогоднее было изменой мне и Христу. И брак — измена, и не дай Бог последствий — все они будут изменой на измену, хотя ты „внутренне“ и верна.

Ляля, детка, ведь кроме тебя — сложной и вместе „простой“ — ничего нет в мире.

Не утешай себя тем, что „для нашей любви нет формы на земле“, эти слова ранят, есть тысячи форм, и уж во всяком случае, это не понуждает замуж. Еще больнее, когда утешаешь меня „выгодой“, — теперь, мол, нас с тобой „не подозревают“. И *ты* можешь это написать!

Ляля, теперь ты все прошла. Может, теперь приедешь? Я всегда жду. Да хранит тебя Господь. Прости. Целую крепко. Л.».

Это было последнее письмо Олега.

Он ушел на Красную Поляну: эти «сорок верст» и предстояло ему, вероятно, пройти в день написания его последнего письма. На Красной Поляне Олега застала Настя Скороходова с друзьями, прошедшие горами через перевал с Кубани. Сережа предпринял поход, чтоб развлечь горевавшую по сыну сестру. Кроме того, он решил к тому времени жениться и вел к Олегу свою невесту. Это было последнее с Олегом свиданье, подробности которого я не устаю выспрашивать у Насти при каждой встрече и теперь, в конце своей жизни.

«Олег был печальный и сосредоточенный, — рассказывает Настя. — Он сказал: „Я кончаю работу, она свалилась на меня вопреки моему настроению. Мне необходимо от нее отделаться“. — „О чем ты пишешь теперь?“ — „О литургии. А перед этим написал об экономике. Вот видишь“, — он показал на исписанные мелким почерком тетрадки, завернутые в клеенку. — „А почему в клеенке?“ — „Я ее держу в дупле на всякий случай, жаль, если пропадет. Я ее кончаю и скажу тебе, пожалуй, о своем решении: я еду в Москву к Ляле. Буду около нее в любом положении“. — „Как же ты будешь там жить? Ведь С.{191} собирается уезжать в Польшу, ему запретили продолжать дело“. — „Может быть, поступлю в дворники или еще куда-нибудь, все безразлично. Я спасу ее, освобожу и увезу“. — „А мать?“ — „Все само устроится“, — сказал Олег и прекратил разговор. У него было такое лицо, что я не посмела больше расспрашивать».

В последних числах августа, накануне намеченного Олегом отъезда, на Красной Поляне появились военные люди. Они арестовали всех троих монахов, а кельи их подожгли. Арестованных перевезли в Новороссийскую тюрьму. Это рассказал нам проездом через Москву один из арестованных в те же дни и быстро выпущенных соседей Олега по Змейке; он бросил свое хозяйство и уехал на противоположную окраину России.

Вскоре был арестован в Майкопе и Сережа. Валек, подъезжавший в это время ко двору с возом сена, сообразил о происходящем в доме и, под прикрытием воза, сбежал. Он скрывался долгие годы, меняя места и работу, скитаясь иногда как бродяга, питаясь как зверь на свалках. Изредка появлялся он у Насти только на одну ночь и снова безвестно исчезал. Так пережил он десятилетие гонений и фантастических процессов, изобретаемых в сталинскую эпоху. Началась Отечественная война. Валек попал на фронт и вернулся уже открыто в семью инвалидом.

Тянулся 1930 год, предсказанный Олегу Зубакиным. Потом

рассказывали очевидцы: в Новороссийскую тюрьму{192}перевезли множество монахов, арестованных повсеместно в горах. Это было «мероприятие» по очистке гор от свободных нищих насельников. Стариков и молодых, женщин и мужчин гнали по трудной дороге через несколько перевалов с долины Псху и других мест их поселений. Молодые вели стариков, некоторые не вынесли пути и умерли в дороге. Всех погрузили у моря на баржи, везли в невыносимой тесноте, как негров во времена работорговли. Монахи плыли и пели молитвы.

Мало кто из них уцелел после ссылок и тюрем: кто умер, кто был казнен. О. Даниила и Сережу вскоре расстреляли: одного тут же в Новороссийской тюрьме, другого — в Майкопе. Боря по молодости получил всего пять лет лагерей. В те же годы были расстреляны толстовцы: Митрофан и дядя Коля Сутковой, в разных местах и по разным «обвинениям». Чета Бирюнов попала в лагеря, вышла оттуда живой и дожила где-то в провинции свой век. В 1964 году умер Михаил Николаевич. Людмила Дмитриевна написала мне тогда: «Последнее время он сильно томился душой, сильно устремлялся в мир горний, но все же не желал так скоро покидать землю. Совершалась внутренняя борьба. Тело томилось от сильных болей в желудке, четыре года он лежал неподвижно без памяти. Затем тихо отошел в вечность». О себе старая, больная и нищая Людмила Дмитриевна просила одного: не помогать ей и ничего не присылать. Она умерла года через два после него.

Олега «судили» тщательно, им заинтересовались, его перевели в тюрьму в Ростов-на-Дону. Его жизнь явно хотели сохранить. Следователь, казалось, был под обаянием личности Олега, так и сказал сестре Олега, которую мы посылали на разведку. Мы поняли со слов следователя, что Олег доверял своим судьям, говорил открыто, развивал перед ними свою экономическую систему, близкую к учению Г. Джорджа. Ему казалось, что она могла спасти Россию в трудном аграрном переустройстве, предпринимаемом в те дни: по стране шла «коллективизация».

Олегу предлагали ценою сохранения жизни полный отказ от своего мировоззрения и переход на работу в органы безопасности. Сестра привезла записку из тюрьмы: Олег просил только немного свежих яблок и еще передать «сестрам», чтоб его не забывали. Это все, что мы узнали. Об остальном — догадывались…

Тогда-то мы вспомнили недавний рассказ Олега: однажды летом 1928 года на Змейку забрел турист. Олег принял его радушно, они разговорились и так провели в беседе всю ночь, забыв о сне. Турист был убежденным марксистом. На прощанье

он крепко пожал Олегу руку и сказал: «Я не забуду нашу встречу, как ни расходимся мы с вами в убеждениях. Имейте в виду, если вам будет нужна серьезная помощь, у вас искренний благожелатель», — и представился секретарем ЦК партии Белоруссии.

Мы вспомнили тогда этот случай и отправили в Минск двух сестер Олега. N принял их, обещал выяснить обстоятельства дела, разобраться, помочь. Мы так и не узнали, сделал ли он что-либо для Олега. Через какое-то время он сам был арестован и, если не изменяет память, кончил самоубийством при аресте.

Олега расстреляли. Это случилось летом, по-видимому, в июне. День так и остался нам неизвестен. Матери принесли извещение о совершившемся факте в начале июля. Я жила в это время в деревне Дунино под Звенигородом с матерью, Александром Васильевичем и А. Н. Раттаем. На горушке (ведущей сейчас мимо дачи Пришвина к лесу из деревни) я встретила брата Валька Юрия, который вез мне ужасное известие. Я бросилась в Москву, к Марине Станиславовне и привезла ее к себе.

В одну из ночей я увидала следующий сон: я нахожусь в храме, где кончилась ночная служба. Брезжит рассвет. Молящиеся отдыхают, лежа или сидя на полу, неразличимые в полумраке, как груды серой сваленной одежды. Кое-где мерцают лампады. Все ожидают утреннюю службу. Вдруг распахивается дверь храма, в нее входит высокий Олег в простой длинной одежде, как рисуют воскресшего Христа. Он стремительно проходит между молящимися мимо меня, ни на кого не глядя, прямо в алтарь. Стоя на коленях, я протягиваю к нему руки, он отстраняет властно меня, говорит: «Нельзя. Не прикасайся!» — и исчезает в алтаре.

После гибели Олега в Ростове-на-Дону была выпущена юридическим издательством брошюра «Рыцари Михаила» (или что-то вроде того). Так строил свою дешевую карьеру какой-то журналист, может быть, и сам следователь Олега. Основная мысль брошюры, насколько помню, заключалась в том, что на Кавказе среди отшельников была контрреволюционная организация, под рясами у монахов «были шпоры», что монахи держали склад оружия и вдохновителем организации был «недоучившийся реалист» О. В. Поль. Прилагались портреты Олега и о. Даниила, снятые в заключении{193}.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Пустыня

В сущности, все теперь для меня на земле было кончено, и, тем не менее, я оставалась жить: так же ходила на службу, так же заботилась о матери и об Александре Васильевиче. Наступившей зимой мы переехали в новую квартиру в Тишинском переулке, в отстроенный кооперативный дом, где был у меня давно уже пай, и поселились вместе, втроем. Жизнь шла бездушно и уныло. Бороться стало не с чем — и в каком-то смысле мне стало легче жить. Оставалось одно очень ясное и простое — существовать для матери.

Помню, ранней весной нового 1932 года вечером я возвращаюсь домой. Я не замечаю людей, они сами сторонятся меня, видя текущие по щекам моим слезы, и принимают, вероятно, либо за пьяную, либо за безумную. Я не различаю под ногами дороги, ступая по лужам, спотыкаясь. Снова бреду с мокрыми ногами по грязи. Около дома я вспоминаю о матери. Очищаюсь, вытираю лицо, прихожу домой улыбаясь. Ни мать, ни Александр Васильевич ничего не замечают.

Александр Васильевич перестал для меня существовать. Оставалось убожество тупого и сонного сожительства, переживаемого как грех и стыд. На смену росло в душе ядовитое, холодное презрение к себе и к мужу. Даже жалости, столь свойственной моей натуре, даже жалости не возбуждал во мне теперь этот честный и добрый человек. А он — он начинал привязываться ко мне…

Мать понимала мою ошибку, мое преступление, но молчала. Так длилась жизнь в пустоте и притворстве — страшное, губительное существование. Оставалось сделать последнее: уничтожить самые следы воспоминаний. Я поехала за город к друзьям Удинцевым и у них в печке сожгла дневник, хранившийся с первых лет гимназии, и с ним тополевую веточку — мой символ победы над страданьем. Сожгла все письма Бори, Сережи, о. Даниила, Михаила Александровича Новоселова и, наконец, драгоценные письма Олега — все, кроме укорных для моей совести. Все следы моей радости были уничтожены. Я как будто совершила казнь собственной души. Тело оставалось жить.

Теперь, может быть, легко вбить осиновый кол в могилу этой женщины. После гибели Олега в целом мире не оставалось человека, который задумался бы над ее жизнью, захотел проникнуть туда сочувственным вниманием и, может быть, даже

ее оправдать. Но Судьба (хочется верить, что это был Промысел) оказалась великодушнее, и через десять томительных лет такой человек нашелся.

Вот почему приходится вести свой рассказ о том, как длилась эта жизнь еще одно десятилетие — тридцатых предвоенных лет.

Наперекор всему в эти годы я была особенно привлекательна и останавливала внимание встречных. Это было бесплодное цветение. Я расскажу о тех годах скупо, как о тяжелом сне, в надежде, что этот сон (или ложь) будет вычеркнут из книги жизни. Вернее всего, это будет Суд — испытание моей правдивости. Именно об этом пишет Пришвин: «Произведение искусства содержит, кроме всего, исповедь художника в том, как он, достигая правды своей картины, преодолел в себе давление жизненной лжи»[194].

В минуты, когда я решалась взглянуть на себя и свою жизнь со стороны, я ужасалась и недоумевала перед совершенной безвыходностью своего положения. И тем не менее, по словам Олега, «безвыходных положений не бывает», и выход к нам уже приближался.

В учреждениях шла повсеместно «чистка». Жертву обрекали заранее, чтобы выполнить намеченный процент. В нашем маленьком коллективе «вычистили» меня да еще одну — Марию Ивановну Голованову, прелестную девушку и лучшую нашу работницу.

В моем случае поводом послужило мое пальто, переделанное из офицерской шинели, а также мое дворянское происхождение, которое я не скрыла при опросе. Впрочем, я не пропала: тут же устроили меня на новую работу хорошо меня знавшие товарищи-коммунисты, бывавшие у нас изредка в доме. Помогла моя доверчивость и открытость с ними — они также до конца мне доверяли. Я стала работать теперь в новом заочном институте, только высшей марки: это был заочный институт при ЦК Партии, потом — при ВЦИКе. Не буду называть имена этих людей — их давно уже нет на свете. Один из них, осторожный чиновник, умер своей смертью не так давно и в полном благополучии. Другой погиб в заключении: это был более яркий характер и потому — более выдающийся политический деятель. Воспоминания о них удлинили бы и без того растянувшийся рассказ. Запишу только сохранившиеся в памяти слова первого из них, сказанные как-то со снисходительной усмешкой:

— Мне нравятся ваши христиане: они чисты, как дети. Мы их плохо знаем, они, право, не заслуживают преследования. Вас я тоже не мог бы обмануть: это все равно что обмануть ребенка.

Такие слова остаются в памяти и проходят с тобою всю жизнь. По ним, как по вехам, можно было бы построить подлинную историю.

Александр Васильевич, выполняющий любое дело, на которое решался, не за страх, а за совесть, тем не менее, тоже был «вычищен» из Центросоюза. Один из аргументов при чистке был тот, что его «неудобно по непонятной причине звать на „ты“, как прочих» — повод в те дни найти было легко.

Для прочности обвинений в мое отсутствие были подтасованы в служебном столе бумаги. Кроме того, была подготовлена ложная свидетельница — выдвиженка из уборщиц, которую я же обучала своему делу и считала своим другом.

Партийная и советская чистка разыгралась по заранее подготовленным нотам. Это было понятно всем. Вот почему, когда проводилась наша чистка, присутствовавшие товарищи молчали. Героев выступать на бесполезную защиту не нашлось. Но когда судьи удалились, каждый из товарищей один за другим облегчал свою совесть выражением возмущения и сочувствия.

На следующий день (я сдавала дела и была еще на работе) сгорел дом ближайшей моей сотрудницы Зинаиды Васильевны Егоровой. Она еле выскочила из огня. На работу она пришла потрясенной. У нее дрожали руки, губы, дергалось лицо, и она повторяла вслух сама себе, никого не стесняясь, ни о ком не думая, как безумная: «Это мне за то, что я промолчала!» Все делали вид, что не слышат, не понимают ее слов.

Чистка свелась в этот раз, в конце концов, к игре в «свои соседи»: люди легко устраивались в другие учреждения. Всем было понятно: «вычищенные» — это лучшие работники. Но и сами «вычищенные» считали себя почти счастливыми: они могли вытащить куда более худую карту в этой игре — они могли быть арестованы как «вредители». Такую «карту» вытащил наш друг Борис Дмитриевич Удинцев, которого, как издательского работника, обвинили в «бумажном вредительстве» — шла очередная кампания по экономии бумаги. Его долго держали в тюрьме и сослали, наконец, в Тюмень на три года. Это был самый легкий срок — «за недоказанностью преступления».

В тот год была арестована Марина Станиславовна. После гибели сына она обратилась в православие и утешалась тем, что пела в церковном хоре храма Большой Крест, не бросая в то же время своей преподавательской работы. Отбыв ссылку, она осталась жить в Алма-Ате, где ее нашел отбывший лагерное заключение Боря Корди. Начальство в лагере, по-видимому, ценило его за кроткий характер и добросовестную работу: он был раньше срока освобожден. Он поселился вместе с Мариной

Станиславовной, которая приняла в ссылке тайное монашество. В Алма-Ате она продолжала преподавать в музыкальном училище. Боря работал гидротехником — эту специальность он приобрел в лагерях.

Алма-Ата была одним из центров ссылки, и оба они отдавали все силы на помощь больным и бедствовавшим людям. В конце тридцатых годов они оба были вновь арестованы. Марина Станиславовна умерла в тюрьме, не дождавшись приговора. В эти же годы был арестован и сослан в лагерь о. Роман: шло уже поголовное уничтожение верующих, без различия направлений. Сосланы были на разные сроки в различные условия ближайшие ему по братству люди. Среди прочих были Зина Барютина и Лев Николаевич Виноградский, близкий семье Барютиных человек.

Отбыв ссылку в глухой северной деревне, Зина вернулась в Москву, ей удалось здесь вновь прописаться и даже доработать до старости на скромной службе. Льву Николаевичу выпала доля куда потрудней. Он всю жизнь с тех пор проводил либо в лагерях, либо в ссылках, сроки которых повторялись. Только под самый конец, больной, измученный, он получил полную реабилитацию. После того он бросил свою врачебную деятельность и принял диаконство, решив посвятить остаток дней своих Церкви. От священства, которое ему предлагали, он отказывался, считая себя его недостойным.

Левушка был очень невыразительным внешне человеком и, как говорят, «со странностями» в поведении. Большинство людей относились к нему снисходительно и даже насмешливо. На самом деле он был предан только одной мысли — благоговейному предстоянию перед Богом и потому лишен всякого житейского лукавства. После Бога он был предан своей жене. Когда Лева попал впервые в тюрьму, Людмила Барютина, движимая единственно состраданием, послала ему тут же в тюрьму свое согласие. Так, пожалев его однажды, она отдала ему душу, полюбила его и до конца безропотно несла свой подвиг. А жизнь ей выдалась трудная. Когда Лева в счастливый короткий промежуток между первым и вторым заключением принес невесте подарок — золотой нательный крест, невеста смутилась, а мать ее Мария Амфиановна спокойно ей сказала:

— Ну что же, что крест? Не пугайся, носи его, на все — воля Божья.

Людмила и Лев поженились. Она сияла от радости, стоя в подвенечном наряде. После свадьбы Лева спросил свою молодую жену, как хочет она жить с ним: иметь детей и жить для семьи или сохранить свою девственность и жить в предстоянии перед Богом? Людмила ответила, что согласна на любое решение — как

ему самому лучше, а она будет счастлива с ним, куда бы он ее ни повел. Он выбрал труднейшее, и так они прожили в глубокой взаимной любви, но Левушка сохранил ее чистоту, и Людмила так и не узнала земной страсти. Она следовала за мужем повсюду, как некогда «протопопица» за своим несгибаемым Аввакумом.

Новые лагеря, потом ссылка в Калугу, потом оккупация немцев и работа в госпитале под их началом. Немцы отступают — Лева остается. Новый арест, обвинение за работу в оккупации, угроза расстрела. К счастью, много ходатаев было у Левы: свидетелей его добрых и патриотических дел. Расстрел был заменен ссылкой. Наконец, крушение сталинского режима, и Лева получает избавление — реабилитацию.

Диаконство под началом у трудных, может быть, даже неверующих, священников окончилось переводом в приход, где впервые в жизни его оценили по достоинству. Тут бы ему и пожить… Но пришла смертельная болезнь, сведшая его за полгода в могилу. Как хотелось ему пожить хотя бы для Людмилы, не видавшей еще покоя! В день смерти он об этом сказал своей жене.

— Левушка, предадимся воле Божьей. Нам с тобой она дороже нашей собственной воли, — так ответила ему Людмила.

После смерти мужа Людмила снова, как в детстве, вернулась в семью младшей сестрой. Давно уже и Женя оплакала погибшего на войне сына и похоронила мужа. Зина, Катя — сестры снова оказались вместе, как в далеком прошлом. После смерти Льва Николаевича все четверо они затужили, что он скончался простым диаконом, а мог бы украсить по достоинству своему церковь, как священник или епископ. И даже во сне не было им утешения: Лева не снился упорно никому. Приснился он, как ни странно, мне. Будто приходит и говорит: «Скажи им, чтоб не сокрушались: я не то что не дошел, я уже через это переступил…»

Незаметно перекинулась в своем рассказе через многие годы и вот теперь мне приходится вновь возвращаться в те 1930-е, когда мученичество и исповедничество у христиан только еще начиналось: я теряла самых близких друзей, как будто медленно обходила престол, прикладываясь к останкам святых и чувствуя на голове тяжелую, ведущую меня руку. Сон мой осуществлялся.

М. А. Новоселов был приговорен к длительному одиночному заключению, которое он отбывал в Суздальском и Ярославском изоляторах и которое оказалось для него пожизненным. Там он, я думаю, мог, во исполнение сна, предаваться непрестанной молитве. Старушки, посылавшие ему передачи, потеряли его след во время Отечественной войны. Посылки стали возвращаться

обратно без объяснения: по-видимому, молитва Михаила Александровича Новоселова на земле была окончена.

Только однажды получили о нем живое свидетельство: к старушкам пришел освободившийся из заключения высылавшийся на родину незнакомый турок. Он выполнял данное Новоселову обещание — передать от него благословение и благодарность. Турок встретил Михаила Александровича в тюремной больнице, где тот обратил его в христианство. Он говорил о Михаиле Александровиче как о святом. Сон о церкви осуществился до конца.

Мы с Александром Васильевичем и с мамой оставались теперь одни от нашего прошлого и спасались в обыденной жизни служащих по учреждениям. Мы слушали радио, ездили в отпуск по путевкам, мы походили на серых обывателей. В эти дни разыскал нас и пришел к нам Абрамов. Мы не виделись после нашего студенческого спора в 1921 году. Это был теперь солидный партиец с хорошим положением, но было заметно, что тот нравственный огонь пытливости и поисков, который делал его тогда привлекательным и даже близким, давно потух. И лицо у него было теперь особенно серым, даже землистым.

Два друга, предупредительно обходя углы разногласий, ровно и бесстрастно перебирали воспоминания юности. Но мы чувствовали, что о чем-то главном Абрамов и хочет и не решается сказать. Уже перед самым уходом он собрался с духом, застеснялся, засветился изнутри и сказал нам:

— У меня дочка растет, еще маленькая, вот, — достал из внутреннего кармана бумажник, вынул оттуда несколько фотографий ребенка, и мы стали с изумлением рассматривать не столько фотографии, сколько самого Абрамова: перед нами снова был тот молодой человек, с которым мы десять лет назад жарко и бесплодно вели спор.

— Это такое счастье, — говорил он, перебирая свои сокровища, — торопитесь с этим! — закончил он с наивной горячностью, обращаясь ко мне. — Это единственное счастье, и в нем вся правда жизни. Ничего иного и нет.

«А как же ваши слова десять лет назад, что вы пожертвуете своим ребенком ради детей будущего? Вы помните их?» — так хотелось мне спросить Абрамова, но я удержалась и не стала выбивать оружие из рук своего неожиданно сдавшего все позиции противника. Я промолчала и с вежливой улыбкой рассматривала фотографии.

— Торопитесь, торопитесь, — проговорил Абрамов, прощаясь со мною в дверях.

После его ухода я отчетливо поняла, что боюсь именно этого

— иметь ребенка, как последнего унижения и обмана в моем несостоявшемся браке.

Так я была лишена даже и «абрамовского» счастья.

Я смотрела в окно: он шел, согнувшийся, раньше времени постаревший, не нашедший ничего достойного вечности в своих идеях и обращающийся теперь, как за милостыней, снова к истокам природы. Вряд ли он отдавал себе отчет в своем поражении так же ясно, как отдавала отчет в своем поражении себе я.

Мы больше никогда с Абрамовым не видались: честный коммунист, может быть, он, подобно тысячам других, погиб в те страшные годы.

Люди вокруг становились для нас не только неинтересными — они были в большинстве случаев опасны. Мы избегали всяких новых встреч и глубоких связей. Это тягостное существование, в котором не было никакой живой свободной деятельности, всецело обращенное на личные переживания, делало вокруг призрачным все, кроме своей боли. В этой жизни «для себя» я задыхалась, значит, была еще нормальным и живым человеком. Надо было выйти «из себя», но как? И вот пришло мне спасение.

Надо сказать, что храм Большого Креста, не поминавший митрополита Сергия, еще держался к началу 1932 года. Бесстрашно (с точки зрения мирской — бессмысленно) он отдавал своих детей на погибель. Ни с кем в этом храме я не была близко знакома, но обо мне еще видимо помнили. И вот новый очередной священник, появившийся на место только что арестованного, прислал сказать, что хочет посетить наш дом. Меня безотчетно это насторожило, но было бы отступничеством отказать ему в его желании, и он пришел к нам и отслужил у нас на дому литургию. Священник оказался либо подставным филером, либо слабым человеком: все люди, которых он под тем или иным предлогом посетил, были арестованы. В их числе оказались и мы с Александром Васильевичем{195}. Это случилось ранней весной.

Два новых захлестывающих душу переживания уносила я с собой, когда меня сажали в тюремную машину. Первое — это была жалость к матери, с такой силой я ее еще не испытывала до сих пор. Воспоминание об ее опрокинутом ровно-белом, как бы посыпанном мукой лице в момент расставания разрывало физической болью сердце. Из последних сил держалась она на ногах, но как только нас увезли, тут же свалилась без сознания. Подобрала ее все та же Шура, почуявшая, как всегда, несчастье. Она и выхаживала маму в эти первые дни. Пережив случившееся,

мама быстро оправилась и начала свою новую мужественную жизнь в борьбе за меня. Но я об этом ничего не знала. Мысль о матери заполняла меня безраздельно, и не было ничего, самого страшного, на что бы я ни решилась, только бы ее утешить и спасти. Об этом и ни о чем другом я думала все дни и ночи своего заключения, и никогда еще так остро, как в то страшное время, я не любила свою мать.

Второе, не менее сильное чувство, это было освобождение от плена — своего брака, от плена лжи: очищение, обновляющая уверенность, что только таким путем я могу спастись и выйти на свою дорогу.

«Я свободна!» — думала я, входя со страхом в двери Лубянской тюрьмы, испытывая вместе с тем нечто похожее даже на радость. Это не выдумка моя, рассказчика, это было одно из самых сильных в жизни переживаний: сознание освобождения на пороге тюрьмы!

С Александром Васильевичем нас тут же разъединили: я была уверена, что навсегда, и именно этому радовалась. Меня долго вели по коридорам тюрьмы, переделанной из здания гостиницы, и, наконец, я очутилась в продолговатой комнате с очень высоким потолком, бывшем гостиничном номере об одно окно, зарешеченное и закрытое снаружи вдобавок наклонным козырьком. Из-за этого в комнате было очень душно. Я заметила сразу прекрасно натертый паркет, а в углу — ведро («парашу»).

Несколько женщин — кто лежал, кто сидел на узких койках, стоящих голова к голове по стенам. Бледные лица, серьезные без улыбки, настороженно обратились ко мне. Мое «здравствуйте» прозвучало здесь неуместно и осталось без ответа. Мне молча указали мою койку. Сколько времени суждено мне так сидеть в бездействии под неусыпным «глазком» в двери? Этот глазок и правила, под ним висевшие, где точно регламентировались все возможные наши проступки («не подходить к окну, не говорить громко и т. д.») и указывались последующие за них наказания. Сколько раз глядя на них я думала: как не ценят люди на воле своего простого и несомненного счастья не видеть с утра и до утра (в камере не тушился на ночь яркий свет) одни и те же слова угрозы, не видеть равнодушного человеческого глаза, время от времени глядящего на тебя сквозь дверь.

Глаза дежурных охранников были разные, и так ли они все были к нам бесчеловечно равнодушны? Помню, прежде чем попасть мне в эту постоянную камеру, меня привели на несколько часов в тесную каморку без окон, наподобие ящика, в котором нельзя было вытянуться во весь рост, где не хватало воздуха, и я стала задыхаться. Мной овладел ужас. И тут я увидала, что в

дырочку (в «глазок») на меня смотрит человеческий глаз, и я услыхала тихий голос, полный несомненного сочувствия: «Не волнуйтесь, вас сейчас отсюда переведут, немного потерпите!» Только голос и зрачок какого-то тоже зависимого человека: конвоира, часового — и мне сразу стало легче дышать.

Был и другой случай в нашей общей камере. Ежедневно часовой входил к нам по утрам и открывал наше окно, чтоб проветрить помещение. Солдаты сменялись, и в очередь с ними появлялся совсем молодой белокурый паренек. Он с любопытством разглядывал нас. Но однажды, когда нам было отчего-то полегче на душе, одна из нас встретила его улыбкой, и потом все мы почему-то ему заулыбались. Парень остановился на минуту, как бы донельзя изумленный, его молодое лицо дрогнуло, и он растерянно нам в ответ в голос засмеялся. Потом, видно, вспомнил, что совершил преступление, обеими руками закрыл лицо и бросился опрометью к двери. А в двери за ним, конечно, следил глаз уже другого человека, и больше наш парень не появился никогда — поплатился, наверное, за свою простоту.

Нас не истязали, не подвергали прямым физическим пыткам. Они, наверное, существовали для других категорий преступников. В чем же было преступление этих пяти женщин, с которыми я провела два месяца во внутренней Лубянской тюрьме? Однажды мы пообещали друг другу, что оставшиеся в живых напишут историю нашей камеры. Я выполняю это обещание.

Пожилая женщина, привезенная вместе со мной, Екатерина Павловна Анурова, в прошлом учительница и либералка, как и все лучшие женщины ее поколения, занималась кооперацией, разновидностью «хождения в народ» XX века. Я видела впоследствии ее мать — это была совсем простая крестьянская женщина в платочке узлом под подбородок.

Екатерина Павловна никогда не выходила замуж и, подобно Ольге Александровне Немчиновой, отдала жизнь идее служения добру. Под старость она поняла это добро как служение Христовой Церкви, потому что только здесь она увидала его неугасимо теплящимся сквозь изменчивую историю мира. Она была предана идее Церкви до самозабвения. Они с матерью, как и я со своей, были одни на всем белом свете.

Екатерина Павловна была сурова, фанатична и невзлюбила меня сразу. Ей подозрительно было во мне все: начиная со свободы моей критики сектантства и формализма, встреченного мною и среди церковных людей, здесь именно меня и оскорблявших, и кончая моей короткой стрижкой и завивкой. Мы провели с Екатериной Павловной бок о бок полгода по тюрьмам,

мы заботились друг о друге, как могли, но она ни разу мне не улыбнулась. За время нашего совместного заключения Екатерина Павловна ни разу не нарушила поста, несмотря на то, что кормили нас либо мясной похлебкой из каких-то отбросов, либо густо сваренной перловой кашей без всякой приправы. Еще полагался нам черный хлеб. Хлебом с водой и питалась Екатерина Павловна. На Лубянке передачи из дому не полагались.

Екатерина Павловна, как и я, не состояла ни в каких политических организациях и не имела к ним расположения. Но она не посещала храмов, где поминался митрополит Сергий, и считала его «политику» в Церкви падением православия. При аресте она успела условиться с матерью ни в чем не обманывать из «жалости» друг друга и принять покорно свою судьбу.

Зоя Петрова, молодая прекрасно сложенная, привлекательная женщина с чудесным голосом. Даже на Лубянке она потихоньку пробовала нам напевать. Ее привезли сейчас неизвестно по какой причине из Соловецких лагерей, где она отбывала 10 лет наказания взамен расстрела. По ее словам, она принадлежала к компании московской молодежи, увлекавшейся в те годы запрещенной поэзией Есенина. Вся их вина заключалась, возможно, в вольных разговорах, но Зою обвинили в «антиколхозном направлении» их кружка. Я не берусь быть ее адвокатом, но… Зоя — и политика! Я могу свидетельствовать, что не видала женщину «типичнее» Зои, женщину, лишенную каких бы то ни было общественных идей и интересов. Она была призвана только к женской жизни, то есть любви к мужу и детям, и готова была из рук всякого мужчины легко принять и так же легко отдать любые идеи, если только она отдавала этому мужчине в обмен свою душу и тело. Наказывать ее лишением свободы было, по меньшей мере, бессмысленно.

В лагере она влюбилась в одного из своих начальников (Зоя пела в лагерном театре и была на общем фоне очень заметна), он стал ее негласным мужем и обещал жениться на ней по отбытии срока. Это случалось нередко в лагерях, тем более что и сам он был из заключенных. И вот теперь начинается пересмотр ее старого дела. Ей угрожали новым обвинением. Она надеется теперь на своего «муженька», о котором говорит с восторгом и преданностью. Надеется, что «онто ее отхлопочет»!

И она поет нам вполголоса и думает только об одном — о своей загубленной и уходящей молодости. Как ей хочется жить! Внезапно разбуженная на ночной допрос, она бледнеет, но привычными, жалкими, трогательными движениями пробует пудрить носик зубным порошком (нам выдавали на Лубянке

порошок и мыло!). Мы, остающиеся, наблюдаем и жалеем ее, такую молодую, красивую и уже погубленную. Зоя возвращается в камеру через несколько часов, измученная, валится без слов на койку и долго плачет в подушку. Наутро она рассказывает нам… Все ясно: «муженек» за нее не заступился, есть признаки, что он даже делает себе за счет Зои карьеру. Победила ли Зоя разочарование, осталась ли сама жива? — на эти вопросы я уже не получила ответа.

На третьей койке, почти никогда не вставая и не шевелясь, лежало существо, похожее на индусского факира. Это был скелет, обтянутый бледной кожей и лишенный женственных форм. Голова скелета была перевязана длинным женским чулком, наподобие чалмы, чтобы не мешали волосы. Тело тонуло в полуистлевшем халате и просвечивало сквозь дыры. Ввалившиеся глаза сосредоточенно смотрели внутрь себя. Но все же это была женщина, и звали ее Юлией Михайловной де-Бособр. Когда Юлия Михайловна изредка нам улыбалась — она становилась лучше красавицы. Сидела она здесь уже два года по делу своего мужа, дипломата, и была уверена, что его уже нет в живых. К своей судьбе она относилась с завидным равнодушием.

Впоследствии я узнала, что муж ее был расстрелян, а сама она получила сравнительно легкое наказание и, отбыв его, была «выкуплена» в Англию своей бонной за крупную сумму валютой, что практиковалось в сталинской России.

Четвертой сокамерницей была жена известного ленинградского ботаника, ближайшего помощника Николая Ивановича Вавилова, ни имени, ни фамилии которой я не помню. Несомненно, что муж ее был невинным, влюбленным в науку человеком, подобно Н. И. Вавилову. Судьба этой женщины осталась мне неизвестной.

Пятой была молчаливая московская «советская» дама средней руки, жена какого-то партийного чиновника. Она пробыла с нами недолго, и мы почему-то инстинктивно опасались при ней откровенно говорить. Ее вызывали два раза на допрос. После второго допроса она пришла совершенно успокоенная, с вечера собрала свой нехитрый багаж и прилегла на койку, не раздеваясь. В полночь ее вызвали «с вещами». Это значило — ее переводят в другое место либо выпускают. Она сдержанно с нами простилась. Было ясно, что она выходит на волю. Ясно нам было и другое — на каких условиях ее выпускают.

Шестой была я. День и ночь ломала я себе голову, какое обвинение мне предъявят и что было поводом к моему аресту. Впрочем, терзала меня лишь одна мысль — о матери. Но в первую же ночь я получила неожиданное утешение.

Мне приснились Олег и Михаил Александрович. Они находились со мной в каком-то помещении, похожем на храм. Одежда, лица и самый воздух вокруг — все светилось. Они радостно обнимали меня и говорили: «Наконец-то ты с нами!» Вот и все мое утешение, после чего я проснулась успокоенной и утвержденной.

С Александром Васильевичем в сердце своем я рассталась навсегда: ложь и несчастье моей жизни кончились! А если встретимся, думала я, он останется мне другом и братом, как оно и было между нами сначала. Мы забудем наш несчастный брак.

Наконец через две недели ожидания меня вызывают днем и ведут длинными коридорами и лестницами, почти роскошными, с ковровыми дорожками. Только пролеты клеток для чего-то густо зарешечены. Догадываюсь: люди кончали собой, бросаясь в пролеты…

По внутренним переходам, наконец, меня приводят в учреждение, где все обычно: по коридору ходят свободно люди. Много воздуха и света. Меня вводят в один из кабинетов. Часовой остается за дверью.

За столом молодой человек, развинченный, бледный, с изящно-небрежными манерами — ему бы танцевать в ночном баре, потягивать вино из тонкого бокала… Обостренными нервами ощущаю, что я для него «не фигура», мне не придают особого значения. Молодой человек меня недолго допрашивает и предъявляет обвинение: я арестована за участие в организации «ИПЦ». Я ничего не понимаю. Молодой человек мне не верит. Наконец снисходительно объясняет:

— Истинно-православная церковь.

Только-то! У меня скатывается камень с сердца. Ведь могли придумать что-нибудь посерьезнее: я наслушалась уже от Зои, поняла по скупым высказываниям Юлии Михайловны. Следователь явно недоумевает, пытается внушить мне всю тяжесть преступлений этой «организации». Я действительно чувствую облегчение и не могу его скрыть, мне легко говорить:

— Никакой организации нет, это чистые люди, не скрывающие своей жизни. Ни с кем из священников я не связана.

— А священник, служивший у вас на дому литургию? — спрашивает молодой человек. И тут я понимаю, что это был филер.

— Его-то я знаю меньше всех.

— Назовите нам остальных!

Но я действительно не знаю никаких имен. Следователь пытается меня запугивать моей матерью, что она тоже

арестована, во всем созналась, она теперь при смерти. Снова что-то внутри подсказывает мне, что все это ложь.

Меня отводят обратно в камеру с наказом «подумать». Екатерине Павловне предъявляют то же обвинение, что и мне. Мы подведены под один трафарет, и судьба наша, по-видимому, уже предрешена. Нам остается ждать. Через две недели меня вновь вызывают. На этот раз я в кабинете какого-то высокого начальника. Комната огромна. Начальник вышел и оставил меня одну. Я замечаю, что на окнах нет решеток. Наконец он возвращается. Я сижу на кончике стула. Начальник ходит передо мной и с любопытством разглядывает. Потом роняет отеческим тоном:

— Нет, такую ни за что в монастырь не возьмут! — Я вопросительно на него взглядываю.

— Любуюсь вами, — добавляет он примирительно и даже ласково.

Я настораживаюсь. К чему это поведет?

— Не буду от вас скрывать — за вас хлопочут ваши друзья и мои товарищи-коммунисты. Они ручаются за вас и готовы взять на поруки. Я — опытный чекист и вижу, что они имеют основания. Вы — белая ворона, случайно залетевшая в черную стаю. Мы вас переделаем. Но я сам связан законом, и, чтоб освободить вас, я должен подвести тоже достаточные основания для «тройки», все решающей. Основанием может быть ваше письменное согласие работать у нас.

— Быть филером?

— Как резко! — морщится он. — К тому же это называется иначе и не считается позорным. Но я вас не заставлю делать эту работу: вы слишком наивны и прямы. Я даю вам слово коммуниста, что это только формальный предлог для вашего освобождения. Решено? — Он протягивает мне руку. (Заключенным руки не подают!)

В это время телефонный звонок прерывает наш разговор. Начальник, сияя доброй улыбкой, разговаривает по телефону с ребенком:

— Значит, завтра едем? Только помни, чтоб уроки были сделаны с вечера.

Кладет трубку. Почти застенчиво:

— Это я с дочкой… Видите, какая погода — май! Собираемся на дачу за город. (Подразумевая между слов: «и ты могла бы так же…») Итак, решено? Вас тоже дожидается матушка. (Значит, мама свободна!) Посидите здесь в коридоре. Вас вызовет мой помощник и все оформит. А моя фамилия — Тучков.

«Тучков! — вспоминаю я. — Главный следователь по

церковным делам, самое страшное имя. К нему-то пробивались и не могли пробиться наши старушки по делу Новоселова».

— А как насчет Бога? — подмигивает мне на прощанье весело Тучков. — Ну, ничего, ничего, это пройдет у вас постепенно. Вы — жертва переходной эпохи, и вас винить не приходится. Это не вина, а беда! Видите, какой я философ: вы можете мне доверять.

Он трясет мне руку, и я одна без конвоира выхожу в коридор. Почти свободна… Все в голове моей медленно и тяжело кружится: стены, пол, мои мысли, сомнения, надежды… Это же крупный чиновник, он не опустится до прямой лжи, это не тот развинченный юноша. Решиться ему поверить?

Из противоположной двери в коридор выходит священник. Он идет со скромным достоинством, в летней соломенной шляпе, в темно-лиловом подряснике и с золотым крестом на груди. С ним нет конвоира. У дверей кабинета, откуда он вышел, с ним прощается вежливо за руку маленький, черный, сурового вида человек. Священник неторопливо уходит по плюшевым дорожкам. Он приходил сюда как свободный и на свободу, конечно, уходит… Значит, он… Меня начинает колотить мелкая дрожь.

В это время маленький мрачный человек делает мне знак рукой. Я встаю и вхожу в его кабинет. Это и есть помощник Тучкова. Он делает мне любезную улыбку, но глаза его не меняют мрачного выражения. Он читает заготовленную заранее бумагу — текст моего согласия сотрудничать у них. С каждым словом я чувствую, что тону и нет мне уже спасения. Я мысленно слежу за «свободным» священником, который идет сейчас к выходу по плюшевым дорожкам.

— Ваша фамилия — Майская. Запомните, — слышу я слова черного человечка. («Зачем мне вторая фамилия?» — думаю я.)

— Сегодня ночью вы выйдете на свободу, — продолжает черный. — В камере никому ни слова. И не показывайте своей радости.

Он протягивает мне бумагу и ручку. Я подписываю. Бумага лежит перед ним на столе. И я не свожу с нее глаз.

— Две недели отдыха, — говорит чекист. И тут я замечаю в его тоне новое: усталое пренебрежение.

— Вы придете (назначает мне точно день, час, место) и получите задание. Не вздумайте не прийти!

Эта последняя угроза и тот уходящий священник — как я могу им верить? Я автоматически, но с полной решимостью протягиваю руку, хватаю страшный лист, лежащий между мной и следователем, и рву его на мельчайшие куски.

Следователь разъяренно стучит кулаком, осыпает меня ругательствами и угрозами. Но теперь даже угрозы в адрес моей

мамы меня не смущают. Я повторяю себе: лучше нам отмучиться обеим жалкий остаток дней, чем… Но только бы на одну минуту повидаться, чтоб передать ей свое мужество, свое решение. И тогда — на любую муку. Так думаю я уже потом, прислушиваясь к ровному дыханию спящих в камере. И тут я замечаю, что Юлия Михайловна тоже не спит и внимательно следит за мною. Я подхожу к ней, но мне не приходится ничего ей рассказывать: она и без слов все давно поняла.

— Не делайте этого — вы погубите свою мать и погибнете сами. Это соблазн, их обычный прием — обман. Вы поступили правильно и не сомневайтесь.

Она крестит меня и по-матерински целует. Мне становится просто на душе, и я засыпаю.

Ненадолго, впрочем, я засыпаю. Мне не дают отдыха в ту ночь. На рассвете меня снова ведут — теперь уже к Тучкову. Он садится со мной рядом на диван и начинает гневно поносить своего отсутствующего помощника:

— Неумный человек, я давно это вижу! Он не понял ни вас, ни моего задания! Вы будете отныне иметь дело только со мной одним, обещаю вам.

Напрасно теперь уговаривает меня Тучков — я остаюсь непреклонна. Наконец я вижу: он понимает, меня теперь ему не соблазнить и не запугать. Весь наигранный лоск и любезность сползают с Тучкова. Он как бы линяет у меня на глазах и становится равнодушным ко мне и к судьбе моей усталым и серым чиновником. Он заученными фразами произносит последние угрозы.

«Десять лет лагерей? Не боюсь, — думаю я про себя. — Буду добросовестно работать, и они сами сбавят мне срок: хорошие работники нужны. Выдуманное ИПЦ — не такое дело, из-за которого убивают».

Наконец, он безразлично поводит плечами, нажимает кнопку. Входит конвоир и уводит меня.

На следующий день меня вместе с Екатериной Павловной вызывают «с вещами». Суровая женщина без единого слова, будто она немая, раздевает меня донага и осматривает. Сердце мое часто колотится от страха перед неизвестностью.

Нас сажают в закрытый черный грузовик, куда-то везут. Внутренние стены кузова исписаны: это последние слова прощанья, бессильные крики о помощи. Многие из них знали: это их последний путь. Почему не потрудились стереть эти следы? Может быть, оставлены для устрашения последующих?

Нас выгружают на внутреннем дворе Бутырской тюрьмы. Мы с Екатериной Павловной снова вместе в камере, до отказу

набитой женщинами: это уже не «комфортабельная» Лубянка с ее паркетными полами! И тут я получаю первую передачу с воли — я вижу мамину родную руку: она жива и на свободе!

И еще прикосновение родной руки: тюремный врач, женщина с умным и нежным лицом, без единой улыбки (наверное, запрещена), я запомнила только ее имя Варвара, осматривает меня и назначает в больницу. Конечно, это рука Александра Николаевича! Ведь из больницы не берут на допросы, в больнице дают отдельные постели с простынями. В больнице день и ночь открыты окна (пусть они и зарешечены) и можно досыта дышать.

В конце лета нас вызывают с Екатериной Павловной из камеры и зачитывают приговор: по 3 года в Западную Сибирь этапом.

— Этапом! — внушительно повторяет прочитавший приговор человек.

В камере мне объясняют: этап — это долгий путь, месяцами, с остановками в пересыльных тюрьмах. Этап — это входит в состав наказания, а некоторых заключенных выпускают на волю, и они сами едут к месту своей высылки.

Перед этапом полагалось свиданье с родными. В большой комнате, разгороженной двумя рядами решеток, между которыми ходит часовой, собрались люди. По одну сторону — мы, заключенные, по другую — пришедшие к нам на свиданье родные. Я с трудом узнаю свою маму: исхудалая, постаревшая. Она судорожно сжимает в руках букетик цветов. Губы ей не повинуются, и она жалко мне улыбается. Стоит страшный шум, все стараются перекричать друг друга. Я улыбаюсь: мне и впрямь бодро, уверенно стало жить.

Я говорю маме о том, что она приедет ко мне, что я буду в вольной ссылке. Мама не слышит слов, она жадно всматривается в меня. Теперь я вечно буду ее вспоминать, это измученное лицо, отделенное от нас двойной решеткой, как вспоминала до тех пор столько лет лицо своего отца. Раздается резкий звонок: прощанье! Мама протягивает мне цветы. Часовой бросается к ней с угрозой. Слава Богу, все обходится его окриком. Нас выводят. Еще одна невеселая страница жизни перевернута{196}.

Дня через два нас выводят на так называемый «внутренний вокзал» Бутырки. Это огромная бетонированная площадка, где сгружены сотни отправляемых этапом мужчин и женщин. И вдруг я замечаю в толпе улыбающееся мне лицо Александра Васильевича. Мы даже можем переговариваться с ним. Он назначен, оказывается, вместе со мной, в одно место, одним этапом. Старый добрый друг! Все следы нашей совместной жизни

стерты последними месяцами, они забыты! Одно только важно — не вернуться к прошлому. И тут я думаю с опасением: «Зачем нас назначили вместе?»

Я так и не узнала, была ли то просьба Александра Васильевича, которую уважили наши судьи, была ли то их «забота» или случайность.

У меня, кажется, повышена температура, болит горло. Наверное, очередная ангина, которой я подвержена. Как же я буду больная в этапе? Вижу, в белом халате доктор Варвара обходит «вокзал», подходит, осматривает мое горло, хмурится…

— Ангина… Я могу вас, конечно, задержать до следующего этапа. Но ваш муж едет вместе… Вы не понимаете, что такое этап… И вся обстановка вашей будущей жизни… Нельзя отставать от этого этапа, раз в нем — свой человек… Поезжайте вместе… Нельзя отставать — послушайте меня!

Так решается докторшей моя судьба.

Нас грузят в «черного ворона». Мужчин — в отдельные темные без окон кабины, женщины стоят, плотно прижавшись друг к другу. На улице — сияющий жаркий день, мы видим его в узкие зарешеченные щели. Черная машина долго стоит на солнце, прежде чем тронуться в путь, может быть, умышленно ее накаляют, становится нечем дышать. Екатерине Павловне дурно, у нее больное сердце. Она теряет сознание, но так плотно зажата между нами, что не падает, и масса наших тел поддерживает ее на весу…

Наконец, машина трогается. В низко расположенные щели я вижу мелькающие тротуары, между ними иногда зеленую траву, идут бесчисленные ноги — женские, мужские, ноги свободных счастливых людей. Но люди эти не сознают своего счастья, как совсем недавно не ценила его и я. Они не знают, что ходить и дышать свободно — вот все, что надо для человека! Я должна это помнить, если только ко мне это счастье снова вернется!

«Ворон» останавливается. Но и тут проходят бесконечные минуты, пока открываются его двери и становится возможным дышать. «Дышать» — это первый шаг к счастью. Мы вытаскиваем Екатерину Павловну и приводим ее в чувство. Открываются кабины мужчин. Александр Васильевич почему-то из своей не выходит. Его выводят оттуда конвоиры: оказывается, он тоже потерял сознание от духоты. Там было еще труднее. Он тут же приходит в себя и виновато улыбается.

Сколько у людей общего, роднящего, и как они умеют мучить друг друга.

Нас выстраивают и ведут к поезду. Я оглядываюсь, узнаю: это зады Казанского вокзала. Я тащу свой чемодан, в другой руке —

узел Екатерины Павловны. Ее самую ведут под руки.

Нас погружают в вагон с зарешеченными окнами. Я впервые узнаю, что такое «столыпинский вагон». Помещения, где сидят в два ряда арестанты, не имеют дверей: они отделены от коридора решеткой. Люди сидят впритык друг к другу, потные, задыхающиеся, сидят так неделями, от этапа до этапа очередной пересыльной тюрьмы. Здесь молодые и старухи, здоровые и больные. Убийцы и воры едут вместе с «политическими», с невинными упрямыми старухами, вроде Екатерины Павловны и меня…

А по коридору за решеткой день и ночь ходит часовой. Поезд стоит долго. Я жадно присматриваюсь через двойную решетку к тому, что делается на воле: видно небо, зелень деревьев, изредка фигуры людей на платформе. И вдруг, о чудо! я узнаю знакомую фигуру: это Александр Николаевич Раттай! Маленький, съежившийся, ставший еще меньше от страха, он, тем не менее, бодро и упрямо вышагивает вдоль вагона, стараясь сквозь решетку что-то рассмотреть. Я вижу, как он время от времени вытирает слезы… Мне хочется ему крикнуть, что я вижу его, но этого делать нельзя: я погублю Александра Николаевича. Непонятно, как мог он пробраться сюда сквозь охрану и почему не уводят его?

И потянулись нескончаемые дни и ночи. Моя открытка матери из вагона:

«30 июля 1932 года. Дорогая мамочка, еду хорошо. Место лежачее против открытого окна. Сплю и любуюсь видами. Вчера два раза ела малину. Приближаемся к Поволжью. Даю слово писать только правду и не лгать для утешения твоего и беру с тебя такое же. Простите все за хлопоты и страданья, вам причиненные. Желаю вам моего самочувствия. Ваша Ляля».

Мое место действительно на верхней полке с другой молодой женщиной. Там душно, но зато можно вытянуться, лечь… Ночью, когда внизу все сидя спят, я спускаюсь и сажусь на грязный пол у решетки. Ночь лунная, свет бьет через решетку мне в лицо, и ветерок достигает моего потного, грязного лица. Я жадно дышу, открывая рот, как рыба, умирающая на берегу. Часовой — молодой деревенский парень мерно ходит вдоль всего вагона. Наш отсек — крайний. На противоположном конце коридора — мужские камеры. Оттуда круглые сутки доносятся ругань и удары. Но сейчас и там, видимо, дремлют: в вагоне стоит необычная тишина.

Я сижу на полу и дышу — не надышусь. Молодой часовой ходит и ходит, каждый раз отводя глаза от меня при приближении. Вот он остановился, он хочет что-то мне сказать.

Он колеблется — разговор с арестантами запрещен. Тем не менее, он приближает свое лицо к решетке, наклоняется и говорит:

— Простите меня! Я знаю, вы невиноватые, я не своей волей тут, сил моих нет молчать! — говорит он, волнуясь и забывая об опасности.

Я оглядываюсь: никто вокруг не шевелится. Я умоляюще складываю руки и зажимаю ими собственный рот: «Молчи, мол, услышат!» Но часовой не унимается: видно, ему теперь вся жизнь в том, чтоб получить мой ответ. И я ему, еле шевеля губами, говорю:

— Прощаю, прощаю. Замолчи!

Парень утирает одной рукой глаза, в другой он держит ружье. Я продолжаю сидеть на полу, а он ходит взад и вперед, как заведенный, по коридору.

Кто мы теперь друг другу? Как может быть, чтоб мы навечно расстались? Какая цена может быть этой жизни, если в ней все кончается расставанием, если добро и зло безразлично и бесследно валится в общую яму небытия?

Вагон наш часто отцепляют, и он сутками стоит, что-то пережидая. Нам томительно, конвоирам скучно. Когда меня ведут днем в уборную мимо отсека, где помещается стража, я вижу наших отдыхающих конвоиров. Они валяются на лавках и от скуки рассматривают фотографии, прикрепленные к «делу» каждого заключенного. Один рассматривает, другой, простоватый белорус, с запинками читает:

— Нос прямЫй… глаза карЫе… волосы русые… стрЫженые …

Первый парень, городской, щеголеватый, лениво и насмешливо поправляет:

— Дурак, читать не умеешь.

Наступает тишина. И через несколько минут слышу снова:

— Нос короткий, вздернутый, глаза серые…

— Это в какой?

— В третьей.

— Дурак, да ведь это — старуха!

— Га-га-га!

И снова тишина, прерываемая ругательствами мужской половины вагона.

Наконец, в серый дождливый день нас выгружают из вагонов, велят опуститься прямо в грязь, во избежание побегов. Построив, сосчитав, предупредив, что за выход из строя будет на месте пуля, нас ведут по пустынным улицам неведомого города в тюрьму. Город оказался Новосибирском.

Нам дали вымыться в бане, и это оказалось тоже настоящим

счастьем. И еще одно счастье ждало нас: женские камеры закрывались только на ночь, и день нам разрешали проводить на маленьком тюремном дворе. Правда, в камерах было множество клопов, и ночью я изредка лишь забывалась, в промежутках наблюдая густые движущиеся коричнево-черные волны насекомых, от которых шевелились стены. Клопы облепляли лица и тела спящих людей, и измученные люди не просыпались.

Но ко всему привыкаешь — и я стала засыпать. И воздух и клопы — это было лучше, чем духота или натертый до блеска паркет лубянской камеры, чем постоянный страх ночных допросов, чем вечный глазок и печатные правила поведения напротив моей чистой койки.

И люди вокруг казались прекрасными. В нашей камере не было уголовниц. Все эти женщины знали уже свою судьбу, и потому они жили в едином согласном настроении, которое можно было бы назвать примиренностью с судьбой, пренебрежением к ее жестокости. Это была мудрость перенесенного и преодоленного страдания. Впоследствии я наблюдала таких женщин, выпущенных на волю: ими овладевал постепенно мелочный дух забот, соревнования, измельчания. Они становились обычными. Но в пересыльной тюрьме, в этом вынужденном бездействии, в полной зависимости от чужой воли обнажалась лучшая сторона души. Сколько самоотверженных сердец, сколько трогательных историй узнала я за две-три недели пребывания в новосибирской тюрьме!

Запомнилась одна молодая учительница. Она отбыла уже длительный срок в лагерях и теперь ехала в ссылку куда-то на крайний север: «Вольную ссылку», — радостно подчеркивала она в своем рассказе. И туда ей разрешено было взять своих детей и старую мать (муж был расстрелян, и она несла за него наказание, как жена). С каким сиянием на лице мечтала она теперь вслух об этой ожидающей ее жизни, хотя знала хорошо, какая будет борьба, какие трудности…

— У меня хватит сил на все, только бы с ними! — говорила она и светилась счастьем.

Нам разрешалось покупать через надзирателя продукты с воли. Немного свежих овощей, молока, белого хлеба. У мужчин положение было хуже. Их не выпускали из камер на воздух, у них свирепствовала дизентерия. Неожиданно меня вызвали в контору тюрьмы. Человек, принимавший с поезда наш этап, обращается ко мне вежливо и с оттенком смущения:

— Вы знаете латинский шрифт?

— Знаю.

— Вы можете прочесть и написать название лекарства?

— Могу, — отвечаю я с запинкой, не понимая, к чему ведется речь.

— Так вот, вы назначаетесь заместителем тюремного врача. Нет, приказ не обсуждается, ему подчиняются, это приказ. Кроме того, поверьте мне, так вам будет лучше… вот халат, пропуск во все камеры. Вы можете назначать по своему усмотрению усиленное питание тяжело больным, и вам разрешается в исключительных случаях делать самой передачу… У вас ведь там муж?

Я поняла и во все глаза смотрю на своего благодетеля. Он грустно усмехается:

— Я хоть и начальник, но тоже из бывших заключенных. Недавно окончил срок. Я учитель в прошлом. Но это так, между прочим… Принимайте аптеку.

В «аптеке» — несколько медикаментов, а от желудочных заболеваний один салол. С салолом в сопровождении санитара и без конвоира я обхожу камеру за камерой и нахожу, наконец, бедного Александра Васильевича. Но, Боже мой, в каком виде, в каком состоянии нахожу я его! Уголовники отняли у него все необходимые вещи, он во вшах, голоден, но неизменно спокоен и улыбается мне.

Я думала, что страхи мои кончились, и больше я не попаду на допрос. Но вот снова меня сажают в «ворона» и везут по Новосибирску. Товарищ Жук, худой сдержанный человек, допрашивает меня и потом наводящими вопросами очень деликатно повторяет предложение сотрудничать, отвергнутое мною на Лубянке. По-видимому, он выполняет предписание свыше, из Москвы. Товарищ Жук оказывается более чутким, потому что говорит почти сочувственно и быстро заканчивает допрос. Разговор ведется в присутствии красавца-чекиста с мужественным и открытым лицом.

— Вот, — говорит Жук, переводя разговор на другую тему, — ваш будущий начальник товарищ Перминов.

Перминов разглядывает меня дружелюбно.

— Работу можно будет найти? — спрашиваю я.

— Приедете — поговорим, — отвечает тот уклончиво.

— У меня к вам просьба, — осмеливаюсь я. — На всю огромную пересыльную тюрьму нет врача и нет лекарств. Я замещаю врача, но я не врач, и в тюрьме дизентерия.

— Неужели? — вежливо удивляется Жук. — Мы примем меры.

На следующий день меня вызывают к тюремному начальнику, и я «сдаю аптеку» вновь назначенному врачу. Когда врач уходит, начальник говорит мне:

— Могу сообщить вам, место вашего назначения определено: это районный центр Нарымского края село Колпашево на Оби.

Он подводит меня к карте, я веду пальцем по Оби: у океана она широка и ветвиста, там знаменитое Березово…

— Нет, нет, южнее, — говорит начальник. — Но край дикий, необжитый. В самом Колпашеве вы проживете: там нужны молодые образованные люди.

Из письма к матери в это время: «12 августа 32 г. Новосибирск. Дорогие мамочка и отчим, я и муж получили назначение в Колпашево на Оби, это верст 300 от Томска к северу, большое торговое село, в продовольственном отношении прожить можно, надеемся найти и работу. Трудно найти жилище, но и это все, конечно, устроится. Зимой холодно, доходит до 60 градусов мороза. Других из нашего этапа назначили севернее и глуше. Ждем отправки через Томск, где нам еще придется посидеть в домзаке, ожидая водного этапа до Колпашева. Пока здоровы и вполне бодры. Я очень отдохнула от трудного путешествия. В Новосибирском домзаке женщины живут совсем по-домашнему, камера не закрывается, целый день во дворе. Получаем 350 гр. хлеба, остальное удается покупать с воли. Александру Васильевичу хуже, мужчин содержат строже, я ему передаю, что могу достать из еды. Работала несколько дней лекпомом при больнице, получала усиленный паек, но ушла, боясь заразы: ведь еще предстоит этап… Попробуйте на всякий случай послать немного сухарей на Томский домзак, пересыльной такой-то. Ничего ценного не посылайте, так как очень грабят товарищи по камере. Посылки идут аккуратно и пересылаются дальше, если пересыльный уехал… Пусть Александру Васильевичу родители тоже попробуют выслать на Томск посылку, ему труднее покупать, и он свои запасы прикончил, а я не знаю, смогу ли ему помогать в Томске. Умоляю тебя беречься для меня, мое счастье… Дорогой отчим, простите за все беспокойства, вам доставленные, может быть, я еще смогу вас отблагодарить. Когда же мы увидимся? Придет осень, пароходы кончают ходить в октябре…»

Следующий этап. Томский домзак. Двор просторный, обстроенный по краям одноэтажными бараками, туда вольно проникают воздух и свет. Он порос той самой низенькой травой-муравой, которая упрямо растет под ногами людей, как бы ее ни топтали. Ее мнут — а она растет и растет!

Осень на редкость теплая. Я целыми днями лежу на земле, подложив руки под голову, и гляжу в небо. Теперь-то я знаю, что за счастье дышать и глядеть в вольную синеву! Около меня

иногда бегают и ласкаются ко мне два великолепных холеных ирландца. Это охотничьи собаки какого-то таинственного заключенного — троцкиста, кажется Сосновского. Он сидит в одиночке. Мне показывают его башню. Заключенный — первого класса, все говорят о нем с почтением: ему позволяют работать, выписывать книги и даже позволяют держать этих собак.

Меня ожидают новые радости: я получаю первые письма от матери, посылки с теплыми вещами, деньги. Я покупаю в тюремной лавочке свежее черносмородиновое варенье. Это варенье с черным хлебом — роскошь! Екатерина Павловна еле держится на ногах. Сейчас идет Успенский пост, она могла бы подкрепиться вареньем. Но Екатерина Павловна упорно отказывается от моего угощения. Я возмущаюсь, плачу, прошу — все напрасно! Но я не держу к ней обиды. Больше того, я думаю: что было бы на земле с Церковью, если бы она не имела в кладке своих стен таких твердых камней, как Екатерина Павловна?

У кого-то в камере оказалось маленькое Евангелие. Оно ходит по рукам и, наконец, достигает меня. Я читаю его на тюремном дворе, читаю в который раз в жизни эти скупые слова, собравшие воедино мысль стольких поколений.

«Может быть мое поколение — последнее, — думаю я. — С нами эта мысль уйдет из жизни. А, может быть, эти же слова заговорят по-новому с новыми людьми, как уже не раз бывало в истории?»

В который раз я читаю евангельские слова — и все по-другому. В этом их непонятная сила. Воистину, каждый берет из них ровно столько, сколько сам в себе накопил нравственным опытом жизни. Так на каждом оправдываются слова того же Евангелия: «Имеющему дается, а от неимеющего отнимается и то, что он имеет»{197}.

Пережитое раскрывает в моей душе новые окна в мир: «Познайте истину — и истина сделает вас свободными… и радости вашей никто не отнимет от вас»{198}.

Я лежу на траве и смотрю на небо. Ничего-то мне больше и не нужно до самой смерти, лишь бы сохранить полноту понимания этой минуты. И еще одно желание: не забыть, какие прекрасные люди встречаются мне сейчас — целый мир отвергнутых, будто уже и раздавленных… Нет, этот мир во всем своем величии существует!

Из письма к матери: «18 августа 32 г. Томск. Домзак. Дышу — не надышусь впервые за все четыре месяца чистым деревенским воздухом, так как двор наш окружен садами; греюсь на солнышке и думаю непрестанно о тебе, мое солнце. Если бы могли дойти до тебя мои бодрые светлые мысли, ты бы не печалилась, и я была

бы до конца спокойна и радостна… Ах, если бы мне знать о тебе — где и как ты! Когда же я получу от тебя весточку! Простите за невольно доставленные вам страдания. Несмотря на все пережитое, знаю, что тебе было тяжелее, чем мне. Вот почему так хочется тебя увидеть, чтоб утешить, как быстро утешилась бы ты!

Радость моя, мамочка, не смею строить планов о твоем приезде, ничего не зная о тебе, о твоем материальном положении и здоровье, а также не зная того, в каких условиях окажусь я на месте. Но если все будет благополучно, то, по-моему, ты можешь попасть ко мне до закрытия навигации, т. е. до 1 октября.

Как устроилось у тебя с квартирой? Я надеюсь, что ты не очень хлопочешь о своей комнате, боюсь, чтоб не было из-за нее больше тревог, чем пользы. Мне вряд ли разрешат вернуться в Москву… Надеюсь, что себя я прокормлю, а со своей теперешней энергией надеюсь, что со временем заработаю и на тебя… Будь здорова и радостна. Прости, что я смела даже в шутку тебя упрекать, что ты меня родила. Жизнь бывает чудесна, и я тебя благодарю за нее.

Волосы мои отросли настолько, что я их заплетаю в две косицы по бокам, и они завиваются на концах. Физиономия ребячья — я нисколько не постарела за эти месяцы, пожалуй, даже помолодела, по крайней мере, могу сказать о внутреннем. Но все же дань пережитому — седые волосы, их очень и очень значительное количество. Впрочем, они появились еще в мае месяце».

Письмо А. В. Лебедева от 1 сентября 1932 г.

«Дорогая Наталия Аркадьевна! Кажется, нашему путешествию предстоит скоро окончиться. Сегодня должны будем отправиться в 12 часов ночи из Томска в Колпашево. Здесь мы находимся уже третью неделю и томимся безделием. Видимся с Лялей не каждый день, а когда видимся, то урывками. Ляля здорова, хотя ее тяготит обстановка путешествия с ожиданием. По приезде в Колпашево — окружной центр трех-четырех районов, надеюсь найти какую-нибудь должность. Утверждают, что у нас будет значительный паек. Может быть, Ляле удастся не служить, Вот, не знаю только, как обойдется с квартирой! В общем, предстоящая перемена образа жизни и обстановки соответствует некоторым из наших ожиданий. Мы бодры и ждем, скоро ли приедем. Как чувствуете себя Вы и здоровы ли? Привет дорогому А. Н. Ваш А. В.»

Ко мне подсаживается Клашка, смешливая, юркая, похожая на подростка. Клашка — вертель, так зовут ее, эту домушницу-воровку, специалистку по ограблению квартир. У нее высший срок — 10 лет лагерей. Но она нимало не горюет.

— Принимайте в компанию! — Клашка показывает стройные ножки в ярко-фиолетовых чулках, она их окрасила канцелярскими чернилами. В руке у нее бутылка с молоком. Она потягивает молоко из горлышка, как теленок. Потом обтирает горлышко грязноватым подолом своей короткой юбки и великодушно передает бутылку мне. Я отказываюсь.

— Не бойся, — говорит Клашка, переходя со мною на «ты». — Я здоровая, все игрушки в порядке, — и она делает неприличный жест. Но это просто по привычке.

— Откуда у тебя молоко? — спрашиваю я.

— Надо уметь работать, деточка, — говорит наставительно Клавка. — Чего захочу, то и получу! — хвастает она. Она лихо забрасывает пустую бутылку в дальний угол двора, перекатывается по траве ко мне поближе и пронзительным голосом заливается блатной песней о своей разнесчастной любви. Я запоминаю только две строки:

Негодяя я очень любила
И спала у него на груди.

Мимо нас проходит стройная молодая женщина со смугловатым, четко очерченным красивым лицом. Она строго смотрит на нас. Клашка замолкает. Эта женщина никогда никому не улыбается. Я знаю ее, она царица томских уголовников, может быть, и всероссийская царица — знаменитая бандитка Ольга. Это тайна, в которую мне бы не проникнуть, и только легкомысленная Клашка иногда по дружбе мне кое-что выбалтывает. Ольга получила высший срок взамен расстрела за какую-то блестящую «мокрую» операцию.

— Ольга — это да! — говорит Клавка с оттенком подобострастия и показывает мне свой большой палец. — Ольга ничего не боится!

— Хочешь, — говорит мне Клавка, проводив глазами Ольгу, — хочешь я устрою тебе с мужем свиданье в комендантской?

— Нет, Клавка, не надо.

Она удивленно смотрит на меня.

— Вот чудачка! Так я же недорого с тебя возьму: за три раза один твой шерстяной платок. Он мне на морозе пригодится, я еду к самому синему морю — к Ледовитому океану. — Она весело хохочет.

— Нет, Клавка, не надо, — повторяю я. — И платок тебе не дам. Он мне нужен самой, и его мне мать прислала.

— У тебя мама, а у меня мамочки нет, — притворно грустно

роняет Клавка.

— Умерла?

— Совсем ее не было, я беспризорница — в пыли завелась! Так не дашь?

— Не дам!

— Иди ты к… — Клавка разражается похабным ругательством, брезгливо отстраняясь от меня. Она вскакивает и уходит, повиливая нагло бедрами.

Через несколько дней мой платок пропал. Пропал прямо из-под рук — я с ним не расставалась ни на минуту. Я спрашивала всех: и в камере, и во дворе; спрашивала, ясно понимая, что он пропал безвозвратно и что это Клавкино дело.

Каково же было мое удивление, когда я нашла свой драгоценный платок аккуратно сложенным у себя на койке.

Я снова в платке прошла по двору мимо Клавки, и она равнодушно отвернулась, сплевывая подсолнечную шелуху мне вслед и играя ножками в пронзительно-лиловых чулках. Потом я встретила Ольгу. Она посмотрела на меня, и я заметила, как еле заметно дрогнули углы ее красивого твердого рта: так Ольга улыбнулась. Я поняла — платок мне вернула Клава по ее приказанию.

Те же уголовники до нитки ограбили во время этапа Александра Васильевича. Когда он получил деньги из дома, уголовники заставили его выкупить у них его же собственные вещи и вновь украли их.

Наступили уже морозные утренники, когда нас погрузили в тесный трюм парохода и по широкой Оби отправили на север.

Колпашево — это линия деревянных домиков, вытянутых по высокому берегу Оби. Сзади наступает на них нетронутая и бесконечная тайга с высоченными кедрами, пихтами, непроходимым буреломом, зверьем, комарами и гнусом, до смерти заедающими людей и животных. Позади единственной колпашевской улицы жмутся землянки и хижины, наспех возводимые ссыльными ввиду приближающейся зимы.

Я поняла, почему нас с Александром Васильевичем прислали в Колпашево: здесь начиналось строительство нового административного центра, открывались учреждения, организовывались новые промыслы по рыбе, молоку, пушнине, дичи. Нужны были молодые грамотные люди: мы были здесь нужны.

Вместе с нами выгружались из парохода вольнонаемные рабочие, ехавшие на крайний север за «длинным рублем». Вперемежку со стройматериалами везли сюда и

спецпереселенцев. Это были жертвы так называемого «раскулачивания», лучшие крепкие крестьянские семьи, разоренные и переселяемые целиком с малыми детьми и стариками. Они ехали рядом с нами в трюме парохода — заключенные последнего сорта; даже животных не повез бы так расчетливый хозяин. Мы наблюдали их рядом, за перегородкой: там они спали, плакали, что-то жевали, испражнялись, умирали.

Их выгружали на совершенно необжитых берегах, оставляли без помощи, предоставляли им устраиваться как сумеют. Выживали только сильные. Одиноких, молодых везли вместе с нами до Колпашево: это была даровая рабочая сила. Им повезло, как и нам с Александром Васильевичем среди ссыльных, если здесь вообще можно говорить о том, что кому-то повезло. Впоследствии я своими глазами не раз видела людей, умиравших среди улицы от голода и холода, и никто из имеющих крышу и кусок хлеба, и я в том числе, не решались затащить такого человека под свою крышу. Несколько раз, правда, я шла в этих случаях в ГПУ с просьбой помочь, и человека убирали. Куда? Никто не знал. Может быть, он и выживал на тюремном пайке, попадая в тепло после шестидесятиградусного мороза.

Нас сгрузили, и пришло время мне расстаться с Екатериной Павловной. Ее вместе с несколькими стариками-священниками отправляли выше на север района. Многие не нашли там себе работы, гибли от голода и морозов, но Екатерина Павловна выжила. Больше того, к ней с последним пароходом приехала ее мать, которая бросила все имущество и комнату в Москве. Они вместе пережили ссылку и вернулись под Москву — въезд в столицу бывшим ссыльным был запрещен. Они прожили после того еще несколько лет в Малоярославце, где Екатерина Павловна занималась школьными предметами с детьми православного священника о. Михаила Шика. О нем по пути несколько слов.

Это был еврей-интеллигент из кооператоров, из того поколения народников, которое предшествовало нашему. Он женился на дочери Д. И. Шаховского, тоже либеральной деятельнице кооперации. Впоследствии они крестились и стали православными христианами. Михаил Шик принял священство. У него родилось несколько сыновей и дочерей, которых они с женой заботливо воспитывали, несмотря на непрестанные высылки и гонения. В конце концов оба погибли в заключении, а детей их вырастили чужие люди.

По моем возвращении из ссылки я навестила Екатерину Павловну в Малоярославце и познакомилась с семьей Шиков. Я увидала людей, молчащих о себе и светившихся лаской к человеку. Это были праведники. Екатерина Павловна встретила

меня все так же строго и неуступчиво, а мать обогрела добротой. Вскоре обе они умерли: дочь умерла раньше — сердце ее было вконец расшатано, и скоро за нею ее светлая и смиренная мать.

Итак, мы простились в Колпашеве со своими спутниками и вышли на берег. Нас выстроили, сосчитали и объявили нам, что мы свободны. Единственной обязанностью было являться еженедельно на регистрацию в ГПУ.

Рядом со мной стоял снова Александр Васильевич и улыбался мне из-под золотых очков на грязном, худом, землистом лице. Очки эти уцелели только потому, что он отдал их конвоирам и жил в течение всего этапа полуслепым. Теперь он снова как прозревший глядел на меня, на широкую Обь, на новый мир, в котором мы обречены были жить и действовать с ним вместе.

Мы привыкли уже существовать по чужой воле и ей подчинять свои внешние действия. И от этого вынужденного бездействия душа моя приобрела за полгода внутреннюю свободу и какую-то детскую беззаботность. Еще я замечала в себе удивительную бодрость, наверно оттого, что мне предстояло действие. Вынужденное созерцание, не уравновешенное делом для всех, погубило, так казалось мне, мою юность. Недаром я все время искала дела, и без него томилась, и не находила своего рабочего места в жизни, которая всегда полна неожиданностей. Так и теперь. Вон, в толпе ссыльных, подобно нам стоящих в нерешительности, ходит какой-то пожилой еврей, по-видимому, местный житель. За ним тянется цепочка людей. По мере того, как он приближается к нам, цепочка увеличивается. Человек присматривается к нам и предлагает у него остановиться. Он — тоже ссыльный, но у него большое помещение, и он, видя наше безвыходное положение, предлагает нам кров, «конечно, за небольшую плату…». У еврея оказалась своеобразная «гостиница». Неподалеку от пристани стоит дом (вернее — подобие дома), сколоченный из случайного материала с пристройками и навесами. В этих пристройках и под этими навесами ютились на первых порах бездомные люди: отсюда они постепенно растекались, находя лучшее помещение. Первую свободную ночь мы провели в тесноте, худшей, чем тюремная, — мы спали все вповалку на мокром полу: ночью шел дождик и поливал через крышу.

Колпашево. Рисунок Наталии Аркадьевны Раттай.

Днем я пошла на маленький базар, бойко и дешево торговавший продуктами. Я развела на двух кирпичах костер, и мы впервые с Александром Васильевичем пообедали. Мы вымылись в бане, и я выстирала в Оби, стоя на прибрежных камнях, по смене белья. На это ушел день.

Тогда я еще ждала удобной минуты, чтобы поговорить с Александром Васильевичем, вывести жизнь на утерянную нами дорогу прежней дружбы. Наконец, я улучаю такую минуту, но чувствую, что слова мои произносятся впустую, мне становится неловко, точно все мое выстраданное «возвышенное» и «правдивое» — выдумка и неправда. Правда сейчас одна: накормить, обмыть, вывести насекомых, найти крышу — приближается зима.

Из сохранившихся писем к матери из Колпашева:

«8 сен. 32 г. Я просила тебя приехать и привезти вещи и деньги. Но боюсь, не эгоизм ли это: ведь мы ночуем вповалку в одной комнате. Все не устроено и вряд ли успеет устроиться к твоему приезду. Думай сама. Пока еще не служим, но думаю, что А. В. на днях получит разрешение начать работу — иначе будет туго…»

Однажды на базаре я увидала Перминова: он проехал верхом на прекрасной лошади. Он узнал меня, но не ответил на поклон. Через минуту ко мне подошел человек в военной форме и сказал:

— Начальник распорядился, чтобы вы явились к нему через два дня.

Я поняла: на людях Перминову нельзя здороваться с нами. И еще я поняла: я живу все в той же тюрьме, только стены ее раздвинулись.

На этом же базаре ко мне подошла пожилая женщина. Она доверчиво заговорила со мной, оказалась москвичкой, бывшей сотрудницей Исторического музея, только что окончившей ссылку и на днях уезжающей в Томск, где ей придется отбывать «минус». Она приглашала меня к себе, и я, конечно, с радостью в тот же день к ней отправилась.

Достаточно было мне переступить порог обжитой за пять лет комнаты Людмилы Вячеславовны Кафки, как я поняла, что попала к родному человеку. Мы говорили и не могли досыта наговориться. Мы засыпали ночью на короткие минуты, чтобы снова жадно говорить. Людмила Вячеславовна старалась мне

передать свой опыт, предостеречь от опасностей. Я делилась с ней всем, что передумала за месяцы заточения. Мы поверили друг другу с первого взгляда — и не ошиблись. Несколько дней, проведенных неразлучно вместе. Потом новое расставание навсегда. Несколько скупых осторожных писем. На прощанье она мне подарила старинный медный складень Николая Чудотворца.

Людмила Вячеславовна попала в ссылку во время разгрома известного мне ордена. Оказалось, она слышала обо мне в Москве: она читала там мое «прощальное» письмо, ходившее среди руководителей ордена по рукам. Письму этому придали значение: меня опасались, и потому объявили ложу закрытой. Об этом я и узнала впервые от Людмилы Вячеславовны. Так объяснилось ее полное доверие ко мне в условиях, где мы были научены не доверять новому человеку. Она сама была одним из «рыцарей» высшего посвящения и тем не менее теперь внутренне порвала с орденом, со всякой теософией и оккультными учениями. Она стала смиренным человеком, нуждающимся только в личном очистительном подвиге жизни, в пределах того, что открыто нам природой, Евангелием и опытом святых: она стала православной христианкой.

Я рассказала Людмиле Вячеславовне о вызове к Перминову. Она задумалась и ответила:

— Вы правильно вели себя до сих пор. Вам остается только держаться того же и в дальнейшем. Они уважают, в конце концов, только нашу нравственную стойкость. Вас не будут вынуждать у них сотрудничать, так как такие сотрудники, если даже временно и сдаются, им мало полезны: перед первой же явной подлостью вы все равно спасуете! Вас ожидает другое: за вами непременно установится среди ссыльных подозрительная репутация: ведь здесь все на виду, и «внимание» начальства к вам будет замечено. Перминову вы, может быть, даже нравитесь как женщина или просто любопытны ему. Но и тут не бойтесь: он не рискнет своим положением. Вы только приготовьтесь к необходимости долго терпеть…

В назначенный день я пришла к Перминову. Он встретил меня с подчеркнутой любезностью: он встал мне навстречу из-за стола, подал руку, помог снять пальто и сам повесил его на вешалку у двери. Подвинул мне кресло. Внимательно и дружелюбно стал меня разглядывать. Он стал меня вызывать к себе нечасто, но регулярно: ему это было легко, но мне… я каждый раз тряслась в ознобе, ожидая неведомой опасности. Но тем не менее ни разу ни одного намека себе он не позволил, и я стала успокаиваться. Так продолжалось около года, пока, наконец, Перминова куда-то не перевели, и на его место приехал

новый начальник. Это был тот самый Жук, который вызывал меня в Новосибирске.

Новый начальник коротко спросил меня о жизни и работе, среди разговора мельком спросил и о том, как относился ко мне Перминов. Я отвечала точно и по всей правде: к счастью, мне нечего было скрывать. Жук очень деликатно упомянул мне: «Какая у нас сплоченная, интересная среда, и как бы я желал вам в нее войти…» Я промолчала. Ни разу он больше меня не вызвал и оставил в покое.

Желали ли мне мои начальники добра — сказать трудно. Одно несомненно, они не могли не знать, какое пятно накладывало на меня их внимание в глазах окружающих. Я вспоминала совет Людмилы Вячеславовны и терпела. Сколько же терпения надо было в себе накопить, чтоб выдерживать подозрительные взгляды и намеки окружающих. «Терпеть и мужаться», — писала мне Людмила Вячеславовна. Но вот и письма прекратились: Людмила Вячеславовна ослепла и вскоре умерла.

Терпеть надо было и ради мамы: ей понадобилось не меньше терпения, хотя она оставалась будто бы на воле и жила в Москве. Ей пришлось испытать многое из-за моего ареста. Соседи по квартире пытались отобрать у мамы ее жилплощадь, вымогали у нее под разными предлогами понравившиеся вещи. Приближалась паспортизация — и маму запугивали грозящим ей выселением из Москвы. Одной, стареющей, больной — куда? Она изнемогала, теряла рассудок, как уже было с ней после гибели отца. Однажды утром Шура ее нашла на бульваре, где мама просидела всю ночь, забыв, как идти домой.

Но как только она поняла, что я борюсь за нашу общую жизнь и буду бороться и жить, она вновь возродилась, вернулась к самой себе. Такой ее сделала деятельная любовь, пробудившая природный ум и способности. Она без посторонней помощи поменяла свои две комнаты на одну небольшую в том же доме. Продала все лишние вещи, жила на эти деньги и помогала первое время нам. Она победила неприязнь соседей, встретивших ее, мать ссыльной, в штыки.

Потом пришла новая беда: началась паспортизация, проверка населения столицы и массовое выселение граждан. У кого из нашей интеллигенции не было арестованных в семье? И тут Александр Николаевич Раттай предложил моей маме с ним расписаться, чтобы переменить фамилию и упрочить положение. Он делал это бескорыстно. Мама согласилась — все для меня!

Мир «униженных и оскорбленных» существует во все времена, только он меняет до неузнаваемости свои формы и обличья.

Теперь моя мама жила в его центре и несла унижение с необычайным достоинством. Ее отношения с Александром Николаевичем не изменились ни в чем. По-прежнему он ежедневно ее навещал, по-своему о ней заботился, попрекал и сердился. Так же время от времени швырялись об пол его вечные часы с маминими инициалами. Так же в сердцах хлопал Александр Николаевич дверью, уходя.

Из Дрезны приезжала Шура и проводила с мамой все свои свободные дни. Приходила Елена Константиновна Миллер, бывший завхоз нашей «Бодрой жизни». Она первая из знакомых, вслед за Шурой, явилась к маме после нашего ареста. Прошла с независимым видом под сверлящими взглядами всего двора, в старомодном на голове «токе» времен империи, с завитыми седеющими кудряшками вокруг худого и надменного личика, с гордо поднятым подбородком и пронесла бесстрашно в «авоське» сверток с письмами Олега, уцелевший во время обыска: мама безошибочно угадала, где мое единственное сокровище.

Тогда же навестила героически мою мать и Людмила Владимировна Маяковская.

Александр Васильевич поступил на работу экономистом. Сослуживец его, молодой «вольный» бухгалтер предлагает ему угол в своем доме. Его жена, разбитная, резкая в слове, соглашается принять нас вместе с Мурзилкой, что и решает окончательно вопрос о квартире. Мурзилка — это всего-навсего молодой пес вроде крупной лайки, помесь нескольких пород. Он весело переносит свое сомнительное происхождение. Его оставила мне Людмила Вячеславовна, уезжая, и я дала ей слово собаку не бросать. А Маруся любит животных. Мы переезжаем из своей «гостиницы» к Марусе. Ничего, что мы спим теперь с Александром Васильевичем на деревянном щите, который убирается на день, в тесной проходной комнате. Зато Александра Васильевича ежедневно ожидает горячий обед и чистое белье.

Я превращаюсь в сибирскую хозяйку. Я учусь топить русскую печь, выпекать хлеб из муки, которая нам полагается на паек. Я достаю, выменяваю, покупаю какие-то продукты, целыми днями чиню и утепляю наши отрепья. Наконец, устанавливается санная дорога по Оби, и к нам приходит посылка с теплыми вещами. И — верх мечтаний — я сама посылаю матери в Москву, которая, по слухам, сейчас голодает (результат раскулачивания деревни), посылаю ей посылку с сибирским сливочным маслом и поверх него — смолистой кедровой шишкой, наполненной орехами! Шишку я вложила в посылку как символ жизни, возрождения. Сибирский, суровый климат здоров, я выбегаю теперь часто на

мороз неодетая и никогда не простужаюсь.

Из моих писем к матери:

«26 сентября 32 г. Колпашево. Мамочка, родная, я получила вчера твою телеграмму в 31 слово, из которой поняла одно, что ты больна и не приедешь… Я думала, что ты радовалась в день твоих именин, получив известие о том, что я, наконец, приехала, а ты грустишь. Ну как мне тебя убедить в том, что я здорова, весела и полна жизнерадостности! Неужели ты думаешь, что я тебя обманываю! Ведь я же сама тебе дала клятву писать только правду… Продукты здесь есть все и, видимо, дешевле, чем у вас. Александр Васильевич зарабатывает около 200 р. Самое сложное — устройство с квартирой, но как раз вчера мы, наконец, перебрались в почти отдельную комнату, очень чистенькую и у одиноких людей, но я должна ее стеречь и потому не могу поступить на работу. Материально я без работы смело обойдусь, буду устраиваться с квартирой так, чтобы зарабатывать лишь для того, чтобы посылать тебе… Никаких продуктовых посылок не посылайте… Я все ждала тебя, но, пожалуй, хорошо, что ты не приехала. Мамочка, не огорчай меня, не тоскуй, а радуйся, что мы с тобой будем вместе, что это счастье нам подарено… Не знаю уж, о чем тебе и писать: о переживаниях — не хочется, а основной тон моей душевной жизни — в каждом письме. Главное, это приобрести самостоятельное жилище, чтобы можно было сделать запасы на зиму, пока дешевы овощи и т. д. Мы тут начали одну постройку, я рискнула ста пятьюдесятью рублями (моя доля), но думаю, что все это провалится, поскольку А. В. внес туда метод полного доверия, не оформляя договорных отношений и т. п. Трудно мне с ним, хотя и хороший он, и теперь наши отношения сложатся легче и в той форме, в которой они были много лет тому назад: мы оба пришли к заключению за эти полгода, что брак был ошибкой… Я поставила себе целью довести дело до конца, устроиться и, если возможно будет, отделиться хозяйственно только после устройства. Конечно, это все я пишу только для тебя. Мой идеал в будущем — жить только с тобой».

«30 сент. 32 г. Мамочка, ты пишешь „ужасное слово — разлука“, а я каждый день думаю — какое чудесное слово свиданье и надежда, ею только и жив человек… Как хорошо бы я жила, если б знала, что так далеко и в то же время так близко (что значит для любви пространство!) моя родная ясно и в простоте переживает посланное испытание… Сейчас мои досуги омрачаются мыслью о твоем состоянии… Когда я вечером выхожу на опушку соснового леса, на которой стоит наш домик, и смотрю на высокое северное небо или на закат на берегу Оби (тут прекрасные невиданные мною закаты), я грущу, что ты не

разделяешь моего настроения, краски меркнут, и я ухожу домой. Мамочка, то, что нам суждено еще быть вместе, это такое счастье — неужели трудно потерпеть одну зиму! А потом ты слишком много возлагаешь надежд на свои и мои заботы о самих себе. Судьба сама ведет нас как надо и как лучше… Насчет электричества — ну, это преувеличение. Есть в одном или двух домах. Но планы — планы здесь огромные, и сейчас уже идет громадное строительство. Где я буду работать, когда смогу, не знаю. Мне предлагают секретарем в Окрплане, но я больше хочу по хозяйственной линии. Здесь с весны разовьется кролиководство, пчеловодство, и, может быть, там и устроюсь на службу. Это ведь моя давнишняя мечта — стать таким „водом“. Ну что загадывать далеко, вот сейчас сижу в тепле, около меня стоит фоксик Джек, на плече у меня один котенок, на коленях другой. На столе поет самовар. Хозяйка сажает в печь хлебы и все время приговаривает: — Ух, ты, язви твою душу! — это сибирское ругательство. Она совершенно дикая женщина, но ко мне пока добра. Хозяин в своей комнате бреется и ругает колпашевскую скуку (слова для меня непонятные — за последние месяцы так много содержания и впечатлений). А. В. ушел по квартирным делам, ну вот я и пишу тебе. Мамочка, сделай это для меня, радуйся жизни, столь милостивой к нам, и старайся всеми силами поправляться для будущей жизни со мною.

Нарисованная тобой картина так не соответствует действительности по настроению, что мне до слез тебя стало жаль. Было так, что и клопы кусали, и блохи, и раздеваться не приходилось, и дождь в комнате шел (голода продолжительного не было, немного на остановках в пути). Но отношение у нас к этому почти всегда было как у ребят, когда они картошку на костре пекут, чихают от дыма, мокнут под случайным дождем и смеются. Мамочка, тебе это трудно понять, верь честному слову. Целую тебя. Г. с тобой. Ляля».

«8 октября 32 г. Мамочка, родная, сегодня целый день была в лесу и в поле. Не знаю — Нарым это или Крым — такая погода, такое тепло, такие хорошие места! Как жаль, что тебе не удалось приехать, но сознание того, что мне хорошо, должно тебя совершенно умиротворить. Хотя я тебе и телеграфировала, чтоб ты приезжала зимовать, что-то не надеюсь. Может быть, так и нужно. Ведь я, мамочка, из-за тебя хлопочу, чтоб ты приехала, я спокойно и радостно прожду срока свидания… Как бы ты у меня поправилась! Какую комнату я тебе нашла — сегодня смотрела, за 15 рублей в 4 окна, прямо в кедровый лесок. Но мне она не годится, так как ссыльные отдельных комнат самостоятельно иметь не могут, а живут на площади вольных… Хотела бы от

Шурочки получить, пусть мне напишет правду о тебе, о твоем питании, образе жизни и душевном состоянии. Одна она напишет правду. Еще прошу тебя — оставьте вы эти утешения в письмах писать — такого рода лирики надо избегать… С книгами А.В. пришлите стихи, очень хочется, и кого-либо из моих любимых авторов, пусть Шура выберет. Ведь это предрассудок, что какое-то несчастье случилось. Несчастье, что вы портите себе здоровье из-за нас. Люди живут всюду, люди жили здесь добровольно десятки лет, а все пережитое нами — только на пользу».

Наша жизнь в этом доме была недолгой. Хозяин часто пьяный, его жена, раздраженная на все вокруг, начинает нас преследовать и, в конце концов, выгоняет на улицу. Мы продолжаем и в эти морозы своими руками строить избушку в компании с другим ссыльным. Пока идет стройка, Александр Васильевич поселяется в землянке с несколькими товарищами по несчастью, я — у знакомой женщины в невозможной тесноте.

Рассказать можно было бы и подробней, как мы строились без инструментов, без подходящей одежды, главное, без умения… Но все же, наконец, смогли переселиться в готовую избушку с одним потолком, но без крыши (крышу покроем весной — зимой здесь оттепелей не бывает). Зато есть у нас пол и, главное, отличная печь. Не могу обойти нашу умную печку молчанием. Она была каменная, раза в два больше всем известной буржуйки. Она обогревала помещение и одновременно пекла нам хлеб: топка ее была устроена со сводом. И, наконец, она служила перегородкой, отделяя темный угол «кухни». Вся комнатка об одно оконце (такое, чтоб не пролез в него в наше отсутствие человек) была немногим больше вагонного купе, только подлиннее. Дверь всю зиму стояла обмерзшая толстым слоем инея, хотя мы и обили ее всем, что нашли теплого в своих лохмотьях. В домике пахло паром и смолой, дуло из щелей: он был построен из непросохшего леса. Но мы были, наконец, дома.

Мурзилка прижился у Маруси, но часто нас навещал. Он был предприимчив, любознателен, бегал один на базар и приносил мне оттуда иногда «подарки». Так, однажды он принес мне в зубах толстый круг топленого масла; видимо, стащил с воза у зазевавшейся чалдонки. В другой раз принес мне круг молока: зимой все продавалось в замороженном виде.

Нас навещал еще один пес, суровый и независимый, прямой антипод Мурзилке. Мы так и не дознались, кого он считает своим основным хозяином и как его зовут. Он появлялся у нас неожиданно, гостил, сколько ему хотелось, и также незаметно исчезал. Приучить его было невозможно. Подачки он презирал. Звали его мы условно Тузиком, и он снисходительно на это имя

отзывался. Он не приносил нам никаких даров. Наружности он был неказистой: небольшой, на кривых лапах, неопределенно-рыжеватой масти, как вылинялая лисица. Но выражение лица его было на редкость умное, и мы его уважали. Я почему-то понимала Тузика как молчаливого свидетеля и судью своей жизни.

Относительно Александра Васильевича я понимала две вещи: надо дотерпеть наш срок и потом расстаться. Другое, что я поняла в это время ясно: несмотря на невозвратную потерю Олега и на пережитое в заключении, я в глубине своей души еще хотела любви здесь, на земле. Так я и жила двойной жизнью.

В Колпашево стал мне часто сниться все один и тот же неотступный сон. Мне снилось, что я бегу по каким-то длинным переходам в поисках Олега. Бегу вся в слезах, изнемогая от усталости, но полная надежды. Воздух сна тот же, что, как мне всегда казалось, овевает евангельских мироносиц и учеников, когда они идут на рассвете к гробу Спасителя: предрассветный холод, светлеющее небо, настроение тайны, радости, надежды. Наконец, я вижу Олега. Я бросаюсь к нему, но он смотрит поверх меня, как бы не замечая. Он суров и равнодушен. Он не любит меня. Он уничтожает наше прошлое. Я умоляю его вспомнить, но он непреклонен. И я в отчаянии просыпаюсь.

От нашего домика шла стеной глухая тайга. Вероятно, нам, ссыльным, было запрещено ходить в лес, иначе чем сейчас объяснить, что за три года ни разу я не была в лесу, окружавшем наше селение. Но как часто в морозные лунные ночи, закутавшись до самых глаз, я выходила из своей избы на опушку, стояла под кедрами, осыпанными снегом, потом шла по спящему поселку к Оби. Река широко расстилалась, намертво скованная льдом с октября по май. На противоположном, низком берегу она продолжалась необитаемой снежной пустыней, и я была среди этой пустыни одна — жалкий комочек жизни. Такой бы я чувствовала себя на Луне, и лунный пейзаж, наверное, был бы похож на картину зимнего ночного Колпашева.

Как я одинока была в эти минуты и как просто могла бы от этого одиночества освободиться, если бы сохраняла свободу и высоту, которыми жила в Томской тюрьме. Но они были утеряны: я не могла даже молиться! Это утешение было отнято, вероятно, жаждой земной жизни, и я бросалась назад к нашей избушке, откуда светил слабый огонек семилинейной керосиновой лампы: это сидел за столом и работал Александр Васильевич. Вот он навстречу мне поднимает голову от вычислений, не выпуская из рук логарифмической линейки. Он увлечен своим изобретением. Он рассеянно бросает мне какие-то незначительные слова, сам в

это время витая в море математических абстракций. Я подхожу к нему. Я кладу руку на голову Александра Васильевича, но он так глубоко погружен в свою мысль, что ничего не слышит…

— Какая красота на реке и какое там страшное молчанье! — говорю я.

Александр Васильевич отводит машинально мою руку, мешающую думать. Я продолжаю бороться: я шутливо тереблю его, он просыпается, наконец, он теперь улыбается виновато:

— Ты говоришь, погулять с тобой к реке?

— Нет, я о другом…

— Ну все равно, если хочешь, пойдем… — Он с сожалением отрывается от бумаги, тяжело встает, потягивается, медленно одевается.

Тузик садится у двери, нетерпеливо оборачивается: «скоро ли?» — говорит его напряженная, готовая к прыжку поза. Но я не знаю, на чьей стороне его сердце. Тузик, кто из нас прав?

Наконец все трое мы выходим. От мороза захватывает дыханье, и первые минуты ломит в груди. Александр Васильевич поминутно протирает очки. Он молча шагает у моего плеча. Рыжая шкура Тузика и борода Александра Васильевича мгновенно становятся седыми от пушистых кристаллов инея.

Морозная пустыня вокруг нас. Рядом с Александром Васильевичем я чувствую себя еще более одинокой. Нет, лучше уж в избу — там хоть книги!

— Вернемся? — вопросительно роняю я.

Александр Васильевич радостно поворачивает к дому. Он снова садится за тетрадку, а я из-за книжки, которой прикрываю лицо, за ним наблюдаю. Наконец он складывает бумаги, удовлетворенно потягивается…

— Как хорошо! — говорит он. — Я бы мог всегда так жить. — Его улыбка скользит по мне, как по стенке.

— Тебе хорошо со мной? — спрашиваю я.

— Да, мне очень, очень хорошо с тобой. Одно только жалко…

— Чего? — спрашиваю я.

— Жалко, что тебе-то не так хорошо, как мне.

«Неправда, — думаю я, — ты тоже несчастен». — И мысленно его прошу: скажи еще что-нибудь, загляни поглубже в наши души, может быть, это и будет чем-то вроде счастья! Александр Васильевич молчит. Я соскабливаю лед с окошка, долго скоблю. Наконец вижу: на градуснике 60. Лампа меркнет — кончается керосин.

— Пора спать! — говорит Александр Васильевич.

Я думаю о своем теле, исхудавшем, сильном, окрепшем в суровой жизни и работе. Оно просит нежности, и эта мужская,

чувственная близость его не насыщает, более того — она унижает его. Я знаю, с детства знаю: оно, это тело, существует у меня, человека, для иного — не просто для размножения себе подобных. Для чего? Я это уже начинала было узнавать… Помню, Олег как-то сказал мне: «Нет искусства для искусства, искусство — для молитвы». И я его спросила: «А плоть, а тело человека?» — и тут же сама ответила: «И тело человека для молитвы». Неужели я это забыла? И если забыла, это значило, что небо закрылось для меня.

Теперь я думаю по-простому: тело не может жить отдельно от души. А душу мою Александру Васильевичу не дано видеть: он боится в нее заглянуть.

— Не будем рыться в душе! — говорит он с неизменным протестом и странным раздражением, говорит так уже давно, годы. Я лежу и беззвучно плачу под мерное дыханье моего мужа. Мужа? — нет! это слово я не могу относить к себе: «Я не жена», — вот странная тема моей жизни с самого детства. Да, надо дотерпеть «срок» и расстаться навсегда. Все лучше, чем это унижение нам обоим.

Вот почему я становлюсь особенно ровно нежна и внимательна к Александру Васильевичу все оставшиеся нам два года жизни в Колпашеве. Я больше ни о чем его не спрашиваю, ничего не требую. Забот у меня много, И мне они даже нравятся: иногда я забываюсь в работе и тогда думаю, что так можно дожить и до самого нашего конца — до старости, до смерти. Может быть, и Александр Васильевич также «забывается»? Может быть, и ему не менее больно, и потому-то он не позволяет себе заглядывать в наши души? Может быть, отсюда рождается его интерес к логарифмической линейке и изобретательству?

Весной начинает оттаивать и протекать потолок нашей избушки. Мы покрываем крышу, обмазываем изнутри стены глиной с коровяком, белим их. Все — к приезду мамы. Я развожу огород. В короткое лето на крайнем севере у меня на диво удаются огурцы и даже южные помидоры. Все растет здесь круглые сутки благодаря белым ночам.

«Даже растения борются, отстаивая у природы право на жизнь», — думаю я. Мне стыдно, мне страшно, я не признаюсь самой себе: столько пережив, столько потеряв, я вижу в себе неистребимую жажду любви — утраченной и неосуществленной. Как после всего я смела еще желать себе жизни? — а как же Лев Толстой, глубокий старик, мудрец, отец многочисленного семейства, любимый и прославленный всем миром человек, все помыслы отдававший заботе о страдающих людях, как же он записал в своем старческом дневнике: «Самое сильное и тайное

желание мое — это любить и быть любимым»?

С открытием навигации к нам собирается моя мать. Я готовлюсь к ее приезду, запасая необходимое, но у меня нет очень нужного — корыта. Большого, круглого корыта, в котором можно и мыться, здесь делают такие из деревянных планок, как бочки, в обручах.

Я узнаю, что «политическая» (то есть партийная) ссыльная Екатерина Владимировна освобождается и распродает свои вещи. Так поступают все уезжающие. У нее-то я и нахожу такое корыто. Екатерина Владимировна провожает меня, стоя на крыльце, на руках у нее голубоглазый мальчик. Она получила «минус» и будет теперь жить в каком-нибудь захолустном городишке с мужем.

— А потом, — говорю я ей, — кончится минус, и вы вернетесь домой.

— А потом, — иронически продолжает мою речь Екатерина Владимировна, — мы снова отправимся в лагеря или ссылку. Мы ведь не то, что вы, мы политические враги… Вы — овцы, а мы для них — волки.

— И вы за него не страдаете? — спрашиваю я.

— Нет, с тех пор, как я стала матерью, я почувствовала себя еще сильней и бесстрашней в политической борьбе.

— Неужели все страданья не открыли вам жизнь в иной ценности, чем ваша политическая текучая злободневность? Может быть, надо бросить это вам, хотя бы ради этого чуда? — спрашиваю я, целуя мальчика.

Екатерина Владимировна не понимает меня. Она вежливо молчит. А может быть, мне не доверяет… Я ухожу.

Путь мой долог. Я несу корыто на голове, временами ставлю его на землю, присаживаюсь на пни, отдыхаю, осматриваюсь вокруг. Да! и на крайнем севере та же радость ранней весны: наст весело блестит на солнце, так блестит, что у меня ломит в глазах, около темных пней снег оседает и с южной стороны уже проталины. На небе среди быстро бегущих рваных облаков голубые оконца, тоже как проталины, они напоминают глаза ребенка, которого я только что поцеловала.

И всплывает со дна души раз мелькнувшее и спрятанное там поспешно впечатление: это было пять лет назад. Олег рассказывал, как он вез вместе с Настей своего крестника маленького Сережу на Кавказ и, когда выходил с ним погулять на остановках поезда, все принимали его за отца, и сочувствовали, и одобряли, и Олегу это было приятно. Олег рассказал мельком, весело, не принимая случая к сердцу, а меня рассказ его задел за живое, и, помню, мелькнула острая мысль: «Ему эта роль понравилась. Почему бы не ехать так ему с нашим ребенком?»

Мысль была запретная, и я ее торопливо обрезала. Это был первый и последний раз, когда я пожелала своего ребенка.

Обь тронулась. И мать моя отправилась в Нарым, повторяя прославленный путь «русских женщин». То были восемь вошедших в великую русскую историю жен декабристов, а здесь незаметные в своем множестве жены и матери бесчисленных русских людей, безвинно высланных в отдаленнейшие места огромной страны. Мама проезжала Тюмень, где встретил ее с цветами и проводил старый друг Борис Дмитриевич Удинцев, отбывавший ссылку. В Томске она застала еще Людмилу Вячеславовну Кафка и познакомилась с ней.

Когда я увидала мать, спускавшуюся ко мне на берег по трапу, я уловила в себе странное разочарование: «Этого ли я так ожидала, об этом ли так томилась целый год?» Чувство было мимолетно, и я его тут же подавила. Но оно было не случайно, и, как ни тяжко, от этого воспоминания мне в рассказе уже не уйти. Я еще раз поняла в то лето, что на самом деле я жду чего-то или кого-то совсем другого, как бы ни старалась я убедить себя и окружающих, что мечтаю только о будущей жизни с мамой…

Мама прожила с нами все лето и уехала с последним пароходом. Как хотелось мне проводить мать до Томска: создать ей иллюзию свободы! Я решилась попросить об этом нашего начальника Жука. Он ответил вопросом на вопрос:

— Вы знаете, что я не имею права вам выдать такое разрешение?

— Но вы можете меня отпустить под честное слово, — ответила я.

— Хорошо, — сказал он, — поезжайте, только, вернувшись, немедленно явитесь ко мне.

Так я в положении «вольного» человека проводила до Томска свою мать. Хотя и Жук, конечно, знал, что я не убегу, и я знала, что на каждом пароходе есть зоркие глаза его сотрудников. Зачем он говорил мне о своей хорошей среде, интересных людях, верных товарищах? Может быть, он сам так искренно думал? Разве не знал он, что делается под его началом, как страдают и гибнут бессмысленно невинные люди? Или вся эта даровая рабочая сила, при огромных, спешных заданиях строительства, не помещалась в поле зрения начальника? Эти вопросы задавала тогда себе не одна я: неужели они не понимают? И сейчас, пожалуй, еще трудно ответить на вопрос, понимали ли исполнители этой злой воли, что они делали…

В последнюю нашу колпашевскую зиму постучал к нам однажды человек и сказал:

— Я слышал, вы москвичи и образованные люди. Вот я и пришел к вам. Я — Клюев, Николай.

— Поэт? — воскликнули мы в один голос.

— Да, поэт, — ответил старик с горечью и устало сел на табурет. — Нет ли чего-нибудь у вас покормиться? — спросил он, согревшись.

Клюев был еще не стар: его старили борода и манера держаться. Был он до крайности неустроен. Он часто стал заходить к нам. Я кормила его, чинила ему одежду, а он сидел и читал, вернее, пел своим «клюевским» неповторимым песенным речитативом неизданные колдовские поэмы, так, наверно, и пропавшие.

Он читал последнюю часть «Песни о Великой Матери» под огонек нашей коптилки перед замерзшим окном, и мы слушали его, забывая свое горе. И не было в те минуты для нас ни холода, ни темноты, ни таежной пустыни.

Почему я не записала тогда этих поэм? Не знаю, как и ответить. Знаю одно — судьбы русской литературы меньше всего меня волновали в те дни, я и не думала об этом. Мы уехали — он остался. Слышала, что, освободившись, он умер внезапно на вокзале в момент отъезда. «Песнь о Великой Матери» и еще многое другое, что было в его котомке, попало в руки какого-то его спутника. Был такой смутный слух.

И второе лето мама провела с нами. Я даже начала поговаривать о том, чтобы навсегда остаться в Нарыме: от Москвы, кроме тревог, было нам нечего ожидать.

Но вот, наконец, приблизился срок освобождения, и я затосковала. Я не находила себе места от тревоги: нас забудут, перепутают сроки, увеличат срок наказания… Так случалось нередко! Я потеряла всякую выдержку, потеряла, казалось, самый разум. И, когда пришло освобождение, и мне выдали паспорт, я бросила все — хозяйство, работу, бросила Александра Васильевича, которого задерживали на месяц-два служебные дела, — и уехала в Москву.

Я бежала, и Александр Васильевич, возможно, понимал, что и от него. Провожая меня, помню, он был очень грустен. Перед моим отъездом явился пропадавший, как обычно, Тузик. Он был понур и не отходил от меня. На пристани он стоял рядом с Александром Васильевичем, и оба мы видели, как из глаз Тузика катились настоящие слезы.

Я не должна была уезжать раньше Александра Васильевича, я была виновата и, наверное, за эту вину тут же наказана.

В поезде я ехала на верхней полке. Мы переговаривались с

соседом — каким-то вольным москвичом, возвращавшимся из дальней командировки. Дорога долгая, разговоры бесконечные. Новая жизнь будто сдунула с меня налет осторожности, недоверия, приобретенный, было, в ссылке. Сосед заметил у меня на груди мешочек. Я доверчиво рассказала ему, что это деньги и документы: драгоценный мой паспорт и свидетельство об освобождении. Утром на какой-то долгой остановке сосед ведет меня погулять. Мы выходим на сторону, обратную платформе, там пустынное поле. Меня тревожит, что мы отдаляемся от вагонов, но сосед настойчиво увлекает меня все вперед и крепко держит за руку. Наконец я освобождаюсь от его руки и бегу к вагонам, подгоняемая страхом. Раздается свисток. Поезд трогается.

— Успели! — говорю я. — Так могли и остаться.

Сосед мой странно бледен, но я не вдумываюсь в происшедшее.

День тянется, как и предыдущие дни. Теперь я сняла свой мешочек с груди — он слишком там заметен, — и держу его в сумочке, которую не выпускаю из рук. И вот случается: на какое-то короткое мгновение я забываю о сумочке, и она исчезает. Мой ужас, поиски, сочувствие вагона… и сейчас страшно вспоминать. Мысль о матери: что я ей готовлю при встрече!

Но куда же делся мой странный спутник? Он долго не появляется. Потом приходит. Говорит, что задержался в ресторане. Он слишком спокойно выслушивает мой рассказ о случившемся и предлагает немного денег в долг: мне не на что купить себе пищи. Он вынимает бумажку, и я вижу: это, несомненно, моя — новая, и сложена пополам, как лежала у меня в мешочке. Впрочем, я была в этом уверена раньше, чем ее увидела… Только б он вернул мне паспорт и бумагу об освобождении! Но он, конечно, их уничтожил.

На московском вокзале я вижу из замедляющего ход вагона счастливые лица матери и Александра Николаевича. Я сразу им говорю, что у меня украли документы и деньги, и мы тут же идем в вокзальное ГПУ. Старый человек в военной форме с добрым лицом сочувственно меня выслушивает, записывает показания… Он и дает мне совет поступить на строительство Московского канала. Это единственное учреждение, которое берет людей без документов и даст мне возможность не уезжать, то есть не разлучаться с матерью. Он тут же помог мне написать письмо в Колпашево с просьбой выслать дубликат свидетельства об освобождении и письмо это заверил.

— Не ночуйте у матери, ни у кого не ночуйте, где вас знают, — предупредил он меня. — Не отчаивайтесь, все равно бы

вас не прописали в Москве. В провинции дают разрешение на въезд в столицу. И люди обманываются… А здесь железный закон: отбывших срок по 58-й статье в Москве не прописывать.

Трудная начинается жизнь: я боюсь подвести мать и знакомых. Человек из железнодорожного ГПУ оказался прав: единственный выход — Дмитров, где помещается управление по строительству Московского канала. Там работают заключенные. Там множество и вольнонаемного люда. И я отправляюсь туда.

На краю тихого старинного городка с традиционным валом-крепостью и соборами посредине спешно достраивался новый город — управление Москва-Волгострой. Рядом с бараками, обнесенными проволокой, высились каменные корпуса. Там были жилые дома начальства и всевозможные лаборатории, где работали первоклассные специалисты по различным отраслям науки. В центре была оборудована великолепная поликлиника, клуб, спортплощадка и ресторан для вольнонаемных служащих.

В перерыве между дневной и вечерней работой (день был удлиненный как у заключенных, так и у вольнонаемных) мы шли в ресторан. Там нас обслуживали заключенные-официантки в белых наколках и кружевных фартучках. На столиках стояли цветы из лагерных оранжерей, а оркестр из заключенных, скрытый на высоких хорах, ежедневно исполнял однообразно и чисто одни и те же музыкальные номера. Под эту мертвую музыку мы ели и покорно возвращались на вечернюю работу.

В категорию привилегированных служащих, имеющих право ходить в этот ресторан, в поликлинику, спать на собственной постели и, главное, раз в неделю навещать свою мать в Москве, попала и я. Я поступила в гидротехническую лабораторию и стала взвешивать грунты и вычислять кривые их компрессии. Я была совершенно не приспособлена к этой работе и напоминала себе дрессированное животное, послушно выполняющее непонятные задания человека.

Устроиться на работу и найти себе кров в переполненном «вольнонаемными» городе было нелегко. Помог мне один случай. Я приехала в Дмитров и, никого там не зная, прошла пешком весь путь от станции до Управления и присела, усталая, на скамейку на центральной площади возле ресторана: «Передохну и буду искать отдел кадров».

— Глазам не верю! — услыхала я знакомый голос. Передо мной стоял постаревший, но все такой же подвижный и оживленный NN. Оказалось, что он работает на строительстве. Мы уселись рядом и стали рассказывать друг другу о пережитом. NN подробно и волнуясь рассказал мне историю своей жизни.

Видно было, что он одинок, раздражен, и ему надо вылить верному человеку горечь пережитого.

— Я женился тогда вскоре на нашей студентке, вы сами знаете, при каких обстоятельствах я на ней женился. Я и не любил ее тогда, но помните, как она была красива и к тому же из родовитой семьи. Мой друг Х. женился на другой нашей студентке. Мы венчались одновременно, — рассказывал NN, — представляете, две пары на одном ковре посредине церкви — своеобразная кадриль!

— Что же, вы счастливы?

— Мне было неплохо, я даже привязался к жене. Потом вскоре родилась дочка. Мы жили дружно двумя парами, как венчались, всегда вместе, будто продолжалась наша веселая свадьба. Вскоре Х. втянул меня в один рыцарский орден, втянул и наших жен. Об этом не спрашивайте — тайна! — сказал он, не дождавшись моего вопроса. — Было очень занимательно: избранное общество, интеллектуальные сливки Москвы — и аромат Средневековья! Потом, представьте, все затрещало по швам — и мы очутились на Беломорстрое в качестве заключенных. Спросите — за что? Была одна мистическая символика и никакой политики, а нам приписали контрреволюционную организацию… Жене посчастливилось — ее не заметили. Жена Х. — простенькая, куда глупее моей, попала в трудную ссылку. Нам в лагерях пришлось солоно на первых порах: земляные работы, голод, драки, грабеж, уголовники рядом на общих нарах. Мы с Х. были неразлучны, я его за брата почитал. Благодаря одному мне он остался жив. Вы знаете, я общителен и прост, а он гордец, надменный позер, его бы без меня уголовники прикончили. Если бы не отцовские наперстные кресты и ризы с икон, на которые сестра мне посылала продукты, а я с ним поровну делился, он бы давно «загнулся», как говорят лагерники. Но мы выжили, потом перешли в бараки служащих, потом общая амнистия при окончании канала, освобождение. Радостная встреча с женой. А его жена не вернулась к тому времени: нас на Беломорстрое досрочно освободили. И тут жена моя и Х. мне объявляют, что они будут жить вместе, что они уже давно любят друг друга, давно близки, только раньше времени не желали меня расстраивать! Но теперь, видите ли, они хотят «правды»! «Как же ты мог, подлец, отцовскими крестами пользоваться, когда меня обманывал?» — спросил я Х.

— Что же он ответил?

— Не помню… А вот, что она мне ответила, этого мне не забыть никогда. Она мне в лицо рассмеялась и сказала: «Ничтожество, поповское отродье, я тебя всегда презирала,

благодари, что столько лет тебя терпела ради дочки, я теперь через тебя переступаю безо всякого сожаления». — «Я забыл, что ты — княжна», — сказал я и больше ничего не мог обидного в ту минуту придумать… Знаете, глупо, но я вызвал его на дуэль. Место и время назначил. Письма близким оставил. Пришел заранее, как Ленский, чтоб проститься наедине с жизнью. Ждал и все думал: чего только в эти минуты не передумаешь! Другой на моем месте в этот час стал бы седым, а мне всю жизнь везло, каким пришел, таким и остался! — сказал он это грустно безо всякой иронии и показал на свою голову в густых темных волосах без признака седины.

— Вы его застрелили?

— Что вы! он просто… не пришел. Так я даром прождал и ни с чем вернулся. Вам смешно? Я вижу по глазам. Вот и они так же! Потом жена мне сказала, что пока я мучился и ждал его, они сидели вместе и надо мной смеялись. Наверно и впрямь, со стороны я смешон в этой истории, — он помолчал и продолжал: — Я не отдал им дочку. Я ее вожу за собой. Содержу женщину, которая за ней ухаживает и ее охраняет, чтоб они не выкрали. Я мщу им. Мать тоскует, но я не допускаю ее даже для свиданий с дочкой.

«Ведь вы же женились, не любя, за что же мстить?» — чуть не вырвалось у меня, но я удержалась. Ведь я отличалась от него только тем, что лучше укрывала крах своей жизни.

— А жена вашего друга?

— Она вернулась разбитой, постаревшей, где-то доживает свой век, — равнодушно ответил NN.

— Жертва… — сказала я.

— Да, его очередная жертва, — ответил тот.

— Вы уверены, что только его? — Он недоуменно вскинул глаза, долго молчал и потом с поразившей меня кротостью сказал:

— Вы, вероятно, правы, вы и тогда были правы. Я еще подумаю об этом когда-нибудь. Только не теперь — теперь мне нельзя расслабляться: у меня война.

Это был 1935 год. В 1937-м прошла новая волна арестов. В нее попал и бедный NN.

Он-то и устроил меня благодаря своим лагерным связям в гидротехническую лабораторию, которой заведовала Валя Я., где работал преданный ей Сережа, ставший впоследствии ее мужем. Валя поселила меня, совсем ей чужую, на первых порах у себя, пока я не приискала себе угол у местных жителей.

Скоро приехал в Дмитров и Александр Васильевич. С

паспортом и без паспорта — это был единственный путь для человека, отбывшего ссылку по 58-й статье. Он, подобно мне, снял угол. Я решилась бороться с собой и не селиться на этот раз с Александром Васильевичем ни за что.

Встречались мы только на службе да в нашем ресторане. Тогда-то и сказала мне одна мудрая старая женщина, наблюдавшая нас:

— У вас разные тональности, вы должны его от себя освободить. И его, и себя…

Но как это сделать, если я не могу без разрывающей сердце тоски видеть его, когда он бредет по улице, такой молодой и уже похожий на старика, бредет в свою одинокую конуру? Однажды глубокой осенью в дождь и сумрак я заметила его высокую понурую фигуру. У фонаря наши пути столкнулись. Он увидал меня, поднял мокрое от дождя лицо и, как бы продолжая внутренний разговор, который был прерван моим появлением, сказал без обычной маскировочной улыбки:

— Я понимаю! конечно, разве таких, как я, любят?

Это было выше моих сил. Я стояла перед ним в холодном свете электрического фонаря и горько плакала. Он пытался мне что-то сказать, но губы не повиновались, и он прятал голову в поднятый воротник пальто. Ничего не сказав, я взяла его под руку, и мы зашагали снова вместе. Так прошла одна зима, потом наступила вторая.

Я томилась в своей лаборатории на однообразно бессмысленной работе, к которой была неспособна, как неспособна оказалась к счетоводству, за которое принялась, было, в Колпашево. Так мы и жили в этой парадной тюрьме, называемой «строительством канала», где главной целью была якобы «перековка» нашего сознания и где А. М. Горький плакал от умиления на митинге бывших воров и убийц и просто «бывших».

Парад нашей комфортабельной тюрьмы не заглушал, однако в душе воспоминания о словах следователя, брошенных мне на Лубянке: «Посмейте не прийти!» Та же непроизнесенная угроза висела теперь над каждым и бывшим, и настоящим преступником. «Не смей, а то!» — слышался нам окрик, и каждый ему повиновался.

Слов нет, трудно было выполнять государственное дело огромного строительства и одновременно управлять сотнями тысяч раздраженных, обиженных, ни в чем не повинных людей. Люди отбывали сроки наказаний, втягивались в работу, становились на места начальников. Так стирались границы справедливости, чести, верности… Люди переставали понимать себя. Внутри нашего городка тянулись бараки заключенных. Мы

встречались с заключенными ежедневно в лабораториях и на трассе, как с равными товарищами: все мы были похожи друг на друга, как кирпичи, обожженные одним и тем же огнем.

Вот Леонид Иванович, с которым мы обрабатываем вместе грунты в лаборатории. Он бывший учитель. Я многократно выслушиваю его историю: надо же с кем-то поделиться горем — и Леонид Иванович делится со мной. Он украинец, обвинен в националистической организации. У него 10 лет заключения. К Леониду Ивановичу приезжает на свидание жена. Мы выхлопотали ему разрешение пожить с нею вне лагеря на частной квартире. Он приходит теперь на работу как пьяный: то счастливый, то слабый и поникший. Наконец жена уезжает, он остается один. Мы узнаем, жена приезжала прощаться: она молода, она не хочет его ждать. И на наших глазах Леонид Иванович начинает хиреть и угасать. Невидимая болезнь подтачивает тело. Не все ли равно, от какой болезни он умер, для нас было ясно: умер от тоски. Леонида Ивановича зарыли на лагерном кладбище, где могилы оставались безымянными и сравнивались с землей. Мы легко туда проникли: только на кладбище не было в зоне Дмитровского лагеря часовых. Мы обсыпали свежую землю синькой — она останется до весны на снегу. А весной приедет старуха-мать, и мы покажем ей родную могилу. Больше, вероятно, не приедет никто. А если б кто и одумался и приехал, после первых дождей синька смоется, и никто никогда не найдет безымянную могилу.

Люди умирали здесь по-разному: бывали еще более страшные смерти. Об одной рассказала мне Валя. В лагерной больнице она познакомилась с молоденькой прелестной девушкой, которая потеряла всех близких, осужденных по 58-й статье. Она была ожесточенной и недоверчивой, но к Вале привязалась и рассказала ей, что лежит в больнице по поводу аборта, а ребенок у нее от самого начальника Белбалтлага Дмитрия Успенского. Наташа неутешно горевала о ребенке, но «Дима» требовал, и Наташа покорилась. Успенский не «соблазнял» Наташу — она сама потянулась к нему: она была уборщицей в управлении и без памяти влюбилась в обходительного начальника, мирилась с его охлаждениями, изменами, а однажды, узнав, что уголовники готовят покушение на Успенского, спасла ему жизнь. Он был в это время километров за двадцать на какой-то глухой точке строительства, и Наташа, с риском для жизни, самовольно покинула лагерь, всю ночь бежала, но успела вовремя предупредить, и Успенский уехал с трассы.

Валя освободилась раньше и уже в Дмитрове получила от Наташи ликующее письмо: она окончила свой срок, Успенский на

ней женился, Наташа родила двоих детей и была счастлива.

Переехав с Успенским в Дмитров, она прислала Вале письмо с просьбой ее навестить. Валя все оттягивала свиданье: между ними стояло теперь новое положение Наташи — «жены начальника». Так длилось, пока по окончании строительства не были арестованы и расстреляны все ведущие начальники канала Москва-Волга: Фирин, Коган и другие. Несомненно, та же участь грозила и Успенскому. И вот разнесся страшный слух, что не Успенский арестован, а он сам арестовал и посадил в тюрьму свою беременную третьим ребенком жену. Ее приговорили к расстрелу, но дали родить ребенка, который был отправлен тут же в детдом. Говорили, она до последнего не верила в коварство своего Димы. Впоследствии служащие Дмитрова, переведенные на Куйбышевское строительство, рассказывали о выступлении там на митинге Успенского, проникновенно призывавшего к взаимному доверию, гуманности, будто бы даже он говорил о любви…

Приближались юбилейные пушкинские дни 1937 года. Не помню, как это случилось, но мне предложили написать текст популярной лекции о поэте и выступать с нею по городу и по Дмитровскому району. Устраивало эти лекции «вольное» учреждение — РОНО. По ходу лекции я читала стихи, со мной выезжал еще один чтец и певица. Мне разрешили не посещать вечерние занятия в лаборатории — это был уже шаг к свободе. Так продолжалось всю «юбилейную» половину зимы. И в мороз, и в оттепель мы изъездили весь район со своей программой. Работа эта натолкнула меня на мысль, что с помощью бумажки о лекторской работе я найду себе внештатную должность в Москве, укрою прошлое и возобновлю прописку. Прописка в Москве и была, в сущности, единственной целью всех нас, вольнонаемных, работающих на канале. Для меня это тоже значило все: это значило вернуться к матери!

Однажды на мое выступление приехал Александр Васильевич. Я увидала его в антракте: он был приподнято оживлен и напомнил мне прежнего друга времен нашего студенчества.

Дома в тот вечер он сказал мне:

— Ты очень хорошо читала! И какая ты была красивая…

— Ты только сейчас меня заметил? — пошутила я. — Я читаю тебе стихи очень часто, а смотришь ты на меня ежедневно и даже круглые сутки…

— Да, это верно, — простодушно ответил Александр Васильевич. — Но когда ежедневно, то внимание притупляется, а

тут я увидал тебя в новой обстановке…

— И заметил?

— Знаешь, — продолжал Александр Васильевич, все еще не понимая иронии, — я, кажется, снова влюбился сегодня в тебя.

Слова эти поднимали старое, еще не отболевшее, я не хотела к нему возвращаться даже мыслью: это лишало сил для осуществления одной насущной нужды: не пропустить момент, воспользоваться бумажкой — и вернуться к матери.

И мне это удалось: я уволилась со строительства (это было непросто — помогла болезнь) и устроилась на работу в школу рабочих-стахановцев на заводе имени «1 Мая» на самой окраине Москвы. Там я преподавала русский язык и литературу рабочим — среди учеников моих были и подростки, и их седеющие матери и отцы.

«Мы учимся у вас не только литературе: мы смотрим, как вы держитесь, улыбаетесь, разговариваете…» — так говорила мне моя ученица, пожилая женщина, «знатная стахановка» и член партийного комитета. «Мы полюбили вас», — говорили мне мои ученики. Я и радовалась и одновременно смущалась, потому что они были искренни, а я их обманывала: они не знали историю моей жизни. Они не знали, что мне негде сегодня переночевать и, может быть, не придется даже на ночь раздеться. А утром я должна быть отдохнувшей, хорошо одетой, спокойной.

Только снятие судимости дало бы мне возможность жить с матерью, не бояться каждой встречи на улице, не скрывать на работе свое прошлое. И мне пришло в голову обратиться за этой милостью к «всероссийскому старосте» М. И. Калинину. Вся бесправная и обиженная Россия тянулась легковерно в его канцелярию, хотя, как мы впоследствии убедились, сам Калинин был зажат в тисках сталинского режима и был бессилен. Отправилась к Калинину и я. Не дойдя по улице несколько шагов, я увидала выходящим из дверей калининской приемной человека, кого-то мне напоминавшего. Мы оба остановились, вглядываясь друг в друга.

— Ляля! — воскликнул он и осекся.

— Тагор! — вырвалось у меня.

Он стоял передо мной и молчал — выхоленный, полнеющий чиновник, прежний провинциальный мальчик, открывший мне некогда красоту симфонической музыки и заботливо провожавший по темным улицам разоренного города. Молчала и я. У меня лихорадочно завертелась мысль в обратном направлении: «не доверять, не доверять, не доверять…» Механизм, отточенный пережитыми десятилетиями, сработал верно: мы уже любезно улыбались, в какие-то короткие секунды

попрощавшись с невинной простотой похороненной юности. Последний взгляд прежними глазами друг на друга — и мы переходим в настоящее.

Тагор берет меня под руку, и мы делаем с ним несколько кругов вдоль стен манежа. Он весело, шутливо вспоминает прошлое, рассказывает мне, что я была его первой любовью. Теперь он счастливо женат, приглашает меня навестить его семью.

— А ваша стенография? — вспоминаю я.

— Я, благодаря знанию стенографии, попал на работу в ВЧК.

— А теперь? — спрашиваю я.

— Теперь я работаю у М. И. Калинина.

— А как же наша музыка, поэзия?

— Некогда, некогда! — восклицает Тагор и даже отталкивается в воздухе руками. — Мы работаем часто ночами. Впрочем, артисты сами иногда навешают нас в Кремле.

— Вы удовлетворены? Ничто вас не смущает? — вырывается у меня неосторожно. Он делает вид, что не понимает вопроса.

Теперь он расспрашивает меня. Я непринужденно лгу. Наконец мы прощаемся, и я прохожу мимо канцелярии Калинина, даже не заглянув туда.

Уроки в школе рабочих были не каждый день. Мне удалось устроиться и на вторую работу — в детскую школу библиотекарем и классным руководителем. Теперь я в силах содержать свою мать. Но жить с нею в доме, откуда я была отправлена в тюрьму, было невозможно, и я продолжала пользоваться милостью своих друзей, каждый раз — на новом месте, боясь их подвести. Я вспоминала Михаила Александровича Новоселова: «Устал я стеснять собою добрых людей. Боюсь подвести их».

Были дни, когда приходилось ночевать на московских вокзалах. Об этом я матери не рассказывала.

В это время я услышала в душе новую тревожную ноту: нам становилось трудно быть вдвоем. Непонятное раздражение нарастало между нами, может быть, крайняя усталость от жизненной борьбы? Но, тем не менее, я вижу, как любовь моя, все заполнявшая, родившаяся после смерти отца и руководившая до сих пор всеми моими поступками, любовь эта к матери вырождается теперь в убогую жалость. Свое одиночество я особенно резко и больно ощущаю, когда бываю с матерью вдвоем, подобно тому, как ощущаю его, оставаясь вдвоем с Александром Васильевичем.

Как могло такое несчастье случиться? И вспоминаю я Колпашево — ту странную минуту, когда я почувствовала

разочарование, увидав спускавшуюся по трапу мать, так мною ожидаемую. Тогда я не поверила себе, возмутилась… Теперь я вспоминаю детство и свое отталкивание от матери: как мне жить дальше с такой опустошенной душой? Мы обе были ранены жизнью, и мамина болезненная нервозность, как и когда-то в детстве, вызывала во мне невольный протест, стремление обороняться, она лишала меня сил. Сама больная, я искала душевного здоровья. Причина была проста, но понять ее — значило вылечиться, а я — не понимала.

Должна признаться и в последнем: я узнала теперь новое для себя чувство, похожее на зависть. Да, я с тайной завистью провожаю теперь глазами людей в поездах, трамваях, на улицах, на бульварах. Наблюдать их — становится моей навязчивой и печальной потребностью. Вон молодая мать катит перед собой коляску с младенцем. На ее лице спокойствие удовлетворенного чувства. Она счастлива. Вот двое молодых людей — мужчина и женщина идут, взявшись за руки. Им хорошо вместе, путь их ясен и прям: они нашли друг друга. «Всем, всем дается это счастье, — думаю я, — ради которого существует мир и совершается все в природе, чем бы его ни прикрывали: искусством, наукой, служением, пользой. Правда жизни одна — любовь, цельный человек, по неведомым причинам раздробленный…»

Как могло это жить во мне, когда продолжает неотступно сниться один и тот же сон об Олеге; когда маячит за плечом скорбная тень Александра Васильевича; когда я знаю теперь и не могу обмануться: каждый, кого я встречаю, «не он» и «не тот». Детская формула «я — не жена» — это пока самое достоверное, что я узнала о себе, и я не могу разгадать тайну, которая глубже моего понимания.

Время от времени я делала попытки прописаться в Москве. Но все было напрасно: государственная машина работала четко. Отказ следовал за отказом. Но все-таки — люди не машина. Какой-то человек в милиции проглядел, ошибся — и меня неожиданно временно прописали у знакомых на даче под Москвой. К тому же, оканчивалось строительство канала, и Александру Васильевичу также удалось уволиться. Он поселился теперь в 100 километрах от Москвы и оттуда ездил на работу в столицу.

Однажды я поехала его там навестить. Я знала, что застану знакомую картину: книги, наваленные посреди вещей и пыли, и сам Александр Васильевич полуголодный, неухоженный, с какой-нибудь новой вычитанной им математической или философской идеей. Благородный, самоотверженный, до конца — до смерти

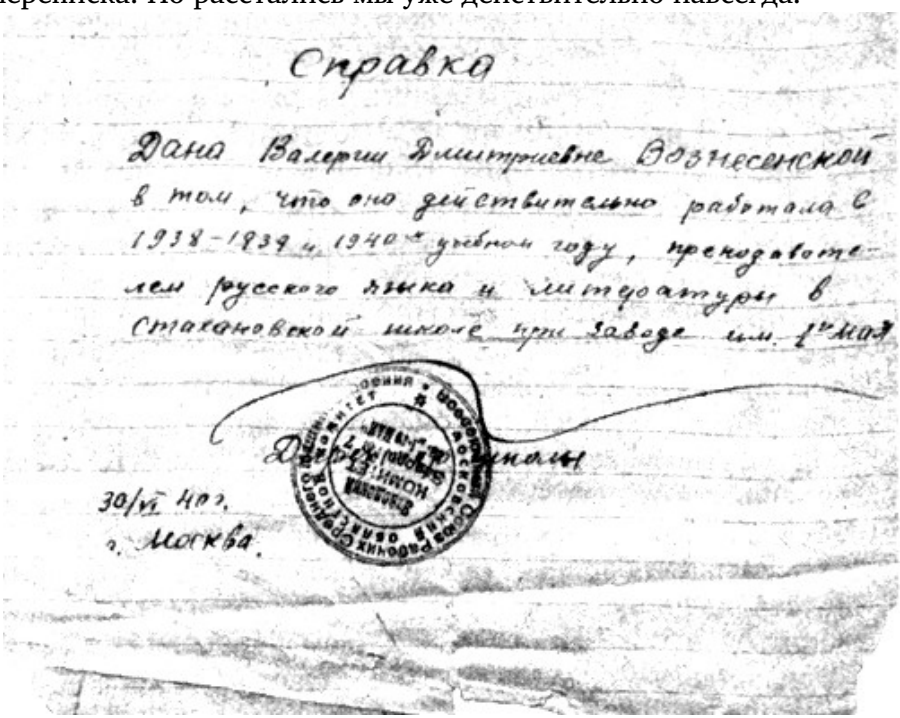
принципиальный.

«У вас разные тональности, вы должны его освободить от себя», — повторяю я засевшие в сердце слова мудрой старухи из Дмитрова. Я решаюсь на операцию, болезненную, но необходимую для нас обоих. Не помню, что меня подвигнуло на последний шаг, но весной 1938 года я повезла Александра Васильевича за город и там, среди природы, без свидетелей, долго, в отчаянных слезах горя и раскаяния, говорила обо всем пережитом, заставила все вспомнить, все выслушать — это был тот «допрос» и ему, и себе, которого он настойчиво избегал всю нашу совместную жизнь.

Я старалась взять на себя всю вину, всю тяжесть прошлого, облегчить всеми средствами для Александра Васильевича горе расставания. Он нашел в себе силы проводить меня домой. Мы коротко рассказали маме о происшедшем. Оба плакали. Мама молчала, она давно поняла неизбежность этого шага. Александр Васильевич стал церемонно прощаться, пошел к двери, обернулся. Я бросилась к нему, мы обнялись, как родные. И тем не менее расстаться нам было нужно. Мы стояли в слезах, забыв о маме. А она смотрела на нас с глубоким изумлением и повторяла растерянно:

— Так зачем же вы расстаетесь?

С Александром Васильевичем продолжалась редкая переписка. Но расстались мы уже действительно навсегда.



Справка

Дана Валерии Дмитриевне Вознесенской в том, что она действительно работала в 1938-1939 и 1940 учебном году, преподавателем русского языка и литературы в Стахановской школе при заводе им. 1 Мая

30/VI 40 г.
г. Москва.

Проходило лето. Начинался новый учебный год. Директор школы давно уже присматривается ко мне, и вот вызывает меня в свой кабинет, и настойчиво предлагает взяться за преподавание литературы в старших классах. Это было столь же заманчиво, сколь и рискованно. Рассказать о себе правду было нельзя, и мне удалось под каким-то предлогом отказаться. Директор недоумевает, но соглашается. Проходит какое-то время, и он снова вызывает меня к себе, но на этот раз ведет себя до крайности странно: закрывает за мной дверь кабинета на ключ и только потом обращается ко мне:

— У меня только что был товарищ из районного отдела НКВД. Он спрашивал о вас. Вы должны мне рассказать о себе всю правду.

Комната начинает медленно кружиться. Голос директора глухо доносится ко мне издалека, я почти что теряю сознание. Но это лишь мгновение. Стены останавливаются в своем движении, я застаю себя сидящей по-прежнему в кресле, откинувшись на спинку, спокойно глядящей на директора.

«Надо выиграть время», — проносится отчетливая мысль в голове. Для чего — еще самой неясно.

— Тут какое-то недоразумение, — говорю я. — Попросите их точнее навести справки и передайте, что мне нечего вам рассказать.

— Я так им и ответил, я был в этом уверен! — с облегчением говорит директор и трясет мою руку. Он искренно ко мне расположен, этот добрый человек.

— Что же мне делать дальше? — спрашиваю я, улыбаясь.

— Не беспокойтесь, — отвечает директор. — Они сами ко мне завтра придут за сведениями. Я вас вызову тогда.

С трудом досиживаю я рабочий день. Иду к матери, иду в последний раз: нам не вынести с ней вторичного испытания. Но я не должна раньше времени и виду подать о случившемся: мысленно прощаюсь, говоря о пустяках. Мать выходит в кухню, а я успеваю в эти минуты выхватить из шкафа смену белья, еще что-то, необходимое в тюрьме… Обнимаю мать, отводя глаза, боясь посмотреть в дорогое лицо.

Теперь найти Варю П., мою гимназическую подругу. Она меня устроила в школу на работу, ей за меня отвечать. Надо сговориться о показаниях на будущем допросе. И еще — пусть не оставит мою маму, недавно я делила ее горе — она хоронила любимого мужа, теперь ей придется делить мое.

Я уезжаю ночевать в Малаховку по месту своей прописки, где живу сейчас одна в пустующей даче. Я и не пытаюсь заснуть в эту последнюю, вероятно, на свободе ночь. И вот, второй раз в жизни

я обращаюсь с мольбой к Богу. Опять прошу о спасении не ради себя — ради матери. И прошу, в сущности, о чуде. И удивительно — ко мне приходит полное спокойствие. Так наступает рассвет. Я освежаю водой воспаленное лицо, собираю маленький чемодан. Открываю на прощанье Евангелие. Читаю: «Посмотрите на полевые лилии… Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! Итак, не заботьтесь!»{199}

На улице тепло: погожий день ранней осени. В поезде я сажусь у открытого окна и жадно дышу: самое трудное в тюрьме — духота. Автобус приближается к школе. Я приглядываюсь, нет ли у входа ожидающих меня людей… Раздеваясь, прохожу в библиотеку. Директор встретился в коридоре, ответил хмуро на поклон, отвернулся… Плохой знак! Но сила терпенья, пришедшая ко мне на рассвете, меня не покидает. Так проходит весь томительный день. Меня к директору не вызывают. Наступает день второй. Я опять прошу милости ради матери. И в этот второй день ничего со мною нового не происходит. Наступает день третий. К маме я не показываюсь. И тут я чувствую, что нравственные силы истощаются, и я падаю духом. Мною овладевает та тоска черной безнадежности, в приступе которой люди, вероятно, накладывают на себя руки.

Я сижу одна в библиотеке, тупо уставившись на дверь. Она отворяется и входит Михаил Сергеевич У. — наш заместитель директора по хозяйственной части, проще говоря — завхоз. Он человек моих лет, сын сельского священника, бывший «лишенец», поэтому с трудом пробивается в жизни. Вуз ему не дали закончить, но ценят на работе. При школе у него однокомнатная квартира с отдельным входом. Все молодые учительницы в него влюблены, но ни одна из них не может похвалиться его особенным вниманием. Он безупречно строг в отношениях, со всеми подряд танцует на уроках западных танцев: вся Москва теперь учится танцевать.

Мы часто по-дружески перекидываемся с Михаилом Сергеевичем при встречах в коридоре незначительными словами. Я замечаю на себе иногда внимательный взгляд его добрых голубых глаз. От Михаила Сергеевича веет необычной чистотой и свежестью, как от деревенского луга.

Сейчас он входит очень серьезный, без улыбки, прикрывает плотно дверь и говорит:

— Я наблюдаю вас уже третий день, с вами что-то случилось. На вас лица нет. Доверьтесь мне, прошу вас! Я, может быть, вам пригожусь. Мне кажется, вам не с кем поделиться… Если я ошибаюсь — прогоните меня, я не обижусь.

— Пойдемте куда-нибудь отсюда, где нас никто не услышит и не застанет, — отвечаю я. Михаил Сергеевич ведет меня по коридорам, переходами, через множество дверей, к торцу здания. Он открывает последнюю дверь: это его отдельная квартира с выходом на улицу.

— Мы теперь одни, — говорит он, — я запер дверь на ключ!

И я рассказываю ему, незнакомому, всю свою жизнь. Рассказываю о нависшей надо мной новой беде. Он слушает, не перебивая. Я кончаю свой рассказ. Он берет меня за руку и говорит:

— Я вас запру сейчас на ключ, и никто кроме меня и вашей матери, не будет знать, где вы находитесь. Мы напишем с вами письмо директору, что у вас кто-то близкий умирает и вы вынуждены срочно уехать из Москвы: вы не знаете, вернетесь ли и просите уволить вас с работы. Он все так и сделает: я знаю, как он относится к вам. Вы уехали, не оставив адреса. Ставка на то, что следователи вам не придают особого значения — и не станут возиться по розыску следов: у них и без вас достаточно дела. Мы выгадаем время. Прошедшие трое суток — это уже шанс на спасение. Протянем еще. К матери вашей я схожу сейчас же и все объясню.

— Где же сами вы будете жить? — нашлась я только спросить.

— В кухне, — коротко ответил Михаил Сергеевич и ушел.

Так началось мое добровольное заключение. Через несколько дней Михаил Сергеевич выведал, что мое увольнение оформлено. По школе он распространил слух, что у меня умирает в провинции муж и, все бросив, я уехала к нему. Директор мне явно сочувствовал и держал мою сторону, он и не подозревал, что я в это время нахожусь с ним под одной крышей!

Вскоре Михаил Сергеевич явился ко мне с новым предложением: я перееду к его матери в деревню: это лучше, чем «одиночка!», и осень стоит на редкость теплая, и мама приедет ко мне.

В темноте с предосторожностями Михаил Сергеевич вывел меня из школьного здания, и вскоре я очутилась в деревенском домике бывшей попадьи — неграмотной деревенской старушки. Подозрительно и ревниво встретила она незнакомую молодую женщину, неизвестно в какой роли приехавшую к ней. Михаил Сергеевич ушел на ночь в избушку на маленький свой пчельник, мы остались со старушкой одни. Она легла на широкую кровать под божницей, мне положила прямо на пол сенник, долго ворочалась, вздыхала. Я тоже не сплю, и, как челнок у пряхи, снует и снует у меня одна и та же мысль: «Надо отсюда уехать, а

сделать этого нельзя. Надо уехать — а нельзя…» Туда — назад, туда — назад…

Сна нет. Керосиновая лампочка подвернута, но не погашена и чадит. Старуха приподнимается на локте, вглядывается в полутьме сверху вниз на меня, лежащую на полу, садится и говорит, причитая, нараспев, покачиваясь в такт словам:

— Ты думаешь, я не вижу? Все вижу, матушка! Повисла ты на нем, бесстыдница, вижу — глаз с него не сводишь. Все вы такие теперь, ни стыда, ни совести, ни закона. Плох ли молодец мой? Статный, пригожий. Поживешь с ним, а потом на себе и окрутишь!

Все, все готовилась я вынести, только не такое! От оскорбления, от усталости я плачу, как малый ребенок, и, тем не менее, должна молчать об истинной причине моего здесь появления.

— Нечего плакать-то, — наставительно говорит старушка, — раньше надо было плакать, а уж коли честь потеряла…

Ты его только не вяжи, видишь, какой он у меня теленок, — говорит мать, и голос ее мягчеет от нежности к сыну. — До тебя он и женщин совсем не знал, все берег себя… А у тебя он не первый, по глазам вижу — не первый…

Наконец старуха засыпает. Я неслышно одеваюсь, беру свой чемодан, выхожу на улицу. Небо — в роскошных переливах восхода. Сияющий мир в природе и мрак на моей душе. Путь до станции лежит мимо пчельника. Михаил Сергеевич уже встал и бродит с дымарем между ульями. Вот он увидал меня, радостно и недоуменно машет мне рукой. Бежит ко мне, светловолосый, босой, по высокой росистой траве.

— Куда вы, что случилось?

Мне пришлось рассказать без утайки об этой ночи. Он отбирает у меня чемодан, уводит в омшаник, там пахнет воском, солнцем, свежим сеном. Михаил Сергеевич укладывает меня на сено, что-то ласково говорит. И тут я сразу проваливаюсь в крепкий сон без сновидений.

Было уже за полдень, когда я проснулась. Толкнула дверь — она заперта снаружи. Я оглядываюсь: на столе между рамок с искусственной вощиной стоял жбан с молоком, на тарелке куски сотов со свежим медом и деревенский хлеб, предупредительно разрезанный ломтями. На хлебе записка: «Увожу мать в город. Немедленно вернусь. Прошу потерпеть заключение. Ехать Вам некуда. Все будет хорошо».

Так и не пришлось мне бежать в тот раз из домика попадьи. Вскоре Михаил Сергеевич привез мою мать. И, наконец, пришел день, когда мы убедились, что обо мне забыли: безупречная

машина опять дала осечку.

Передо мной встал новый вопрос: куда мне ехать и как жить? Проще всего было — за стокилометровую зону к Александру Васильевичу, но я с негодованием отбрасывала эту мысль. По месту прописки под Москвой было опасно. Тем временем наступали зимние холода. Я перебралась с пчельника в город, вернулась на работу в школу стахановцев, по-прежнему ночевала в разных местах. И тут Михаил Сергеевич совершает еще один героический поступок: пользуясь своими связями в милиции, как администратор школы, он добывает мне постоянную московскую прописку, он прописывает меня в своей квартире…

Через того же Михаила Сергеевича я получаю новый источник заработка — возможность заниматься с отстающими детьми. Я отваживаюсь теперь в определенные дни появляться в квартире Михаила Сергеевича, куда приходят после уроков мои ученики. Время все сглаживает: видно, что в школе о происшествии со мной забыли, а я стараюсь не попадаться директору на глаза.

Теперь я топлю свою жизнь в работе с утра и до позднего вечера. Мать Михаила Сергеевича живет вместе с сыном. Старушка и сам Михаил Сергеевич как дети радуются новому дивану, хорошей одежде — всему, чего им недоставало в дни их «лишенства».

— Вот и у нас жизнь, как у людей! — говорит теперь уже удовлетворенно старушка и мне с откровенной просьбой: — Не хватает только молодой хозяйки!

Я упорно молчу. Я понимаю, что обрела бы дом и покой для матери, но точно знаю: этого делать нельзя. Правда, Михаил Сергеевич мой «благодетель», но любви к нему, как бы я того ни желала, ничто не может во мне пробудить: теперь-то уж я не спутаю ее ни с чем! Ни благодарность свою, ни сочувствие, ни даже тоску по любви — за самую любовь мне больше не принять: «Любит человека тот, кто любит мысли его», а Михаилу Сергеевичу чужд мир моей мысли — я в его мире скучаю. Он настрадался от «идеализма», из-за которого погиб его отец, разорена семья. Он не променяет теперь свое право жить просто и благополучно на эти «фантазии». «М.С. в ответ на просьбу Ляли прочесть Евангелие назвал все это гнилью. — Гниль, — ответила Ляля, — это неплохо, это все равно, что навоз земле: без навоза не родит земля, и мысль не родится, если что-нибудь в себе не умрет, не сгниет»{200}, — записал в дневнике Пришвин.

Я знаю, что надо решиться и сразу резко сказать, но как скажешь, если я прописана на площади Михаила Сергеевича? Отнять надежду — значит вызвать его на борьбу: он прост, и потому самоуверен, он мягок, но настойчив. Как он настойчив! И

я молчу — оттягиваю срок последнего объяснения до тех пор, когда удастся обменять комнату матери и в ней прописаться. Мне так легче — молчать и ждать.

Михаил Сергеевич временами сердится: какие могут быть еще вопросы в моем положении и при его преданности, молодости, его наружности. Он даже намекает, правда, осторожно, на мою неблагодарность… Так длится еще один, 1939 год.

Хотелось бы, да как покажешь свою «героиню» той прекрасной героиней в ореоле благородной решимости и прямоты? Как покажешь, когда приходится быть сейчас небрезгливой, неразборчивой, до предела терпеливой?! Надо жить, сжав зубы. Надо работать. Надо скрывать прошлое, лукавить и улыбаться. И, самое главное, — к матери приходить каждый раз со спокойным лицом. Так надо.

Летом 1939 года я поехала на Красную Поляну. За 10 лет здесь все переменилось, прежними оставались только горы. В поселке жили пришлые люди, старые насельники были либо высланы, либо сами разбежались. Некого, да и опасно было спросить о дороге к месту, где жили когда-то монахи.

Я излазила берега и склоны Монашки, разыскала развалины старой мельницы, мимо которой некогда шел наш путь. Дальше пройти прежней дорогой было невозможно: она исчезла. Вокруг обступали непроходимые заросли кустарника, новые мощные деревья выросли и стояли сплошной стеной. На сбитых о камни ногах, на ободранных о колючки руках не было живого места. Но найти остатки дороги мне не удалось. Я продолжала жить на Красной Поляне и осторожно расспрашивать жителей. Все чаще то от одного, то от другого удавалось услышать, что есть на склоне Ачишхо «на полгоре» поляна, вся заросшая молодым лесом. Там лежат обугленные бревна трех хат, и живут на поляне одичалые пчелы.

— Как мне туда добраться? — решилась я однажды спросить.

— Сами и не думайте — не дойдете! Есть у нас парнишка, он знает путь, он ходит туда за медом.

— Я разыскала мальчика, но мальчик лежал в припадке тяжелой малярии. Сколько он пролежит? Я решила ждать.

И тут настигла нас весть о начале войны с Финляндией. Приезжие люди бросились на машины. Рассказывали, что в Сочи ни за какие деньги невозможно достать билет на поезд, едут на крышах и на буферах. Мысль о матери перемогла, и я, не дождавшись выздоровления мальчика, уехала. Там, в дупле дерева, осталась лежать навеки последняя, никем не прочитанная работа Олега.

Единственным выходом соединиться с матерью и обрести себе дом было поменять мамину комнату. Хождение по обменным адресам стало моей новой и бесплодной работой. Михаил Сергеевич по-прежнему не верит моему решению, тем более что от него не укрыть: мы с матерью то ли устали друг от друга, то ли опустошились от постоянных друг за друга тревог. Увы! наша дружба перестала быть радостной, как в прежние, правдивые годы. Я берегу мамину записную книжку, там несколько адресов да еще строчка уже стирающимся карандашом: «Дружба, бывшая основой их земного счастья, стала уже не та».

От Александра Васильевича получаю изредка тоскливые письма. Он пишет:

«Расстояние и время — обычные помощники в разлуке — мне не помогают. И не могу теперь я дать тебе своего согласия на развод, что означало бы, что я отказываюсь от тебя и умываю руки. Нет, не отказываюсь!»

Он все еще считает наш брак действительностью, а не призрачным событием, каким он был для меня. Он так ничего и не понял в происшедшем.

Есть у Пришвина запись, сделанная им в конце первого года нашей с ним совместной жизни. Он пишет: «А. В. раскритиковал в письме „Фацелию“ и распростился с женой до встречи в Царстве Небесном. Эх, А. В., прожили вы с Лялей столько лет и не поняли, что ведь она не женщина в вашем смысле и ваши притязания к ней грубы и недостойны ее существа. И если вы действительно верите, что встретитесь с нею в загробном мире, то вы или не узнаете ее, или, узнав, впервые познаете и устыдитесь»{201}.

Я не решилась бы поместить эти слова Михаила Михайловича в свой рассказ, потому что они написаны в мою защиту и возвышение, я же вину свою знаю, знаю глубже, чем о ней пишу. В то же время я чувствую себя бессильной разобраться до конца в сложности пережитого и ищу одного — полного забвения наших прошлых общих страданий. Но, желая сжечь прошлое, я предварительно воскресила его. Значит, я должна сохранить и свидетельства единственного человека, который захотел понять пережитое нами, а не просто его осудить.

Трагедию моей жизни Михаил Михайлович разъясняет своими многочисленными записями, которые здесь все собрать и привести невозможно. Скажу одно: они были по существу раскрытием темы, поставленной мною в этом повествовании давным-давно «среди пыльных книг» в замоскворецкой комнатке Александра Васильевича где-то в начале двадцатых годов, темы — о женщине.

«Л. только тем и замечательна, что умела отстоять свои права

на материнство, не отдаваясь… Лялина жизнь есть борьба за женщину в ее сокровенном значении как материнство личности (духовное материнство)». «Как Ляля проста в своей сущности, и как трудно было всем из-за этой простоты ее понять. В том-то и была ее непонятная простота, что она была мать без детей»{202}.

Я знала, с каким поездом Александр Васильевич приезжает по утрам из Можайска. Меня не раз тянуло на Белорусский вокзал ему навстречу. Вот я смешиваюсь с утренней толпой торопящихся на работу людей и вижу Александра Васильевича. Он идет, как всегда смотря себе под ноги и не видя ничего вокруг. В руках у него до предела раздутый знакомый потертый портфель. Александр Васильевич проходит близко от меня, но я могу быть спокойна — он меня не заметит. Я возвращаюсь с вокзала и думаю: надо поставить на своей жизни крест.

В этих мыслях тянутся первые дни новой зимы 1939/40 года, без видимых в моей жизни перемен. Однако они стоят уже на моем пороге, и мой рассказ, который под конец становился все мрачней и безнадежней, получает неожиданное продолжение: в мою загубленную жизнь пришел художник, понявший смысл этой жизни и страстно, убежденно пожелавший ее оправдать. Он записывает: «Если я оправдаю ее, то я тем самым и себя оправдаю. Как много в этом слове: оправдать. Положу все на это и Лялю свою оправдаю». «Наша любовь с Лялей дается нам в оправдание прошлого»{203}. Понять — значит найти в прошедшем смысл, и это делает рассказ о себе рассказом для всех.

«Ее память в отношении своей жизни работает как память художника-реалиста: утверждаются как реальность не все факты, а только те, которые характеризуют направление сознанья личности. Факты — это следы на песке существа, обладающего крыльями. Но вот следы ног кончаются, по обеим сторонам этих последних следов на песке виднеются удары маховых перьев крылатого существа, и дальнейшее преследование его по следам на земле невозможно. Камень от гроба отвален, книжники и фарисеи одурачены, земные следы крылатого существа потеряны… Христос воскрес и через какой-то необходимый срок переживаний обманчивой земной радости придет всех судить… Это суд Христов, в противоположность суду человеческому, будет совершаться уже не по земным только следам, а по тем существенным следам крылатой личности, которые ускользали от глаз земного следопыта»{204}.

Я хотела бы ответить себе еще на один вопрос: смогла ли я сохранить свою детскую веру в смысл нашей жизни, в любовь, Невидимый град. Школу радости, Остров Достоверности — в мир нравственного совершенства? Да. И если бы даже весь океан

бытия мне удалось процедить сквозь решето своего рассудка, я все равно в нем ничего бы лучше не нашла, чем та жемчужина веры, что единственная лежала на весах моей совести и сознания с далекого детства. Но вот что новое узнала я за свою жизнь: вера становится уже невидимой тайной души, тайной личности.

«Есть только я и Тайна. Все остальное — счеты людей между собой», — записывает в дневнике Михаил Пришвин.

«Есть только Бог и мы. Больше нет ничего. Бог и человек относятся как Тайна и вниманье. А все прочее — тень и сон», — пишет в «Острове Достоверности» Олег.

Мы все идем общим путем рядом друг с другом, и иногда по пути вдруг тихо повеет чем-то знакомым, родным. Мы оборачиваемся, ищем и радостно догадываемся: это с полей нашего Китежа — Невидимого града нашей общей души, он рядом, он близко, невидимый — цветет.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Портрет В. Д. Пришвиной во время работы над книгой «Невидимый град». 1960.

Наталия Аркадьевна Лиорко. 1898.

Дмитрий Михайлович Лиорко.

Витебск конца XIX — начала XX в.

Ляле три года. Витебск. 1903.

Сестры отца Евгения и Ольга.

Наталия Алексеевна и Михаил Порфирьевич Лиорко.

Александра Андреевна Раздеришина.

На даче.

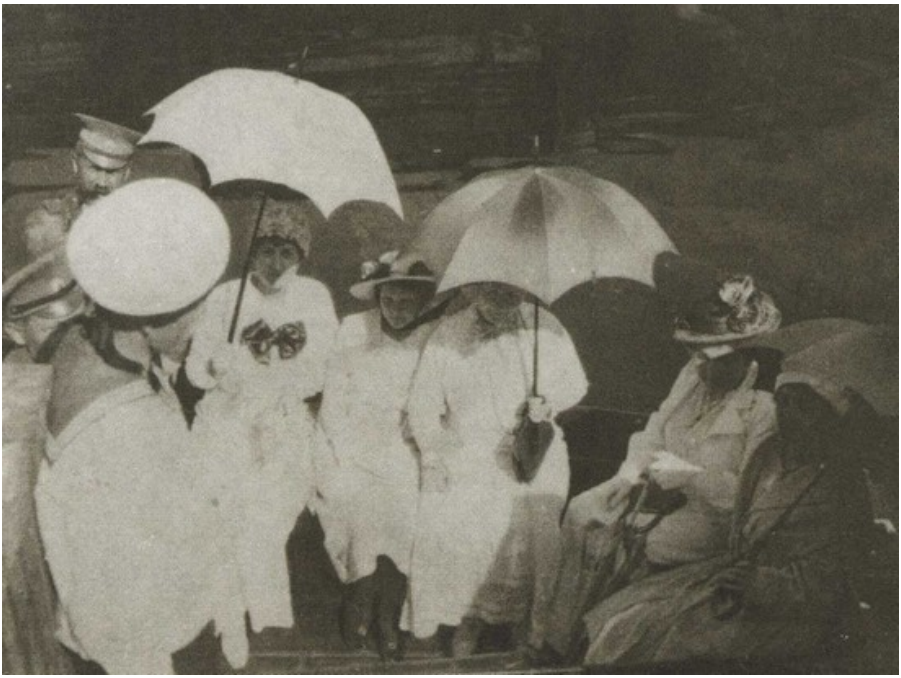
Ляля с кузенами на даче. 1905.

Ляля с подругой. Двинск. 1910.

Гикс «Фиалки». Литография из детской комнаты Ляли.

Семья Лиорко. 1908.

Ляля. 1907



Ляля с матерью и тетками на даче. Выборг. 1915 (?).

Ляля. 1907.

Валерия Дмитриевна возле своей гимназии. Двинск. 1978.

Дом в Двинске, где жили Лиорко.1978.

Двинск. Современное фото.

Наталия Аркадьевна. 1912.

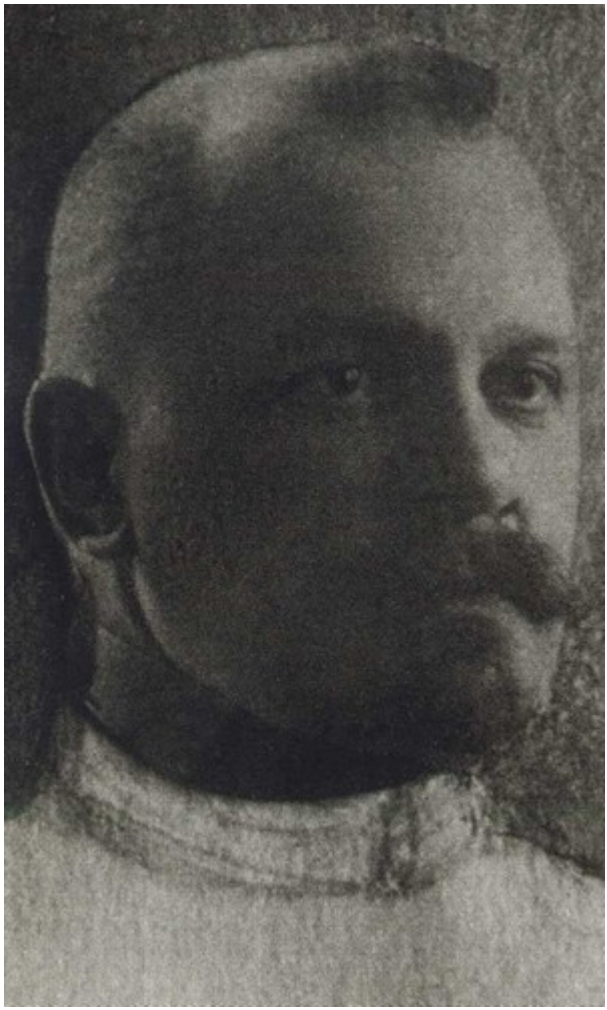
Дмитрий Михайлович в форме Ленкоранского пехотного полка. 1912.

Ляля. 1912.

Ляля в группе детей. Рядом слева Лиля Лавинская. Выборг. 1911.

Наталия Аркадьевна и Дмитрий Михайлович Лиорко перед Первой мировой войной. 1914.

Лазарет при Северо-Западной железной дороге. 9–28 сентября 1914 г.



Д. М. Лиорко незадолго до ареста. Последняя фотография. 1918.

Зинаида Николаевна Барютина. 1917(?).

ПРОПУСКЪ № 8228

Предъявителю сего Дѣлопроизв.

ЛІОРКО

Калеріи Дмитріевнѣ

разрѣшается свободный входъ въ зданіе Административнаго Отдѣла Совѣта Рабочихъ Депутатовъ г. Москвы ежедневно отъ 9 час. утра до 5 час. вечера того же дня и обратно, что подписями съ приложеніемъ печати удостовѣряется.

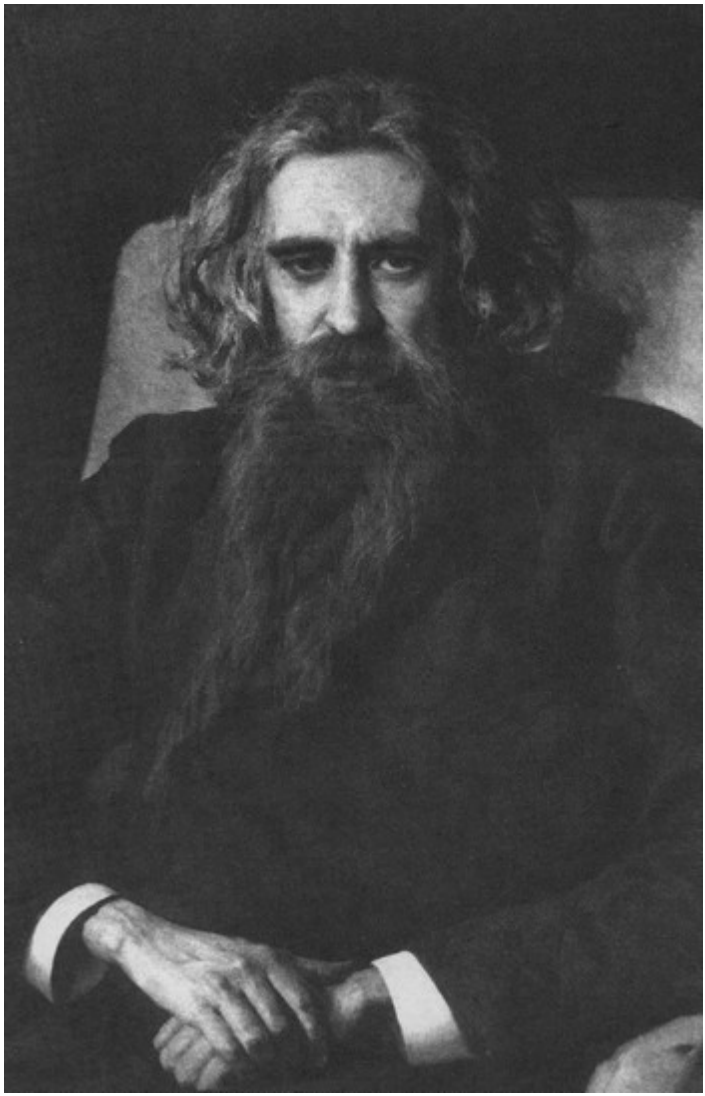
Завѣдующій Административнымъ Отд. Совѣта Раб. Деп. г. Москвы

Завѣдующій Личнымъ Составомъ Административнаго Отдѣла

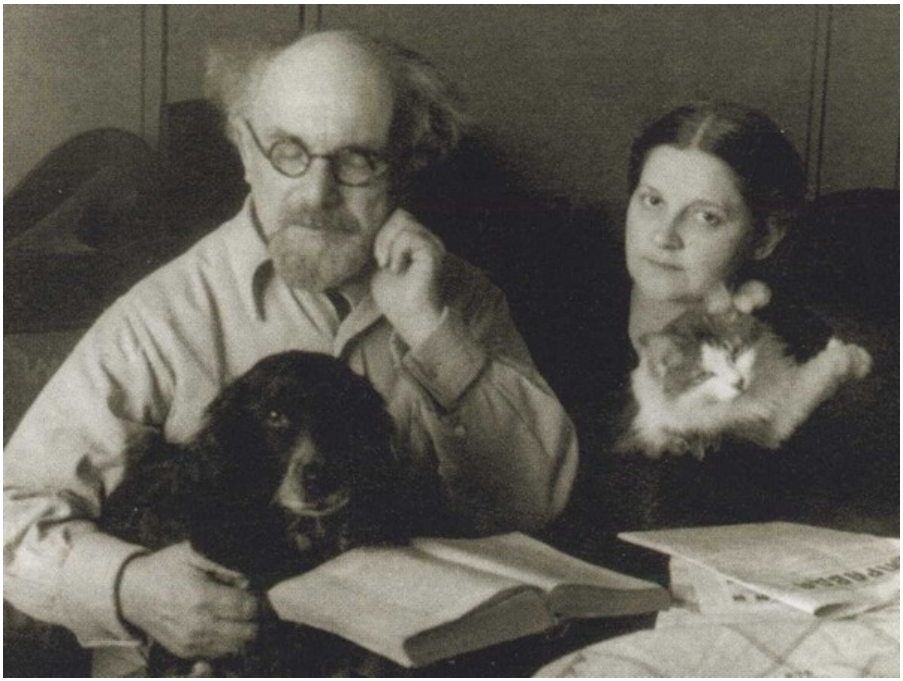
9 Іюля 1918 г.

Пропуск в Моссовет — первое место работы Валерии Лиорко.

Берн-Джонс «Король Кафетуа и нищая».



Портрет Владимира Соловьева из комнаты в имении Узкое, где философ скончался в 1905 г.



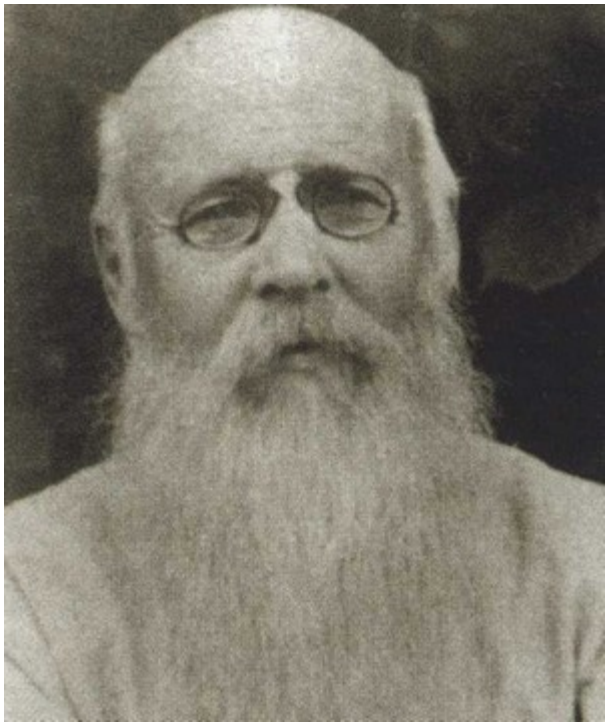
Валерия Дмитриевна и Михаил Михайлович Пришвины.

Дом Пришвиных в Дунине, где в 1960–1962 гг. Валерия Дмитриевна работала над книгой «Невидимый град». Ныне

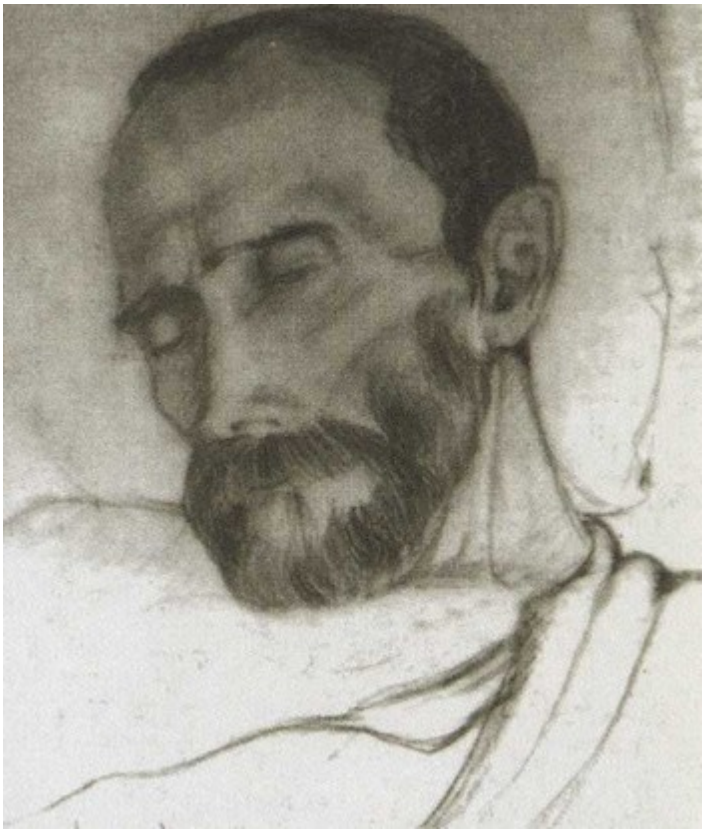
музей М. М. Пришвина.

Вывеска детского дома, организованного Валерией Лиорко.

Айседора Дункан.



Михаил Александрович Новоселов.

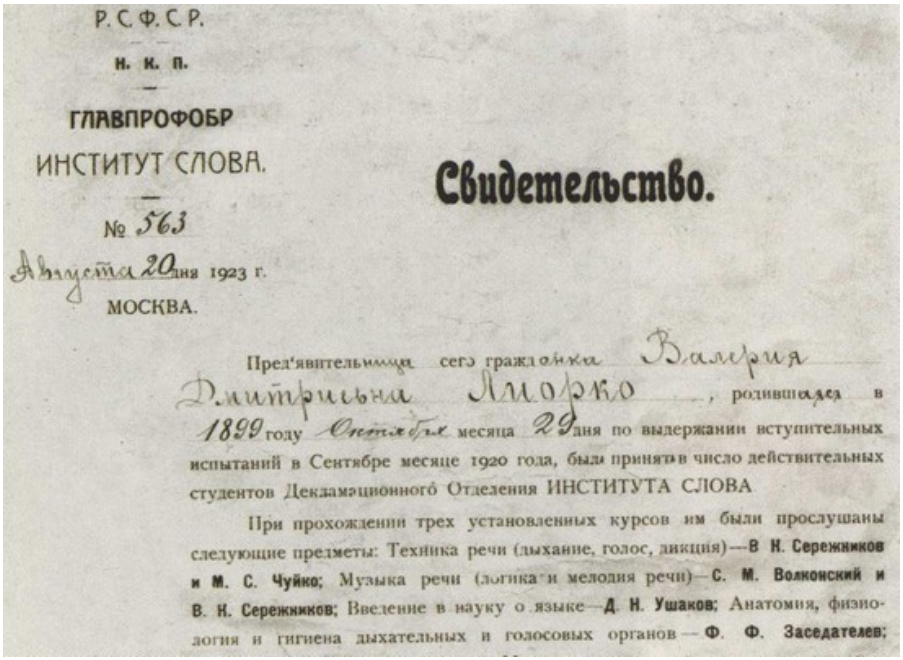


о. Роман. Рис. З. Н. Барютиной.

Затворник Зосимовой пустыни о. Алексий.

Николай Николаевич Вознесенский

Александр Васильевич Лебедев.



Р. С. Ф. С. Р.

Н. К. П.

ГЛАВПРОФОБР

ИНСТИТУТ СЛОВА.

№ 563

Августа 20 дня 1923 г.

МОСКВА.

Свидетельство.

Предъявительница сего гражданка Валерия Дмитриевна Лиорко, родившаяся в 1899 году Октябрь месяца 29 дня по выдержании вступительных испытаний в Сентябре месяце 1920 года, была принята в число действительных студентов Декламационного Отделения ИНСТИТУТА СЛОВА.

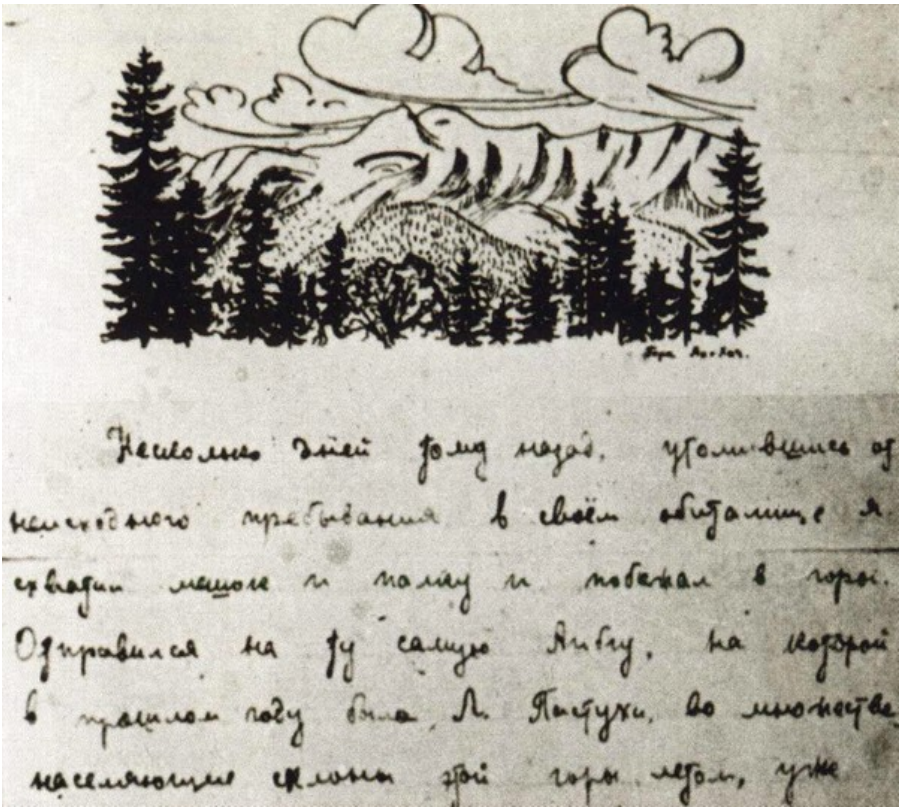
При прохождении трех установленных курсов ей были прослушаны следующие предметы: Техника речи (дыхание, голос, дикция)—**В. Н. Сережников и М. С. Чуйко;** Музыка речи (логика и мелодия речи)—**С. М. Волконский и В. Н. Сережников;** Введение в науку о языке—**Д. Н. Ушаков;** Анатомия, физиология и гигиена дыхательных и голосовых органов—**Ф. Ф. Заседателев;**

Диплом В. Д. Лиорко.

Ляля с Наталией Аркадьевной в комнате на Мещанской, где бывал Олег.

Олег — ученик реального училища.

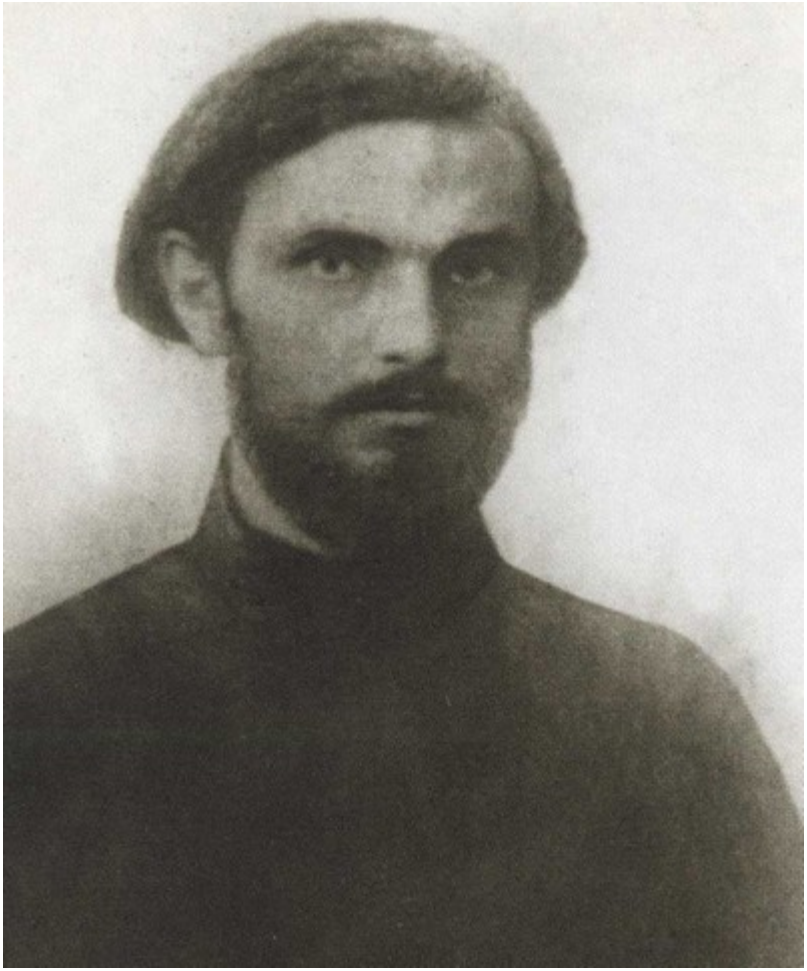
Афиша детского спектакля, выполненная Олегом.



Несколько дней назад, утомившись от непрерывного нахождения в своём общежитии я, схватив мешок и палку и побежал в горы. Отправился на ту самую Липу, на которой в прошлом году была Л. Пастухи, во множестве населяющие склоны трёх гор летом, уже

Страничка из письма Олега.

Гимназистка. Москва. 1916.



Тюремная фотография Олега.

Иеромонахи Арсений, Даниил и Онисим на Змейке на Кавказе.

Крест из самшита работы Олега Поля, подаренный им Ляле.

На Змейке, где была келья Олега. Фото. 1955.

С матерью Олега Мариной Станиславовной. 1932.

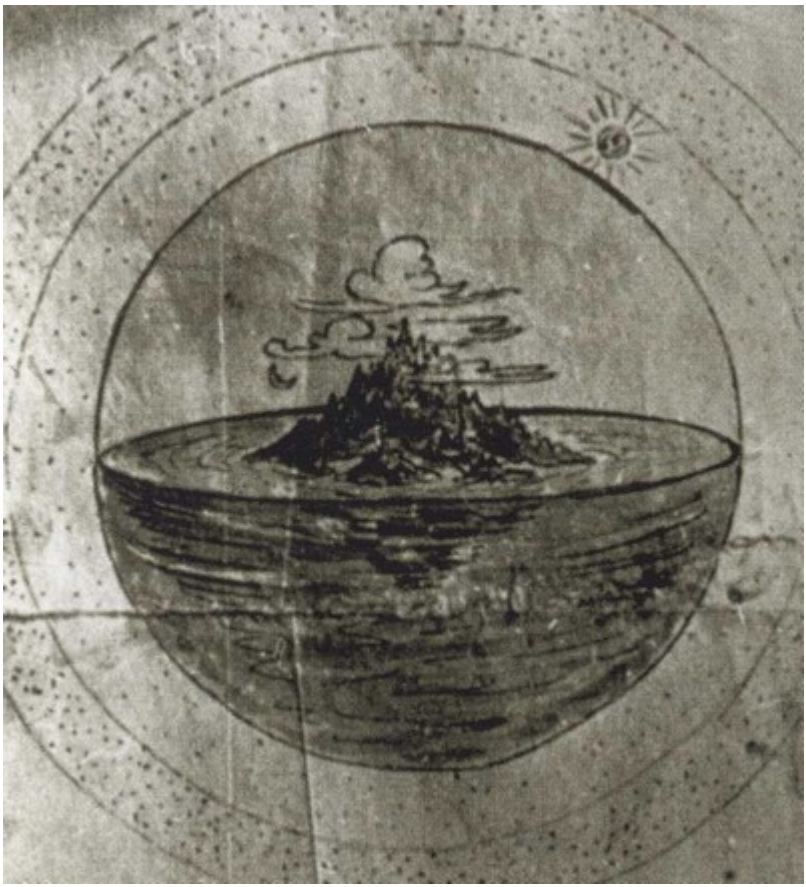
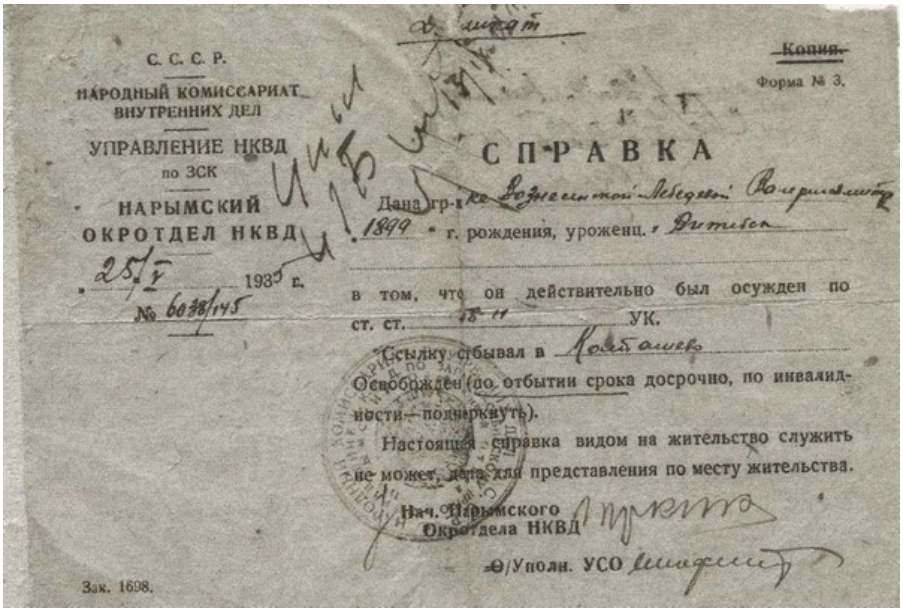


Рисунок Олега «Остров Достоверности», присланный Ляле в письме.

В Колпашево. Нарым. 1934 (?).

В. Д. Лебедева в Колпашеве.

Кружка с Лубянки, сохранившаяся у Валерии Дмитриевны.



С. С. С. Р.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

УПРАВЛЕНИЕ НКВД по ЗСК

НАРЫМСКИЙ ОКРОТДЕЛ НКВД

25/V 1935 г.

№ 6038/145

~~Копия~~

Форма № 3.

СПРАВКА

Дана гр-ке Вознесенской-Лебедевой Валентине

1899 г. рождения, уроженц. г. Витебск

в том, что он действительно был осужден по ст. ст. 58-11 УК.

Ссылку отбывал в Колбашево

Освобожден (по отбытии срока досрочно, по инвалидности — подчеркнуть).

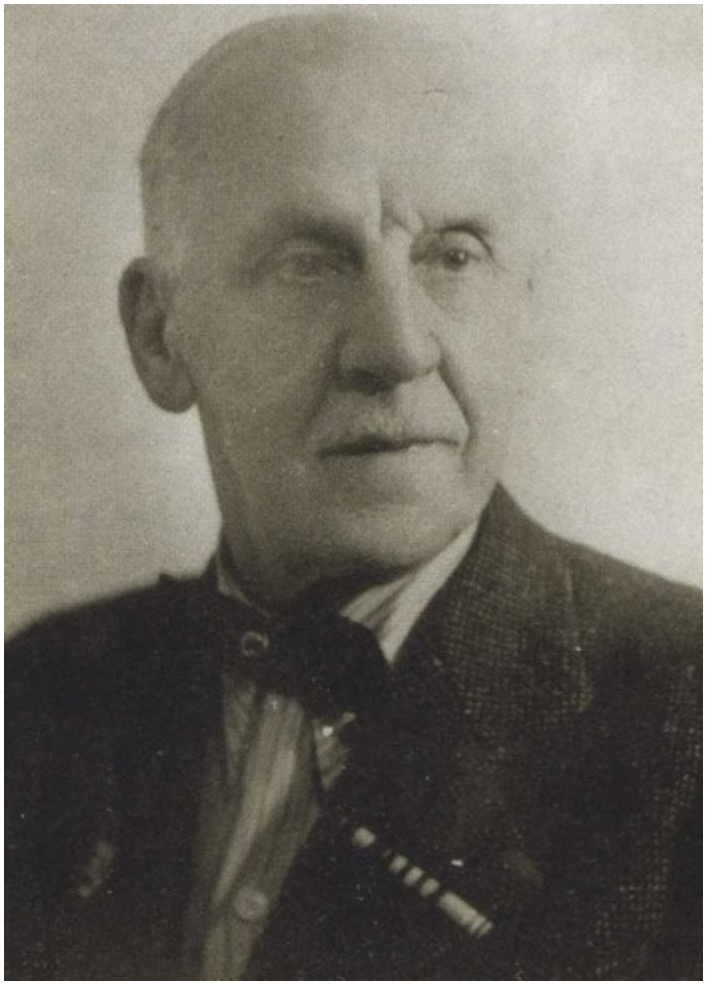
Настоящая справка видом на жительство служить не может, дана для представления по месту жительства.

Нач. Нарымского Окротдела НКВД

Уполн. УСО

Зак. 1698.

Справка об освобождении (дубликат).



Александр Николаевич Раттай.

Валерия Дмитриевна и Александр Васильевич Лебедев в лаборатории на строительстве Московского канала. Дмитров.

Московский канал.

Валерия Дмитриевна. 1938 (?).

С Михаилом Михайловичем Пришвиным. 1940.

Комментарии

«Самое высокое искусство — искусство жить…».

Архимандрит Софроний (Сахаров) «Письма к близким людям»

Автобиографический роман Валерии Дмитриевны Пришвиной (1899–1979) «Невидимый град» был написан в 1962 году и присоединен к огромному, в то время неопубликованному и неизвестному, а ныне опубликованному лишь частично архиву Михаила Михайловича Пришвина, который В. Д. Пришвина хранила, над которым работала, исподволь подготавливая его к возможной публикации в будущем.

К работе над автобиографией В. Д. Пришвина обратилась во многом благодаря настоятельному совету Михаила Михайловича, который, с одной стороны, видел в ее судьбе судьбу поколения, с другой — уникальную историю женской души: размышления о судьбе Валерии Дмитриевны и близких ей людей Пришвин включает в круг размышлений своего полувекового дневника как необходимую составляющую современности.

Действительно, события ее жизни, как трагические, так и обыденные, ежедневные, стали отражением нашей истории, перемешавшей в России праведное с неправедным и создавшей ту культурную ситуацию, которую мы только теперь пытаемся осознать. Гибель близких, организация детского дома в Москве в первые послереволюционные годы, учеба в Институте Слова и посещение Вольной академии духовной культуры, сложная церковная жизнь Москвы в 20–30-е годы, трехгодичная ссылка в Нарым, встречи с людьми, известными и неизвестными, оказываются не только вехами ее личной судьбы, но и знаками времени.

Валерия Дмитриевна задумывает роман «Невидимый град» как комментарий к дневнику Михаила Пришвина, однако странность этого комментария обнаруживается почти сразу же. К примеру, читатель начинает понимать, что это автобиографический роман быстрее, чем, путаясь и перескакивая с третьего лица на первое и обратно, автор окончательно переходит к повествованию от первого лица. Дело в том, что роман «Невидимый град» посвящается главному событию жизни Валерии Дмитриевны — встрече с Олегом Полем и истории их

любви; написать об этом было для нее и совершенно необходимо, и невероятно трудно. Валерия Дмитриевна всегда считала, что пережила с Олегом самое трудное и самое высокое в своей жизни. Философские взгляды Олега, сформировавшиеся, в частности, в русле философии любви Вл. Соловьева (Ср.: «Смысл любви», вперв. опубл. в России в 1893 г.), становятся понятными в контексте культуры начала XX века, которая так или иначе осознает проблему «пол-эрос» как фундаментальную. Философско-богословский труд Олега Поля «Остров Достоверности», написанный в 1926 году им, уже монахом, живущим среди пустынников Кавказа, обращен к Валерии Дмитриевне.

На протяжении всей жизни Валерия Дмитриевна не могла преодолеть страх, что ее будущий читатель не поймет трагических метаний Олега в его попытке совместить несовместимое — личную любовь и монашеское призвание, не увидит в их отношениях отсвета широкого круга идей культуры начала XX века, в которой парадоксальность решения проблемы «пол-эрос» определялась прежде всего разведением полюсов физической и духовной жизни, декларацией приоритета духовной жизни, культом утонченной подавленной чувственности и драмы, которая разворачивалась под напором физического мира в каждой отдельной судьбе.

Свою любовь они пытались осуществить как совместное, чисто духовное творчество, напряженное духовное делание, строительство *иного* мира здесь, на Земле. Выражаясь современным языком, любовь и жизнь главных персонажей «Невидимого града» Олега и Ляли были пронизаны стремлением превратить реальность в текст — жизнь в смысл. Трудно сказать, чем могла завершиться эта история любви, но в 1930 году Олег Поль вместе с другими кавказскими пустынниками был арестован и расстрелян.

Трудно также сказать, что составляет главное своеобразие романа «Невидимый град»: внутренняя напряженность, тон или авторское ощущение собственной жизни как пути, на котором каждое событие происходит для чего-то и сразу осознается как имеющее или не имеющее отношение к этому пути, ведущему к неведомой, но, кажется, единственно возможной цели — и это осознание становится самой жизнью. Реальностью оказывается не столько жизненный факт, сколько его переживание — правильное или неправильное, но воспринятое с точки зрения духовной жизни. Жизненный факт переживается как событие не внешней, но внутренней жизни, и это приводит к парадоксальным оценкам и состояниям, не всегда понятным со стороны (например,

влюбленность в Олега и радость по поводу его пострига, или радость во время ареста, потому что разрывается узел отношений с мужем, или само замужество, которое она пережила, как свое падение, предательство и т. д., но которое на самом деле поставило точку в их с Олегом отношениях и повернуло жизнь обоих к правде). Но таким необычным человеком действительно всегда была Валерия Дмитриевна. Она не была деятелем, и самые близкие ей люди — Олег и Михаил Александрович Новоселов не привлекали ее к участию в своей активной внутрицерковной работе, зато к ней, без сомнения, можно отнести слова Михаила Пришвина «человек, живущий в духе. — редчайшее явление», сказанные им о другом человеке и по другому поводу. Но, повторю, таким человеком Валерия Дмитриевна действительно всегда была.

В романе «Невидимый град» сосуществуют несколько точек зрения, которые то дополняют друг друга, то друг с другом полемизируют и вовлекают читателя в размышления об одном-единственном предмете — о любви: непосредственные воспоминания автора, постоянно сбивающиеся на позднюю оценку происходящего, письма Олега и записи дневника Михаила Пришвина — взгляд художника, который становится главным мерилом происходящего. Пожалуй, можно сказать, что речь в романе идет только о любви, вернее, о женской душе, которая пытается найти выход из вечного противоречия любви земной и любви небесной — противоречия, которое утверждалось всей культурной традицией XIX и начала XX века, с креном то в одну, то в другую сторону. Она ищет абсолютную полноту в любви, не удовлетворяясь ни полнотой любви небесной (Олег), ни полнотой любви земной (муж) и находит — такую любовную реальность, которая превращается в текст, которая ставит этот невозможный знак равенства: жизнь (любовь) = смысл. Это прочитывается в дневниковых записях Михаила Пришвина. И все же до конца жизни она страдает, что не смогла стать равной Олегу и его любви, потому что это была — не от мира сего — но, конечно, любовь. Любовь на фоне экзотического кавказского пейзажа, пронизанного хронотопом пустынножительства, любовь, проходящая в коротких встречах и долгих разлуках, пронизанная идеей дома-кельи, которую строит и строит Олег, и идеей совместного иноческого жития, любовь на фоне надтреснутой, меняющейся, грозной жизни России. Любовь эпистолярная. Любовь, вдохновляющая Олега на его главный труд «Остров Достоверности».

Встреча с Михаилом Пришвиным в 1940 году осветила жизненный путь Валерии Дмитриевны, выявила смысл ее поисков

и ошибок, поместила субъективный опыт любви в контекст культуры. Михаил Михайлович увидел в Валерии Дмитриевне женщину, для которой любовь была встречей с миром другого, равного человека, оправданием собственной судьбы, событием, оценил ее стремление преодолеть стереотипы в отношениях мужчины и женщины, разрушить искусственные границы физического и духовного мира, сделать свою любовь действенной и благотворной.

Благодаря записям пришвинского дневника мы понимаем, что из задуманного ею с Олегом, не понятого ни одним из встреченных ею людей, воплотилось, что переосмыслилось и что родилось за те тринадцать лет, которые Валерия Дмитриевна и Михаил Михайлович прожили вместе. Универсальная логика, которая содержится в их опыте любви, позволяет говорить о любви к женщине как способе попадания в сферу высшей любви, как пути к спасению личности и слова писателя в жесткой культурно-исторической ситуации середины XX века в России, где в полном одиночестве существует художник. Уровень осмысления любовных отношений, включающий в себя как необходимое условие спасение, позволяет считать любовь не только событием в жизни двоих, но событием в культуре, и в этом состоит главный смысл жизнеописания В. Д. Пришвиной. «Мы с тобой — это Вселенная», — вслед за Олегом записывает в дневнике Пришвин и тем самым признает любовь способом борьбы за иной мир, иную реальность, воспроизводит пространство, где Слово, которому служит художник и за которое в это время человек расплачивается если не жизнью, то свободой, звучит.

В дневнике Пришвина есть запись, в которой писатель, кажется, исчерпывает тему, анализируя как собственный жизненный опыт, так и опыт Олега и Ляли на пути к осуществлению любви, придавая проблеме культурный статус и как будто окончательно разрешая ее с точки зрения культуры: «Страннического блуждание по неустроенной стране в костюме охотника с дикаркой и детьми, вызов мещанскому обществу и т. д. — все до точности происходит от ницшеанского сверхчеловека в русском издании. Вот в таком жизненном оформлении развился талант вовсе другого нравственного происхождения, чем эта форма охотника и ницшеанца. Эта точка зрения на себя, открывшаяся благодаря выходу из этой формы, вместе с тем открывает перспективу на жизнь Олега и Ляли. Индивидуалистический эстетизм в этом случае принял не брачную форму, как у меня, а напротив, форму эстетического целомудрия (тушение браком). В результате этой формы индивидуализма целомудренного явилась жертвой Ляля, в

результате моего брачного индивидуализма — эгоизма — моя несчастная семья. Мой рассказ „Художник“ является одинаково приложимым выходом из индивидуалистического эстетизма как ко мне, так и к Олегу. Этот рассказ содержит весь поворот от эгоистической самоудовлетворенности к общественно-брачному состоянию. К тому же самому пришел бы непременно и Олег».

Валерия Дмитриевна так и не согласилась с последним суждением Пришвина об Олеге и оставила открытым вопрос: может ли быть любовь такой, какой она была задумана и пережита Олегом и Лялей?

Выражаем глубокую благодарность Центральному архиву ФСБ России за предоставленную возможность ознакомиться со следственными материалами по делу Д. М. Лиорко и В. Д. Вознесенской-Лебедевой, а также архиву УФСБ РФ по Краснодарскому краю за присланные для ознакомления следственные материалы по делу О. В. Поля.

Сведения о широко известных лицах в комментариях опущены.

comments

Комментарии

1

Валерия Дмитриевна Пришвина (девичья фамилия Лиорко) родилась в г. Витебске 11 ноября (н. ст.) 1899 г., а с 1902 г. жила в Даугавпилсе, куда был переведен на работу ее отец.

2

Религиозно-философское общество в Петербурге (1908–1915) (ранее — Религиозно-философские собрания, 1901–1903), одним из организаторов которого был писатель, литературный критик и публицист Дмитрий Сергеевич Мережковский (1866–1941), сыграло важную роль в процессе русского религиозно-философского возрождения в России в начале XX в. Для понимания жизненного контекста, в значительной степени определившего религиозный поиск персонажей автобиографического романа «Невидимый град» см: Зеньковский В. В. История русской философии. В 2 т. — Л.: ЭГО, 1991. — Т. II. Ч. 2. С. 54–59.

3

Имеется в виду Московский городской народный (Вольный) университет им. А. Л. Шанявского (1837–1905), созданный в 1908 г. на средства подвижников народного образования России генерал-майора в отставке, золотопромышленника Альфонса Леоновича Шанявского и его жены Лидии Алексеевны Шанявской при активной поддержке Московской городской думы, городского головы Н. И. Гучкова и князя М. В. Голицына, а также на пожертвования многих москвичей. Университет считался одним из авторитетных учебных заведений России. Закрыт в 1918 г. В настоящее время в здании университета на Миусской площади располагается Российский государственный гуманитарный университет, где при входе можно прочитать сказанные А. Л. Шанявским слова: «…свободное образование после многих веков мрака придет когда-нибудь и в нашей стране — в этом твердом уповании я и несу на него свою лепту» 15.09.1905.

4

Дневник б/д.

5

Дневник 20 декабря 1947 г.

6

Строка из стихотворения А. Блока «Россия» (1908).

7

Имеется в виду ночь во время поездки Льва Николаевича Толстого в Арзамас в сентябре 1869 г., о чем Толстой написал в письме к Софье Андреевне 4 сентября 1869 г. Впервые ссылка: Собр. соч. в 90 т. — М.: Гослитиздат, 1936. — Т. 26. С. 466. (Коммент. С. 853.) «Записки сумасшедшего» (1884).

8

Дневник б/д.

9

Толстой Л. Н. Детство. Отрочество. Юность. — М.: Худож. лит., 1989. — «Отрочество». — Гл. XIX. С. 201–202.

10

В. Ф. Джунковский (1865—?) — генерал-лейтенант, товарищ министра внутренних дел и командующий корпусом жандармов (1913–1915).

11

С. Я. Надсон (1862–1887) — поэт. *А. К. Шеллер* (Михайлов) (1838–1900) — писатель.

12

Переписанная от руки повесть Л. Н. Толстого «Крейцерова соната» (опубл. 1891) находится в архиве В. Д. Пришвиной и представляет собой рукопись, написанную пером, черными чернилами, в твердом, сделанном на заказ переплете темно-красного цвета с тисненым названием и именем автора, на внутренней стороне крышки сверху приклеена марка: «Писчебумажн. магазин и переплет, заведение. Витебск. Замк. ул. Г. Росильсон». На корешке внизу тисненые буквы «Д. Л.». На первой странице в левом верхнем углу над названием стоит дата «11 июля 1890 г.», по-видимому, отметившая день начала переписки.

В книге лежат сложенные вчетверо листы из газеты «Витебские губернские ведомости» № 64 (ни год, ни число на этих страницах не воспроизводятся) со статьей «Беседа высокопреосвященного Никанора, архиепископа херсонского и одесского, о христианском супружестве, против графа Льва Толстого». Статья со сноской «Для внецерковного собеседования» перепечатана из газеты «Новости». В статье многочисленные подчеркивания простым карандашом сделаны, без сомнения, Дмитрием Михайловичем Лиорко. Мы даем их также с выделением, при необходимости в окружающем контексте, иногда на полях стоят восклицательный или вопросительный знаки: «слово безумца *решительно выживающего из ума*(?)»: «человечество *привыкло* таить!!)»: *«что Бога и бессмертия нет(?)»: «пока высший идеал женщины будет брак, а не свобода от чувственности(!)»; «выживший из ума(?)»: «сумасбродная галиматья(?)»: «признак неисполненного закона есть присутствие плотской любви!»: так ли мы поняли этого «юрода(?)»; «общения духовного нет и быть не может»: «страшная вещь музыка*, учит Толстой в своем умоисступлении»; *«она действует раздражающим душу образом»; «над своею проклятою безбожною душою»: «ваше узко-поверхностное толкование раздается в ушах христианского мира впервые на пространстве 19 веков его существования»: «можно ли оправдать Толстого в этих преувеличениях»: «что брак есть скверна, убийство и самоубийство»: «что не следует ни жениться, ни любить, а следует человечеству перестать растится и множится и, наконец, жить»: «могий вместити и девство да вместит, — это высший Божий дар»: «в неразрывной связи с повествованием о благословении Господом Иисусом детей»: «когда станем совершенны»: «это будет на конце вечности»: «значит, и в Коринфе в пору св. апостола Павла ставили уже,*

только не в толстовской, шопенгауэро-гартмановской, а с так называемой, гностической точки зрения, как раз тот самый вопрос, который ставит граф Лев Толстой (!!)»: «во избежание блуда … дарование к супружеской жизни» (??); «семейная жизнь признается и называется школою целомудрия(!)»: «выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а *не выдающий поступает лучше»:* «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. *Тайна сия велика»(!); «он глава подобных же скептиков разрушителей»: «антинародное, не русское, дворянское образование с его неверием, с его отрицаниями, все оно наносное на океане русской жизни»; «не правду ли он говорит собственно о вашем круге? Если правду, то ведь, это ужасно. То ведь вы сгнили до корней»: «Толстой хочет поправить вас посредством буддизма»: «чтобы вы завели у себя честное, благородное магометанское многоженство, вместо подлого европейского»: «женщина в христианском мире все же более или менее равноправна с мужчиною, в некоторых отношениях стоит даже выше»: «не довольствуясь своею родною церковию, вы гонитесь по ветру моды за… Толстыми, за очарователями Соловьевыми»: «в вашем круге измена свято-отеческому становится лозунгом времени».*

13

Еженедельный иллюстрированный журнал «Нива» выходил в Санкт-Петербурге в 1870–1918 гг.

14

Строка из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Есть речи — значенье…»(1839).

15

Поэма М. Ю. Лермонтова «Демон» (1841), повесть Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат» (1896–1904, опубл. 1910).

16

А. А. Вербицкая (1861–1928) — писательница.
М. П. Арцыбашев (1878–1927) — писатель.

17

Дневник 19 апреля 1941 г.

18

Откр. 21:1.

19

Дневник 10 февраля 1914 г.

20

Мф. 5:44; Лк. 6:27,35.

21

Дневник 10 июля 1935 г.

22

Дневник 12 ноября 1945 г., 19 сентября 1941 г.

23

Ср.: «Прежний наш университет был школой уважения к старшим, именно это уважение (и послушание) к „старшим“ и составляло смысл „университетский человек“, „культурный человек“ (культура есть связь людей уважением и послушанием). Вдруг блеснул весь Толстой, как проповедь неуважения старших (Шекспир), непослушания (сектант), как сокрушитель русской культуры, как ее погубитель…» Дневник 3 августа 1945 г.

«Понимать русскую революцию надо не по Ленину или Сталину, а по Толстому, читая вместе и „Чем люди живы“ и переделку Евангелия. Тут наше „все“». Дневник 4 мая 1953 г. (Коммент. В. Д. Пришвиной.)

24

Ин. 15:13.

25

Строки из стихотворения А. Фета «Фантазия» (1847).

26

Дневник 1937 г. б/д.

27

По-видимому, имеется в виду повесть «Люди и положения», написанная в 1956 г., когда В. Д. Пришвина и Б. Л. Пастернак тесно общались.

В архиве В. Д. Пришвиной хранится восемь до сих пор полностью не опубликованных писем Бориса Леонидовича Пастернака, дружеские отношения с которым сложились у нее уже после кончины Михаила Михайловича. Одно из них послано по почте, остальные три — в конвертах, четыре просто сложенные листки бумаги, по-видимому, опускались в почтовый ящик — они жили в одном подъезде дома писателей в Лаврушинском переулке. Одно адресовано Николаю Сергеевичу Родионову, в это время помощнику Валерии Дмитриевны в работе над архивом Пришвина.

«16 Марта 1955.

Дорогая Валерия Дмитриевна!

Вот недостававшее стихотворное дополнение к роману. Сказанное о прозе относится и к стихам: не тратьте на них драгоценного своего времени, а поручите прочесть верным Вашим рыцарям Константину Сергеевичу и Никольскому. Они будут так любезны и сделают Вам по ним обо всем краткое сообщение.

Как только буду в Москве, зайду за обещанным (дневником М. М.). От души всего Вам самого самого наилучшего. Ваш Б. Пастернак».

«21 апр. 1955, четверг.

Дорогая моя, драгоценная Валерия Дмитриевна!

Какую Вы мне радость доставили, какую честь оказали своей выпиской. Как всегда у Пришвина, все видимо и многозначительно, все полно света и смысла, в таком повороте, при котором свет и смысл как бы одно и то же, а их тождество есть явление силы.

Сколько воздуху в этой картине! Неправда ли, эти строки дневника напоминают слова: ныне все исполнится света, небо же и землю и преисподняя и т. д.

Сердце мое отозвалось на Вашу память мгновенно, и запоздалость отклика не должна удивлять Вас. Почту из города привозят за целую неделю. Я только час тому назад, к концу дня получил Ваш конверт, а мое спасибо достигнут Вас только послезавтра, в субботу.

А я изнываю, изнемогаю от скучной, приводящей в отчаяние и наверное ненужной работы и чувствую себя заезженной

ломовой лошадью. Все легкое, мгновенное из того, что каждому положено в жизни, проделано давно, и осталось одно трудное, чему не видно конца, многословное и бездарное.

Будьте здоровы, от души желаю всего лучшего Вам. Ваш. Б. П.»

Запись М. М. Пришвина, которую В. Д. послала Пастернаку: «5 апреля 53 г. Ездили на кладбище, и трудно сказать, что на свете значительней и прекрасней „неодетой весны“ в Москве. Народ шел по чистым улицам не растерянный, не бежал, а собранный, праздничный. А на кладбище каждый покойник подозвал к себе родного человека, и вот собралось великое множество людей, и каждый из них нашел своего человека, лежащего под камнем. Эта великая встреча живых и мертвых была тем особенно замечательна, что люди были все вместе, и каждый из них глядел на своего, и не со стороны, как на улице, а прямо в душу. И не через образ, как в церкви, а прямо каждый глядел из души своей в душу каждого.

6 апреля. Вчера первый раз понял и увидел своими глазами, какая это бывает „Святая неделя“. Казалось, что это множество идущее по тротуарам людей, не здесь идет, на земле, а в преображенной Москве. Весь город радовался, и все плохое было забыто».

«8 Мая 1955.

Дорогая Валерия Дмитриевна!

Это не выражение светскости — я искренно против того, чтобы Вы утруждали себя чтением этой третьей, отыскавшейся тетради. Но Николаю Павловичу передайте ее, пожалуйста, обязательно.

Она не утомит его. В ней только 65 страниц. По тематической последовательности она падает как раз на те бытовые стороны пережитого, которые сосредоточились в том периоде, укоренились впоследствии и без конца повторялись, почему и могут казаться во внешнем отношении основными в нашем воспоминании. Эта тетрадь у каждого читающего вызовет больше знакомого, чем остальные, и по этой побочной причине может показаться более удачной. Я напишу Николаю Павловичу, что прошу его прочесть тетрадь.

Я должен сдерживаться, чтобы не повторять Вам до смешного, до чрезмерности, как я удивляюсь Вам, Вашему уму и меткости и мягкости Ваших замечаний.

От всего сердца желаю Вам душевной ясности и счастья. Ваш Б. Пастернак».

«Дорогая Валерия Дмитриевна!

Соблазн слишком велик воспользоваться Вашей готовностью прочесть вторую книгу, не могу устоять против него. А первая — Николаю Сергеевичу. Пусть преодолеет скуку, серость и наивничанье иных страниц ради предстоящей второй, которая, может быть, все это искупит. Но не увозите книги в Истру, это последний, единственный экземпляр. Он, может быть, понадобится.

Еще раз крепко целую Вас обоих.

Ваш Б. П. 3 Марта 1957»

«12 Декабря 1958.

Дорогая Валерия Дмитриевна, временами я позваниваю Вам, но звонок, наверное, раздается в пустой квартире. Однако Вы ничего не потеряли. Порывался также забежать к Вам по одному очень важному делу: мне хочется крепко обнять и расцеловать Вас. Если позволите, я все же это сделаю без Вашего спроса. Горячо благодарю Вас за все.

Кроме того, несколько просьб. Передайте, пожалуйста, дорогому Николаю Сергеевичу нежнейшую благодарность за книгу, за привет, за память. Знает ли он, что один из издателей Др. Ж. в оригинале — гр. Владимир Толстой, один из внуков Л. Н. Какой это? Но, видимо, нет, — по фотографии он моложе такой возможности.

Выражаю самую горячую признательность Николаю Павловичу, тепло, интересно и с привычною силой написавшему мне на прошлой неделе.

Наконец, если Вы в переписке с Паустовским, перешлите, пожалуйста, и К. Г. мое проникновеннейшее спасибо за все, что невидимо и бесплотно доходит от него до меня. Он должен знать, как чту я его в качестве его читателя и как много он для меня составляет.

Не сердитесь на такое множество поручений. Минувшие бури и анафемствования (нет ручательства, что они не повторятся) откинули меня далеко в сторону от свободного пользования своим Временем. Я оценил тогда Ваше приглашение. Еще больше Вашего гостеприимства страшно тронула меня Ваша тонкая догадка, что на положении проклинаемого мне следовало бы временно покинуть поселок проклинающих. Но надо было пройти через это испытание до конца.

Я очень люблю Вас. Ваш Б. П.»

«27 Дек. 1958. Валерия Дмитриевна Пришвина любезно одолжила мне три тысячи (3000) руб. Прошу моих близких, в том

случае, если по каким-либо причинам я не смогу этого сделать сам, вернуть ей занятые мною деньги до конца 1959 года. Б. Пастернак». («Долг мне возвращен. 9.IV.60 г. В. Пришвина».)

«29 янв. 1958. Дорогой мой Николай Сергеевич! Пишу Вам в постели. Опять со мной обычное мое несчастие, — нога и колено. Страшно мучительно, но, кажется, на этот раз обойдется без больницы. Пользуюсь случаем принести безмерную, безмерно запоздалую благодарность Валерии Дмитриевне за Пришвинские (и — наполовину ее) „Глаза земли“. Я их стал читать еще летом, будучи в „Узком“, и поражался, насколько афоризм или выдержка, превращенная в изречение, могут много выразить, почти заменяя целые книги. Но потом кто-то у меня зачитал книгу, и я — надолго с ней расстался. Конечно, я потом припомню, чья это вина, и добуду ее назад. Я Вас обоих (ничем насильственно не соединяя Вас) страшно люблю и пишу Вам эту записку в слезах. Я плачу оттого, что во-первых, больно мне, затем отчасти оттого что за стеной играют Скрябина, главным же образом от восторга: от сознания того, какую стройность вложил Бог в жизнь каждого, почти как бы выстроив из нее церковь Себе (если только в этой мысли нет ереси или кощунства) <…> Со мною случилось много баснословно непредвиденного и это, кажется, на всю жизнь будет иметь такое же неожиданное продолжение, — я говорю о судьбе моих работ и о душевных нитях, которые ко мне вдруг неожиданно протянулись с разных концов света. Крепко Вас и В. Д. целую. Пусть она простит меня. Ваш. Б. П.».

«Дорогая, дорогая Валерия Дмитриевна, во МХАТЕ все изменилось, у меня нет повода ехать до Пасхи в город, а мне не хочется откладывать возвращение долга и возобновления выражения моей постоянной признательности Вам также и по этому случаю.

Снова и снова благодарю Вас.

По-моему, все стихотворения из „Д-ра Жив.“ Вы знаете, нет, они даже у Вас есть, а также и большинство из отдела „Когда разгуляется“, наверное? Вам известны. Рад буду, если что-ниб. Вам доставит удовольствие. Но не ставьте меня об этом в известность. Вообще относитесь к этой тетрадке, которую оставляю Вам навсегда, как бы это выразиться, как ни к чему не обязывающему средству времяпрепровождения, о существовании которого можете позабыть. Сердечный привет Вам и Николаю Сергеевичу. Ваш Пастернак». (Рукой В. Д.: «Весна 1960».) В письме речь идет о самодельной рукописной тетрадке стихотворений из романа «Доктор Живаго», подаренной Пастернаком Валерии

Дмитриевне.

28

Дневник 5 марта 1950 г.

29

Дневник 16 августа 1942 г.

30

Дневник 20 апреля 1947 г.

31

Дневник 25 августа 1951 г.

32

Второе послание святого Климента к коринфянам. Аграф.

33

Дневник 17 декабря, 27 декабря 1942 г., 5 февраля 1947 г.

34

Дневник 1948 г. б/д.

35

Ср.: Лавинская Е. А. Воспоминания о встречах с Маяковским. — Сб. «Маяковский в воспоминаниях родных и друзей». — М.: Московский рабочий, 1968. — С. 321–374.

36

Имеются в виду эпопея П. И. Мельникова (Андрея Печерского, 1818–1883) «В лесах» (1871–1874), рассказы В. Г. Короленко (1853–1921) «За иконой» (1887), «Птицы небесные» (1889), «В пустынных местах» (1890), повесть М. М. Пришвина (1873–1954) «У стен града невидимого» (1909).

37

«Под влиянием моего рассказа Михаил Михайлович то ли вспомнил, то ли вообразил, что во время своей поездки к Светлому озеру он увидел там девочку, которая читала что-то старухам на берегу. Он записал в дневнике: „Сказать, что снилась у Светлого озера девочка с большими глазами… нет! Из этого складывался какой-то сон… не девочка с большими глазами, а сама душа ее, и не те известные слова, а слияние слов. Что-то около этого… Но что? Осела забота в душу и повела…“» (Примеч. В. Д. Пришвиной.) См.: Пришвина В. Путь к Слову. — М.: Мол. гвардия, 1984. — С. 159–160.

38

Слова из поэмы А. Блока «Возмездие» (1919).

39

Дневник 20 июня 1952 г.

40

По-видимому, неточная цитата из стихотворения А. Ахматовой «Вместо мудрости — опытность, пресное» (1913). У Ахматовой: «Губ нецелованных, глаз неулыбчивых / Мне не вернуть никогда».

41

Строфа из драмы А. Блока «Роза и Крест» («Песня Гаэтана» (1912).

42

Э. Сведенборг (1688–1772) — шведский теософ и мистик. Имеется в виду цитата из трактата «Увеселения премудрости о любви супружеской»: «Самое внутреннее в мужчине есть любовь, а покров ее — Премудрость. Самое же внутреннее в Женщине есть эта Премудрость мужчины, а покров ее — Любовь оттуда». (Примеч. В. Д. Пришвиной.)

43

А. М. Бутлеров (1828–1886) — ученый-химик, академик, основатель теории химического строения вещества. *Е. П. Блаватская* (псевд. Радда Бай, 1831–1891). Р. Д. Успенский (1878–1947) — философ, теософ.

44

Неточная цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья…» (1855).

45

Рабиндранат Тагор (Тхакур Робиндронатх, 1861–1941) — индийский поэт, писатель, общественный деятель.

46

Имеются в виду симфоническая картина из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (1907) и I часть музыкальной тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга» (1813–1883) «Валькирия» (1870).

47

До конца жизни Валерии Дмитриевне не удалось избавиться от страха перед враждебной силой государства. И она, и ее мать всю жизнь были вынуждены скрывать правду об отце от окружающих: и даже работая над своей автобиографией, В. Д. постаралась сдвинуть некоторые акценты в судьбе отца — на всякий случай. Но, надо сказать, что это касалось только внешних событий, связанных с его арестом. Документы архивного уголовного дела № Н-44 позволяют восстановить всю цепь событий.

«В Чрезвычайную Комиссию по борьбе с контрреволюцией. При сем препровождал Димитрия Михайловича Лиорко, задержанного по распоряжению вашего представителя Пайгле по Пречистенке дома № 25 кв. 21, у которого производился сегодня обыск, и была Пайглем оставлена засада для того, чтобы задержать и препроводить в ваше распоряжение. Помощник заведующего М. Синицын». Ордер на обыск и арест от 13.VII.1918 г. зарегистрирован в Пречистенском комиссариате под № 3713.

«Протокол допроса гражданина Димитрия Михайловича Лиорко. Имею 50 лет от роду. Проживаю в Москве по Пречистенке 25, кв.21. Уроженец города Витебска. Женат. Имею одну дочь. Они находятся в моей квартире. Родители умерли. Под судом никогда не был. В настоящее время служу в Центральном Статистическом Комитете. Комитет находится в Спасопесковском переулке, д. № 10. Занимаю должность вычислителя. Получаю 425 рублей в месяц. На этой службе нахожусь с последних чисел марта месяца 1918 года. До того был на юго-западном фронте, сначала в 29-м пехотном запасном полку, а потом был в резерве членов штаба Киевского военного Округа. Оттуда по освидетельствованию здоровья в Киевском военном госпитале и будучи признан к военной службе негодным — подал прошение в отставку и был уволен в отпуск, впредь до увольнения от службы. В 26 пех. Полку я находился с 1917 года. До этого я был начальником жандармского железнодорожного отделения в Двинске, а затем в Варшаве. По занятии Варшавы немцами. Я был прикомандирован к Могилевскому жандармскому ж-д отделению. На жандармской службе находился с 1902 года и все время служил на железной дороге. В последнее время имел чин подполковника. Жандармские курсы кончил в 1902 году в Петрограде. Единственный повод, который заставил меня поступить в жандармскую службу, был несколько большее

материальное положение. Политических дел я совершенно не вел. Я беспартийный. Никогда ни в какой партии не состоял и не состою.

Придерживаюсь русской ориентации. Вообще политикой не занимаюсь. Состою членом профессионального союза всех служащих города Москвы. 23/VII. Дим. Лиорко».

В деле находится ходатайство от рабочих с пометкой: «Прошу приложить к делу. Петерс. В следственную часть».

«Мы, нижеподписавшиеся бывшие служащие Главных Двинских мастерских Риго-Орловской железной дороги, сим свидетельствуем, что Д. М. Лиорко во время его службы в Двинске, в должности начальника железнодорожного Жандармского отделения Риго-Орловской железной дороги, проявлял к нам, железнодорожным служащим, гуманное и корректное отношение и был отзывчив к нашим ходатайствам, имевшим общественный характер; во время железнодор. забастовок в 1905 году при его посредстве всякие конфликты смягчались и улаживались по возможности безболезненно и без значительных репрессий. Москва. 22 августа 1918 года. Подписи».

«Д № 765. Лиорко Димитрия Михайловича. Установлено: Лиорко — бывший железнодорожный жандармский подполковник; в Двинске и в Варшаве, а после эвакуации Варшавы — в гор. Могилеве (в последний назначен немцами); на жандармской службе с 1902 года, куда поступил после окончания жандармских курсов; поступил на жандармскую службу из-за материальных соображений (собственные слова).

Вывод: для Правительства советов в данное время опасен; освобождения не может быть; ввиду заявления служащих виновность смягчается.

Заключение: передать в концентрационный лагерь.

27/VIII. Зав. Сл.ч. Подпись».

На обороте: «Примечание: заявление получено после заключения следователя».

«Заключение по делу Лиорко.

Лиорко — бывш. Начальник жандармского железнодорожного отделения в г. Двинске и в Варшаве.

В 1902 году кончил жандармские курсы. Предлагаю Лиорко подвергнуть расстрелу.

27/VIII. Следователь. Подпись».

«Тов. Скрыпник.

Ввиду поступивших заявлений о Д. М. Лиорко, бывш. Жандарм. Офиц как о вполне лояльном человеке <1 нрзб.> часто помогавшем движению в г. Двинске, предлагаю вам задержать до выяснения и предоставления некоторых документов

применять высшую меру наказания.

3/IX-18 г.».

«№ 13–212-99.

Помощник Генерального Прокурора Российской Федерации

Старший Советник юстиции

Весновский Г. Ф. 26.05.1999.

Заключение

По материалам уголовного дела арх. № Н-44

Лиорко Димитрий Михайлович, 1869.

Арестован 13.07.18. По заключению ВЧК от 27.08.18. подвергнут ВМН — расстрелу. В ходе следствия Лиорко вменялось в вину, что он служил начальником жандармского железнодорожного отделения в гг. Двинске и Варшаве, имел чин подполковника. Свидетели по делу не допрашивались. Доказательств о совершении им контрреволюционных преступлений в деле нет.

На Лиорко Димитрия Михайловича распространяется действие п. 3 ст.5 Закона РСФСР „О реабилитации жертв политических репрессий от 18 октября 1991 г.“.

Данные о реабилитированном и его родственниках — данных не имеется. Прокурор отдела А. Г. Тихонов». (Коммент. Л. А. Рязановой.)

48

Н. В. Крыленко (1885–1938) — юрист, политический деятель, член первого советского правительства.

Г. И. Челпанов (1862–1936) — философ, психолог, логик.

50

Ср.: «Вероятно, все страсти, таящиеся в природе, под воздействием человека способны преображаться. Но в человеке самом, падающем человеке, есть целый сноп страстей холостых, не имеющих движения к высшему, и это ни в коем случае не дух праздности! Уныние тоже, накопляясь, под воздействием человека переходит в радость. Любоначалие переходит в служение, празднословие — в сказку. Но есть в человеке, только в человеке и чего не существует в природе: это хула на Духа Святого. Этого много, много в человеке, и выхода к преображению из этого нет». Дневник 10 марта 1950 г. (Примеч. В. Д. Пришвиной.)

51

Автор не установлен.

52

П. Н. Трубецкой (1858–1911) — московский губернский предводитель дворянства.

53

С. Н. Трубецкой (1862–1905) — религиозный философ, публицист, общественный деятель. *Е. Н. Трубецкой* (1863–1920) — религиозный философ, правовед, общественный деятель.

54

Павел Петрович (Паоло) Трубецкой (1866/67–1938) — князь, скульптор.

55

Строфа из стихотворения Вл. Соловьева «Бедный друг, истомил тебя путь» (1887).

56

Борис Дмитриевич Удинцев (1891–1973) — близкий друг семьи В. Д. Пришвиной, библиограф, в разные годы работавший в Книжной палате, Государственном Литературном музее, Институте мировой литературы.

57

Имеется в виду пьеса Генрика Ибсена (1828–1906) «Пер Гюнт».

58

Ср.: «Много раз молодые начинающие писатели спрашивали меня: „Почему, когда я пишу от себя, как от первого лица, то пишется легко и хорошо, а когда пишешь от третьего лица, то всегда что-то теряешь, и сам в слова свои меньше веришь?“ На этот вопрос я отвечаю так: „Если чувствуете, что теряете силу и веру в слово, когда говорите не от первого лица, то ни в коем случае не переходите на третье лицо и вообще на „героя“. Пишите по всей правде, станет вам тесно в этих рамках, когда время вас к этому приведет, вы увидите, что разделять себя на „героев“ и писать от третьего лица гораздо проще и легче. Возможно, однако, что вы доживете до того времени, когда вам наскучит эта игра в героев, и вы заскучаете о той первой правде наивного „поэта в душе“, не умевшего разделять себя на героев. Тогда попробуйте вернуться к прежней правде первого лица и вы увидите, что собрать своих героев в единство и писать от себя будет гораздо труднее, чем раньше разделять себя на героев“». Дневник б/д. (Примеч. В. Д. Пришвиной.)

59

*С. М. Волконский (*1860–1937). О нем см.: Маковский С. На Парнасе Серебряного века. — М.: Изд. дом XXI век — Согласие, 2000. — С. 377.

60

Ср.: «Ляля читает дневник 1927 года, я рассказываю там интересную историю, и вдруг она обрывается: я не дописал.

— Может быть, вспомнишь? — Где тут! — А где же оно, то, что не дописано? — Где тут понять! Я даже не могу сказать, существует ли оно как бывшее, или теперь совсем его нет.

И тут я стал дальше думать: „Вот и все мои книги, все, что я отбил из проходящего времени: неужели же это все, что останется от всего меня? Какая это нелепость, какой это вздор“. И, возмущенный, я вернулся к недописанному рассказу и остановился на том, что и он не пропал оттого, что я его не дописал, что кто-то найдет его где-то и в чем-то допишет». Дневник 17 июля 1953 г. (Примеч. В. Д. Пришвиной.)

61

Имеется в виду О. М. Брик (1888–1945), теоретик литературы, участник группы ОПОЯЗ (1915–1922), затем ЛЕФ (1922–1929), и его жена Л. Ю. Брик, с которыми Маяковский был связан в течение многих лет.

62

Строки из поэмы Владимира Маяковского «Облако в штанах» (1915).

63

Имеется в виду труд В. С. Соловьева «Оправдание добра. Нравственная философия» (1894–1897).

А. В. Луначарский (1875–1953) — публицист, критик, политический деятель. *П. С. Коган* (1872–1932) — литературовед, читал в Институте Слова курс исторического материализма.

65

А. А. Грушка (1869–1929) — филолог, читал курс «Магия слова». *Ю. И. Айхенвальд* (1872–1928) — литературный критик. *Д. Н. Ушаков* (1873–1942) — языковед, читал курс «Введение в науку о языке».

С. *А. Котляревский* (1873–1939) — историк, читал курс «Импровизация».

67

Б. А. Грифцов (1885–1950) — филолог. *С. В. Шервинский* (1892—?) — писатель, переводчик.

О. Э. Озаровская (1874–1933) — фольклорист, чтец-декламатор, вела семинары по художественному чтению.

69

Иван Александрович Ильин (1882–1954) — религиозный философ, читал курс «Введение в эстетику» и вел семинар по эстетике.

Учеба в Институте Слова привела Валерию Дмитриевну к знакомству с Алексеем Федоровичем Лосевым, в то время молодым преподавателем, отношения с которым сохранились до конца ее жизни. Валерия Дмитриевна пишет об этом: «Нас с А. Ф. Лосевым связывают многие годы непрерывного внутреннего общения: в какой-то мере я смею считать себя его ученицей, и сам Алексей Федорович не отказывает мне в этой чести. Прошло уже более полувека, когда мы встретились с ним, я — юная студентка, он — молодой начинающий ученый. И вот сейчас осталось на свете только нас двое из того семинара, где я была очевидцем и участником рождения его слова. Я всегда с неизменным вниманием и благодарностью следила за его огромной работой».

Вновь они встречаются уже в 50-е гг., и начиная с 1957 г. Алексей Федорович один за другим дарит Валерии Дмитриевне тома своей «Истории античной эстетики» с дарственными надписями, которые от раза к разу становятся все более содержательными:

«Дорогой Валерии Дмитриевне Пришвиной от автора».

«Дорогой Валерии Дмитриевне с неизменным душевным расположением от автора. Москва, 14. VI. 64». На обложке надпись рукой Валерии Дмитриевны: «Из Пришвина: Чем дальше человек от действительности — вот удивительная черта! — тем прочнее держится он. Пример — я как писатель, Лосев — как философ. 17 ноября 1937 г.».

«Дорогой Валерии Дмитриевне Пришвиной от сердечно любящего ее автора. А. Л. 29.III.69».

«Глубокочтимой и дорогой Валерии Дмитриевне Пришвиной с любовью и молитвами. А. Лосев. 14 мая 1974 г.».

«Дорогой Валерии Дмитриевне Пришвиной с надеждой на будущую уже окончательную и уже неразлучную встречу. А. Лосев. 31 мая 75 г.»

«Глубокочтимой и дорогой Валерии Дмитриевне Пришвиной с мыслью об узах, нерасторжимых в самой вечности. А. Лосев. 9/XII-76 г.»

«Дорогой Валерии Дмитриевне Пришвиной, моей неизменной союзнице по овладению платонизмом. А. Лосев. 10/IV-78».

«Простой, доброй и ласковой Валерии Дмитриевне Пришвиной шлю мою тоже простую и добрую ласку, но уже одну из последних перед уходом. А. Лосев. 10 февраля 1979».

«Дорогой Валерии Дмитриевне Пришвиной в благословенный и чудотворный день ее рождения, избавляющий меня от

необходимости доказывать существование чудес. Ведь сама же Валерия Дмитриевна — это и есть чудо. А. Лосев. 11/XI-79».

30 декабря 1979 года Валерия Дмитриевна скончалась.

См. в кн.: Тахо-Годи А. А. Лосев. — М.: Мол. гвардия, 1997. С. 139–140.

71

Н. Г. Райский (1876–1958) — певец-тенор, преподаватель Московской консерватории; *Н. К. Метнер* (1879–1951) — композитор и пианист.

Ф. А. Степун (1884–1965) — философ, историк, литератор.

73

Освальд Шпенглер (1880–1936) — немецкий философ, историк и публицист; его книга «Закат Европы», впервые опубликованная в России в 1923 г., в 20-е гг. воспринималась как апокалиптическое предвидение судьбы западного мира.

С. Л. Франк (1877–1950) — религиозный философ, последователь Вл. Соловьева.

75

Г. Г. Шпет (1878–1940) — религиозный философ, последователь Гуссерля.

В. Ф. Эрн (1881–1917) — религиозный философ, последователь В. Соловьева, С. Трубецкого.

77

Якоб Беме (1575–1624) — немецкий философ.

78

Ср.: «Неужели в самом деле можно быть несчастным? О, что такое мое горе и моя беда, если я в силах быть счастливым?» — Ф. М. Достоевский «Идиот». Ч. IV. Гл. 7. (Примеч. В. Д. Пришвиной.)

79

Строки из стихотворения В. В. Маяковского «Третий интернационал» (1920).

80

Святой Франциск Ассизский (1181/82–1226) — итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев, автор религиозных поэтических произведений.

81

Имеется в виду Иосиф Волоцкий (иногда по имени основанного им Волоколамского монастыря именуется Волоколамским) (1439/40–1515) — известный деятель Русской православной церкви, защищавший монастырское землевладение, богатство храмов, книжник-начетчик, главный оппонент заволжских старцев.

82

Нил Сорский (ок. 1433–1508) — один из великих заволжских старцев, выступающий против монастырского землевладения, богатства Церкви, за опрощение и углубление внутренней аскетической жизни.

83

Персонажи пьесы А. П. Чехова «Три сестры».

84

Источником бытующего крылатого выражения считается обращение Прометея к Зевсу (Юпитеру): «Ты берешься за молнию вместо ответа, значит, ты не прав».

85

Строки из поэмы В. В. Маяковского «Облако в штанах» (1915).

86

Ср.: «Иногда безобразия жизни до того доведут, что готов даже поссориться с Богом, но когда ухватишься за это, вдруг оказывается, что и Богу не легче моего, и не ссориться мне надо с Ним, а скорей помогать, и не где-нибудь далеко, а тут же, в себе самом». Дневник 1 декабря 1952 г. (Коммент. В. Д. Пришвиной.)

87

«Знание об истине — это не то, что знание истины. Кроме содержания есть дух слова». Современный автор. (Коммент. В. Д. Пришвиной.)

88

«Кусок одной из этих скатертей прожил со мной всю мою последующую жизнь и до сих пор сохраняется в Дунине. При разных обстоятельствах работал на нем и М. М. Пришвин, что видно по чернильным пятнам на нем. Глядя на этот старый бархат, я иногда думаю, что какой-нибудь внук Коноваловых, увезенный маленьким ребенком бежавшими за границу родителями и ничего не помнящий о родине, приедет с экскурсией и попадет случайно в Дунино. Он войдет в скромный дом писателя, скользнет глазами по скатерти с ее характерным плетеньем, виденным им в детстве и начисто забытым, и что-то дрогнет в сердце как смутное воспоминание, но что? И он уедет чем-то растроганный, и будет говорить, что домик в Дунине и дух его хозяина оживляют чувство родины. Он не узнает, что ключом к этому чувству было не слово Пришвина, не ландшафт подмосковной природы, а кусок старой скатерти, виденной им в детстве и забытой… Может ли так случиться? И если может, то вот в чем живая сила вещей и для чего мы подчас их храним с такой любовью…» (Коммент. В. Д. Пришвиной.)

89

В архиве В. Д. Пришвиной сохранилась копия ответа на письмо одной из бывших воспитанниц детского дома и в Узком, и в Москве Шуры Жучковой, которая написала В. Д. после смерти своего мужа и незадолго до своей кончины: «14 мая 1979 г. Москва. Шура милая, перед болезнью, т. е. месяц назад я ездила в Узкое. Я постояла под окнами нашей с мамой комнаты, прошлась около прудов, вспомнила, какими мы были вольными первооткрывателями той особенной в нашей жизни весны. Как я вдохновилась там идеей „школы радости“. И, в сущности, не отступаю от нее. Но, Шура, я ведь тоже всех потеряла (у тебя есть любящий сын).

Я не могу и не хочу проповедовать, я люблю некие бесспорные для меня ценности. Если бы их не существовало во Вселенной, не существовало бы нашей с тобой любви, этой удивительной способности выбора в сумятице жизни. Не существовало бы недоказуемого, но бесспорного Прекрасного. Шура, девочка моя родная, обнимаю тебя без слов и советов. Вспомни, как ты девочкой полюбила стихи, а из меня создала для себя Прозерпину».

90

Иван Васильевич Попов (1867— после 1936) — патролог, преподаватель Московской духовной академии.

91

Ср.: «Да, гуманизм из жизни вытравили, и, подобно картофелю, лучшая часть его — в земле… Гуманитарная интеллигенция наша, сущая в „рассеянии“ по Европам, изумительно быстро потеряла лицо свое, и вот: профессор Ильин пишет, опираясь на канонические Евангелия, отцов церкви, богословов и свой собственный гниловатый, но острый разум, сочиняет Евангелие мести, в коем доказывается, что убивать людей — нельзя, если они не коммунисты». Из письма А. М. Горького М. М. Пришвину от 15 мая 1927 г. Литературное наследство. Горький и советские писатели. Неизданная переписка. М.: Изд-во АН СССР, 1963. — С. 346. (Примеч. В. Д. Пришвиной.)

92

Ср.: «Нарушение девственности не всегда связано с физическим сближением. Сущность „нарушения“ в том, что нечто более высокое подменяется более низменным». Дневник 8 января 1940 г. (Примеч. В. Д. Пришвиной.)

93

Владимир Григорьевич (?) Чертков (1854–1936) — публицист, друг и издатель произведений Л. Н. Толстого, впоследствии главный редактор 90-томного полного собрания сочинений Толстого.

94

Николай Сергеевич Родионов (1889–1960) — старший редактор Гослитиздата по 90-томному академическому изданию произведений Л. Н. Толстого, с 1958 г. — помощник В. Д. Пришвиной по работе над архивом М. М. Пришвина.

95

Рудольф Штейнер (1861–1925) — немецкий философ-мистик, теософ, основатель антропософии.

Б. М. Зубакин (1894–1937) — археолог, поэт-импровизатор.

Ср.: «А что вы думаете о Борисе З. Весьма увлекаюсь этим человеком, замечательно по-русски сделанным. Талантлив он несомненно». Из письма А. М. Горького М. М. Пришвину от 12 февраля 1927 г.

А также: «У меня гостил месяца два знакомый вам Зубакин, который, по письмам его, показался мне человеком интересным и талантливым, но личное знакомство с ним очень разочаровало и даже огорчило меня. Человек с хорошими задатками, но совершенно ни на что не способный и аморальный человек». Из письма А. М. Горького Б. Л. Пастернаку от 18 октября 1927 г.

«Зубакина не видал… Теперь, после ваших слов о нем, не будет с моей стороны предательством, если я скажу, что встреч с ним избегаю давно и насколько возможно. Я не знаю, что вы разумели, назвав его аморальным. Надо сказать, что о нем ходит сплетня, определенно вздорная, и мне кажется, что он сам ее о себе распускает. Я почти убежден в этом, да это и в духе его психологического типа. Ведь он из алхимической кухни Достоевского, легче всего его себе представить в Павловске на даче у Мышкина. Это надо сказать в его защиту. Он очень изломан, но никакой подлости ни в малейшей мере». Из письма Б. Л. Пастернака А. М. Горькому от 25 октября 1927 г. Литературное наследство. Горький и советские писатели. Неизданная переписка. — М.: Изд-во АН СССР, 1963. — С. 342, 300, 302. (Примеч. В. Д. Пришвиной.)

97

Ср.: «Превосходство своего домысла над всем существующим и, конечно, над Божеским. Отсюда, наверное, вышла и антропософия». Дневник 7 июля 1944 г. (Примеч. В. Д. Пришвиной.)

98

Упанишады — серия древнеиндийских философско-религиозных произведений, образующих заключительную часть вед — веданту. В Европе стали известны в начале XIX в. и оказали большое влияние на развитие европейской философии, в частности, и особенно Шопенгауэра.

99

Ориген (185–253) — античный философ и теолог, проповедник христианства и богослов.

100

Дионисий Ареопагит (I в.) — первый афинский епископ.

101

Ср.: «Читал Миллера о религии Веданты, о современной разделенности субъекта и объекта, подлежащего и сказуемого… Миллер, излагая Веданту, совершает обычный грех для нашей европейской философии: он философствует о религии, т. е. стремится измерить своей интеллектуальной веревочкой более крупный предмет, чем сама веревочка… Как утомительны стали для нас эти непрестанные попытки. Бойся философии! Стремись во всякое время и на всяком месте эту стремящуюся вырваться из оков своих мысль вправить в дело образования и выражения своей собственной личности, так, если ты поэт, то заставь свою философию войти внутрь поэзии. Если ты сапожник, то пусть философия сделает твой труд для тебя легким и приятным. И если ты не поэт, не сапожник, а просто человек живой, то пусть философия приблизит тебя к священному мгновению и уверит тебя в том, чтобы его остановить, или, напротив, пусть философия уведет тебя к чувству вечного и заставит тебя прижать руку к сердцу в смирении и радости. Так заключи свою философию и заставь ее вертеть колесо твоей личности». Дневник 20 августа 1945 г. (Примеч. В. Д. Пришвиной.)

102

Ср.: Никитин А. Мистики, розенкрейцеры и тамплиеры в советской России. — М.: Аграф, 2000. — С. 110. Упоминание в этой книге о В. Д. Вознесенской (Лиорко) и об Олеге Поле требует уточнения: Валерия Дмитриевна находилась в ссылке не по делу ордена, членом которого она никогда не была. Ее жених О. В. Поль также не был ни членом ордена, ни слушателем Института Слова и был расстрелян на Кавказе в 1930 г.

103

Михаил Александрович Новоселов (1864–1938?) — духовный писатель, издатель популярной «Религиозно-философской библиотеки», так называемой «розовой библиотеки», которая издавалась с 1902 по 1917 г. Был известен как автор писем, которые писал в 1922–1927 гг. (в наст. время книга «Письма к друзьям» (М… 1994). В начале 20-х гг. принял тайный постриге именем Марк. См. об этом в кн.: Священник Павел Флоренский. Переписка с М. А. Новоселовым. — Томск: Изд-во «Водолей». Изд. А. Сотникова, 1998.

104

Николай Иванович Замошкин (1896–1960) — литературный критик, публицист.

105

Сергей Николаевич Дурылин (1874–1954) — впоследствии искусствовед.

106

Иеросхимонах Алексий (Соловьев, 1846–1928), — затворник Смоленской Зосимовой пустыни (закрыта в 1923 г.), окормлял многих известных людей своего времени, в том числе великую княгиню Елизавету Федоровну.

107

Ср.: «Философия, наверно, есть свойство чисто мужского ума, стремящегося вверх по прямой. Мне кажется, что Христа этим умом невозможно постигнуть, принять. Христос может родиться только в женском сердце. Философия сама по себе бесплодна и не может стать действенной, если только не присоединится к тому, что рождается от Девы. Ляля мне говорила сегодня, что с Христом в сердце она почти что родилась, но когда занималась философией, в Христе не нуждалась. Он отсутствовал». Дневник 18 августа 1942 г.

«Грешнице моей Христос так же необходим, как рыбе вода, Я сравнительно с нею счастливо-благополучный человек, и представить себе не могу, как ей нужен Христос». Дневник 9 марта 1941 г. (Примеч. В. Д. Пришвиной.)

108

Дневник 7 августа 1947 г., 22 мая 1950 г., 21 января 1945 г.

«От радости и благодарности легко перейти к еще одному драгоценному слову подвижников духа: к смиренномудрию. Для многих смирение — это добродетель, лишенная творческой силы. На самом деле, смиренномудрие — это основная сила в общем составе души христианина, вбирающая в себя все остальные. Русская литература отмечает именно этим качеством своих любимых героев, и в этом было ее своеобразие. У Достоевского, начиная с князя Мышкина и кончая Митей Карамазовым и Грушенькой в их лучшие высокие минуты, дальше Пьер Безухов, Платон Каратаев, капитан Тушин, Максим Максимыч, Татьяна Ларина, Лиза Калитана, Лукерья в „Живых мощах“ Тургенева, Калиныч, Липа в „Овраге“ Чехова». (Примеч. В. Д. Пришвиной.)

109

Ср.: «Лев Толстой внушал нам в то время, что основной труд, на котором понимаются все иные менее значительные формы труда — это земледельческий труд, и основной человек, хранящий в себе основы нашей морали, — это пахарь. Мы теперь, глядя на современного колхозника, не можем себе даже представить, как это мог Толстой выбрать себе такой идеал нравственного человека. Надо было ему взять в пример не того, кто пашет, а кто молится. Так я думал в пятницу, глядя на молящихся в церкви». Дневник 13 апреля 1945 г. (Примеч. В. Д. Пришвиной.)

М. Н. Ермолова (1853–1928) — актриса Малого театра.

111

Воспоминания Зинаиды Николаевны Барютиной о человеке, с которым ее столкнула судьба в 1918 г., воссоздают атмосферу религиозной жизни, точнее, напряженного духовного поиска некоторой части молодежи того времени; поиска, о котором мы до сих пор очень мало знаем, но без которого картина столичной послереволюционной жизни представляется неполной. Уж очень напряженно и ярко эти люди жили, уж очень сильно выбивались из общего жизненного потока, уж очень искренним и бескорыстным было их устремление к истине. Валерия Дмитриевна часто повторяла: «Зина — единственная женщина, которая меня понимала», а в дни ее тяжелой болезни сказала: «Если Зиночка умрет, моя жизнь на земле будет кончена».

Уже после кончины З. Н. Валерия Дмитриевна узнала, что в конце 60-х или начале 70-х гг. З. Н. ездила в Латвию и каким-то образом пыталась найти могилу Оскара Звайгзне или узнать что-то о нем.

«Об Оскаре Звайгзне (верю, что он послан был мне от Бога). Это было еще в 1918 году, когда я только что закончила Высшие курсы, до существования братства о. Романа, в которое я вошла уже подготовленной примерно в 1921 году, а в 1918 году я еще только что закончила свою учебу, но душа моя жаждала пищи духовной. Воспоминания. Написаны в 1920 году.

Было это весной 1918 года. Была я близ дома своего на Мещанской у адвентистов; собрание кончилось, все разошлись за исключением некоторых заговорившихся. Заговорилась и я с руководителем собрания Львовым. Помню, на душе у меня было особенно тоскливо от большого неудовлетворения всем, что я видела здесь, было грустно, что совсем не понимает меня Львов, непонятный мне в своем самодовольстве, а говорила я, кажется, о силе благодати Христовой, покрывающей, и превышающей, и исполняющей всякий закон, которым адвентисты надеялись быть живы. Не понимал меня и подошедший сын Львова, я обернулась — и вот чьи-то внимательные, полные света глаза как бы насквозь всю осветили меня. Вздрогнуло мое сердце, почуяв светлую притягательную силу, и его я хотела успокоить: „Ну, что могло поразить меня: какой-то, наверное, мужичок, в солдатской шинели, в больших сапогах, нескладный“. Правда, необычен был взгляд его, как бы проникший свободно во внутреннее мое. Но какое мне дело до других! — уныло пошла я домой. Был темный вечер. И вдруг сзади меня догоняющие меня шаги и голос, внутренний, горящий: „А вы веруете в Бога?“ Мгновенно

напрягаюсь в себя, как бы правдивее ответить и говорю: „Я ищу Бога“ (мы с детства воспитаны были в близости церкви, но все же тогда мне не хватало многого личного знания).

Долго бродили мы по мокрым и грязным улицам, как-то чудесным образом сроднившиеся друг с другом. Разговор был бессвязен, беспорядочен, заметила я, что этот новый человек плохо говорил по-русски. Узнала я, что он латыш, с германской войны, был на фронте, а теперь весь полк перешел на службу к Советской власти. Родина его разорена. Где мать и жива ли она — он не знает, но ничто не волнует его, лишь только одно, что, уезжая на фронт еще в 1915 году, оставил он свою мать колеблющейся в вере, как морские волны. Был он единственный сын у матери, не кончил последнего курса Коммерческого училища по недостатку средств, служил и учился на курсах. Было ему, на мой взгляд, лет 20–25. Говорил он по-русски плоховато и как-то таинственно и значительно, начинал и не кончал, как бы хотел сказать и не мог. Видела я ясно, что это не был просто религиозный и сильно верующий человек, а какой-то необычайный, совершенно новый для меня, от него лилась радость и внутренний свет.

Темным вечером долго ходили мы и, простившись, решили на другой день встретиться на собрании у евангелистов, куда я впервые собиралась и ему дала адрес…

Придя домой, я сказала маме и сестрам, что познакомилась со святым человеком.

Весну, лето и часть зимы провели мы вместе, встречаясь часто на собраниях у евангелистов, которые мне были по душе своей простотой и верой, часто подолгу сидели или у нас, или на бульваре, вместе гуляли, разговаривали и молчали — и все это время было для меня сплошным праздником, и с тех пор до нынешнего дня благодарю я милостивого Бога, даровавшего мне радость видеть раба Своего…

Звали его Оскар Звайгзне, что значит Звезда. В детстве его мать видела сон, что держит на руках ангела.

В первый свой приход к нам Оскар испугал моих домашних. „Веруете ли вы в Бога?“ — как-то сразу и прямо спросил он маму, и когда та смутилась, сказал: „А вот я не верую, — и смеялся и был весь как бы в блеске радости, — я не верую в Бога, потому что я знаю Его“.

Я не знаю, принадлежал ли Оскар к какой-нибудь видимой церкви, все, что я знаю о нем, он сам мне сказал, и больше я ничего не знаю. Бывал он и у адвентистов, и у евангелистов, и в Армии спасения, и в православной церкви, видимо, когда-то бывал, так как рассказывал с сожалением, что у нас мало

проповедуют Слово Божие, но в православной церкви все правильно. Если бы был он сейчас в Москве, то вместе ходили бы мы в храм св. Алексия в Глинищевском переулке, где было наше братство. И ко всем относился беспристрастно. Говорил мне: „Нигде не спасется человек — ни у евангелистов, ни у адвентистов, ни в нашей церкви, хотя и называется она православной, только во Христе“.

Часто видела его взволнованным тем, что адвентисты не понимают: христианин находится в свободе.

Сам он, чтобы показать это, даже курил иногда, когда предлагал ему мой брат.

Когда мы шли с собрания, сказал про молитву Господню „И не введи нас во искушение“: „Значит, Бог вводит во искушение?“ Я остановилась, пораженная, и сказала: „Этого не может быть!“ Посмотрел тем необычайным взором, переполненным любовью и грустью, и сказал тихо: „Близки вы к Господу“.

Однажды Оскар обратил мое внимание на текст, где Христос говорит, что и других овец надлежит спасти ему. Я сказала, что Господь, наверное, говорил о других народах. Посмотрел на меня внимательно и сказал: „Да, а может быть, о других планетах“.

Когда мы сидели на бульваре, уже стемнело, и показались звезды, спросил меня: „Как вы думаете, как Господь держит звезды — Сам?“ Я сказала, что не знаю. Он сказал: „Нет, не сам, — и потом, замявшись, прибавил, — а как бы крылами Своими“.

Сейчас при переписке этих строк ярко вспомнился его взволнованный голос с ударением на первом слоге: большевики, меньшевики!

Вечером на бульваре, когда я говорила, что, возможно, уеду на дачу, он жалел, сказал: „Вот я прямо открываю вам: я полюбил вас как сестру и даже больше“.

Никогда не забуду его глаз: иногда не он, а сама Божья любовь смотрела через них на меня».

112

Дневник 3 декабря 1952 г.

113

Дневник 7 июля 1940 г.

114

Ср.: «Отрешиться от всего домашнего и уйти странствовать вполне соответствует постригу, и, вероятно, это толстовское „отрекусь и начну новую жизнь“ происходит тоже оттуда». Дневник 13 марта 1941 г. (Примеч. В. Д. Пришвиной.)

115

Дневник 23 января 1934 г.

116

Дневник 7 ноября 1941 г.

117

Дневник 31 октября 1940 г.

118

Берн-Джонс (Burn-Jones) Эдвард Коли (1833–1898) — английский живописец, принадлежал к младшему поколению прерафаэлистов; «Кафетуа и нищенка» (1880–1884) рассматривается в ряду его композиций на религиозные и легендарные сюжеты, которые отличает стилизация в духе итальянской живописи XV в.

Ср.: «Когда влюбился в нищую король / Кафетуа» — строка из трагедии В. Шекспира «Ромео и Джульетта» (акт II, сцена 1), уводящая к сюжету старинной баллады о короле, женившемся на нищенке и прожившем с нею в любви долгую жизнь.

119

Евгения Николаевна Барютина скончалась в 1972 г. в тайном постриге.

120

О. Роман Медведь (1874–1937) служил в церкви Алексия митрополита Московского в Глинищах. Церковь закрыта в 1931 г. Священноисповедник, соборно прославлен с новомучениками и исповедниками российскими XX в. на юбилейном освященном Архиерейском соборе Русской православной церкви в 2000 г. См. о нем в кн.: *Игумен Дамаскин (Орловский)*. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. — Тверь: Булат, 2000. — Кн. 4. С. 289–367. Сохранился рисунок Евгении Николаевны Барютиной-Рождественской, сделанный за неделю до кончины о. Романа 1 сентября 1937 г. во время ее поездки к о. Роману в Малоярославец, где он жил после заключения и где скончайся.

121

Творения христианского подвижника конца VI в. епископа Ниневийского Исаака Сириянина «Слова подвижнические» до конца жизни оставались любимым духовным чтением В. Д. Пришвиной.

122

Ср.: «В 1919 году по благословению Святейшего Патриарха Тихона протоиерей Роман организовал Братство ревнителей православия в честь святителя Алексия, митрополита Московского. С этого времени для о. Романа начался особый период жизни, продолжавшийся более десяти лет, — духовного старческого окормления, воспитания прихожан в духе православия… Автор книги „Оптина пустынь и ее время“ Иван Михайлович Концевич, состоявший в братстве о. Романа, вспоминал: „В тот год, благодаря мудрому руководству Святейшего Патриарха Тихона, церковная жизнь в Москве чрезвычайно оживилась. Москва покрылась сетью братств, руководимых наиболее ревностными пастырями, были широко привлечены и миряне…“» *Игумен Дамаскин (Орловский).* Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. — Тверь: Булат, 2000. — Кн. 4. С. 302.

123

Дневник 31 августа 1943 г.

124

Сочинение христианского подвижника, настоятеля Синайского монастыря, затем отшельника Иоанна Лествичника (р. ок. 525) «Лествица Райская» В. Д. Пришвина до конца жизни постоянно читала.

125

Святой Иоанн Дамаскин (ок. 675 — ок. 750) — византийский богослов, идеолог иконопочитателей и апологет православия так же известен, как автор церковных песнопений, за что был назван «златоструйным».

126

Строка из стихотворения «На дне преисподней» (1922, из книги третьей «Неопалимая купина». Цикл VI) Максимилиана Волошина (наст. фам. Кириенко-Волошин) (1877–1932) поэта, переводчика, художника.

127

Дневник 15 марта 1945 г.

128

Николай Кузанский (наст. имя Николай Кребс, 1401–1464) — философ и богослов; в своих работах предвосхитил философские идеи Нового времени.

129

Дневник 17 декабря 1946 г.

130

О судьбе Владимира Ивановича Поля (1875–1962) см в кн.: *Маковский С.* На Парнасе Серебряного века. — М.: Изд. дом XXI век — Согласие, 2000. — С. 520–555.

131

Спиноза Бенедикт (Барух) (1632–1677) — нидерландский философ. *Лейбниц Готфрид Вильгельм* (1646–1716) — немецкий философ, математик.

132

Михаил Осипович Гершензон (1869–1925) — литератор. Об Олеге Поле см. в кн.: Гершензон — Чегодаева Н М. Первые шаги жизненного пути (воспоминания дочери Михаила Гершензона). — М.: Захаров, 2000. — С. 151–185.

133

Строки из стихотворения М. Цветаевой «Ты проходишь на запад солнца» (1916).

134

Имеется в виду книга В. Свенцицкого «Граждане неба. Мое путешествие к пустынникам Кавказских гор» (1915).

135

Строки из стихотворения М. Цветаевой «Ты проходишь на запад солнца» (1916).

136

Дневник 27 июня 1952 г.

137

Николай Федорович Федоров (1828–1903) — библиотекарь Румянцевского музея (1874–1898), автор книги «Философия общего дела» (1906. Т.1, 1913. Т. 2), изданной под этим названием его учениками В. А. Кожевниковым и И. П. Петерсоном.

138

Дневник 8 января 1941 г.

139

А. Н. Брюханенко — известный пчеловод, с 1910 г. работавший в журнале «Пчеловодный мир» и в Петровской (ныне Тимирязевской) академии.

Глава «Любовь как условие возможности Царства Божия» из философско-богословского труда Олега Поля «Остров Достоверности» опубликована в журнале «Человек» (1991. № 5. С. 110–127).

141

Дневник 27 марта 1951 г.

142

Дневник 1941 г. б/д.

143

Об обновленчестве, внутрицерковном оппозиционном движении, направленном к союзу с большевистской властью, против главных принципов Православной церкви, в частности, против восстановления патриаршества, см. подробнее в кн.: Вострышев М. Патриарх Тихон. — М.: Мол. гвардия — ЖЗЛ; Русское слово, 1997. — С. 237–253.

144

В эти годы Екатерининская пустынь переживала труднейший этап своей истории (основана в 1674 г.), когда после закона о социализации монастырских земель пустынь была превращена в сельскохозяйственную артель с единственным действующим храмом; монахини из закрытого красностокского Рождество-Богородичного монастыря, поселившиеся здесь, вели огромное монастырское хозяйство, снабжая всю округу хлебом, молочными продуктами, овощами и медом, а также по возможности сохраняя весь строй монастырской жизни. В 1931 г. монастырь закрыли. См. подробнее об этом: Монастыри Святой Екатерины. — М.: ТОО «Рарогъ», 1998. — С. 7–22/Коммент. монахини Варвары (Вилисовой).

145

Имеются в виду Бироны.

146

13 сентября 1926 г. — канун праздника Воздвижения, день встречи Олега с Лялей.

147

Преподобный Симеон Новый Богослов (сконч. в 1032 г.).

148

Дневник 15 января 1941 г., 8 января 1941 г.

149

Ср.: «Удивление покидает мир. Даже воздухоплавание, даже радио и телевидение больше не удивительны. И можно вперед сказать, что перелет на другие планеты не даст того счастья, той радости, о которой сейчас грезится. Удивление связано с детством человека. Современный взрослый человек рано расстается со своим ребенком, он с двадцати лет взрослый и больше ничему не удивляется… Человеку надо вернуть себе детство, и тогда ему вернется удивление, и с удивлением вернется и сказка…». «Не до сказок теперь! Не до сказок, я знаю, но она явится, как наш след по земле… нашим следом Охотник идет, и он потом расскажет о нас». «Лицемерно вздыхают о детстве, что оно „прошло“. Но спросишь их — зачем они дали ему „пройти“? Все хорошее должно в человеке оставаться даже после смерти…» «Мы любим в детях то самое, что храним в себе с детства, как лучший дар нам от жизни». (Примеч. В. Д. Пришвиной.) Пришвин М. Незабудки. — М.: Худож. лит., 1969. — С.124–125.

150

Младшая сестра Олега Поля.

151

Имеется в виду книга Льюиса Кэрролла (наст. имя — Чарлз Латуидж Доджсон (1832–1898) — английского писателя, математика, священника, профессора Оксфордского университета (1855–1881) «Алиса в стране чудес», написанная в 1865 г.

152

Слова из молитвы святого Антиоха.

153

Дневник 24 марта 1940 г.

Лк. 22:48.

155

Автор книги толстовец Н. Г. Сутковой в 30-е гг. арестован за эту книгу и погиб.

156

См. об этом в кн.: Крестный путь Иоанна Златоуста / Сост., общ. ред. О. В. Орловой. — М.: ТОО «Рарогъ», 1996.

157

Дневник 23 января 1940 г.

158

Дневник 24 марта 1940 г.

159

Дневник 22 августа 1944 г., 24 октября 1944 г.

160

Дневник 29 апреля 1953 г., 12 марта 1953 г.

161

Михаил Александрович Новоселов.

162

Дневник 9 июля 1947 г.

163

Дневник 27 февраля 1952 г., 1947 г., б/д.

164

Дневник 5 декабря 1947 г.

165

Дневник б/д, 24 февраля 1940 г.

166

Дневник 4 июля 1946 г.

167

Дневник 9 июня 1943 г., 12 февраля 1948 г.

168

Дневник б/д.

169

Дневник 28 декабря 1941 г., 6 мая 1944 г.

170

Дневник 1948 г., б/д.

171

Дневник 26 мая 1920 г.

172

Мф. 3:9.

173

Ин. 20:24–29.

Воскресный Богородичен седален Октоиха 3-го гласа.

175

Мф. 22:30.

«Игуменом мы считали преп. Серафима Саровского». (Примеч. В. Д. Пришвиной.)

177

Григорий Саввич Сковорода (1722–1794) — украинский философ и поэт.

178

Ср.: стихотворение Н. С. Гумилева (1886–1921) «Пьяный дервиш». Ср.: «Мир лишь луч от лика друга / Все иное тень его».

179

Дневник 22 августа 1927 г.

180

Дневник 18 июля 1948 г.

181

Дневник 27 августа 1942 г.

182

См. об имяславии в кн.: Тахо-Годи А. Лосев. — М.: Мол. гвардия — ЖЗЛ; Студенческий меридиан, 1997. — С. 109–117.

183

Имеется в виду картина художника А. Н. Новоскольцева (1853–1919) «Опричники в доме опального боярина».

Мф. 16:18.

Лосев А. Ф. Античный космос и современная наука. — М., 1927.

186

Ин 16:21.

187

Олег имеет в виду платье для пострига.

188

Дневник 2 мая 1953 г.

189

Источник не установлен.

190

Ин. 1:13.

191

Речь идет о меценате Олега, который собирался уезжать из Москвы на родину в Польшу.

192

Некоторые материалы следственного дела № 2076, предоставленные нам по обвинению Олейникова М., Смирнова Я., Поль О., Покровской и других по пп. 10–11 ст 58 УК, позволяют уточнить, во-первых, дату ареста, а во-вторых, масштаб и характер деятельности Олега Поля (иеромонаха Онисима) на Кавказе.

Следственное дело № 2076 представляет собой объемистую папку, на которой стоят штампы учета документов разных лет. Последний: «Учтено в 1990 г. УКГБ Краснодар». Сверху гриф: «Хранить вечно».

1. Постановление (о приобщении к делу вещественных доказательств) 1929 года ноября 10 дня гор. Новороссийск. Я, уполномоченн. СО ЧЕР ОКР ОТДЕЛА ОГПУ Меньшиков, рассмотрев сего числа обнаруженные у гражданина Поль Олега Владимировича и принимая во внимание, что означенные документы, согласно описи их от 14 октября 1929 г. являются вещественными доказательствами по делу, поэтому, руководствуясь ст. ст. 66 и 67 УПК Постановил:

Перечисленные выше документы вместе с описью их приобщить к следственному делу № 2076 в качестве веществ, доказательств.

Уполномоченный СО ЧЕР ОКР ОТДЕЛА Меньшиков

Согласен: нач. СО ЧЕР ОКР ОТДЕЛА Филин

2. Характерные выписки из документов, принадлежащих обвиняемому Полю Олегу Владимировичу Иеромонаху Онисиму.

Документ разоблачает обновленцев и обвиняет их в расколе церкви и услугах, оказываемых обновленцами Сов. Власти. Главное обвинение падает на митрополита Сергия. Характерными местами в этом документе явл. следующие:

«Коммунизм расходится не только с православием, а со всякой религией и при таких обстоятельствах говорить об их соединении — значит соединять несоединимое».

«Обновленцы стремились к тому, чтобы по образному выражению Т. Я. Степанова-Скворцова в его ст. „Среди церковников“, предпосланной в качестве предисловия к посланию митрополита Сергия, „построить крест так, чтобы рабочему померещился в нем молот, а крестьянину серп“».

«Как же при таких условиях можно признать задачи православной церкви дойти до отождествления радости и успехов советской власти с радостями и успехами церкви православной. Дадим несколько примеров: радостью для советской власти

является ликвидация храмов с превращением их в клубы или подобного рода заведения, и особенно разгром храмов Божиих, из коих много разрушено, а еще больше предположено к разрушению, притом в плановом порядке. Неужели эта радость советской власти есть так же радость и верных чад Церкви. А осквернение мощей, а тайный увоз воровским манером мощей Серафима Саровского в епархии митрополита Сергия».

«Непослушание групп верующих его приказу о поминовении себя и властей М. Сергий отождествляет с контрреволюцией со всеми вытекающими отсюда последствиями уже по линии ОГПУ».

«Но взяв на себя добровольные функции политического сыска за чадами православной церкви М. Сергий затрагивает самым чувствительным образом совесть своей паствы».

3. Среди изъятых документов — список общин и священнослужителей Майкопского и Черноморского Церковного Округа за подписью Варлаама Епископа Майкопского, его письмо с обращением к «Высокопреосвященнейшему Владыке» о положении подземных храмов на Кавказе в ситуации, когда «на всем пространстве Кубанской, Черноморской и Сухумской все без исключения храмы находятся в руках обновленцев и сергиян», множество писем монахов, а также рецензия на работу Олега Поля «Хозяйство человека», в которой, в частности, отмечается:

«Постановка автором вопроса о законе развития общества, производственных отношений и экономической закономерности — целиком противоречит нашей марксистской теории диалектического материализма. Автор определяет предмет политической экономии следующим образом:

„Предмет политэкономии и есть хозяйство каждого человека, рассматриваемого с точки зрения участия в нем других людей, или иначе — предмет этой науки — хозяйство всего человечества, рассматриваемое с точки зрения служения его единичному человеку“.

Из этого определения можно сделать прямой вывод, что автор стоит на рельсах отрицания классовой борьбы в обществе — с одной стороны, и вообще отрицает наличие классов — с другой».

Об этом см. в кн.: Осипова И. И. Сквозь огнь мучений и воды слез… Гонения на Истинно-Православную Церковь. По материалам следственных и лагерных заключенных. — М.: Серебряные нити, 1998. — С.85–95. Среди предоставленных нам материалов есть следующий документ: «В соответствии с архивными материалами Поль Олег Владимирович (иеромонах Онисим), 1900 года рождения, уроженец г. Киева, окончил реальное училище в г. Москве и получил профессию педагога, с 1921 по 1924 год работал в Пушкинской опытной школе-колонии

II ступени МОНО преподавателем математики. Являясь „толстовцем“, увлекался мистицизмом, но, не удовлетворившись скудостью мистики у Толстого и заболев туберкулезом легких, в 1924 году оставил службу педагога, переехал в г. Геленджик. Работал на случайных заработках в качестве чернорабочего. В 1925 г. выехал на жительство в Сочинский район с. Змейка с твердым намерением уйти в монашество и стать иеромонахом. Для получения сана, Поль О. В. выезжал в Ленинград к архиепископу, который рукоположил его в иеромонахи.

8 октября 1929 года Поль был арестован по обвинению в проведении антисоветской агитации, направленной на срыв мероприятий, проводимых Советской властью. Заседанием Тройки при ПП ОГПУ СКК от 27 февраля 1930 г. по ст. 58–10 ч. 2, 58–11 УК приговорен к высшей мере наказания — расстрелу.

Реабилитирован 23. 03. 1990 г. Прокуратурой Краснодарского края на основании ст. 1 Указа ПВС СССР от 16.01.1989 г.»

Основание — архивное дело № 2–54881.

Начальник подразделения УФСБ РФ В. А. Хроль. (Коммент. Л. А. Рязановой.)

193

Летом 1979 г., за полгода до кончины Валерии Дмитриевны, в Дунино приехал неожиданный гость. Это был Леонид Давидович Шрейдер (1907–1982), которого Валерия Дмитриевна только смутно помнила — они друг друга почти не знали. Он разыскал Валерию Дмитриевну, по-видимому, через одну из сестер Олега Поля для того, чтобы передать ей сохранившийся у него архив Олега. Мальчиком в колонии Арманд он познакомился с Олегом и уже никогда не терял с ним связи. Он взял на хранение оставшиеся у сестер и у матери тетради Олега и, невзирая на опасность, хранил все годы при себе (а так как он был ведущим инженером одного из московских заводов, и после его кончины мы обнаружили в бумагах правительственные телеграммы, присланные по месту эвакуации завода на его имя, то, конечно, был на виду и рисковал). «Остров Достоверности» он знал досконально и говорил, что не слышал ничего более близкого своей душе о православии. У него сохранились также письма Олега. Он же передал Валерии Дмитриевне кавказскую фотографию Олега с о. Даниилом и о. Арсением. Валерия Дмитриевна сказала ему: «Леня, Олег нас там радостно встретит», а он ответил: «Если бы это было так». После гибели Олега он ездил на Кавказ каждый год всю свою жизнь.

Валерия Дмитриевна до конца не расставалась с этой фотографией, считала, что все это было и милостью ей, и прощением.

В архиве Л. Д. Шрейдера мы обнаружили воспоминания сестры Олега Тамары:

«В 1965 году я попросил Тамару Поль написать о жизни ее брата до 1920 года. Вот что написала мне Тамара.

Родился 31.5.1900 года.

Семья — педагоги — музыканты — учителя.

С раннего детства отличался любознательностью и необыкновенным для своего возраста умом. Читать начал до 5 лет. Очень любил считать и читать, хорошо рисовал, преимущественно акварелью. Писал стихи и рассказы.

У нас в семье был семейный журнал „Ласточка“, в котором он рисовал иллюстрации к стихам и рассказам своим и всех своих сестричек. Отличался миролюбием и спокойным характером, но не переносил, когда кого-нибудь обижали. Особенно жалел животных.

С раннего детства увлекался всевозможными ремеслами. Хорошо владел столярными инструментами. Всегда делал

сестрам игрушки, автомобили с резиновыми двигателями и проч. Летом со старшей сестрой строил на деревьях хижины, в лесу вигвамы, на реке всегда был плот своего изготовления.

Хорошо переплетал книги.

Лет 11-и увлекся скаутизмом. Ходил в защитном костюмчике, носил шапочку по форме. Главное, что его привлекало — это то, что скаут должен быть честным, добрым, помогать людям. Уже с 13–14 стал изучать эсперанто. Переписывал в специальную тетрадь статьи, занимался самостоятельно.

Играл на рояле, причем специально не занимался, неудивительно быстро выучивал то, что ему нравилось. Предпочитал мягкую, лирическую музыку или спокойную, торжественную. Любил сочинения Шопена и Бетховена.

В 1914 году наша семья спешно эвакуировалась из Киева, где мы жили в детстве. На Киев наступали немцы. Будучи беженцами, мы жили в Москве в очень трудных условиях. Не было никакой мебели в течение долгого времени. Мама была в то время уже женой художника, и в семье было пятеро детей. Она ушла от моего папы, взяв с собой нас — меня и Олега. Олег переехал в Москве к отцу-музыканту — Владимиру Ивановичу Полю. Так пришлось сделать для облегчения материального положения семьи. В эти времена он забегал к нам, но как шла его жизнь, я не знаю. Учился он всегда отлично.

Никогда не отказывался помочь той из сестричек, которой было что-либо в учебе трудно. Это особенно относится к математическим наукам, в которых он, казалось, не знал никаких трудностей.

В 1918 году его призвали в армию. В те годы он познакомился с толстовцами (имен не знаю) и, ссылаясь на свои убеждения, не позволяющие убивать, отказался идти на войну. Его арестовали, и грозило это закончиться расстрелом. Так было в первые годы революции.

Состоялся суд, на котором выступил друг Льва Толстого. Если не ошибаюсь, это был Горбунов-Посадов. Он сказал, что знает этого юношу как самого себя и поручился, что отказ от военной службы — не контрреволюция, а настоящие человеческие убеждения, которые не позволяют ему брать в руки оружие для убийства людей.

На суде спросили, каким общественно-полезным делом он будет заниматься, если его отпустят. Олег сказал, что любое дело согласен выполнять, но предпочел бы быть педагогом… мог бы преподавать математику.

В это время была (или вскоре после этого) организована Пушкинская опытно-показательная школа — колония, где он и

стал преподавателем. Незадолго до этого, в 1919 году, он еще преподавал в толстовской (т. е. возглавляемой толстовцами) колонии под Москвой. Туда были собраны дети из царских приютов. Было это на станции Опалиха по Рижской ж. д. Там Олег преподавал и работал в поле и в лесу наравне со всеми сотрудниками и детьми.

Возглавлял эту сельскохозяйственную колонию Митрофан Нечесов, чудесный душевный человек, толстовец по убеждениям.

Что было дальше, ты знаешь.

Точную дату смерти я не знаю.

По-моему, мамочку заставили расписаться, что она знает о том, что ее сын убит, не знаю, какого именно числа. Знаю, что летом 1930 г. (Его убили, вероятно, 26 июня 1930 г.).

Тамара. 25.11.1965 г.»

Далее рукой Л. Д. Шрейдера написано:

«Отдельные афоризмы О.:

а) „Ад есть то, чего хочет сам человек“.

б) „Биография есть история роста и изживания страстей, житие есть победа над страстями“.

в) „Исторически значительны только события, значительные с точки зрения вселенского спасения, т. е. события, изменяющие отношение вселенной, которая существует, ко вселенной, которая должна существовать“.

д) „Генри Джордж был чистым человеком, а потому ясно увидел образ прекрасного общественного строя, подсказываемого людям Премудростью Божией“».

194

Дневник б/д.

195

Материалы следственного дела В. Д. Вознесенской-Лебедевой (арх. № Н-7642), предоставленные нам для ознакомления, подтверждают, что она была арестована 15 апреля 1932 г. «По обвинению в совершении преступных действий, предусмотренных ст. 58/УК в том, что она являлась активной участницей контрреволюционной организации „Истинно-Православная Церковь“ (внутрицерковное движение, оппозиционное митрополиту Сергию) и проходила по групповому делу епископа Серафима (Звездинского Николая Ивановича), была выслана в Западную Сибирь сроком на 3 года. Была реабилитирована 7 февраля 1990 г. по ст.1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. „О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов“». Большую роль, о которой В. Д. знала очень мало, в организации этого движения сыграл М. А. Новоселов (катакомбный епископ Марк, ныне канонизирован). Подробно см. в кн.: Осипова И. И. Сквозь огнь мучений и воду слез… Гонения на Истинно-Православную Церковь. По материалам следственных и лагерных заключенных. — М.: Серебряные нити, 1998. (Коммент. Л. А. Рязановой.)

196

Книга «Женщина, которая не могла умереть» Юлии Михайловны Де'Бособр, находившейся на Лубянке в одной камере с Валерией Дмитриевной, изданная в Лондоне, воистину по счастливой случайности на несколько дней попала к Валерии Дмитриевне году в 1974-м или 1975-м. Юлия Михайловна, по-видимому из осторожности, назвала Валерию именем ее матери, то есть Наталией, а Александра Васильевича именем его отца Василием. Валерия Дмитриевна всегда помнила, что тогда, в камере на Лубянке, они дали друг другу слово: тот, кто останется жив, напишет обо всех. По крайней мере двое это сделали, а судьба остальных осталась неизвестной. Текст дается с некоторыми сокращениями, не имеющими отношения к теме. (Пер. Я. Гришиной.)

«Ночь. Дверь моей камеры открывается. Входит женщина. Она снимает меховую шляпу и шубу. Не провокатор ли она, подосланный что-то выспрашивать у меня, потому что все остальное им не удалось? Она невысокая, с очень тонкими ногами и широкими плечами, которые кажутся сильными. Черные волосы — две длинные косы спускаются до талии. Лицо бледное и несколько пухлое. Ногти покрыты лаком, ярким и блестящим. Она улыбается и говорит:

— Я ужасно устала. Я летела самолетом всю дорогу с Соловков… Но, скажите мне, вы больны?

— Больна? Может быть, немного. Но тоже страшно устала (как странно звучит мой голос!).

— Вы выглядите так… Вы здесь давно? Несколько дней?

— С 4 февраля.

— Боже мой! — восклицает она, не спуская с меня глаз. Ее глаза наполняются слезами. Она подходит к моей кровати: — И вы все это время одна?

— Да. Что сегодня?

— 24 апреля!

— Апрель… значит, опять весна.

— Но они никогда не держат женщин в одиночке больше двух недель. — В ее голосе слышны истерические нотки.

Дверь отпирается. С лагерной кроватью и матрасом входят два надзирателя.

— Вы не должны говорить так громко, — говорит один ей. Потом, улыбаясь, мне:

— Вы можете говорить сколько угодно, но шепотом.

Они ставят кровать параллельно моей.

— Как вас зовут?

— Зоя.

— Сколько вам лет?

— Двадцать два в следующем месяце.

— Вы сказали, что вы с Соловков. Вы имеете в виду тот лагерь за Арктическим кругом, о котором каждый смутно слышал?

— Да. Старый монастырь на архипелаге Белого моря, теперь концлагерь. Самый дальний аванпост христианства, как они обычно говорят. Я была там три года. Сначала приговорили к смерти, потом к десяти годам каторжного труда. А сейчас, три года спустя, вдруг самолетом доставили меня обратно в Москву. Без предупреждения, без единого слова, как обычно, конечно. Может, после всего они считают, что меня можно убить. А может быть, отмена приговора. Кто знает? Я ничего не знаю.

— Бедная девочка, — вздыхаю я.

Она смеется:

— Девочка! Каждый год из этих трех лет равен двадцати годам обычной трудной беспокойной жизни женщины. Пожалуйста, считайте, что мне восемьдесят. — Она снова смеется. — Но сейчас я должна спать. Спокойной ночи.

Утром нас вместе отводят в умывальню. Зоя очень мила и старается делать все за меня. А мне так странно быть не одной в моей камере. Мне кажется, что я всегда жила тут, отделенная от других живых существ, в мире мечты и фантазии, только изредка нарушаемом одетыми в форму тенями людей.

Зоя рассказывает:

— Пока я была под следствием, меня тоже держали в одиночной камере, но это было в Бутырской тюрьме. Там было по-другому. Мне давали книги, каждую неделю я получала продуктовые посылки из дому, каждый день на четверть часа меня выводили гулять в тюремный двор. Иногда мне даже разрешалось самой готовить себе обед. Некоторые из персонала могли разговаривать со мной. Я видела других заключенных, слышала их. Но здесь — ужасно, ужасно. Неудивительно, что это место называют Дворцом пыток, который сводит людей с ума, превращает их в живые подобия людей, полные страха. Мы должны попросить книги. Ужасно совсем не иметь книг.

Затем она продолжает:

— В Соловках, после года работ, когда мне дали место машинистки в управлении лагеря, у меня было время читать. У нас была хорошая библиотека. А зимой мы ходили на лыжах. Мне повезло, у меня было особое положение благодаря моему голосу. Он им нравился. Сначала я пела в хоре обычные революционные

песни по всяким праздникам, знаете. Потом нами занялся человек, который на самом деле был режиссером. Он организовал театр; мы все принимали участие. И имели успех. Он написал музыкальную комедию, музыку и все остальное: я пела ведущую партию. С тех пор я всегда пела соло. Это облегчило мою жизнь. Старый певец из Императорского петербургского театра поставил мне голос. Результат появился через несколько недель. Режиссер скоро умер… от непосильной работы и дурного обращения… А я пела. И у меня были разные привилегии. Мне было разрешено покупать продукты в особой лавке. Так или иначе, все это неважно, ничтожно, но… я полюбила человека, его звали Михаилом, он был коммунистом перед тем, как его арестовали. Человек теряет принадлежность к партии, когда его обвиняют в совершении преступления, вы знаете. Он еврей. Мои же родители православные. Он сейчас, вернее, был одним из начальников на Соловках. Где он? Что они с ним сделали? Если бы кто-нибудь знал.

— Я понимаю… Я люблю человека, его зовут Николай, мы были женаты 15 лет. Я думаю, он тоже где-то здесь. Может, нет, конечно. Кто знает? Я не знаю ничего.

Мы уже устроились на ночь. Мягко открывается дверь, входит высокая ширококостная женщина. Дверь закрывается за ней. Она одета в легкое пальто. Она подходит к столу, кладет на стол свой узелок, смотрит прямо и мрачно. Я убираю ноги с края кровати к стене и говорю:

— Пожалуйста, садитесь. Они принесут вам кровать.

— Я лучше постою.

Она не смотрит на меня. Мы с Зоей переглядываемся. Двое вносят кровать и ставят ее вдоль моей стенки ближе к окну. Без единого слова она раздевается и ложится лицом к стене. Тяжело, когда в камере появляется такой человек.

На следующее утро мы втроем — камера 36 — проделываем весь обычный утренний тюремный туалет. Когда мы возвращаемся в камеру, Зоя пытается заговорить. Она рассказывает о своих трех годах работы, об одиночном моем трехмесячном заключении. Она хочет показать Эмме, что существуют страдания и других людей. Ей кажется, что тогда легче вынести свое. Так и есть для всех, но не для Эммы.

— Но почему меня посадили в камеру, как будто я такая же, как вы. Вы, должно быть, преступники, с вами и надо обращаться как с преступниками. А я нет. Я ничего не сделала. Погодите, я узнаю, какая собака это сделала. Кто бы это ни был, он за это ответит.

После этого мы молчим. Враждебное настроение Эммы

замораживает нас. В ее присутствии мы с Зоей едва говорим друг с другом. Наконец Зоя не может больше выносить молчания. Она начинает петь: „Даже ветер не может знать, даже мягкий падающий снег, только струна под смычком может знать, как я люблю тебя…“

Следующее утро начинается очень рано. Нас первыми ведут мыться. Когда мы ждем нашего огромного чайника, дверь открывается и входит маленькая тонкая женщина, одетая в черное, как монахиня. Ее лицо, хотя немолодое, все же какое-то моложавое, как это часто можно видеть на лицах старых монахов и монахинь. Ее большие светло-голубые глаза, немного навыкате и очень близорукие, почти слепые, напряженно оглядывают камеру. Она выглядит испуганной, но это не так. Она спокойно перекрестилась и шепотом сказала: „Господи Иисусе Христе, сыне Божий, милостив буди нам“.

Молодой надзиратель, который привел ее, останавливается у полуоткрытой двери и смотрит на нее. Она поворачивается к нему и говорит приятным мелодичным голосом:

— Не могу ли я получить очки и палку? Без них я не могу двигаться.

Надзиратель делает строгое лицо:

— Нет! Это против правил.

Зоя встает и берет новенькую за руку. Лицо надзирателя смягчается и он добавляет:

— Вам помогут. Вы же не одна.

Он выходит и запирает дверь. Зоя ведет женщину к своей кровати.

— Спасибо, девочка. Как тебя зовут?

— Зоя. А вас?

— Екатерина. Я только что поднялась после тяжелой болезни. Ревматизм. Я еле двигаюсь, все тело еще до сих пор болит временами. Глупо с их стороны не дать мне палку. Боятся, что ударю ею кого-нибудь из вас? Из них? — Она легко смеется, как ребенок, счастливый и беззаботный.

Чай мы пьем уже вместе с ней. Она удивляет нас тем, что крестит все, что ест. Оказывается, что она не монахиня и что она образована. Она окончила Московский Университет, сначала по отделению классическому и педагогики, потом высшей математики. Какое-то время успешно преподавала в одной из школ. Теперь она больше не может преподавать, потому что отказалась отречься от христианства. Но она дает частные уроки отстающим детям и таким образом содержит себя и старую маму. Еще она — добровольный член какого-то братства.

Когда дверь снова открывается, мы думаем, что это кровать

для Екатерины, но, к нашему удивлению, это еще одна женщина. И удивительно симпатичная. Среднего роста, стройная и женственная. Ее блестящие, вьющиеся каштановые волосы, стриженные коротко, на полшеи, зачесаны назад, открывая прелестное лицо с румянцем. Ее широко расставленные темно-карие бархатистые глаза блестят почти невыносимо от сильного волнения, горящего в ней. Это странно не соответствует ее строгому, хорошо сшитому темно-синему пальто и юбке. Она стоит посередине камеры и говорит с неудержимой, искрящейся веселостью:

— Добрый день всем, милые подруги моих суровых дней!

Я предлагаю ей сесть на мою кровать. Екатерина спрашивает:

— Когда?

— Сейчас. С обыском пришли к нам, когда мы с мужем одевались, чтобы идти на работу. Обыскали дом. И привезли сюда в разных машинах. Во всем городе аресты.

— Сейчас Страстная неделя, — говорит Екатерина. Голос ее полон музыки, как будто бы она поет слова. Эмма резко говорит:

— Какое это имеет значение? Для Советского Союза в воскресенье — 1 Мая.

И Зоя восклицает:

— 1 Мая на Пасху! Как странно!

Екатерина продолжает, не обращаясь ни к кому непосредственно:

— Они пришли к нам вчера вечером, в девять, напугав особенно мою бедную старую маму, перевернули все вверх дном и взяли меня после полуночи, оставив ее одну разбирать этот беспорядок.

Новенькая, сидящая в ногах моей постели, закрыла лицо руками. Она дрожала. Тихо, с невыразимой душевной болью, он простонала:

— Бедная моя мама осталась тоже совершенно одна в этом беспорядке. Совершенно одна — справляться с этим невыносимым положением. Это убьет ее.

Я постаралась отвлечь ее от того, что, очевидно, было источником всех ее мучений:

— Как вас зовут?

— Наталья.

— Замечательно. Одно из моих любимых имен.

Она улыбается. Зоя, все понимающая, старается помочь:

— Как отличается ваша одежда от нашей! Я была в Соловках три года. Мы сами шили одежду там из того, что случайно оказывалось в лавке. Иногда шили друг для друга.

— Три года! — восклицает Наталья. — Боже мой! Мама бы

умерла до моего возвращения, если…

— Как женщины беспокоятся о других людях, — раздраженно выдохнула Эмма. — Вам недостаточно своих бед?

— У вас, наверное, не осталось близких на воле, — пробормотала Екатерина.

— У меня мама и двое детей. Они полностью на мне. Екатерина посмотрела на нее с сочувствием:

— Вдова!

— Нет. Я развелась с мужем. Он чех. Его арестовали во время войны. Он остался здесь после революции, потому что границы были закрыты. Потом гражданская война. Он хотел вернуться на родину. Я бы не поехала с ним, конечно. Почему я должна бросать родных, работу, друзей — все, потому что он хотел жить в своей стране? Правительство поддержало меня, и дети должны были остаться со мной.

Екатерина говорит:

— Вы, наверное, не очень любили беднягу.

— Любила! Я не знаю, что это значит. Мы прожили вместе пять лет. У меня двое детей от него. Каждый устанет.

— Да, обет безбрачия часто легче вынести, чем супружество.

Мы все уже давно пожелали друг другу спокойной ночи, старались заснуть, когда пришли за Эммой. Ее берут на допрос. Пока она одевается, мы все, взбудораженные, окончательно просыпаемся. Ее уводят, и в камере воцаряется глубокое молчание. Нам всем не очень нравится Эмма, но сейчас у каждого только сострадание к ней. Ее ведут на мученье, да поможет ей Бог.

Наконец она возвращается. Все глаза, обращенные к ней, полны жалостью. Как ей лучше: чтобы мы молчали или заговорили? Но она полна гнева, и спустя какое-то время мы узнаем, как однажды они с друзьями собрались потанцевать. Были иностранцы. Выпили немного вина. Все было весело и сердечно. Ее следователь сказал, что вечеринка была для отвода глаз. Что дом был штабом для организации шпионажа и саботажа. Эмма показала на тех, кто втянул ее в это дело.

— Но как же вы можете верить им? — воскликнула Зоя.

Последовало молчанье. Эмма поняла наше враждебное отношение к ней. В камере было настроение подавленности. Я отвернулась к стене, чтобы как-то забыться.

На следующее утро Екатерина рано подходит к окну, поднимает голову, смотрит на небо, потом останавливает свой взгляд на моем лице и шепчет:

— Сегодня Великая Пятница, девочка. День величайшего страдания.

Она возвращается к своей кровати. Позже, когда мы, выпив чаю, усаживаемся, каждая с книгой или со своими мыслями на своей кровати, Екатерина снова поднимается. Она стоит в ногах кровати, опираясь о стену, которая тянется от выхода, так что надзиратель не может видеть ее сквозь отверстие. Устремив глаза на луч солнца, она стоит, прямая, и молится. Огромный надзиратель входит и направляется прямо к ней:

— Что вы делаете?

— Стою.

Он разочарован, что она не на коленях.

— Вы не должны стоять вдоль этой стены — я не вижу вас.

— Где я должна стоять?

— Где-нибудь еще.

Наталья бросает раздраженно:

— Где „где-нибудь еще“, когда кровати стоят вдоль стен, а посередине огромный стол? — И, уже смеясь, добавляет: — А если бы она подошла к окну, ее бы немедленно расстреляли без предупреждения?

Он тоже смеется:

— Вы можете подходить к окну. Я не буду стрелять, пока вы не сядете на подоконник. — Он уходит, смеясь.

После обеда камера 36 погружается в сонливое состояние полного бездействия. Екатерину берут на допрос. Когда ей велят приготовиться, она повязывает на голову черный платок, как это делают русские крестьянки, и поворачивается к окну. Как бледна кожа на ее лице! Но щеки слегка розовеют. Она смотрит на видимый нам клочок неба, и глаза ее полны слез. Не печали, боли или плохого предчувствия или беспокойства, но светлые слезы восторга. Когда за ней приходят, она поворачивается так, что я на мгновение вижу ее лицо, и мимолетно улыбается. Лучистость этой прекрасной улыбки поражает меня, я отворачиваюсь к стене, чтобы никто не заметил моего состояния.

Снова камера полна сострадания. Даже Эмма присоединяется к нам. Мы сейчас все одно. Екатерина отсутствует долго. Когда она возвращается, ее лицо так светло и лучисто, что надзиратель не может удержаться от того, чтобы искоса не поглядывать на нее, пока вводит ее в камеру. Она идет к кровати, ложится и видно, что пытается сдержать чувство, переполняющее ее. Спустя несколько часов она подходит и садится на мою кровать.

— О, какая радость, как велика моя радость! — шепчет она. — Как мне отблагодарить Бога за Его милосердие? Мое

несчастье пришло ко мне в день его величайшего страдания. Какая великая милость ко мне!

Ее глаза снова наполняются слезами.

— Великая Пятница, день Его смерти. Как мне отблагодарить Его? Как должна я благодарить?

Проходит суббота. В воскресенье наш утренний чай крепче обычного. Зоя говорит:

— Нам напоминают, что сегодня Первое мая.

А Екатерина шепотом:

— Это сам Христос напоминает нам о Своем Воскресении.

В этот день в камере разрешают открыть окно.

Дни становятся заметно длиннее, даже в нашей камере это чувствуется. Однажды утром мы решили, что гимнастика пойдет нам на пользу. Зоя удивительно гибкая. Она может пройти на руках всю камеру. Я знаю лишь одно движение, которое каждое утро многие годы повторяю. Я поднимаюсь и стою на плечах и почти на шее, а ногами совершаю различные „па“ во всех направлениях. Это не трудно, но выглядит впечатляюще. Наташа знает несколько дыхательных упражнений. Из всего этого мы выбираем то, что нам всем подходит, составляем серию упражнений, которые и повторяем каждое утро.

Екатерина не принимает участия в наших занятиях из-за возраста, и Эмма очень редко к нам присоединяется. Ее часто берут на допросы, и после них она довольно хорошо к нам относится некоторое время. Есть что-то неестественное в этом периодически появляющемся дружелюбии, и это заставляет нас думать одно и тоже. Мы ничего не говорим друг другу, но мы все с ней осторожны. Однажды, когда Эммы нет, Екатерина заговаривает об этой нашей муке.

— В каждой группе мучеников должен быть Иуда, — говорит она, — это устанавливает некое равновесие. Он не посторонний.

Зою тоже часто берут на допросы. Каждый раз она возвращается бледная, молчаливая. Если бы новая трагедия не вошла в ее жизнь, она стала бы женой Михаила. Только Екатерине она что-то рассказывает.

Однажды перед обедом в камеру приводят еще одну женщину. Наша первая мысль: „Где ей поставят кровать?“ Она маленькая, с очень черными волосами, густыми и вьющимися. Ее большие черные глаза смотрят отчужденно, как-то дико из-под бровей, сходящихся на переносице. Ее арестовали неделю тому назад недалеко от Ленинграда. Она, ее муж, молодой ученый, и двое детишек жили там два года около его лаборатории. Она

просто больна от всего, что произошло. Она сидит на кровати Екатерины, снова и снова говорит, что это она виновата во всем, что она погубила своего мужа, которого любит, и будет виновата в смерти ребенка. Ее муж очень близорук, у него специальные очки, и он видит только в очках. А у Екатерины отобрали очки. Ее речь становится все более бессвязной. Наконец, мы поняли, что она написала своему дяде за границу и попросила прислать какие-то витамины для своего ребенка. Он послал их через друзей. Он прислал шерсть и консервированное детское питание. „А теперь они говорят, что мы шпионы! Павел шпион! Он не знал даже об этой посылке“.

Мы потерянно смотрим друг на друга. Это было невыносимо, но как мы могли остановить ее? К счастью, вошли с одеялом и подушкой два надзирателя…

Поздно ночью Соню уводят на допрос. Ее почти приносят обратно, приходит врач. Она дышит прерывисто, глаза ее расширены. Ей вводят какое-то лекарство, делают компресс. Ее начинает трясти. Ей приносят еще одеяло и бутылки с горячей водой. К рассвету она успокаивается, мы засыпаем.

Время идет. Екатерина знает день и число, потому что каждый день — день какого-нибудь святого. Мы называем ее „наш календарь“. Сегодня 15 июля, и меня не допрашивали с тех пор, как появилась Зоя. Наташу вообще еще не брали на допрос. Она получила деньги от мамы. И другие тоже. Кроме Зои. Ее семьи здесь нет, а Михаил… кто знает?

Однажды вечером Эмма возвращается с допроса раньше, чем обычно, и явно в приподнятом настроении. Она собирает вещи. Я понимаю, что происходит. Она решилась пойти на сделку. Она выйдет из тюрьмы завтра или послезавтра, или спустя несколько дней. Кто-то от нее отвернется, но это будут люди настолько преданные современным порядкам, что никакое ГПУ ими не интересуется. С кем-то она будет говорить, и в тюрьмах сгинут новые жертвы. Но ее дети пойдут в школу, мать получит какую-то пенсию, она сама — хорошую работу.

Утром она снова перебирает свою одежду и тщательно одевается. Берет книгу и не может читать. Ее глаза сияют, на щеках румянец. Неужели они обманули ее? В концлагерь? Она не говорит с нами, только скупо отвечает на вопросы. Наконец дверь отпирается. Да, это вызывают Эмму. Спустя несколько минут нам велят собрать ее вещи. Освобождают? Признали невиновной? Переводят в другую тюрьму? Или — расстреляют? Я молчу. Зоя тоже. Мы переглядываемся. В мгновение понимаем друг друга. Все совершенно ясно тому, кто смотрит и видит.

Вечером, когда наше окно открыто, Екатерина садится на мою кровать, Наташа ложится поперек ее, Соня лежит на своей кровати лицом к нам и Зоя садится около нее. Екатерина рассказывает шепотом о святых России. Она говорит о св. Серафиме, который жил в лесах около Сарова сто лет назад в домике, построенном им самим почти без инструментов. О том, как однажды три бандита ворвались к нему, когда он молился, и потребовали, чтобы он помог им в чем-то, а он ничего не мог сказать, кроме слов молитвы. Они избили его и оставили. „Он все знал, Серафим Саровский. Он знал, что Россия придет к этому. Он знал, что тот, кто предал свое наследие, должен страдать. Но с помощью Христа из всего этого хаоса родятся люди, которые будут чисты и бесстрашны. Они с мужеством смогут смотреть в глаза жизни и в глаза смерти“. — Маленькая черная фигурка с лучистым лицом — настоящий предвестник этого времени. Она продолжает: „Из этих чистых и бесстрашных людей выйдут люди святые, живущие в мудрости и любви, и среди них появится человек, и сам Христос укажет на него и сделает его царем. Царем Святой Руси милостью Божией“.

Дверь отворяется. Наталье велят приготовиться. Ее берут к следователю. С тех самых пор, как ее арестовали, она очень хочет этого. Каждый всегда надеется получить какие-то сведения, что-то выудить из перекрестного допроса, что-нибудь о местонахождении мужа, о действиях родителей и друзей, о судьбе детей. Ничего это никогда до вас не доходит, но вы всегда надеетесь, что это может случиться. Наталья, как и все, страстно ждала перекрестного допроса, чтобы узнать, наконец, что значит этот арест, и сейчас она была просто больна от тяжелых предчувствий. Она инстинктивно приглаживает волосы, накидывает на плечи платок и идет к двери, бледная, как смерть, но невозмутимая и прямая, как прекрасная королева из волшебной сказки. Наши сердца были с ней.

Сумерки сгущаются. Окно закрыто. Мы идем в умывальню. Мы возвращаемся. Наталья все еще на допросе. Екатерина быстро подходит к окну и тайком крестит пространство, потом ложится молиться. Проходят часы. Много часов. Соня и Зоя засыпают, мы с Екатериной бодрствуем.

Наконец дверь отпирается и запирается, как только Наталья переступает порог. Лицо ее бледно и искажено. Глаза огромные, бездонные. Очень прямо, словно во сне, она подошла к столу, налила холодного чаю из чайника в чашку. Она долго пьет с полузакрытыми глазами, как будто это вино забвения. Когда она

медленно двинулась к кровати, наши глаза встретились. Она закрыла свои и содрогнулась.

— Невозможно, — выдохнула она, — о, невозможно.

— Совершенно невозможно, — сказала я, как могла мягко. — Вы никогда не смогли бы.

— Но мама! Не ее ли покой я отбрасываю, вдруг тот покой, который я самодовольно извлекаю из честности, сверх возможностей ее физического существования, душевного покоя, счастья?

— Счастья?

— Она бы никогда не узнала.

— Может ли кто-нибудь из нас или наших не знать, что происходит? Мы больше никогда не сможем думать и судить как другие — как будто бы мы не знали.

— Да, верно.

— Постарайтесь заснуть, Наташа. Христос с вами.

На следующее утро, рано, когда мы еще пьем чай, Наталью берут на допрос, и она не возвращается до обеда. Позже она падает на кровать, совершенно измученная и душой и телом. Запах пищи вызывает у нее тошноту. Я заставляю ее съесть кусочек белого хлеба и запить глотком. Она то и дело неудержимо вздрагивает с ног до головы. Руки ее горячие и влажные. Силы ее на пределе. Ее милое лицо осунулось, тело ссохлось. Она стала зрительно тоньше и приобрела не поддающийся описанию остановившийся взгляд обитателей камеры.

Едва мы закончили есть, за ней снова пришли. Надзиратель выглядел расстроенным. Мы знали, что Наташа нравится ему. Каждая из нас выделяла кого-то из надзирателей, и у них были „фавориты“ среди нас. Мы, казалось, знали друг друга очень давно, хотя, конечно, несколько односторонне.

Потрясенные, полные ужаса от непрекращающихся мучений Наташи, мы даже не могли ни читать, ни говорить в течение всех часов, пока ее не было. Ее приводят к обеду, до которого она не дотрагивается, потом снова уводят. Июньские ночи коротки в России. Сумерки почти сходятся с рассветом где-то около полуночи. Свет зажигается в камере теперь очень ненадолго, и глаза болят меньше, но становится еще труднее определить время и течение событий во времени.

Когда Наташа снова возвращается в камеру, она пугающе бледна и худа, с огромными темными кругами под глазами, которые выглядят как застывший крик боли. Она быстро раздевается, ложится и отворачивается к стене без единого слова. Екатерина и я безмолвно умоляем друг друга не спать. Эту

девочку ведет к ее вершине, мы должны бодрствовать вместе с ней.

Был час то ли поздней ночи, то ли самого раннего утра, когда даже здесь все ненадолго смягчается. Не открывается ежеминутно глазок, видно, даже надзиратели чувствуют некоторую лень.

Наташа широко открывает глаза, пристально взглядывает на глазок, слушает, потом опускает ноги на пол и — нагибается ко мне.

— Должна я? — выдыхает она. — Скажите мне только одно: должна я?

— Нет, вы не должны.

— Мама умрет в страдании.

— Может быть, но к этому все равно придет, так или иначе. Однажды сделав это, уже невозможно переделать, передумать. И потом в момент вашего падения или даже колебания — где была бы она? Кроме того… сам Христос заботится о совершенно беспомощных в этой стране. Мы знаем и не можем сомневаться, Наташа. Неужели вы падете, предав ваше наследие?

Она закрывает глаза, губы ее слабо двигаются.

— Только мама, — вздыхает она. — Василий поймет, мужчина может выдерживать такое и понимать. Но мама! Это мучение!

Что-то тронулось после этого разговора. Через минуту Наташа уже лежит спокойно, безвольно, с закрытыми глазами. Глазок мягко открывается. Большой серый глаз оглядывает комнату. Крак. Глазок закрывается. Надзиратель уходит.

Утром они дают нам поспать довольно долго. Когда мы пьем чай, Наташа выглядит отсутствующей, но спокойной и непреклонной, твердой. Ее взяли на допрос перед обедом, но ненадолго. Она возвращается уверенным шагом победителя, готового принять все самые страшные последствия своей духовной победы.

Днем Наташа и Зоя поют дуэт за дуэтом. Их голоса звучат вместе очень хорошо. Камера в приподнятом настроении: Наташа боролась и победила.

Вечером дверь открывается, и Зою вызывают на допрос. Но надзиратель называет ее совершенно другим именем, которое мы никогда не слышали! Провокаторы имеют два или больше имен, мы это знаем, но Зоя! Прежде чем мы пришли в себя, снова входит надзиратель и просит нас собрать ее вещи. На этот раз он называет ее знакомым именем. Уходит. Это значит, что Зоя уходит. Мы никогда снова не увидим ее, не услышим ее песен, никогда не узнаем, почему у нее два имени. Пустота, которая

останется после Зои, ничем не заполнится. Была ли она провокатором? Не сказал ли кто-нибудь из нас лишнее? Конечно, каждый. Но… она была такая милая, и провокатор она или нет, нам было очень грустно.

На следующий день у нас сменились надзиратели. Смена их, совпавшая с исчезновением Зои, заставила нас почувствовать себя совсем одиноко и еще более сблизила. На следующий день снова незнакомые надзиратели. И на следующий.

Наташа, лежа на кровати, тихо запела Зоино: „Даже ветер не может знать, даже нежный падающий снег…“

— Девочка, — говорит Екатерина, — никто не может знать, кроме тех, кто понимает. Как прекрасна жизнь во всей ее сложности и полноте для того, кто понимает!

Мы теперь меньше читаем, но часто три женщины присаживаются на краешек моей кровати, и мы говорим. О святых Екатерины, о будущем России, о Наташиной работе в Москве, о детях Сони и ее муже, о моей жизни в Азии, Африке, Европе… Англии! <…>

Поздно, очень поздно ночью дверь отпирается. Один из старших надзирателей велит Екатерине и Наталье „приготовиться“. Он больше ничего не говорит. Но Екатерина знает: их отправляют в лагерь на многие годы тяжелого труда. Она очень спокойна, но бледна. Она смотрит на нас с Соней с большой нежностью.

— Если кого-то из вас отпустят, повидайте мою старую маму. Не забудьте адрес.

И Наташа добавляет: — И мою тоже, если…

Она подходит к моей кровати, она немного дрожит. Спиной к глазку, она нагибается надо мной так, что никто не может видеть ни моего, ни ее лица. Она просит меня перекрестить ее, как это принято в России в те минуты, когда голос судьбы звучит громче голоса разума. „Не я, но Он во мне“. Мы сжимаем руки. Они уходят.

Дверь снова открывается. Нам велят собрать их пожитки и передать надзирателю. Мы поднимаемся с кроватей, печально собираем два маленьких узелка с одеждой.

Завтра утром даже их кровати вынесут, и все материальные следы пересечения наших жизней исчезнут».

197

Мф 25:29.

Мф 6:28.

199

Ин 8:22; 16:22.

200

Дневник 17 мая 1940 г.

201

Дневник 20 октября 1940 г.

202

Дневник 23 марта 1942 г., 7 октября 1945 г.

203

Дневник 12 марта 1953 г., 27 июля 1940 г.

204

Дневник 12 октября 1941 г.